Виктор Лихоносов

НАШ МАЛЕНЬКИЙ ПАРИЖ

НЕНАПИСАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Постановлением Совета Министров РСФСР
писателю ЛИХОНОСОВУ Виктору Ивановичу
за роман «Наш маленький Париж: Ненаписанные воспоминания»
присуждена Государственная премия РСФСР
им. М. Горького 1988 года.



Виктор
Лихоносов

НАШ МАЛЕНЬКИЙ ПАРИЖ

НЕНАПИСАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Роман

Москва
«Советская Россия»
1990

Р2
Л65

Послесловие В. Распутина
Художник Л. Шканов

Лихоносов В. И.
Л65 Наш маленький Париж: Ненаписанные воспоминания: Роман/Послесл. В. Распутина.— М.: Сов. Россия, 1990.— 656 с., портр.— (Лауреаты Гос. премии РСФСР им. М. Горького).

Новый роман талантливого писателя охватывает жизнь кубанских казаков от начала века и до наших дней — в Екатеринодаре, Петербурге Париже Это роман «о протекании века человеческого» на фоне бурной российской Истории

Л $\frac{4702010201-201}{М-105(03)90}$ КБ34—047 -89 Р2

ISBN 5 268—00488—3

— Значит, было время, что люди жили так...

(Из разговора)

Наперед хочу сказать: мне трудно пысать, бо я, шо напысав, уже не прочитаю, а пышу, так следю, шоб строчка была ровна, и стараюсь не прерывать рассказ, а то забуду, шо напысав...

(Казак А В С-в, 95 лет)

ПРЕДИСЛОВИЕ

В марте 1982 года пришла ко мне из тамбовской деревни посылка в фанерном ящичке. Под связкой сушеных грибов лежали тетрадки и сшитые листы — рукопись моего знакомого Валентина Т., несколько лет назад вернувшегося на родную Тамбовщину. В беглой записке вдова его просила меня: если, мол, вам нетрудно, просмотрите все это; найдете в бумагах ценный материал — пользуйтесь им как вздумается; не пригодятся ни вам, ни другим — назад не отсылайте. Все было ясно: она, пилившая некогда своего мужа за «дурацкие занятия никому не нужной историей», освобождалась от всего, что стало лишним после его смерти.

Рукопись Валентина Т. я прежде не читал. Ранний ее вариант он сжег, но спустя пять лет что-то гнетущее (может, боль, такая же сильная, как и в минуты уничтожения, а может, и вина перед людьми, которые раскрывали ему свою жизнь) заставило его приклониться к дорогой кубанской теме еще раз. Я не очень верю в удачу воскрешения первых мгновенных строк, свежести и трепета самых тонких чувств, и мне жаль покойного товарища, конечно же страдавшего в часы реставрации своего сочинения. Он прожил на казачьей земле почти двадцать лет, проникся ее историей, и, видимо, потому, что его нежная пугливая душа изо дня в день внимала «протеканию века человеческого», он на основе обрывочных преданий чужой стороны осмелился возвратить туманные годы своих престарелых знакомцев. Его рукопись — пример простодушной любви к людям, к памяти обо всем родном, и читать ее надо на том же дыхании, на каком она писана.

Над рукописью Валентина Т. я добросовестно просидел целый год. Мне пришлось не только многое поправлять, перекраивать композицию, но и переписывать некоторые главы, кое-где, быть может, оставляя почерк своей руки и все же вторгаясь в душу автора. Две-три главы я сберег недописанными, подчеркнув тем самым, что и эти воспоминания не завершены до конца. Каюсь: я несколько

раз бросал свое благотворительное занятие. И, думаю, однажды сложил бы все листы в папку, завязал шнурочки и отнес все в архив. Но ко мне каждый месяц наведывался упрямый гость: девяностопятилетний казак А. В. С-в, слова которого Валентин Т, поставил эпиграфом к своему роману. «Опять он! — И босиком»,— как о привидении, сообщала мне маленькая Настенька, показывая ручкой на дверь. Я выходил к порогу, и... душа моя сжималась от сочувствия: из станицы Ивановской каким-то чудом добрался в город, потом, постукивая палочкой по мостовой, шел к моей улице, потом блукал по нашему двору в поисках моего подъезда полуслепой высокий старец! Что с ним поделаешь! Много-много лет ждал он книгу о неньке-Кубани и, когда узнал, что она уже пишется, оповестил в своей станице стариков, бродил от хаты к хате. Теперь я стал для него главной надеждой.

— Ну что, что? — с ласковой строгостью вопрошал я, провожая его в свой кабинет.— Вы же мне все сказали.

— Я прыйшов досказать вам то, шо не сказав Валентину. Прыйшов досказать, як мий батько с последней черкески брюки пошил. Та ще про чепигинский дуб, якый упав недавно в грозу в Глухом переулке, шо у Карасунского канала, там кошевой атаман Чепига жил в хатке. Та запысав казачьи прысказки. Та як на Турецком фронте казаки воевалы. Та про Бурсаковы скачки. То моя, может, лебединая песня... Чи скоро вы поскладаете ровно бумаги Валентина? Мы вам поклонымся за то, шо старовыну помянулы. Я ветхий днями и до того боюсь, до того боюсь ночью, шо не доживу и не прочитаю про ридну картыну сквозь горючие слезы умиления...

Так и сказал: «...сквозь горючие слезы умиления...»

Под кроткую требовательность А. В. С-ва, как бы стоявшего за моей дверью, я и приводил в порядок рукопись Валентина Т. Успеет ли казак прочитать?

В. ЛИХОНОСОВ
1983

НЕТ ЛИ ТАМ КОГО?

Пролог

Если бы каким-то чудом вознесли его на крыльях с парижской улицы и через мгновение спустили с небес возле этой гостиницы, на то место, где он столько раз стоял в своей молодости, Бурсак ни за что бы не поверил, что находится в родном казачьем городе. И если бы правда летел одиноко он сверху, то какой-нибудь зоркий мальчик показал на него рукой и во всю мочь закричал: «Смотрите! Какой-то человек!» Обступили бы его кольцом и допытались, что он из Парижа.

Но в солнечный послеобеденный час 11 июня 1964 года никто не заметил его появления. Великие чудеса, коими награждает нас жизнь, мы носим в себе и поделиться ни с кем не можем. Чудо было в том, что он все же приехал домой, приехал поездом; с бывшей Черноморской станции прокатил его скоро троллейбус, и на углу улиц Мира и Красной ему какой-то юноша подтащил тяжелые фибровые чемоданы Все! Он дома. Но какое прощальное, одинокое то было приближение к дому. Кого ж окликнуть?

За сорок лет, которые Дементий Павлович Бурсак провел на чужбине, все разрослось, обновилось и изменило домашний облик. На месте «Большой Московской» стояла незнакомая гостиница «Центральная». Гостиницы «Европейской» напротив, где он в 1910 году обидел знаменитого Шаляпина, не было. А вниз по Екатерининской, на поперечной Котляревской улице, не заслоняли собой Карасунское русло триумфальные Царские ворота. И пожарной каланчи над теперешним книжным магазином тоже не было.

Город Екатеринодар, это ты?!

Ему о многом написали еще до войны, но нынче, когда Бурсак неспешно, с одинокой тайной в душе, пересекал исторические кварталы, глаза искали в иную минуту то, что закрепилось в памяти как вечное украшение и бытие, исчезновению чего он не хотел верить. Да нет же, это правда! — убеждался он теперь. Это истинная правда! — нету на Соборной площади белого Александро-Невского храма, вокруг которого обвозил молодых в каком-то несуществовавшем 1913 году лихач Терешка. Сбылось ясное пророчество

и на нем если хочешь почувствовать, как прошла твоя жизнь, навести свою родину, узнай со скорбью, как мало там помнят тебя.

Лишь одна улица Красная называлась по-старому. На Почтовой, Графской, Соборной, Посполитакинской он глядел на окна, припоминая фамилии хозяев, но ни из одних ворот не вышел кто-нибудь, с кем бы он мог сейчас поздороваться и, может, обняться. Никого!

«О Господи...— тихо восклицал Бурсак.— И я еще на этом свете...»

В выросшем и постаревшем без него сквере он, подняв голову, суеверно глядел в ту небесную точку, где бронзовая рука царицы Екатерины держала когда-то длинный тоненький крест. За ее спиной, через Бурсаковскую улицу, размещался тогда дворец наказного атамана Бабыча. Нынче там стояла новая четырехэтажная школа.

Он пошел через сквер к городскому саду, прогулялся по любимым своим аллеям — Пушкинской и Воронцовской, посмотрел, чего нет: нет купы дубов «Двенадцать апостолов», нет летнего узорного театра, летнего помещения «Чашки чая». Время, время! На Борзиковской (ныне Коммунаров) шел он по зеленому гроту, шел, слушая длинное, то стихающее, то нарастающее пение трамвайной дуги, и опять чудесно, по-детски ожидал, что кто-нибудь выйдет знакомый. Но кто-о? Каким духом?!

И все кружил и кружил он возле старинного Бурсаковского плана, вокруг деревянного дома с табличкой, вокруг того патриархального дуба, на сучья которого вешали его деды рыбу, и думал: подойти тотчас же или потом, с Толстопятом?

Так случилось, что друга своего Пьера он просил в письме не встречать и телеграммы из Москвы не давал, а когда принес чемоданы к его крыльцу и постучал, сбоку, из соседней квартиры, вышла косолапая женщина и до прихода Толстопята согласилась подержать его вещи у себя в передней. Вот он и бродил несколько часов по своему Екатеринодару в одиночестве. Уже то был во всех отношениях Краснодар.

Он ходил и на все глядел и обо всем думал как бы от имени тех, кто домой не вернулся. За эти два часа вспомнилось столько такого, что совершенно потускнело в эмиграции.

Легкое удивление переходило в грусть, грусть — в сожаление; сожаление — в горе.

И когда горе стянуло ему грудь, он повернул к высокому крыльцу красного собора св. Екатерины. Двери собора были

раскрыты; внутри, над головами, капельками дрожал этот всегда особый, теплый, скорбно-зовущий свет. Бурсак тихими, траурными шагами поднялся по ступенькам, снял с головы светлый берет и ступил под своды. Святые невесомо летали в расписанных небесах. Ужели те же русские люди стояли и молились в тесноте? Был день Вознесения Господня. Службу заканчивал сам архиепископ, совал прихожанам крест для целования. Неужели одна душа так мгновенно перекликнулась с другой? Бурсака будто что-то толкнуло в грудь. Это «что-то» был сверкнувший пораженный взгляд архиепископа Ювеналия. В толпе он сразу же увидел и узнал пришельца Бурсака, хотя с тех пор, как он в Париже был для кубанских казаков духовником, прошло много лет. Бурсак не подошел к нему. Какой-то тощий высокий мужик средних лет неистово клал поклоны. Нет ли кого-нибудь из сверстников, нет ли прежде не близкого, но знакомого лица? Не могли же все умереть. Может, вот тот маленький, как ребенок, старичок в белом полотняном костюме с белой бородкой помнит его? Может, кто-то торгует свечами?

Свечи продавали сбоку от наружного входа за стеклянной перегородкой. Старушка не смотрела в окошечко, принимала рукой мелочь, подавала календарики, иконки и бралась за чашечку, возле которой лежал кусочек хлеба. Бурсак пытливо смотрел на нее минуту, две. Наконец она взглянула не него. Бурсак ей улыбнулся как своей и тут же разочаровался: то была не о н а, не та, о ком он думал и кого желал признать, не жена его бывшая.

— Что вы хотели?

— Я обознался...— сказал Бурсак.— Вы екатеринодарская?

— Родилась тут...

— На какой улице?

— На Бурсаковской.

— Ну, спасибо.

Голова его закружилась, он соступил с крыльца, обернулся на икону поверх дверей и пошел к воротам мимо калек с кружками и чашечками для милостыни. Прозвенел и сверкнул окнами трамвай. Пора было прийти и сказать Толстопяту:

— Как, мой друг, вырос наш маленький Париж! .

Но он побродил еще немножко; его словно сквозняком затянуло в Художественный музей, в тот красивый дом, который принадлежал в оные годы Батыр-Беку Шарданову. Он поздоровался с женщинами у вешалки, купил билетик. Три

дня назад он еще был в Париже, и вот кубанские женщины перед ним, и вот прохладные мраморные ступени и зал с огромными портретами императриц: Екатерины II и Марии Федоровны (но не жены Александра III, а той еще, эпохи Павла I). Не иначе эти же царские портреты украшали раньше парадный зал Мариинского института, где училась его бывшая жена. Тягучая, какая-то долголетняя тишина охраняла картины и самого Бурсака. С каждой караульной женщиной он здоровался поклоном. С почтением поклонился он и создателю галереи Ф. А. Коваленко на фотографиях, худенькому больному человечку с бородкой, в галстуке под стоячим крахмальным воротничком, и его опять удивило, что всего три дня назад он слышал на Елисейских полях французскую речь. Но это было еще не самое удивительное. О, что его подстерегало в другом зале!

На него вопрошающе, даже с укором, глядела его жена! Нет! Не живая, не нынешняя, какая она где-то сидит в екатеринодарском дворе,— глядела молодая, с портрета. Он подошел так, что нужно было чуть-чуть поднять голову. Она. На медной пластинке было начертано: «Портрет неизвестной дамы». Бурсак стоял несколько минут, выходил и возвращался, и ему казалось, что сейчас караульная женщина встанет и спросит его: «Узнали свою жену?» Но как она могла спросить, что она могла знать? Никто никогда не догадается, какая нечаянная встреча произошла вечером 11 июня 1964 года под этим лепным потолком в доме всеми забытого Батыр-Бека Шарданова!

«Здравствуй,— шептала его душа,— здравствуй, голубушка...»

Дама (но не дама, а его жена, вернее, его невеста в том 1911 году) все глядела без отклика с масляного портрета куда-то вдаль, в будущее,— молодая, в роскошном голубом платье, с розой в пальчиках.

В музее историческом его тоже ожидало чудо случайности. Что-то подтолкнуло Бурсака подойти к изящному серебряному самовару. И экскурсовод Наталья (пышненькая особа с голоском-колокольчиком), торопясь просветить приезжего, покрутив острой указкой, объяснила: «Здесь перед нами находится самовар XIX века, подаренный, по некоторым сведениям (у нас где-то записано), крепостной кормилице Анисье каким-то великим князем,— по некоторым данным, наместником Кавказа...»

Почему же Толстопят поленился написать ему об этом? Что ж, поневоле с преданий начнется его беседа со старым другом. Вся жизнь их стала преданием...

Часть первая

СТАРЫЕ ОТКРЫТКИ

Что же вы хотите, на то и молодость...

(Из разговора)

ПО СТАРОМУ СТИЛЮ

Еще стояла царская Россия.

После волнений 1905 года жизнь помаленьку вернулась к обычному. В Зимнем дворце принимал депутации государь император, с Кубани посылались в умиленных выражениях послания наследнику Алексею, августейшему атаману всех казачьих войск. Испуг по-русски легко забывался. Все то же кругом, снизу доверху — как встарь. Все те же старинные русские фамилии мелькали в газетах. Ордена св. Андрея Первозванного, св. Владимира, св. Анны жаловал двор министрам, сановникам, помещикам, купцам и офицерам. В Царском Селе и на Шпалерной в Петербурге располагались сотни конвоя его величества из кубанских и терских казаков. Смелые предсказания французской гадалки, г-жи Тэб, пока не сбывались. Звонили колокола, пронзительнее всего напоминая о заветах прадедов, терпении и вере; однако иностранные послы и прозорливые соотечественники подмечали, что в верхах уже разделились и твердой дороги нет.

Еще было то странное время, когда газеты лихо писали на одной полосе о высочайших приемах и проститутках на Старом базаре, о хулиганских выкриках правых в Государственной думе и ситцевых балах в офицерском собрании и о том, что в ночь прибытия в город наместника Кавказа графа Воронцова-Дашкова ассенизационные бочки распустили по Екатерининской улице невыносимое зловоние.

26 февраля 1908 года только что принявший власть наказного атамана и начальника Кубанской области генерал Бабыч развернул «Кубанские областные ведомости» и позвал супругу: в казачьей газете густо лепились приветствия новому атаману.

Еще сравнительно недавно неожиданная весть разнеслась по Екатеринодару, вылетела на степной простор, подхватил ее там вольный ветер и помчал по станицам и хуторам. Наказным атаманом назначен наш казак, наш генерал Бабыч! Родной край, который отцы и деды устлали своими костьми, наконец-то попал в золотые руки.

Прочь, темнота! Так называемые «освободители» клонили к уничтожению казачества, к отобранию у него высочайше дарованных прав и преимуществ и, главное, земельных угодий; кроме того, все дело вели к истреблению чисто русских людей, в особенности тех, что принадлежали к патриотическим партиям и союзам. Много жизней напрасно загублено, много сирот и вдов несчастных оставлено, и да будет за это кровь убитых на них и на детях их!

«Бейте, стреляйте, грабьте кого хотите, только меня не троньте!» — думал запуганный обыватель. А наглецы кричали: «Иду на вы!» И посылали грозные письма за своими грабительскими печатями. Невольно возникал вопрос: да где же твердость, где решимость власти? Когда же этому будет конец? И неслась молитва к богу о ниспослании родному краю человека умного, энергичного и добросовестного. Бог внял молитвам и горю людскому.

Имя генерала Бабыча известно всем от мала до велика. Не ко двору пришелся он «освободителям». Знают они его хорошо по 1905 году. Уже тогда они присылали ему смертный приговор. «Страха не страшусь, смерти не боюсь, лягу за царя, за Русь!» — наверное, так сказал генерал Бабыч, прочитав себе гнусный приговор.

Гой вы, други верные, кубанские! Собирайтесь в круг да послушайте: грозит подлый ворог кошевому нашему атаману. Соберитесь-ка все на полный сход, обсудите все да сплотитесь и подайте громкий клич!

«С нами бог! Не выдадим своего родного, долгожданного атамана генерала Михайла Павловича Бабыча!»

Генерал Бабыч возвращался из Карса с поста военного губернатора 25 февраля.

Город для встречи атамана нанял в дополнение к казенным экипажам еще двадцать пять лихачей, чтобы всех особ привезти и отвезти на место. Извозчик Терешка всю ночь гонял фаэтон с гуляками; к рассвету лошади и он сам притомились. Поспевай теперь на вокзал к приходу поезда.

Мучить лошадей и почти ничего не получить за это от городской управы! Но извозчичий староста при каверзном случае поблажки не даст. Терешка ни одного крупного события в Екатеринодаре не пропустил. Будет что порассказать на старости лет, а нынче за борщом домашним. Как и всякий обыватель, приглядит он, во что одеты жена генерала Софья, его маленькие дочки — да и его ли? Жена-то моложе на двадцать лет, и недаром, видно, ездит за ними по свету высокий красивый черкес Батыр-Бек Шарданов.

Никто ничего не знал до той самой минуты, когда конные казаки и экипажи протянулись по улицам длинным хвостом и спустя час скопились у Александро-Невского собора, куда Бабыч вышел на молитву. Ни один лавочник, ни один приезжий станичник не выпустили из своей головы думки о личных делах. Мало ли что! — там кто-то вступает на пост, сегодня кого-то славят, завтра пышно хоронят, послезавтра чью-то особу встречают. И таким безразличным, как бы себе на уме, выглядел бы город в утро появления наказного атамана, если бы не звон колоколов екатеринодарских.

Первое чувство было испуганное: что это? По какому случаю? Какой праздник? Не война ли? Не в честь ли открытия святых мощей? А может, великий пожар? Тем, кто не спал, вспомнилось, что в три часа ночи по небу пролетел огненный шар, осветил на мгновение крыши и степь и, прочеркнув след, упал на западе.

Но слишком торжественным и радостным был заглушающий все на свете звон.

То ж с Черноморской станции повезли на Соборную площадь нового наказного атамана. То ж казаки почуяли свой час.

И опять стало тихо и просто. У дворца ответственные чины штаба пожелали генералу благополучия и с облегчением разъехались по домам. Только старый казак Лука Костогрыз топтался у крыльца и рассказывал молодой охране, как воевал он еще в отряде отца Бабыча и какие чудеса были на Кубани при черноморских атаманах.

— Пошли нам господи, шо было в старину,— крестился он.

Бабыч, переросший на царской службе корявую самостийность, вступал на должность наказного атамана все же с гордостью, мысленно присовокуплял себя к списку чисто кубанских вождей и, может, оттого не чувствовал бремени своих шестидесяти четырех лет. По привычке, усвоенной от отца-генерала, он на рассвете произносил короткую просьбу-молитву, затем писал ее карандашом на листочке:

«Господи, даруй добрый день!» Так было и нынче. Теперь уже, наверное, никуда не выгонит его с родной Кубани воинский долг,— хватит, потер конские седла, пожил в казенных домах, покозырял начальству. Теперь он у себя в курене, выше его только наместник, государь и его двор. Когда въезжал через Царские врата в город, потом выходил с насекой под восклицания военных из храма, думал: здесь много товарищей и родни. И первым делом проведал он могилы отца и матери.

Окна двухэтажного дворца у начала Бурсаковской улицы глядели в спину бронзовой императрицы Екатерины, милостиво державшей дарственную грамоту на землю и окруженной снизу слепыми бандуристами с поводырем и первым кошевым начальством. Екатеринодар подражал Петербургу. А сам городок еще маленький, чуть перегнавший застройкой черноморские станицы. Во времена молодости Бабыча на Красной ловили карасей. Но столица! — сюда все стекается. И отныне все будет стекаться к нему, атаману, во дворец.

Да, теперь он самовластный господин. В детстве, когда по станицам только и говорили о деревянном соборе с сорока куренями вокруг него, он приехал с отцом в Екатеринодар и не спал целую ночь: здесь живет наказный атаман! здесь крепость! Ночью случилась тревога. По ту сторону Кубани пробрались черкесы, и на Байдачном кордоне стреляли из пушек. В церкви маленький Бабыч любовался певчими, хлопцами, шедшими вереницей, по два в ряду, в красных мундирах с позументами и с откидными красными рукавами. Вот бы туда!

Нынче он вселился в двухэтажный дворец, а тогда атаман жил в беленьком, чистеньком домике с большими окнами и зеленою крышей. По атаманскому дворику переступал журавль, за ним павлин с самкою. Тучи куликов, уток вспархивали с болота неподалеку. Гоготали дикие гуси. Даже в начале Красной улицы блестело болото с лягушками. И на любой улице было так же. Кругом колодцы с журавлями и громадные дубы, акации. Разве это город? Переваливается воз с сеном, а наверху такой же мальчик, как он. Где тот мальчик? А у него в руках атаманская насека и булава. Думал ли, когда спал, бывало, в родной Нововеличковской на свежей траве, покрытой веретьем? Значит, судьба.

«Господи,— говорил он в тот день на молитве в храме,— не оставь казачество, прикрой нас своею десницей».

За голыми ветками дубов, кленов, акаций клонилось

бледное солнце. Звонили без конца. Звонили жена брата Ивана, вдовы героев еще той, кавказской, войны, два-три генерала, приехавших из своих хуторков специально на церемонию, все глуховатые и хриплые.

Утром адъютант подал генералу кипу писем. Одно из них было грозное:

«Бабыч! Черносотенный генерал! Крутись не крутись — будешь убит. Мы тебя предупреждать письмами больше не будем, а явимся внезапно и отомстим за кровь наших товарищей. Заявлять о наших революционных требованиях, следовательно, будет некогда, а тебе устраивать засады из царских собак во всем Екатеринодаре невозможно. Пусть не думают наши враги, что аресты и т. п. нас обессилили. Жить в России под виселицей Николая последнего преступно. Екатеринодарская группа анархистов».

Из станицы Уманской выборные приготовили бумагу иную: «...просить генерала Бабыча не отказать принять на себя звание почетного старика нашей станицы и разрешить нам иметь в присутствии нашего станичного правления его портрет».

Но письмо анархистов все заслонило перед ним, и он, зеленея, отвечал неизвестным: «Не запугаете. Правда света не боится, а ложь да клевета ищут безнаказанности в шайке. Долг свой выполню свято. Я давал присягу».

Успокоили его каракули веселого казака Луки Костогрыза:

«Слава героям, слава Кубани! Пишет тебе, Батько, репаный казак Лука, рад, шо ты сочетался с властью над нами, кубанцами, я две ночи не спал, думал, колы поедемо на охоту и какие я тебе еще геройские подвиги не досказал. А в саду своем стол накрою на тридцать персон и по запорожскому обычаю перекинем столько чарок, аж пока не затошнит. Кланяюсь до сырой земли».

ПЕЧАЛЬ СТАРИКОВ

Лука Минаевич Костогрыз почти тридцать лет прослужил в Петербурге в собственном его величества конвое. Дважды по его просьбе спускали Костогрыза на льготу в войско и снова забирали назад. Ему шел семьдесят четвертый год, но был он еще «мужчина в соку», и как-то на день рождения его не смогла вытащить из ямы пара волов. Может, то люди побрехали за чаркой, а все поверили. Двужильным, хоть и маленьким на вид, был он всю жизнь.

Царям нравился шутливый казак; от Александра III удостоился Лука самых благодарственных слов: «Спасибо, Лука, за молодецкую службу. Ты, как нянюшка, смотришь за мною». В роковой для Александра II день (1 марта 1881 года) Луку взрывною волной сбросило с лошади и оглушило ему правое ухо. Стоял он на часах и в Гатчинском дворце Александра III, на крыльце Казанского собора в Петербурге, скакал рядом с фаэтоном в путешествии царя по Кавказу, сидел на запятках поезда императрицы, побывал и за границей. В 1896 году перед коронацией последнего государя умер в станице Пашковской сын, и Лука попросился домой насовсем — отрастить наконец-то оселедец и развести пчел. За всю историю конвоя ровных в службе нижних чинов насчитывалось немало, но выше урядника никто не взбирался. Лука нисколечко не горевал. Зато на пирушках хвастался подписными часами с гербом да крохотным серебряным сундучком, пожалованным из царских рук. В сундук же большой бабка сложила его награды: знаки Георгия трех степеней, четыре золотые и серебряные медали «За усердие», пятнадцать орденов и медалей и знаков российских и иностранных и два шеврона. В Кубанском войске не было торжества и обеда, чтоб Лука не произносил свои то гордые, то потешные речи.

Еще будучи помощником начальника области, Бабыч забирал Луку Костогрыза на охоту в Красный лес. Никто на охоте не умел его так растрогать воспоминаниями о «старовыне», посмешить за ужином, как этот казак, единственный уже, наверно, на всей Кубани носивший на голове оселедец (толстый, словно девичья коса). По примеру запорожского кошевого панибратства допускал Бабыч в иные минуты шутливое обхождение на равных, даже позволял дымить в своей канцелярии заслуженным старикам. Редко, но, глядишь, всунется в дверь знакомая фигура в черкеске, растопырит руки как на базаре, выкликнет первое родное словцо, и тогда не жаль поломать ненадолго казенный распорядок дня.

— Слава героям, слава Кубани! — по заведенному местному обычаю приветствовал Костыгрыз часовых на крыльце. — Пушки на меня наставили, так, думаете, не попаду к батьку-кошевому? От, бисовы души, нема на вас славных черноморцев. Ей-ей, попаду. От не грех и побожиться. Да шоб я не видел ни родной старухи моей, ни детей, ни внуков, ни Пашковской, если не попаду! О так! Чи не пропустите? Батько у себя? Шо це у вас там пишут лисьими хвостами?

Металлический вензель «АII» на левой груди внушал часовым почтение. То был вензель в память 1 марта 1881 года.

Часы прозвонили двенадцать; Бабыч уже отпустил последнего просителя и сидел в кресле. Возле него услужливо выцветал с сантиметром Василий Попсуйшапка, обмерял голову атамана, заказавшего папаху из шкурки тибетского козла. Был Попсуйшапка донельзя разговорчивым человеком. За полчаса он посвятил генерала в те обывательские истории города, от которых Бабыч поневоле оторван начальственной высотой. Несмотря на донесения, на газеты, полные сплетен, жалобы станичников, многого, простейшего, не ведал Бабыч. Ах, служба. По улице Красной проезжал он в фаэтоне, на базарах не толкался, в станицах его оцепляло начальство. Давно потерял ту свободу, которая есть у любого нищего.

— Так я вам, ваше превосходительство, не досказал... Про Фосса. «Я Фо-осс! Фосс нигде не платит».

— Ну, ну.

— Где обедает, буфетчик недосчитается столовой скатерти, то серебряных ложек. Да потом заключает контракт и едет по России читать лекции о своих похождениях. И теперь на Кубань пожаловал. Вчера в ресторане «Нью-Йорк» уложил в мешок сорок бильярдных шаров, а им до тысячи рублей цена, и как будто так и надо. Никакой пристав Цитович не справится с ним. Три чемодана оставил у носильщиков на Черноморской станции, а с тремя в город, но гостиницы не приняли, он назад. Сел в уголок в зале первого класса. Толпа зевак на него смотрела: сам Фосс! «Я,— говорит им,— ехал из Царицына, думал скрыться от дураков, а их, оказывается, и в Екатеринодаре в избытке». И сплюнул в сторону. А буфетчик уже к нему с бутылками кваса бежит! «Скажи им,— говорит,— за созерцание моей особы я беру с каждого рыла по пятаку...»

— И откуда вы, молодой человек, все знаете? — спрашивал Бабыч Попсуйшапку с удивлением.

— Гм... Я ж тут живу. Кто с базара идет — к нам в мастерскую. И рассказывают. В «Кубанском курьере» писали, как наши, из черной сотни, ездили в Царское Село. Они прибыли, около часа ждали выхода государя, значит. Там камер-лакеи в золоченых ливреях разносят чай, кругом все блестит. И, пока ждали, вступили якобы в беседу с лакеями. Узнали, что государь часто бывает печальным. Никто ж держать язык за зубами не умеет.

— Офицерам связываться с газетными писаками неза-

чем,— сказал Бабыч.— Я читаю «Кубанские областные ведомости»... Та впустите его,— приказал Бабыч адъютанту,— а то будет кричать через дверь, у мастера от его шуток мерка из рук выпадет. Пустите, чего он пришел?

Через минуту в кабинет ступил сияющий Лука Костогрыз.

— От бисовы души! — как будто бы ругался он на охрану.— Заслонили нашего батьку пушками та саблями. А я уже не справлюсь. Колысь валял кучами, ну все! Нема силушки, батько. Ух, еле добрался до тебя, Михайло Павлович, заморился! Здравствуйте! — низко, театрально поклонился он.— Слава героям, слава Кубани. И вам тоже,— повернул голову к Василию Попсуйшапке, провел пальцем по длинным висячим усам.

Наказный атаман уже вытянул пухлую руку с толстыми пальцами; Костогрыз подошел, двумя руками взял руку Бабыча, чуть поднял ее к груди и, тряся, наконец сказал, заглядывая в глаза без боязни, по-товарищески:

— «Ведомости» читаю с приказами та думаю: чего ж Михайло Павлович не кличет? Или забыл? Ну, я зато сколько раз собирался. И в городе на базаре бываю — зайти? Та ладно, не стану беспокоить, ему, дай-кось, не до меня. То, слышу, по области хвосты атаманам крутить поехал, ай как бы и я проскочил по степи! Та ноги, ноги, батько, мои усыхают, нема того уж, шо было: встанешь на зорьке, выведешь Ленивца та промнешь его, ач!

— Не прибедняйся, Лука.

— Я смалу прибедняюсь, то ты не знаешь меня? Оно так. Я й на кулачки ще могу. И под гармошку пройдусь на свадьбе. Да если молодого за чуб схвачу, то до земли аж притяну́. Но не то!

— Не то? — хохотнул Бабыч.

— Не-е, не то, не то!

Мастер Попсуйшапка диву давался, как вольно болтает Костогрыз с наказным атаманом. Знать, в одних боях подставляли под пули свои головы. А чинов разных добились. Или Бабычу приятно показать перед чужим, какой он тоже простой? Но на параде и в театре его видели хмурым. Одно слово: начальство.

— А ты б, хлопец, и мне папаху сшил! — привлек Костогрыз к разговору и Попсуйшапку.— Старуха завезла мою на степь, наткнула на палку птиц пугать, и на парад выйти не в чем.

— Пожалуйста,— покорно сказал Попсуйшапка.— Какую вам? Черную, белую? Молдавского курпея, решетилов-

ского, крымского, бухарского? — Он даже нагнулся к старику, глаза засияли, наступила его минута, человека мастерового. — Мы шьем с братом разные. Мы недавно Султан-Гирею папаху сшили. И шляпу можно. Заказывайте.

— Мне б такую, шоб я шапку в руки — и опять казак! В баню приеду, найду тебя, хлопец.

— Пожалуйста, — кланяясь головой, говорил Попсуйшапка. — Всегда рады, Лука Минаевич.

— А откуда ты меня знаешь, хлопче?

— Гм! Вами вся Кубань гордится, и то, что вы на обедах говорите, в любой бане повторяют. Вы ж телохранителем Александра Второго были? И ранение первого марта получили, на одно ухо оглохли? Ну! — Попсуйшапка поднял голову с гордостью за свою память. — Я хоть и учился за три копейки у дьякона, а от других не отстаю.

— За какие три копейки?

— Мать моя побелила дьякону хату за три копейки, а он меня в приходскую школу устроил. Вот я и говорю всем: учился за три копейки у дьякона.

— Присядь, Лука, — сказал Бабыч и обошел стол, опустился в кресло у стены, на которой во весь рост красовался с портрета государь Николай Александрович.

— Сяду, хоть стоять должен перед тобой, а я сяду все ж, спасибо, батько.

— Рассказывай. Можете идти, — сказал он Попсуйшапке. — Адъютант приедет к вам.

— Спасибо, — польщенно откланивался Попсуйшапка и торопливо, бочком, отступал к двери. — Благодарю вас, ваше превосходительство, рад выполнить заказ по чистой совести. А вы заходите, Лука Минаевич, я у Хотмахера на Красной, перед магазином Запорожца и музыкальным братьев Сарантиди, под гостиницей «Лондон» — помните? Мы вам сошьем такую кубанку, что позавидуют.

— Ото с удовольствием зайду, колы мед на базар привезу. Это до Хотмахера наш атаман с Пашковки водил казаков за папахами — отправлял на службу?

— Ну а как же! Тридцать папах взяли. И с Васюринской атаман привозил, тоже тридцать штук примеряли. И Елизаветинская у нас берет, там атаман строгий, мужчина высокого росту, а как человек — ну прямо замечательный...

— Я с его батьком на шапсугов ходил. Он на войсковом кругу часы раздавил. Та ты ж, Михайло Павлович, тоже должен помнить. А-ат было смеху. Шли ж на параде мы, несли на Крепостную площадь вдвоем грамоту матери Ека-

терины Второй. Он, покойник, и каже: «Шось в чебот запхалось та трет ногу». Разуться та поглядеть некогда. Народу скрозь натолкано, а потом обед с начальством. Напились, наелись на войсковой кошт, пришел домой уже на ночь. Стала баба стягивать с него чеботы, колы выпала какая-то желтая пышечка. Очи наставила, а то золотые часы! Он их колысь у Туретчине купил. Провалились с кармана за голяшку, он и раздавил.

— И брешешь же, Лука! — топнул ногой Бабыч.

— А шоб меня моя бабка рогачом стукнула — так! Дойду, дойду до вас. Выделывайте шкурку.

— Пожалуйста,— опять поклонился мастер.— Брат мой вам шкурку тибетского козла так выкурит, что взглянешь — она белая, белая, и слеза покатится, такая белая.

— Работайте, работайте,— выпроваживал его Бабыч к выходу, так как Попсуйшапка, увлекаясь выгодной беседой, забывал, где находится.

— Надо, пока молодой, что-то делать. Деньги зарабатывать. Только следить за собой, и будет толк. Приготовься к осени, приготовься к зиме,— рассуждал Попсуйшапка, как старик.— В карты не играть. За картами да прозевал одну ярмарку да другую, а товар лежит. Не хлопать ушами. Вот вам и счастье. Отстоял ярмарку в Березанской, а там и Никольская в Темрюке. А за Никольской Троицкая, Преполовенская, и так аж до осени. Ну, до свидания, благодарю покорно.

— Це хорошие мастера,— похвалил Костогрыз Попсуйшапку, когда он вышел.— Вся Пашковка у них шьет.

— Ну, с чем пришел ко мне, казак?

Костогрыз вздохнул, потрогал на голове оселедец, накрутил конец на ухо и тем вызвал у генерала улыбку.

— С горем пополам.

— И опять стихи есть?

— Мне сегодня семьдесят второй годочек,— начал читать Костогрыз.— Купил вина и водки я из бочек. А потому часам ко двум просил бы вас к себе, Наум.

Костогрыз один глаз зажмурил, другим хитро спрашивал: ну, как, батько кошевой?

— Почему Наум? Кто такой Наум? И два года себе убавил.

— А так, для складу.

— Чем стихами баловаться, Лука, лучше бы оставил нам досужие записки о Черномории.

— Я казак и богато писать не научился. Два слова скажу: «Тарасе, не бреши!» И хватит.

— Шо ж вспоминать будут о нас?

— А мы кого помним? — Лука пошел в наступление.— Чуешь, батько? Мы кого помним? Я затем и пришел.

— Тогда рассказывай.

— Если все рассказывать, батько кошевой, это мне у тебя до вечера сидеть и без родной горилки не обойдемся. А у тебя служба. Начальству надо говорить тихо; колы какую-нибудь пулю отольешь — оно не расслышит и не рассердится. Я же казак крикливый.

В самом деле, Костогрыз, подобно большинству казаков, рвал голос, будто ругался, и слова шутливые, ласковые покрывались грубостью.

— Покричи, покричи. Да не перепугай. Какое ж у тебя горе? Дети на льготе, внуки в войске. Донесений, чтоб провинились, мне нет.

— Ой, не дай боже такого. Если съедят в трактире «Медведь» шесть раков и запьют пивом, то чебот не теряют.— И вдруг Костогрыз насупился, вынул из кармана люльку, ткнул концом в Бабыча: — Где, Михайло Павлович, могила кошевого атамана Бурсака, знаешь?

— Где...— чуть приподнял над столом руки Бабыч.— Где могила Чепиги, всех первых атаманов, там и могила Бурсака,— на войсковом кладбище, вон,— вытянул он палец,— под старой Воскресенской церковью.

— Где ж она там? Вот то-то и оно, шо ее нету. Потому я и пришел. Интересный я тебе сон расскажу сейчас.

— Ну-ну,— хмуро подавался Бабыч на разговор.— В России шукают могилу Рюрика, а ты хочешь разрыть Бурсака? Ну-ну.

— Он сам меня просил!

— Если брехать пришел, Лука, то мне не до тебя сегодня. Бурсак вон когда скончался! Сто лет уже. И охота брехать?

Со вступления на должность атамана Бабыч был занят чрезмерно. В мае одна за другой выстраивались памятные и торжественные даты, требовавшие его распоряжений, участия в выходах, на молебнах и тому подобное. 6-го — день рождения государя, 14-го — священное коронование, 23-го — Вознесение Господне, 25-го — день рождения государыни. Из года в год один и тот же церемониал, те же религиозные службы, приказы торговцам — закрывать винные лавки и рестораны. Что делать! На столе лежали слёзницы казаков, донесения жандармов, прошения, телеграммы и циркуляры из Петербурга. Каждый день что-нибудь новое. Еще предстояло трястись в Темрюк на открытие тюрьмы;

поприветствовать на станции Тихорецкой приезжавшего в Тифлис наместника графа Воронцова-Дашкова; раздать из собственных рук аттестаты и шифры выпускницам Мариинского института; выделить помещение для местного Союза св. Михаила Архангела, а нынче в семь вечера провести на своей квартире вместе с супругой заседание Общества братской помощи увечным воинам. Конца-краю нет. Трое однополчан, казаки Кущевской, Васюринской и Каневской станиц, желали, чтоб хранил его бог на долгие-долгие годы «на благо войска», а потом (хитрецы такие) умоляли прислать в станицу бесплатно племенных бычков симментальской породы. Нечем Бабычу больше заниматься!

— Но я, батько, не брехать пришел. Ей-богу! — Костогрыз встал и, не найдя иконы, перекрестился на портрет царя.— Та послушай.

— Ну-ну.

Тяжелая поза Бабыча и как бы чем-то посторонним обремененная улыбка понудили Костогрыза скрести затылок: не надулся бы строгий атаман в самую горячую минуту и не опрокинул бы психом старика со своей затеей.

— Приступаю, батько, разреши...— Костогрыз снова сел.— С вечера полегли с Одарушкой, она мне спину потерла мочалкой, а перед тем поругались немножко. Я ее попугал: «Будешь кричать, бисова душа, напишу прошение наказному атаману и выше, шоб забрали меня от тебя в конвой его величества в третий раз. Оставайся, проклята раззява, семечки лускать. Я там тело царя тридцать лет прикрывал и на льготу уволен с примечанием: «желателен снова на службу». Ой, не дай, божья матерь, жениться потому, шо вареников хочется». И заснул. Заснул и вижу: стоит передо мной атаман Бурсак, самый ранний наш атаман-черноморец,— его жинке мой дед в церкви задом кланялся. В полной форме. И бурчит: «Ты чего, Лука, мою могилу Бабычу не укажешь?» — «Какую?» — «Ты генерала Бурсака знаешь?» — «Слыхал, мне дед и батько рассказывали. Вам шашка была милее бабы. А теперь вы все в лоне Авраама. Мы вам сейчас гроши в кружку кидаем, памятник поставим в Тамани».— «Со слезами закрыли крышку гроба, а потом? Ты ж читал надпись на моей могиле? «Вечная память тебе, вождь черноморцев».— «Как будто читал, пане кошевой». Я аж вытянулся перед ним на носках. Одарушка моя утром ворчала, шо я ей спать не давал, толкался та разговаривал. «Укажи мою могилу Бабычу, пускай крест поставит надо мной. И сходи к Бабычу, скажи, я просил, он на нашем казацком престоле сидит. Он гордо носит голову

на плечах и булаву в руках крепко держит. Нашей Сечи не отступайте обычаев, в старовыне кохайтесь. Хоть за шматком хлеба да за горилкою вспоминайте нас, дети мои. Да царице Катерине, шо вы поставили в Екатеринодаре, поклонись, она землю давала войску. Скучно у вас, боже, як ску-чно. На черта вы чужих понапускали в Екатеринодар? А шо то у вас фонари красные пооткрывали? Яка така смута у вас гуляла по Кубани? А ну скажи Бабычу, нехай подаст нас казакам хоть с глины вылепленных. А то какою мерою мерите, тою и вам возмерится. И крест поставьте. Все понял?» Проснулся я, батько, и давай думать: колы я мог читать надпись на могиле Бурсака?! Ач! То ж малолетком, лет до шестидесяти назад — ще пластуны наши в плавнях хрюкали кабаном и дикой козой бекали,— читал, правда, на чугунной плите надпись, плита на кирпичах и памятник уже разрушился. Не помню, шо там выбили, читал я тогда по складам и толку не мог дать. И она, эта плита, ще была, колы я приезжал с Петербурга после первого марта, чугунная доска уже сброшена была к порогу церкви, а недалеко часовня атамана Чепиги. А-а! — думаю, сперва найду, а там уж скажу и самому Михайлу Павловичу.

Бабыч сидел, стянув брови, и думал о чем-то. Седые короткие волосы на круглой голове блестели; стар атаман войска, стар, никто в его возрасте не носил булаву, рано прибирала их смерть.

— Проснулся, а не встаю. Часа три никак,— гадаю. Тоска, сердце и не стучит аж, хоть шаблюкой порог скреби — тошно. Чи кончилось мое казачество? — думаю. Ще недавно и в голову не клал. Жили, воевали, на скачках золотые часы с полу хватали, и награды те же цепляли, а шо-то не то стало. Встал, почистил свой конвойский мундир, в зеркало пику свою сунул: ничего казак! И сала не поел с луком, пойду, пойду, нетерплячка меня гонит, пойду до батька, потребую! Ей-богу! — перекрестился он перед Бабычем.— «Куда ты? — Одарушка на меня.— Прямо без тебя вода не освятится!» Не иначе меня цыган заместо кобылы подковал. Палку в руки — и напрямки с Пашковки скорым ходом. Иду, голову задрал на Ерусалимскую дорогу (чи, как ее в толстых книгах называют, Млечный Путь), горюю, как дед мой ходил на одной ноге, так как другая у него была отпилена повыше колена, на дрючок опирался, носил запорожский костюм (шаровары и красные сафьянцы с подковами, и здорове-енная люлька в оправе, а за ухом оселедец). Гладил, бывало, меня по голове и спрашивал: «Чегось ты, козаче, не носишь оцього? Ты б,— моргал отцу

моему,— приказал бы нашему козаку носить оселедец, добрый запорожец с него вышел бы! Послали б его на генеральский парад в Катеринодар». Иду, вспоминаю, как мать мою черкесы в плен схватили. В городе был около шести часов. Как раз базар. У Баграта рюмочку в обжорке выпил, гусачком червячка задавил — и на кладбище.

Костогрыз замолчал, склонив голову.

— Ну-ну.

— Дуже мне загорелось найти сего черноморского атамана и доложить тебе, батько. Веришь? Та веришь, вижу. Сперва нашел одну старую оградку, в какой стоит три креста. Два креста железные, выкрашены и вроблены в каменные плиты, а третий деревянный старый. Могила атамана Чепиги? Неужели то захаянная могила славного атамана? Около оградки есть ще каменная плита, то похоронена чьясь дочка. А где ж Бурсак? Пошел я прямо до войсковой церкви, тут уж, думаю, найду. Поклали свои головы деды на покорение Кавказа, а их мертвых следов нету. Скот гуляет по кладбищу. Подошел до одной разбитой деревянной оградки, опять три креста, без всякой надписи. И стоит старый-престарый дедусь и копает штось заступом. «Чи не знаете, дедусю, где похоронен атаман Черноморского войска Бурсак?» — «Тут он и похоронен. Оце. На его могиле я и стою. И часовенка — видишь?» — «А вы не Толстопят?» — «Толстопят».— «А сколько ж вам годов, шо вы ще ногами ходите?» — «А уже сто, может, больше, я пережил всех атаманов».— «Та я же вас знаю! Мы с вами родичи. Брат моего деда взял сестру вашего брата по матери».— «Нас много на Кубани. На собаку палку кинь, а попадешь обязательно в Толстопята».

— Тут, если покопаться,— сказал Бабыч,— половина Кубани в родстве.

— Ага. «А вы ж,— спрашиваю,— добре знаете, шо це могила Бурсака? Мне сдается, то могила Бурсака помолодше».— «Не».— «Неужели под сим крестом лежит сам Бурсак?» Э-э, догадался бы сизый орел, шо его могила будет так захаяна и надписи на кресте не прочитать! Стоит дедусь без шапки с сивой чуприной и показывает наугад. Нету могилы, заросла гдесь травой. Кому ж мы тогда нужны? Пропало казачество.

— Не пропало,— сказал Бабыч.— Кровь запорожская в наших жилах.

— Одна жижа. Раньше у казаков сердце за батьковщину горело, а теперь оно как телячий хвост мотается.

— А не те ли казаки мне приговоры пишут? — Бабыч

взял со стола номер «Кубанских областных ведомостей», поднял его над головой.— Станицами пишут.

— А и не те. Писарь в правлении нашкарябает по старым приговорам, та там его обступят такие ж с люльками, как я: «Где ставить крестик?» А помоложе? Побей мне шею, батько, шо пропало наше казачество. Того уже нема, шо в старовыну.

— Читать можешь?

— И даже без очков. Шо там?

— Так читай и не мути мне.— Бабыч подсунул Костогрызу газету, ткнул пальцем в жирный заголовок.

Сообщалось, что казаки-старики, бывшие участники русско-турецкой войны, на свои пожертвования приобрели для церкви икону св. великомученика Георгия Победоносца и отслужили молебен и панихиду по убиенным на поле брани. А затем в хате одного своего товарища накрыли стол, пили за здоровье государя, наказного атамана и атамана Ейского отдела. «Любо было поглядеть,— читал Костогрыз сквозь слезы умиления, жалея, что его самого не было там (в пояснице стреляло), что пашковские казаки не догадаются устроить себе то же,— как все, позабыв горе и невзгоды войны, выражали желание идти и теперь по царскому зову на поле битвы. Во время обеда один другому напоминали о Карсе, Дунае и т. д. Дай бог, чтобы эти старики были долговечны на земле».

— Оце добре,— сказал Костогрыз, слюнявя ус.— Це понашему. Ах, меня там не было! Хоть я в чистой отставке, а на коня взлезу. Ось шо скажу: Костогрызы все на одно лицо. Жалко, шо я атаманом не был.

— Та ну?

А шо, великая штука быть станичным атаманом? Я б выдал историю: всех где шуткою, где дрючком поднял.

— Ото такие, наверно, брехуны и турецкому султану письмо составляли.

— Такие, как я. Ще хуже.

— Без чарки и дня не проводите?

Костогрыз с чего-то уставился на портрет царя Николая, перекрестился и сказал Бабычу:

— Не при открытом портрете государя будь сказано, но, господи прости, их батько Александр Третий играют в шашки, и, как императрица Мария Федоровна пройдет мимо, он руку за голяшку, пузырек оттуда р-раз и выбулькает немножко. А я сбоку на часах стою. Ну! И казаки наши шутили: дай боже, шоб добре пилось и елось, а работа на ум не шла. А в Петербурге тож угощали.

Пора было остановить Костогрыза и выпроваживать.

— И уродило ж тебя, Лука,— сказал Бабыч.— Ты и правда веришь в эту брехню? Видно, горилку пьешь по целому чайному стакану.

Лучше не пускать казака больше, его словом не заткнешь.

— Горилка, как та добра девка, хоть кого с ума сведет. Паны не слишком-то казакам по чарке давали: они больше сами пили. Но был генерал — угадайте кто? — Костогрыз с торжествующей угодливостью помолчал.— Батько ваш Павел Денисович. Не его ли черкесы боялись? Не он ли с адагумским отрядом расчищал низовую Кубань? Черкесы звали его Бабука.

— Ты думаешь, я не знаю про своего батька?

— А вот и не знаешь, шо было под станицею Уманскою в лагерях. Атаман отдела посозвал всех после парада и давай нас лаять. Мы стоим и молчим: ему хоть как старайся, а он шо-нибудь выкопает и начинает чистить редьку.

— О, чтоб с тебя дух выперло, Лука,— ты опять за балачку.

— Отолью ще одну пулю и кончу. Стоим, слушаем. Колы выходит ваш батько! Прислушался к лаю, подошел и давай нас хвалить, шо мы самые лучшие во всех делах казаки, на нас вся надежда начальства. А потом приказывает: «Айда все за мною, выпьем по чарке!» Привел нас в лагерный шинок. «Наливай,— приказывает жиду,— горилки» Тот посчитал нас всех пальцем и налил каждому особую чарку. Бежит он с теми чарками на подносе, а батько ваш, царство ему небесное (и матери вашей Дарье так же!), как крикнет: «Это что?! Ты с ума сошел? Вот этим героям подаешь какие-то наперстки?! Налей нам всем чайные стаканы!» Тот поналивал стаканы, до краю полные. Взял ваш батько стакан и сказал: «Ваше здоровье, казаки!» И, прости господи нас всех, выглотал весь стакан до дна! А мы, на него глядя, тож так. Эх, пропало казачество. Может, с твоим приходом, батько, мы, куда ни повернемся, будем опять первыми. Пошли нам, господи, шо было в старину.

— Время другое, Лука.

— Оно, может, так. Глянь на мою голову, на ней уже волосья повылезли, та и ум с ними. Да и ты, батько, седой весь. Ой, не дай боже. Для кого кресты надевать? Пришел до тебя, вытряхнул всю суму. Шо на це батько скажет?

— Слава богу, шо мы казаки,— сказал Бабыч, но сказал без души, как начальник, который каждую минуту знает, над кем он стоит и кто над ним. Лука же распустился со

своими чувствами чересчур и готов был горевать до самой ночи.

— Сколько с вашей Пашковки в Петербурге?

— Богато наших. Сейчас чего не служить. Под тою же Уманскою в лагерях разве так, как теперь, нас гоняли? Та шо говорить... Мало кто оставался небитый. Есаул Толстопят, батько вашего друга, по случаю окончания сборов гуляет на квартире с офицерами. «Паны атаманы! Дарю казакам сто рублей на водку! — в шапку бросает.— Кто еще жалует казаков?» — и носит шапку по залу. Пропало, сгинуло казачество... И могилу старого Бурсака затоптали. До того дойдет, шо наших могил, может, и искать будет некому.

Бабыч, не желая последнего сближения и откровенности, выпрямился и принял начальственную позу.

— Вон,— вынул лист с приказом,— сейчас разрешаю выходить на службу с батьковской или дедовской шашкой.

— Добре. Пошли нам, господи, шо было в старину. Я так каждое утро крещусь.

Бабыч в своей утренней молитве не признался.

— Ох, я строгий до тебя шел, батько. Прямо ругаться думал.

— И не боишься меня?

— А чего? Не родись я таким веселым, та если б у меня были сапоги продолжать учебу, я б тоже до генерала дошел.

— До генерала аж? — Бабыч захохотал.

— А шоб меня моя Одарушка в хату не пустила и шоб меня дети варениками не угощали — дошел бы до генерала, если б не мой язык и не сапоги. Я поругаюсь с бабкой, то кричу: «Тебе мало, шо я урядник, хочешь выпихнуть в есаулы?» Шо вы смеетесь?

— Через то смеюсь, Лука, что мы без тебя не иначе б пропали с войском.

— За мою голову колысь черкесы десять тысяч золотом назначали. Теперь она никому не нужна, и у меня в ауле Султан-Гирея черкесы в друзьях, каждое воскресенье к нам приезжают.

Непривычная аудиенция кончалась. Наверху, на втором этаже, где кто-то играл на фортепиано, ждал Бабыча завтрак. За борщом генерал сидел с Костогрызом только на охоте в Красном лесу. В стороне принято держать верноподданных. Когда ездили запорожцы в Царское Село, за высокую милость и снисхождение почиталось соизволение Екатерины прислать при окончании стола винограду и персиков на золоченой тарелке.

— Хорошо поговорили,— сказал Костогрыз.

— Ты скажи лучше, казак, тебе, может, нужна какая помощь от меня? Хозяйство справное?

— Меня пасека кормит. Но раз ты, батько, так круто повернул вопрос, то у меня такая к тебе просьба.

— Слушаю тебя, Лука.

Лука Костогрыз уверенно взглянул на портрет государя

— Хочу письмо царю послать!

— Чего так?

— Почтительное прошение подам царю Николаю Александровичу. Скажу, шо батько ваш, Александр Третий, шутил со мною и был милостив и как-то сказал: «Помни, Костогрыз, за богом молитва, а за царем служба не пропадет, и если что с тобой случится и нужна моя помощь, то приходи ко мне, а остальное дело — уже мое». Ну, его уже нет, а я доживаю с внуками. Прошу, мол, ваше величество государь Николай Александрович, успокой мою старость, пожалей меня, возьми моего самого меньшенького внука к себе в конвой. Будьте и вы, великий государь, отцом родным до конца. И подпись: Лука Костогрыз.

— Гм...— Бабыч заерзал.— На такое прошение, Лука, надо взять у меня позволение. Или ты не знаешь по старой службе? Без меня письмо не дойдет к государю. Это все будут писать — когда ж царю руки высвободить?

— Так мне ж, не кому-нибудь,— попер Костогрыз на генерала,— его батько, Александр Третий, сказал: пиши, Лука, проси, что надо. Ач!

Бабыч ухмыльнулся: мол, временная царская ласковость всего лишь пример для двора или жест во имя доброй молвы. Но вера Костогрыза в царское обещание была столь великодушна, что Бабыч даже залюбовался казаком. Сколько всяких писем, жалоб и просьб приносили ему на стол. На некоторых, проскочивших в Петербург, стояли гневные надписи: «Строго внушить казаку такому-то, что нельзя без ведома местного начальства беспокоить его величество. Министр императорского двора граф Фредерикс». Бабыч накладывал резолюцию еще строже.

— Так дайте разрешение...

— Если хлопец красивый, здоровый, нравственности хорошей, отправим. Я скажу, когда из Петербурга приедет офицер конвоя. Лошадь купишь?

— А как же. Самую дорогую.

— Станичное общество выделит часть денег. А могилу атамана Бурсака поищем. Славу черноморскую забывать нам грех.— Бабыч уже поднялся и говорил официально.—

Не горюй, Лука. Казачество ще не упало. Или ты не веришь своему кошевому?

— И дай бог, дай бог,— благодарил Костогрыз.— Позабывали роды казачьи. Нам не простится.

Костогрыз чуть не заплакал. Никому ничего не нужно, так? Все ушло, заросло бурьяном, и даже старые казаки-генералы потеряли в суете царской службы и расправы с бомбистами всякое чувство к черноморцам. И плакать некогда — Бабыча на борщ кличут.

— Колы на охоту поедем?

— На болотную птицу не езжу, а с пятнадцатого июля на перепелок вызову тебя, осенью в Красном лесу оленей погоняем.

— Там и добеседуем. Поживем ще. Казаки, колы дома кипяток с заваркой пьют, то и сахар в мед умочают. Никудышная жизнь.

— Пускай пашковцы тротуары мостят! — сказал Бабыч на прощание.

— Исправимся. Много чего бьет по нашим порядкам. Ох, и похватаю сейчас вареников. Тридцать одну штуку вчера умолол. До свидания, батько.

— Дай боже тебе, Лука, долгий век и лебединый крик.

— Челом пану кошевому.

Костогрыз поклонился портрету государя, потом наказному атаману и бодро вышел.

Бабыч перелистал свежий номер «Кубанских войсковых ведомостей», прочитал приговор станичного сбора:

«Город Екатеринодар, где завелось разбойничье гнездо, где угрожают жизни нашему наказному атаману со всеми его помощниками, недостоин той чести, чтобы в нем жил наш атаман. Зная, что генерал Бабыч с презрением смотрит в глаза смерти, мы тем не менее, для пользы всего Кубанского войска, убедительно просим его превосходительство перенести, хотя бы временно, свою резиденцию в станицу Пашковскую...»

Еще сохранялось на Кубани военное положение, и наказный атаман Бабыч был одновременно и военным генерал-губернатором. Еще слуги царевы не все вычистили, не всех упрятали в Сибирь, и от угроз и организованных по станицам защитительных писем кровь била в голову. Надо чтить черноморцев, кто ж спорит. Но знали бы те черноморцы, что прошли, видно, навсегда тихие безропотные времена.

Все стало не то и не так. Не тем выглядел и Екатеринодар. Разворошили купцы и подрядчики дедовскую черноморскую глушь.

Еще сорок — пятьдесят лет назад, когда закончилась кавказская война, Екатеринодар мало чем отличался от станицы. На Красной торчал один-единственный керосиновый фонарь. Не для кого было светить по вечерам: богатых гуляк набиралось с десяток, казаки ложились спать в сумерки, закрывая ставни или гася свечки (до войны — чтоб не манило светлое окошко черкесскую пулю, после войны — от какого-нибудь разбойника Браницкого). Сложилась за десятилетия сторожевая неприютная жизнь, и довольны были тем, что бог послал, в первую очередь тем, что не напала холера, накормлены дети и есть в кувшинах свежее молочко. А уж культура, театры, заезжие артисты — зачем они? Голосов в каждой станице своих много. Цыгане за Дубовым мостом пели так громко, что во дворце наказного атамана, бывало, говорили: «Це опять, наверно, чьюсь кобылу продали на ярмарке». Расказачили станицу Екатеринодарскую. Продали дубы-великаны по три рубля за штуку. Завели вокальную музыку.

Когда Лука родился, в городе числилось по дворам шесть тысяч (и все казаки), а сейчас дотянуло до ста (из них больше половины чужих). На крестах деревянного войскового собора каркали вороны, и возле, на Крепостной площади, охотились на диких уток. Вон скачет Терешка, а тогда ни одного извозчика не увидишь. Сто тысяч! На что они тут? Недаром когда-то старый полковник-казак, недовольный вторжением в Екатеринодар чужеземцев, решил до кончины своей не выходить из хаты, что и исполнил. Никакими буйволами не затянуть Луку на жительство в город. Где на Крепостной площади высокая трава и полевые цветы?

Обо всем понемножку вздыхал Лука Костогрыз, пока медленно, несколько раз сворачивая на колене папироску, шел мимо ювелирного магазина, мимо двух шикарных гостиниц с оркестром в зале, где пируют каждый вечер какие-то пустые людишки, мимо лихачей с барышнями на кожаных сиденьях. Сорок-то лет назад барышни выезжали в войсковое собрание на балы в кромешной вечерней тьме. В зале звонкими шлепками по ногам били комаров. И недалеко от того места на углу Базарной, где он сейчас прошел, вечно зазывала открытой дверью гостиница «Куцая пани», прозванная так по ее владелице, грязной и коротконогой бабочке; в кособокой хате под камышом пугали приезжего из России земляные полы с лягушками, тюремные комнатки с тусклыми окошечками. Брезгливым господам из Петербурга угодно было потом рассказывать анекдоты: как дали весной побеги утонувшие в грязи сани; как якобы ломили с них

цену за квартиру и бараньи хвосты на ужин и как перед набегом черкесов на город делали казаки завалы на улицах, мешая проезду скрипучей арбы. На службе в Петербурге Костогрыз тосковал по длинным рядам лавок с навесами, и по прямым, наподобие узких просек в лесу, улицам, и по черным клубам дыма за Кубанью, где черкесы жгли камыш.

Почему теперь Красная голая из конца в конец? Что там наляпали у Нового рынка? Зачем понакопали винных погребов, складов? Кому пересчитать все шашлычные, в которых скрываются нечистые девки? Помирать скоро, что ли? Никто бы Костогрызу не доказал, что город украсился и стал благообразнее. Как запомнил он его в детстве, в тот первый раз, когда завез его дядько на мажаре ко двору певческой школы, так все и сохранилось в нем. По узеньким дощатым тротуарам ступал он вниз к Кубани под тенью толстых дубов, и, куда ни поворачивали, везде за длинными заборами над крышами хаток шелестел сочный лес и всласть пели птицы! Была такая радость на душе, будто попал он волею своего краснощекого дядьки в далекий сказочный край, где у заборов дети рвут ягоды, в лавочках с железными болтами тетеньки продают конфекты, на дубах у Бурсака сушится трехметровая рыба и в длинной хате под зеленой крышей курит люльку сам наказный атаман! Пропев регенту праздничную песенку, долго-долго ехал он после в станицу, держа в кулачке конфекты и гадая о казачьей шапке, которую сошьет ему через неделю мастер, за что-то называвший его во время примерки «храбрым лыцарем» В певческой школе он вставал рано, любил ходить к хате атамана и заглядывать через огорожу. Беленький, чистенький, с большими окнами домик стоял у Карасуна, недалеко от духовного училища. Возле крыльца всегда держал на плече обнаженную саблю часовой казак, и ни один глаз его не моргал, если мимо по двору переступал лапами прирученный журавль или кричал на задах павлин. Так хотелось маленькому Луке постоять там вместо часового и хоть разок пугливо вытянуться перед кошевым атаманом! Такого счастья, наверное, не будет. Но однажды на зорьке он увидел наказного атамана. От атаманского дворца рыли какую-то канаву. Лука побежал взглянуть, ходит ли около пушки на колесах часовой. Вдруг из дворца появился какой-то старый человек в фуражке на затылке, в белых кальсонах, в калошах на босу ногу и поношенном военном сюртуке. В руках держал деревянный шест аршина в три длиною. Добился своего Лука: атаман мельком взглянул на него и пошаркал в калошах к канаве, спустил в канаву шест. Лука тоже по

дошел, атаман посправшивал его, погладил по голове ровно за то, что хорошо знал и его батька и деда. Было интересно, сделает ли часовой саблей «на караул», когда атаман не в штанах с лампасами, а в белых кальсонах пройдет мимо. Ну как же! — часовой просалютовал как обычно. Кругом было пусто, за Крепостной площадью перелетали туда-сюда гуси.

Все двенадцать атаманов давно в могиле, и нет больше его города Екатеринодара. Седой его голове, может, и все равно, а душа вдруг заскорбит – жалко чего-то. Кому понять тоску старого казака, когда он видит на месте войскового храма гнилые черные доски? Так же дед его вздыхал по Запорожской Сечи. Недаром же сказано в нетленных писаниях: «...и всходит утро, и гаснет заря...; взверзи на Господа печаль свою...»

НЕБЕСНЫЙ ГОЛОСОК

Пусть бедная старость горюет о прошлом! Пускай себе Костогрыз и его товарищи поминают дни, когда они не пропускали ни одного войскового торжества и старейшие по летам говорили речи во время закуски. У молодости нет сожалений

Да, это в 1908 году Петр Толстопят устроил себе маленькое приключение. Так и говорил в пожилом возрасте: «Помню, в тот год приехал Бабыч» Еще недавно, гуляя по замерзшему Карасуну с барышнями в ярких платках и шляпах, он робко, чтобы проводить до дома поглянувшуюся красавицу, отнимал у нее колечко и отдавал его лишь у ворот. И вдруг учудил: набросил на Калерию Шкуропатскую кавказскую бурку!

Когда Калерия перестала всхлипывать, Толстопят наклонился к ней и сказал:

– Вы должны быть счастливы, что я вас увез. А вы плачете.

– Что за черкесские нравы!

Ваша честь не запятнана. Я привез вас в гостиницу, только и всего.

В какую гостиницу?

Губкиной.

О-о... Она снова прикрыла глаза рукой, которую Толстопяту хотелось поцеловать. — Какой ужас, какой ужас.

Толстопят не внимал ее стонам, крикам и жалобам. По-

думаешь, плачет красивая барышня, просится домой и грозит. Ей не понять его сумасшедшего чувства. Ее бы любить, становиться перед ней на колени, целовать ее глаза, и сущее преступление — отпускать на волю, стать потом ее врагом навсегда. Он глядел на ее распухшее лицо и любил ее. И нисколько не раскаивался, что поступил нагло и дерзко. У казаков всегда так: хочется кого-то приласкать, вместо этого грубость. Вроде иного выхода не было, как только украсть ее на извозчике.

— Отпустите меня домой,— тихо сказала Калерия, и ее слабость Толстопят воспринял по-своему: сейчас он сломит ее ласковым красноречием. Она ненавидела его словами; взглядом же, этим вечным отблеском таинственной бабьей души, говорила другое: мне нравятся твои загнутые усы.— От-пу-сти-те! — замотала она головой и заплакала снова. Она уже несколько раз впадала в истерику и затихала вдруг, лежала на диване с закрытыми глазами, и тогда Толстопят хищно думал: ну вот и все, еще немножко, и она простит.— Слышите? Вас арестует полицмейстер!

— Ха-ха! Может, еще скажете, пристав Цитович? Я офицер.

— Офице-ер... Из-за таких, как вы, нас и зовут куркулями.— Она глядела на него так спокойно, словно была старше и что-то познала на свете.— Все вы в отцов своих.

Толстопят стоял у окна и смотрел на прохожих Бурсаковской улицы — по ней полчаса назад мчал их в фаэтоне Терешка. Падал редкий снежок. Хмель еще раскачивал его. Доброе подавали вино на проводах Дёминой тетушки Елизаветы в Париж. Разве погнался бы он за Калерией трезвый?

— Такие мы, казаки, дурные да грубые, а без нас не обойтись. Так одни фазаны бы по степи и летали, если б не казаки. И вы казачка.

— Отпустите меня.

— Не понимаю вас. Ведь это как в романах.

— Это гадко. Пустите мои руки.

— Вы не хотите со мной поужинать? Проедем на лихаче к роще, потом в «Фантазию», а может, и в «Яр»? Ну, тогда будем дуться в гостинице. Извозчику надо встречать какую-то Швыдкую, я его отпущу.

— Угрожайте сколько угодно.

— Я бы посчитал себя совершенно несчастливым, если бы вам угодно было искать в моих словах то, чего в них нет,— сказал Толстопят вычитанными где-то словами.

Я вас вообще не слушаю.

— Давайте я вас перекрещу, и мы станем друзьями. Это выбор моего сердца. Перемена жизни, как говорят гадалки.

— Не довольно ли на сегодня?

— Если вы скажете, что будет завтра, я вас отпущу. Я совершил дерзость, но вы увидите, что я благородный человек.

Она молчала, выражая все свое презрение к его разгульной болтовне.

— Вы мне давно нравитесь, Калерия. Я не раз слышал ваш небесный голосок. Такая в нем высокая нота, и смех ваш — перелив колокольчика. В шуме толпы на Красной я тотчас же ловлю, что смеетесь вы. Не верите? Вы даже плачете звонко. Не верите? Когда же вы с подругами болтаете под часами у магазина Гана, в вашем голоске столько радости,— просто, черт возьми, я готов бы обворовать этот золотой магазин и высыпать все кольца на вашу головку.— Толстопят улыбнулся, приглашая Калерию ответить тем же. Калерия как будто размышляла, что ей делать. Толстопят вытянулся к ней как жираф.— Небесный голосок молчит. Я знаю, я все погубил. Вы мне не простите? Не простите, да? Умолкла навеки. Охрипла — наверно, мама утром поила холодным молоком. Бедняжка. А левый глаз хитрый. Левый глаз любит хорунжего Толстопята. Завтра и правый полюбит. Так же?

Подобно ребенку, поспорившему, что он не разомкнет губы, сколько бы его ни смешили, Калерия улыбнулась и с досады прикрылась ладошкой.

— Возьмите у меня шестое чувство,— приставал Толстопят.— Я богатый. Вот был бы я Сахавом, у меня обувной магазин, автомобиль, первый в Екатеринодаре, не на извозчике поймал вас, а на автомобиле — вы бы меня задушили в объятиях. Руки были бы волосатые, но это ничего. Так же? А то хорунжий, казак, куркуль. Или вам нужен граф Воронцов-Дашков? Но он старый. Не советую. Давайте я сосватаю вас за Луку Костогрыза, ему всего семьдесят четыре года. А речи на обедах говорит, а романсы поет. И стихи пишет: «Швырнул Задеку я из рук, та й попхався я в Темрюк, встретил дивчину як гречу, та й понявкав ии в Керчи». Наш Пушкин.

Отстаньте, отста-аньте, ради бога!

Над головой Калерии висела картина Жиранда «Продажа невольниц» Обнаженные турчанки, еще дети, дожидались после купальни своей участи; одна из них, которую высокий торговец в длинных одеждах подвел к властелину,

стыдливо согнулась вперед и прятала под рукою свое лицо. Грешные мысли обуяли Толстопята. Он бы не прочь поменяться местами с деспотом и согласился бы любить всех этих хорошеньких невольниц. Маленькая кудрявая Калерия не понимает, с кем ее счастье, а у него нет над нею восточной власти. Он украл ее невзначай, когда она шла от доктора Лейбовича, увидела его и будто не узнала, но гордо, игриво вытянула шейку и потом оглянулась. Это его и вскинуло. Терешка ехал пустой по Рашпилевской. Толстопят поманил его перчаткой, прыгнул на ступеньку и сказал, чтобы тот притерся к тротуару. Калерия что-то сообразила и прибавила шагу. Они нагнали ее. Толстопят спрыгнул, накинул на нее толстую кавказскую бурку, подхватил на руки и занес в фаэтон. «Гони к Губкиной!» — крикнул Терешке. Извозчик не успел возразить. Калерия потеряла сознание. Толстопят прижимал ее к себе. Она очнулась, разорвала его руки. Он снова запахнул ее в бурку с головой. Подкупленная прислуга в гостинице провела в номер на втором этаже. Толстопят свалил Калерию на диван и не позволял ей кричать. «Будет хуже!» — стращал он ее и не мог прикинуть, что теперь делать, зачем ему она тут.

— Я вас засватаю,— сказал Толстопят.— Пошлю своего друга на переговоры с вашей матерью.

Она молчала.

— Наш Екатеринодар — большая станица, тут все известно про каждого. Каждую субботу, в шесть часов вечера, вы говорите родителям, что идете к Нине, выбегаете на угол Екатерининской и Красной, садитесь на извозчика. Куда вас возят?

— Не ваше дело.

— Я вас ревную.

— Я с вами даже незнакома.

— Будем считать, что познакомились.

— Я была бы неприличная барышня, если бы считалась вашей знакомой без посредника.

— Я на вас глядел на льду Карасуна. В прошлом году на ситцевом вечере вашу подругу — она музыкантша? — оштрафовали на рубль за платье. Вы не помните, как я на вас смотрел?

Калерия пошевелилась и отвернулась, как будто собиралась спать. Толстопят подсел к ней, точно к больной:

— Хотите воды?

— Вы поступили со мной как с дамой полусвета.

— Простите! — Толстопят стукнулся на колени и приложил руку к сердцу.— Вы не пожалеете.

— Разыграть изящный флирт вам не удастся.

— В вашем доме бывал мальчиком мой друг Дёма. Вы играли в «флирт амура», помните?

— Примите более удобную позу.

— Не встану, пока не простите!

— Я презираю вас,— сказала Калерия спокойно.— Отпустите меня, или я скажу наказному атаману. Что вам от меня угодно? — Она встала. Поднялся с колен и Толстопят.— Зачем все это?

— Я вас люблю...

— Какой вы глупый.

У Толстопята задрожала нижняя губа: он признался и был тут же унижен.

— Прыгну с кручи! Прыгну с кручи, где Бурсаковские скачки! В Кубань прыгну, чтоб доказать вам.

— Я вижу, у вас еще не весь хмель вышел. Сколько у наших казаков дури.

Калерия, видимо, успокоилась, и больше всего оттого, что Толстопят плошал с каждой минутой. Вся его первая удаль намокла, и он стал как тряпка. Он подошел к пианино, поднял крышку, взял несколько аккордов. Потом ухнул на круглый стульчик, зло врезался локтями в клавиши. Что вытворяет вино: Толстопята ценили на службе в 1-м Екатеринодарском полку, он был из хорошей семьи — четыре старших брата, сестра-мариинка, их отец воспитывал в строгости. Но как выпьет казак,— шашку в руки — и рубать!

Ему было двадцать два года, а ей восемнадцать. Она жила недалеко от гостиницы «Нью-Йорк» в большом доме с вазами на фронтоне. Широкоглазый Толстопят нравился девочкам смалу, ему больше всех писалось интимных вопросов, когда они, пятнадцатилетние, играли в «флирт амура». Тетушка Дёмы покупала коробку с карточками, каждый брал себе несколько штук, читал и думал, какую цифру он сейчас назовет и передаст карточку тому, кого «любит». Начать можно было с простого, не стыдливого: «Что вам нравится?», «Когда ваш день рождения?», потом отважиться и отчеркнуть под цифрой такое: «Почему вы не бываете в обществе?», «Могу ли я вас проводить?» — и с трепетом ждать ответа. Игра-шутка возбуждала юное любопытство к той правде, которой жили взрослые: они поторапливали тайну, скрытую в словах романса, напеваемого в соседней комнате тетушкой: «...и жизнь ушла навеки за тобой!» О-о, какой райский лес впереди. Скоро ли прискачет их время? Кажется, никогда не дорастешь.

Теперь Толстопят спел ей этот нежный романс.

Счастье мне и радость обещала,
Ты ушла, и жизнь ушла навеки за тобой...

Калерия понимала, что он объясняется с ней, льстит чужими словами и очищается. Сколько раз бывало: идет она летом на закате по Екатеринодару, не там, где шашлычные и винные погребки, а по аристократическому уголку, и послышатся из окон скрипка, рояль, чей-то голосок, и захочется так же блаженно страдать и клясться в любви.

Толстопят смолк. Уже в полной тишине независимо от них царствовала мелодия романса — в душе каждого, и кто о чем думал, чего желал — другому не передавалось.

— А знаете, что вас ждет? — спросил Толстопят.— Вы теперь будете думать обо мне. Проснетесь, а на памяти я.

— Я вспомню о вас, чтобы пойти и сказать наказному атаману. О том, какие у нас офицеры.

— У нас смена власти.

— Ничего. Бабыч накажет.

— Власть в первые дни всегда добрая. Сегодня пятница? А пятница — это, говорят, день Венеры.

Он хватался за любой пустяк, чтобы продлить свидание. Он чувствовал свое бессилие, страсть его перешла в мужское упрямство, когда во что бы то ни стало хочется сломить женское сердце. Он пел Калерии — почти не помогало, она лишь переставала плакать и обзывать; он рассказывал ей любовные приключения, истории дуэлей в Петербурге, пикантные исповеди на судебных процессах — глаза ее загорались, но, едва он потягивался к ней, она холодно вздрагивала и надувала губы. Эта маленькая сдобненькая барышня, в легком бреду конечно же чаявшая всего того, что случалось с героинями фривольных романов, отказывала ему в простой беседе. Он все испортил диким поступком. В домашних покоях, в саду грезится о любви без стыда; в жизни нужны приличия. А ничего привлекательного, когда мужчина скромен как девушка. Чужие происшествия только подталкивали Толстопята. Каждый день разыгрывалось что-нибудь. Терешка растреплется на стоянке извозчикам, и будет наутро знать весь город. И ничего! Другие истории замнут это похищение уже через месяц. Угрожающие записки с требованием денег на революционные дела производят фурор пошумнее.

Через пятьдесят лет пьяная глупость Толстопята казалась... Но, простите, об этом в конце.

— Вставайте, вставайте, вы свободны,— сказал Толсто-

пят уныло и просто.— Добродетель ваша достойна всяких наград. Не мне катать вас до Бурсаковских скачек и Панского кута. Но как удивительно бог все устраивает: мы с вами увиделись, ссорились, а между тем...— Толстопят глазами сказал, что это прощание их не означает конец всему.— Я провожу вас к фаэтону.

Каменная спина мордастого Терешки возвышалась на облучке. Толстопят сунул ему пять рублей, помог Калерии войти в фаэтон.

— Но дайте мне слово,— сказал он,— что мы увидимся. В «Чашке чая»! Хочу услышать еще ваш небесный голосок. Пускай это будет... ну, через год. Мы теперь связаны тайной.

— Какой?

— Этого свидания... Так же?

Она почему-то не рискнула сказать «нет!», «никогда!», «ни за что на свете!». Может, мешал извозчик? Толстопят пусто улыбнулся, шепнул ей «простите!», но она вдруг зло дернулась и подтянула ножки к сиденью.

— Терентий, голубчик, минут через сорок сюда же!

Он снова зашел в гостиницу, позвонил другу Дёме Бурсакову:

— Дёмушка, жду тебя в гостинице Губкиной, приходи, а то я пущу себе пулю в лоб! Из этого проклятого Парижа поедем в «Яр».

НАШ МАЛЕНЬКИЙ ПАРИЖ

— ...Наш маленький Париж!..

Что было в этом?

Шутка? Злословие? Простодушное квасное настроение — так взлелеять свой отчий угол, чтобы легче его любить?

И не обронил ли те слова господин, который Парижа никогда и не видел, но ему уже одни названия гостиниц и погребков внушали форс? Малы у базаров и по улицам зашарпанные гостиницы, но сколько внушительности в вывесках и на какую заморскую жизнь они замахнулись: «Франция», «Нью-Йорк», «Тулон», «Трапезонд», «Венеция», «Константинополь»! Вноси тюки, чемоданы, живи у нас сколько хочешь. И все прочее в Екатеринодаре как в далеком великом Париже, но чуть наособицу, на свой южный казачий лад. Там, в Париже, площади, памятники и дворцы? Не отстали и мы. Вот Крепостная площадь с гордой Екатериной II, вот триумфальные Царские ворота на

подъеме от станции, обелиск славы казачества в тупике улицы Красной, и неприступный дворец наказного атамана, и благородное собрание, куда на ситцевые балы съезжается весь местный бомонд, и Чистяковская роща недалеко от Свинячьего хутора, и городской сад с дубами «Двенадцать апостолов». И так же, как везде, как в самом Париже, простолюдинам устроены чревоугодные толчки — Старый, Новый и Сенной базары, и для кого попало ресторанчики, трактиры, «красные фонари» с намазанными желтобилетными дуняшками... Чем не Париж в миниатюре?!

А уж екатеринодарские женщины-казачки! М-м, они красивее, соблазнительнее худючих парижанок, и недаром же Екатеринодар по всей России слывет цветником желанных невест. У кого еще такие свежие, здоровые щечки, в чьих глазах столько сочной неги, блеска, игривого смущения, кто их горячее? Еще бледные красавицы северных лесов и среднерусских равнин кутаются в шубки и греют на диванах ножки под пледами, а уже наши казачки в легких туфельках, в тонких чулочках, укрытые от солнышка широкими шляпками, фланируют по Красной, мчатся в фаэтонах в Панский кут, а то и в Анапу, в Геленджик, молодые грубоватые офицеры, адвокаты, купеческие сынки, всякие гастролеры мысленно целуют их обнаженные ручки. Где еще допоздна, до лунного света, растворены в домах окна, из коих слышатся зазывные звуки романсов и пьесок? Где так процокают на сытых конях усатые казаки, провожаемые на лагерный сбор в беспредельную степь, затянут песню и скроются, оставляя томление в девичьей груди? Где еще увидишь стройные парады войскового круга и лихие скачки малолеток? Пусть смеются петербургские господа над нашим куркульством и вскрикивающей речью, пусть город ругают наши домашние газеты, пусть они чистят стальными перьями наши дворы и мостовые, проклинают владельцев ассенизационных обозов и с высоты пожарной каланчи морщатся на толкающихся по куткам хрюшек, но мы, его верные обыватели, рады, что кто-то выпустил слово на ветер: «...наш маленький, маленький Париж!» ...Возвращаясь на извозчиках в четвертом часу утра, мы всегда будем думать, что так оно и есть, и мы разнесем эту невинную молву о Екатеринодаре по белу свету, и молва станет выше вопросительных знаков, насмешек и правды газетных писак. У нас скучнее зимой, но когда город зацветет вишней, сиренью, акацией, когда сужаются улицы сводами ветвей и по реке Кубани к Азовскому морю отплывают колесные пароходы Дицмана и Голубева, когда от Графской и Соборной

по обеим сторонам улицы Красной разорванными цепочками потянется нарядная публика и над домами, над пожарной каланчой у городской думы весь долгий вечер светится сиреневая, прямо-таки парижская дымка,— откуда взять сил, чтобы бросить свой богоспасаемый град, променять его на какой-нибудь толстопятый Тамбов?!

И кому что! Благолепным старушкам — молебны, начальству — циркуляры, приемы и торжественные выходы на парадах, приказчикам — вечерние клубы с картами, орловскому бедному крестьянину — постоялые дворы, гимназистам — домашние спектакли, бесприютным — убежище нищих, калекам — тротуары и ограды церкви. Здесь, увы и ах, каждому сверчку свой шесток. Как и в Париже. Если вам позволяет карман, вы вольны у армянина Сахава купить американскую обувь с гарантией на полгода, ювелиру Леону Гану заказать часы из Швейцарии, у братьев Богарсуковых и Тарасовых приобрести товары, какие вашей душе угодно, Мерцалову и Усаню позвонить насчет балыков и заграничных вин, а турок Кёр-оглы испечет вам к святому празднику пасху метровой высоты. Кому что!

А какое у нас длинное-длинное лето! Сколько даров земных! Вы еще спите, а по камням города, с четырех его сторон, тарахтят у окон казачьи возы. Еще всего пятый час утра, молчат павлины в саду Кухаренко, только что пробили колокола наших храмов, но у рынка свои суетные традиции. Мещане-садоводы, казаки из станиц, болгары-огородники везут к трем базарам продукты. Там в корзинах виноград; там в мешках картофель, горох, семечки, кислицы; в клетках живая птица, на мажарах арбузы, дыни. Молдаване на своих длинных подводах везут тушки барашков; за ними вслед — черкесы с бараньими смушками, с кадками белой жирной брынзы. Куда там Парижу!

И чем же, скажите, не Париж? — такой же многоязыкий город, в котором издавна застряли, обжились и разбогатели армяне, турки, греки, болгары, евреи, немцы и даже персы.

И, говорят, на одной и той же параллели с Парижем уткнулся наш Екатеринодар.

А легенда о казаке, утонувшем посреди Красной в грязи с лошадью и пикой?

О господи, ведь это всего-навсего анекдот, побрехенька, не больше. Во хмелю ли, в дни расставаний, в записках к барышням или в час беседы с иногородними мы не перестанем хвалиться и повторять на высоких нотах: «...наш маленький, маленький Париж!..»

У «Яра» в Панском куте Терешка стоял часа два. Панский кут — укромное местечко с дубовым лесом — привлекал удалую публику каждую ночь. Над обрывом у реки Кубани, где умирали от черкесских пуль на кордоне первые черноморцы, какой год уж пили шампанское и обнимали в кустах за талии милых дам. От городской дачи Бурсаков надо было править мимо «цыганской долины» на босяцкую Дубинку, потрястись на рытвинах Ставропольского шляха и под станцией Пашковской, чуть ближе огородов немца Рокеля, повернуть направо. Всего восемь верст, а по тем временам — далеко.

В ресторане «Яр» Бурсак и Толстопят заняли отдельный кабинет.

— Ты сказал ему, чтобы он ждал нас?

— А как же, братец! — поднял Толстопят красивые плечи.— И десяточку сунул. Подожде-от Терентий. Ему не привыкать. Мы в той поре, когда спать вредно. Жизнь начинается ночью.

Словам Толстопята никогда нельзя было доверять вполне: в какую-то минуту он просто хвастался, иной раз повторял чужое, а чаще всего трепал языком не думая, под настроение. «Ты же вчера сам говорил!» — припирал его как-нибудь Бурсак. «Да я, наверно, сболтнул. Не помню». На службе в 1-м Екатеринодарском полку он так уставал, что некогда ему было разгуляться. Но и Бурсак, как все люди, подогревал разговор пустячными фразами и как бы не отвечал за них. Лишь бы не молчать.

— И пойдет о нас слава: бонвиваны!

— Какая-нибудь слава да прилипнет. Я буду где-нибудь с сотней в Карсе, а то и в Персии. Лямка царская на роду.

— Устал?

— И устал, и промок. Как выступили из Мцхеты, пошел дождь и шел за нами не переставая всю дорогу, аж до Усть-Лабы. Провожали с закуской, под полковую музыку, за городом протрубили на молитву, дамы шли впереди эшелона далеко, а от Военно-Грузинской дороги как припустил, как припустил. Переночевать пятьдесят копеек. Без самовара. Деру-ут! На Кубань зашли: «Есть что-нибудь постное?» — «Борщ, соленая капуста, огурцы». Солома по пятнадцать копеек пуд, о боже. Штаб-квартира скоро, командир полка дает предписание: вести людей в чистых серых черкесках, бурки не снимать, шашки вынуть. А дождь льет! В Пашковской смотр в восемь утра, атаман отдела прибыл. В канце-

лярии по рюмке водки. Я не спал три ночи. Грязь по колено. Товарищ взял с собой до хаты. Въехали во двор на быках. Доски до крыльца положили: оце гарно! А ты думаешь, я одно то и делаю, что гуляю? Не помню, когда в карты играл. Так погуляю с тобой!

— Что ж, погуляй. Погуляй, братец.

— Скрипочки не слышно.

— Закажем шампанского.

— Надо же и плохо пожить, не все сыру в масле кататься.

— Не все, братец.

У них случались минуты, когда они перехватывали интонацию друг друга, вторили словам, посмеивались над собой.

— Ужасно живем, братец! — Толстопят разводил руки над скатертью.— Нет счастья.

— Совсем нет, братец.

— Посуди сам: воруем барышень, ездим в «Яр», пляшем на балах,— ужасное несчастье!

— Лихач по три часа ждет,— ужасно, ужасно живем.

— Что это такое? Нельзя так трудно жить,— никаких забот, братец. За такую беспечность надо в конвой его величества! В конвой, в конвой.

— В конвой, в Царское Село. Посылать казака на конюшню графа Коковцева. Надоел ты нам здесь со своими скандалами в гостиницах. Твое приключение, кстати, совпало с буйством Пуришкевича в Государственной думе.

— Кто такой?

— Член Думы. Везде кричит и руки по швам. Когда сынок барона Мейендорфа (из свиты его величества) вызывал Пуришкевича на дуэль, тот ему, знаешь, что ответил? — Бурсак облокотился на стол и приблизил свой острый нос к кувшину с водой.— «Вы только дворянин, а я еще и Пуришкевич».

— Да кто он, мать его, такой?

— Черносотенец.

— А-а, это что кричат «Россия для русских!»? А я казак. Щирый в службе и завзятый в гульне.

— Я в него не верю.

— Пускай. Кто-то должен кричать за Россию.

— Зачем? — Бурсак недоуменно посмотрел на Толстопята.— Россия еще тысячу лет простоит и без помощи Пуришкевича.

— А вот и оно! — Им принесли шампанского.— Вы, господин Бурсак, только дворянин, а я еще и Толстопят. Дер-

жим бокал левой рукою, а правою крестимся. Слава богу, шо терпит наши грехи. В службе всем вставим толку, а дойдет до гульни, так и тут поперед всех. Милости просю, Дементий Павлович. Ага, оце наша горилка! Нехай будут живы та здоровы все девки та молодицы чернобровы. Костогрыз мастер брехать к чарке. Целый день гоняю казаков, так хоть раз зубы почистить. Нам, Дёма, не до Пуришкевича. «Слушаю, господин полковник, постараюсь, господин полковник!»

— Научишься пить, станешь Александром Третьим.

— Царство ему небесное, великий был человек. Подковы гнул, монету сворачивал, как листик. Слышу недавно: «Правильно сделали, что убили Александра Второго. Убили за другое, а вышло хорошо».— «Почему же хорошо?» — «Либерал, батюшка, был. Либерал. И поделом ему. И венчанный внук его тоже либерал. И его убьют». Не понимаю, Дёма, я человек военный.

Бурсак не удостоил Толстопята разъяснением.

— Они на жандармов денежки тратят, а первая революция обошлась России в три миллиарда рублей. Это контрибуция, какой не приходилось еще выплачивать никогда ни одной побежденной стране.

— Ничего,— сказал опять Толстопят бездумно.— Кавуны на Кубани продадим и покроем. Я был маленький, продал арбуз, купил открытку и послал государю поздравление к шестому мая, с днем рождения. Так меня вызывали к наказному атаману, вручили царский подарок. Сейчас меня разве этим обрадуешь? Того и жди Бабыч врежет: «Ты чего, бисова душа, есаульских дочек крадешь?»

— Он стро-огий.

— Казакам нравится это. «Свой батько — и все свое будет!» Пятьдесят лет не ставили нам в атаманы кубанского казака. Русь хитрая. Лука Костогрыз каждый день к дворцу ходил: «Нема ще? Скорей бы, хлеб-соль засохнет. Чертячии москали, курносые, разучили нас танцевать гопака».

— Я буду рад, если Калерия пожалуется.

— Да она уже любит меня, братец. Не спит сейчас. И грешна в мыслях. Они грешнее нас! Грешнее!

— Есть одна подробность,— тише сказал Бурсак.— У отца ее двадцать ли, сколько там, лет назад была связь с красивой дамой, и Калерия от нее.

Толстопят вытряхнул из пачки «Наполеона» папиросу и размял ее.

— Брехня.

— Шкуропатский решил забрать во что бы то ни стало

дочку к себе. Но как? Только подбросить к дверям. Договорились, так и сделали. Рано утром на приступочку крыльца положили сверток. И записочка: «Благодетельница, примите, вскормите как свое дитя». Жена, конечно, не подозревала. Но однажды она набила Калерию, и Шкуропатский, забывшись, заорал: «Как ты смеешь! Это моя дочь».

— Брехня! У, какая брехня! Ведь это то же самое, что и про твою тетушку: будто из-за нее Толстопят застрелился! Шкуропатский святой человек, трубач, все зубы себе продул на музыкантской службе. То перепутали с генералом Вишневецким. И что мне до этого? Ей скоро замуж. Терешка обвезет вокруг церкви, и она — мадам. Пью за тебя, моя дорогая! — сказал он, имея в виду Калерию.— За твои атласные ручки. Я тебе письмо пришлю. Как я люблю вас, как сильно, как глубоко,— вы и не предполагаете.

— Перестань нести чушь.

— Вас удивляет, что я вам пишу? Я уезжаю в лагеря под Уманскую. Я должен еще раз увидеть вас, должен вам сказать, что вы мое солнце, моя радость, весна. Обещайте мне!

— Ты ее принимаешь за дурочку?

— Она «Ниву» читает. Моя шалунья... Женюсь и заживем тихо в Екатеринодаре.

— Какой ты безобразный, Пьер.

— Да я хороший,— протянул к Бурсаку руку Толстопят.— Я давно поломал о твою чистоту все свои косточки. Ты поменьше осуждай меня.

Бурсак воспитывал его всегда. Сам бы он ни за что не осмелился домогаться ласки у барышни в ту минуту, когда надо просить прощения. Весь род Толстопятов такой: упрямый, самоуверенный, хищный. И не то было в роду Бурсаков: там пробивались сквозь колючки неугасающим терпением.

— Скажи по совести, стоишь ли ты ее?

— Моя мать всю жизнь доила корову и об этом не думала. Казак не без доли. Скрипочка уже слышна. И быки наши еще стоят. Сейчас поедем на Терешкиных быках по шляху и запоем. Запоем?

Бурсаку, робкому, деликатному, нужен был такой бравый товарищ, с манерами то положительного завсегдатая балов в офицерском собрании, то, как он смеялся сам, «обывателя со Свинячьего хутора». Так часто случается. Слабое сердце жмется к удали, даже если ее осуждают. Толстопят же в усталые минуты молодости не мог без Бурсака. Он и умница, и начитан, и всегда на стороне добродетели.

В свои слова Толстопят как бы не верил, он их выпускал из уст без оглядки и сам, когда что-то доказывал, ощущал пустоту, ему нужно было встречное слово, тогда он замечал, что его и правда слушают. Для Бурсака, такого тяжелого к действию, к шумной энергии, вся жизнь, казалось, все события, весь исход были в высказывании, в долгих обсуждениях, и он чувствовал наслаждение почти в любом разговоре. Недаром же он попал в стан присяжных поверенных; их поступок — речь.

— Костогрыз встретил меня и тычет люлькой в ноги: «Мой дед-пластун воевал в постолах за тридцать копеек та в рваной черкеске за рубль, та шапка на голове из козьей шкурки. Все обмундирование за три рубля. А теперь на вас, собачьи дети, подсвинки вонючие, и в пятьсот не вложишься. Теперь казак для народа, а обмундирование для разорения». Но если его дед, мой дед, твой дед воевали в постолах за тридцать копеек, это не значит, что я не могу выпить сейчас за пташку Калерию шампанского рубля на... четы-ре!

— Выпей лучше за Костогрыза и своего деда.

— И твоего! За кувшин с золотыми монетами! За Бурсаковские скачки. Живем. Никто никого помнить не будет, так поживем пока. За милых барышень... в постолах, ха!

Толстопят все болтал, хвалился, клялся, что к осени женится, рассказывал анекдоты из воинского быта, кого-то обзывал и над кем-то смеялся, но наутро половины из того, что он говорил, он не будет помнить. Так, когда во втором часу ночи они поднялись от стола и остановились у вешалки перед зеркалом, Толстопят, выпрямляя пальцами усы, громко и напевно сказал: «А хорошо бы, друзья мои, сейчас перед зеркалом застрелиться!.. Заплачет моя маленькая шалунья? И не подумает. Заплачет только отец с матерью да сестра Манечка. Где наши быки? Где Терешка?» И вышел хохоча, потом криком разрывая ночную тишину:

— Терентий! Мой друг, быки готовы?

— Пожалуйста...— рядом отозвался извозчик.

— Что скажешь интересного, мой хозяин? — приставал Толстопят, когда поехали по сырой дороге.

— Мое дело слушать, возить да молчать. Дождь, видно, будет.

— Ты у нас большой генерал. Вези! Вези, Тереша, по жизни да не растряси, уж прошу, пожалуйста, а то мне хочется застрелиться.

Все уж кругом спали, собаки только взлаивали в Пашковской. Две вороные лошади легко уносили их в тьму, за

которой в лужах стоят улицы их города. Такое было настроение, будто едут они домой издалека и в Екатеринодаре что-что изменилось.

Дождь прекратился, виднее стали сады и карасунские озера, и Толстопят запел:

Прощай, мой край, где я роди-ился,
Прощайте, все мои друзья-а...

Толстопят пел, вспоминая голос деда, переливаясь с его не забытыми им интонациями, пел с отчаянием разлуки с краем, который покидали его предки по разным причинам, и потому постанывал как бы за всех: за тех, кто оглядывался на валы станицы, ворота и пушку, уходя на службу в Персию, в Среднюю Азию, в Петербург, в Варшаву, отрываясь от семьи на войну с турками под Плевной, постанывал за тех, кто уцелел и припоминал в пьяном застолье свою тоску по хате, пел за бывших соседей с оселедцами, за всю родню свою черноморскую, спавшую вечным сном на пашковском погосте, за утонувших в Кубани, похищенных горцами, воображал налегке и свое расставание, но горечи от этого на душе не копилось: он знал, что если и расстанется с ненькой-Кубанью, то ненадолго, а улетать из родного гнезда за моря-океаны ему незачем.

Проехали гостиницу «Дубинская роскошь».

— Сейчас бы, братец, стукнуть в окно. «Ой, кто это?» — «Тол-сто-пя-ат...»

Дема не слушал. На севере косо висела Большая Медведица. Толстопят словно уловил его взгляд, ткнул пальцем и снова певуче, под пьяненького, заговорил:

— А моей маленькой шалунье снится хорунжий Толстопят. Так же? Открой мне какую-нибудь тайну, Дема, а то я буду кричать и разбужу Дубинку.

Дема улыбался в темноте и молчал. Маленькая тайна была в том, что накануне он получил от Калерии записку с просьбой подойти к памятнику Екатерине II — «ради того, что вам будет интересно»... А тут и случилось это похищение на извозчике.

— Едем искать золотой кувшин! — куражился Толстопят. — Терентий, голубчик. К Бурсаковским скачкам!

— Ему смешно, — сказал Бурсак. — Мой дед когда-то загубил себе жизнь, бросился в Кубань, а ему смешно.

— А зачем у нас столько тайн? И все же завернем!

Бурсак вяло махнул рукой, и они, миновав Дубинку, потом страшноватый ночным водяным сиянием Карасун, вывески магазинов, поехали к этому скорбному для рода Бурсаков месту на самом берегу Кубани.

Река дугою подпирала елизаветинские кручи, и где-то на дне ее в самом деле покоилась тайна деда. Впрочем, сколько других тайн схоронила навеки казачья земля. Толстопят все шумел:

— Куда вы меня привезли, господа? Ты хочешь, чтобы я бросился в Кубань из-за Шкуропатской? Так же? Изво-оль, братец. А нет! Я бросаюсь только в объятия толстеньких вдовушек. За вылавливание моего тела батько Толстопят кувшин с золотыми монетами не поставит.

— Перестань болтать, Пьер.

— А зачем столько тайн?

Когда через час проезжали по Пластуновской заколоченный дом Швыдкой, Толстопят сказал:

— А здесь сколько спряталось тайн! И мои молодцы из Первого Екатеринодарского тут погуливали. А где же чернобровая Олимпиада? Поехала ка-аяться... Браво! Пусть кается. А нам еще рано. Так же?

ОДНА СОТАЯ СВЯТОГО ЗОЛОТА

Терешка не счел нужным докладывать господам, что к шестому часу поедет на Черноморскую станцию встречать эту самую грешницу Швыдкую, возвращавшуюся домой московским поездом.

В зимнюю слякоть Терешка редко снаряжался в ночную, это летом легко катать гуляк до четырех утра. Спал бы он себе за теплыми каменными стенами, если бы не вызвали Толстопят с Бурсаком да не вручил ему в обед однорукий Евлаш телеграмму от Швыдкой. Выбился он в лихачи первого разряда давненько; в фаэтоне уже лежали вышитые подушечки, коврики под ноги, на коленях был кнут кизиловый и плеточка из тонкой кишки. Жил он рядом с архиерейским подворьем на углу Котляревской и Базарной.

Днем Терешка отоспался, поел борща, в пятом часу отвез мадам Бурсак на станцию, с которой начиналось ее весеннее путешествие в Париж. В самых любезных выражениях Терешка благословил ее напоследок и, оставшись один, расправляя кудри под козырьком фуражки, пообсуждал ее немного. «Некуда барыне денег девать, на кого попало и дом, и табун бросила,— поскакала. Оно у нас хуже? Весна скоро, лето, фрукты. И Анапа рядом. Платьев два чемодана».

Толстопят подбросил ему по-царски, и нынче вот, через полчаса, можно было рассчитывать на приварок от Швыдкой.

Один, видно, Терешка и знал, куда-зачем отправлялась Швыдкая три недели назад. Любопытно, чем же кончилось ее странствие в город Кронштадт?

В январе Олимпиаде Швыдкой перевалило за тридцать три, она как-то сказала Терешке, что она моложе царя; ей нагадали, что если восчувствует свой грех, сподобится видеть самое себя, то будет выше сподобившегося видеть ангелов и переживет гордых и неправедных. Швыдкая поверила. И как-то шла мимо Троицкой церкви и увидела на каменных ступенях сидевшую как будда старую бандуршу в окружении кошек. «Подходите, подходите, господа,— кричала та, кривя рот и качаясь из стороны в сторону,— отпускаю грехи! Подходите, грехи отпускаю!»

«Вот так и меня покарает»,— испугалась Швыдкая.

Здоровье сдавало, тяжело было распоряжаться беспутными девками своего «Красного фонаря» и без конца оправдываться перед полицмейстером за безобразия, которые творили даже военные казаки, иной раз спьяну валившие в заведение чуть ли не всей сотней. И боялась она пуще всего наказания к старости, наслушалась всяких несчастных историй и думала о судьбе со страхом. К концу 1907 года она закрыла заведение. Денег у нее скопилось много. Она пошла сперва к священнику Четыркину, но так понравилась ему, что тот стал приставать и, подпив, предлагал переливающийся камнями крест.

Тогда, 6 января, в день богоявления, постояла она в Александро-Невском соборе, а в феврале поехала к отцу Иоанну Кронштадтскому. По пути к станции рассказала Терешке последний сон.

— Небо, на небе красавица, и вот так платком машет...

— То бог призывает тебя к покаянию,— объяснил Терешка.— Иван Кронштадтский благословит.

Имя этого юродивого Христа ради ныне забыто. А тогда слава о его святости, милосердии и чудесах разлеталась до медвежьих углов. Страждущие души калек и нищих, покинутых жен и бродивших по святым местам старушек чаяли «укрепиться его молитвою в немощной и скорбной жизни». После того как в 1894 году он был приглашен к смертному одру царя Александра III, возложил руки на его августейшую голову и причастил, вера, что бог открыл отцу Иоанну сердца людей и «дал книгу скорби», приумножалась печатью. Швыдкая брала у знакомой книжку, прославлявшую святого человека, читала, как шли к нему толпы с просьбой «батюшка, помоги!», и надеялась, что ее отец Иоанн так же поспрашивает и простит. В Кронштадте, очутившись среди

паломников на квартире в большом доме, она в легкой простоте откровения поведала людям свои темные тайны. Ее в роковой день приметила некая шляпница как хороший товар для богатых клиентов в доме свиданий на Рашпилевской улице. Для виду ее взяли в шляпный магазин. Чувство пробуждает и порочность. Шляпница предложила ей «один только раз» встретиться за большие деньги с «приличным господином». Колесо закрутилось, отвязаться уже было нельзя, ей угрожали разоблачения. Для пущей декорации ее определили прислугой в скромную семью казачьего офицера, именно в семью Шкуропатского. Она водила Калерию на прогулки в городской сад, за имение Кухаренко к Кубани, а в свободные часы шляпница направляла ее в номера гостиниц, в баню Адамули. Потом предложили ей выгодное место бонны в Сухуми. Калерия плакала, когда она уезжала с узлами материнских подарков. На вокзале в Сухуми к ней подошел господин. Она подала ему письмо: «Многоуважаемая... прошу вас, как только получите товар, немедленно вышлите мне триста рублей. Приготовлю еще один товар за двести. Товар хороший, прокатный». И стала она, как пишут, настоящей жрицей продажной любви. В Сухуми в одно прекрасное время навязывается к ней молодой человек. Водил ее в театры, покупал цветы, дарил платья. Наконец сделал ей предложение. Когда она согласилась, он заявил, что венчание может состояться лишь за границей, где живут его родные. Дурочка, она поверила. Через две недели они поплыли по синему морю в Константинополь, оттуда в Пирей. Там ее продали какому-то Дэвиду, содержателю притона. Молодой жених скрылся. Через два года ее перепродали в Константинополь. И только еще через три года она сбежала из притона прямо в русское консульство.

— Хо! — понукнул Терешка лошадей с места, завидев Швыдкую в толпе приезжих. Про его зычный голос говорили так: если крикнет «хо!» у городского сада, то на стоянке за семь кварталов извозчики слышат: то Терешка экипаж подал!

Темнобровая, в толстых зимних одеждах, Швыдкая издалека улыбалась извозчику: мол, я так и знала, что никто больше меня не встретит, круглую сироту, кроме извозчика. Подошла, поздоровалась.

— А вещи ж? — Терешка сверху ткнул кнутом на свободные руки Швыдкой.— Украли?

— Пораздала,— сказала она спокойно и перевязала на голове пуховый платок.

— Ну, это правильно. Значит, хорошо съездила?

— Та расскажу.

Она посвежела с тех пор, луковичная кожа на лице обветрилась чистым румянцем, сочные глаза были по-прежнему соблазнительны.

Откуда ни возьмись подтащился с тюками смушек Попсуйшапка, низенький чернявый мастер из магазина Хотмахера.

— Посади и меня, Терентий Гаврилович. Не возражаете? — сперва тоном низкопоклонства обратился он к Швыдкой и вдруг округлил глазки, замолк: узнал! Тьфу! Но слово вылетело.

— Поместимся...— сказала Швыдкая.

Они забрались на сиденье, Терешка крикнул «Хо-о!», задние извозчики вскинули кнуты и подкатили фаэтоны к очереди; лошади побежали по темной Екатерининской улице вниз, к карасунским лужам. Вдали на шатровой крыше Царских ворот белел снег. Там Терешка свернул на улицу Котляревскую.

В конце месяца горными потоками вздуло Кубань, потонули берега; лес на черкесской стороне был подрублен водой по верхушки, и на пространстве по дуге от сада братьев Шик и до пристани Дицмана плыли льдины.

— Попала до Ивана Кронштадтского?

— Ой, насилу-насилушки! — отвечала Швыдкая в спину извозчику.— Нигде не видела столько миру. Идут и идут к нему. Бывало, по тысяче в день просится на благословенье. А сейчас больной, старенький.

— Хо-о! — взмахнул кнутом Терешка и обогнал драгаля.— А чем он берет?

— Ничем. В церкви жертвуют. Я как упала на колени: «Благослови меня, отец Иоанн, грешницу, благослови в путь-дороженьку на остаток жизни», а он сел рядом: «Ну, открой мне свою скорбь».

— Не утаила?

— Не-ет. Все ему рассказала.

— Это правда, что лечит от болезней? — спросил Попсуйшапка.

— Кому помогают молитвы, кому... как. За руки хватают, целуют, «помолись за нас!». А служба! — я плакала. И поют красиво.

Попсуйшапка про себя поругал людей: вот болтали про Швыдкую неприличное, а она, видишь, какая: и верующая, и простая, откровенная, да и по голосу — добрая женщина.

— И что ж он тебе?

— Сказал так: покайся, живи сердцем, а не чревом,

страшно духовное рубище. Больше по Евангелию. Спросила я его, куда мне деньги вложить, чтобы прощение было, а людям польза. Посоветуешь ли мне на семипрестольный храм жертвовать или открыть убежище нищих, стариков, калек.

Тут они как раз подъехали к ее дому 38 на Пластуновской.

— А он?

Они все трое продолжали сидеть.

— Воротись, говорит, к отцу своему небесному. Иначе ничего не будет у тебя, кроме вечной смерти. Золотом не откупишься. Это по прелести, а не по Христу. Мы только, говорит, в нужде обращаем очи свои к господу. Молись каждый день.

Терешка хмыкнул и слез на землю. Швыдкая подала ему из кошелька деньги. Он поблагодарил, можно бы и прощаться, да жалко было обрывать разговор: куда ж деньги девать?

— А куда ж золото? Если по Христу жить, то золото кому?

— Золото, сказал, добытое грязным делом, в богоугодное дело вкладывать нельзя. Молиться и молитвами искупить вину.

— Опять молиться! — досадовал Терешка не столько на Швыдкую, сколько на отца Иоанна Кронштадтского.— Ну, помолишься, а золото?

— В нечистое дело и вложи, сказал.

— Да ты вложи куда хошь, он не узнает.

— Раз не советовал, как же я буду? Я ж должна теперь бога слушаться. Я покаялась и обещала, отец Иоанн крест в воду погружал и всю воду с креста на голову излил. И он такой: все про каждого знает.

— Шо ж он про меня знает? — Терешка ухмыльнулся.— Я вчера, может, сережку в фаэтоне нашел и забрал,— и он будет знать?

— Ну так послушай меня еще. Якобы — там рассказывала одна старушка — сидят два студента, а мимо люди идут и все спрашивают: «Где тут до Ивана Кронштадтского пройти?» Только эти отошли, опять новые спрашивают: «Скажите, пожалуйста, где Иван Кронштадтский живет?» Им надоело показывать, они друг другу тогда: «Слушай, пойдем и мы к нему поболтаем!» Встали и пошли. Приходят. Там очередь. А у него помощница, передает ему: «Еще пришли два молодых человека».— «Налей им,— отец Иоанн советует,— налей по полстакана воды, на блюдечке подай и ложеч-

ку поклади». Она выносит: «Отец Иоанн велел вам поболтать ложечкой в стакане». Он же, как это сказать, юродивый, провидец. Вы ж пришли поболтать со мной, вот и болтайте ложечкой.

— Хоть самому ехать,— сказал Терешка разочарованно.— Кругом сказки. Он бы погонял с мое лошадей, повозил братву, то б не такую жизнь увидел.

— Он всяких видел. Его не обманешь. Часто босой ходит. Спит мало. От одиннадцати до двенадцати ходит по городу, где огонек — заглянет, побеседует. У нас бы такой был!

— А то еще! У нас возле завода «Саломас» грязные канавы, и там купаются заразные больные, хромые, слепые. Какой-то дурак сказал, что грязь исцеляет. Ну и дальше?..

— Воротись,— сказал,— кайся, без бога душа не может жить ни минуты. А если уж хочется сбыть нечестное добро, поставь на те деньги уборную на людном месте.

— Вон на Новом рынке поставь!

— Засмеют люди.

— Еще свечкой в церкви помянут. Добро сделаешь. Пока это наша городская управа спохватится! Авось простит тебя бог. Марию Магдалину ж простил.

— Схожу теперь пешком в Киевскую лавру, а доживу — и в Ерусалим пойду к гробу господню...

Терешка хмыкнул, как бы пожалел молодость, ее красоту, годившуюся еще для земной жизни. Видно, сильно напугал ее юродивый отец. Он пробормотал что-то и полез на свое место.

— Еще так сказал: «Куда зрят очи сердца твоего? Молись. Как чувствуешь, так и говори». Вот так и говорю с вами.

— Все мы молимся, когда нам плохо. А уборную ты поставь, поставь... Для людей же...

— И еще,— хотела она закончить разговор запавшим в ее душу,— еще так сказал: «Читай Евангелие, и если возьмешь одну сотую святого золота, то слава богу».

Она перекрестилась и пошла к дому с зелеными окнами.

— Хо-о! — крикнул Терешка на лошадей, мигом теряя связь с чужой судьбой, все более отвлекаясь, что-то соображая, гнал фаэтон по улице ради очень простой и неотложной цели — заработать на хлебушек насущный.

Умные лошади сами становились у обжорки Баграта на Старом базаре. Пора было Терешке перекусить, а может, и выпить стаканчик винца. Маленький шумный хозяин обжорки, Баграт, всегда перед Терешкой поднимал руки и выкрикивал каждый раз одно и то же:

— Ну, к чертовой матери, чего пришел? Копейка есть?

— Есть.

— Садись у Баграта гусачка скушай!

У Баграта с утра и до утра потчевался простой люд, и какая-то хитрая машина хранила в своем нутре пьяно-ласковую малороссийскую песню:

А в Харькóве на рыночку
Пил чумак там горилочку...
Пропил волы, пропил возы...

Вкусный бараний гусачок стоил копейку.

— У меня кушают с анекдотами,— сказал Баграт, расхаживая по обжорке.— Где ты еще так покушаешь? У Бадурова в шашлычной, на бочках? Он в этих бочках девок купает.

— Неужели?

— Шутка.

— Правило новое вышло,— сказал Терешка.— В праздники торговать, пожалуй что, придется за закрытыми дверями.

— Ай! Что ты говоришь? Это так быть не можи-ит! Мы стена проломим и задним ходом торговать буди-им. Мы такой шурды-мурды не знаем. Отпирай трактир четыре часа, запирай двенадцать часов или никогда не запирай!

— Пасха ж будет, царские праздники, войсковой круг. Оштрафуют.

— Кто меня кормить будет, кто тебя кормить будет? Сами кормить будем и всех кормить будем. Бабыч приехал, если ему гусачок надо — заходи, пожалуйста! У нас не Турция. Каждый пьяница на шее сидит.

— Жалко, что не Турция,— сказал кто-то.

— Слушай, Терентий Гаврилович! — Баграт положил руку на плечо извозчику.— Один говорит: «Карапет, давай мне три рубля».— «Зачем?» — «Кинжал купить, тебя рэзать буди-им!» Ха-ха, к чертовой матери! Глупый анекдот. Не знаю, зачем его рассказывают.— Баграт махнул рукой вниз и застыл.— Куда возишь, кого возишь?

— Кого придется. За Фоссом сейчас поеду в гостиницу. Он вам телеграмму не давал? Слыхали про Фосса?

— К чертовой матери, какой Фосс?

— Да его вся Россия знает. А то вы не слыхали. Это такой нахал, он у вас сожрет и копейки не заплатит. Так и говорит: «Пить, ездить на лихачах и не платить — моя болезнь». Обжора, каких свет не видел. Мерин!

— Люблю тех, кто хорошо кушает, вези ко мне!

— Заставит бесплатно кормить. Фосс человек знаменитый.— Терешка придвинул тарелку с гусачком.— Зайдет к вам и скажет: «Я Фосс! Слыхали?» Он борец цирка, там туша такая — пудов восемь! Ездит по России в вагонах первого класса и ни разу не брал билета. Брюхо до земли. За ним носильщики чемоданов шесть тащат. Он что делает? Дает в газете объявление для начальника станции: «Едет Фосс». Сидит на станциях по двое суток, жрет, пьет, забирает провизию, низко раскланивается — и дальше. И ни копейки! «Я — Фо-осс! В газетах читали?»

— Вези ко мне!

— Он вам переломает все стулья. Сядет, шутите — восемь пудов, оно — тресь и развалилось. Так кое-где, как узнают, что Фосс едет, буфеты закрывают и прячутся. В одном месте абонировал мужскую уборную, и ему с утра до часу ночи прислуга беспрерывно таскала питье и жратву. Вот такой шут. А публика ж хохочет! Ей нравится! Он еще больше раскидывается: «Я Фосс! Фосс нигде не платит!» Так в некоторых буфетах и ресторанах, где он побывал, потом стола не достанешь, публика прет, аж с ног валится: а как же! Посижу и я, где Фосс сидел. Выручка страшная

— Вези ко мне! — приказал Баграт.— Всегда будешь к ты бесплатно кушать, только вези, Терентий. К чертовой матери, я его сам поеду встречать. Ай, какой человек, какой милый, душа мой. Ты мне говоришь, правило по торговле вышло. Вот где наше правило,— стукнул он себя по карману.— «Я Фо-осс!» Ай, какой барин, к чертовой матери. Вези ко мне. «Я — Фосс». Ха-ха! А я Баграт, к чертовой матери.

— «Я Фосс. В газетах читали?» — Терешка хохотнул, допил рюмочку и стукнул ею по столу.— Такой промысел,— наслушаешься, насмотришься.

— А и ты хорошо жить стал.

— Ведь стараюсь. Архиепископ серебряную сбрую подарил. Вы думаете, я всегда так жил, как сейчас?

— Меня не касается, какой ты был, меня касается, какой ты стал.

— Прихожу с военной службы,— захотелось похвастаться Терешке,— ну, куда поступить? В руках никакого ремесла. В городовые? Свисток в зубы и бегать за мошенниками?

— Обыски у Баграта делать, за ширмами девок пугать. Цитович мне кровь испортил, пристав.

— Служу год, служу два. Встречает старший по участку. «Рассчитываюсь,— говорю ему.— На квартире живу, ничего нет».— «Не умеешь. Пойдем за мной». Спускаемся на пристань Дицмана. Известка высыпана. «Чья известка?!» — «Та нема хозяина, сейчас подойдет».— «Ага, запишем». Приходит хозяин. «Не на том месте выгрузил! Десять рублей штраф!» — «Та я...» — «А то и двадцать пять запишу». Хозяин ему в руки три рубля: ради бога, не трогайте. Ведет дальше. «Чей лес?» — «Хозяин пошел искать дрогалей».— «А здесь лес не сбрасывают. Во-о, видишь место? Там. Штраф, пожалуйста». И пока прошел по берегу, рублей пятнадцать насобирал.

— Душа мой!

— «Ну, видел?» — мне. «Видел». Мимо двора проходим. «Почему у вас снег не откидан?» — «Некогда. Батько на работе».— «Три рубля!» — «У меня нету».— «В участок принесешь пять!» Я посмотрел-посмотрел. «Остаешься?» — спрашивает. И я попробовал.

— А кто глазами моргал, и сейчас на углу со свистком стоит!

— Стоит, а чего ж. Жирный гусачок, спасибо.

— Завози поскорей гостей. «А я — Фосс!» Ха-ха, давай вези.

«Ой, пье чумак, пье...» — неслось из машины.

— У Швыдкой рука легкая,— сказал Терешка, надевая картуз.— Привез ее, а за ней и пошла публика! Швыдкая ж приехала, знаете?

— Баграт все заведения знает. Вези Фосса ко мне! Каждый, душа мой, себя жалеет. «Духанщик — давай стаканчик». В станице работал. Я стаканчик брал, немножко отпивал, потом воды потихоньку наливал. «Духанщик, почему градус не полный? Протокол надо!» Бедный духанщик сюды-туды: пожалуйста, бутылку. Не торговля, а слезы, душа мой. Тысячи плати, копейка клади.

— Да вы копейками втрое получаете.

— Когда в станице духан держал — вай-вай что делал. Атаман — семейство семь душ, писарь — семейство восемь душ. Атаман — семейство семь раз родился, семь раз крестился, семь раз именины делал. Писарь восемь раз. Считай, душá мой. Атаману на каждый раз ведро водки давай, четыре раза в год именины делать. Мы ему говорим: закон такой нема — четыре раза в год именины. Я такую водку давал, к чертовой матери, что с одной бутылки самый креп-

кий урядник свалится. Придет домой, смотрит: на тыну горшки сушатся. «Не мешать! Басурманские чалмы рубаю! Я им покажу, как на мой тын садиться!» А сейчас входит городовой с барышней: «В карты играют? За ширмой кто?» Именины не справляют. Ты два года назад на спор, за сто рублей, въехал в «Шато де флёр», а я каждому приставу бесплатно наливаю. Офицеры ко мне не ходят. Они в Панском куту гуляют.

— Да вот только что привез...— сказал Терешка, но сплетничать о происшествии счел неуместным.

Еще спал, додремывал на сырой заре город Екатеринодар. Пусты были железные скамейки на Красной, темны окна гостиниц, не грохали бельгийские трамваи. Все, кто между собой дружил, ссорился, затягивал узлы связи, судился, думал на ночь о своем несчастье или удаче, кто гнал извозчиков в ателье, в магазины, на концерт, к больным родственникам или к любовницам, кто жил так хищно, что полагал, будто никогда не умрет, кто принял власть, ждал писем, наказания, кто положил в фундамент будущего дома золотую монету и кто протягивал у церкви руку за копейкой помощи,— все-все спали одиноким сном и друг другу не мешали. Все они спят, ничего не ведая до утра, как будут не ведать когда-то вечно. Кроток ночью под небесами улей человеческий. Никому ничего не нужно. И даже городовой на углу ищет союза с извозчиком, остановит покурить и перемолвиться словом. Спит закутанная сумраком во дворце сама власть, беспомощная, как все сонное, но едва вспорется утро — продерет она очи и берется за тяжелую булаву. Много раз возвращался Терешка к своим воротам в тот ранний час, когда еще не кричали павлины во дворе давно убитого наказного атамана Кухаренко и когда замечал вдруг, что в Екатеринодаре много еще кособоких камышовых хаток, поставленных первыми черноморцами.

«ЧАШКА ЧАЯ»

Пока Терешка гонял из конца в конец города фаэтон, а Швыдкая клала поклоны в церкви и жертвовала нищим рубли, пока генерал Бабыч разбирался в донесениях, а Лука Костогрыз качал на пасеке майский мед, Толстопят готовил казаков на лагерный сбор, Калерия почитывала роман Вербицкой, Бурсак изучал судебные дела, а Попсуйшапка выкуривал с братом шкурки в общей уборной двора, Фосс грабил буфеты в Новороссийске, пока неизвестные люди торо-

пились добыть прокормы, жениться, наторговать денег, починить хату, справить сына на службу, вспахать землю, столкнуть соперника и т. п., пока, словом, все жили своим личным временем, замечая только смену дня и ночи. Время — великое, вечное и равнодушное — что-то убирало и прибавляло в этом, казалось, стоячем мире, творило судьбу каждому и миру в целом и незаметно сдвигало на маленький градус орбиту бытия. Никто не знал, что с ним будет завтра, даже через минуту.

Калерия Шкуропатская шла по Красной, и вдруг на нее наскочила цыганка.

— Быстро скажи мне имя знакомого мужчины на букву Пэ, ему будет плохо, если не скажешь! Быстро, быстро.

— Петр! — выскочило само собой имя.

Отчего Калерия испугалась? Почему, как только цыганка спросила, она вспомнила Толстопята? Ведь она нарочно забыла его, прокляла после того дня, когда он завез ее на извозчике в гостиницу Губкиной. И вдруг под угрозой цыганки в грязной юбке выпалила поскорей его имя, будто он был ей самым близким человеком и какое-нибудь несчастье с ним покроет страданием и ее. В смятении отдала она ей еще простенькое кольцо с камешком и нисколько о том не жалела. Была бы на шее золотая цепочка — и ее сняла бы. Вот под какое ведьмовство она попала.

— Сама золото принесешь мне, когда тебе будет плохо,— тоном приказа говорила цыганка и хватала Калерию за платье.— За Бобровым мостом шатер мой стоит, мне ничего от тебя не надо, но сама, красавица, найдешь меня, вот увидишь! Плохой год настанет, золота не жалко будет. Запомни меня...

Калерия шла в «Чашку чая» подавать кофе.

«Петя... Пьер... Толстопят...— шептала она.— Откуда цыганка угадала букву?»

Мгновение с цыганкой словно помутило ее. Может, правда наречено ей сблизиться с широкоглазым стройным красавцем? Похитил, ну так что ж? — на то и казак в черкеске. Да и виновата в том не меньше, чем Толстопят. Значит, такая есть. Поменьше надо кокетничать на балах. Сердце вдруг разгорелось; она трогала рукой пылающее лицо и не глядела на прохожих. Тайна в женщине глубока. Она призывала любовь и даже как будто желала быть украденной еще раз, и мечтательный грех ее (если это грех) усыплялся страницами романов, которых она столько перечитала. Была та сладкая минута покорности, как и при рассматривании картинок Ватто.

И сказала еще цыганка, что ее жизнь будет долгой, горемычной. С кем же?!

В кафе было еще просторно и тихо.

«Чашка чая» — лучшее, как говорили, point des plaisances, местечко «чудных мгновений». Екатеринодарские дамы создали там особый уют для тихого настроения. О «Чашке чая» сочиняли стихи. «У нас без всякого флирта,— гордились патронессы,— без кокоток за столиками, без историй» Да кто знал к закату дня, чья душа в этой «Чашке» разбилась, чья вспорхнула птицей? Истории свои, как монеты в благотворительную кружку, не сбрасывали. Столики обслуживали дамы из приличных семей и их подросшие дочери в той очередности, которая расписывалась благотворительным обществом. Девочки старших классов гимназии, мариинки с радостью бежали в домик на углу Красной и Екатерининской улиц, а летом в городской сад, куда «Чашка чая» переезжала к дубам «Двенадцать апостолов». Ах, «Чашка чая»! О ней мечтали с детства. Казалось, сроду не дожить до блаженных лет, когда мама купит красивый белый передник, наколку и позволит грациозно предстать у столика перед каким-нибудь усатым офицером 1-го Екатеринодарского полка: «Что вам угодно? Кофе по-турецки? По-польски? Пирожки? Торт «Мазурка»?» Не побывав там ни разу, девочки тем не менее выучились от мам всему, что нужно и можно делать в кафе, и тысячу раз уже проплывали мимо столиков, расставляли вазы с цветами, наслаждались музыкой крохотного оркестра в углу под пальмой. Их час наставал! Казалось, на тебя смотрит весь город, смотрит и завидует, что ты идешь с мамой в «Чашку чая» служить бескорыстно, ты — маленькая патронесса, на деньги, которые тебе не заплатят, что-нибудь приобретут для бедных детей или устроят что-то замечательное для слепых. «Она познакомилась с ним в «Чашке чая»,— рассказывала о ком-нибудь мама Калерии, и в словах этих крылось столько обольстительных надежд в будущем! Ключи счастья.

А крестили ее «Чашкой чая» в проливной дождь и несли в фаэтон на руках. В тот день верховодила в кафе сама мадам Бурсак, чьи романы не давали покоя даже невлюбчивым пожилым матерям семейства. «Бурсачка!» — называла ее матушка. И вот взглянули на Калерию живые, такие кошачье-открытые глаза Бурсачки, и вот она тут, посреди всех, в обществе, и музыканты косятся на ее ножки, и ждет она, когда войдет какой-то прекрасный господин и скажет, быть может, восхищенно: «С вас разве пылинки сдувать! Как вас зовут?»

За три года много раз билось ее сердечко.

Была пятница, и она не знала, что Толстопят, когда шел с Бурсаком в кафе, повторял: это день Венеры, именно в этот день он воровал Калерию. С тех пор он ни разу ее не видел.

— Люблю,— говорил он и сам смеялся.— Страдаю. Уезжаю в лагеря на целое лето, и я должен знать, моя она или нет? Обещайте мне! Мое сердце принадлежит вам навсегда.

Он бешено заливался хохотом.

— Кого там убили недавно ночью, социалистов? Говорят, покушались на Бабыча?

— Когда-нибудь расскажу. Дай мне поглазеть на молодушек в «Чашке». Уж назвали бы «Рюмка», что ли. А то «Ча-ашка». Сколько у нас церемонности. А в Уманской грязь по колено... Женюсь!

Музыкой, белыми столиками, в самом деле предчувствием point des plaisances приветило их кафе. Был четвертый час дня, майское солнце только-только коснулось шелковых занавесок на широких окнах. В степи под Уманской, куда отвезут Толстопята завтра с казаками, не миновать жары, пыли, а здесь прохладно, чисто и тихо. На них, когда они вошли, взглянули две артисточки из малороссийской труппы, и Толстопят, выбрав столик поближе к ним, усаживаясь, сказал другу или кому-то вообще: «От юности моея мнози борят мя страсти». Бурсак понял его, тоже оглянулся на артисточек, и с той минуты те и другие, о чем бы ни говорили и как ни увлекались угощением, чувствовали чужое присутствие. Жаль было и уезжать!

Сестричка Манечка, с такими же темными, далеко расставленными, отцовскими, что и у Пьера и старших братьев, глазами, деликатно тихая, будто из кацапской семьи иногородних, обслуживала столики в глубине зала и стеснялась подойти к веселому братцу, не хотела даже, чтобы он наблюдал за ней и шевелил губами.

— Вот как вырос наш цыпленок! — сказал Толстопят другу.— Ну давно ли она спрашивала: «Мама, почему все государи умирают в Бозе? И люди умирают в Бозе?» И нá тебе: невеста. Мне жалко: кто-то когда-то затронет ее, разбудит ночью. Всех прочих — пожалуйста, но мою-то сестриичку?! Убил бы. Посмотри, у нее и ножки как золотые копытца, а глаза! Всю бы жизнь и оставалась такой. Что ее ждет? Ма-аня! — позвал он. Сестра услыхала и тут же капризно убежала за синюю ширму.

Толстопят тряхнул маленький звоночек.

— Сон в лунную ночь...— сказал он.— Дёма!

К ним шла Калерия.

— Кричи «караул!».

Но «караул!» был на лице Калерии. За шесть-семь шагов до столика щеки ее зарделись; в один миг будто вскрылись какие-то ее преступные чувства, и в улыбке Толстопята уловила она ехидный вопрос: «Это вы на меня гадали поутру?» Ее замешательство заметили две артисточки. Скрипочка затянула «И все осмеяно, оплакано, разбито...» Мимо окна по Красной проскочил извозчик.

Бурсак вспоминал потом не раз, и особенно часто в Париже, как хороша она была в тот миг. Случаются в жизни минуты: увидишь барышню, и искрой падет на душу влюбленность. Наверно, сам великий князь облизывался в вагоне, глядючи на сочную мариинку. В ней невинность строгого домашнего воспитания сочеталась с будущей порочностью, точнее, с готовностью к соблазну. Поглядишь и украдешь. Толстопяту нужно это, чтобы кто-то вздохнул, когда он в знойный день на рубке лозы будет в лагерях под Уманской, чтобы сам он на закате, когда стоголосо рокочут лягушки или когда в воскресенье к казакам из станиц приедут с печениями и салом жены, поглядел на запад, где лежал за маревом Екатеринодар, потосковал с минутку по той, которая уступала его ласкам, пусть и ненадежным. Дёма же повез бы ее к Бурсаковским скачкам, отгадывал, почему она молчит. Мочки ее ушей жидко просвечивались солнцем; согнутые пальчики цеплялись за белый передник. Дема вдруг застыдился глядеть на нее долго. Толстопят иронически, призывно выпрямился.

Калерия подошла к ним, насупилась, поздоровалась.

— Приятная встреча...— сказал Толстопят.— Опять я наговорю кучу petits riens[1].

— А вы не говорите.

— Но как? Я покоряюсь всему, что со мной случается.

Опять Толстопят гнул куда придется. Слова совсем ничего не значили.

— Очень жаль,— сказала Калерия, перевела взгляд на Бурсака с какой-то просьбой помочь ей избавиться от лишней болтовни друга. Вместо этого Бурсак подыграл Толстопяту:

— C'est la créature si exellente et si dounce[2].

— Я обожаю ее всей душой,— ответил друг сразу ему и Калерии.— Но страсти для нее не существует. Так же?

[1] Пустяки *(фр.)*. Далее перевод с французского языка в сносках не оговаривается.— *Ред.*

[2] Какое несравненное и милое создание!

— Что вам угодно?

— Все, что принесут ваши белые ручки.

Калерия зло повернулась и ушла на кухню.

— Она тебя слушать не хочет,— сказал Бурсак.— Ты желаешь счастья себе, а не ей.

— Такие мы все.

— Поезжай в Кисловодск. Там ты себе устроишь афинский вечер. К тебе прямо со сцены сойдет и сядет на колени афинянка. Едва ты ей скажешь: «А хорошо бы, господа, сейчас застрелиться перед зеркалом!» — она задушит тебя в объятиях.

— Вы, смотрю, все такие остроумные. Один я дурак.

Калерия поднесла им кофе и пирожки.

— Познакомьтесь с моим другом,— сказал Толстопят.— Дементий Павлович Бурсак. Он будет защищать меня в суде,— ведь я все равно уворую вас. Когда я дома один, я гашу свет, сажусь в кресло у окна, закрываю глаза и думаю: почему я не великий князь?

И так же, как первый раз, Калерия дернулась и пошла назад.

— Ты понял? — Толстопят подморгнул.— Мариинки, когда как-то приезжал великий князь, моло-оденький, бегали к нему на станцию в вагон. И она. Он подарил им свою фотографию. Великий князь — это так льстит!

— Нечего послушать, Пьер. Они же де-евочки. Твоя Манечка такая же.

— Они...— Толстопят хохотнул.— Когда они идут с мамой к Кубани, то сворачивают на Штабную, чтобы не видеть обжорку Баграта. «Что это за человек? Разве это человек? Он у Баграта за печенку танцевал!»

Бурсак вздохнул. Всегда с Толстопятом получался пустой разговор. Всегда. Дикая запорожская привычка брехать сколько влезет. Барышня, женщина не нужны и на мизинец, но казак будет приставать и хорохориться. Кого-то убили недавно ночью на Ростовской улице и, кажется, казаки 1-го Екатеринодарского полка караулили, куда-то вели, но разве допросишься у него? Он молчит.

— Что тетушка из Парижа пишет?

— Не пишет.

— Борщ а-ля мадам Бурсак! Это правда?

— На карте кушаний тюрбо так и стоит: «борщ а-ля мадам Бурсак». Счастливая. Прожила жизнь — и волос не расчесывала.

— Ce n'est pas si mal[1].

[1] Это не так уж плохо.

— Ужа-асный проноис, Петр Авксентьевич. Ты куркуль. Все мы, кубанцы, куркули.

— Сейчас бы boire du champagne[1].

— Неужели эти девочки когда-нибудь умрут? — мечтательно говорил Бурсак, удивленно, ласково поглядывая на Манечку и Калерию. Они то и дело подскакивали к столикам.

Через час друзья опустили деньги в кружку и вышли. Толстопят все дурачился.

— Я шел от тебя, дорогая моя. Как стали красивы дома! Как светло небо! И какая тишина в Екатеринодаре. До звезды слышно. Взберемся на каланчу?

— Ну, хватит, хватит,— унимал его Бурсак, желавший поскорее расстаться, пойти домой и почитать Цицерона.— Зачем казаку ломаться?

— Нет, постой. Подожди минуточку.

Бурсак ждал его полчаса. У воротец Екатеринодарской церкви сидели калеки, слепые, старики. Родственной улыбкой, крестным знамением, поклонами благодарили они за подаяния. У каждого на земле свой уголок надежды и утешения. Ходишь мимо них без души, бросишь копейку мужику с обрубленными руками и через несколько шагов уже переминаешь свои думы, все тебе мало от жизни, но не дай же бог принять такую же кару земную. Дема подошел к нищим и побросал им монеты в ладошки. «Храни тебя, сынок, заступница небесная,— отвечали ему.— Да пребудет счастье с тобою». На другой стороне улицы из открытых окон казенного дома торжественно вырывались звуки марша. Показался наконец Толстопят.

Он ступал широко, упрямо, и робкому надо было увиливать в сторону, иначе...

— И что? — недовольно спросил Бурсак.

— Ты ждешь, чтобы я доложил? Не будет этого. Я ей сказал: «Перед тем как ложиться спать, прикажите прислуге, чтобы проверила, хорошо ли заперта дверь и вправлена ли цепочка».

— Опять по-куркульски. Я начинаю понимать, за что тетушка так недолюбливает казаков.

— Не наших ли офицеров вынуждала твоя тетенька отстегивать шашки?

— Это на мгновение.

— Да куда денешься. Казак вырос на сале. Гонору у ка-

[1] Выпить шампанского.

панов еще больше, а грехи те же. У Швыдкой мои казачки грешили открыто, а кое-кто из панов натихýю бежал в дом свиданий на Рашпилевскую. Все хорошие, как посмотришь.

— Для того и существуют приличия, мой друг. Все то же, но к а к.

Бурсака взял сзади кто-то за локоть. Еще не хватало: перед ними стояла пожилая ясноокая цыганка с целым табором девочек. Уже властно захватила она руку Толстопята и обольстила несколькими словами прозорливой лжи. Цветные юбки обступили его и не давали сдвинуться. Ему было невдомек, что пожилая цыганка подслушала их разговор. Он еще таращил глаза на ложбинки в вырезе платьев молоденьких девочек, а она уже сложила гадание и знала, как посмеется вечером за Бобровым мостом ее бородатый муж. Утром она выманила перстенек у барышни, нынче без красненькой не отойдет. Все просто в цыганской магии: она видела в глазах Толстопята желание испытать свою тайну.

— Вавилонская блудница на семи зверях сидела, знаешь? Тебя отравит дама своей любовью,— сразу же напугала она.— Слушай внимательно, тебе жить надо. Тебя отравит лаской женщина из богатого дома, двенадцать капель крови впустит в тебя,— понял, что говорю? Снимет цепочку с двери, заведет в свой дом, расстелет постель. Далеко от дома жить будешь тогда. Слышишь? Теперь я вырву твой волос.— Рука ее мелькнула у виска, и уже десяток вырванных ею волосков сжимали ее пальцы.— Через полчаса они покраснеют, это твоя кровь. Ты возьмешь их с собой и выбросишь, понял меня? Выбросишь на дорогу. Оставлять нельзя — погибнешь от болезни. Заверни их в денежную бумажку.— Толстопят потянул пальцы к волоскам.— Подожди, достань в кармане денежную бумажку и заверни. Выбросишь вместе с деньгами и скажешь: «Рыба с водою, здоровье со мною». Я не возьму, это твое, мне не надо, здоровья желаю тебе.— Толстопят достал рубль и передал гадалке.— Ты не смейся,— сказала она Бурсаку,— не уходи, я тебе все скажу, тебя ветер унесет далеко, чужую землю целовать будешь. На тебе, красавец, вижу золотые погоны. Теперь заверни в красную бумажку, скорей, скорей заверни, поищи у себя.— Толстопят сунул помятый червонец.— Вот эта как раз, держи крепче, не выпускай, понял? Заворачивай, заворачивай. Фу! — дунула она.— Нет твоих денег, дурак!

Руки Толстопята и руки цыганки были пусты. Вокруг него улыбался и уже отходил цветной девичий табор.

— Ша-ла-вала. Сэ номэ! Бу-бу! — кричали они на своем

языке уже далеко, смеялись, оглядывались и опять смеялись.

— Карманы пощупай,— сказал Бурсак,— не вытащили ли они остатки твоего счастья

— Кошелек здесь.

— И то хорошо. Она обучала молодых.

— Но глаза-а! Ты заметил, какие глаза? Такие глаза у твоей тетушки.

— Да ты волос-то выброси — болеть будешь,— посмеивался Бурсак.— На Свинячий хутор отвези. Не пожалей рубля на извозчика, уж больше потерял.

— Не жалко. Глаза!

— Рыба с водою, здоровье со мною. Слушай! Во дворе реального училища орет осел. Обычно он орет в двенадцать дня. Жалеет тебя. Осел жалеет казака — это надо помнить. Напиши об этом случае Иоанну Кронштадтскому.

— Я б вам не советовал, панычи, гадать у них,— послышалось сбоку.

Около них на миг задержал шаг остроусый Попсуй шапка.

— Это хорошо, что на улице. Моя соседка повела на кухню молдаванку, а за нею следом и другие, по комнатам, а там одежа, три тысячи денег за зеркалом. Хотела памятник поставить мужу на кладбище. Ушли — и вот, извольте радоваться, пусто! Успели все забрать. Вот они какие. «Не зевай, Хома, на то ярмарка».

И бодро, самоуверенно пошел дальше, помахивая рукой, как в строю.

— Слышишь, что народ говорит тебе?

— А если любовь? — крикнул вдогонку Толстопят.

— Я тоже влюбчивый, но не гадаю. Вон на Новом рынке красавица Мокрина в юбке как у царицы,— чего на нее гадать? Она лучше цыганки поворожит. И винцом угостит.

— Ишь! — сказал Бурсак.— А ведь всего только и делает, что шапки шьет.

— Какой нынче день?

— Вознесение.

— Хо-о! — слышалось за домами понуканье Терешки.

— Ну, подурачился, и хватит,— сказал Толстопят.— Завтра вечером отправлять эшелон. Никто мне не нужен. Дема. Пусть их любят, прижимают, а ко мне само придет. Вот пошла. Кармен! Кармен с головы до ног. А я выберу такую, чтоб корову смогла подоить.

— Не зарекайся. Лучший роман тот, который ничем не заканчивается.

Из церкви все выходили и выходили.

— То ж был дьякон...— слышалось.— Как скажет — свечи моргают.

Мир жил своими интересами, и у каждой божьей души они были главными.

Мог ли Дема знать, что через пятьдесят шесть лет, в такой же теплый день Вознесения Господня он почти на том же месте вспомнит беспечное гадание и всего два-три, да и то, наверно, перевранных, слова своего друга, молоденького хорунжего Толстопята?

Да кто ж в молодости глядит в будущее!

Пока Терешка хокал на лошадей, Бурсак звонил архивариусу насчет канцелярских бумаг наказного атамана в 1891 году, Толстопят выгонял на смотр казаков перед штабным начальством, пока Калерия Шкуропатская спала под голубым шелковым покрывалом, Время настраивало свои башенные часы. Только они не знали, что оно принесет

Через неделю Толстопят прислал Калерии пакет из Уманской. В пакете лежал помятый номер журнала «Солнце России». Калерия недоуменно перевернула несколько листков и на двенадцатой странице нашла снимок великого князя. Молодой князь в форме лейб-гвардии... полка сидел на лошади и улыбался. Над головой его вихревым почерком была сделана надпись: «Дорогой маленькой шалунье Калерии с воспоминаниями о встрече на рельсах Черноморской станции. В. К. Б. В.» Числа нет. Калерия фыркнула и бросила журнал.

— Что за хам?! — сказала она громко, но ее никто в доме не слышал.

Мимо окон пробежали с криками городовые: «Держи бомбиста!»

ПОЛИТИКА

Что говорить: с 1905 года жизнь в Екатеринодаре заметно переменилась. В фаэтонах якобы случайно забывались на сиденьях прокламации; в щелку или в почтовые ящики совали записки с требованием немыслимой суммы на революционную борьбу, и, как часто выяснялось, записки выдумывали обыкновенные жулики, пожелавшие обогатиться в пылу ситуации; полиция вскакивала ночами в квартиры с обыском; извозчики тайно перевозили подпольщиков в явочные места; в окружном суде день за днем приговаривали арестованных к ссылке в Сибирь; поплатились холодной ссылкой и некоторые казаки.

До двадцати двух лет у Демы Бурсака не заводилось врагов По натуре мягкий, жалостливый, он никому не смел противоречить в глаза, мелькавшие черные мысли о ком-то пугливо отгонял от себя, а если улавливал, что на него обижаются (или могли обидеться), то спешил похвалить человека, и даже когда обижался сам, не подавал виду, боясь своей обидой стушевать другого. «Ты, наверное, сердишься на меня, голубчик? — говорила ему тетушка.— Я вчера была неправа и грубила».— «Ну что вы, тетя Лиза,— краснел Дема в юности, я вас как любил, так и люблю»,— хотя накануне не спал всю ночь и решался покинуть тетушкин флигель навсегда. Суждено бы Деме миновать на веку всяких злодеев, а в общественной жизни, на роли присяжного поверенного, снискать славу человека, осеняющего последнего негодяя речью милосердия. Но расколовшаяся на фракции и союзы общественная среда не хотела щадить бурсаковское милосердие.

Первые враги Бурсака подали голос из екатеринодарского отдела «Союза Михаила Архангела». Еще не начался суд над убийцами братьев Скиба, а через товарища прокурора, монархиста, союзники пронюхали: Бурсак будет заседать в качестве поверенного гражданского истца. Неизвестные Демины враги в короткий срок прославились в городе шумными скандалами. Какими были союзники там, в Петербурге, Москве, в Одессе,— бог ведает, они далеко; в маленьком Екатеринодаре, где все слышно и видно, по изволению рока скучилась одна крикливая бестолочь. Такая ли тут была сроду закваска, или мало еще наросло интеллигенции? Или союзников кто-то нарочно провоцировал? Темна вода в облацех. Быть может, сплотились где-то патриоты, готовые умереть за честь православия и царский трон,— странно, если бы их не было. В Екатеринодаре союзники мешали самому генералу Бабычу умиротворять область. Каждую неделю они звонили, писали, требовали: когда городская власть отменит запрет на патриотические манифестации с трехцветными флагами? Обвиняли: всюду предатели, а вы, господа, хлопаете ушами. Под золотою митрою архипастыря, доказывали союзники, скрываются предательские мысли. Настанут антихристовы времена: не будет в стране Владимира Святого императоров, и на трупах взберется конституция. Россия погибает. Виновники наших бедствий унизили православную веру, на далеких маньчжурских полях зарыли военную славу, богатство разбросали по шпалам Великого Сибирского пути, забрали в свои руки торговлю, науку, печать. Бабыча союзники пугали письмами к царю. Су-

ды обратились в места оправдания всякого беззакония. Городская власть трусит стать на нашу сторону. Повели, повели, государь! Копье Георгия Победоносца насмерть пронзит гидру.

Из Москвы, Петербурга газеты несли свои крики.

Писали: людей, которые занимались спасением страны, никто не понимал, и они страдали в одиночестве. Предупреждали: никакие ужасы прежних восстаний не сравнятся с тем, что произойдет, когда рабочие и крестьяне объединятся в борьбе против правительства. Все потеряют меру дозволенного, кровь превратится в красную воду. Царь призывал хранить заветы русские: верить в бога и в великое будущее России, государство крепкое, благоустроенное и просвещенное.

Церковники не отставали от светских прорицателей Проповедовали: смысл спасения указан в Евангелии. Что делать? что делать? — слышится в обществе. Вот что делать умирайте, если нечего делать, или живите в деле. Настанет время, когда все сильные и здоровые почувствуют, что им пора отделиться от слабых и больных и спасать свое бытие от общего разложения. Лопатой, отвевающей сор от зерна, явится это чувство самосохранения. Беспощадно нужно гнать от себя всякое тление, отовсюду гнать бездарность, бессовестность, тунеядство и прочее. Снова, как во времена Иоанна Крестителя, который обещал спасение только праведным, люди нуждаются в восстановлении не самого общества, а самих себя. Внешнее строится по внутреннему, и если обеспечен идеал жизни в сознании и воле, то и внешняя жизнь сложится совершенной. Если зерно таит внутри себя жизнь, то она непременно разовьется в корни, в стебли, в красоту благоуханного цветка. И тогда, и теперь — всегда были люди, покорные богу в своей душе, и такие люди живут, почти не нуждаясь в услугах внешней власти

Так писали, так говорили.

— Офицеру не к лицу путаться с газетными писаками,— повторял Бабыч свою простенькую мысль.— Отдать приказ по войску да в Анапу... Хоть отдохнуть...

QUEL VIN TEL AMOUR[1]

В Анапе в августе того же 1908 года Дема Бурсак впервые влюбился. Уже по дороге к Тоннельной, еще не потеряв из виду волнистые горы, он оглядывался назад с потерей,

[1] По вину и любовь.

а в Екатеринодаре, ставшем вдруг скучным и ненужным, сходил в одиноком молчании ночи с ума оттого, что короткий его праздник кончился. И навсегда. Второго такого же чуда не бывает; можно еще где-то увидеться, провести вместе тайные часы, но то уже будет другое, без неожиданного вознесения на крыльях. Но и встречи больше не будет.

«Dieu sait comment et pourquoi[1]. Уже конец... Права моя тетушка: la plus belle fille de la France ne peut donner plus que ce qu'elle a[2]. Она дала мне все, но на миг. А теперь где она? Счастье прошло».

Он влюбился не сразу; дома, в городе, внезапно все потеряв, он любил ее чище и долговечней, нежели у моря. В Анапе примешивалось к их укрытиям и прогулкам что-то курортное, дачное; сладостная отрава была уже в том, что надо было торопиться, обманывать тетушку Елизавету или день целый выжидать лунных наслаждений. Сбивали на флирт и тетушкины, как будто тонкие, проницательные, наставления и шутки: «Легко ли заставить сердце отказаться от того, что влечет его? Я сама была молода. Берегись женщины глупой, черноволосой и голубоглазой, говорят в Испании».

«Знаете,— отвечал в мае Толстопят на вопрос тетушки о том, зачем он украл барышню Шкуропатскую на извозчике,— выйдешь вечером на Красную, а там как кувшинки цветут красавицы; ты их всех любишь, и обидно станет: они цветут, а тебе чужие. Ну и сорвешься».

Мадам В. с собачкой Петрусь была слишком заметной в этой песчаной глуши.

Она благополучно жила в Варшаве, но скучала там ужасно и все более охлаждалась к своему богатому мужу, всегда расчёсанному, щеголеватому полковнику. Муж берег ее репутацию на каждом шагу: после бала начинал еще в фаэтоне и продолжал затем в спальне нудно осуждать смелость ее разговора с тем-то и опасность сближения с фривольною дамой. «Оставь меня, я спать хочу!» — кричала она. Но муж принимался за другое: излагал причины, по которым им необходимо дать обед такого-то числа, пригласить к нему таких-то лиц и наперед знать, кто подле кого будет сидеть. «И некоторые нюансы,— добавлял,— относительно наших с тобой frais d'amabilité[3].— «Я знаю, как себя вести,— отворачивалась от него мадам В.— А по ночам мне хочется спать».

[1] Бог знает как и почему...

[2] Самая прекрасная девушка Франции не может дать больше, чем она имеет...

[3] Издержки любезности.

Ее больше не прельщали Ницца, Женева, Корсика; тоска нигде не покидала ее. Все удобства жизни и развлечений (собственный дом, toilette de cour[1], рысаки, ложи в опере) только подчеркивали ее интимное несчастье. Ночью муж был ей противен. И она второй год отлучалась в глушь, рас сеяться, как она писала тетушке Елизавете, в неизвестности и — это было ее страшной secret de coeur[2] — полюбить непонятно кого. В Анапе тетушка снимала дачу бывшего наказного атамана Маламы, дряхлевшего в Петербурге.

Поначалу Дема скучал и сторонился пестрого общества, тетушка же была неутомима. Она устраивала пикники, выезды в горы, в Су-Псех, к Серебряным Колодцам, играла в карты, пела на литературно-музыкальном вечере и даже провела в саду благотворительную лотерею-аллегри в пользу приезжих костных больных на Бимлюке. Но монотонные развлечения — та же скука. Ими всю зиму убивали вечера в Екатеринодаре. И тетушка, видно, придумала еще одно развлечение: свести племянника с мадам В.

Недели две Дема уходил к вечеру в гости к Пиленко, там слушал стихи вертучей, экспансивной дочери (позднее Кузьминой-Караваевой, а потом страдалицы матери Марии, монахини и патриотки), слушал ее восторги о Блоке, который ее похвалил и присылал даже письма и вспоминал злословия анапских матушек о ее беспорядочных романах: неужели то правда? До обеда он валялся на песке и читал «Афинские письма» (с автографом деда Петра на первом листе). Больше никуда не показывался. Так неинтересны были дамы и кавалеры вокруг: очень уж они наряжались к закату солнца, пленялись обычаем быть во что бы то ни стало остроумными и веселыми, выпячивали себя с каким-то неприличным старанием и, ничего впереди не предвидя, вещали и пророчили на целые годы. Еще менее завлекало его, как екатеринодарские дамы переворачивали роскошные семейные альбомы, шептались о «выборе моего сердца», сетовали на скуку кубанских soirées causantes[3] и трогали пальчиками цепочки с бриллиантовыми крестиками. Недалеко от дачи Маламы, в саду провалилась в кресло старуха с черными злыми глазами, с черными же под кружевным чепцом волосами и вязала что-то стальными спицами; костыль подле нее, ее длинный крючковатый нос, пухом обезображенные щеки наводили Дему на жуткие мысли: неужели эту

---

[1] Придворный наряд.
[2] Сердечная тайна.
[3] Вечерние беседы.

высохшую ведьму когда-то любили, целовали ей колени, ей клялись? Он не пожелал бы себе такого долголетия; как страшно дожить до возраста мумии, когда все потеряно и уже незачем тянуться к солнцу! Не дай бог. Но он только подумал и тут же забыл, он еще не умел глядеть вдаль, да если бы и глядел, то что увидел? Счастье в нашем неведении. Тетушка сказала ему, что старуха эта, гречанка, ходит в церковь в нарядах, в гриме и держится там как молодая. «Mauvaise genre[1],— прибавляла тетушка,— но, я читала, в одной барской усадьбе напудренные бабушки по ночам назначали у статуи Венеры рандеву. А в Анапе? Разве что на кладбище».

Анапа жила от лета до лета, а с первыми ветрами и до скончания холодных дождей сиротела, кушала хамсу и барабульку и давила вино. Кругом зияли пустыри. Мимо гостиницы «Приморской» уныло тянулся песчаный берег. «Кондитерская, два грека,— злословили,— да около сада бегают четыре собаки». Но зацветала сирень, курчавились за кладбищем горы, и — стук-стук — подъезжали и подъезжали фаэтоны. Как далека сюда дорога из Екатеринодара! как бесконечен скрип колес! После дорожной тряски легко воспаляется чувство бирюзовой лаской моря, белыми парусами, фигурками в сандалиях, в синих капотах. Там и тут торгуют угодливые греки в красных фесках. Лихачи предлагают везти на Бимлюк. Что еще нужно?

Когда Бурсак с тетушкой приближался по долине к Анапе, вдалеке, где-то над морем, вылупилось из тучек солнышко, покрыло мокрую дорогу и зелень своей всемогущей нежностью, и Бурсак подумал: как хорошо бы повстречать здесь душеньку. Те же мысли (но уже с обидой, что этого не случится) мелькнули у него в самой Анапе у кофейни; и потом на Высоком берегу над бескрайней водой, и потом еще в саду, когда принесла ему яблоки дочь садовника и сказала: «Их много-много, мы пудами сдаем в лавки, нас за это барин ругать не станет». Бурсак глядел вслед на ее босые ноги и думал: кто ее любит? И самому хотелось влюбиться до смерти. И обида на то, что этого не будет, погнала Бурсака в постель раньше восхода луны.

По настоянию супруги и ради детей выбирал на отпуск Анапу и наказный атаман Бабыч; именно в день его приезда Бурсак, поразвлекав мадам В. казачьими историями, спросил:

— А у вас что в Варшаве?

[1] Дурной тон.

— Недавно была коллективная смерть.

— Из-за чего?

— Любовь. Молодые люди, три парочки, так полюбили друг друга, что решили покончить с собой. Каждый просил товарища или возлюбленную, не скажу уж, убить себя. Ужасная драма... но достойно зависти.

— У нас в городе погибают за идеалы.

— Что же это за идеалы, интересно?

— Свобода.

— Крамолы сейчас везде хватает.

— В Венеции вон арестовали некую графиню Тарновскую, но отнюдь не за крамолу.

— А за что же?

— Соблазняла богатых людей. Жила-была девочка, воспитывалась в Полтавском институте. Семнадцати лет вышла замуж за графа Тарновского. Салон, приемы, выезды в театр, желтые томики романов. Затем любовная связь с братом мужа, она его убеждает покончить жизнь самоубийством; а я, мол, буду чтить тебя как святого. Юноша повесился. Все наследство переходит в руки мужа. Но этого мало!

— Мало?

— Нужны другие. Брата мужа сменяет граф Толстой. И его она убеждает покончить собой. Опять кто-то нужен, кто бы платил за ужин по семьсот рублей, за туалеты по пятнадцать тысяч в год. Муж стреляет в любовника, его, естественно, в Сибирь. Поезжайте в Венецию.

— Мне хочется быть в Анапе,— сказал Бурсак с улыбкой,— рядом с вами...

Гуляли они с ней вдоль пристани; публика провожала пароход «Великая княгиня Ольга». Маленькая мадам В. даже становилась на цыпочки, чтобы подольше видеть палубу, и Бурсак подшучивал над ней. Двое господ следили за ними.

— Tous vous prendront pour ma femme[1].

— Я не против.

— Ваши пышные волосы не дают им покоя. Глаза ваши к вечеру синие.

— Они вам нравятся? Ах, они поплыли в Италию,— отвлеклась она, все глядя в море.— О как там хорошо. Я шесть часов бродила по Помпеям. Это огромный гроб. Римляне жили на открытом воздухе. Представьте, входишь

[1] Все сочтут вас моей женой.

в атриум, и на полу надпись: «Здравствуй». Давно пропавшая жизнь приветствует вас.

Раз за разом Бурсак становился смелее и шутками пытался вызвать у мадам В., возможно, то чувство, с которым она засыпает. Тетушка возила их на целебный Бимлюк, и на обратном пути в сумерках, когда, кажется, светились только волосы продрогшей варшавянки, Бурсак спросил:

— В Варшаве il n'y a que des blondes, n'est-ce pas?[1]

— Ее волосам позавидовала бы любая русалка,— сказала тетушка.

— Я совсем не чувствую их тяжести...

— А так? — Бурсак с чувством давил на ее затылок.

— Сказала бы, но...— и мадам В. взглянула на тетушку.

— Я вплету вам в волосы пучок васильков.

— Они уже отцвели, Дементий Павлович,— сказала тетушка.

На руке мадам В. трогал Дема и бриллиантовое колечко, и все это сближало их на мгновение. «Уж не в память ли это какой дорогой слезы?» — подумал он ревниво.

— Как тебе cette jeune dame?[2] — спрашивала тетушка утром.

— Лицом? Elle est gentille, mignonne[3]. Видать, безответная. Elle n'est pas comme les autres[4] и необычайно проста. И вместе с тем grande dame[5].

— Женщина вполне хорошего тона. Горда, как полячка, но она русская. Да и наши казаки не без спеси. Ей скучно. А у моря даже чужие люди чувствуют себя далеко не чужими.

— Завидую, тетя Лиза, вашей фантазии.

— Фантазии там, где надежды.

— Вы думаете, они у меня есть?

— В твои-то годы и без надежд. Дё-ома! Я сама была молода, fraiche et bien portante... et a de l'imagination[6]. Никогда не была удовлетворена тем, что имела.

— На счастье ли люди сближаются?

— Об этом будешь думать в Екатеринодаре. Живи по сердцу. Не поощряй в себе минорных мыслей.

— Спасибо за добрый совет.

— Чтобы ты знал: она вышла замуж, как выходит большинство из нас. Услыхать от человека: «Вы для меня доро-

[1] Одни блондинки, не так ли?
[2] Эта молодая дама?
[3] Она славная, милая.
[4] Своеобразна.
[5] Светская дама.
[6] Свежа и здорова... она и фантазерка.

же всего в жизни, я всецело отдаю вам себя»,— самая счастливая минута для барышни. Мужчины font toujours du sentiment[1]. Возят конфекты, цветы, ноты.— Тетушка грустно задумалась.— Там, впереди, что еще будет? Один миг, je suis heureuse aujourd'hui[2]. Скорей дожить до блаженного венца! И кажется, что отказать не-во-зможно, и предложение — большая честь. Ни в чьих глазах никогда не прочтешь того, что в этих. А потом... потом замужняя женщина вдруг! когда-то! в первый раз чувствует огонь поцелуя.

Лучшие дачи стояли на Высоком берегу, недалеко от старинного кладбища. Край стола — назвали Анапу греки ли, турки. Никому из дачников и в ум не сверкнет, что ходят они по костям. Вдали, книзу, за греческими харчевнями и магазинами, застревала в болотистых озерках речка Анапка; мимо дюн Бимлюка протопталась дорога на Витязево (греческая Анатолия), Джигинку, Старо-Титаровскую, разбегаясь потом к Темрюку и Тамани. Где-то у Витязева или поближе, возле бывшего азиатского рынка невольниц, отец нынешнего наказного атамана, по прозвищу Бабука, защищал от горцев пикеты. Во времена атаманства Бурсака, далекого предка Демы, Анапу отбили у турок на пять лет. А теперь Дема гуляет с мадам В. и говорит о графине Тарновской. С варшавянкой он со смирением читал на мраморных памятниках надписи, но все поглядывал на ее глазки, искал хоть какой-нибудь намек на интимный вечерок. Сочувствие чужому праху не отнимало жизни, в которой торопились успеть все.

— А вот...— подзывала мадам В. Дему к плите.

Чем ниже, мелочней, ничтожней все земное,
Тем выше ты в глазах моих...

(Гр. Растопчина)

— Мужу от жены. И кажется: такая нежная любовь была у них. М-м.

— Неизвестно...— ответил Бурсак, нисколько не думая о словах мадам В. Она, верно, тоже не слушала его, она чувствовала лишь, как рука обняла ее плечо и не ради утешения, вздоха о скоротечности жизни, а со значением, с намеком, что он желает сближения. Сквозь какой-то туман Бурсак видел кресты и от нежности не мог взглянуть на мадам В. У нее чуть вздрогнули ноги.

— А вон еще...— тихо отнимаясь от его руки, сказала она и прошла вперед. И этот неохотный шаг вперед и походка ее были согласием, позволением идти за ней и класть

[1] ...всегда взывают к чувствам.
[2] Я счастлива нынче.

руку на плечо еще и еще. Но Дема боялся вспугнуть ее назойливой откровенностью.

Зачем же гибнет все, что мило,
А что жалеет, то живет...

(Лермонтовъ)

— Вы любите Лермонтова?

— Да,— сказал Бурсак.— Он написал о нашей Тамани.— Он давно не брал в руки Лермонтова, но зачем было принижать себя?

Перед закатом он неожиданно заснул. Сон спутался какой-то горький, и проснулся Дема сам не свой. Бывает так: откроешь глаза, а в окне последняя алая полоса, и вдруг станет горько, вернутся унылые мысли, с которыми ты прилег на минутку. И чего-то жалко, как будто проспал свой божественный миг! Не украли за этот миг за окном твое счастье, не пролетела ли высоко твоя жар-птица?

«Я в нее влюблен? — подумал Бурсак.— Что ж она не рядом?»

В гостиной разговаривали о Тарновской.

— Когда мы холодны к мужу...— говорила тетушка,— легко дать обещание в Берлине или в Париже какому-нибудь Прилукову...

— Но зачем заставлять его страховать свою жизнь на пятьсот тысяч?

— Мужчины должны выносить любое страдание, причиняемое любимой женщиной.

Мадам В. положила ему на веранде записку. С запиской в руках он и уснул.

«Madame V. espère que M. Boursak n'a pas oublie sa promesse de prendre part à la partie de plaisir d'aujourd'hui et ne se fera pas attendre»[1].

Слова светского обращения нужно было перевести дважды: с французского на русский и с русского на язык любви. Мадам В. благословляла его на нежные порывы.

Он уловил по ее лицу, когда вошел, что она ждала, волновалась. Что-то будет у них, но когда? Надо высидеть долгий вечер, развлекаться разговором, ужинать с вином, а после настанет минута растерянности и, если мадам В. сама не подаст знак, Дема простится и уйдет спать ни с чем.

Так и было. Три часа они ужинали с тетушкой, поднимали бокалы за анапское небо, «за воспоминания» и один раз, с шаловливого намека тетушки, «за блаженство любви».

— Правильно говорят: женщина всегда роман. Надо,

[1] «Мадам В. надеется, что г-н Бурсак не забыл свое обещание принять участие в сегодняшней вечерней прогулке и не заставит себя ждать».

чтобы каждую минуту жизни рождалось новое увлечение и ни одно не утрачивалось. Когда я была маленькой, мне подарили красивую вазу. И я ее разбила. Я плакала, а мама утешала: «Ничего, деточка, в жизни еще не раз что-то расколется».

— Я думаю,— сказал Бурсак,— с тех пор большего несчастья у вас не случалось? Тетя Лиза?

— Я прожила красиво.— Все грехи, казалось, таяли в озорной невинности тетушкиных глаз. Осуждать ее было бы так же напрасно, как ту цыганку, которая гадала у храма Толстопяту.— Мне еще рано носить чепец.

— Почему бы вам не выйти замуж? — спросила мадам В.

— В восемнадцатом веке за меня ответила одна маркиза. «Оттого не выхожу, что замужество вредно для здоровья Брак на камне чистоты невозможен». Дети и без того забыли меня. Родная мать их ждет, а они из Ставрополя проехали мимо меня в Москву. Почему только в Ставрополе могу я быть приятной своим детям? Они меня стесняются? Их коробит? Чувств нет, только деловые отношения: мама, дай, мама пришли.

— Призывайте в молитвах.

— Молиться, говоришь, Дема? Я была в Москве в храме Спасителя на двенадцати евангелиях. На выносе плащаницы стояла. Дед твой Петр молился, много помогло?

— Тетя Лиза, но вы сами...

— А кто мне запретит? Le meilleur de mon existence n'a pas passé[1]. Я же не солдатка времен императора Николая Павловича. У них должна быть жизнь, а мать занимайся табунами. «Как табун переведется,— пугают,— Бурсакова слава минется». Но я, слава богу, Гамбурцева. Я женщина. В эту зиму сколько лошадей погибло. За три версты на сто тридцать штук возили бочкою воду — много ее навозишь? Молиться, говоришь. Хорош мой племянничек? — вдруг переменила тон тетушка и косо заглянула в глаза мадам В.— Нос только горбинкой, но это и оригинально. Серые глаза. А пробор. Ты чересчур мажешь волосы.

Мадам В. поглядела на него с умыслом. Она словно должна была сказать тетушке, что месье Бурсак скоро будет у ее ног, но промолчала, конечно.

— Как хорошо теперь в Париже! В мае Париж был весь лиловый от цветов.

— Тё-отя Лиза...— укорил ее Дема.— Весной хорошо и у

[1] Мое лучшее время еще не прошло.

нас. Со всех заборов свисает сирень, дворы в сирени, площадь вокруг Александро-Невского собора усеяна ромашками. И такие же лавочники-персы кричат: «Восто-очный сладости!» Приезжайте,— сказал он мадам В.— Ну, конечно, в Екатеринодаре нашей тете некуда ходить в шелковом платье с вырезом «en coeur»[1]. И для кого медальон с черной жемчужиной, кольца и портбоннэр на руках?

— Через нашу Кубань и малый палку перекинет. Река рядом, а ее не чувствуешь. А Сена!

— И нету в Екатеринодаре портных.

— Мой племянник язвит. Не придет ли моя очередь?— Тетушка перевела взгляд с Бурсака на мадам В.— Я наворожу.

— А уж так хорошо тому жить, кому вы ворожите! — сказала мадам В., и Дема подумал, что у них есть от него вечерние тайны, впрочем, простые, наверное.

— Да. Если у кого-то хватит смелости вплести в косы дамы пучок васильков.— Тетушка засмеялась.— Или тому, кто похищает екатеринодарских барышень в черкесском стиле.

— Кто же это? — спросила мадам В.— Кто, кто?

— Наш беспокойный Толстопят. Не знаю, как он справится со своим горячим темпераментом в Петербурге. Если его туда заберут.

— Он в Царском Селе?

— Будет, будет,— сказал Бурсак.

— А почему вы не пошли по стопам родных?

— Он слишком нежен для военной службы. Ему по душе мирить людей. Советую вам записаться в поклонники его таланта. У нас недавно убили максималистов. Готовили покушение на Бабыча.

— Это еще вопрос,— поправил тетушку Бурсак.— Дело темное. Скорее всего провокация жандармского полковника. Так проще заслужить повышение в чине. Пред ясными очами начальства неплохо бы выдобриться, когда пресса рычит: казнить всех на месте, чтобы не было у виновных надежды на жизнь хотя бы на каторге. Творить из ничего и приписывать себе славу верности престолу. Впрочем, дело темное.

— Ах, идет куда-то Россия-матушка. Когда это на памятники царям вешали хомуты?! Такого бы-ыть не могло! Взобрались на памятник Екатерины Второй и повесили ей на шею хомут, представляете?

Бурсак слушал и не внимал гневу тетушки.

[1] Сердечком.

— В то время как супруга полицмейстера капризничает: «Что же мне на балу без серег быть, что ли?» — старый казак, Георгиевский кавалер, пишет жалобу в станичное правление,— ему крышу крыть нечем. Что же вы хотите? Мир гораздо шире и длиннее Анапского побережья.

Тетушка встала и вышла. Без нее они как-то оцепенели в молчании; они столько просидели ради этой минуты, и она вдруг стала тягостна. Дема мысленно звал тетушку назад. Мадам взглянула на него и тотчас опустила глаза. И так же, как на кладбище, когда она отняла плечо, Дема почувствовал ее согласие на то, что тетушка провозглашала в тостах. Ее худое личико пасмурно светилось и призывало к себе.

— Я замечаю,— начал Дема,— что vous avez le vin triste. Отчего вы грустны? Quel vin — tel amour[1], так?

— М-м? — не нашлась мадам В., но с волнением покачнулась на его голос.

— Нет, вы скажите,— вдруг расхрабрился Бурсак,— quel vin — tel amour, avez-vous l'amour triste?[2]

Она повертела пальцами бокал на столе.

— Oui, j'ai l'amour triste. Ee vous?[3]

— Vous, qui avez tout jeunesse,— продолжал говорить Бурсак по-французски, так ему было легче,— richesse et de beaux yeux, avez-vous l'amour triste?[4]

— Oui, oui[5], я же сказала.

— За что вас наказала богиня любви?

— Я у нее не спрашивала.

— Ах, она нехорошая.

— Можно любить человека и не быть счастливым возле него.

— Всегда ли нужна взаимность?

— Ах, ну где же ваша тетя Лиза? — Она обернулась в ту сторону, куда вышла тетушка.— Ее правда называют у вас сказкой города?

— Ну... каждый в это вкладывает свой смысл. Знаете, как король Лир: каждый вершок — король. Так и она: каждый вершок — женщина. Мой дядя был слишком казак, и за тонкими чувствами она кидалась к другим.

— Я ее понимаю,— сказала мадам В.— Мы томимся: любовь! молодость! счастье! И долго ждем. И вдруг — поздно!

---

[1] Вы грустны... Какое вино — такая любовь?
[2] По вину и любовь, вы грустны?
[3] Да, мне грустно. А вам?
[4] Вы, такая молодая, богатая, с такими прекрасными глазами и у вас грустная любовь?
[5] Да, да.

— Поздно? В ваши годы? — Бурсак не добавил: «Вам всего двадцать семь». — Mieux vaut tard que jamais[1].

— А по-моему, mieux vaut jamais que tard[2].

— Что у вас за притчи такие?

Мадам В. могла, но не хотела рассказывать свои тайны. Еще было не время; там, где-нибудь на берегу, когда будет не видно ее глаз, она скажет ему все с той простотой и облегчением, которые приносит желание близости. И они встали и поскорей, чтобы не окликнула тетушка, вышли через сад к берегу. Луна уже выбросила на воду белую дорожку. Бурсак обнял мадам В. и поцеловал в висок. Она в ответ взяла его за руку и повела вдоль кручи, уже обещая ему в укромный час что-то волшебное.

— Муж много старше меня, — заговорила она смелее и громче, словно оправдываясь в маленькой вольности. — Ухаживал за моими ножками три года. Вдруг как-то приехал и позвал замуж. Папа дал согласие. Была помолвка, он уехал. Иду я по Киеву (я из Киева), такая тоска, такая тоска. Не могу понять: все кажется, как мечтала, почти любила, но тоска, тоска.

Бурсак, жалея ее больше, чем она себя, ласково перебирал пальцы ее левой руки.

— Я часто вспоминаю один детский случай. В то лето я жила на даче у бабушки. Приехал к нам родственник, пожилой, высокий. Вынул из пакетика леденец в золотой бумажке и сказал: «Кто первый добежит до фонтана и вернется, тому конфеты». Мы, маленькие, побежали со всех ног. Я очень старалась, кого-то толкнула, упала, опять побежала, и леденец достался мне. Я его схватила — и в сад. Но я очень устала, мне не хотелось уже сладкого, и уснула на траве. А когда проснулась, то леденец растаял под солнцем в моей маленькой руке. Вот так и с первой моей любовью. Я очень устала. Я слишком долго ждала, я измучила свою первую любовь...

Бурсак глупел от ее глаз, поддавался ее настроению и со светской меланхолией, в лад ночи и в лад каким-то героям книг, уж конечно не толстовским и андреевским, многозначительно ронял:

— Для счастья одного дня мало.

— А где искать вечного?

— А что, если бы вам сказали наперед: сегодня последний день в нашей жизни?

---

[1] Лучше поздно, чем никогда.

[2] Лучше никогда, чем поздно.

— Последним днем я бы сделала тот, в который бы убедилась, что любима так же, как сама люблю.

Уже много было разговоров, и утром голова пуста, и ему казалось, что мадам В. выдумывала свои рассуждения с тою же привычкой, что и другие, у кого вся жизнь уходит на разговоры, встречи и тоскливые ожидания чего-то. Но мысли эти он тут же забывал — не дай бог, они еще расстроят ему приятные надежды.

У того места, куда прибрели через час, у тех самых каменных Русских ворот, где было когда-то пусто, потом, может, гуляли греки, потом бились турецкие смельчаки, где при атамане Бурсаке взвился кейзер-флаг, знак русского владычества, куда Бурсак никогда больше не приезжал, он во тьме поцеловал ее. Через пятьдесят лет она, снимаясь у этих ворот на память, вспомнила, что он сказал тогда: «Вам хорошо со мной, мой друг?»

— Между нами не дружба, а любовь,— ответила она.

Поздно ночью они расстались в саду, уже обрученные своей тайной. Всю неделю Бурсак теперь ожидал ее в сонный час под высоким орехом. Они хитрили перед тетушкой: в одиннадцать часов, по обыкновению, прощались, Бурсак в своей комнате гасил лампу и лежал до половины первого, думал только о том, как бы не уснуть. Потом тихо выбирался в сад. Уж тетушка спала. Ночи настали безлунные, и в потемках, натыкаясь головой на ветки яблонь, было опасней идти в угол, но зато с какой страстью ловил он ее мягкий шорох, приближение. Она всегда опаздывала минут на десять. За одни минуты ожидания можно было ее помнить всю жизнь. Бурсак звал ее шепотом поскорее выходить из комнаты, заклинал тетушку молитвою не пробуждаться. Он, кажется, слышал, как мадам В. тихо спускалась с порожек дачи. Еще две-три минуты, и она тенью возникала рядом, прижималась к нему, чуть дыша.

— Сто лет назад Шопен предсказал нашу ночь! Если мы будем в санатории «Во имя Христа Спасителя», я тебе сыграю эту пьесу.

По утрам теперь тетушка спрашивала его:

— Comment va ton amour?[1] Ты уже герой ее романа?

— Я выполняю вашу волю: развлечь ее,— лгал Бурсак.

— Elle n'a pas le vin triste comme je vois, mais elle est folle. Alors, c'est sérieux? Ну что же, les sentiments sont permis à tout le monde[2].

[1] Как поживает твоя любовь?

[2] Она не грустит, как я вижу, но она безумна (брр)... Значит, это серьезно?.. Каждый имеет право на чувство.

— Вам было приятно, когда доктор Лейбович привозил каждое утро букет резеды?

— Il n'est jeune, mais il était charmant[1]. Полюби, но постарайся никогда не встречаться с ней.

— Почему?

— Для сердца все великое — первое. Пусть останется в тебе преклонение.

На прогулках с тетушкой и ее знакомыми они с мадам В. нарочно шли поодаль друг от друга. Раз на бульваре графа Гудовича повстречала их чета Бабычей.

— Отдыхаете от циркуляров?

— В Анапе — слава богу. Отдохнуть да почитать...— Бабыч показал обложку романа Болеслава Маркевича (любимого, кстати, автора царя Александра III), которую, видимо, читала супруга, и какую-то на немецком языке.

Моложавая супруга Бабыча незаметным сдавливанием его локтя торопила отойти. Даже в штатском — в малороссийской вышитой рубашке, в белых брюках — он сохранял важность особой персоны, которая стоит в Кубанской области выше всех. Почти пятьдесят лет служить в казачьем войске, а теперь держать булаву — еще бы! Был ли он хозяином в своем собственном доме, или там уже возносилась его стройная жена? Этот казак с седыми усами и короткой бородкой мучился ли своей старостью или закрыл глаза на связь супруги с инженером по особым поручениям Батыр-Беком? Житейское сильнее всякой власти. Пока генерал распутывает донесения жандармского полковника Засыпкина о максималистах, убитых помощником полицмейстера, у супруги много времени для удовольствий. Все так же, наверное, и в семье мадам В. А очень, оказывается, приятно, когда кому-то изменяют ради тебя. И ты впервые в роли обманщика и нисколько не казнишься. Премудро устроен свет.

— Ему шестьдесят пятый год,— сказал Бурсак своей подруге.— Жена моложе его лет на двадцать.

Он посмотрел на нее с улыбкой и подумал: «А ты старше меня, и я тебя люблю, и ночью мы опять будем в саду».

— С тобой je suis très heureuse[2],— сказала она.

Даже не верилось, когда он шел по бульвару графа Гудовича, что безумие ночей досталось ему. Был бы здесь Толстопят — на роль соглядатая перешел бы Бурсак. Случай избавил его от соперников, ему не пришлось состязаться, переманивать взглядами, проклинать свой острый нос, врожденную робость свою и с болью убеждаться в какой-то

[1] Он не молод, но он был очарователен.

[2] Я очень счастлива.

миг, что дама его сердца успела обменяться шепотом о часе свидания и уже стоит на берегу рука за руку. «Сегодня... в углу сада... в полночь...» Толстопят поклялся бы приехать в отпуск в Варшаву, наговорил сто коробов и через неделю все позабыл. Когда от женщины добьешься тайной горячей любви, хочется на трезвую голову подумать: что это? — une petite histoire amoureuse[1] или глубокое чувство? Отраден стыд наслаждения, но пусты без любви воспоминания.

Они уезжали в один и тот же день: он утром, она в полдень.

— В дороге прочтешь. — Она вынула из черепахового портмоне конверт. Бурсак с осторожностью принял.— А лучше в Екатеринодаре.

Однако он распечатал конверт под станицей Крымской.

«Отчего мне суждено было узнать это так поздно? Зачем судьба не избавила меня от многих бесплодных страданий? В то время как я привыкла быть одинокой в своей семье, она послала мне тебя. Для чего?! Чтобы испытывала потом мучительное раскаяние? Но судьба ошиблась. Я счастлива, я хочу жить; мне мил свет божий. Я прошлого не помню, или нет: я его не чувствую более, не хочу думать о будущем, мне хорошо сегодня. Когда я буду через время вспоминать тебя, печалиться, тосковать и плакать, то счастье будет со мной. Сейчас я могу любить только тебя. Чем отблагодарить мне тебя за миг твоей прекрасной любви? Я награждена твоими мимолетными признаниями, твоей искренней мимолетной нежностью. Я счастлива буду и в Варшаве. Прощай. Был ли ты? Была ли я? Прощай...»

Они прощались всю ночь. Тетушка послала ей в комнату графин вина «Изабелла». Внизу за речкой Анапкой клокотали лягушки. Последняя ночь! Они говорили по-французски, как в самом начале, когда проверяли чувство друг друга,— для первых признаний русское слово было слишком нагим, а теперь стало бы слишком печальным. Один раз всего заговорила она на русском:

— Ой, не забуду, как я в первую ночь после свадьбы потребовала, чтобы прислуга моя ночевала у моей кровати. Привыкла! Она была уже в летах. Я не понимала, почему я должна остаться на ночь с мужем — одна. Что теперь от той барышни?

На тетушкиной даче под Елизаветинской Дема безутешно страдал от разлуки с мадам В., все слышал ее слова и воображал, как она тоже страдает без него в далекой Варша-

---

[1] Маленькое любовное приключение.

ве. В Анапе она ему не лгала, ей было с ним хорошо. Но он не знал, что уже в декабре, а потом в марте, в июне в Петербурге она так же не лгала веселому улану и говорила, как скучно ей было в августе в Анапе среди греческих кофеен и казачьих старых генералов. «Все познается в сравнении»,— вздыхала она перед подругой на Английской набережной.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК

Любовь, любовь..

— Как це теперь на свете стало! — возмущался Лука Костогрыз в своей хате за ужином.— У нас в старовыну то ще такие парубки и не думали про девок. А девке и в голову не приходило с парубками водиться рано. Не так теперь: поужинали — и на улицу. Ходят мазать дегтем ворота за то, шо мать не пускает. А у Турукало сняли ворота, вынесли за станицу и там бросили. То трубу соломой набьют. Оце пойду в правление и как шо не применит атаман плетку, тогда пойду до наказного и скажу: у нас батьки парубков распустили и правление распущенное... Ну, сперва до мастера заеду, надо ж папаху сшить.

— Ото лучше,— сказала жена Одарушка, стукая на стол чашку с варениками.— Та сходи к Мавре: сын уздечку брал, а Мавра принесла порванную.

— До Попсуйшапки пойду. Ай, не я буду, колы не засватаю его за Варюшу. Чуешь? — обратился он к внучке. Ты у нас не иначе архиерея дожидаешься.

Попсуйшапка словно слышал те слова Костогрыза ранним утром. Он с некоторых пор вставал с одной мыслью: пора жениться! Пора заводить хозяйку, открывать мастерскую с вывеской и покупать свой угол. Стоять на квартире у швейцара городской управы Косякина — не то. В мебельном магазине Амерханова какие шкафы, столы, зеркала, а заносить в чужие стены нету никакого желания. На своем пороге и курится вкуснее. И с весны затосковал Василий. О том, кого бы крепко, на загляденье полюбить, он много не мороковал. Полюбится постепенно, а понравиться должна сразу. Была бы не слишком дурна видом, опрятна, а главное — добра характером и проворна в домашней работе. С красоты воду не пить, и, как рассказывают, ночные утехи пресыщаются, а добропорядочное чувство друг к другу — залог счастья до самой смерти. Так в крестьянстве везде. Нужна человеку семья.

Василий ходил по гостям, слушал, поглядывал на молодок и про себя отмечал, какие у девушки родители, братья,

чем славятся, спокойные ли. Он всем был по нраву: аккуратный, вежливый, всегда в кармашке расческа, рассуждает не по летам ясно. С детства был он тем человеком, который принимает за святость все заповеди, внушенные ему молитвами бабушки, матери, их поведением; ценил Василий в жизни все устоявшееся, был до ужаса стыдлив. Однажды, еще мальчиком, дергая сено, выругался он черным словом, оглянулся и, увидев старшего брата Моисея, так перепугался, что месяц целый не поднимал на него глаз и не смел его о чем-нибудь попросить. Не было в 1906 году у Хотмахера лучшего приказчика, чем Василий; он ему доверял больше, чем родным братьям, посылал его в Ростов за картоном, ниткой, подкладкой. Глаза его будто выставлялись из орбит и говорили, что обманывать они не умеют. Любая за него пойдет и не охнет. Смуглый, на пробор расчесанные волосы, тонкие усы, веселая походка — жених! И маленький рост не смущал. Супруга наказного атамана принимала его как-то на втором этаже (пока генерал распоряжался городским головой) и допрашивала пристрастно: о какой жене он мечтает? «Так мы вас женим!» — пообещала она. Но куда уж! Это был просто минутный господский жест! Не ко всякому двору Василию вольно топтать дорожку. Разве пойдет за него благородная девица в платье с треном и поохотится ли за ним семья генерала, тем паче дворянская? Если бы он украл на извозчике Шкуропатскую, пристав Цитович через час затащил бы его в кордегардию кормить клопов. Не-ет. Даже покорный ливрейный лакей из Зимнего дворца не отпустит к нему свою дочку. Да и зачем, с какого благополучия? Век бы попрекали: мы тебя одарили, пристроили, вытащили из назьма. Он выберет себе невесту по возможности,— в том счастья больше. Состояние он наживает своими золотыми руками.

Его сватали всюду. Пожилые приказчики, швейцары, станичные писари, шабаи хвалились своими дочками, подзывали к столикам в ресторане Старокоммерческой гостиницы, некоторые переманивали к себе на постой. Василий мудрил, колебался. То оттолкнет его интерес нечищеная селедка, которую мать ставила на стол,— это значит: такая и дочка? То покажется семья нечистой на руку; или неразговорчивой; или скандальной. А то и национальность спугнет: трудно ломать себя, двоиться: у них свои обычаи и кушанья-то на столе не те. Лучше по-православному. В Елизаветинской уж было присмотрел дивчину, да спасибо Терешке.

— Хо! — зычно заорал тот.— То лодыри. Пока мужик

в череде скотину пасет, сама на койке валяется, а к вечеру, как увидит, с горы от могил коровы идут, за цапку. Он гонит стадо и кричит: «Да будет тебе полоть, уже отдыхай!». И дочь будет такая. Лучше ниточницу пожалей, такая, как игрушечка, она по дворам нитками, чулочками торгует. Купи ей у Леона Гана духи пахучие, а я завезу для первого разу.

— Не-ет, ее перс в баню Лихацкого водил.

— Ну тогда выбирай с граммофоном! — злился Терешка.— Их две. Одна заводит, а другая в шкапу прячется. Она с ним за ширму ложится, а та граммофон настраивает. Он же пиджак оставил, и, пока граммофон шумит, она тебе карманы обчистит. А тут стук в дверь! Ты за ширмы — да на двор. Бери, с такой не пропадешь. И будете вдвоем обчищать. Ну, чего?

— Прошло, Терентий Гаврилович, то время, когда я на удочку попадался. Один раз было со мной, и с тех пор зарекся. Да и то спьяну. Хотели с девчатами погулять у Швыдкой четыре года назад. Молодые ж, организм требует. А тут полиция. Кто-то из приказчиков сбил фуражку с крючка, а он орать: «Тебе за царский герб попаде-от!» А казаки, что танцевали в зале, с Первого Екатеринодарского полка, выскочили и чуть не поубивали нас. Услыхали ж «царский герб»! Так я бежал кварталов шесть. Срам. И на утро в церковь пошел. Не нужны мне «водовороты страсти» и «рабыни веселья».— Попсуйшапка напомнил Терешке названия картин в электробиографе «Бонрепо».— С какого благополучия? Не нужно. И не нужна вдова на Садах. Класть ее денежки в свой сундук — упаси бог.

И вот подвернулся однажды Лука Костогрыз. Померили его голову, побрехали от души, и так жалко было расставаться, что сплотились идти вместе в баню Адамули. Полезли в «дворянскую», на второй этаж за двадцать копеек. Банщик на одной ноге, герой турецкой войны, подносил прохладное пиво прямо к тазам. Много ли надо было пропустить в старое время, чтобы развязать языки! И трех кружек хватило: позабыли про дом и пошли париться в другой раз. Тут, прикрывая срамоту тазом, подоспел к каменным лавкам Терешка.

— Зайди, Василь, сзаду поелозь еще,— давал старик Попсуйшапке терку-мочалку и поворачивался спиной, руками упирался в лавку.— Почеши шкуру старого мерина.

— У вас и кожа еще не висит, вам жениться можно.

— А то й! Рано ще. Годов несколько погуляю, тогда и выберу дивчину. Возьму ту, шо в церкви у нас молится:

«Свята Покрова! — просит.— Покрой меня хоть ганчиркою, та щоб не осталась девкою,— бо была я на плантации, так поганый сон видела».

— Ой, Лука Минаевич! Я отдыхаю с вами. Вы б и сказали той девке: зачем ей на плантацию к грекам ездить за вздутым животом, она б почаще в шапошную мастерскую приходила, мы ее без очков увидим.

— Свята Покрова уже помогла ей: мальчика родила, а от кого, ей-богу, не скажу. Под лопаткою продери.

— Пойду и я в церковь, попрошу себе невесту.

— Приезжай к нам в Пашковку. Ты б на мою внучку глянул: та такая вертучая, та красивая, та умница: и деду носки связала, и на зингеровской машинке платьев настрочит.

Внучку ему жалко было: двадцатый год, пора! Сам он свою бабку взял шестнадцати лет, несколько фунтов пороху постреляли, провожаючи молодых в церковь, и ведер двенадцать очищенной водки выпили — столько казаков гуляло! И не поспел до свадьбы поночевать с ней на сеновале, попривыкать друг к другу. Такое заведение было у черноморцев: парень валялся на сене с девкой по-честному, и мать с отцом знали, но не боялись, потому что и сами они так привыкали, и мать его девкою легла в законную после венчания ночь.

— Приезжай, я тебя пчеловодству научу. Будешь, как садовод Самойленко наш, жить. Слыхал, как он столы накрывает?

— Мне брат Моисей рассказывал. Брат мой, Моисей Афанасьевич, в войсковом оркестре играл, и вот Самойленко пригласил хор. Так брат каждый праздник сгадывает, как Самойленко весь хор угощал и все было цело, будто не пили и не ели. А гуляли три дня! Добрых тридцать человек. И спали у него. Хозя-аин.

— Женись на моей внучке, и ты станешь хозяином. Грамоты большой не надо.

— Я за три копейки у дьякона учился,— сказал Попсуйшапка и понес таз в раздевалку.

— Эй ты, шестерка, эй ты, половой! — покрикивал Костогрыз следом.— Подай нам бутылку с белой головой. Хороша баня. Закажем ще пива. По кружке.

Он сел на лавку, вытянул худые, с большими когтями на пальцах ноги, медленно, словно выдавливая, обтирал себя полотенцем. Усы его свернулись в подкову.

— Ай и пар! — вошел и Терешка.— У Адамули не хуже, чем у Лихацкого.

— Спасибо тебе, Василь,— сказал Костогрыз.— Напарился, как в Петербурге. Не ты б, я бы налил в корыто и плавал в хате. За три копейки у дьякона учился, а все знаешь.

— Да, Лука Минаевич, за три копейки.

— А мы внучку свою забрали со школы и рады. На шо ей учиться? — спросил он мужика, застегивавшего верхнюю пуговицу на рубашке, и продолжал: — Шо оно понимает в шесть лет? Одарушка моя ругалась: «Оно ще головы не расчешет само — куда? Какая там учеба? Пускай ото сидит дома, вяжет. Ей на службу не идти. Учат там «Отченашу» так тому любая мать дома выучит».

— Борщ хорошо варит, и ладно,— сказал Терешка.

— Колы внук Дионис в школу по грязи ноги таскал, я его спрашиваю: «Ну, чему вас там учили? Шо вы читали?» — «Про лисичку та зайчика». Шо це за диво? — уже полгода, а ни молитвы, ни заповедей не дают, все лисички, та зайчики, та волки. Школу закончит, а «Отченаша» не будет знать. Ще месяц проходит. «Ну, про бога читали шо нибудь?» — «Не». Я поскорей надеваю кожух та до учителя. Я тебе, думаю, закудкудахтаю! Вылаял и батюшку, и его но потом вызвал меня атаман и матом перед открытым портретом государя кроил. А я в Петербурге и грамоте, и коймему поднабрался, и такую ему пулю отлил! Учеба. Знаешь кто враги внутренние и внешние? Титул государя? И ладно. С какого ты года, Василек?

— С восемьдесят третьего,— бодро ответил Попсуйшапка.— Село Новая Водолага. Я под тем местом родился, где крушение царского поезда было в восемьдесят восьмом году.

— Я ж вместе с тем поездом падал,— сказал Костогрыз и встал.— Во! — пощупал он хрящ на руке.— Батьку-царя везли из Крыма, покойного Александра Третьего, царство ему небесное.

Все двадцать лет колокола звонили 17 октября в честь чудесного спасения царской семьи от гибели. Лука Костогрыз не мог без слез стоять в церкви на молитве: бог спас его.

— Да будет мне бог судьей,— сказал он, крестясь,— если я говорю неправду: я сам видел, как после спасения деревенские бабы лезли из-под кареты целовать царю и царице ноги. Карете не давали с места стронуться. Это я сам видел.

— А то правда,— поинтересовался Терешка,— что царь крышу вагона поднял на плечах и вылез?

— Шо здоровый был, монету сгибал пальцами, то прав-

да. Дай-ка штаны надену. Це царица небесная нас спасла. А то б не давал я сейчас Адамули двадцать копеек на баню. Я в заднем вагоне ехал. Из пятнадцати вагонов уцелело пять. Царский вагон упал на насыпь, колеса отлетели, пол провалился. А крыша на насыпи, уперлась в нижнюю раму и прикрыла царскую семью. А кому я рассказываю? Вы казаки?

Костогрыз с важностью стал надевать штаны, и было понятно, что он больше ничего не скажет.

— То ж царь был. Всех в руках держал.

— Вас, казаков, наградил землею, а нам ничего не дал,— отозвался из угла иногородний.

— Наши батьки заработали. Как перебирались черноморцы с Запорожья на Кубань, моего деда в бочку стоведерную посадили — вот так и доехал он, а вы шо? Голопузые кацапы налетели как саранча. Служить надо.

— Вы служили и туркам дань платили, а когда мы служили, перестали платить дань.

— Вы, ребята, этими речами не ошибайтесь. За язык семь суток дают. Пошли, Василек.

Костогрыз угрожающе посмотрел вокруг и вышел. Мало ли, мол, какие у нас были цари, но он при них служил и медали от них получал. Нечего!

— Ступайте к нему чай пить,— проводили его репликой.— На тот свет.

Отчего-то захотелось троице отведать трактир Баграта.

– О, к чертовой матери,— закричал Баграт,— люблю героев турецкой войны.

— Це ще не герой,— сказал Костогрыз про Попсуйшапку.— Он ще на кордоне заместо гололобого татарина верблюда не стрелял.

— А-ха-ха. У меня тоже новый анекдот. К портному дама пришла на примерку. «Пожалуйста, снымай лыфчик. И эта штука снымай. Все снымай. Зачем крычишь? Абнымаем? Мы нэ тэбэ абнымаем, мы лыныя искаем!» К чертовой матери, вчера городовой Царсацкий рассказал. По гусачку скушайте.

— Давно я не пробовал у тебя. А старый друг лучше новых двух.

— Если она очень старый, то хуже. Охота молоденькую фэфочку. Молодому человеку невесту найду. Персу нашел, почему ему не найду? Баграт все может. Какой цвет волос? Талия узенькая? Прекрасная Елена, владычица сердец, ты будь... и...

— Мне хозяйка нужна,— хмуро сказал Попсуйшапка.— А не та, что карболкой на базаре травится.

— Мы ему такую выберем,— сказал Костогрыз,— шо вымя у коровы помоет, подоит и вытрет чистой тряпочкой.

— Кухарка у наказного атамана. Всегда кости будут, а? К чертовой матери. Выбирай!

— Не, не,— отпирался недовольно Попсуйшапка.— И ваших за ширмой трехрублевых тоже не надо.

Уже смеркалось. От Баграта они вышли по Екатерининской на Красную и у пожарной каланчи поглядели, как господа идут в «Чашку чая», затем пожали руку Терешке.

— Поедем в Пашковку, Василек! — настаивал Костогрыз.— Одарушка нам вареников поставит.

— У меня в бочке шкурки замоченные, Лука Минаевич.

— Ведь если допустить, что весь правый лагерь ошибается...— послышалось сзади, и Костогрыз с Попсуйшапкой оглянулись. Двое господ в шляпах разговаривали. «Шляпы не от Хотмахера»,— отметил Попсуйшапка.— То неужели весь левый лагерь прав? Неужели интересы России на этот раз гораздо вернее понимают господа жиды, поляки, латыши, социалисты, русские и заграничные?

— Це пускай брешут,— сказал Костогрыз.— Оно нам не нужно. Поедем. Ну й напились мы с тобой. Один так же напился и заснул в канаве. А его, сонного, зачем-то из чебот вынули. Проспал чеботы. Мои на мне ще? Ще тут.

— Это у вас называется напиться? По стакану воды.

— Поедем. Подарю тебе оту старую люльку, шо у меня на стене висит.

В Пашковской у воротец хаты, сложив руки на животе, стояла в ожидании сухая,— остроплечая бабка, жена Костогрыза.

— Фу! — сказал Костогрыз ей.— Слава тебе, господи, и тебе, Одарушка, шо по погоде до хаты дошел. Наша ж станица?

— Где ж вы были, шо ты так упарился?

По воспитанной в казачьей среде осторожности она не смела браниться открыто, а может, была малодушна, добра; в ее голосе было больше любопытства, чем строгости. Себе бы в жены мечтал найти Попсуйшапка такую же понятливую казачку.

— У Баграта задержались...— Костогрыз пошел по длинному двору.

— Лучше б пошел с внуками у концерт.

— У концерт? А чего я там позабыл? Один водит смычком, а все пораззявляются, как бараны на воду. Как бы он у меня в хате играл, а я бы лежал та слушал, то оно б так.

Той музыкой только кур скликать. Я лучше войсковой хор послушаю. Поднимусь наверх, казакам дам на водку.

— А це кто? — шепотом спросила жена в хате.

— А це шапошный мастер. А ну давай нам адамовых слезок та чего-нибудь на закуску мяконького.

Одарушка покорно захлопотала; достала из печурки серник, ткнула его в пепел припечки и, когда он зажегся, перенесла огонек к каганцу. Костогрыз, подняв крышку огромного конвойского сундука, обитого жестяными полосками, провалился туда по пояс и что-то искал.

— Чего оно там лазит, чего оно там ищет? — запричитала Одарушка.— То оно не видит, шо там мука!

Костогрыз с громом бросил крышку.

— Медали мои мукой засыпали, ружья на вас нет!

— Они у тебя там лежали когда, медали те?

— Ты ж моя козочка, ты моя ясочка, не бурчи, неси нам скорей на стол.

Через полчаса Одарушка принесла на стол две мисочки сметаны, положила ложки. Не успели оглянуться — она выловила плетенкой из котелка вареники и так же в двух мисках поставила перед Лукой и гостем. Попсуйшапка следил за ее руками. Бросив по ложке масла и творогу, она прикрыла поочередно миски кружком, встряхнула несколько раз; затем взяла глечик, перевернула его донышком вверх и на него устроила каганец. Василий сидел как у себя дома в деревне, когда мать их кормила вечерами. Костогрыз заправил оселедец за ухо, крепко потер лысину ладонью, перекрестился и сказал:

— Просим! Нехай, как говорили паны-отцы, сам господь благословит на яствие и питие. Добре ты, стара́, сотворила, шо огонек близко подсунула, а то как мимо рота не пронесешь, то, может, заместо вареника какого другого зверя потянешь.

Красивая барышня-казачка с подобранной под шелковый платок темной косой спала в углу другой комнаты.

— Засватаем Василя! Тут один приглядывается к ней, но она на него и плюнуть не схочет. Так же, перепелочка моя? Ты спишь? А то я сам пойду по дворам жениться! Чего? Чем не казак? — Костогрыз встал и завертелся.— Хоть сбоку. Хоть сзаду. Кругом бравый казак. На вечерницах увижу какую бравую дивчину, то й моя!

— Ой и поднесу я тебе печеного кабака! — Одарушка взмахнула перед стариком чистой тряпочкой.— Расходился.

— А шо нам делать в чистой отставке? Засватаем внуч-

ку. Перекидай чарку, Василь. Чернобровая, свежая та полная, как луна. Где ни посей, там вродится. Перекидай чарку.

— Замуж идти,— сказала Одарушка,— надо коленкой сундук придавить.

— За приданым не станет. Пчелы есть. Она сиротка у нас. Дед, бабка, сестра та брат Дионис. Батько на японской голову сложил. Ой, к Дионису надо в лагеря. Ты ж пирожков спеки, Одарушка. Чего она там лежит? Вкупе почивать — оно теплее. И как мы с бабкой колысь: сама на дрожках, бисова душа, приехала.

— Боже! — Жена опять взмахнула тряпочкой.— Та ты, Лука, пришел как хомяк, глаза б не видели.

— Чего ж хомяком не быть, як такие штаны на меня надели. Батько весной отвез на степь, я там жил и ночевал. Приезжают осенью: «Лука, будем тебя женить. Пошили штаны и сорочку». А я, Василь, ходил в полотняной рубахе до пяток, штанов не было. И «тебя женить будем»! Ну-ну! За руку — и в станицу. Нарядили. Кого ж брать будем? «Та есть там Одарушка, она моторна дивчина, коров подоит, поприбирает, помажет все. И мастерица строчить воротнички на бешмете».— «Я ж ее не видел!» Едут дядько с батьком, и меня посадили на гарбу. Привели. Выходит она: худенькая, трошки рябенькая, известку колупает на печке.

— Понравилась? — выкрикнула из угла внучка. Голос приятный.

— А! До черта я там знал, понравилась, нет. Батько ж сказал: добра дивчина. Главное — штаны на меня надели.

— Привезли его,— перебила жена, стараясь в игре воспоминаний попуще унизить своего бывшего жениха,— я как глянула: а он толстый, морда порепанная, сам недотепный. Штаны широкие, полотняные, очкуром подвязаны, а вот тут одна пуговица великая-великая, о бо-оже, не пойду за него. Не пойду, не нравится. Брат сзади толкает: «Иди, подлюка!» Посадили, повезли. А у них стога сена, коровы рачком стоят, в сене копаются. «Ой, боже, как тут хозяйствовать?» Гарба на трех колесах, коняка на трех ногах та хата, шо перекидается. И мать под церковью пряниками торговала — це ж позор для казачки! А под венцом кидал задки как жеребец.

— Я, Одарушка, целовал тебя потихоньку, шоб не напугать, а ты хватила меня как ужака лягушку. И положила на душистое сено, под образа. Глянул утром на старые иконы та вспомнил, шо надо ж завешивать. Ой, говорю, болит

рука! Она: «Меньше ото будешь за пазуху хвататься». Ну, думаю, эта дивчина не будет плодовитей пчелиной матки.

— Забрали на службу, я сама в поле, оставил меня с двумя хлопцами.

— Сижу та думаю в секрете: лежит моя жинка на гарбе. Та не лежит ли с нею ще кто? Может, кто выкатил гарбу за станицу.

— Чтоб с тебя дух выперло. И тебе не стыдно, Лука?

— Мы, молодые, шо делали. Заснул казак с чужой бабой,— она на дворе спала, а мужик в хате. Мы выкатили гарбу на улицу, а они спят и не чуют. Да потом на добрую версту откатили — спят! Мужик утром глянул: а где ж гарба? Пришла баба: «Вон твоя гарба, выкатилась с моим мужиком и твоей жинкой, а ты сидишь!»

— Ох и проклятые казаки. А вредные! Казак лежит на возу, песни поет, а молодуха волов хворостиной погоняет.

— Штаны ж надели, чего ж. Отгуляли мы свадьбу, три дня, я и говорю батьке: «А штаны ж надо снимать?» — «Будешь носить».— «Та как же — одни штаны».— «Раз женился — надо штаны носить». Так же, Одарушка? Ну, я спать, а вы сватайтесь. Соединяйтесь любовью и духом.

Наконец и внучка поднялась с койки, вышла какая-то хмурая, но сквозь недовольную улыбку поздоровалась с Василием и села у окна, вперлась глазами в темноту. Василий мигом обозрел ее всю, оценил: «Лицо круглое, чистое. Волосы каштановые, брови редкие. Росту умеренного. Ушки ласковые. И голос чистый».

Костогрыз на топчане бурчал во сне, смеялся, вздергивал порою руку.

— Шо с тобою? — подходила жена.

— Та це я заплющил очи и поехал до хаты, где батько с матерью свадьбу гуляли. Перед филиповскими заговеньями была та свадьба. Их посадили за стол, когда входит приятель Турукало и подает знак рукою: «На минутку!» Батько встал: «Зараз вернусь». И пришел аж на третий день. Щека разрублена, в левой ноге засела черкесская горошина, и трясла его лихорадка. «Я думал, шо скоро вернусь, не так вышло. Ну, ничего, зато две ружницы та шаблюка добра в очерети захованы». И мать моя видела своего Миная на масленую да на Велик день. Их никого уже, деточки, нема, черноморцев. Ось я ще живой. Никого нема. Та ще три моих друга, ну они помоложе: один в Каневской, один в Кущевской, один в Васюринской. В лагеря до Диониса-внука поеду, так проведаю по дороге и их. Никого больше. Если не веришь, Василь, то сними мою люльку и носи в кармане.

Никого. То кресты носили на черкесках, а теперь сами под крестами лежат. Сватайтесь, дети,— закончил Костогрыз и опять задремал.

А Василий еще целый час сидел со старухой и внучкой, гордился секретами шапочного дела.

— За бараньими смушками надо следить... Мы храним в бочках, пересыпаем табаком, чтоб моль не поела. А все равно где плохо промыл, моль попадается. Это уже скандал. Генерал Бабыч приехал заказывать папаху, подают ему с десяток, он: «Попсуйшапку позовите».— «Какого?» — «Обоих братьев». Я вынес ему из шкурки тибетского козла, брат выкурил — слеза потечет. Бабыч остался доволен. А иначе как же? Когда родится бухарский барашек, его сейчас же заворачивают, оставляют только головку, чтоб матка полизала. Волос тогда вьется. Все надо знать... Дамского портного Рожкова знаете? У нас три шапки шил. Дом его стоит — угол Базарной и Насыпной, напротив кузнеца Вырвикишки.

Внучка наконец-то улыбнулась. Попсуйшапка твердил свое:

В бильярд не играем. Некогда. Не тот товар, что лежит, а тот, что бежит, правильно? Приезжаю в Москву в магазин головных уборов Василия Егоровича Александрова и Макара Егоровича. Захожу. «Мне нужны донушки,— говорю,— для подкладки, и налобник сафьяновый, а на донушке чтоб печать — клише фирмы». А как же. У Макара Егоровича двуглавый орел, а у Василий Егоровича одноглавый. Адрес укажешь: Красная улица, семьдесят четыре, под гостиницей «Лондон». Сами отправляют. Хотмахер только меня посылает.— Василий выпрямился от гордости, по-хозяйски разгла́дил усы.— Ну...

— Запрягай, запрягай волов! — разговаривал во сне Костогрыз.— В Каневскую до Скибы... акафисты читать...

— Хороший у вас дедушка,— сказал Василий.— И ему папаху сошьем.

— Дорогая та папаха?

— Молдавского курпея до семи и десяти рублей. А до двадцати — каракулевая. А мерлушка, знаете, почему так называется? Мерлушка из того барашка, что умирает в утробе матери и родится неживым.

— Старый Бурсак прибыл с Запорожья с братом на бурых конях,— бормотал Костогрыз.

— А дом есть или на квартире? — спрашивала старуха.

— Еду я на ярмарку — у меня в каждой станице дом. И угощают, и спать положат, и будут приглашать еще. Важ-

но человеку понравиться. С какого благополучия будут пускать кого попало? Вон Донченко или Горлач продадут лошадь,— она еле ноги волочит, еще и смеются: «А ты думал, я рысаками торгую. Я калеками и торгую». Хорошее далеко слышно, а плохое еще дальше, это ж верно? Мать мне наказывала: «Так живи, дорогой сынок, чтоб в каждой деревне у тебя был свой дом». В деревянной бочке никогда жить не буду. Как Чуприна.

— Какой?

— Где Рашпиля дом,— опять заговорил Костогрыз,— там мы уток стреляли, было болото. Потом там наказные атаманы жили...

Старуха укрыла его и опять села. Она уже души не чаяла в Попсуйшапке. Такой молодой и такой здравый. И лицом удался: умные любознательные глаза, черные усы. Осанка уверенная. Двадцать пять лет от роду.

— Чуприну вызвали в суд свидетелем, а повестку не вручили. Аристотелиха, что солеными огурцами из бочки торгует на Новом рынке, подралась с Бонрепихой, хозяйкой электробиографа «Бонрепо» на Гоголя, возле дома Акритаса, помните? А Чуприна видел. «На какой же ты улице живешь?» — спрашивает судья. «Я, господин судья, живу на Новом рынке, под Бондаренковой лавкой, в сахарной бочке». Соломы наносил, стружки мелкой — яблоки распечатают, лимоны, апельсины, он заберет бумагу, вот его постель. А снег выпал в пол-аршина. Он в бочку — и спит. «Где твоя квартира?» — «Да моя квартира на Новом рынке под Бондаренковой лавкой в сахарной бочке». Хохот! Семьи не было, ни осей, ни колесей. Меня это не ждет.

— У них после обеда и чая руку целуют...— мешал им беседовать Костогрыз.

— Дела мои идут хорошо,— продолжал Попсуйшапка.— Косович всегда из своей экономии за мной тачанку присылает. Сам, если в городе окажется, ночует в гостинице Губкиной, где барышню Шкуропатскую офицер Толстопят держал, слыхали? Косович любит соус с почками. И меня угощает. Ему дома надоедает баранина, голубятина, у него голубей тысячи две. Приезжаю к нему за шкурками, так он всегда: «Скажите кухарке, что́ вы будете кушать, коровинку или голубятинку. Нет, нет, не пообедаете с дороги, товар не покажем. И водочки выпейте. Ничего, душа меру знает». Деревянный чан, в нем ведро с кипяченым молоком. Пей кто хочет. Жить можно, если люди уважают.

— Где ни хорошо, а надо жениться,— сказала Одарушка.

— Ну, ясно,— поднял в согласии голову Василий.— У нас в деревне, где я родился, поют: «Первая полюбила — кольцо подарила. Вторая любила — белу постель стлала. Третья полюбила — хозяйкою стала». Хозяйку и возьму. Чтоб не глядела по сторонам, а дома жила. В двенадцать лет у меня была барышня. А вторая — уже костюм мне купила. Ее мать бубликами торговала. Дите такое же, как и я. Она мне вышила двенадцать платочков голландского полотна.— Он полез в карман и достал один.— Видите, расшит разноцветным шелком. «Люблю сердечно, дарю навечно». Брат десять штук выносил.

Старуха глядела на него во все глаза. Внучка отвернулась к окну, так и сидела — спиной.

— Взять такую, шоб родителей почитала,— сказала Одарушка.

— Ну. Мне было восемь лет, гадала моей матери хиромантка. Я рядом был. «Смотри,— на меня,— в глаза мне, деточка. Вот, Мария Андреевна (поворачивается к матери), ты будешь у него жить, он будет тебя хлебом кормить. И заберется жить далеко». Брату Моисею сказала: «Если пойдешь в солдаты, то вернешься в золотых погонах». Офицером, значит. А если не пойдет в солдаты, станет калекой. Все сбылось. Он не пошел. Попал тут в Екатеринодаре в движение революции в пятом году...

— ...А чи не пора нам, матушка, везти до линейцев та ставропольцев тарань? — Костогрыз перекинулся на левый бок. Старуха укрыла его еще раз.

— ...его встрелило вот в это место, в ямочку под горлом и повредило нерв, и усушило ему эту сторону, нога трюкает. А мне сказала, что, если будет жить, заимеет в два этажа дом. Ну посмотрим,— сказал он скромно, скрывая уверенность в том, что своего добьется.— Продавцу казенной винной лавки дали серебряную медаль, на андреевской ленте, а я жив буду и святую Анну на шею получу. Пора мне вставать...

Его не отпускали. Из уважения, уже стоя у порога, он побеседовал еще, рассказал про вдову на Садах: кладет любовнику-приказчику деньги в сундук. Про Швыдкую: на Новом рынке хочет во искупление грехов уборную ставить. Про Фосса: в балагане показывали страуса; взял яйцо весом в шесть фунтов, щелчком разбил и скушал. Рассказал, как убили братьев Скиба и что помощника полицмейстера защищают союзники. Про то еще сказал, почему Бурсаковские скачки так называются. Все знает, и утешил старуху новостями вдоволь. Поклонился на стороны и вышел.

«Женюсь,— думал он, бодро шагая на ночь по Ставропольскому шляху,— поеду в Петербург и куплю жене мыло английской королевы Александры за двадцать пять рублей. Запечатана упаковка гербовой пломбой на шелковом шнурке. И скажу: «Вот, видишь, дорогая, твоя родня в Петербурге у царя служит, а я за три копейки у дьякона учился, ну такого они подарка не сделают».

Возле «Чашки чая» нашел он в ту ночь бриллиантовую брошь и передал ее в полицейский участок. Так его воспитали: чужим добром не разживешься.

ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЙ САМОВАР

Тетушка Елизавета не хотела, чтобы Дема, когда подступит срок, женился на казачке. Она упрямо отучала его от всего местного и в родную станицу Каневскую возила в юности редко.

Сама русская, «проклятая кацапка» из Тамбовского поместья, красавица с водяными глазами, невинными даже в ссоре, тетушка переменила в какой-то странный день свою девичью фамилию Гамбурцева на запорожское прозвище предков мужа — Бурсак; переменить переменила, но ничем русским не поступилась: казачьих свычаев и замашек так и не приняла, родню мужа, всех его товарищей по полку недолюбливала уже за то, что они балакали и задавались заслугами отцов. «Кубанский душок» (неприветливость, какая-то противность в характере) оттолкнул тетушку в первые же дни, и она в Екатеринодаре выбрала себе общество в кругу иногородних. К счастью, была Елизавета Александровна не только светская, правильная и манерная, не терявшаяся даже в Париже, но частенько показывалась в интимном собрании удалой, забубенной. В Екатеринодаре ей было неуютно и скучно.

Это от нее заронилось в племяннике мнение о замшелой непросвещенной Кубани, о том убожестве, которое якобы ничем не вытравишь, и Дема стал мало-помалу отрекаться от своего детского гонора: я казак! Если на то пошло, внушала тетушка, то не было на Кубани и настоящей истории, а складывались на закусках одни байки о том, как отец нынешнего наказного атамана Бабыча гонял шапсугов и абадзехов. Может, потому Дема, любивший древнюю Грецию, Рим, совсем не интересовался историей Кубани и както о прапрадеде, войсковом атамане с 1799 по 1816 год, позволил отозваться так: «Вся и слава, что оселедец за левое

ухо закручивал и писал словами величиною с воробья».

Но слава была.

Сто пятнадцать лет назад расставил «кош верных казаков» курени по Кубани, и уже сорок четыре года тому, как примирилась кавказская война.

Где, в каких бумагах искать теперь тех рыцарей степи?

Спасибо Луке Костогрызу: он принес мягкий, как тряпка, номер «Кубанских войсковых ведомостей» с началом «Записок кавказского офицера», то есть деда Петра. Продолжения записок не было. Дема перерыл у архивариуса все газеты за последнее десятилетие прошлого века, и напрасно. Приезд государя Александра II на Лабинскую линию, наказание прадеда Толстопята за нарушение порядка заявления претензий, появление в Варениковском укреплении великого князя Михаила Николаевича в 61 году, стычка Адагумского отряда с абадзехами и выручка из плена того же Толстопята, плакавшего и стонавшего перед товарищами: «Братцы, братцы мои! Наконец-то...» — вот и все, а дальше?

Костогрыз давал советы поехать в Каневскую и перебрать на хуторе Бурсаков все мешки и покопаться в скрыне.

«Вы знаете, паныч,— кричал в тот раз Костогрыз, тыкая в Бурсака люлькой,— кто в Кубань бросился с лошадью, знаете, шо то место называется Бурсаковы скачки?»

«Знаю. То мой дед Петр».

«А чи вы знаете, куда делся кувшин с золотыми монетами, который обещали тому, кто найдет Бурсака? А где тот кувшин и до се?»

«Не знаю».

«А вы видели ту женщину, которую ваш дед полюбил и из-за нее страдал?»

«Впервые слышу».

«Ну шо ж вы знаете? И чи тетя ваша не сказала вам? А на могиле первого черноморского атамана Бурсака были? И где она? Вот то-то и оно».

Было немножко стыдно.

В либеральной газете «Кубанский край» с издевкой писали, будто в те баснословные времена кто-то из Бурсаков купил маленькую карету, запряг ее огромным волом с вызолоченными рогами и катался по Екатеринодару. Засорили писаки большие листы российскими сплетнями, рекламой торговцев, скандалами на Старом базаре и отчетами городской думы, а в строгих «Кубанских областных ведомостях» намозолили глаза циркуляры генерала Бабыча.

«Я богато кое-чего знаю,— не замолкал Лука Косто-

грыз,— я, может, теперь самый последний, а тех, кто мало видел красных дней, никого нема. Они жили, диточка, так трудно, шо посеют мешок пшеницы и меру овса — и того некогда убрать: хвать за серп, а тут с орудия: гу-гу-у... Сам на коня, а жинка в терен ховаться».

«Ну а атаман Бурсак-первый?»

«Самый старый Бурсак ваш молодец был, а адъютантом у него служил казак ще луч-че, то мой дед. И была раз комедия.— Лука сворачивал на колене папироску, вставлял ее в камышовый мундштук и, потрогав висячие усы, взглядом предупреждал тетушку, что сейчас «отольет пулю», так лучше, мол, выйти.— Баба его, Бурсачка, любила певческий хор и взяла, чертяка, привычку ходить к обедне в собор. Старикам це не понравилось. «Надо ее выгнать с церкви за ухи, як свинью... Чего она ходит? Нам в церкви богу молиться, а не на нее моргать...» Мой дед подслушал та шепчет старикам: «Ось, не трожьте, а то атаман Бурсак будет сердиться. Я сам выживу ее».

Тетушка стояла, не уходила.

«На другую неделю приготовился, распорол сзади мотню, набрал свечек и ну ставить иконам. Дошел против Бурсачки, свечки кончились, начал поклоны бить. Шо ударит поклон, то Бурсачке видно его задницу. Она чует, шо с нее смеются, вышла с собора, села в коляску, поехала до дому, нажаловалась своему Бурсаку, шо вытворял Костогрыз. Бурсак ждет Костогрыза, деда моего, из церкви. Пришел. «Ты, матери твоей сто чертей, ты на шо жинке моей сраку показывал в церкви?» Та к нему! А Костогрыз к нему: «Тю-тю, сдурел ты, батько, чи шо. Чего ты на весь рот лаешься? Ты мне спасибо скажи. Старики надумали вывести ее с церкви за ухи, як свинью. Ты знаешь, шо нельзя жинкам ходить к запорожцам в церкву?» — «Она певчих любит».— «Мало шо она любит. Пошли в Екатерининский двадцать человек, нехай там спевают. А в наш храм нехай не ходит».

— Моего деда Петра в каких бумагах искать?

— В Каневской стариков поспрашивай, а может, в Петербурге какая строка есть,— те ж Завадовские, Шереметьевы, Сумароковы-Эльстоны, Дондуковы-Корсаковы писали родным; может, там слово про твоего деда попало.

«Много меж черноморцев было веселых Гоголей,— сказал дед Петр в «Записках»,— ничего не писавших, но не было Нестора! А он так нужен! Хоть с запозданием, но поможем ему, нашему будущему Нестору. Будем же вспоминать! Всякое время пройдет, и всякому человеку придется оглядываться назад, где уже нет никого...»

Вскоре тетушка надумала ехать в станицу Каневскую. Была причина: старый табунщик Скиба прислал письмо.

– Вот и поищешь в скрыне бумаги деда,— сказала тетушка Деме.— Они были завернуты в мешок. Да если не сожгли! А я погляжу: как старый Скиба жеребцам косяки исправляет. Пишет, продает табун по сорок рублей за одну. Ну и то!

— Падает хозяйство дядюшки. А ведь когда-то бурсаковские кони славились в Европе. В Венгрии и Австрии, вы сами когда-то видели, лошади с клеймом «Б» запрягались в фаэтоны.

— От Тамани до Усть-Лабы выстраивались на встречу государя Александра Второго только бурсаковской породы. Когда-то!

– Жалко табуны. Зря распродаете.

— Я не виновата, что дядя твой состарился раньше меня и бог раздавил его, да простится мне, как жабу камнем. Я вам не казачка.

Какая вы злая, тетя Лиза.

Да ну? Скажи на милость. Есть ли кто злее казаков?

Видно, поздние потомки Бурсаков унаследовали по женской линии слабость. Постаревший дядя, когда было невыносимо раздражение супруги, давно ему изменявшей, шел побеседовать за чайком к матери нынешнего наказного атамана Бабыча.

Куркули,— обзывала тетушка кубанцев.— Иногороднего и за калитку не пустят. «Шо!», «Чого?», «Оно твое бисова душа?» — одно и слышу везде.

Но Дему она любила, забрала его после смерти родителей из Каневской, воспитала и отдала ему в своем дворе флигель под вековым бурсаковским дубом.

Так ты едешь со мной? — спрашивала она племянника несколько раз.

С удовольствием, но дела в суде. Подождите еще недельку

Я опоздаю в Москву.

Надо же защитить казака. Оскорбил в лавке государя матерной бранью. И наказного атамана заодно: «Ездит по области, нанимает казаков за сто рублей, шоб они убивали бунтовщиков».

Между тем он еще дважды пытал Луку Костогрыза.

«На Челбасах Бурсаки земли имели, помните?»

«На Кирпилях, Бейсуге, на Челбасах не только офицер, но и рядовой казак имел тысячу овец, табун лошадей... Никого нема. Говорили ще, колы я в Петербурге за царем как

нянька ходил, так: никто их не знал, не знает и знать не будет — Бурсака, Головатого, Чепигу, Котляревского, кошевых наших. Время убило».

Ехал Дема в Каневскую и вспоминал с нежностью детство.

В царине[1] на коше постоянно жили у них два старых работника. Вокруг копанки прыгали кулички с мокренькими хвостиками. Сперва напьются в ней воды лошади, а потом и детишки. А кругом мреет ровная степь.

Далеко-далеко горбились три кургана; за теми курганами край света...

Неужели пройдет и его время? Детства уже нет.

«А чи правда,— спросит работник Скиба, приезжавший на кош от дяди по какому-то делу,— чи правда, паныч, шо у вас петухи, як у нас казаки, люльки с тютюном курят та табак нюхают?» — «Где?» — «И свиньи ходят не задом наперед, а передом назад?»

Скиба и встретил их с тетушкой у ворот большой хаты за церковной площадью, окнами на палочки камыша в речке Челбаске.

Тетушка несколько раз переспросила, нет ли мышей в кладовой. Пока тетушка кушала на кухне баранину, робкий костлявый Скиба докладывал о табуне:

— Табун пропадает, паныч... Барыня дала телеграмму, шоб я продал... Я и продал по сорок рублей. Я больше служить не буду, с барыней мне не сделать грошей. Не выпросишь, под расписку не дают. Все хвалят лошадей, барыне хоть бы шо. А худоба страдает. Ветер воду гонит, а она, несчастна, по брюхо в воду и пьет ту же грязь...

Ему, любившему, чтобы хорошо были откормлены волы, вовремя исправлен воз, ему, млевшему оттого, как легко пашет плуг, какая острая коса, как спеют большие тыквы, дыни, кавуны, было тошно застать с возрастом разорение там, где отцы и деды Бурсаков дорожили добром.

— Деда моего помните, Петра?

— Немножко. На Лебяжью пустынь шесть тысяч рублей давал.

— А где та скрыня с мешком?

— Тут где сь.

— Найди мне мешок и принеси.

— Та це можно. Его не любили в роду.

— За что?

— Земли пораздавал. Та Анисью крепостную схотел за себя взять.

[1] Царина — пахотная степь, выгон, околица.

— Как?!

— Так, шо полюбил и взять хотел. Батько мой вам бы сказал, но его нема. А Анисья по монастырям ходит. Атаман самовар забрал.

— Какой самовар??

— Великого князя Михайла Николаевича подарок. Наместника, шо в Тифлисе сидел. Ее взяли к его детям кормилицей, там года три-четыре она побыла, а когда отправляли на Кубань, князь ей серебряный самовар дал.

— Ну и что?

— Шо, шо: атаман за долги забрал и продал с аукциона.

— А дед мой?

— Та после деда вашего. То в девяностом году было, деда уже похоронили. Она долго в Керчи жила.

— А дети у нее были?

Скиба взглянул на Дему так, словно обдумывал, не станет ли его паныч бить.

— А на шо вы меня пытаете? Барыня, тетя, вам не рассказывала?

— Ничего.

— Ну, я найду вам мешок. Только как бы на хутор не пришлось ехать. То ж его туда, наверно, спрятали. Как мыши не погрызли, то найду. Я не дуже письменный, а там, помню, листочки перевязаны.

Какая-то тайна уколола вдруг Дему.

На третий день Скиба привез мешок с бумагами деда. О господи, как ветхо пахнет александрийская бумага! Большими буквами, и впрямь величиной с воробья, дед Петр криво измарал три десятка страниц, еще несколько листов занимали письма и телеграммы из Петербурга; еще немного — свидетельства о наградах всех Бурсаков, рисунки родового герба (на темном фоне звезда и скачет на белом коне всадник с булавой — знак атаманства предков), карты земельных наделов, стоимость плановых мест.

— Читай, читай,— говорила тетушка,— может, напишешь историю рода.

Он лежал на диване лицом к большому зеркалу, а тетушка раскладывала пасьянс у окна. Добрый час тишина сторожила их занятия, наконец Дема нарушил ее:

— Дед мой был очень религиозен: всюду у него: «Помилуй меня, боже, слава, боже, тебе». Стихи о боге.

— Его бог только и любил,— сказала тетушка, не отвлекаясь от карт.

— В Санкт-Петербурге, пишет, во время экзамена в артиллерийское училище, не надеясь на познания, молился в

домике Петра Великого и почувствовал способность отвечать на все вопросы.

— Не пишет ли он, как перепугал охрану Зимнего дворца?

— Каким образом?

— Когда у него отобрали крепостную Анисью, он заболел психическим расстройством. Дядя твой повез его в Петербург в лечебницу, он оттуда ускользнул, и нашли его уже в Петропавловской крепости. По заступничеству великого князя Михаила Николаевича его освободили,— великий князь знал его лично.

— За что его посадили в крепость?

— Он отправился в Зимний дворец. Его, как полковника в форме, часовые пропустили. Он в приемную. И не то на лестнице, не то не доходя приемной он встретился с императором Александром Вторым и вступил с ним в разговор. Положил, по обыкновению, правую руку на рукоятку кинжала, левую на конец ножен и начал вычитывать императору: почему притесняете казаков, почему запретили украинский язык (вышел указ в семьдесят шестом году), почему притесняете поляков? Придворные не знали, что на Кавказе все, кто носит кинжалы, при разговоре кладут на него правую руку. И деда твоего схватили, голубчика.

— Какая у них судьба! Не вылазили из болот. Будете слушать?

— Я потом сама.

Дема обиделся.

«...Был адъютантом наказного атамана. Отряд собирался в Варениковское укрепление, чтобы идти на Гостагай. На обратной дороге, верстах в десяти от Варениковской, мы попали в болото, где вода была до колен. Целую ночь дождь лил как из ведра, к утру был мороз. Обоз и артиллерия загрузли в болоте. Один казак Лука Костогрыз из станицы Пашковской до того озяб, что не мог расправить пальцы. Другой казак, Толстопят, тоже пашковский, пропал без вести, и я не получил разрешения от начальника отряда найти его. Голос с неба повелел мне написать об этом, я не выполнил христианского долга: бросить стадо и спасать погибающую овцу. Мне жаль стало почти замерзшего казака. Я клал кучи терна так, чтобы они поверхность воды значительно превышали, потом сверх терна клал я бывшее на возах сено и зажигал. Так я обогревал полузамерзшего казака. Спал я на мерзлой земле. Трубной звук и барабаны разбудили меня, и мы пошли в Варениковское укрепление. За этот поход мне дали Станислава 3-й степени...»

Дема вздыхал, переворачивался на бок, лежал распростертый в молчании, снова брал листы.

Тетушка Елизавета, поставив локти на неудачный пасьянс, глядела в окно на снег. Было заметно, что ей очень тоскливо в степной глуши.

— Ну, что скажешь? — каким-то шестым чувством уловила она, что племянник обратил взгляд в ее сторону, и спросила не шелохнувшись.

— О чем задумались?

— Думаю: поживешь и умрешь, а зачем же душа болит? Поживешь, и нет тебя. Как будто не было вовсе. Гляжу на снег и вспоминаю: как-то так же по белу снегу приехала в полк к твоему дяде. Шла перекличка. Казак погиб, но его вызывают: «Савоцкий!» — «Есть!» — кричат в один голос. До слез прямо. Но ведь его уже **нет**, и в пустоту кричат. В пустоту поют вечернюю молитву. Звонят вечером колокола. А куда несется звон? В пустоту, в пустоту.

— Но что же делать?

— Наверное, чтобы жизнь казалась полной и долгой, надо впустить в душу еще ту жизнь, которая была до нас. Тогда и умирать будешь не раньше и не позже тех, кто сейчас с нами, а вслед за теми, кого давно нет.

— А те, кто будут?

— Ну, они будут думать о нас. Я тебя отвлекла?

Дема опять уткнулся в листы.

«...И возвратит ту, которая назначена мне в спутницы жизни, чтобы показать торжество истинной любви над ничтожеством врага, разлучившего нас...»

— Пойду прилягу,— сказала тетушка.

«...Я претерпел все невзгоды военной жизни, но то, что произошло в мирное время, надорвало мне душу. Я остался вдовцом и тяготился одиночеством. Я понимал чувство любви в том высоком смысле, в каком завещал ее сам Господь. Я боялся связать себя с личностью, увлеченной современным вольнодумством и телесными удовольствиями, а искал душу прямую и спокойную. У меня жила шестнадцатилетняя дворовая девушка Анисья, дочь моего управляющего. Я, знавши ее с семи лет, решился ее сватать, но меня удерживало то, что, может быть, она любит крестьянина Зота Скибу, и еще то, что не кончился год после смерти моей жены и отца. Родственники мне не советовали и сказали, что Скиба сватает Анисью. Предполагая между Анисьей и Скибой любовь, я боялся даже и говорить с Анисьей о **моей** любви. Я дал Анисье законное свидетельство, но мною овладела грусть и какое-то непонятное опасение за

участь девушки. Я позвал ее и сказал: «Так я боюсь, чтобы ты, поехавши от меня, не погибла. У тебя есть отец и мать, ты должна спросить их благословения. Если ты действительно любишь и надеешься быть счастливой, то езжай, я свидетельство выдам, но если ты не уверена, то я тебя здесь отдам за того, кого ты полюбишь, а хочешь — я на тебе женюсь?»

— Я пожил для себя довольно,— говорил я Анисье.— Господь Бог ко мне был милостив, я тебя люблю, как он велел.

— Я не поеду,— сказала Анисья.

В тот день, когда я признался в моей любви к Анисье, я понял святость таинства брака, и она отдалась мне всей душой. Это было в комнате в городском доме, где из мебели была одна кушетка.

— Не поедешь в Керчь?

— Не поеду.

— Не поедешь?

— Нет.

— Ляг на кушетку и не думай ни о чем, кроме как о Господе и нашей будущей жизни.

Она послушала меня, легла. Я сел возле нее, лицом к ней, а спиной к двери. Внезапно раздался стук. Я увидел своего родственника. Едва наши взоры встретились, он сказал:

— Ничего, ничего.

Он подозревал меня в такие святые минуты в плотской связи.

— Как... ничего? Что это значит? Уходи!

Родственники хотели лишить Анисью данной ей доли, отнять у нее человека, ее истинно любившего, и не дать мне возможности иметь детей, чтобы завладеть моим имением.

Я поехал в хутор к родителям Анисьи, желая узнать, согласны ли были они иметь Скибу своим зятем. Они ответили, что за него свою дочь отдавать не желают. Я уехал в Екатеринодар в полной уверенности, что проведу зиму с родными и что Анисья будет моей женой.

Когда я приехал из Екатеринодара, то узнал, что родственники мои уже увезли Анисью с собой, не написав даже письма.

Браки, где нет любви, должно расторгать, потому что они служат для людей случайно, а не по закону связавших себя, препятствием любить тех, которых души могли бы любить их как самих себя, служат для душ несчастных как бы темницей, из которой может освободить лишь смерть».

Дема опустил на одеяло слабые руки с листами. Ему было жалко своего деда. Он восхищался его кроткой душой и благородством. Как видно, одинока была его душа среди этих стяжателей и эгоистов!

— Хотите послушать? — спросил Дема тетушку, найдя ее в другой комнате лежащей с французской книгой в руках. Он прочел ей слова о значении брака.

— Это очень мило,— заметила тетушка,— но в ту пору дед твой был уже немного помешанный... в ту пору, когда писал...

Дема повернулся и вышел.

«...И навели ум мой, сердце и душу на сознание обязанности,— возвратить в данную Богом долю ту, которую назначили мне женою. Голос с неба повелел мне объяснить и вам, Ваше Преосвященство...»

«Так это уже письмо-о,— разобрался Дема,— письмо отчаяния...» — «...чтобы вы помогли мне и вознаградили меня за все муки, какие я терпел от моих врагов, желавших оторвать меня от веры православной, спасти от иезуитов, допускающих правило, будто бы цель оправдывает средства. Родственник мой по сестре, немец Сталь, прикрывая себя тем, что будто бы простая девушка мне не партия, несмотря на то, что она имеет душу чище и добрее, чем он, увез ту, которую я любил, в мое отсутствие, вопреки всем правилам порядка, чести, благородства, ибо он сам, будучи чиновником, жившим одним жалованьем, взял за женою большое приданое, а между тем бедную девушку, которой деды, родители и она служили отцу, матери его жены и ему с его женой, для того чтобы я не имел детей и чтобы овладеть моим имением, дерзнул лишить Анисью доли, которую Господь Бог по справедливости решил дать... Несмотря на то, девушка была раба моя, а я ее помещик, я, ценя в ней чистоту души и доброе сердце, пренебрег всеми суждениями людей — предложил ей имение, честным образом перешедшее ко мне от отца, нажитое дедом Бурсаком трудом рук своих,— и чувство истинной любви, как к самому себе: прося ее любить Бога более всего, а меня — как себя.

Привыкнув безусловно себя смирять, я всегда считал себя самым грешным человеком, а потому думал, что за грехи мои я недостоин знать мысли людей; относительно же людей, меня окружавших и мучивших, я был чист и всегда для них желал добра, и на месте их я бы помог человеку, так страдавшему, как я страдал, и никогда бы не осудил: я не должен роптать и судить людей,— должен любить их и жалеть, как Он меня жалеет... Я еду в Ставрополь хлопо-

тать о деле за Анисью. Еду верхом, ибо мне нельзя жить без нее. Еду к архиерею. И скорблю оттого, что я не думал никого бранить, а говорить придется как бы в самом деле виноват...

Что писал я, разберите
Да к добру делу примените...»

Листы кончились, а было так интересно, что хоть поезжай в Ставропольскую епархию и там проси архивариуса порыться и найти еще несколько листиков,— быть может, дед Петр писал много раз?

«Значит, я внук Анисьи,— рассуждал Дема,— значит, они еще раз встречались, и отец мой от этой связи. Недаром слухи ходили, но мне никто не сказал точно. И Скиба не скажет. Выходит, бабка у нас с ним одна. Моя кровь оздоровлена крестьянской. То-то все родичи шпыняли меня в детстве, кликали Демкой. Попытаю тетушку...»

Но тетушка Елизавета пожалела его:

— Деточка, я не любила слушать их разговоры.— «Их» — это значило разговоры казачьи.— Если вспомню...

Табунщик Скиба тоже ни в чем не сознался. Бурсак и не настаивал. Может, есть надежда на Луку Костогрыза, которого дед отогревал в воде? Поехать на хутор Бурсак, что в степи на речке Челбаске? Но кто же там остался, да и кого могли подпустить в те годы к господской тайне?

— Когда он прыгнул с лошадью в Кубань,— сказала тетушка вечером за чаем,— твой дядя (она никогда не говорила «мой муж» и никогда не называла его по имени) назначил тому, кто его выловит, кувшин с золотыми монетами. Если тебе нужны реликвии, то кувшин, разумеется без монет, можно найти в Елизаветинской.

— Меня больше интересует история с самоваром. Что же это был за негодяй, атаман,— отобрал великокняжеский самовар у бедной женщины и продал с аукциона?! И таких мерзавцев выбирают в атаманы. Самовар, вероятно, с гравировкой. Займусь. Кому бы заказать историю нашего рода? Впрочем, сначала я найду жалобу Анисьи в канцелярии наказного атамана, узнаю имя станичного атамана и расспрошу, кто купил самовар...

— Уж лучше собери все бумаги о Бурсаках...

Через день они выехали домой. Скиба провожал их до Брюховецкой. Тетушка торопилась.

Ее присутствие мешало его чувствам. Теперь на что бы он в степи ни глядел — на криницу ли с явленною иконой (так по легенде), на остатки заезжего двора, где за постой при деде платили десять копеек с подводы, а за ночлег в ха-

те по пять, на Вшивые могилки (одни старики знали, почему они так назывались при первых еще черноморцах), на речку Бейсужку в семи верстах от Переяславки, думал ли о самой дороге,— все сводило его к мыслям, что много-много раз за свою жизнь ехал тут дед Петр. Глухо и одиноко было вокруг тогда. Никто не дерзнул бы без страха отправиться не по столбовой дороге. На несколько верст слышался скрип чумацких фур с запряженными волами. Тогда ездили потихонечку-полегонечку: «Гей, волики, тпру-у, волики, пора попастись...» Ах, он понимает теперь, что то была другая, другая, совершенно дикая жизнь. В двенадцати верстах от Екатеринодара, у хутора какого-то Чадного, давно умершего, Дема еще раз вспомнил деда. Долго, говорят, с опаской проезжали это место: слева, где терны и лес, всегда стреляли горцы.

«Другая жизнь... самовар отыскать... и написать о роде Бурсаков...»

Вот и поднебесное царство дубов, вот и Екатеринодар. Так и дед въезжал.

— Ну,— подала голос тетушка и зашевелилась,— скоро там этот ваш маленький Париж?..

В СТЕПИ

На простенькой даче под Динской вода была вкуснее, чем в городе, и летом они ездили туда пить чай. Но в жару родители забирали Калерию далеко в степь, под станицу Роговскую, на Хуторок, выделенный матери по наследству. «У меня только одна думка,— говорила мать в дни болезни,— чтобы ты, доченька, любила Хуторок, как мы с отцом любим, и поселилась бы там жить. Я бы тогда и умерла спокойно». Еще год назад Калерия боготворила Хуторок. Но нынче ей было там так скучно! Вроде бы недавно, в великий четверток, приговаривала она: «Весна, весна красна, приди, весна, с милостью...» А уже и август. Проскочили еще три месяца ее пустого девичества. Сердце, задетое в феврале дерзкою вольностью Толстопята, дразнили мечты, и она чахнет без красивого благородного обожателя. Он есть где-то, он ей назначен. Но кто-о? Тот ли, о ком она в девятнадцать лет прочитала в газете?

Детство, кажется, протекло в Хуторке. Кое-что уже вспоминалось как потеря, но в ожидании счастья нежного потеря не была горькой. Было одно удивление: неужели она могла жить только этим? Раньше она ждала рождества, обсуждала, закармливались ли в Хуторке гуси, готово ли бе-

лое как сахар сало, купили ли к сочельнику свечей на стол. Усядутся вокруг, и отец скажет: «Ну, кто за ужином чихнет, получит в подарок славную телку». Теперь ее шутливо сватали и, рассматривая картинки в модном журнале, предсказывали ей штатского: «У него часы с золотой цепочкой и несколько перстней на пальцах».

Без милого дружка нет больше очарования в долгом пути. А кто же он?

И все же, когда ехали по степи два дня, она забывалась и переставала дуться на матушку. Все опять повторялось. Накануне пекли в дорогу пирожки, отваривали уток; в комнату внесли сундук, он стоял открытый, и матушка два-три раза в день подходила к нему и укладывала туда что-нибудь. Во дворе без конца смазывали и осматривали экипаж. Вечером установили в экипаж сундук, чемодан, корзины, свертки, картонки с шляпами, зонтики. Ну как всегда! Всегда грозно сверкала глазами запряженная тройка. Раненько утром, еще станичные возы не скрипели по Базарной улице, крестились на дальний путь и выезжали. Ночевали где-нибудь в балке под Тимашевской под звездным небом. Калерия спала лицом к небу или лежала молча, ловя падающие звезды, разгадывая, на что похожи облака. Сзади телеги моталось ведро. Вдруг отец назначал привал. Калерия садилась в траву, и на руку ей вползала божья коровка.

Степь, степь! В балках среди закрученного ветром камыша голубеет талая вода; темные терны, рощи шиповника, огороды в простор, куры на дворе. Стада, стада, стада. О пыли, покрывающей теперь избитые дороги, не было и помину; коврики трилистника, муравы чередовались под колесами экипажа; и вокруг до самого края, где уже небо никнет к земле, ровно стелется зелень. Пахло чебрецом. За станицей Брюховецкой слышался гул! То мчался от калмыцких кибиток к дороге конский табун! С испугом глядела Калерия, как он приближался, потом стройно замирал неподалеку, фыркал и бил копытами в землю. Как будто они были рады, эти красавцы, что прибыли горожане. Круглый год, в зной и в стужу, гуляли они под открытым небом, копытами выбивали корм из-под снега; стойкая эта черноморская порода славилась до самой Австрии. Но кончается их время; там, где еще в молодости отца можно было на десятки верст не встретить ни жилья, ни человека, а только табуны, стада да отары овец, вырубили терны и горбятся копны хлеба. Вот и последний поворот, уже видны дубы и вышка в саду. О Хуторок! Оттого ли, что уже в станице с тобой на-

перечет здороваются, слышится уже только малороссийская мова, что месяц целый мать сама доит корову, варит борщ, стряпает, отец ходит в кучерской суконной поддевке или в кафтане с поясом из кашемира, чаще поет песни, оттого ли, что крепче спалось на вольном воздухе и желаннее были гости из станицы, Калерии казалось, что нет большего счастья, как приезжать с родителями к старой казачьей хате у кургана. Она и родилась в Хуторке майским вечером и когда-нибудь тоже будет возить сюда своих деточек. «Оце такие девчата вырастают в наших бурьянах!» — похвастался прошлым летом отец перед гостями из Роговской.

По приезде до сверчков и крика лягушек сидели в темном саду за столом с белой скатертью, расспрашивал жену конюха о новостях в окрестности. Наконец-то поймали в прогнившем стогу сена старого и злого волка. В копанке утонула трехлетняя девочка молочницы. Монахини Магдалинского монастыря предлагали по дворам иконы и книжку «Житие Иоанна Кронштадтского». Отец тут же припомнил байку про кубанских монахов: когда, мол, в женском монастыре колокола вызванивали «к нам, к нам, сиротам!», в мужском Лебяжьем монастыре колокола, отлитые из пушек, подаренных черноморцами, густым басом отвечали: «Будем, будем, не забудем!» Ну, а коли отец соизволил зацепить монахов, то жена конюха призналась, что заезжал в Хуторок некто в рясе, назвался священником из Иерусалима и попросил денег на гроб господень. Уже третий месяц они ждут письма от самого владыки, и тогда, может, паны прибавят рублей сто на покупку священных сосудов. Все поверили, и одна Анисья сообразила: то были проходимцы!

— Ну, самовар тебе отдали? — спрашивал отец.

— Отдали, как и им вон письмо от патриарха шлют. По свету шатаюсь с сумой, зачем мне самовар?

Анисья была та самая крепостная девушка, которую любил дед Бурсака, но нынче уже старая, полуюродивая, совсем не жившая дома в Каневской. Третьего дня завернула она в Хуторок не случайно: года два-три она была нянечкой Калерии, да вскоре ушла в святые земли и, видно, с тех пор мало сидела на месте.

Скучно, скучно стало Калерии со стариками! В первую ночь она долго не могла уснуть. В открытое окно комнаты в флигельке, где она спала, влетали ночные бабочки и светила на золоченый оклад иконы, на глаза Пантелеймона-целителя луна. Как будто впервые слышался лай собак на выгоне, хотя в Екатеринодаре они тоже не вывелись. Только извозчики не хокали на вороных мимо окон. Утром она бо-

сиком шла по росной траве сада. Вспоминались чужие истории, и ее совесть успокаивало то, что в своем приключении с Толстопятом она, слава богу, не так уж одинока. «И во грехах роди моя мати»,— слышала она от старших; она с ужасом ловила себя на нетерпении, на фривольных грезах в потемках. Да что! — ее бабушка убежала к деду прямо с любительского концерта. В одном платье. За ней числился пока один неслыханно порочный поступок: с подругами-мариинками она сидела в вагоне великого князя на кожаных черных креслах. В зале с портретом царицы Екатерины и здравствующего государя Николая срамила их перед всеми начальница, княгиня Апухтина, а мама с трудом отпускала по окончании института на вечерние прогулки. «Смотри мне,— говорила грозно,— я узнаю. Может, тебе корзинку дать?»

Бывает, что спишь по двенадцать часов в сутки оттого, что ждешь любви и никто не идет. Так спала она теперь в Хуторке.

— Уж солнышко окна прожгло,— приставала Анисья,— а ты бока пролеживаешь...

Ничьи слова не милы. Отец во дворе таскал воду, мыл кожаный верх экипажа, выбивал мягкие, на конском волосе, подушки.

— Дай-ка умою тебя,— упрашивала Анисья,— водица у меня такая, из-под стопочки богородицы, из лавры Почаевской. Этой водичкой сбрызну, вздоровеешь. Скорбящую тоску разгонит. Глядь-ка, камушки какие чудные. Это слезки богородицы, сподобил меня десяточком монах горы Афонской. А это стружечка из Назарета, кипарисового дерева, что стругал господь на храм нерукотворный. В чаю отваривать, действует от женских. А вот еще от яселек, где батюшка царь небесный родился. Возьми на ладонь да помажь головку, она болеть не будет и волос сечься.

— И сколько ж ты ходишь...

— Иду себе помаленьку да иду, а земелька-то позади остается, а глянешь вперед — и впереди еще много. Как будто нет никого, а ты беседуешь. С душой беседуешь. Вот и ты тоже. Я твое чувство понимаю.

— Что, что? Что понимаешь?

— Давно б ты уж сама приворожила, если мне не позволяешь.

— А ты можешь?

— Дай только поглядеть на него.

— Нету у меня никого, Анисья, матушка моя.

— У меня внук в Екатеринодаре, но мне не велено го ворить, что он мой внук. Он тебе пара.

— Кто?

— Прости меня, господи, не скажу. А скажу, когда помирать стану, да ведь где смерть застанет — не знаю. Шатунья я. Пойду-ка к Серафиму Саровскому в обитель. Завтра у Марии Магдалины панихиды по умерших братьях и сестрах.

Мать уже отправила в монастырь сало, крупу, птицу. Отец повез ее помолиться. Калерия выходила на дорогу и раздавала нищим, калекам серебряные монеты. Со всех сторон брели, ехали паломники. В ограде монастыря всю ночь варили борщ в огромных котлах, жарили мясо и рыбу. Подаянием в сиротские дни люди вымаливают прощения, вспоминают свое горе: у кого немая дочка, у кого калека хозяин, кто-то прожил век без детей.

Еще через день родители снарядились в гости в Роговскую. Анисья с монастырской панихиды не вернулась; наверное, заночевала там или ушла с божьими старушками дальше. Утром Калерия со скукой наблюдала, как закладывали лошадей. Экипаж выкатили и поставили посредине двора. Кучер заложил коренника, подводил пристяжную, потом взобрался на козлы и подобрал вожжи. Кони взвились и вынесли экипаж за ворота в степь, через версту успокоились, экипаж вернулся, и тогда заложили вторую пристяжную. У матери все, как нарочно, не ладилось: потеряла ручной платочек. Отец сердился и ходил с папиросой по комнате. «Я в феврале родился,— говорил он о себе,— ветры дуют, оттого я и такой бешеный...» Окрестные казаки уважали и боялись его. Не дай бог застанет у кабака пьяных — высрамит на всю станицу: «Уже до церкви звонят, а вы рачки около кабака лазите! Детей полну хату понаплодйли, жинка в поле, а вы последних волов пропиваете. Вон! Шоб все шли в церковь!» Ехал сейчас к однополчанину послушать скрипку и поиграть в карты. А Калерии опять листать альбом с картинками и гадать?

Ночью она видела нежный сон. Она лежала в комнате одна и вся истомилась. И в окошко раздался стук! Это о н. Калерия, еще полусонная, вскочила и мелкими скорыми шажками подошла к окну. В листьях шумел ветер. Не открывая глаз, Калерия протянула руку. Вот я, вот я,— безвольно отдавала она руку тому, кто был там, под окном. Мокрым лягушачьим холодом обожгли ее чьи-то губы.

— Ой, кто это?!

— Это я... ваш великий князь... Умоляю вас, не кричите...

После обеда за карточным столом в офицерском клубе станицы Уманской наскучила Толстопяту мужская компания, и он вышел в буфет. Через полчаса не было для него на земле места, куда бы он не доскакал на своем Лорде. В пятом часу вечера Толстопят гнал Лорда в Каневскую.

Утром, по случаю отдыха, к нижним чинам прибыли из станиц жены и родственники. Еще за версту слышны были песни, стук колес. Счастье казаку, когда приезжает баба. Холостые после завтрака наярились в станицу на базар, в духан — полузгать семечек, выпить араки да, может, прицепиться к некапризной казачке. Хорунжий Толстопят знал заранее, как проведут день нижние чины. Станичные телеги, одна от другой поодаль, расставятся по царинной степи. Бабы понавезут сала, хлеба, овощей, горилочки. Телегу кто-нибудь завешает бурками, мешками, чтобы никто не подглядывал, как отдыхает казак с жинкой после сытной домашней закуски. Только несмышленые птички будут скакать у колес в поисках крошек. То там, то тут вознесутся в просторы казачьи голоса, споют что-нибудь старинное. Поэтому утром он был особенно строг с казаками:

— Пустить лошадей в табун! — кричал он.— А там чего крик подняли?

— Та то мы в шутку,— отозвался извинительно казак, сидевший среди товарищей на бурке, внук Луки Костогрыза Дионис, и такой же весельчак.— Вспоминаем, как шкуринские казаки корову заместо холеры убили. А вы разве не слыхали? Как была в старину холера, по станицам много людей поумирало, а в станице Шкуринской застряла под мостом чьясь черна корова. Вот шкуринцы и додумались с великого разума, шо то не корова, а сама холера. Взяли дрючки та, вместо того чтобы ее вытащить, под мостом ту сердешну корову и убили! Задарма. От так шкуринцы!

— Ваши пашковцы,— сказал казак из Шкуринской,— вместо матки навозного жука до пчел посадили.

— Брехали твоего батька свиньи, та и ты с ними. Нас дразнят сметанниками.

— Довольно,— сказал Толстопят.

В двенадцать часов дня пристала к казачьим телегам и повозка Луки Костогрыза. Казаки растянули в ухмылке рты: это ж сколько дней считал кочки от Пашковской дед с оселедцем? Оделся так, будто хотел напугать молодых казаков своими заслугами: чистая черкеска, на груди медали и кресты, на поясе кинжал. «Слава героям, слава Кубани!» — поприветствовал он всех. Через час у его маленького бочонка с вином побывали не только нижние чины, но и

урядники, сотники, и всякого он чем-нибудь да насмешил.

— Это моя Одарушка замещает наказного атамана и прислала вам на поднятие воинского духа. Вареники привезу в другой раз. Та наказывала, шоб внуку не наливал и чарки. А хорунжему Толстопяту — письмо от батька. Чистенькое, и ни один уголок на загнулся.

— Долго ехали, дидусь? — спросил внук Дионис.

— Дороги до вас прямой с Екатеринодара нету, так я взял на Петербург, а уже с Петербурга на Тифлис — и к вам.

Отец писал Толстопяту о екатеринодарских новостях и наказывал, чтоб его сотня на инспекторском смотре обошлась без замечаний. Мать снова начала худеть, на днях взвешивалась, еще легче стала, чем в прошлом году: всего три пуда и шестнадцать фунтов. С генералом Бабычем так и не хочется мириться. Увидишь, мол, атамана Ейского отдела К., передай: чувствительнейше честь имею благодарить за привет через шкуринского однополчанина. Дожди прошли, на Рашпилевской плавают на лодке. В скетинг-ринке пела недавно какая-то Варя Панина, весь вечер не вставала с венского стула. Приглашали Шаляпина (бас), но он якобы дал телеграмму: «Шаляпин в конюшнях не поет». Тогда скорей пусть приезжает с Кавказа граф Воронцов-Дашков, казаки войскового хора споют не хуже. Такие новости. «А что до меня,— заканчивал батько,— то, слава богу, здравствую ровно».

— Дай вам боже,— благословлял Костогрыз пропустить чарку,— дай боже благополучно кончить лагерную службу та в добром здоровье пристать к жинкам. У кого она есть — шоб грела ваши бока, как печка.

— Та́к можно? — спросил внук Дионис.

— При мне можно. А потом как узнаю, шо ты хоть языком лизнул где каплю, то так чуба намну, шо семь лет не вырастет шерсть на том месте, где рука моя доторкнется. Перекидай чарку в рот!

— Жалко, шо не вчера, дедусь, приехали,— мы и лозу рубали, и на скаку шапки схватывали.

— А на вечере при начальнике штаба танцевал «пьяного казака»?

— К офицерскому ужину не подпускают.

— Меня колысь пускали. И тут, в Уманской, как я танцевал! Кончил, то начальник штаба подошел, вынул четвертную, дает при всем панстве. Не брешу. А где ж ваши паны? О, догадываюсь. Они в станице спят на подушках, откинули ноги, бо целисиньку ночь, известно, в клубе картами ляпа-

ли. Какие бы они были паны, если б не умели добре погулять. Так же? Москали, те гордые, высоко себя ставят, великие хвастуны, а в службе, особливо на смотру, один за другого прячутся или поделаются хворыми. А шо, не так? Ну, будем здоровы — у кого черные брови, а у кого черный усок, тому сала кусок. На! — ткнул он сало березанскому казаку.— Перекидай чарку в рот!

Толстопят слушал, улыбался, а душа к долгой брехне не лежала. Все сегодня были как будто счастливее его. Дразнили его воображение голые руки казачек, угождающих мужьям, игриво стыдившихся шуток; завидовал офицерам, приладившимся в станице к дамочкам; мысленно гулял по бульвару Гудовича с Бурсаком — ошалел молодец от какой-то чаровницы. Бурсак же сообщил ему и о Калерии: она в Хуторке. Ха! И он, с его ростом, выправкой, светящимися глазами, ничего не придумает себе в утешение? Или он не казак?

Перед офицерской палаткой играл плохонький духовой оркестр. В палатке за длинным столом сидели офицеры, шутили, рассказывали анекдоты. Потом пели песни. Завтра им в пять утра на конное учение. А Толстопят может спать.

Какой ветер свистел в ушах, когда он низами станицы вывел своего Лорда в лихой намет! После нескольких чарок в буфете самая дальняя дорога была нипочем. Еще хватит у Лорда сил перемахнуть и во двор над огорожей.

В Каневской он застрял у дружка до самого темна. Все же побоялся и переменил Лорда. В Хуторок к Калерии погнал косой дорогой, минуя Брюховецкую. Шайку «степных дьяволов» еще не добили, но коли уж встренут — погуляет по ним старая шашка. За речкой Челбаской взмахнула ему рукой богомолка с сумой. Толстопят придержался, Анисью он не знал.

— На Хуторок через балку не заблужусь?

— Занозил тебе кто сердце небось?

— А тебе-то что?

— Ну, век тебе наслаждаться, с крикливою жить. Против жара и камень лопнет. А я в своем образе. Я поняла, куда ты. А душа в тебе есть? Или поцелуй дороже «спасибо»?

— В таком деле, говорят, и неправда дороже золота, бабушка.

— Смотри, костей на страшный суд не соберешь.

— Так и не соберешь. Рано мне в покойники.

— Я сколько лет свет копчу, знаю. Повадится кобель

толстопсовый на зеленую ягодку,— ни в чем запрету нет. А, господь с тобой, не буду тебе дорогу переходить. Кипи в смоле. Я через день в Москву престольную. Пошли, царица небесная, мне путь легкий,— сказала она и стала удаляться.

Оттого ли, что Толстопят был всегда самоуверен или это лунная ночь ворожила над ним, но скакал он в Хуторок к Калерии точно по ее зову. Ему бы только ухватить ее за руку и не дать ей вскрикнуть в первую минуту, а там он найдется.

Под тремя высокими дубами стояла длинная казачья хата с двумя выходами, за нею шелестел необозримый густой сад. Луна пробивалась сквозь ветви на камышовую крышу. Одно окно во флигельке было открыто. Вдруг не на шутку забилось сердце. Да для чего же и вырос этот сад, купается в небе луна, прикрывают от чужого глаза кусточки, вяжет ноги густая мягкая трава, если не для молодых утех? Для чего прячет людей ночь? Он возвратился к лошади, достал в сакве фляжечку и выпил ради смелости. Вздыхая, ладонью обтер губы, подергал усы. Луна была как голенькая! Ах и деды так же когда-то крались к чужим окнам. Все было. И даже со стрельбой вдогонку. Толстопяту представилось, как шла бы эта маленькая шалунья к условленному месту, еле дышала от страха и чувства, шла бы к лавочке у акации или подальше, где он привязал лошадь. Но она спит.

Нет, то не любовь, когда отцы засылают сватов, дарят шишки, венчают и миром провожают спать. То любовь по-семейному и навек. До женитьбы чью-то любовь хочется выкрасть, окутать секретом. Отец перевез его в город в пятнадцать лет, и он не ходил с табуном одногодков ночевать с девками в хату, где прядут или вяжут коноплю, и на возу сена в чужом дворе спал с казачкой всего неделю, перед отъездом в кадетский корпус. Скорее Хеопсова пирамида перевернется верхушкой книзу, чем он отступится от жажды влезть в окно. Калерию согласился бы целовать и через шелковый платочек. Ти-ихо. И собак не слышно. Надейся на бога и стучи.

Настырен был Толстопят и в настырности тупел. На заре, не достучавшись на окраине Каневской в харчевню, он трезво и с удивлением думал: зачем она мне? Он ли это был там, под окном? Он ли набил коленку о красное колесо экипажа и дурно шутил: «Это я... ваш великий князь...»? Взбесилась кровь от нескольких чарок, помутнела и вот затихла, и вот никто ему не нужен. В степи он дал передохнуть

Лорду, глядел вдаль и перебирал в уме этот куркульский ночной переговор с перепуганной Калерией.

«Зачем это нужно? — не кричала, а отговаривалась она. — О, уезжайте, прошу вас. Христом богом».

«Не красть же мне монашек... Выходите в сад».

«Отпустите руку...»

«Я сорок верст скакал к вам».

«Да кто же так делает? Вы опять издеваетесь...»

«Я только погляжу на вас. Послушайте, что я скажу. Т-с!»

Она вырвала руку, отошла, села на койку. Толстопят навалился на подоконник и шептал:

«Я на лагерных сборах в Уманской. Выбирайте: кричать или слушаться меня? У меня там за садом трубачи стоят, прикажу — заиграют. Грех вам прогонять меня к монашкам. Проводите меня, чтоб собаки не покусали».

«Они далеко».

«Можно на вас поглядеть?»

«На девушек глядят днем. Идите отсюда, пока я отца не позвала. Мне жалко вашей службы».

«Вы не скажете. Что вы за казачка?»

И в пожилые годы вспоминал он не скачку в Хуторок, а это утро в степи, когда он один-одинешенек, какой-то грустный, хороший, любовался безлюдным пространством, потом ехал мимо кошары и безотчетно думал: «Овцы на запад головой лежат — зима сырая будет... Послезавтра строевые занятия. Диониса за фуражом послать».

Он знать не знал еще, что то степное счастье можно потерять на долгие годы. Ему тогда почему-то подумалось, что идет где-то по степи, далеко за станицей Уманской, в престольную Москву богомолка, которой уже ничего не надо, кроме молитв. Может, она-то счастливее всех?

1909 ГОД

Наступил и прошел обычный 1909 год.

Приказом по войску поздравил всех с новолетием наказный атаман Бабыч и пожелал пахарю — плодородия земли, воину — свято блюсти присягу, родителям — взрастить в своих питомцах полезных граждан. Он просил также забыть все пережитые скорби и обиды.

До начала февраля в Екатеринодаре стояла крепкая снежная зима. Из Тамани в Керчь рогатый скот перегоняли по льду; была, верно, такая же стужа, как в 1068 году, когда князь Глеб мерил расстояние от берега до берега.

Пасха в этом году передвинулась к 29 марта; по случаю праздника Бабыч освободил от наказания пятьдесят человек, и Терешка, не подавший фаэтон наказному атаману, вышел из кордегардии на сутки раньше. И опять Бабыч призывал: забудем горе и обиды; Лука Костогрыз слушал его приказ на станичном сборе.

30 апреля Калерия Шкуропатская хлопала на концерте Анастасии Вяльцевой. На другой день владелец картинной галереи Ф. А. Коваленко, которого город забудет навсегда, получил письмо от Л. Н. Толстого, а от государя — золотую медаль на станиславской ленте.

В 1909 году по-прежнему ни на день не стихала человеческая речь на базарах, в кофейнях, на улицах, в частных домах: кричали, уговаривали друг друга; мирно, изумленно, вспыльчиво, тайно беседовали; объяснялись в любви; клялись, искали сочувствия, шептались и проч. и проч. Но голоса те до нас не долетели — не было еще чудесных магнитных лент, которые увековечат голоса наши.

В мае в Царском Селе происходил высочайший смотр казакам лейб-гвардии собственного его величества конвоя, уходящим на льготу. Перед Александровским дворцом государь раздал знаки за службу, а мать его, вдовствующая императрица Мария Федоровна, вручила из своих рук каждому портреты царской семьи. Петр Толстопят читал газеты и уже видел себя отбывающим в конвой со станции Кисляковская.

В том году хлеб стоил пять копеек, говядина четырнадцать копеек фунт, четверть пшеницы (пять пудов) — десять рублей — это уж Попсуйшапка не мог позабыть никак.

Тоскуя «не о хлебе едином», шли на Курщину на стопятидесятилетие Серафима Саровского толпы, и там среди калек и юродивых была наша Анисья, бабка Бурсака.

26 июня на празднике 200-летия Полтавской битвы царь говорил о любви к старине, и в эти же дни открыл Бабыч на Тамани Тузлянскую грязелечебницу. Что было важно тогда, история перевернула по-своему и кое-что схоронила навеки. Петербург преподнес екатеринодарскому отделу «Союза Михаила Архангела» царский портрет.

В июне в Лебяжьем мужском монастыре на берегу Бейсугского лимана снова развели лебедей. Осенью природа одарила Россию невиданным урожаем. И наконец, в августе за рекою Кубанью в атаманской ставке казаки пили за дерновыми столами в честь 50-летия покорения Восточного

Кавказа. В суматохе тех праздников и будничных дней еще жили люди, которых спишут со скрижалей истории, и жили те, кто прославится на будущие времена.

СТРЕМЛЕНИЕ К ЛИЧНОМУ СЧАСТЬЮ

На полугодовщину смерти отца Иоанна Кронштадтского скорчила болезнь Олимпиаду Швыдкую. Лежала она на Пластуновской в дальней комнате своего бывшего «Красного фонаря» с чугунной плитою Гусника на крыльце, стонала, заброшенная, одинокая, промочила всю постель, умирала. Терешка привозил к ней свою жену — ухаживать, кормить да выносить за ней. Кто еще смилостивится, кто поймет, что она такая же, как все, и теперь, на смертном одре, еще, может, несчастней других? Жалостливо, благодарно глядели на супругов ее красивые глаза да чернели ее густые брови. В головах на большой подушке сидели сытые огромные кошки.

— Я ж вас и на том свете вспомню,— говорила она тоненьким голоском,— милые вы мои... А поправлюсь, господи спаси, уйду в монастырь, а вам весь двор откажу...

И спасла ее какая-то, право, божья воля. Выкарабкалась Швыдкая с помощью молитв и знахарки Чайчихи, отсиделась на крылечке, потом пошла в церковь и поставила свечку св. Пантелеймону-целителю. И сказала себе: теперь закроюсь в монастыре Марии Магдалины на речке Кочеты.

Да так и поступила.

Через месяц заколотила дом на улице Пластуновской, но фонарь с красными стеклами над воротами снимать поленилась. Вещи кое-какие и часть мебели раздала в Убежище нищих; в большой комнате койка с толстыми матрацами завалена была подушками, граммофонами; сундуки покрыла азиатскими коврами. На Новом рынке копали уже яму в углу, под уборную, на которую Швыдкая выделила денег.

В монастыре, наслушавшись рассказов о грехах и благочестии, Швыдкая вовсе опростилась и в смятении добрых чувств, после молитвы в храме, написала извозчику Терешке, чтобы забрал остатки ее мебели, койки с пружинами, а весь хлам сдал утильщику. И добавила: все ценное, что найдется в закоулках, под полом ли и еще где, пусть заберет себе,— она же пойдет тесным путем, скорбями и лишениями к славе небесной, питаясь хлебом, оттуда сшедшим... Ничего не жалко было. По какой-то случайности Терешка, прежде чем везти матрац на пружинах утильщику Лапенко,

распорол его. И ахнул: по всему замоченному нутру его были уложены пачки денег! Те, что лежали на средине, отсырели во время болезни хозяйки. Вскорости Терешка купил свадебный экипаж — ему рано еще было засевать сердце семенами бесстрастия. Швыдкой же написал: «Будем за тебя богу молиться, спасибо тебе, ты помогла мне подняться на ноги. Рассчитывай на нас всегда...»

«Оно, конечно, чужое,— рассуждал Попсуйшапка,— но с другой стороны, не возьми Терентий обмоченные деньги, взял бы Лапенко. Ы-ы! — еще как взял бы. Такая жизнь кругом. Один Тихон Задонский ходил в лаптях. Горько плоды грехов вкушать, а как не впасть в искушение? Не зевай. Сыну царя, Алексею, отпускают в год сто пятьдесят тысяч — ну так то ж наследник! Повезло Терешке — ну и молчи, так бабы все равно ж проболтаются. А я за три копейки у дьякона учился и живу ж. Хозяйку надо. Породнюсь с Костогрызом...»

Но пока надо стараться работать. Пусть Бурсачка и господа досыпают в чаду вчерашних разговоров,— работники их перегнали уже табуны на свежую траву. Светает, а казаки из станиц расставили вокруг базара возы. Уже покрикивали у ворот женщины: «Кому баранины? кому баранины?» Водовоз Редька тихо вылил в гончарную макитру три ведра воды и начертил на дверях три палочки. В банях Адамули, Лихацкого затопили печи. Хочешь перед людьми гордиться — торопись угнаться за ними. Попсуйшапка и на улице не любил идти сзади кого-нибудь, всегда опережал, а знакомым приветственно кивал головой. Утренняя дорога в мастерскую была каким-то праздником. Попадался зажиточного хозяина сынок — Попсуйшапка подбадривал себя: ничего, будем и мы на лихачах ездить. Вон сын прачки Харитоненко. Отдали его свиней кормить. Он лучше всех знал свое дело. И оттуда на выставку в Париж попал. Учись. Василь... Глаз хватал по сторонам все полезное. Персы из Тегерана тюки получили — эк! Будут бумажки на золото в банке менять. Наши шабаи-скотопромышленники наоборот: дай бумажку вместо золота. Купец Гасан ковры постлал, чтобы прохожие чистили их ногами, ценнее ковер станет. Самый первый ковер — персидский, за ним — текинский. Содержателю Славянского подворья крикнул Василий: «Происшествий за ночь не было?» Сгружают с возов корзины елизаветинские, пашковские, новотитаровские казаки. Кое у кого невесты хорошие подрастали. «Бог за товаром!» — пожелал он казакам удачной торговли. Лавочники хлопали ставнями, у всех вывески. У Асмолова медведь дер-

жал на вывеске шапку в руках. А вот и вывеска Хотмахера: шапки разбрасывают с саней.

Тридцать — сорок раз надо взять в руки каждую шапку. С мочкой, с чисткой, с наведением лоска маслом. А сколько работы до этого! Черный курпей еще надо покрасить; некрашеный, он за одну зиму переменится в рыжий. Щетку умочаешь в краску и чешешь по волосу сюда-туда, сюда-туда. Лучше всех красит в Ростове чембарь Освадур. Василий придумал свой способ. Для покраски молдавского курпея сделал барабан и, когда собиралась большая партия товара, нанимал лошадь у дрогаля, засыпал барабан сухим конским пометом, и лошадь крутила барабан, пока не чернели опилки,— так счищалась краска с волос. Шапка блестела!

Братья нигде не зевали. У купца Варшавского залежалось курпея на шестьдесят пудов; сторговались, купили часть и выточили пятьсот шапок, повезли на ярмарку в станицу Платнировскую. В Ростове подкупили сто штук курпеек, поставили хороший ассортимент черных шапок на ярмарку в станицу Березанскую. В Харькове приметили каракуль (матка украинская, производитель бухарский) и на Благовещенской ярмарке в станице Пашковской расторговали все папахи. «Надо уметь купить»,— учил их купец Квасов. И они наметали глаз.

— А ведь был ты приказчиком,— посмеивался довольный брат.

— Ну! Если муж с женой пришел — это горе. Подберешь черную, она: «А может, тебе больше серая подходит?» На́ серую. «А может, тебе каштановая?» Разозлюсь и говорю: «Вы в поезде ехали? Или на постоялом ночевали? Вошка залезла к вам». И снимаю с ее шубки. Э-эх она с магазина! А эти шепотницы. Сколько товару покрали. Или кишковорот зайдет, перероет весь товар, а купить ничего не купит. Хватит. Сами себе хозяева будем...

У него часто бывали беседы со стариком Костогрызом.

— Сразу на ноги не встанешь,— учил тот.

От Костогрыза уходил Попсуйшапка взбодренный.

Внучка шила на зингеровской машинке и, откусывая нитку, взглядывала несколько раз на Василия.

Пора жениться!

И по дороге на улицу Динскую Попсуйшапка думал о невесте и замоченных шкурках. Рано утром надо выложить все пятьсот штук, расправить скребком, высушить, потом отмерить семь вершков и скроить, вырезать пах, лапки, хвост, перерезать пополам. Туркменская овца досталась, хорошая! Он с какой-то сладостью спешил домой — погля-

деть в бочки на шкурки. Все, все ладилось у него. Свое дело должно процветать. Без зависти, скорее как о чуде думал он о неожиданном счастье извозчика Терешки. А виной всему о. Иоанн Кронштадтский: не ездила бы к нему Швыдкая, не покаялась, то и от добра своего не отказалась бы. «Деньги, нажитые нечисто, на богоугодное дело не годятся»,— это точно.

Перед женитьбой зашел Василий последний раз к Баграту в трактир.

— Даю твоей невесте совет,— сказал Баграт.— Когда хочешь, чтоб муж тебя любил, утром трава кушай, а вечером дегтем ворота мазай его любовницы. Очень помогает, ха-ха, к чертовой матери!..

— Мы уже не дети с тобою,— рассуждал по-стариковски Василий накануне свадьбы.— В семье не так живут, как на свадьбе ляпают. Будет и тяжело, и нужна супружеская верность. Если что тебе не понравится или кошка сундук поцарапает, не ругайся и не таи, а скажи как другу. А найдешь, что жить со мной нельзя, скажи мне тоже. На веку чего не бывает! Есть у меня мать, так ей тоже надо уделить внимание. За мною водилось много всяких встреч, напишем на них крест. Извини. И сейчас разреши поцеловать тебя уже как свою жену.

Он ее поцеловал и почувствовал, что отвечает она без души.

В тот день мясоеда, в феврале, когда обвозил молодых три раза вокруг Дмитриевской церкви Терешка, в Петропавловском соборе молился со своей семьей государь у гробницы Александра III. Это уж потом, после переворота, вспомнил Василий, с чем совпало его венчание.

Близ церкви стояли кареты,
Там пышная свадьба была.
Все гости роскошно одеты,
На лицах их радость цвела,—

читал он стихи, наряжаясь к невесте.

Купил Василий три розы — красную, белую и чайную. «Вот,— говорил,— и все мои старосты». За ним приехал на извозчике брат Моисей. Брата перевязали большим персидским шелковым платком с махрами, он сказал «круглое словечко, как обруч», выпили, закусили и срядились, на какой день будет свадьба.

В церкви наблюдал Василий за своей невестой, меняется ли у нее под венцом лицо. Если, говорили в Новой Водолаге, меняется, то невеста с пороком.

«Благослови-и!» — пропел дьякон.

— Разреши,— попросил Костогрыз пристава на Дубинке,— пострелять в воздух до Пашковки?

— Та дуй, это ж наш участок.

Дал Василий на свадебный стол пятьдесят рублей, бабке подарил черный платок и калоши, деду чеботы, невесте все к свадьбе, козью шаль, большую, с ковер, и ботинки с калошами. Да к столу по мелочи: пуд муки, пуд говядины, три ведра водки, вина. И был пир несколько дней. В первый вечер подавали Василию квас, чтоб ребенок зачался нормальный. Чьи-то руки завязали в большие узлы подарки, узлы относили под орех-великан. Каждый приговаривал словечком: «А шоб це у вас была думка одна и шоб далеко ночью не раскатывались»; «це шоб утиралась и не стерла свою красу до старости».

И сняла с него невеста в спальне сапоги, вынула оттуда деньги... Кричал за огорожей местный дурачок Приступа:

Ой сорока-белобока,
Научи меня летать!
Невысоко, недалеко —
Прямо к милой на кровать.

Музыканты играли на возу сена.

— Живите, детки, проще,— сказал пьяный Лука Костогрыз,— и бог веку вам прибавит... Теперь я скажу тебе, Василь: внучку нашу весь кут сватал. «Отдайте мне, отдайте,— приставал один,— я вам лакированные чеботы сошью и родне вашей всей чебот нашью». Ходил за мной по току без шапки: отдайте. За сапоги внучку не отдам.

— Спасибо, Лука Минаевич...

— Но ты, Василь, смотри, не приди до меня так, как на первый день пасхи зятья приходили до моего деда в гости. Сказать? Пришли, а дед мой, колы постарел, позволял гостям пить только по три чарки горилки. А колы ошибется та поднесет по четвертой, то зятья и сыны малые имели право пить горилки кто сколько схочет. Ну, ото ж дед ошибся и поднес по четвертой. И пошла балачка. Зятья были с гонором, стали хвалиться, у кого какие кони та хаты да какие они разумные. И вздумали над моим батьком Минаем насмехаться. А батько мой того не стерпел, мацнул кулаком самого богатого зятя и в другого кинул миску с холодцом. И загудела битва злее, чем с горцами. Батько как стрибанул на стол! А стол тот был долгий, на тридцать персон. Зятья похватали рогачи. Батько как заорет. Голос у него труба иерихонская. Бывало, в хате скажет матери: «Ульяна, вари борщ с индюком!» — то полстаницы слышит. Шибку выбил в оконце и в сад. Так еле помирились с моим дедом за ту

шибку. То ж и ты, приедешь до меня, смотри, шоб я по четвертой не поднес... Ну, хлопцы-запорожцы, урежьте мне нашего гопака, а я станцую.

Через неделю после свадьбы Василий выкуривал с молодой женой шкурки.

— И как Василь спит с тобой? Ты ж горячая, как конь.

— А мы раскатываемся.

— И в меня колысь Одарушка влюбилась как черт в сухую грушу...

Костогрыз доглядывал за ними; для виду, чтоб не догадывались, ехал на базар, а оттуда заворачивал на Динскую улицу. По глазам ловил, мирно ли почивали, не надоели ли друг дружке. И долго он сидел с ними, балакал, учил уму-разуму.

— А мне пора «Ниву» читать... Чи я хуже пишу стишки, как этот великий князь? Ач!

Уж ночь надвинулась. Усадьба засыпает...
Мы все вокруг стола в столовой собрались...

ВСТРЕЧА У БУРСАКОВСКИХ СКАЧЕК

Уж ночь надвинулась. Усадьба засыпает...
Мы все вокруг стола в столовой собрались...
Смыкаются глаза, но лень нам разойтись,
А сонный пес в углу старательно зевает.
В окно открытое повеяла из сада
Ночная нежная к нам в комнату прохлада.
Колода новых карт лежит передо мною,
Шипит таинственно горячий самовар,
И вверх, седой, прозрачною волною
Ползет и вьется теплый пар.
Баюкает меня рой милых впечатлений,
И сон навеяла тень сонной старины,
И вспомнился мне пушкинский Евгений
В усадьбе Лариных средь той же тишины.
Такой же точно дом, такая же каморка,
Портреты на стенах, шкапы во всех углах,
Диваны, зеркала, фарфор, игрушки, горки
И мухи сонныя на белых потолках...

— Великий князь...— сказала вслух Калерия, бросила «Ниву» на диван и кокетливо задумалась перед зеркалом.— Вот дурочка,— сказала себе.— Пиши лучше письмо Бурсаку. Насмелься, насмелься, дорогая.

Она закрывала журнал с стихотворением великого князя, который угощал их конфектами в вагоне на Черноморской станции, открывала снова, перечитывала, там было еще два — про грозу и одно заклинание: князь просил у бога вдохновения. Она ложилась на диван, рукою заслонялась

от света в окне, мечтала: вот она стоит на конце улицы к Кубани у забора и целуется — с кем? С князем? С Толстопятом? С Бурсаком?

— Нехорошо целоваться у забора, где лают собаки,— опять произнесла вслух и, зачумленная видением, встала, положила на стол чистый лист бумаги и написала несколько строчек: «Вы мне очень нужны... Прошу вас прийти сегодня в пять на угол Гимназической и Медвёдовской...»

В безумии, налетевшем на нее в тоске, она осмелилась просить при встрече Бурсака быть посредником между ею и Толстопятом.

Бурсак копался дома в бумагах деда, когда тетушкина прислуга положила перед ним петербургские газеты и записку. На конверте не было штампа. Не еще ли одно письмо с требованием передать крупную сумму денег в указанное место? Бурсак не спешил вскрывать письмо, почитал в «Новом времени», как сброшенный турецкий султан Абдул-Гамид умолял из Салоник брата пополнить его гарем свежими одалисками. В Екатеринодаре, между прочим, прозябает на Посполитакинской принц Рахим-хан, и на базарах каждый день обсуждают романтические приключения его свиты. Власть вроде бы есть, вроде бы и нет. Россия к чужим добрая!

— Тебе привет из Варшавы,— сказала тетушка.— Получила письмо. Наверное, она протягивает к тебе ручку, но мне не признается. Ее мужа переводят в Петербург.

— На здоровье.

Записка Калерии дразнила его каким-то неясным призывом.

«Вы мне очень нужны». Зачем?

Он вызвал Терешку и поехал. Времени хватало, повернули к городскому саду, потом прокатились по Красной до памятника казачеству, воротились назад. Окна дворца наказного атамана, бронзовые знамена под Екатериной II, крыши мокро блестели после дождя. Вчера казаки подносили на станции наместнику Кавказа графу Воронцову-Дашкову хлеб-соль на серебряном блюде, сегодня днем был молебен в Александро-Невском соборе и шествие с регалиями до Крепостной площади. У дворца во время обеда стояли при трех войсковых знаменах старики и пел войсковой хор. Сейчас, когда проезжал Бурсак мимо, трапезовали в саду под крышей 1-го общественного собрания депутации и гости за столами и славили графа песней «Тебя мы ждали круглый год». Толстопят, видно, тоже там с отцом.

В городе все известно. Накануне по офицерским домам

говорили о высоком госте разное: последний русский барин, мягкий политик; подшучивали: старый граф засыпает с леденцом во рту. Тетушка Елизавета где-то вычитала такую новость: графу по наследству передан секрет о старце Кузьмиче, то есть об уходе в Сибирь царя Александра I. Тайна о том, что царь не умер в Таганроге, а скрылся неизвестным в глуши, предпочел трон чистой праведной жизни, береглась властями до самой японской войны, и вдруг сам дядя царя Николай занялся ею. Но граф молчал. Тайн много и на Кубани. И одна из них — уход из жизни его деда Петра. На то место, где прыгнул дед с лошадью в Кубань, Бурсак и заставил Терешку везти его с Калерией Шкуропатской.

Улицы в сторону к реке Кубани тонули в воде.

Под зонтиком стояла на углу Калерия. Бурсак соскочил, поздоровался и пригласил Калерию в фаэтон. Терешка сидел на козлах как неживой.

— Я познакомлю вас с нашим городом,— пошутил Бурсак.— Ведь вы нездешняя.

— Да-а, я из Таганрога,— подыгрывала Калерия.

— Не застрянем, если попробуем до Бурсаковских скачек? — крикнул Бурсак Терешке.

— Грязно, но для вас чего не сделаешь!

— Вороти! Возраст меняет отношения: мы с вами в детстве прыгали на рождественской елке, пили кофе у греков в Анапе, а потом вы подросли и мы даже здороваться перестали. Почему это?

— Девушка хочет и боится понравиться друзьям детства.

— Что ж, будем знакомы еще раз.

За Сенным рынком встречались на пустых мажарах казаки из станицы Елизаветинской.

— И грязный же у нас город,— сказала Калерия.— Только что не выезжают на лошадях закрывать ставни, а так все то же: если дождь, не пролезешь. Мне бабушка рассказывала: идешь по улице, а в руках по кирпичу. «Голубочка моя, ты же утопысся!» Вы любите Екатеринодар?

— Куда же денешься.

— Зато на месте гостиниц были ковры цветов, пчелы жужжали. На Дубинку переплывали на лодках за фиалками. Брали с собой ковры, подушки, самовары.

— А вас няня не водила на Карасун?

— У меня, я считаю, была только одна няня; имя другой я не могу произнести, она опозорилась...— Калерия по-

думала о Швыдкой.— Но она как раз и водила меня к Карасуну.

— Я приучу вас к Бурсаковским скачкам.

Он давненько не бывал там, где у Кубани с высокой кручи опять близко виднелись городские дома, Троицкая церковь, пристань Дицмана. В станице Марьянской прозвонили к вечерне; говорили, что звон в город долетает по воде. На закате золотилась за рекой сочная степь. Сколько казачьих костей лежит на илистом дне реки? В Елизаветинской да на Хомутовском посту стояло по поганенькой пушке, а из-за кустов с низины чиркали тысячи черкесских стрел. В темные дождливые ночи легкие черкесы прокрадывались в Елизаветинскую. Так было. А теперь разве что вор или насильник напугает подчас какую бабу. Почему дед для смерти выбрал эту кручу?

— Те казаки и представить себе не могли, что мы будем здесь стоять без всякой боязни,— сказал Бурсак.

Он вдруг разговорился.

— Где-то тут бросился мой дед в Кубань. Тут он разгонялся. Накинул на глаза лошади башлык, перекрестился и с криком: «Ну, господи, прости меня!» — погнал лошадь к обрыву... Дворового мальчика брал с собой. Мальчик растерялся, с испугу побежал в Елизаветинскую. Его потом допрашивали, но бумаг я никак не найду.

Калерия как-то напряженно молчала.

— Тому, кто найдет его тело, обещали кувшин с золотыми монетами.

— Я прочитала недавно, как выбирали того еще, старого Бурсака, черноморским атаманом. В войске было восемь подполковников. На восьми бланках написали имена, свернули и положили на образ. Жребий пал на Бурсака.

— Дымократия,— пошутил Бурсак.

— А вон домик... Там кто-нибудь живет или это так?

Домик в три окна, поставленный на ферме немцем Гначбау, станет через десять лет последним приютом генерала Корнилова, но в тот вечер такое не могло даже присниться.

— Так что же? — спросил Бурсак после молчания, намекая на записку. Калерия повинно взглянула, склонила головку и молчала. Именно в эти минуты Калерия раздумала искать в Бурсаке посредника.

— Вы меня не понимаете? — спросила Калерия отдаляясь.

— Не совсем.— Бурсак тронулся за ней вслед. Она обернулась и пошла навстречу. В двух шагах от него она стала, сцепила руки и поднесла их к губам.

— Вам странно это?

— Довольно смело с вашей стороны.

Если бы не то похищение, не Толстопят, Дема нашел бы несколько дразнящих словечек. В его сознании она все еще была пассией Толстопята — как же ее трогать своим вниманием?

— Вы еще не были влюблены?

— Была. В Евгения Онегина. И в Ленского тоже.

— Они вам отвечали взаимностью?

— Ленский. А Евгений Онегин как ваш дружок Толстопят: слово скажет и забудет. Но вот правда: няня моя говорила, мне будет девятнадцать лет, и я прочитаю о человеке (так и сказала — прочитаю), которого потом полюблю. «Остерегайся,— говорила,— глядеть на него нежнее, чем на других».

— Вы на меня совсем не глядите, что я должен думать?

— Я вам напишу,— сказала Калерия и покраснела.

— Что же это за няня такая, пророчица?

— Я вам напишу.

— А история с великим князем?

— О господи, да что за история! Ну девочки же, глупенькие, из глухого города. Приехала царственная особа, они и побежали на станцию поглядеть. Он нас пригласил в вагон, угощал конфектами. Я даже в черном кресле посидела — скользко! Если бы с нами не была дочь Бабыча, нас бы начальница исключила из института.

— Надо было! Ишь! Нашли в князе Евгения Онегина?

— Почему над храмами всегда кружат птицы?

Бурсак обернулся, заметил птиц над Троицким собором вдали и ничего не сказал. Калерия опять затаилась.

Бурсак с улыбкой наблюдал за ней. Она тоже улыбалась и тем выдавала себя. Не слишком ловкой была ее маленькая хитрость! Толстопят разбил бы ее одним словом; Бурсак манерничал. Калерия между тем кружила возле, будто дразнила загадкой.

— Так что же? — спросил Бурсак и про себя продолжил: «Зачем я вам нужен?»

Калерия тихо подняла голову и проколола его мучительным взглядом любви. Казалось, она еле сдерживалась, с ней творилось то, что бывает с барышнями, когда они долго мечтают о какой-нибудь встрече, а месяцы текут в одиночестве.

Бурсак рукой подозвал фаэтон Терешки.

— Я приглашаю вас на дачу моей тетушки.

К даче они ехали молча, и это связывало их неловкостью еще больше.

Белый домик с двумя окнами на город стоял у реки. Хранительница дачных ключей Федосья, высокая грубоватая казачка, сбегала в станицу за молоком. Ее знакомый Аким Скиба рассказывал в сторонке Терешке о скором суде над убийцами его троюродных братьев.

— Наверно, зима будет великая: свинья одно носит солому в хлев,— сказал Терешка погромче, чтобы услышал Бурсак и не заподозрил в опасном разговоре.

— Да, зима будет такая, как в тот год, когда старый Бурсак с этой кручи прыгал.

— А какая тогда была? — издали спросил Дема. Скиба подошел к нему с почтением, снял фуражку, тайно обглядел Бурсака, не подозревающего, какими узами их соединил Петр Бурсак.

— Сорок дней стояли морозы. Карасун и Кубань подо льдом на аршин. А старый Бурсак прыгнул на четыре месяца раньше.

— Тебе кто рассказывал?

— Батько.— Скиба помолчал. А и я прыгал с лошадью в Кубань, только туда подальше.

— Чего ж ты прыгал?

— Я с дому ушел рано. Был маленький, сказал матери: «Я буду привыкать жить не евши». И ушел. Меня удивило раз: соседи готовились к гулянке, и хозяйка сдирала кожуру с селедки. А мы дома ели селедку с кожей. И я ушел. Бурсаковских буйволов сторожил. И как-то они пропали на четыре дня. Меня послали найти. Я сел на кобылицу, у нее по спине от гривы до хвоста темная полоса, сама легкая. Выдернул из кучи хорошую хлудину. Нигде нет буйволиц! Еду по-над берегом. Когда за дубами вижу их, отощавшие. Лежат на земле. Кобылицу завидели, начали подниматься, в глазах ужас. Я пускаю повод, наклонился вперед. Они и кинулись лавиной по косогору, а там с двухметровой высоты в Кубань, так и полетели, и я сам, не помню как, упал с кобылицей вниз, а буйволицы мои черными бочками плывут посередине. Вот я и прыгнул, как старый Бурсак.

— А где ты родился?

— В Марьянской, а батько из Каневской. Переехали.

Бурсак хотел спросить о фамилии батька, но что-то его удержало. Само время, видно, решило, что лучше не знать Деме о своем родстве со Скибой. Анисья обоим была родной бабкой, потому что их разным отцам была она матерью. И опять же одному времени дано было хранить тайну: как и когда суждено свидеться этим людям.

— Не к сглазу будь сказано: вы что лебедь белая,—

хитро благословила Калерию на счастье с Бурсаком Федосья и ушла с Акимом в угол голого сада.

Смеркалось. В комнате они только постояли скованно, Бурсак поговорил о тетушке, любившей пить чай из самовара. Выходило так, что не он зазвал ее к берегу Кубани, а она,— да ведь она послала ему записку. Калерия полистала номера «Нивы», и в одном опять выпала ей страница со стихотворением великого князя. «Уж ночь надвинулась. Усадьба засыпает...» Все счастливее ее, даже Федосья с этим тонколиким мужиком. Бурсак поднес ей стакан молока. Она выпила и уже хотела было присесть на диван с пружинами, но вообразила, что Бурсак подойдет к ней, и...

— Пора! — сказал Бурсак и пригласил к фаэтону.

Терешка быстро привез их в город. Вот уже и салон дамских нарядов мадам Фани, вот и белые боги наверху музыкального магазина братьев Сарантиди, кафе де Пари.

– Наш маленький Париж... И никто о нем стихов не пишет. Почему?

— Нет поэтов, - сказал Бурсак.

— Копят золото. И он...— ткнула она пальчиком на Терешку.

— Он свое богатство нашел в обыкновенном матраце,— сказал ей Бурсак на ухо.

— Вы не ответили: почему над храмами кружат птицы?

— Их там бережет...— он взмахнул рукой в небо.

— А у наказного атамана свет во всех окнах.

— Да разве вы не знаете? — там Воронцов-Дашков.

— Когда-то девочками мы пели во дворце другому наместнику. У нас мешочки с гостинцами в руках.

Они проезжали мимо дворца в ту минуту, когда граф Воронцов-Дашков, кончив игру в винт, переходил с графиней в столовую попить чайку. Два казака переминались в наряде у подъезда.

— Я здесь сойду,— сказала Калерия.— Вы были любезны, благодарю вас.

«Зачем она меня вызывала? — думал Бурсак.— Она мне нравится».

Калерия пошла по тротуару к своему дому такой гордой походкой, будто освободилась она наконец от навязчивого воздыхателя.

Через два дня от Калерии принесли еще один конверт без штампа. «Я хочу вам рассказать тайну. Мне было девять лет, и даже тогда моя няня не казалась мне старой. Она была русская, но ворожила, как цыганка. Я удивлялась, если видела ее за каким-нибудь обычным делом. Дом про-

пах травами. В темноте она своими травками мыла мне голову, приговаривая. Потом я сидела у печки в шерстяных носках — поставлю ноги на голову собаки и сижу, сушу волосы, щепки подбрасываю. Сколько я себя помню, всегда наша жизнь была тесно связана с Хуторком. Там, и только там, была для нас вся радость. Тихие и жаркие летние вечера; от речки аромат водяной мяты; в зеленых камышах звон да свист; млеет уставший от долгого дня сад. Даже пчелы наморились за день. Мы направляемся в степь. Кое-где синеют курганы, а вдали они не то плавают на прозрачной воде, не то качаются в воздухе. А дальше, еще дальше — там, кажется, спустилось небо на землю, и если поднять руки, то можно свободно взойти на него. Няня мне объясняла: «Ще кажуть старые люди: есть такая драбина, так по той только драбине можно взлезть на небо...» По дороге к нам приближается большое стадо, все благородная тонкорунная порода. Крик молодых ягнят, зов маток, посвист чабанов в мохнатых бараньих шапках — все как в далекие времена. Пастух и теперь, как во времена Авраама, часами стоит в степи, опираясь на свой длинный посох. Мы идем к калмыцким кибиткам. Там вырастает хорошенькая калмычка; ее скоро украдут, она знает об этом; темной ночью подъедут верхами сваты, и, будто не ведая о том, выйдет калмычка из кибитки, ей подведут коня... Так я жила. Все прошло... прошла и юность, и ея радости. Я была до 1900 года единственной дочерью. Валялась в саду на траве и воображала себя бог знает какой принцессой. Мне с детства отец внушал, что я некрасива, а няня сказала, что я чудо как хороша. Она всегда добавляла, что я всегда буду самой красивой, быстро выйду замуж и проживу долгую жизнь, но, когда мне будет девятнадцать лет, я прочитаю (так она и сказала — прочитаю) о человеке, которого буду любить. «Ты вспомнишь,— сказала няня,— когда встретишь его». Я действительно почти все забыла. Где я прочитала о вас? В семейной хронике рода Бурсаков, недавно в газете. Я вспомнила один случай! Помню, любила я по лестничке-доске, что позади старого дома, взбираться на крышу с книгой и читать. Вид такой чудный... весь хутор, и сад, и речка передо мной. Раз приехал в Хуторок Бурсак, ваш покойный дядя, и, когда я слезла вниз к вечернему чаю, отец, представляя меня, с некоторой гордостью сказал: «Оце такие девчата вырастают в наших бурьянах!» Теперь он их повторяет часто. По отъезде пана Бурсака няня рассказала мне одну историю. Помните ли вы эту женщину? Она была дворовой вашего деда Петра. Знаете ли,

что она его любила и их разлучили его родственники? Она бросила нелюбимого мужа Скибу и вернулась из Керчи на Кубань, хотела пойти в монастырь, но отец мой случайно уговорил ее и взял в няни на пять лет. Она прожила у нас семь. Она-то мне все и рассказала. Знаете? Но я потом забыла. Вы не поверите! Я знала вас давно. В 1907 году вы шли по улице с Толстопятом. Я запомнила ваши удивленные глаза. Няня говорила: «В тот день ты даже руки свои вспомнишь». У вас вообще такой взгляд — удивленный. Я шла от улицы Дмитриевской и повторяла: «Как же так? Я все это знаю, а он нет». И когда вы ехали со мной к Бурсаковским скачкам и сказали, что для вас это неожиданно, я только тогда поняла, что вы действительно ничего не знаете. Я была поражена ничуть не меньше, чем своим «знанием». Но я ничего не скажу о словах няни Анисьи о *вас*. Вы понимаете теперь, как я была потрясена, когда меня собирался похитить Толстопят? И была потрясена, когда вы на берегу рассказывали, как погиб ваш дед Петр. Я думала, вы нарочно рассказываете...»

Дней через десять он случайно встретил ее на своей улице. Он вышел в десятом часу вечера и увидел ее под высокой акацией, неподалеку от своего дома. Она, верно, давно тут стояла или ходила туда-сюда мимо окна. Окно было растворено, Бурсак играл в темноте на фортепьяно.

Здравствуйте,— сказал Дема.— Что вы здесь делаете? Колдуете? Спасибо за письмо.— Она молчала.— Я ценю тонкие чувства. Мне нравится также, когда ими пренебрегают. Ну? Что молчите? Жить, говорят, надо легко, а говорить быстро.

— Бог с вами,— сказала Калерия туманно и простилась.

И еще одно письмо прислала она ему.

«Я пишу вам, живя в одном городе,— не странно ли? Вы, наверное, читаете и улыбаетесь, если можете улыбаться по-хорошему. Я больше не назначаю вам свиданий. *Я вам на роду написана*».

Первые письма... От каждой строки, буковки, восклицания, вопроса, намека горит сердце. Неожиданная близость соединяет тебя с той, которая адресует слова тебе. За словами и знаками чувствуешь все скрытое, самое главное, и кажется, твоя рука уже берет ее безвольную руку.

Ночью ему казалось, что он полюбил Калерию. Но что будет, если узнает Толстопят?

Бурсак мысленно пробирался к ее постели, целовал ее руки, шейку и, обволакиваемый туманом нежности, вдруг холодел: нет! переступить через друга неблагородно!

НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ

Осенью в Екатеринодаре бывало так тихо, словно все выехали в степь на коши, и мадам Елизавета Бурсак, пройдясь по запущенному саду, говорила племяннику Деме: «Живем, а ничего не происходит...» Она каждый вечер объезжала на фаэтоне знакомых, щебетала несколько минут в одном доме, в другом, и ей от новостей казалось, что со всеми что-то случается, у каждого какие-то прибыли и убыли и только у нее все одинаково день ото дня. Конечно, ей дела не было до того, что на Ростовской улице в ночлежке носили сейчас, пока она грустила, железные койки, что у отставного писаря, продавшего сад за пятьсот рублей, родная дочь, когда он уходил в ресторан «Орел», вытащила четыре сотни, что пекарь Кёр-оглы писал в городскую управу прошение на право устроить в Чистяковской роще пивную с буфетом и горячими закусками, что Лука Костогрыз, этот допотопный казачина с оселедцем за ухом, листал в книжном магазине Запорожца брошюру о старых атаманах и умилялся их образом жизни: «Всегда рано или поздно я заставал атамана в его флигеле-канцелярии с кисетом в руках, с черепяной люлькой в зубах», что, наконец, в тот час, когда она изливалась перед племянником в тоске, назревало событие, которое потом войдет в летопись борьбы за власть в этом сонном городе Екатеринодаре, начинался процесс над убийцами братьев Скиба.

Генерал Бабыч так и не разобрался в том, что произошло год назад в ночь на 3 мая 1908 года.

В пятом часу ночи его разбудил полицмейстер и доложил об аресте и убийстве трех членов группы социал-революционеров. Бабыч приказал начать расследование.

В ночь на 3 мая, в ту самую ночь, когда Бурсак перечитывал записки своего деда, жандармский полковник Засыпкин вызвал помощника полицмейстера Г. и уведомил, что нынче по городу состоятся обыски и аресты социал-революционеров и ему, помощнику полицмейстера, поручено взять с собой городовых, агента-офицера и нескольких казаков 1-го Екатеринодарского полка. Ожидалось сопротивление.

В три часа ночи в доме № 164 по Ярмарочной улице все спали. На крик «полиция!» хозяин открыл дверь. Наставив на него два револьвера, вошли помощник полицмейстера, полковник Засыпкин и низенький полицейский с черными усиками — Цитович. Целый час обыскивали дом, разрыли постели, в мешок покидали нелегальную литературу, а двух

сыновей хозяина и квартиранта повели в участок. Через несколько минут мать с отцом услыхали выстрелы и, неодетые, босиком, выскочили на улицу. Детей вели к углу Ростовской улицы.

По одной версии — арестованные побежали, и полиция стала стрелять. По другой — первым без всякой причины выпустил патроны помощник полицмейстера.

Кому верить? Бабыч полагался на суд. Олимпиада Швыдкая шла в пятом часу из Круглика от товарки и видела, как вели троих парней во второй участок. «Сто-ой!» — перепугал ее крик, и она под залпы револьверов зажмурила глаза и прибилась спиною к стене дома. За одиночными выстрелами последовали выстрелы с мостовой.

На крики и какой-то частый гром открыл окно Василий Попсуйшапка. Странное дело! — под его окном лежали молодые парни, один из них, еще живой, спрашивал со стоном: «За что вы нас убиваете?» Помощник полицмейстера (с белой повязкой на голове) подошел и добил его выстрелом в щеку. Попсуйшапка закрыл окно, оделся и вскоре выглядывал в щель ворот. Помощник полицмейстера остановил проезжавший фаэтон. Вез пассажира лихач Терешка.

— Почему задержали? — вопил жирный голос.— Я Фосс! Знаете?

— Ну и что что Хвост,— сказал пристав.— Если хвост длинный, отрубим. Слушать приказание!

С полицией лучше не спорить: Терешка согласился отдать фаэтон для перевозки трупов на кладбище. Цитович выгреб из кармана убитого шестьдесят две копейки и передал их извозчику. Терешка не взял. Когда грузили убитых, в одном из них узнал Попсуйшапка клиента, которому Хотмахер в прошлом году сшил шляпу рафаэлевского фасона.

— Ох мои дети! Ох мои дети! — кричал отец.

Швыдкая постращилась стоять дольше, перекрестила издалека фаэтон и пошла домой на Пластуновскую.

Бабычу на вершине власти в Кубанской области некогда было сочувствовать единицам; надо было управлять массами по тому же принципу, что и царь. Что власти до одной какой-то человеческой судьбы, если она, власть, хочет продержаться подольше? Всех не запомнишь, на всех не разорвешься. Царь и двор не простят генералу, если он от усталости или по либерализму спустит массам нарушение самодержавных традиций. Там ошибок не любят. Отец с матерью потеряли своих сыновей, но точно так же потеряет родных детей он, Бабыч, коли дать волю максималистам. Жестокая схватка. На покое, после того как сломил и при-

кокошил он революцию в Новороссийске, жить ему опасно Записки подбрасывались во дворец каждую неделю. Что делать? Сомневаться в полковнике Засыпкине? Другой тай ной стражи в городе нет. Анонимки разоблачали Засыпкина Милый рассказчик неприличных анекдотов, Засыпкин ста рался доказать Бабычу за назначение на пост, что верой и правдой служит отечеству и в первую очередь оберегает жизнь самого генерала. Идея угрожающих писем принадлежала ему, его агенты подбрасывали их за подписью «коммунистов». Надо было запутать все на свете и вину за свою государственную нерадивость перевернуть в бдительность. Все сведения о подозрительных личностях в его руках — почему бы иной раз не воспользоваться охранкой в своих целях? Держать старого генерала в страхе, выдумывать виновных, хватать первых попавшихся, если нет ума найти истинных подпольщиков. Внушить Бабычу, что анонимщики покушаются на его верного слугу. Жизнь — служба, а на службе — сплошные подсиживания. Люди завистливы, тщеславны, обидчивы. Полковник Засыпкин назвал в жалобе имя анонимщика, которого он не повысил по службе. Писал даже не он сам, а его дочь. Кому же верить? Все могло быть: мог кто-то по злости направить донос, мог и полковник создавать дела, которых нет, кутить в темных углах с девицами на казенные секретные деньги. Но зачем ему убивать наказного атамана во время молебна или посылать к нему женщину с прошением, зачесав ей на голову маленькую бомбу? Убийство получило огласку, и, когда началось следствие, свидетели облили полицию грязью, и только помощник полицмейстера молчал о роли Засыпкина. Почему братьев расстреляли? Точно ли они побежали? Правда ли, что помощник полицмейстера, по одной версии, унес мешок нелегальной литературы с места обыска, а по другой — спешно набивал мешок подозрительными книгами уже в полицейской части из шкафов? От смертной казни Бабыч спасти его не мог — на то гласный суд, и лишь государь имел волю помиловать. Власть на стороне ее защитников. Даже если они превышают закон, она им сочувствует.

Но всех ли выловили? В ночь на 3 мая, когда громили семью Скиба, арестовали в Екатеринодаре шестьдесят восемь человек, и только пятеро из них оказались заговорщиками. Вот над чем приходится ломать голову, а убитых никто не считает.

Странно! — с того майского погрома по области и по всей России наметился спад недовольства, и с каждым днем становилось тише, спокойнее, и слова премьера Столыпина

«Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!» — как будто разом прикончили всех, кто думал иначе.

Зато члены союза св. Михаила Архангела никого не миловали:

— Не верьте прельщениям! Волков в овечьей шкуре подослали на гибель всего русского. В нашей горсти — будущее России. Мы смоем с ее лица черное пятно, наложенное мнимыми освободителями.

«Что творится,— думал Попсуйшапка.— Это они так всем ноги переломают».

Накануне судебного процесса Попсуйшапка подслушал разговор союзников в ресторане Старокоммерческой гостиницы. Неделю назад на Старом базаре смотритель местной больницы хвастался, что скоро в Екатеринодаре будут жечь и громить инородцев, а полиция якобы будет помогать в этом. Теперь за соседним столом речи продолжались на ту же тему. Союзники не умели держать язык за зубами даже в тех случаях, когда что-то надо было хранить в секрете. Уж вроде бы высказались они до дна, нет — все было мало: едва сходились, повторяли вчерашнее. И сейчас толстенький говорил сыну помощника полицмейстера, который кидал в него как-то канделябр, тем же указательным тоном, что и на улице Рашпилевской в отделе:

— Пока мы не изобьем всех ёных, не вырвем их с корнем, у нас не будет ничего хорошего. Они мутят народ. Сместить нашего государя? Не будет их здесь, мы их доконаем, мерзавцев. Полиция на нашей стороне. Это им не Баку, где они бомбы прячут в алтарь. До сих пор нас держали как волков на цепи, а теперь мы им покажем.

— Доберемся, посчитаемся.— Товарищ погладил рукой жирный затылок.— Ни одного в Екатеринодаре не останется. В Армавире некоторые умники бежали на станцию, на товарняк лезли, лишь бы скрыться. В девятьсот пятом году хомут на Екатерину Вторую повесили, это им не забудется. На флагах что писали?

— А? — толстенький, умевший слушать только себя, не понял вопроса.— За батюшку царя разрежем их подушки,— сказал он свое.— Пятьдесят человек хватит? Я на Старом базаре поработал, хорошо-о позвенели стаканами у Баграта. А им что! — они быстро керосин на этаж втащат.

— Пожарникам воли не давать.

Попсуйшапка, притворно опустив глаза в тарелку, ловил каждое слово. Неизвестно почему, но он ненавидел их. И боялся. Ему казалось, что эта братия у него порежет подушки ни за что ни про что. Так ведь и было в Армавире:

больше всего пострадали тихие русские люди, добрейшие врачи и благотворители.

«А чем Богарсуковы, Демержиевы, Тарасовы не хозяева? Или Черачев Борис Власович? Придет к нему кто-нибудь: «Помогите. Лошадь и фаэтон хочу купить».— «А ты не пьешь? Нет?» Пошлет на Сенной базар, чтоб дали сбрую, хомут, туда — чтоб дали коней, туда — возьмешь фаэтон. Садись и езжай. И оплачивает. «Потом рассчитаешься». Умей сам так жить и ворочаться. Хотмахер родному брату не доверит товар, а мне доверял. Может, я чего-то не понимаю, но так нельзя. Мы, русские, всякую нацию ценим. У нас тут сколько их: греки, персы, турки, болгары! И везде друзья у меня есть. Не по кулачному бою, а по де-елу. А ты жирный затылок наел и еще лезешь царя спасать... Когда погромы в Одессе были, отец Иван Кронштадтский писал вам что? Люди православные,— писал,— не губите душу кровопролитием. Я так же думаю, хоть и за три копейки у дьякона учился».

— Завтра суд над вашим отцом,— сказал толстенький,— и надо показать им кулак. Они все социалисты.

У себя в мастерской Попсуйшапка кроил шкурки и поглядывал в окно: нет ли где толпы? Никто не бежит?

В два часа дня он пошел к шапошникам в магазин Хотмахера и на углу улицы Красной и Гоголя попал прямо в толпу. Попсуйшапка принял сборище за союзников, но ошибся: то стояла интеллигентная публика, желавшая перед зданием окружного суда призвать к наказанию помощника полицмейстера по всей строгости. Но шествие их к Крепостной площади было остановлено шумной оравой союзников. Они приближались от улицы Гимназической с портретами императора и национальными флагами. Попсуйшапка расслышал, что они пели. Они пели «Спаси, господи, люди твоя». Обыватели прирастали к ним. Попсуйшапка бочком стал выбираться из гущи к дому грека Акритаса. Толпы сошлись: несколько союзников с царскими портретами рвались вперед. Полетели камни.

— Бей социалистов!

— Гимназиста убили!

На тротуаре уже кого-то били палками. Высокий учитель бросился к союзникам с револьвером, но Попсуйшапка схватил его за руку, обцепил и упал вместе с ним. «Не вздумайте, не вздумайте!» — кричал он учителю. Раздался выстрел. Пуля попала в портрет государя. И тут с ревом погнали манифестантов к Рашпилевской.

— Жечь врагов России! До основания!

«Куда ж Бабыч с полицмейстером смотрят? — спрашивал Попсуйшапка.— Мы так сами себя перебьем». Он уже позабыл, куда и зачем вышел полчаса назад. Воспаленный выстрелом учителя, напуганный безумием, ненавистью екатеринодарцев, которые еще вчера, еще утром сегодня тихо ходили по этим улицам друг мимо друга, Попсуйшапка решил убираться поскорее домой, но любопытство поманило его на Рашпилевскую. Он с детства боялся драк, страдал, если на него повышали голос, обходил стороной хулиганов. Когда Дубинка и Покровка шли стенка на стенку, когда в станичных кутках бились за девок молодые казаки или когда читал о самосудах над ворами, с ужасом думал о злобе людской. Ненависть, разрастаясь, не знает конца.

У двухэтажного дома доктора Лейбовича царила суматоха. В доме напротив испуганные хозяева выставили в окна иконы. С докторского балкона торговец готовым платьем уже кричал: «Нашли гектограф и семь брошюр «Идеи марксизма».

Толпа осмелела вовсе. Несколько человек побежали к подъезду и скрылись в доме. «Убьют доктора»,— проскочило в голове Попсуйшапки.

— Ты-ы, Лейбович! — кричали из толпы, кажется толстенький.— Ты думаешь, мы не знаем, что вы надумали сделать с Россией? Не будет вам республики! Земский собор будет. Смеетесь над нашей религией, в Одессе бросали вонючие яйца на нашу святыню. Нас, мужиков, сто тридцать миллионов. Помни! Будет вам хорошая закуска.

— Пока еще наш царь не висит на гнилом дереве,— сказал кто-то другой, потише,— выезжайте отсюда, иначе к хвосту лошади привяжем за волосы и так пустим.

— Керосин где?

Из дверей вынесли кучу белья и бросили на тротуар. Босяк Пашка-косой вытащил оттуда дорогое пальто, свернул и зажал под мышкой. Несли керосин.

Сверху бросали стулья, диваны, кувшины; наконец выкатили рояль, туго подняли его и отцепили руки: беккеровское лаковое дерево раскрошилось в куски. Загорелись комнаты.

Высокий, плотный полицмейстер в белой папахе невинно стоял на мостовой в окружении улыбающихся городовых. «Будут грабить, а полиция поможет»,— вспомнились Попсуйшапке слова толстенького. Пух из распоротых подушек летел по Рашпилевской. Между тем полицмейстер не мог дождаться окончания этой заварушки: перед телефонным

звонком тревоги он плотно покушал и не успел заскочить в уборную.

— Пожарных не подпускать,— сказал полицмейстер.— Пусть жид погорит. За дело. Не будет на революционных обедах призывать к суду моего помощника.

— Едут тушить! — увидели пожарный обоз.— Не смей! Пусть горит!

«Где ж генерал Бабыч? — думал Попсуйшапка.— Надо молебен устроить и увести толпу. И Анапского батальона не видно».

Бабыча привез в фаэтоне Терешка. В эти минуты с громом упал с балкона кованый сундук. Бабыч приказал толпе отойти от дома на тридцать шагов. Без наряда казаков власти его не чувствовалось. Казаки 1-го Екатеринодарского полка прибыли на лошадях из Самурских казарм через десять минут.

— Почему в громил не стреляют? — подскочил к Толстопяту Попсуйшапка.

— Не приказано.

И тут кто-то завопил: «Пойдемте возьмем музыку! В войсковой хор! В войсковой хор!» Попсуйшапку спихнули к забору, и обыватели сперва с ревом, ничего не соображая (лишь бы куда-то направить свой растерзанный дух), потом с пением «Спаси, господи, люди твоя» повалили в сторону Карасунской улицы. Дом все горел, и брандмейстер с большими усами матерно ругался на пожарных.

Отчитав полицмейстера, приказав казакам на всякий случай оцепить синагогу, Бабыч уехал во дворец.

Попсуйшапка поехал в Пашковскую рассказывать о погроме Луке Костогрызу.

Утром на Старом базаре Пашка-косой продал пальто Лейбовича за десять рублей.

Тетушка Елизавета спала до обеда и за чаем спокойно слушала рассказ мадам Камянской о том, что вчера был в городе какой-то шумок.

1910 ГОД

В начале года хоронили в столице бывшего наместника Кавказа великого князя Михаила Николаевича; детей его нянчила Анисья, и Бурсак опять запылал желанием найти дарственный самовар.

Государь торжественно заявил кубанскому духовенству во время приема: «Успокойтесь, все останется по-прежнему».

Все так еще и было. Восемнадцать православных екатеринодарских храмов отворяли свои двери верующим. Хвостатая комета на небе, такая же, что и в 1812 году, перепугала на мгновение, но уже через неделю уполномоченные обносили подписные листы на памятник Николаю I в Геленджике. Возле Ненасытецкого порога, посредине Днепра, намечали высечь в скале барельеф киевского князя Святослава; наследнику послали снимки древнейших церквей, построенных еще запорожцами. 18 февраля незаметно проехала из Новороссийска царская сестра, великая княгиня Ольга Александровна; в этот же день на обеде «земно кланялись и слезно прощались» с атаманом Ейского отдела А. Я. Кухаренко, известным еще тем, что в старости сиживал на кургане под станицей Медведовской в полной генеральской форме и курил люльку.

160 000 заключенных ждали воли.

Читали в «Новом времени» откровенные «Письма к ближним» М. О. Меньшикова, а на бане Лихацкого — объявление: «Пятница — день, когда купаются женщины».

За участие русских плотников на Всемирной выставке в Париже один из них получил орден Почетного легиона.

Ложа на концерте Шаляпина стоила сорок рублей.

24 мая, в день гулянья в пользу «Яслей» в саду Ирзы, Попсуйшапка выиграл чайный сервиз, но ему недодали шесть блюдец и молочник, и он после извещения в газете ходил за ними к мадам Бурсак. Вечером кто-то нарочно забыл в фаэтоне Терешки чемодан с прокламациями. По дворам с тюками шелка расхаживали сыны Небесной империи, китайцы; против городского сада рабочие штукатурили дом Ждан-Пушкина.

Пока Бурсак искал бабку Анисью по области, она в Полоцке молилась при внесении мощей преподобной Ефросинии. От кадетского корпуса нес знамя великий князь, которым дразнили в Екатеринодаре Калерию Шкуропатскую.

Премьер-министра Столыпина возвели в графское достоинство, 15 сентября пел в Екатеринодаре Шаляпин, а поздно осенью умер Л. Н. Толстой.

В 1910 году литературными идеалами екатеринодарских гимназисток были княжна Джаваха, Елена Робинзон, Онегин, Лиза из «Дворянского гнезда» и Татьяна Ларина.

На войсковом кладбище выбитые на камнях надписи напоминали о бесконечной печали: «О люди! Что теперь вы, то и мы были некогда; что теперь мы, то и вы скоро будете...»

Часть вторая

ПРАЗДНИКИ И ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

— Сожалею, что не смог лично присутствовать на торжествах. Надо же найти время и для того, чтобы подать руку счастью...

(Из разговора)

В Петербурге никого Толстопят не вспоминал так часто, как сестру Манечку.

Издалека он разговаривал с ней, но сесть за стол и приложить руку к бумаге ему было некогда. Манечка строчила ему на листах екатеринодарские и домашние новости. Толстопят успокаивал свою совесть тем, что без конца отвечал ей шутливо-ласковыми устными посланиями.

Они были такого рода.

В то время, мол, как вы ленитесь, спите в мягких постелях, отмыкаете ключами счастья двери ситцевых вечеров и Чашек с чаем, ездите верхом на Терешке в магазин мадам Фани или полотенцами гоняете мух по комнатам, мы тянем лямку службы вблизи самой власти. Изо дня в день наши казаки при царе и его августейшем семействе. Камер-фурьерский журнал толстеет от расписаний: высочайшие выходы по случаю Нового года, крещенского водосвятия, пасхальной заутрени, дней рождений, бракосочетаний, коронования и т. п., встречи иностранных премьеров, королей и проч. То надо проводить вдовствующую императрицу до границы (и получить, между прочим, из ее белых ручек серебряные часы с гербом), то великокняжеский выезд в Мариинский театр, то вот сейчас готовимся в Ливадию. Когда портить бумагу? В малахитовом зале Зимнего дворца нижние чины сперва разевают рты, отдают сами себе честь перед зеркалами, ну точь-в-точь как наш батько в молодости, когда ходил к «аблакату» в суд и в приемной наткнулся вдруг на своего покойного брата Ивана, с испугу спросил: «А ты тут чего, Иван?» — а потом разобрался, что то ж он сам отражается в зеркале. Что наш казачок видел? Бахчу в степи, скотину во дворе и в царине, скачки, армянскую лавку на базаре. Тут вокруг него сиятельные особы, дамы, камер-пажи и царская родня. В Петербурге у подъезда семечки не лузгают. На второй год службы казак привыкает к царской особе как к станичному атаману и может заслужить от него улыбку и вопрос: «У вас есть сестра?

брат?» Я, конечно, ответил: «Есть, ваше величество, ангелочек, сестричка Манечка». Мы, слава богу, не конные жандармы, гонять демонстрации. Мы конвойцы, телохранители. Сидит казак на запятках экипажа и смотрит одним глазом на шляпку великой княжны Ольги, другим — в сторону. Мы не блестящие кавалергарды на гнедых конях, не золотистые кирасиры и не синие уланы; мы усатые казаки в черкесках из лодзинского сукна, без гусарских ментиков на дорогом меху, в папахах вместо черных доломанов. Наши нижние чины больше всех гвардейцев напоминают царю народ, от которого он отгорожен дворцами и полками. Эти нижние чины всегда у него за спиной. Обо мне на следующий год можешь прочитать в справочнике «Весь Петербург». Но я все равно твой братец и навеки кубанский казак.

По всем дням занят. Живем по царским часам. Государь еще не завтракал, а мы уже почистили и накормили коней, распределили дежурство, проверили снаряжения. С десяти до одиннадцати утра у государя прогулка, наши чины стоят по всем аллеям и уголкам и, если он проходит мимо с наследником, вытягиваются в струнку и перед ним и перед шотландскими лайками. В одиннадцать часов (через день) я посылаю во дворец вахмистра с судками, запертыми на ключ, — государь собственноручно пробует пищу конвойцев и всегда изволит отмечать свое впечатление. Когда он в час дня плотно завтракает в семье (любит, говорят, кубанские борщи, кашу, блины, монастырский квас по рецепту Саровской пустыни), мы все равно в делах и в бегах: везде посты и наблюдения. Не думай, что это легко. Будет казак вспоминать о доме или о прачке из ближайшей деревни — проскочит какая-нибудь тварь с бомбой. После неудачного покушения в 1906 году, когда через нашего казака хотели проникнуть с бомбой во дворец, караул стал еще строже. Казак тогда принес командиру конвоя десять тысяч рублей и заграничный паспорт, которым его снабдили заговорщики. Ему тут же дали звание урядника. Каждый из нас в любую минуту может заплатить головой за царскую жизнь. Господи, сохрани и помилуй! Едет он в пятом часу по кружной дороге Боболовского парка, а ты только и думаешь, как бы не сосчитал всех ворон казак твоей сотни, не закурил тишком или не разговорился с молочницей-чухонкой, которой по парку позволено ходить свободно.

По обезьяньей привычке подражать пишу тебе огрызком карандаша, наговаривал Толстопят слова, в твердой уверенности, что он их вечером правду запишет. Мне сказали

как-то, что государь довольно бережлив и карандаш обыкновенно исписывает до конца, а последние кусочки отдает на забаву своему ненаглядному сыну Алексею. Ну, у меня-то сынка еще нет и даже нет на примете чудной головки, возле которой бы я спал на подушке в своей квартире, как спят мои товарищи-офицеры. Вместо хозяйки у меня денщик на кухне, я его недавно три раза ударил по щеке. Послал его купить кружку сметаны, прихожу домой и, представляешь, вижу: в кружке половина съедена. Он мне, морда, говорит, что не трогал. Еще и кричит. «Бью тебя,— говорю,— не за сметану, которую ты поел или отдал щенятам, а за повышение голоса и за сделанный тобою шаг ко мне!» И — восемь суток усиленного ареста. Думаю, переставил бы кто каким-то чудом нас местами — он бы меня задрал как курицу, так что я еще добрый. Денщик мой, кстати, играет на гармони лучше всякого босяка. И вот он торчит у меня. Внук Костогрыза счастливее! К нему прибыла из Пашковской баба, детей привезла. А мне не с кем на ночь прощаться, как это заведено в царской семье; не осенить на сон грядущий малютку крестным знамением. Нету! Но женюсь! И, как все, получу на свадьбу благословение самого государя и попрошу его быть восприемником моего сына при крестинах. Моя нареченная положит в шкатулку царский подарок: какую-нибудь брошь, украшенную бриллиантами, и удостоверение. А подросший сынок где-нибудь напьется, взмахнет шапкой и закричит: «Меня сам царь крестил!» Так уже было в станице Шкуринской.

Приехала бы, не раз заключал Толстопят в конце своего воображаемого письма, я тебе сниму комнату в Царском Селе. Тебе с твоей душой в самый раз гулять по его паркам,

— Будем живы и богу милы,— всегда вслух говорил сестре Тостопят напоследок.

КОНЬ БЕЗ ХВОСТА

Собственный его величества конвой в мае 1911 года праздновал свое столетие.

В марте Костогрыз написал в Царское Село внуку Дионису: если не вычеркнет его из списка генерал Бабыч, да не отнимет господь здоровья, то приедет к нему в казарму с кубанским салом. С начала мая казаки по сотне так и шутили: «Ну, Дионис, наверно, дед твой уже поклал сало в сакву. Ты ж нас не забудь. Сто лет когда еще будет!»

Кому, как не кубанскому войску, было воспрянуть в гор-

дости на юбилее конвоя! Потомков запорожцев призывали сторожить царских особ издавна. Боевая слава конвоя родилась в дни Лейпцигского сражения, когда из кубанцев сформировали лейб-гвардии Черноморскую сотню. Во главе ее стал полковник Бурсак. Силу казачьей шашки познали французы под Витебском и на Бородинском поле; древние города Европы видели всадников с копьями; топтали казачьи кони мостовые оскорбленного Парижа. Слава была! Обязанность погордиться ею возлагалась на мудрость войскового начальства: подобрать от рядового состава стариков, которые бы показали двору крепость казачьего духа.

Власть использует юбилеи для торжества государственности; простые люди взывают к ее праздничной совести: гордые ждут наград и повышений, обиженные и сиротливые — милости. Кое-кто злится; большинство живет, ничего не замечая.

Кучи писем завалили войсковой штаб и канцелярию наказного атамана. Беззубые старики, бывшие конвойцы, словно взбодрились надеждами. Многие обласканные в свое время мимолетным царским словом, в которое уже никто, кроме них, не мог уверовать, поспешили вставить то слово в строку рукою местного писаря и разориться на гербовую марку. Всяк из них доживал нынче в станицах по милости судьбы: у кого завалилась хата; кто-то потерял детей на японской войне; иной не мог забыть позора, павшего на его голову за проступок, и все еще стыдился станичников. Письма содержали одни просьбы.

Войсковая казна сроду жалась с денежками на именинные прогулки в Петербург. К весне набрались желающие поехать козырять Георгиевскими крестами за свой счет. Не наточило войско суммы с мирских сборов. Отобрали на даровое путешествие «на стальном вороном» (то есть на поезде) всего шесть урядников, не считая начальства.

— Ну, едешь с нами, Лука? — спрашивал Бабыч Костогрыза.

— Та если волов куплю, то поеду к внуку Дионису.

— Без тебя какой праздник. Или ты не чуял, что конвою сто лет? Я тебя еще перед великим постом записал. Только оселедец придется сбрить...

— На шо? Меня не то шо царь, а и Одарушка моя не признает.

— Не до шуток, Лука.

— Слушаюсь, ваше превосходительство! — одернулся Костогрыз, испугавшись. Но упрямство родилось раньше Луки.— Там же форму за сто лет наденут? Ач! А у меня на

голове оселедец, ему сто пятнадцать лет и больше. Его мне прадед привез в бочке. Вот и будет как та история. Надо за старые обычаи держаться руками и зубами.

— Что чуприны казаки перестали носить — невелика беда. И без чуприны они хоть кому могут носа втереть. А вот как полезет к нам в станицы всякая нечисть и начнет в них мудровать, то это будет кара египетская.

— Мы будем в свою дудку играть, своим разумом жить и за свои порядки стоять. Оцей оселедец надо носить и на голове за ухом, и в самой голове.

— Тебе, Лука, кажется, будто ты в Красный лес на охоту едешь. Во дворце прием, и будут они оглядываться на твой хвост на голове.

— А зачем же мы от запорожцев?

— Времена меняются. Ты вот женился, а запорожцы без баб чумаковали. Чего ж ты женился?

— Та природа требует! — сказал Костогрыз и приложил руку к сердцу.— Бабе цена грош, да дух от нее хорош.

— Оселедец сбрить...

— Там же все военные — не перепугаются, а дамам даже понравится. Как были наши самые первые казаки у Екатерины, по числу Второй, то водили их по всем царским комнатам, а за ними гурьбою князи та княгини. Морды у казаков бронзовые, штаны широкие и спускаются с халяв. Та чуприну за левое ухо закручивают, а царица на них смотрит, как кошка на солому, шоб не прозевать мышки. Вот это я понимаю! Потому Екатерина нам и землю на Кубани дала. Он же, Антон Головатый, стал перед ней на колени: «У тебя, маты, в хате как на небе. Дай нам хлеба на серебряном блюдце, и соли в позолоченной солонке, и земли, шоб нам вольно жити». И додал голосно: «Тай годи!» И гусиное перо ей в руку. То было времечко.

— То теперь как сказка.

— Какая сказка? Какая сказка? С булавой поедете?

— С насекой,— сказал Бабыч.— А оселедец сбрить...

— Рубля жалко.— Костогрыз попрощался, но спустя минуту приоткрыл дверь и крикнул: — А сала, батько, можно с собой взять? У меня ж там внук, Дионис. А чеботы я македонским дегтем намажу.

Македонским дегтем прозвали кубанцы греческую губную помаду.

Немыслимо теперь представить то уживание народной простоты и казенного долга, которые поминутно сказывались даже в начальствующих лицах.

Два дня ели нижние чины в вагоне сало, пили чай с ме-

дом — это до Москвы; еще день угощали друг друга по дороге в Петербург, а все одно вылезли на Московском вокзале столицы с припасами. Свое — оно вкуснее. Лука Костогрыз побеспокоился о внуке: отрезал самый лучший кусок баранины, да с полпуда завязала бабка в тряпицу сала. Благо — расположили депутацию в Царском Селе, прямо в казармах конвоя. К вечеру 1-я сотня попробовала кубанского яствия. Да захватил Лука еще и винца, но уж так таил, что ни одна душа не сдогадалась. А чего ж ездить бедным! Старые запорожцы тоже везли когда-то с собой угощения — не столько, правда, себе, сколько вельможам: наставили на телеги бочоночки с икрой, живой рыбой, лимонным соком. Под Орлом, кажется, передал Лука кусок сала в вагон 1-го класса генералу Бабычу, на что тот ответил через казака: «Все равно накажу, если оселедец не сбрил!» Замиренное, как горцы, ехало начальство на праздник. Казаки-урядники позволяли в своей компании баловаться на его счет шуточками. Ведь они были не какие-нибудь малолетки, а старые вояки, уцелевшие от пуль, холеры, малярии и прочих напастей. Им досталось. Путь-дорога в конвой сократилась колесами стального коня, а раньше даже от Екатеринодара до Ливадии забирало путешествие больше времени.

Трое суток везли казачью славу вместе, а в Петербурге, уже при встрече, все чинно разделилось и напал маленький страх перед самодержавной русской властью.

В Царском Селе придворный фотограф Булла снял Костогрыза с внуком перед казармой. Все знали в сотне, что после гибели отца в японскую войну Дионис с сестрой воспитывался у деда. У Феодоровской церкви пожелала сняться со стариком вся сотня. И Костогрыз, и молодые казаки выставились перед камерой с накинутым черным платком так вызывающе достойно и несокрушимо, будто передавали память о себе на века. (Через пятьдесят лет никто в архиве не мог назвать их фамилий.)

— Ну что, Лука? — спрашивал Бабыч, на сей раз как-то пугая генеральскими эполетами.— Не пропало казачество?

— Как же, ваше превосходительство, не пропало, колы казаки без оселедца.

— А ты не боишься своего атамана. Оставил.

— Нехай для истории.

27 мая молитва в Петропавловском соборе у могил императоров совершалась без нижних чинов. Лука Костогрыз тем часом крестился на Храм на крови, поставленный у Екатерининского канала на том месте, где убили в 1881 году

Александра II и где Луку сбросила с лошади взрывная волна и оглушила. За чудо своего спасения он и возжег свечечку пред иконой Николая-угодника. Двух терцев убило бомбой. Уцелевшие казаки получили от великого князя Михаила Николаевича по двадцать пять рублей.

— Тридцать лет ушло, а как вчера,— сказал Костогрыз внуку.— В Петербурге и убили. У нас на Кубани такого не могло. Тогда, как приезжал он в Екатеринодар, поставили его на ночевку в дом отца Бабыча, почетный караул и дворянство разошлись, а он вечером на́ тебе: вышел из дома и давай гулять на Крепостной площади. В Атаманском сквере, где теперь Катерина с крестиком. А там казаки у костров сидят, песни поют. Он с ним побалакал. Один конвоец за ним ходил только. Как каланча ростом. Грудь — во, плечи аршина полтора. И никто не стрелял! Его как у атамана накормили борщом, то он больше суток ничего не ел... У нас бы ему жить... А це москали его загубили.

— Сейчас, дедусь, по всему свету так,— сказал Дионис.

— Та какое нам дело до всего света? Мы знаем свою Черноморию и... Ой, невесткам хорошего ситцу наберу! Пошли...

— Доедем, дедусь, к памятнику... Вы ще такого памятника не видели.

— А ну! — загорелся старик желанием побыстрее взглянуть на бронзового царя, его некогда выделявшего из всех конвойцев.— Читал, читал, как в позапрошлом году ставили. Как же нас в первый день вели с Московского вокзала, то я и не глянул на царя?

— Вы ж сало несли,— пошутил Дионис.

На памятнике у Московского вокзала Лука царя Александра III не признал. В жизни царь был могучий — да; гнул пальцами монеты, скручивал кочергу, шел так, что загораживал своими широкими плечами свиту, но на мертвой лошади сидел теперь стопудово и не на той лошади, что была под ним всегда, и выражение полновластного лица было какое-то придурковатое, дикое, азиатское. Но это бы бог с ним, а вот почему лошадь с голым задом, без хвоста? Лука закрутил головой. Внук Дионис насмешливо следил за его взглядом.

— Дионис! — закричал Лука.— А где же хвост?!

Лука так спрашивал во дворе только, когда пропадала куда-нибудь уздечка.

— Я не отреза́л, не знаю,— сказал Дионис.

— Семьдесят шесть лет прожил, помню: у коней всегда

хвосты были. Или мне уже очки у аптекаря купить? Куда они хвост дели?

— То ж памятник..

— Я помню, на какой лошади он ездил. И хвост был! Та где ж он?

— Бронзы, наверно, не хватило. Тому, кто лепил, виднее.

— Тогда лучше и сраку было не лепить,— сказал Костогрыз и, не желая больше знаться с таким памятником, отвернулся и пошел к Невскому проспекту.

— А меня Бабыч заставлял оселедец сбрить. Ото чудеса-а! Шо це за лошадь? Кто на нее взберется? Не-е, це нарошно. Це сукин сын ставил. Власть без хвоста — це-е... Зад прикрыть нечем, так же?

И махнул рукой.

18 мая погода в Царском Селе была прохладная, но с солнцем. Лука без привычки замерз. Он встал раньше всех, по-петушиному, и сходил в деревню к чухонкам, попил молока.

На параде Лука Костогрыз без конца пускал слезу.

В Царском Селе с балконов длинного Екатерининского дворца и на земле у подъездов белели шляпки высокородных дам, кители и пиджаки сановников, русских офицеров и прочих гостей. Четыре сотни конвоя в красных черкесках выстроились в конном развернутом фронте, тремя фасами огибая площадь. Черные папахи, как гнезда на деревьях, тыкались на фоне светлых служебных помещений. Почти до царского подъезда растянулась пестрая шпалера бывших конвойцев. Командир конвоя, невзрачный князь Трубецкой и штабс-офицеры ждали на белых конях государя. Всех распределили по местам, ими добытым в службе; в торжественную минуту зуд гордости и чванства особенно велик.

Черкеска тянула Костогрызу левое плечо. «Хорошо бабка залатала на споде, а крючки пришила, бисова душа, неровно»,— поругался он про себя. На ковре в парчовых малиновых ризах с серебряными, вышитыми золотом оплечьями выпирало животы духовенство. Вся самодержавная косточка России сдавилась на площади. Колкий страх перебегал порою по телу: это неприступное радостное общество вершит твоей жизнью!

Кажется, все уже видел и все-все пережил на своем веку Лука Костогрыз, но когда зазвучали трубы, потом протоиерей вознес до верхних окон дворца свое «Спаси, господи, люди твоя», когда каким-то животным чутьем предупредил себя старый служака, что князь Трубецкой развернул коня.

чтобы скакать навстречу государю,— трепет и слезы захватили его снова. На белом коне объезжала фронт сама власть. Вытаращив глаза, потеряв на мгновение касание друг дружки, бездыханно вросли в землю казаки, слушая царское поздравление, чужими голосами отвечая на него от имени сотни. С особым почетом поздравлены были старики. Глаза Костогрыза блестели от слез. Это ведь и его годы службы в конвое прибавили к юбилею цифру. Не четыре, не десять, а двадцать пять с хвостиком. Забросил на четверть века родное жилище, богатую землю и скитался как тень за царями. Что хорошего видела его Одарушка?

На высокой красивой лошади царь Николай казался еще меньше, чем на земле. Не было в нем отцовской внушительности, и только глаза! Глаза большие, женские.

Трижды проходили конвойцы церемониальным маршем посотенно на шагу, рысью и наметом. У подъезда махал им крохотной ручкой наследник Алексей. Когда фронт снова выстроился, государь подошел к столику и принял из рук князя Трубецкого чарку вина.

— Сто лет конвой честно и верно служил царям и России как в походах, так и в мирное время. Предки мои ценили беззаветную преданность кубанских и терских казаков конвоя. Благодарю прежде служивших. Уверен, что и грядущие поколения будут служить по примеру своих славных отцов и дедов. За здоровье стариков и за ваше здоровье, казаки! Ура!

— Ура-а-а!

Отрадно было, что при словах «благодарю прежде служивших» государь полуобернулся в ту сторону, где с пышными бородами умерли в строгости старики; Костогрыз еще раз заплакал. Мало нужно простолюдину ласки, чтобы душа облилась еще большею благодарностью. Все вокруг внушало почитание, все говорило подданным: никакого другого порядка в русской истории не было и не может быть. Глядите на нас и знайте: другого никогда не будет!

Один маленький цесаревич Алексей пренебрегал дисциплиной парада: без матери он устал от пустого внимания дам и хныкал.

Фокусы джигитовки, показанные «при всем Петербурге», оживили ряды гостей и старых конвойцев. Ай да казаки! — топал ногою Костогрыз. И чего только они не вытворяли на сытых кабардинских конях! И двое на одном, и трое на двух; и боролись на скаку, и падали вниз, и клали коня на землю, подбирали раненого, и, как в станице Пашковской, хватали с земли монеты. Кто еще так может? Гля-

дите и вы, шляпки и белые пиджаки, это вам не шампанское пить. Лука жмурился на секунду и представлял, как он сам со стариками вылетает на жеребце и кувыркается перед царем. Было, было когда-то такое в молодости. В ту минуту, когда великие княжны Ольга и Татьяна подавали джигитам призы и казачок, сняв шапку, поцеловал им ручки, Костогрыз крякнул и провел пальцем по глазам,— не страшно было умирать, раз есть в войске замена.

Обедали врозь.

Празднество продолжалось налегке. Обид не было: в зале с люстрами и золотыми росписями собрались дамы, генералы, офицеры, чины двора; в особом помещении быстро крестились и брали рюмки нижние чины. Там на спешных столах каждая персона искала карточку со своей фамилией; тут размещались как попало, к кому ближе товарищеское чувство. Там возвышали сами имена: баронесса Фредерикс, графиня Мусина-Пушкина, камер-фрейлина графиня Голенищева-Кутузова, свитские фрейлины — графиня Бенкендорф, княгиня Белосельская-Белозерская, княгиня Долгорукая, княгиня Трубецкая и прочие, все старинных российских родов; здесь звучали запорожские прозвища прадедов: Костогрыз, Рыло, Почекай, Перебейнос, Турукало, Хряц. Там не ели, а ждали, потом выворачивали шеи к царю, к великим княжнам, министрам; тут не переставая кричали: «А ну, Лука Минаевич, загни! Нехай легонько икнется нашим домашним та всем родичам, помершим душам — царство небесное, а нам пошли, боже, здоровья».— «Я казак чубатый и усатый, а как гляну на кого — не иначе пан офицер!» — «За прежде служивших государю! Сыра земля, расступись!» В зале с уходом царя нависла скука, и хотелось домой; здесь жалко было подниматься от стола.

Вечером конвойцы пригласили депутацию на шашлык. Обмывали подарки, поднесенные от родной земли конвою: серебряную братину, черпак в виде кубанской папахи и адрес в серебряном бюваре. Костогрыз шутил и рассказывал байки.

— Колысь наказный атаман ездил в Петербург, так выбрал себе моего деда, казака из всех, такого, шо как дошла черта нашей кубанской депутации беседу вести с царем, покойным Николаем Павловичем, то все трусились, боясь рот раззявить, а дед мой как приступил, та как взялся переговариваться с самим царем, с царицею, так прямо зачудил всех во дворце... Начал рассказывать царю та царице, шо у нас на Кубани, как живут казаки, а казачки родят по два сына сразу, коровы по двое телят, а свиньи по шестнадцать

поросят, то смеялись на все хоромы царь и царица и придворные. Ач! Так отакечки и выболтал казак себе золотую медаль на шею чи на грудь и чарочку водки...

— Все бы ничего,— сказал он перед сном внуку,— да где я теперь дорогу к властям найду?

— Зачем вам?

— Я ж двенадцать писем привез, а как передать?

— Кому?

— И царю-батьке, и командиру конвоя, и министру двора Фредериксу, а одно великому князю Александру Михайловичу. Кто был наместником Кавказа, колы твой дед в Адагумском отряде бился?

— Воронцов-Дашков?

— Ой, бисова душа, уйди, а то ударю. Дашков сейчас.

— Шереметьев, чи шо?

— Оце деточки выросли, оце казаки.

— Малама?

— Та то был наш наказный. И чему вас учат, за шо кашу дают в котелках? Великий князь Михаил Николаевич! А его сыновей нянчила наша казачка. Анисья.

— Оно мне надо,— сказал Дионис.

— Надо не надо, а поможешь. Она ж, наша доля, не так блестит, как на параде. Кто будет за старых людей хлопотать? Лука и будет. Ты думаешь, я только языком почесать та оселедец крутить приехал? Двенадцать жалоб со мной. Хоть Бабыч и не возьмет больше на охоту, но я добьюсь своего. Тут одни слезы, а не письма. Найдем, как передать. Кормилица Александра Михайловича пишет, шо у нее атаман самовар забрал.

— Постойте...— Дионис поковырял в носу.— Наш пашковский казак Савва Турукало у великого князя конюшни чистит. Его и попросим!

— И пообещай, шо нальешь ему вина с моего бочонка, пускай подступается к князю.

— Может, и сотнику Толстопяту сказать?

— Не вмешивай его, он такой психованный, только напортит. Тут у меня ще от каневского казака письмо,— це ж бы самому государю в руки! Он мой однополчанин по Адагуму.

— Тимофей Рыло понесет государю пищу на пробу и отдаст.

— Та не положено ж, чи ты не знаешь? — сморщился от порядков при дворе старик.— Не положено его особу беспокоить прямым ходом! За это с конвоя выправят и накажут.

Рыло такой смешной, как вы, царь ему простит. Он на колено станет, отольет пулю, царь ему простит. Царь его всегда спрашивает: «Тебе ничего не нужно от меня?» — «Как бы вы меня сосватали за чухонку, ваше величество, то я бы на Кубани коров развел...» Такой.

— Ну, если так, то давай! Каневской храбрый казак был. Низкое его прошение надо покрыть благодарностью. Тридцать пять лет беспорочной службы, двадцать семь в конвое, без штрафов и замечаний, как и я. Он тут все пишет. На, почитай...

«...А на другой день встретили горцев в ущелье. Мы, увидев большое войско, возмутились духом. Я решился преследовать одного, имевшего в руках значок, с целью поймать живого и привести в отряд со значком, но план не осуществился, потому что у него подошва перемотана ремнями, он мог быстро бежать, а у меня подошва подбита вся гвоздями я скользил по камням. Тогда я убил его, а когда оглянулся, то увидел, что нахожусь среди неприятеля, а отряд мой на версту от меня. Я поспешил спуститься вниз. «Ай, ай, урус, джигит!» — горцы в ладони забили. На обратном пути я пятьдесят четыре раза переходил ручей. Я готов подтвердить присягою. Надеюсь на вознаграждение, сослуживцы надо мной смеются, выражаясь, что если такой геройский подвиг остается без вознаграждения, то кто рискнет на подобный подвиг еще, который не принесет никакой славы, кроме позора? И сознаюсь, Ваше Величество, что от одного стыда я должен сойти преждевременно в могилу, если Вы только не примете во мне участие, не наградите знаком отличия ордена св. Георгия 4-й степени...»

— Мы так можем схитрить, — сказал Костогрыз. — Как пустят меня с депутацией к Марии Федоровне, я там сделаю подношение. А не выйдет (Бабыч же и все начальство кудахтать рядом будут), то передадим с казаком.

— Тому сколько лет?

— Мы в ущелье бились в шестьдесят третьем году, считай. Полсотни лет прошло.

— О-ооооо!

— Чего? Чего, бисова душа, «оо-оо»? Мало наших костей там лежит. А кто живой, пускай его успокоят на старости. Марии Федоровне скажу!

Как раз поздно вечером сообщили о соизволении вдовствующей императрицы Марии Федоровны видеть завтра депутацию у себя в Гатчине. Встали в пять часов утра, прибыли в Петербурге на Варшавский вокзал. В Гатчине придворные экипажи доставили их прямо ко дворцу. Покой-

ный государь Александр III забросил Царское Село, жил в Гатчине; Костогрызу был знаком здесь каждый пенек.

Нижних чинов отделили от Бабыча и офицеров и в маленькой комнате подали им чай и кофе. Скороход в чудной шляпе с перьями вполголоса объявил, что ее величество удостаивает казаков представиться ей, но только о времени будет дано знать особо. «Помнемся, ничего»,— согласился Костогрыз и до одиннадцати размышлял в уголку о внучке и Попсуйшапке, не заладивших между собой. «Разрушится дом, в котором нет мира...— разговаривал он сам с собой, умолкал, потом далеко-далеко, через просторы, обращался к внучке на Кубань, наставлял: — Как поживешь, милая, так и прослывешь. Ласковое теля двух маток сосет, знаешь? Поклонись, голова не отвалится. Василь у тебя на все руки. А ты, Василь, сразу бы сказал: «Если не будешь почитать мою мать, я тебя выгоню!» Моя мать десять лет за слепым свекром ухаживала. Василь не пьет. Мой брат, бывало, как поедет на ярмарку — назад с одним батигом, и волов пропьет. Жинка детей прячет, а сама в сено. Слышит — уже кричит: «Казаки без дыму не гуляют!» Тебе такого?»

В половине двенадцатого тот же скороход повел их по большой и длинной галерее в приемные комнаты. Нижних чинов у дверей придержали. Такое ожидание утомляло ноги. Через четверть часа скороход дал сигнал: можно!

— Иди вперед ты! — толкнули Луку Костогрыза. Тот перекрестился незаметно и стройно вошел в Белую залу. Двенадцать писем лежали в кармане. Бабыч и офицеры уже поговорили с императрицей и повернулись к двери, готовые представить гордость казачества.

Семнадцать лет не видел императрицу Костогрыз, а все то же, кажется, выражение недовольной жены сохранялось на ее лице. Маленькую, темноглазую, ее хотелось пожалеть: вдова, а без мужа на старости какая доля, хоть и в хоромах? Не такой она въезжала в Петербург на помолвку, датская принцесса Дагмара. Маленькая, а тоже умела строжиться на венценосного супруга; недаром фляжечку с коньяком за голенище пхал. Она сама подошла к казакам и сказала: «Здравствуйте, старики». Казаки ей ответили хором: «Здравия желаем, ваше императорское величество». Бабыч их подучил, в каких выражениях и какой речью приветствовать Марию Федоровну. Тут Костогрыз, к счастью, вспомнил то место в св. Евангелии, где Спаситель, поучая апостолов, заповедал не приготовляться к ответам заранее. Императрица протянула Костогрызу слабую ручку; он снизу коснулся ее своей шершавой ладонью и поцеловал.

— А вы ж, ваше величество, чи помните меня? — проронил он и для острастки взглянул на наказного атамана: можно ли ввязаться в разговор? Натянутый Бабыч, судя по виду, механически подчинялся всему, что происходило как бы по воле двора. Императрица улыбнулась, не раскрывая губ, помолчала.

— Помню...

— Вото ж когда турку прикончили и покойный Александр Николаевич Второй из Болгарии вертался в Петербург, его встречали. И народ, и весь гарнизон военный. Он в санях едет, а меня поставили дорогу расчищать. Люди как кинулись за ним — и военные, и дамы, шапками машут, звали, шоб вышли на балкон. И вижу: карета-возок. Я толкаю всех: «Дайте дорогу, дайте дорогу!» И, хоть мне приказано «с места не сходить», я подбежал и сунул голову в окно кареты. Батюшки! — то ж Мария Федоровна. Чи не помните?

— Помню...

— А потом, — расхрабрился Костогрыз, — Александр Александрович Третий, — я всегда и везде сзади его был, сказал мне раз: «Ты ж, Лука, как нянечка ходишь за мной. Если что надо, обращайся, а остальное дело — уже мое».

Костогрыз на всякий случай подводил разговор к тому моменту, когда даст бог полезть в карман и вытянуть двенадцать писем. Императрица согласно кивнула головой, что, верно, означало: да, он был очень добр к простому народу.

— И вото ж когда вы к нам в Екатеринодар приезжали так...

— Я помню. Я с особенным удовольствием вспоминаю путешествие по Кавказу, и ваш Екатеринодар, и скачки. Хотя и сентябрь, погода была летняя, прекрасная, а у нас в столице, видите, май, а какой дождь и холодно.

— И горилки не дают!

— Если бы не склонность к шутке, — сказала императрица, — казакам бы, наверное, в защите границ пришлось бы тяжелее?

Все важно подняли головы, одобряя тонкое наблюдение ее величества.

— За что у тебя кресты?

— Первый получил в Адагумском отряде, ваше величество; второй за взятие аула под начальством генерала Бабыча, батька нашего наказного атамана. Третий за дело при нападении на станицу Елизаветинскую двенадцатого августа шестьдесят второго года.

— С какой сам станицы?

— С Пашковского куреня, ваше величество.

— Долго ехали?

— Короче, ваше величество, чем мой дед по матери. Моего деда по матери в сорок втором году побили плетями на ярмарке кущевские казаки. Шо ж. Он до того обиделся, шо решил идти куда глаза глядят. Переправился через речку Ею и наставил чеботы через Ростов прямесенько на Санкт-Петербург. Допхался аж до Царского Села, где в тот час был государь Николай Павлович и весь его дом. Прожил дед семь дней, пожелал видеть государя, но по случаю большой строгости аудиенции... аудиенции не удостоился, а посему пожаловал на высочайшее имя просьбу и явился во дворец.

— Вот как...

— Граф Канкрин повел его к адъютанту Паткулю. Адъютант повел к наследнику Александру Николаевичу, и тот дал моему деду по матери пятьдесят рублей. После этого дед свободно вышел из Царского Села и в тех же чеботах направился к пределам родной Черномории. Но наказный атамана Завадовский сделал такое предписание: «Внушить казаку Гусаку всю неуместность его просьбы...» Господи, пошли нам, шо было в старину.

— Давно не был в Петербурге?

Значит, императрица ничего не помнила. Разве она забыла, как спускали их на льготу и она белыми своими ручками вручала значки и вензель А II тем, кто пострадал первого марта?

— С тех пор, ваше величество, как с эшелоном привезли мой гвардейский сундук на станцию Кисляковскую и мы выпили с товариством на прощанье горилки, кануло семнадцать лет. Я б еще служил, да дуже любил кавуны и свежие помидоры.

— А что, Петербург лучше Екатеринодара? Какую нашел ты перемену?

Костогрыз потянул пальцы почесать бугорок на затылке, но одумался и перенес руку на грудь.

— Сказать, шо лучше, будет неправда, ваше величество, потому ж у меня хата, пасека, мои атаманы. Сказать «хуже» — так шо я видел? Тогда, ваше величество, служба была... бродить по Петербургу было некогда.— Не теряя своей всегдашней зоркости, Костогрыз замечал, что искренность его понравилась императрице.— У меня ж и внук в конвое. Дионис, а фамилия моя. А поет хлопец, а пляшет! Вот он вчера меня и таскал по городу. Та зашли в один магазин, в другой, и уже, кажись, до дому можно.

— Казак, ваше величество,— оправдал Бабыч Костогрыза.— Впечатлениями объят до глубины души и сердца, а домой хочется. Выслужил богу и государю тридцать лет и двадцать почти лет живет в чистой отставке.

— Спасибо им за верную службу,— отпустила императрица благодарностью Костогрыза и сделала шаг в сторону высших чинов.

— Пошли, господь, шо было в старину,— тихонечко сказал Костогрыз. На Кубани он бы тут же запалил люльку.

Потом один из депутатов, полковник из дворянского казачьего рода, напишет в архив канцелярии наказного атамана: «По окончании аудиенции, продолжавшейся около сорока минут, Ея Величество, сделав общий поклон, удалились во внутренние комнаты. Насколько трепетно было ожидание этой аудиенции, настолько она произвела чарующее впечатление своим простым и высокомилостивым приемом, не поддающимся описанию. Скажем только, что не прошло и десяти минут после появления Императрицы Марии Федоровны, как пишущий эти строки, сознавая всю несоизмеримую разность положений, стал чувствовать себя под ласковым взором добрых глаз Императрицы особенно хорошо и легко. Прежнего томления как не бывало. На прощание мы все удостоились целовать руку у Ея Величества, после чего отправились в прежнее помещение, где для нас (особо офицерам и особо нижним чинам) был накрыт стол. Мы пили горилку, вино и откушали хлеба-соли».

Костогрыз и правда проголодался. Пока высокие чины чувствовали только то, что чувствовала императрица, улыбались тому, чему она улыбалась (и даже со счастливым умилением одобряли свою душу, что она ничего другого не выражает), Лука Костогрыз в этой Белой зале был, может, единственный живой человек. Он думал о том, что уже проголодался и только через несколько дней поставит ему Одарушка чугунок с варениками, что в Пашковском станичном правлении висел такой же портрет Александра III и за ругательства при нем казаки упрятывались в клоповник на семь суток, что каневский казак спит и видит, как Лука привезет ему крест св. Георгия, а как передать его письмо, когда вокруг начальство, и как теперь вернуть справедливость, когда самого Александра III посадили на лошадь без хвоста? Пора им уже помирать, старикам. Императрица ни о чем не спросила толком. Поглядела на его оселедец при вторичном целовании ее руки и улыбнулась: «От запорожцев?»

— От самих,— сказал Костогрыз.— Колысь, ваше вели-

чество, мы были в Сечи, кишки вытряхали врагам, а как нас в Петербург зазвали, то царица Катерина за стол сажала и бандуру слушала.

— Передайте всем казакам и казачкам мой поклон.

Наконец они вышли. Начальство молчало. Бабыч кхекал, выкашливался и не поворачивал головы. Доволен или дуется — не поймешь.

Был ведь наказ перед отъездом.

— Не всем кубанцам,— говорил Бабыч,— суждено побывать в столице и видеть священных особ. Так давайте! Не мне вас учить, как держаться. Ноги у порога не вытирать как в станичном правлении. Говорить, когда спросят.

«Вот такие порядки,— подумал Костогрыз, вспоминая наказ.— Этикет. Хоть бы один заикнулся, шо конь без хвоста. Все видел на свете, но коня без хвоста? Какое можно письмо составить! «Все, ваше величество, видел, а коня без хвоста — нет». Писать, может, и ухоронюсь, а в казарме у Диониса сала покушать мне никто не запретит. Что за казак без сала? Одни кости...»

Долго было ждать праздника, долго собирались, ехали, и вот уже в царскосельских казармах обычный распорядок, депутация кубанская как бы лишняя, все шутки иссякли, офицеры вели дознания провинившихся, Дионис поехал за фуражом. Миг пролетел.

«По хатам! — думал Костогрыз.— Кобылу до случки надо вести. Атаман узнает, шо жеребец непородистый, будет лаяться — то и до новых свят запомнишь. Та с поезда прямо до внучки,— как они там: чи ужились, чи так и спят поврозь? Ще налобники Василю купить и ситцу бабам».

В последний день проведал Костогрыз могилы конвойцев, с которыми был он в 1881 году в марте на мосту в миг покушения на царя. Все были терские казаки.

Двенадцать писем старик рассовал казакам, приставленным к царским особам. И напоследок выпала на него забота отправить с терской депутацией вдову Стефаниду Сагееву, казачку станицы Червленой, приезжавшую поплакать на могилу мужа. Дионис через товарища, возившего на примерку супругу командира конвоя князя Трубецкого, донес о печальном положении женщины: с далекого края прибыла она на могилу конвойца, погибшего в одну минуту с царем, а назад возвращаться не на что. Ее посадили в вагон с терской депутацией.

— Ну шо нового в том Петербурге? — выпытывал у Костогрыза станичный атаман.

— Шо нового. В Царском Селе как кувшин баба разбила, так и сидит над ним.

— Чего ж она сидит? — возмущался атаман, никогда не читавший Пушкина.— Семьи у нее нету, чи шо?

— Она бронзовая. А императрица Мария Федоровна сказала так: если ваш пашковский атаман хоть раз дулю кому скрутит, пиши, Лука, прямо на мой домашний адрес.

В то время были еще кое-где атаманы, которые верили, что почетный старец может донести свою жалобу прямо «на домашний адрес» императрицы.

ПРИЕЗЖАЯ ОСОБА

После праздника Толстопят послал сестре Манечке кипу фотографий о торжествах конвоя. Если судить по письмам, у Манечки и без того было самое картинное представление о царскосельском быте; фотографии могли привести в умиление кого хочешь. Великолепие и порядок во всем. На сытых кабардинских конях лихо улыбаются отборные счастливые казаки, у которых, кажется, нет иных мыслей, как только о службе. И особенно замечательна была одна фотография: у подъезда Екатерининского дворца все казаки-депутаты и офицеры-конвойцы окружают государя и его дочерей. Эту фотографию она в свое время запрятала по совету Попсуйшапки на самое дно сундука и заклеила сверху газетами. А в 1911 году она висела у нее над столом. Если бы братик Пьер сторожил по ночам магазин братьев Тарасовых или, подобно потомку исторического запорожца, водил поезда, все равно бы она молилась за него каждый вечер. Но он офицер. Она любила его еще за то, что судьба его несла будто вопреки желаниям. Счастье само падало в его руки.

И всем в доме на Гимназической улице казалось, что Толстопят-младший поднимет свой род до генеральской высоты.

Но именно в эти месяцы Толстопят чертил себе судьбу заковыристую. За редкий голос, осанку, глаза и легкий язычок его примечали петербургские особы. Его давно уже наметила себе одна дама, нечаянно завлекла кокетством, этой даме теперь нужно было передать записку прямо в руки.

С кем?

После утренней уборки конюшен сотник Толстопят послал за казаком Дионисом. Неделю назад Дионис по глу

ности встрял в историю и от разговора с сотником ждал самого худшего. Еще не было случая, чтобы властолюбивый Толстопят кого-нибудь простил. Оно и понятно: свежий офицер в конвое старался вмиг отличиться. Это было в самом деле так. Место в конвое ценилось слишком высоко. Не все родовитые господа устраивали своих детей в гвардейские полки. Когда Петр Толстопят представлялся в кабинете командира конвоя генерал-майора князя Трубецкого, тот как раз заканчивал писать отказ какой-то графине де Шамборант. «Упираясь на товарищеские узы» (брат Трубецкого служил с ее покойным мужем), графиня вымаливала облегчить ее заботы — приписать ее сына «через посредство одного влиятельного лица на Кавказе» к Петербургскому гарнизону, а затем определить в конвой. Но конвой комплектовался из строевых частей Кубанского и Терского войска «и притом непременно природными казаками» и порою горцами. Перед отправкой в конвой отец надел на Петра родовую дедовскую шашку и прицепил кинжал: «Я служил честно и непорочно. Смотри ж и ты!»

По правилам конвоя достаточно было за четыре года попасть в журнал нарушений всего три раза, и на льготу спускали казака без мундира и без значка. Но бывают грехи из ряда вон, и тогда досрочно выталкивают домой в три шеи. Еще в Пашковской за два месяца до формирования в эшелон дед Лука целый вечер пугал Диониса всякими старыми происшествиями в конвое.

— Избави тебя бог взять в офицерском собрании рюмочку, серебряный нож, пивной бокал или у товарища коробку папирос. А то еще так. Пока я конюшню чищу, напарник мою бурку прачке подарит. Один терец из станицы Ессентукской сделал неправильный доклад о проезде августейших детей. Два наряда не в очередь! И не посмотрят, шо медали на тебе французские, румынские, персидские, часы с гербом. Стрелялись, в станицу не хотели. Это ж стыд! А в другой раз простят, но он: «Не могу остаться в конвое, позорно глядеть в глаза товарищам». Вот, внучек. Как милости будешь просить — не позорить тебя перед войском: «Не губите чести имени». Как домой идти? Совесть-то потерял. Так и напишут: «...как недостойного иметь счастие служить в конвое...»

Провинившийся Дионис ночами не спал. Прощай мундир с белыми пуговицами? Но, может, смилуются? В Ливадии казачка́ плясать перед царем кому-то же надо!

«А если? если вытурят? Дед запорет насмерть. Да что там! — лучше не показывайся. Он не переживет. Дионис

даже услыхал своего деда: — «Это ты так отличился на государевой службе? Тебя зачем туда посылало войско? Дед тебе коня справил за четыреста рублей, ездил за ним на Терек, а ты? С какими глазами я буду на станичном сборе сидеть? Застрелиться тебе из-за совести, если ты казак!»

Дионис уже решил: если выгонят — застрелится в дальней деревне, где живут чухонки-молочницы. Станет на колени, помолится и пустит пулю в висок. Прощальное письмо бросит в сундук. Толстопят с казаками опишет имущество: красный бешмет 1910 года, шаровары и прочее, три рубля денег, часы с гербом, Евангелие, карточки его величества, отца, сестры с Попсуйшапкой (на свадьбе), книжка о Суворове. Повезут ли его тело на Кубань или зароют здесь? Дионис лежал весь в поту и жалел, что не послушался советов деда Луки.

Он теперь ходил как побитый, служил за десятерых. Все удивлялись, куда делись его шутки? С ним просились казаки на пост или в близкую поездку. То он рожу скорчит, то в минуту отдыха передразнит разговор кубанских старух, стоявших на базаре с поросятами, а то походкой перекривит конвойское начальство. Но едва шутники попадают впросак, уже смеются над ними. Приуныл Дионис, и все насмешки, изобретенные им же самим, посыпались на него, и чем он сильнее обижался, злился, тем чаще цеплялись к нему казаки по взводу. Росточку небольшого, с драчливым вопрошающим взглядом, Дионис одним своим присутствием доставлял товарищам удовольствие. Теперь изображали, как он лежит и ковыряется в носу. «Тихо! — кричал кто-нибудь.— Великий князь думает!» Так и прозвали его: Великий князь.

«Я прошу прощения,— написал на всякий случай Дионис на клочке,— и полного счищения с меня прежнего пятна. Это успокоит меня, старика,— прибавлял в забывчивости, вспоминая жалобы престарелых, в сладости несчастья сразу добрых пятьдесят лет,— это даст мне возможность, благословляя, с благодарностью умереть».

Записку вложил пока в книжку о Суворове.

Толстопят долго мучил его молчанием, нарочно дулся как жаба. О мере своей вины и угрозы Дионис пробовал догадаться по его глазам, но в глазах сотника было одно казарменное превосходство над ним

«Небось вчера задержался в офицерском собрании, подумал Дионис, – рассказывали, шампанского много осталось...»

Что, казак Костогрыз? Как самочувствие?

Толстопят доставал из ящичка какие-то листочки, выбирал ручку, разглаживал чистую бумагу. Дознание будет записывать? Раньше хлопал его по плечу: станичник, мой батько с твоим дедом много горилки выпили на пасеке. И вот — чужой, хуже москаля.

— Здоровье, слава богу, ничего.

— Не жалуешься? Тэ-эк. Ну и что, царскосельская баня лучше, чем у Лихацкого?

— Так, господин сотник...— Дионис растерялся.— Я ж дома в бочке купался.

Толстопят уже потерял прежний вопрос, ответ пропустил мимо ушей, искал возможности постращать казака крепче, вызвать раскаяние и потом «по-царски» простить.

— Что деду пишешь?

— Одно хорошее. Стоял на часах у решетки, думал, как вы там управились с телятами, завтра учебные занятия.

— Одно хорошее? А про плохое кто — я буду писать? — Он наставил кончик ручки к бумаге.— Напишем: дознание. Обвиняется в том, что возил чужую жену в баню.

— Да как вози-ил? Как вози-ил? — ноющим голосом возмутился Дионис.— Вы же знаете, как было.

— Ну как? — оживился Толстопят.— Как было?

— Я для товарища старался. Пожалел. У него было тяжело на душе.

— Служит в царском конвое, и тяжело на душе? Кто вам поверит? А в лагерях под Уманской, значит, легче? — Толстопят нагонял на себя такого дурака и сатрапа, что Дионис вовсе прижух.— Над самой головой двуглавый орел с крыльями, а вам тяжело-о?

— Это не мне, это Турукалу.

— Тогда давай по порядку.

— С середины можно? Осенью приехала к Турукалу из станицы жена. Он ее не звал. Нанял ей квартиру. И моя жена тут, она подружилась с ней и все рассказывала. Ругалась, что не хочет жить со своим мужем. Она тут у нас завела уже много знакомств с казаками. Муж уйдет на службу, а она с квартиры — и неизвестно где пропадает. Брат ему писал, что она в станице вела себя нехорошо. Соседка принесла ей квочку, открывает дверь, кричит: «Кума! Я квочку принесла». А она с городовиком в постели. Отдала пай своей земли казаку, жена его захватила с ней на степу под арбой, лежали обнявшись. Он также ходил к ней двор чистить. Она и мне делала здесь разные намеки.

— Какие намеки?

— Предлагала поехать со мной куда угодно.

— А ты что?

— Я через товарища не переступлю.

— Молодец! — воскликнул Толстопят.— Турукало хорошо служит.

— Он мне и говорит· «Хочу написать брату еще, проверить, так ли это».— «Это можно проверить и здесь»,— говорю. «Как?» — «Да как... Давай я приглашу ее в баню помыться, а ты возьмешь свидетелей, и там нас накроете».

— Нельзя было этого делать! — Толстопят бросил ручку на лист и встал.— Ни в коем случае.

— А если он согласился?

— Он дурак, и ты дурак, и все вы дурношапы. Вы где служите, забыли? Конвойский казак зашел с чужой бабой в номер купаться — это ж все Царское Село знать будет. Вы подумали? За это выгонять! Позор какой! Слишком хорошо живете. Сначала по струнке ходили, а теперь привыкли? Повадились с прачками выпивать. Хотите получать часы с гербом, а кто же будет служить непорочно при царской особе? Это вам не станица с духаном. Царское Село. На вас во все глаза смотрят. Тут лицо России. Деды ваши это понимали. Они чужие кошельки не таскали, из окон казармы голубей не стреляли. На мосту Александра Второго к дамам не цеплялись.

— Не я.

— Ладно,— мигом успокоился Толстопят и сел.— Дальше что было? Зашли в баню, дальше что?

— Дальше ничего. Казаки сказали банщику, что пришли звать товарища по службе, он их пропустил. И нас накрыли, как было задумано.

— Артисты. Задумали

Толстопят вертел ручкой и смеялся.

— Ты поменьше, Дионис, развлекай их. Ты шутишь, вот они и считают тебя за дурачка. Не клади им палец в рот. Чего ты у них за клоуна? Держи себя. Где завтра дежуришь?

— В Аничковом дворце.

— Великому князю Александру Михайловичу кто письмо возил?

— Тит Турукало.

— Я тебе даю поручение попроще. Послезавтра, в выходной, повезешь вот это письмо. Адрес запомнишь так. Вручишь госпоже. Ли-ично.

— А как сказать госпоже? От кого?

— Молча, молча-а, братец. «Вам письмо»,— и достаточ-

но. Понял, банщик? Пребывание твое в конвое зависит от тебя самого. Иди.

Конверт был подписан по-французски.

«В древности,— писал госпоже Толстопят, подражая героям романов,— цари убивали тех, кто приносил им дурные вести. Пощадите моего посыльного. Весть вот какая: я рад, что встретил вас».

Госпожой, которой Толстопят переслал с Дионисом записку, была мадам В., так привязавшая к себе Бурсака в Анапе в августе 1908 года.

В молодости дни без любви считаются пропавшими. Чем дольше бываешь один, тем вернее падаешь в своих глазах. Слова ласковые, сентиментальные, плоские, шутливые, все равно какие свербили Толстопята укором — некому было их сказать. В чужом городе нет пристанища. Только женщина может сблизить с Петербургом. Роднее станут улицы, дома, вокзалы, театры и рестораны. Девицами Невского проспекта брезговали даже нижние чины. «Вам с криком или без крика?» — приставала одна к казаку 1-й сотни. Оказывается, за три-четыре рубля можно купить право высечь девицу хлыстом на полу у «хозяйки», и есть такие, что им не нужно завязывать рот.

«У нас в Екатеринодаре,— думал Толстопят,— ни одной гулящей казачки на тротуаре. Отец голову отрубит. Это иногородние...»

Но в Петербурге всего вдоволь. Всегда есть зависть к тому, чем живут другие и чего — знаешь — тебе испытать не положено. К особнякам с розами за решетчатыми заборами подъезжают коляски, соскакивают расфуфыренные господа, и на крыльце их встречает душечка-барынька, обутая в кожаные сапожки. В гостиных своими прошлыми заслугами хвалятся старики: «Я служил России, государю верно и с пользой...» Все эти наряды, мундиры, выезды слепят глаза бедного провинциала, хотя, по совести говоря, прикрывают все тех же людей. И однако в этом есть quelque chose[1]. Толстопят знал свое место. Он любовался царскими дочками (особенно Татьяной), вовеки ему недоступными,— и ничего, так определено было свыше. Зато когда приходила к нему жаловаться на казака прачка, очень хорошенькая простушка, заманутая обещанием жениться на ней, Толсто-

[1] Что-то.

пят тайком, мимолетно любил ее и ощущал к ней природную близость. Она по молодости станцует и споет, потом в замужестве будет хорошей хозяйкой, накормит и примет гостей, посинит занавески, вышьет на подушки наволочки и в степи на закате обнимет на соломе горячее госпожи в муаровой шляпе.

Но, пока мужик рассеянно соображает, то да се, женщина в сторонке уже приметила его и втайне завладела им. Когда же он взглянет на нее и захочет понравиться ей, она уже в ту минуту будет знать, что и когда их ждет.

Так в прошлом году присмотрела Толстопята в ресторане Кюба вечнотоскующая мадам В.

Она так никогда ему и не сказала, что похитила его первая в том самом ресторане, где мечтал позавтракать всякий заезжий. В ближайших губерниях не было деревни с извозным промыслом, где бы вам хоть кто-нибудь не растолковал, сколько надо спросить у седока за провоз к Кюба. Там и попался Толстопят и не догадывался, какая встреча ему предстоит через неделю на парфорсной охоте под Красным Селом.

Псовая парфорсная охота устраивалась осенью. После ночного морозца велико удовольствие скакать за оленем, лисицей или зайцем под лай английских гончих. Парфорсная охота входила в программу офицерской кавалерийской школы. Толстопят удостоился приглашения в тот день, когда на охоте присутствовали дамы. К одиннадцати часам утра прибыли на станцию Дудергоф, переправились на яликах через озеро и увидели силуэты ожидавших их на конях офицеров и стаю с доезжачими, помощниками и нижними чинами. С дамами больше забавы, чем охоты. Обгонять их нельзя. Они что-нибудь теряют. А где-то в глубоком овраге, потом в березовой роще лают собаки. Но охота как будто и устраивалась для того, чтобы пообедать с дамами в офицерском собрании лейб-гвардии Драгунского полка.

Влюбленному не покажутся глупыми и пустыми слова из романа какой-нибудь неспособной чеховской мещанки в тот час, когда голова его кружится и ему благоговейно хочется думать о красавице, его поразившей. Поздно ночью Толстопят приказал денщику налить ему водки. Он выпил и брякнулся на постель. Впервые за службу в конвое женщина мешала ему уснуть. «Подай мне какую-нибудь книжку»,— еще раз кликнул он денщика. Он не много читал романов, и ему представлялось, что пишут все одинаково. «О зачем ты унесла с собой шелковистые волны твоих волос, красавица моя, и глубокую синеву твоих глаз, моя ко-

ролева, и жаркий румянец твоих губ, любимая, обожаемая и...» Толстопят поднялся и выпил еще рюмку. Там в романе кто-то страдал, и он тоже. Жеманная белиберда слов нравилась.

У него с дамой разговор был почти такой же.

После обеда с водкой в офицерском собрании Толстопят пел.

— Вы не подарите мне возможность записаться в число поклонниц вашего таланта?

И все завертелось, как во сне.

Беловолосая дама медленно стягивала длинные шведские перчатки без пуговиц. Пальчики ее коснулись клавиш, выбрали начало мелодии. Такой тоненькой цепочки с бриллиантовым крестиком он у екатеринодарских женщин не видел.

— Какое у вас занятное колечко.

— От бабушки. Ему сто лет.

— Я не был бы так храбр носить два опала,— сказал Толстопят.

— О да, опал приносит несчастье. А что вы скажете о кольцах с гербовой печатью?

— У нас в роду нет герба. Я кубанский казак, позвольте, наконец, назваться: сотник конвоя его величества Петр Толстопят.

На руках ее искрились камни браслетов, низко спускавшихся к запястью. Она медленно начала подвигать их к локтю.

— Очень приятно...

Она знала, кто он и откуда. Зря Толстопят боялся опростоволоситься, проявить нечаянно свое куркульство, не суметь поддержать разговор в ее тоне,— женщина прощает все за то, что ее уже дразнит в мужчине. Быть может, эти глаза, длинные губы, кисти рук. Не могла она ему сказать и не скажет после, что сперва слыхала о нем от друга Бурсака, потом видела его на снимке с конвойскими офицерами, а в мае на параде у Екатерининского дворца. Пусть думает, что открыл ее он.

Близость приходит мгновенно — так же, как неприятие. Они сказали глазами друг другу о том, что встреча их неминуема, но продолжали болтовню знакомства еще бог знает сколько. Когда прощались, сквозь вечную пошлую вежливость проникло в душу обещание взгляда: до скорого, до скорого тайного свидания. Но срок свидания растянулся на месяц.

И вот Дионис подал ему конверт.

У моста на Мойке в воскресенье она пригласит его в фаэтон.

— Я хочу, чтобы вам было хорошо,— сказала она.— Вы не знаете Петербурга, куда вас повезти?

— Куда хотите. Я хочу быть с вами. Куда-то, чтобы никто не знал, что вы со мной, а я с вами.

— Та-ак? Вас не пугает, что между нами уже нет никаких препятствий?

— Боюсь надеяться.

— Я не хочу быть вашим капризом.

— Заказать бы фаршированную пулярку,— сказал Толстопят напропалую,— тающих во рту груш, бутылку шабли и сидеть дотемна.

— Не спешите. Чему суждено быть, то придет — хотя бы из Индии.

— Анапа ближе.

— Анапа? — с некоторым испугом спросила мадам В.— Никогда не была там.

Еще через месяц они опять катались по Петербургу.

— Странно! — говорила она.— У меня все важное случается в день рождения. Ребенком я имела обычай дарить себе к дню рождения папиросную бумагу, для рисования, цветные карандаши. И вас сама себе подарила. Надеюсь...

— Когда ваш день рождения?

— На парфорсную охоту...

Еще через неделю они ехали поздним вечером.

— Куда мы едем?

Петербург внезапно сделался каким-то глухим уголком: быть может, ехали по окраине. Толстопят ничего не запомнил. Весь погруженный в неизвестное, в предчувствие чего-то блаженного, что желают уже оба, и нужен только миг, чтобы тайна стала невозвратной, Толстопят все же не верил в счастье, в то, что затеет ради простого казака светская дама с красивым ртом.

— Мы поедем туда, куда вы сами хотели.

Он дурел и соглашался с каждым ее словом. Да ехал ли он так в своей жизни когда-нибудь? Да колотилось ли сердце! Да есть разве в Екатеринодаре такие соблазнительные воркующие дамы? Мадам В. и не глядела на него, казалось, оттого, что чувствовала, как он покоряется ей. И вдруг она сбросила маску игривости, взяла его за руку и так просто, как будто давно привыкла к нему и знает, что он ее поймет, сказала:

— Муж добр ко мне, любит меня, но мы ничего друг для друга не составляем. Он приходит вечером домой, и мы мол-

ча сидим за ужином. В свои дела он меня не посвящает, мои заботы его не интересуют подавно. Чего-то не хватает... Нужна та заутреня, когда все мое существо двоилось на мирское и небесное. Поцелуют твою руку — и ты как во сне... М-м?

На какой-то темной улице фаэтон остановился. Кругом мгла и тишина. Ночная глубокая тишина стояла и в доме. Они пошли по лестнице вверх. Комната была в полумраке: блестели корешки книг на полке; на камине под букетом белых цветов стояли фотографии.

Первая обязанность женщины — de bien fermer la porte[1]. Мадам В. это сделала.

«Я еще не так могу любить...» — слышал Толстопят ее голос весь следующий день и потом много дней в самые неподходящие минуты службы, и потом осенью в Ливадии, куда 1-я сотня прибыла вслед за царем, и в Тамани на открытии памятника.

С КАКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ?

В том благословенном 1911 году (без войны, без неурожая и холеры, с затяжной золотой осенью, с освящением и поднятием крестов на главы почти оконченного Екатерининского семипрестольного храма) был на Кубани шумный праздник — открытие памятника запорожцам в Тамани.

Все российские и местные события вспоминал потом Попсуйшапка в связи с личными делами, переменами или горем.

В том 1911 году чувствовал он себя несчастливым. Укрытая за домашними стенами чужая жизнь, фаэтоны с дамами, офицерами, сынками купцов на Красной, вся внешняя уличная оболочка бытия обманывали каждого, в том числе и Василия, спокойным ладом существования людского, и на поверхности этих впечатлений еще тоскливей сжималось сердце от мук, до которых никому нет дела. Они, эти муки, твои собственные, всегда с тобой. Может, мимо идут такие же невезучие, но они молчат.

В ту самую золотую осень разваливалась его молодая семейная жизнь. На все времена, видно, слова писания: враги человека — домашние его. Люди наводят в обществе большие порядки, стреляют друг в друга, выносят указы, подпи-

[1] Хорошо закрывать дверь.

сывают для всеобщего блага циркуляры, в строю на параде одной грудью несут честь и славу, чуть не в почетном карауле ведут на балы своих дам, а что у них дома? Вся разруха жизни выходит из четырех стен.

«И до каких же пор так будет? — меланхолично, успокоившись после бурной недели, рассуждал Попсуйшапка, перекладывая в мастерской смушки с места на место.— Что я ей такого сделал? А мать моя чем ей насолила? Если мать моя не нужна, то и я,— я так понимаю... Ты подумала?! — кричал он жене и оглядывался: не подслушал ли кто его слов? — Я же переживаю как, а у тебя души нет. Когда б хоть маленькое сочувствие, ты б разве допустила такое? Эх, Варюша, Варюша... Мерка из рук падает!» — бросал он на стол клеенчатый сантиметр, брал и бросал ножницы и уныло садился за стол. С кем-то выпить хотелось и посекретничать. А казаки все перлись в мастерскую за папахами, заказывали к таманским торжествам. У них словно весь век тянулся к этому дню — до того возбужденные, громкоголосые были они; лезли руками в штаны, вынимали кошельки, хрустели бумажками... Анекдоты, притчи рассказывали. Каждый звал к себе в гости в станицу и прибавлял: «С семьей приезжай! Места хватит!» Да куда ж с такой семьей поедешь? Ругаться в дороге?

«Кубанский казачий листок» накануне праздника печатал каждый день что-нибудь по истории. Попсуйшапка и тут находил подкрепление своим мыслям, своим понятиям о женщине и супружеском счастье.

— «Ваша верная раба Ульяна Головатая»... Это ж она мужу пишет перед смертью,— вслух говорил Попсуйшапка.— То ему и памятник поставят на Тамани. Я б на том памятнике и ее слепил, и эти слова высек: «Любезный муж Антон Андреевич, я вседушно рада бы к вам приехать, да одолевшая меня болезнь к тому не допускает». Вот как надо любить мужа. И так же он ее любил. Ну конечно. А уж на что запорожцы крутые, но вот между этими покойниками верность была. Царство им небесное. А сейчас что настало? Подушку в руки: «Я пошла! Оставайся». Или то у меня так? Наверно, я слабый...

Но он гражданский, а странно было, когда бабы командовали дома военными, лютыми казаками, такими панами, как покойный полковник Бурсак; жена его Елизавета, не вылезающая теперь из Парижа, держала его в ежовых рукавицах. «Веревки из него вила и лучину щепала». Припоминались Попсуйшапке и разговоры о генерале Бабыче, терпевшем роман жены с офицером по особым поручениям

Батыр-Беком Шардановым. То считаются благородные семьи. И в царской семье так?

И все равно чужие страдания не облегчают своих собственных.

— Встанет, возится, возится на кухне, ругается, точно матерится про себя,— говорил он за обедом в ресторане Старокоммерческой гостиницы Папиянца перед Терешкой.

— Это от природы,— успокаивал раздобревший в последние месяцы извозчик.— У меня кума: це-елый день прибирается, и грязно. Она одной рукой метет, другой сорит.

— Да это бы ладно. Хоть я и не люблю грязи. У меня чтоб все на месте лежало. Разбуди меня ночью, и я скажу, где что. Ладно бы, но другого нету. Души нету. И мать ей мешает.

— Старики никому не нужны,— сказал Терешка. Благополучному человеку что-то же надо говорить, иначе покажется обидным, что ему не сочувствуют.— Я тебе не рассказывал? Сквориков, когда его городским головой избрали, приходит и говорит отцу: «Ну, батя, кучера нашего Евтея надо рассчитать. Он старый, дескать,— говорит,— уже лошадей не управит. Лошади жирные. А я теперь городской голова. По улице прокатит если, то не как раньше».— «Евтея рассчитать?!! — отец ему.— Так и я старый, ты и меня рассчитаешь? Кто тебя выбирал городским головой?» — «Гласные!» — «Евтей проработал у меня с молодых лет. Если я помру, так Евтей и его семья пускай живут во дворе — не смей выставлять! И плати жалованье, как я платил им и подарки дарил к святым праздникам. Городской голова!» И ногой топнул.

— Ну,— возразил Попсуйшапка всем видом,— моя Варвара не городской голова, и ей не след так стариков гнать. Для чего я женился? С какого благополучия я буду страдать?

Всем в жизни довольный Терешка, мечтая лишь о том, как бы поскорее свернуть разговор и пойти пригласить на обед старосту извозчиков, отделался еще раз общей мудростью:

— Я, Василь Афанасьевич, пришел к такому выводу: человек сам счастья не хочет. А иному в зле легче жить.

Попсуйшапка же видел сейчас в нем единственного друга. От того, как они поговорят, что-то изменится к вечеру. И легче станет.

— Даден мосол — хоть гложи, а хоть на даль бережи. Так мне мать говорила. Я ее не бью, от нее не гуляю. Вон, да ты знаешь его, он, когда идет, у него голова набок,— вот

он с женой с ремнем спит. С какого ж благополучия мне зло? Домой явишься — никакой радости. Приеду откуда — никакой у нее радости в глазах. Дверь откроет, молча повернется и уходит спиной. Какое ж у меня старание будет? С какого благополучия?

— Кормит хоть?

— Кормить она кормит, ну все без души, никакой души в ней. Поставила и ушла в другую комнату, села.

— Характер! — попусту бросил Терешка.— Казаки! Их не пересилишь.

— Шкурку вчера запорол: все ж думаешь и думаешь. И как по ярмаркам ездить? На Нижегородской ярмарке какие барышни зазывали, я ни одну не щипнул. Я нравлюсь женскому полу.

От воспоминаний о тех, кому он нравился и здесь, и по станицам, Попсуйшапка стал как бы еще грустнее. Из Выселок приезжал хозяин маслобойни, уговаривал взять его дочку. В экономии Косовича две дочки росли, красавицы, грамотные, тосковавшие, немного бы подождать, пока зацветут. Или сестры живут напротив. Одну он грешным делом до женитьбы два раза водил в баню Адамули, но колебался брать: она была вдова и малоразговорчивая, торговала на Новом рынке грызовой семечкой. Многие поглядывали и в его сторону со вздохом желания и теперь: любовница полицмейстера, ниточница Акилина Ивановна (носила по дворам нитки, чулочки, носки), дочь швейцара женской гимназии (с большой грудью), прислуга братьев Тарасовых с каракулевой муфточкой и даже жена писаря городской управы, который узорил чернилами по бумаге, словно палочкой по песку. Не надо!

— Их ведь везде хватает,— сказал он Терешке.— На Тверском бульваре против Страстного монастыря сколько жриц любви. Заказывай любую музыку, они и Пушкина не стыдятся, там же памятник ему рядом. Проводить с ними время можно, но чтоб насчет женитьбы — ни в коем случае! На ярмарке много всяких, губы помазаны, как говорят наши греки, македонским кремом.

— Ну а что ярмарка в Нижнем — шумная, богатая?

— Я-армарка...

Попсуйшапка от удовольствия закрыл глаза, молчал. Он тотчас увидел гостиный двор, забитый товарами российских городов: сибирские пушные зверьки, романовские овчины, московские и ивановские сукна, тульские самовары, торжковские сапожки, башмаки, углицкое копченое мясо, нежинский листовой табак — птичьего молока только нет! Для

него и Пашковская, Каневская ярмарки были праздником, а тут и вовсе.

— Трактиры?

— Ну-у... Не пересчитать. По десять раз на день Москва чай пьет. Чистота исключительная, это не у Баграта. На столе кувшинчик сливок — обя-за-ательно! К водке даровая закуска. «Уж поуважительнее,— слышишь,— графин приноси, да и рюмочек-то хозяйских подай!» Учусь, мотаю себе на ус. А потом и сам также: «Прошу покорно! Извольте задаточек. Водка меня не разорит».

— Пошел ты в гору.

— Ну жену бы. Хор цыган шесть раз слушал — люблю!

Попсуйшапка опять сожмурил глаза и с усилием оторвался от мгновенного чудесного сна.

— Я, Терентий Гаврилович, не атлет Фосс. Ему лишь бы покушать и стулья переломать, а мне семья нужна. «Я Фо-о-осс! В газетах читали?» А я Попсуйшапка, мне жена нужна. Россия-матушка: нет управы на беспутных людей. А ты страдай.

— Страдай, страдай,— сказал Терешка.— Все мы из-за чего-нибудь да страдаем.

— Ну, мать не брошу. Уйду — перевенчаюсь с другой. Мучиться — с какого благополучия? Или я дурачок Приступа, или под бондаренковой лавкой ночую на Новом рынке? И обедать не пойду. Пускай как хочет. С ней никто жить не сможет. Кому охота такую бешеную себе на шею повязать?

— Подберешь себе друженьку.

— Такого безобразия, как у меня, нету ни у кого. И обедать не пойду!

Ночевал он у брата Моисея.

— Опять врозь спите?

Брат, такой же маленький, черноусый, только костлявее от болезни, сидел у окна и кроил шкурку. «И брата жалко,— подумал Василий.— Нога так и не действует. Голова набок скошенная, а он работает». Жена Моисея, еще красивая, пышная, привыкшая к несчастью мужа, зашла, подобрала обрезки с пола, спросила Василия о Костогрызе и не стала мешать, удалилась. Если бы брат не был калекой, он считал бы его совершенно счастливым, потому что его берегла жена. Ему вообще по душе было смирение человеческое. Пустая гордыня убивает себя самого. «А что, если б со мной так? Прострелило бы меня? Варвара и дня б не стала жить. Если б так случилось тогда, в пятом году, что брата убило (слава богу, что уцелел), но если б так, я бы забрал Мотю.

И брата бы детей воспитал, и сам бы с такой женой не знал горя. Доброта не дорогая, но дороже ее ничего нет...»

— Говорил я тебе, не женись на казачке... Будет ковыряться, разделись и возьми вдовушку, оно лучше. Напротив живет. Он в казачьем оркестре играл, ездили к царю в Крым, простудил горло — пива холодного выпил. Я ему сделал две фуражки. Ты ее распустил: «Милочка моя! Милочка моя!»

— И выберу. Не ходить же в «Красный фонарь».

— Там тоже разные бывают. У золотаря вон жена оттуда. Белобрысая и рябенькая, а как хозяйка замечательная. Живут. Она и соус приготовит с барашкой, и обращение очень вежливое. А Горбовша тоже из «фонаря», у той гонору много...

— И нечестная жена перед мужем,— добавил Василий.— Скажу по секрету: был я у них на Велик день. Сидим. И вот ноги мои под столом, вот ее; она мне давит на ногу и моргает. Я ему сказал потом: «Твоя хозяйка конфетки обчищает и в рот кладет твоим гостям, когда ты спишь».

— Господь все видит,— сказал брат,— и строго накажет.

— Таким в Турцию надо ехать. Гаремов много.

— Зачем далеко брать: вон на плантацию к грекам. Они, молоденькие, попадут из станиц на заработки, на табак, лето пройдет, она и...

— А Варвара моя не такая. У нее этого интересу нет. Зовешь, зовешь ее. «Да ладно, потом...»

С этими мыслями, что его жена честная скромная казачка, Попсуйшапка часа два ходил по городу, разговаривал у электробиографа «Бонрепо» с владелицей, сравнивал жену с другими: с горничными в гостиницах, артисткой труппы оперетты Амираго (предметом ухаживаний помощника наказного атамана), торговкой аракой и прочими.

«Кого ж тебе надо, Варюша? — спрашивал он жену издалека.— С кем бы ты жила лучше? С приказчиком братьев Тарасовых? Так он влюблен в учительшу музыки. Или сотник Андрей Шкуро? Он в преферанс играет, и у него нос как у чайника. Только что пашковский казак, ваш. Недавно пригласил музыкантов из духового оркестра и под окном своей барышни заставил их играть. Нет, ты спать любишь. Ну, роз в саду братьев Шик он тебе, конечно, купит. Так и я куплю, если захочешь! — Он садился на скамейку напротив реального училища (там во дворе в двенадцать часов орал осел), за спиной его возвышался Александро-Невский собор, мимо шли и шли екатеринодарцы, каждый третий знакомый, и он кого-нибудь прицеплял к своему

мысленному разговору с женой.— «Пусть лишь жарче ласкает и нежит рука, пусть лишь дольше продлится обман». За артистом тебе подавно плохо. Тогда выбирай знаешь кого? Асмолова Митьку, он перевенчается с тобой. Или Тохова Сашку, он да сынок Сахава — самые подходящие кутилы. Терешка возил их в «Яр», так ему дали две кошелки коньяка. Ну чего ж — пожалуйста, если я не тот. Вон еще пошел: торгует известкой, дранкой, рогожей. У него три сына. Жена пристава Цитовича идет! Целый день сидит на крыльце, мух от лица отгоняет... Свекор к ней пришел, стучит. Она: «Еще с церкви не пришли, а вы уже стучите! Садитесь, нате вам кожух, наши вчера в лес ездили, дождь напал, дак вы грязь внизу вымнете». Она ему сразу работу нашла. И ты у меня, Варюша, такая? Я думаю так, что атлета Фосса тебе надо. Он бы стулья разок переломал, и дурь из тебя вышла б. Ругаюсь, а все равно тебя жалко. И ни к кому душа не лежит. Пойду домой; может, ты не спала без меня и передумала? У нас же дети».

У своего дома на Динской улице Василий заметил лошадей.

«Прослышал старик...»

— Я с такой матерью жить не буду...

— А с кем же ты будешь жить? — допрашивал внучку Лука Костогрыз.— Мать есть мать. Чья б она ни была. И ты уже мать. И вот так и тебе скажут, как ты: «С такой матерью жить не буду!» Шо она тебя — каждый день таскает за волосы? Или она у тебя ложку изо рта берет? Какая бы она ни была, она ему мать. И тебе мать.

— Нет, я жить не буду.

— Спасибо тебе, внученька, шо так подтоптала своего деда под ноги.

— Здравствуйте...— робко сказал Попсуйшапка. Он подошел к старику и поцеловал его руку. У того выступили слезы на глазах.

— На колени в угол тебя теперь не поставишь,— не скрывал своего разговора Костогрыз и при Попсуйшапке снова взялся за кнут, с которым, видать, для пущей строгости вошел час назад в комнату.— Бачили очи, шо купували. Это только Василь не знал, шо ты характерная. Скрыла бабушка. Покорись. Чи тебе есть нечего, чи ходить не в чем?

— Ее ничем не возьмешь,— сказал Попсуйшапка.— Смотри, Варюша, я широко тебе ворота отворяю, можешь уезжать. А надумаешь обратно — я их совсем закрою и не пущу.

Жена не отвечала. За скандальные недели она, словно назло всем, расцвела как мак, налилась телом; стянутые приколками волосы блестели, в глазах скопилась грешная ночная тоска, и, если бы она не распускала свой язык, если бы не думать, какая она злая, упрямая, поперечная, можно бы поскорее утихомирить старика, проводить до мажары и потом припасть к круглым женским ногам, ласкаться, жалеть свою Варюшу. Но и жалеть она себя не давалась. Коснись рукой головы, она отпрянет недовольно, будто ее царапают. Толкнись к ней ночью животом — она взбрыкнет и сдвинется к стенке. У холодной стены ей легче. Все она портила, сминала своих характером. «Пропадет баба по своей воле»,— не раз говорил Терешка приятелям. Она сидела и долькой глаза даже не взглянула на мужа. Когда ее отчитывали, она ненавидела и деда и всю родню, гнала из хаты и кричала. Ее жизнь не научила тому, что вокруг много несчастья, самое сладостное время своей молодости она потратила на истязание себя и других. Знать бы, чего хочется этому человеку. Не подступишься к его душе. Это сейчас так. А что же будет с ними к старости, когда замрет грешная плоть? Греху уступают в самые лютые дни, мирятся. Попсуйшапка как раз и почувствовал, что уже сдается понемногу день за днем ради того мгновения, которое ночью не оставляет таким одиноким. И в ту минуту, когда Костогрыз еще хмурился и ковырялся в семейных обычаях старины, Попсуйшапка уговаривал себя пожалеть жену.

— Кроткая рука на веревочке слона ведет,— долбил Костогрыз свое.— Это тоже надо знать тебе. Мне Василь руку целует, а ты деду носков не свяжешь. Вздуть бы тебя пару раз.

Жена схватилась с места, уткнулась лицом в дверную занавеску.

— И не заплачет никогда,— продолжал Костогрыз без жалости.— Каменная.— Костогрыз встал.— И ты, Василь, не жалей ее больше. Поехал я в Васюринскую на день пластунской иконы. А тогда на Тамань. До чего я дожил: внучка опозорила казака. Напишу Дионису в конвой, он тебе пику набьет.

Уехал в Пашковскую Костогрыз, и не стало посредника, и как будто все больше был виноват Василий за то нехорошее, что говорил дед. Жена разобрала постель, закуталась с головой и уснула. Казалось, она только спала; спала назло ему. Но она страдала. Казалось, Василий только бродил по улицам от нечего делать. Но и он страдал. «Прощу еще раз,— думал он,— попробую... Хоть и говорится в писании:

до семи ли раз прощать?» Все слабое, покорное, тихое гибнет раньше? Где та гадалка, обещавшая матери спокойную судьбу у него, младшего сына?

В «Шато де флёр» верещали певички.

Василь пошел домой.

Во дворе у догорающего костра сидела и плакала мать. Жена без него вынесла в кучу все свои вещи, облила керосином и подожгла. «Что ж ты, Варюша, делаешь?..— сказал он в пустых комнатах жене, неизвестно куда девшейся.— Не могла без позора уйти?»

Это было в тот день, когда в Киеве совершили покушение на премьера Столыпина,— 1 сентября 1911 года.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА

Тогда же, в конце сентября 1911 года, тарахтели по ночной степи в повозке три пожилых казака. На закате несколько раз обгоняли их экипажи с депутациями на праздник в станицу Таманскую. Там в день войскового круга открывался памятник первым запорожцам, высадившимся на пустом берегу в 1792 году. Там намечался пир на весь мир. Но не всем было место на том званом пиру. Не попавшие в почет казаки ехали в Екатеринодар по своей надобности: выпросить хоть на коленях у наказного атамана Бабыча племенных бычков симментальской породы. Все трое были из разных станиц. В Каневской напросился к ним в повозку Попсуйшапка, пообещавший в знак благодарности пошить им кубанские папахи. Ехали с песнями уже полтора дня, обедали у Вшивых могилок, кормили лошадей. Двое были из ближних станиц, но неделю гостили у казака из Кущевской, и оттуда все и двинулись на зорьке. Попсуйшапка наводил их на разговоры о памятнике. Но в Тамань им далеко, почти на край света. Без них поставят на ноги бронзового казака, на отливку которого они тоже жертвовали гроши. Диво дивное, сколько земли захапали когда-то предки: от самого Керченского пролива и до рубежей донских и терских! Всего тридцать тысяч удальцов с грамотой и хлебом-солью от матери-царицы Екатерины пришло сюда, и поставили они сорок куреней.

— Она ж, царица Катерина, не дура была,— пискляво говорил казак станицы Васюринской, державший вожжи.— Знала, куда народ затыкать, шоб граница была невредима. Не все ж ночи засыпала под рукой Потемкина, она ж хозяйка была...

— Я так вздумаю иной раз,— вступал казак Кущевской станицы,— не иначе и наш Антон Головатый или Чепига заночевали с ней разок-другой...

— А то шо ж! То б послала она к его столу десерт! Он казак казак, а заплакал.

— Может, и до се в царской хате бегает какой-нибудь головатенький и не знает, на какой перине лежали его деды,— решался поглумиться над историческими лицами третий, самый насмешливый из них, казак станицы Каневской, моложе обоих на пять месяцев.

— За то тебе и крест не дали, шо так брешешь.

— Не-е,— опять перевел разговор всерьез васюринский.— Она не дура была. Обхитрила запорожцев.

— Землю дала, чего ж? Слава богу. Три ковша золотых червонцев высыпала Головатому. Головатый как царь Соломон уехал. Это он ее обхитрил. Стал на колени: «Повинен, мамо, перед тобою, как перед матерью божией. Ты, мамо, отделяешь сына, даешь хлеб-соль и грамоту. Дай же, мамо, ще грошей!» Она и высыпала ему три ковша червонцев. Давайте и мы Бабыча обдурим, нехай нам бычка за хвост выводит.

— Та хоть бы.

— А ты,— спрашивал каневской казак,— чи был тоже у Катерины, шо все знаешь?

— Та деды ж наши имели память не такую, как у тебя. Ты и атамана Бабыча путаешь.

— Мне с ним жить, чи шо? Я в Екатеринодар первый раз еду. В Персии был, на Шипке был, а Екатеринодара не видел. Атаманы! Какие теперь атаманы? Зеркалов понаставили и любуются. Наш станичный атаман, пока осетрового балыка не запхнет в рот с картошкой, хлебного кваса с содой не выпьет, его в правлении не жди. Ни к черту атаманы пошли. Як шо для нас будет добрый — начальству плохой.

— А кто у вас атаман?

— Тю-у! У него и голос не казачий, с писком, как у тебя.— Каневской толкнул локтем васюринского: — И шея с аршин. Послали тебя к Бабычу — это точно нам бычка не выпишут, если первый заговоришь. Войдешь в кабинет, Бабыч обглядит тебя вокруг и подумает: шо це за страшилище передо мною, мощи одни? А колы мощи писку подпустят, то Бабыч скажет: неужели перевелись казаки? Кого командировали? И выпроводит нас троих. Нема атаманов. Сидят по кабинетам при открытом портрете государя. Та шоб у них задницы поотсохли. Под цинковыми крышами живут. А пер-

ный кошевой атаман Чепига в такой хатеночке спал, такое окошечко, шо курица станет и закроет свет. Чепигу в гроб положили с одним поясом, а за ним уже клали атаманов в генеральских мундирах...

Потом казаки замолкали, прислушивались к ночной степи. Никто им не откликался. Попсуйшапка на сей раз не встревал со своими речами, его думки мошками вились вокруг дома на улице Динской, дома опустевшего и печального. Спутники его наболтались и про все забыли. Только, может, душа казацкая блукала в отголосках воспоминаний о житье-бытье на Кубани. Еще с отцами выезжали они по всякой надобности вечером в степь и вглядывались испуганно в чащу (хмеречь), то и дело останавливали коней и вслушивались. По густому терновнику вился хмель; в тумане стогами казались груши, яблони и бересты. На курганах сидели огромные орлы. Когда-то пушки стреляли под волчий вой. Вдали маячила высокая жердь с смоляной бочкой и соломой. Те вышки-маяки, с которых кричали: «Черкесы! Бог с вами!» — сопрели и попадали в колючий боярышник. Сколько сил потратилось, сколько жизней пропало! Когда-то перед одинокой могилой на холме у вехи снимал шапку путник, крестился и творил краткую молитву, благословляя чью-то душу на тихое витание в небесах; теперь ничего нет на холмах. Нестрашно запалить в ночи люльку и колыхаться в повозке, и «собственные очи можно поховать в карман». Были знаменитые на Кубани герои — сменили их жалкие разбойники: шайка «факельщиков», «степных дьяволов», «арканщиков».

— Ну, будем промывать кишки? Уже время и коней подкормить...

— У меня по животу кошки лазят,— сказал каневской.— Может, из пляшечки наточим?

— Гляди, шоб в канаву не заехал. Ты ж у нас рулевой. В городе выпьем. Вино доброе. Голову потянет вниз.

У вековой версты казаки наши все же остановились. Попсуйшапка пошел с ведром на речку, зачерпнул там и принес линя, три карпа и судачка. В тишине перекусили.

В десятом часу утра въехали в Екатеринодар со стороны Свиннячьего хутора, свернули сразу на Котляревскую; по Полицейской, мимо болгарских подвалов и пекарни Кёр-Оглы побили колесами все кочки, миновали Новый базар и по подсказке безрукого почтальона нашли «Славянское подворье». Попсуйшапка спрыгнул еще раньше на Кузнечной, по-приказчичьи кланялся, но пошел от телеги гордой деловой походкой. Пообедали салом.

— Попытать, где начальник области и где та Красная улица?

На улице Екатерининской обступили дылду-городового: на, мол, двадцать копеек, только скажи, где живет начальство. Городовой с бляхой № 56 сказал им, что все начальство грузится сейчас на пароход на пристани Дицмана, отбывает к открытию памятника в Тамани.

К пристани товарищества Дицман извозчики катили разномастную публику, военных, чиновников, священников и дам. Оберегая порядок, городовые покрикивали и свистели беспрерывно. Малолетки сыпались вниз по улице как горох. Проклиная Бабыча и еще не поставленного в Тамани бронзового казака, наша троица поволоклась следом.

На пристани мягко покачивались у причала два парохода: «Удобный» и «Полезный».

— Артистов, артистов забыли! — спохватился кто-то.

Сквозь тесные ряды набившейся публики еле пролазили носильщики. Все в торопливости перепуталось. Артистов с «Удобного» переселяли на «Полезный», и кто-то в давке пищал. Сверху по улице прибывали запоздавшие, впопыхах не соображали, куда им взлезть. Уже нигде не было места. Всех, кто попроще званием, подталкивали на «Полезный». Наши казаки разглядывали по погонам генералов, искали Бабыча, допрашивали, хватали за рукав кого-нибудь рядом. Никто ничего не знал. Когда же дали команду к отправлению, выяснилось, что «Полезный» сподом сидит на мели. Казаков-депутатов попросили сойти и подождать впереди на берегу, у глубокой воды. Через полчаса, а может, больше, после третьего вымученного свистка, под марш военного оркестра, крики малолеток, лай собачек «Полезный» покосился к середине реки и поплыл со счастливцами к Темрюку. «Удобный» чинно отчалил за ним.

— Тут дело за горло давит, а у них праздники! — сказал кущевский.— Они Бабыча в каюту запрятали.

— Да нет,— поправил его с козел Терешка.— Он, наверно, еще в городе. Где дворец, знаете? Ну, садись тогда.

У атаманского дворца они посовещались, кто будет говорить первым. Выбрали каневского казака.

— Значит, трех шагов не доходя до стола Бабыча, вместе кричим: «Здравия желаем, ваше превосходительство!» Стоять в шапках. А если посадит — шапки долой. Ну, с богом. Слава героям, слава Кубани.

Все трое перекрестились и бодро пошли на часового. Увы! — наказного атамана увезли в Темрюк еще вчера.

— Нас общество командировало,— заныл васюринский

перед дежурным адъютантом.— Нам племенного бычка.

— Какого бычка?! Вы что, с ума сошли? Что это за фокусы, старики?

— Пашковским подарил генерал бычка, и нам бы. Газеты писали. Племенные бугаи культурной породы уступлены безвозмездно трем станицам. Наши бугаи стали тяжелые, и коровы их не выдерживают.

— Не знаю. Генерал Бабыч на торжествах.

Пристыженные, понурые, сошли они с крыльца, обставленного по бокам запорожскими маленькими пушечками.

— От прокатились! — затянул вой васюринский.— От десять чертей тебе в зубы и одну ведьму под задницу! И правда: ни к черту у нас атаманы. То без него б не поставили запорожца на дыбы? Це не Катерина-царица там?

Над Крепостной площадью возносился памятник Екатерине II с ажурным забором вокруг, полосатой будочкой с чахлыми еще деревцами. Казаки задрали головы, обсмотрели все стати царицы, поснимали свои шапки. До такой власти разве доберешься? — говорил их вид. Угрозой и внушением сирым и непокорным стоит с тонким длинным крестом в руке навеки уверенная царица, и — господи спаси! — вокруг ее платья в свой рост отлиты были мастерами родные запорожцы: кошевые атаманы, бандурист, поводырь с сумкой за плечами и с палкой и прочие, такие ж простые, как они, теперешние казаки.

— Чеботы хорошие, не рваные...— сказал васюринский.

— Слава богу, шо мы казаки,— добавил кущевский.

— Ну, а теперь куда ж пойдем своими ногами? — спросил каневской и оглянулся, словно ждал подсказки.— В церкву?

— Я больше не могу жить на пище святого Антония,— сказал васюринский.— Пора уже, хлопцы, за копейку гусачка взять; слыхал я, тут трактир Баграта дешевый. С музыкой.

29 августа, на день усекновения головы Иоанна Крестителя, пучеглазого Баграта привлекали к ответственности за допущение игры на бильярде. Но он был все тот же.

— Гусачок бараний? Шашлык по-карски? Шустовский коньяк?

Казаки молча двинули плечами, присели.

— А шо за напиток — шустовский?

— Сказок мир мне был неведом, и узнал его я — как? Очень просто! За обедом пил я шустовский коньяк!

— Вареников!

— Кто у Баграта кушает вареники? Гусачок, к чертовой

матери. Нужен милый барышня — просим оплатить, можим провести время по-семейному.

— А зачем рюмочки? — ткнул пальцем каневской.— Рюмочками цедить до самой ночи. А нам ехать. Стаканы.

— Бу-ди-ит!

— Тот не казак,— похвалился васюринский,— кто горилки не пьет, тютюн не курит и чужих баб не щупает.

— Все любят милый барышня,— сказал Баграт и ушел.

— Родился малюсенький, хоть в кармане носи, а туда же: «милый барышня». Распрягаемся, хлопцы.

— Ой и выдаст нам общество волчий билет. И надо было нашим прадедам выгребать харчи аж в Тамани. Тут бы возле Баграта и начали высадку. Мы б и Бабыча застали, и с бычком были. Не зря моя бабка ругалась: «Порохня с вас сыплется, как сажа в печке, а их ходоками до наказного атамана выбрали! Та вы, стары барбосы, с ним балакать толком не сможете. Выборные ваши дурные, як овцы. Бородами трясти перед генералом? Моложе нема?»

— Хватит скребти редьку,— приказал каневской.— Не закусил, а уже плачешь.

— Напишем ему,— сказал кущевский,— як запорожцы турецкому султану: «Числа незнаемо, бо календаря нема; месяц у небе, год у князя, а день такой у нас, як у вас, за що поцелуй в... нас!» Хи-и...

— Не будем мы казаками, если не поймаем Бабыча в цей проклятой Тамани. Харчей хватит, выпьем, за номера заплатим и погоним. Знай васюринских! И добра выдумка ця горилка, особенно в дороге... А шо б вы, хлопцы, сказали, если я на памятнике заместо Катерины стал?

— Во такие васюринцы, матери их хрен. Недаром про вас рассказывают, шо вы церковь огурцом подпирали.

— Та мы не каневские. Они вместо матки навозного жука в колоду подсадили.

— Нехай тебе за такую кляузу самая здоровая жаба в рот вскочит!

— Слава богу, шо мы казаки. А перепутают, как тимошевские, цыгана с архиреем,— ну шо ж.

Выпили хорошо.

— Не забрехаться бы нам...— сказал каневской.— А где наши кони? Где наши номера? Як они называются?

Никто не помнил, как называется подворье и на какой улице. А было уже темно.

— Ехали утром на солнце,— гадал васюринский.— А в Екатеринодаре солнце всходит, где у нас заходит. Оце теперь будем мотаться по городу, як блохи в штанах. Стыдно

и людей спытать. Подумает человек, шо мы хочем над ним посмеяться, ще и по рылу заедет. Оце наварили каши!

— А чего ж ты сразу не поинтересовался у малого, какой адрес?

— А чего ж ты не поинтересовался? Оце обмыли горе!

Но с помощью извозчика они нашли свое подворье, поснимали чеботы и полегли спать.

— Не будем мы казаками, — пропищал перед сном васюринский, — если Бабыча не поймаем в цей проклятой Тамани. Сало у нас есть.

— Погоним! — одобрил и кущевский. — Ой, господи прости, царица Катерина указала запорожцам дорогу на Кубань, а мы чи без нее до Тамани не проскочим?

В четыре утра они проснулись, перепутали чеботы и так, каждый в чужой обувке, поехали через Елизаветинскую. Им навстречу дул ветер, и кругом было пустынно и неприютно, почти как во времена их дедов. Ни возов, ни топота лошадей. Васюринский казак вдруг запел «Ой, маты, гук, гук, казаки йдут...». Товарищи сперва неохотно, на втором куплете во все горло подхватили. И кто слыхал бы их в то прохладное утро осени одиннадцатого года, все равно не узнал, кто они, откуда, зачем едут... Ранней степью простучали на подводе какие-то люди и исчезли. Как всегда, как во веки вечные. Проехали, и нету их до сего дня...

НА ПАРОХОДЕ

Теперь трудно испытать томление долгого пути. Но тогда казалось, что в дороге можно состариться.

Лишь на второй день пароход «Полезный» подплывал к Темрюку. Такое длинное, с ночевкой, путешествие по реке Кубани Калерия Шкуропатская совершала впервые. В детстве на пароходе «Внучек» она каталась в пасхальные дни к Хомутовским мостикам да против течения — к аулу Бжегокай. Но то было в компании подруг-мариинок. Нынче ее окружали почтенные казаки, хористы в кунштуках, дамы. И сама она была без пяти минут дамой.

На палубе гомонили, разматывали свои свертки, радовались скорому празднику; Калерия грустила. У нее не было пары.

— Шо ж мы едем? — отвлекал ее порой голос Костогрыза. — Разве наши батьки так ездили на торжества? Пятьдесят лет когда Черномории справляли, так навезли фаза-

нов, уток, кабанов, оленины. Со старой казацкой посудой ехали. А теперь вместо фазанов развелись паны на шляхах, та все... Ну, отрежьте ж и мне сала...

Калерия сопровождала отца. Там будет пир, старые однополчане нальют три-четыре чарки, а ему нельзя. Они с отцом Толстопята провели добрую неделю в приготовлении к важному событию в жизни войска: по десять раз примеривали черкески, чистили награды. Надо же показать себя на параде! Отец почти тридцать лет пробыл трубачом 1-го Ейского полка и, если бы не выпали зубы, никогда бы не бросил свою музыку. Одно время была мода носить папахи, и отца в Хуторке завалили заказами казачки окрестных станиц, но брал он с них недорого, счета подносил самые точные, до одной копейки за нитки. В 1888 году получил он от Александра III золотой империал за то, что ездил за ним по Кавказу и сигналил, и он лежал у него в кармане на всех торжествах и обедах. Наверное, и сейчас он вез тот империал с собой.

Под станицей Ивановской, заслоненной в сумерках знаменитым Красным лесом, казаки помянули крестными знамениями некогда славный Ольгинский редут, называли друг другу фамилии почивших товарищей, соседей, станичников. И рассказывали, а Калерия слушала. Если б знала, что к ее старости никто ничего не будет помнить, то, наверное, записала бы что-нибудь. Уж так, как говорили тогда старики о преданиях, потом не умели.

Когда к полуночи подплывали к Федоровской, подошел к борту Костогрыз, положил свою лапищу на ее белую ручку и вскрикнул:

— Чего ты, дитятко? Тоскуешь? Ты ж ще не замужем? — С другого боку тихо стал возле нее отец. Костогрыз вдруг хохотнул и заговорил погромче, привлекая к себе внимание Шкуропатского. — Выбирай получ-че. А то мы такие. Толстопят Авксентий рассказывал: парнем был, его ухажерка передала через подругу, чтобы он пришел ночевать, родители ее гуляют на свадьбе. Он пришел, а уже за полночь. Родители погуляли и вертаются. А она спала в другой комнате. Он скорей-скорей в окно. В одной руке рубашка, в другой — штаны-балахон. А сапоги остались в хате. Ач! Тихонько перелез через забор на улицу, подальше отошел от двора, это было осенью, к утру холодно. Двор был крайний от топила, у Аваковой мельницы, туда свозили с дворов мусор, прогнившую солому, и там, в кучах навоза, много ночевало свиней. Он согнал одну большую свинью и уложился на ее место от холода. Когда в хате огонь по-

гас, он еще переждал, пока уснут, подошел к окну соседки, позвал ее: сходи за сапогами. Она это сделала. Э-эх, он и пошел к своей хате, запел на радостях, шо у любимой заночевал. Такой был бравый казак. Чи до тебя, дитятко, в окно ще никто не стучал? Смотри-и...

Калерию нисколько не обидел такой грубый вопрос: Луке Костогрызу прощалось.

— А мы, козочка, знаешь как жили? Женится казак — и в плавни. Подожгут пост, горим, горим, а не сдаемся. По восемнадцать ран приносили в хату: и шея, и грудь, и голова... Свадьба, а тут приказывает атаман сопровождать начальствующее лицо. Один выход: атаману подношение сделать — чечевицу. «Як бы не чечевица,— шутили,— то и до се не был бы женатый».

— А в плену сколько...— сказал отец.

— Та-а! — подхватил Костогрыз.— Моего двоюродного дядю схватили мальчиком. Пошел рыбку половить, ждут — нету. Батько с матерью просыпались от горя. Ну и так: нету и нету. Как провалился. И прошло годов двенадцать. Ему уже бы в армию идти. У черкеса детей не было, они его полюбили. И через одного азията батько узнал, где он. Взяли охотников солдат. Пошли. Мальчик узнал батька! «У кого будешь,— до нас пойдешь или тут?» Еле уговорил сына. И вот провожает его весь аул. Человек двадцать верховых, брички. А навстречу вся станица, родные. «Только ворота скрозь открывай!» — батько кричит. Бабушка вышла: «Та ты ж моя деточка, та я ж тебя не узнала, та я б тебе повозку выслала. А краси-ивый!» Вот такая была доля. То б тебе жених был, козочка. Но це давно. Он женился и погиб в Туркестане.

— Так же в Васюринской было,— приступил со своим преданием отец.— На базар черкесы приехали, а с ними чернявый молодой казак. Его узнали. Так они не отдавать! А уже замирились, уже суды были. Не отдают. Они, как им кто полюбится, лучше своего кохают.

В трех шагах от них громко рассуждал толстенький союзник:

— Я предложил бы ставить памятники исключительно выдающимся мерзавцам! Грехи негодяев полезно помнить вечно. Памятники из черного металла!

Старики прислушались, но тут же с волнением принялись поминать геройские дела отцов и дедов. Но разве могла Калерия на долгое время сливаться с их настроением? Сколько ни сострадай им, возраст уводит к себе. Поглядывая на призраки верб и кустарников, вспоминала она еще

одно путешествие по реке, о котором никто из домашних не знал. Это было сразу же после концерта Шаляпина, 15 сентября.

«Ноги моей больше не будет в этом болоте! — сказал якобы Шаляпин извозчику Терешке по пути на станцию.— Комариное царство! И зачем я сюда поехал? Иногда я бываю несносным идиотом».

И все из-за этого пустого скандала в ресторане гостиницы «Европа». Куркульским своим характером Толстопят позорил город. Его командировали из конвоя по службе, и он не поленился найти Калерию в «Чашке чая». После страшного ливня в кафе было пусто. Толстопят зашел словно затем, чтобы похвалиться гвардейской черкеской. За час он не сказал ни одного серьезного слова: подшучивал над петербургскими господами, зачем-то приврал, что с Нового года пристав Цитович будет адъютантом проказника Фосса, восхищался екатеринодарскими женщинами, которые сперва напекут пирожков, а потом уж целуются, раскрыл секреты помахивания веером: веер таит улыбку, блеск глаз, обещание, измену, лукавство, ревность,— и он, Толстопят, как-нибудь подсмотрит за Калерией в театре и по лепету веера догадается о ее зловещей тайне. Было смешно. И сам он хохотал без конца, нарочно перемешивая светское с казачьими замашками.

— Вы так похорошели. И добродетель ваша достойна всяких наград.

Это он перенимал чей-то салонный разговор, но так кривлялся голосом, что ничему нельзя было верить.

— Как вы тут поживаете? Говорят, графиня сама доит корову. Вы молчите, и я думаю о том, что надо быть неотразимым, как городовой Царсацкий, чтобы вам понравиться. Или, как Шаляпин, брать за концерт пятьдесят тысяч. Недавно он застраховал свою жизнь на пятьсот тысяч, ого, какой душка! Когда ему предложили для концерта нанять скетинг-ринк, он дал телеграмму: «Шаляпин в конюшнях не поет». И вы ведь завтра понесете ему корзину цветов.

— Что с вами?

— Чад некоторого успеха в обществе,— сказал Толстопят.— Но сколько раз я пел в хатах, а корзины цветов мне никто не дарил. Так же ж?

И это казачье «так же ж?» смешило Калерию больше всего.

— А я свой билет отдала подруге.

— Мы с Бурсаком достанем вам другой. По желанию рядом с Бабычем, мадам Бурсак, главой «Союза Михаила

Архангела» или между мной и моим другом Демой? Мы пришлем за вами Терешку. Так же ж?

— Не знаю.

— Нехорошо же будет, если спереди сядет потный купец Акулов, а сзади Меланья, она аракой торгует до часу ночи, а кому ж я дерзость скажу? Не надрывайте мне сердце. Я не буду подсматривать, какую записку вы станете писать Шаляпину. Я и так знаю, о чем пишут барышни: «Вы мой бог, вам я хочу принести себя в жертву». Так же ж?

— Я хочу, чтобы ваше поведение было достойно офицера.

— Вне сомнения! В антракте, как один наш кирасир, я сидеть не буду. Ваш небесный голосок меня исправит...

Получалось, что она согласилась идти на концерт ради Толстопята, и когда сидела в Летнем саду между друзьями, то думала, что обманывает и того и другого. Неужели Бурсак ничего не говорил другу? Наверное, нет, потому что он робкий, до того робкий и добрый, что, если Толстопят на его глазах будет подавать знаки любви и если, тем более, полюбит всерьез и Калерия отзовется, он с извинением уступит ее. Он сомнет свои чувства, где-то в одиночестве будет страдать, но бороться за любовь у него не хватит смелости. Он, верно, считает, что любовь женщины сама стремится навстречу, и только такая любовь красива и вечна. И потом еще неизвестно, любит ли ее Бурсак.

— Проснитесь,— говорил Толстопят в зале, касаясь Калерии локтем,— сколько людей на деревьях. Это они на вас хотят посмотреть.

— Полиция предупреждала о наплыве карманников,— сказал Бурсак.— Не они ли?

— А тетушка твоя опять брала белошвейку в банк за бриллиантами? Она,— шепотом доложил Толстопят Калерии,— хранит бриллианты в банке и, когда надо, едет в банк с девочкой-белошвейкой.

Толстопят повздорил с мадам Бурсак еще до конвоя на почве, как тогда говорили, ложных понятий о затронутой чести. Он имел привычку появляться в Зимнем театре на спектаклях в конце последнего действия и усаживался в первый ряд. «Зачем он брал билет в первом ряду,— сказала мадам Бурсак,— когда есть свободное место в нашей ложе? Стоило ли платить такие деньги. Лихач!» Толстопяту передали. «После всего, что вы обо мне сказали,— вонзил Толстопят в мадам Бурсак свою отповедь,— я знакомство наше считаю прекращенным». Мадам Бурсак за словом в карман не лазила: «Если бы я не считала для себя позором разго-

варивать с вами, я бы вам объяснила, как мною было сказано. Вы мужчина и должны здороваться. Тому, кто насплетничал, вы бы лучше дали по физиономии. Вы же не городовой Царсацкий». — «Я считаю всякие объяснения излишними. Боюсь наговорить много дерзостей. Пишите Бабычу».

Нечего удивляться, что Толстопят в ресторане прицепился к Шаляпину. В прошлом году Толстопяту было все нипочем. Подумаешь, Шаляпин! Как он посмел? Кто он такой, чтобы посылать к их даме какого-то лакея и потом (через лакея же) приглашать ее за свой стол? Разве с нею рядом нет молодых господ? Что за сладостные призывы? Почему дама должна идти к нему?

— С ним царица Тамара Грузинская, — сказал Бурсак.

— Мы не знаем Тамары, грузинской царицы, — громко возопил Толстопят, — но зато оч-чень хорошо знаем Тамару Грузинскую, танцующую канкан в оперетте!

Калерия вежливо отклонила просьбу певца и пожелала видеть его за своим столом. Лакей доложил и вернулся:

— Господин Шаляпин не находит возможным сидеть в совершенно неизвестной ему компании.

— Он так сказал? — Толстопят поднялся из-за стола. — Я ему покажу, как оскорблять женщину. Он куда приехал? Вы куда приехали, душка-а? Здесь казачья земля!

— Что с тобой, Пьер? — Бурсак дернул его за руку. — Не с чего беситься. Он устал.

— Не-ет. Я офицер кубанского казачьего войска. Пусть извинится. Оскорблять при мне женщину? Он брезгует нами? Позовите ко мне управляющего гостиницей! — крикнул он горничной. — Передайте вашему Шаляпину, что он скотина... Да, так и передайте. На казачью землю приехал и пренебрегать?

— Ты ведешь себя как союзник, Пьер... — корил его Бурсак. — Не повторяй историю с моей тетушкой.

— Сегодня же будет ему вторая гастроль!

— Да ничего не случилось, — успокоила Калерия. С ним певица.

— Он поступил с вами как с дамой полусвета. Они привыкли к легкой добыче. К записочкам. «Вы мой бог, я хочу принести вам в жертву то, что иначе пришлось бы отдать простому смертному». Так же ж?

— Ну и что ж. Тамара Грузинская открывает ему двери в эдем.

— Втора-ая гастроль, и никаких.

— Если вы не стихнете, — сказала Калерия, — я поду-

маю, что нужна вам как зритель вашей удали. Я уйду.

— Останьтесь хоть из уважения к станице Пашковской, где я родился.

— Что даст вам мое присутствие?

— Если уж... гм... то и la plus belle fille de la France ne peut en donner plus[1],— шепнул Толстопят Калерии на ушко.

Калерия взглядом отшвырнула Толстопята. Сколько раз переменялось ее чувство за вечер! И оно менялось не только к Толстопяту, но и к Бурсаку. За обоих было стыдно ей через день, когда газеты писали о стычке с Шаляпиным у фаэтона, и хоть Бурсак отгонял Толстопята, призывал к джентльменству, тросточка певца нечаянно погуляла и по его бокам. Бокал шампанского от Шаляпина на подносе совсем вывел из себя ее кавалеров. Они провожали ее домой, и Толстопят все хорохорился, что он найдет этого императорского артиста в Петербурге и вызовет на дуэль. Ее, Калерии, как будто не существовало рядом. А уж когда он похвастался, что его пассия в Петербурге гораздо красивее Тамары Грузинской, ее взяло зло, и она поняла, что с этого часа теряет что-то в своей душе. И милый, чуткий Бурсак становился теперь ее единственным поклонником. Не нужно больше блуждать ее чувству. Но было странно: на ночь она всегда думала о Толстопяте. Так она попала в вечную беду женщины, которая от обиды приучает себя к возможному счастью с другим и с холодной покорностью утешается уговорами его любви. В небольшом лесу под станицей Федоровской, которую они нынче проплыли в сумерки, она молчанием потакала вольностям Бурсака, позволяла ему надеяться на близость в какие-то дни, но с таким несчастьем, с такой потерей своих надежд на страстные поцелуи с другим, навсегда ее предавшим. Только в ту ночь у гостиницы «Европа» она поняла, что все прощает Толстопяту, готова забыть свои свидания с Бурсаком, помчаться за Толстопятом в пугающее ее Царское Село. На пароходе, когда плыли обратно, Бурсак сжимал ее руку и, нисколечко не догадываясь о ее мыслях, слушал с улыбкой подсевшего к ним хмельного чиновника: «Я бы жить с ним стала, говорится, хоть бы борщ был без сала. Поверьте, мои друзья, это чудесно, когда так любят. Я рад за вас. Не расставайтесь. Любовь к ней — гибель одна,— еще одно высказывание,— но отчего же так неотразимо влечет к ней чувство? Любите, любите друг друга...» Калерия умерла бы от счастья, если б

[1] Самая красивая девушка Франции не может дать больше того, что имеет...

рядом сидел Толстопят! Но теперь она об этом никому никогда не скажет.

— Шо це ты, дочка, не спишь? — позвал ее отец, прервав разговор о черкесах с Лукой Костогрызом.

— Замуж хочу,— сказала Калерия.

— Ач! — подхватил Костогрыз.— Так мы тебя прямо в Тамани просватаем. За гвардейца. Вон батько Толстопята с нами, его хлопца веревкой поймаем.

В Тамани их встречала на берегу толпа. Калерия поднималась в гору к церкви Вознесения и вдруг оглянулась под чьим-то взглядом. Позади стоял стройный старик лет шестидесяти, с палкой и смотрел на нее нежно, грустно и любуясь. Странно! Ему как будто было от нее что-то нужно. Спустя час тем же взглядом следил он за ней у станичного правления. Они пошли навстречу друг другу. «Не смущайтесь и не удивляйтесь,— сказал он,— что я смотрю на вас. Ваша мать была моя первая любовь, и вы так на нее похожи».

Вот новость! Может, мама ее тоже его любила, а прожила жизнь с папой, и ничего.

ТАМАНЬ

Тамань — богом забытый далекий куток на побережье. Зимой никакими дорогами к ней не проберешься, льют дожди, дуют ветры, и все счастье в семейном уюте. Зато с весны до осени только заезжим господам может показаться она проклятой дырой. На горушках и в ложбинках вспухают сады, висят ночами алмазные звезды, голубыми искрами переливается море. По куткам слышатся малороссийские песни, гогот, девичий визг; и проскрипит где-нибудь в проулке тяжелая арба. Простолюдину здесь в самый раз.

Увидев разметанные по взгорью белые хатки, вершины Лыски, до керченских дымчатых берегов ребристую тяжелую воду, Калерия сказала отцу: «Если бы не наш Хуторок, купили бы здесь домик?» Барышню не заманишь никакой древней историей: у нее легкие порывы сметаются чувствами житейскими. Море, сады, свежий ветер из полынного Крыма, близость Феодосии, царской Ливадии — чего еще нужно казачке, если она к тому же не будет одинокой?

К празднику станицу принарядили. Через рвы и ямки перекинули крепкие мостики с выкрашенными перилами, у въезда вкопали столб с фонарем и с двуглавым орлом на прибитой доске; такой точно столб торчал внизу у пристани.

Фонари, впрочем, были повсюду. Российские флаги трехцветными платочками пестрели у особнячков на длинных шестах. Станица вдруг прихвастнула своим видом. Но угодливая торжественность ни на минуту не задержала простого оборота жизни: с берега керченские шабаи каждые два часа гнали скот; только что возле пустыря на базаре отсчитала первые рубли Покровская ярмарка.

Публика пока без толку бродила туда-сюда. С Фанагорийской стороны подкатывали телеги и фаэтоны с гостями. Еще валялся на земле бронзовый запорожец. У дверей харчевен пахло борщом. То и хорошо, что ожидание дольше самого праздника. Калерии хотелось, чтобы из Ливадии прибыл Толстопят. Зачем? — не знала и лишь вспоминала его нахальные слова у фаэтона перед гостиницей Губкиной: «Мы связаны тайной этого свидания...»

Уже все устроились; отец выбрал у самой кручи немудрящую хатку на ветру, с двумя вдавленными в стену окошечками, с круглым турецким колодцем во дворе. Там было тесно, и она пошла поспрашивать еще. За глубоким рвом взмахнулась над морем белая церковь Вознесения и неподалеку, поближе к обрыву, облюбовала себе Калерия хатенку совсем ветхую. Чуть вправо валилась набок еще одна, наверно, времен позабытых. То была хатка Царицыхи, и там жил сторож церкви. Калерия постучала в первую. Уже вечерело.

Сама судьба, верно, повелела ей ночевать в этой хате и приманивать на старости любителей древности воспоминаниями о звонаре. О звонаре этом, когда она отошла после бесполезного ожидания в сторону, какой-то пьяный казак сказал ей, что он слепой от рождения и мальчиком был замешан с контрабандистами. «Вы ж читали!» — прибавил он и на том закончил, так как из пальцев у него выпала папироска. В эту минуту с порога хаты донесся оклик: «Хто там?» Калерия вернулась.

У порога стоял слепой восьмидесятишестилетний старик в жалких штанах, стянутых очкуром, почти босой, с длинными худыми руками. Услыхав нежный чистый голос, он чуть улыбнулся и спросил, кто она и зачем. Было больно смотреть на бельма его глаз. В вечном мраке ночи плутал человек, и, верно, душа его исстрадалась с младости. К калекам Калерия привыкла еще в Хуторке. Она не питала к ним предубеждения.

— Ну и поночуй, поночуй у меня, чего ж.. Собака гавкает, а не кусается... Я зорю пробью и приду.. У меня чистенько, просвирница прибрала на неделе, помыла..

А койку застлать найдем... Ну такой голос, а ну побалакай со мною... Ты казачка?

Калерия заглянула в две крохотные комнатки; в одной, где был сундук, стол и лавка, висела в углу икона. Калерия было уже заколебалась, но звонарь сказал, что он уйдет спать к просвирнице. По берегу шумели люди, кругом много военных, городовых, так что она вскоре совсем успокоилась и согласилась.

— Вы с детства в этой хате живете?

— С малых лет, диточка,— сказал звонарь.— А то там хата Царицыхи. Ее давно нема. Ото понапридумали господа колысь, шо ее дочка офицера топила. Та чего ж она топила? Це ж он и завез ее в лодке — и ну обнимать. Она, бедна, перепугалась. Его надо было утопить, раз так. Мне читали цю побрехеньку. Як же он ее называет там? Ундина! Ее тоже нет давно. Один я блукаю. Чи ты тут, диточка? Чего молчишь?

— Я тоже читала,— сказала Калерия. Легкая улыбка постоянно была на лице звонаря. Когда сидишь рядом со слепым, его как будто и нет. Но он по голосу, даже по тому, как ты встаешь и что-то делаешь, всегда тебя чувствует. А вы помните, дедусь, того офицера?

— Якого?

— Что ночевал в хате Царицыхи? У него шашка пропала, шкатулка...

— Та на шо оно? Це колы было. Це не так было. Брехня. Жили и жили казаки, а вин перевернув ту историю. Як его Лермонтов, чи шо? Перевернул, бисова душа. Ото ж господа! Заехал к нам, переночевал, а мы виноваты. Дивчину заманул в лодку, а она перепугалась и бросилась в воду. Та чуть не утонула... Шкатулка! Яка шкатулка? Кинжал! А то у нас кинжалов мало, кругом казаки... Перевернул историю...

Ночью ей плохо спалось, хлопала на ветру какая-то тряпка, и Калерия два раза выходила наружу. Никого. Мрачная водяная гладь нагоняла страх. Оттуда, с безлюдной стихии, плыли их предки? Ночью времени нет. Когда стоишь под звездами, кажется, что никто никогда не умирал и ничто на свете не меняется. Слепой звонарь был всегда старым, гора на западе голая, запорожцы с оселедцами просто переместились в другие земли. Такая же ночь, то же море с узкой косой до Керчи были в тот час, когда они выскочили на берег из своих чаек. Больше ста лет назад, «в самую зеленую неделю», покинула навсегда войскового судью «верная супруга» Ульяна Головатая, но вроде бы ту же

Ульяну повстречала она нынче возле базара. Только ты сам появляешься и чувствуешь, что отходишь под небеса, а дальним людям это незаметно. Много событий пронеслось по Тамани, много жизней процвело и склонилось, но душу барышни тревожило то, что было с е й ч а с. Как и все до нее, она жила своим днем, не очень, правда, придавая значение тому, о чем с трепетом станут ее расспрашивать позднее молодые люди. И к слепому звонарю проявила она внимание мимолетно. Да что она! — сколько было на празднике фотографов, журналистов, и ни один не соблазнился историческим слепцом. Думали, верно, что он проживет еще столько же.

Утром прорезалось в облаках тусклое солнышко.

Уже соткнулись до одного важные кубанские и кавказские чины, все гости перезнакомились и не раз потрапезовали в каменном складе на низу близ моря, опять завывала дурная погода (так что репетицию парада перенесли на полдень — лишь слонялись с бубнами по кривым улочкам потешные казачата), уже гвардейцы царского конвоя, хористы брали под ручки дам и барышень; вновь блеснуло солнышко, открывая вдали Керчь, Митридатову гору и Еникале; извлекли из деревянного ящика и подняли на блоках фигуру запорожца, на промозглом ветру под руководством начальника штаба прикрепили бронзовую руку к плечу, пропели с депутатами «Спаси, господи, люди твоя» и разошлись, а самого главного гостя, почетного старика станицы Таманской наказного атамана генерала Бабыча, еще не было.

И состоялся уже чин освящения перестроенного Покровского храма, свершили под трезвон запорожских колоколов крестный ход, опустели трапезные народные столы во дворе с могилками, намечалось торжественное богослужение по случаю поднятия крестов, но двухсотпудовый колокол молчал: преосвященный Агафодор где-то ехал еще под станицей Ахтанизовской.

Зато Калерия повстречала Толстопята. Он сам пожаловал во двор звонаря.

Приехал!

В конвойской черкеске, с дареными часами на цепочке, прилизанный, вошел он с той хвастливостью, которая отличала кубанских офицеров, особенно конвойцев, когда они являлись к дамам. Вы тут во дворах, среди кур и индюков, говорил вид Толстопята, а мы из Петербурга. Мы телохранители самодержца всероссийского, рискуем своей жизнью, а вы спите на возах с парнями, гадаете к святкам на тарел-

ках? А вот посмотрим, в чью сторону повернете вы завтра головку, когда начнется парадное шествие! Неужели тут наша Калерия? Хм, добрый вечер. Будем еще раз знакомы. В глухой станице сразу так повеяло женским богатством нашего маленького Парижа. Широкие глаза Толстопята радостно улыбались. Он прибыл в Тамань раньше Калерии и сперва не понимал, кого это он так ждет, без кого торжества в станице будут неполными, и, когда увидел дамские шляпки екатеринодарок, пожелал найти среди них и шляпку Калерии Шкуропатской. Не собираясь выманивать у нее чувство раскаяния за упрямство в день ее похищения на извозчике три года назад, он, как это часто бывает с мужчинами, просто подумывал возле нее покуражиться и погордиться своим благополучием. Пусть лишний раз ойкнет про себя: вот чьих жарких рук я испугалась тогда! Но потом, хорошенько подумав еще и, главное, сравнив скромных свежих казачек с петербургскими львицами, он проникся к ней братским теплом и решил попросить за тот случай прощения. Чего ему надо? В Петербурге у него разгар любви с красавицей со страусовым пером в шляпе.

Слепой звонарь сидел поодаль и курил люльку. Познакомились и полчаса говорили о том, кто из казаков прибыл в Тамань, что новенького в Екатеринодаре, и немножко о покушении на премьера Столыпина в Киеве. Толстопят тоже сидел в театре и, когда раздался выстрел, вскочил и побежал в первые ряды: пять казаков его сотни отвечали за охрану царской особы и стояли на дверях.

— Если бы пуля попала в государя, ваш покорный слуга был бы сейчас далеко,— сказал Толстопят.

— Царь, прохвессор чи генерал — уси будемо там,— подал голос звонарь, глядя не на Толстопята, а на Калерию.— Уси будемо там... Убили — значит, доля его такая. Та уси будемо там...

— Сколько ему было лет? — спросила Калерия.

— Сорок шесть. Он предчувствовал. Думал, что его убьет личный охранник. По женской линии он родня Лермонтову.

Слепой спросил свое:

— Жалованье большое?

— Двадцать шесть тысяч в год только по должности министра внутренних дел.

— Нам с ним детей не крестить. А шо ж царь? Александр, чи як его?

— Александр Третий, дедусь, умер семнадцать лет назад. Николай!

— Ну то я перепутал. То Александра Второго я на семь годов молодше был. А шо ж цари за столом едят?

— То же, что и мы,— сказал Толстопят с улыбкой.

— И цибулю, и чеснок, и сало? Царь тебе будет сало жевать? У него ж дочки, и они сало руками берут?

Наивность звонаря развеселила Толстопята.

— А вы, дедусь, думаете, шо як царь, так он на одних конфектах живет? Ну, бывает на приемах суп из черепахи, филе с кореньями, холодное из рябчиков.

— У царя и часы як шкап.

— Святой вы человек.

— Кто святой, тому бог очи дал.

— Александр Второй ехал через Тамань, вы были?

— Та звонил. Смоляные бочки зажигали на дороге — аж к Темрюку и туда, на Копыл. Наказывали казакам строго: «Колы царь спросит, чем вас кормят, то отвечайте: «Фунтовой порцией борщ с мясом дают». Его ж убили... Та уси будемо там... А чи вы не женаты?

— Женюсь, женюсь! — сказал Толстопят.

— Чего ж, дитятко, он тебя не сосватает?

— Меня папа за него не отдаст.

— Я чую его по голосу. Репаный казак. У него в Петербурге девчата есть. Они и у нас... «Ой, боже! — одна смеялась.— Так меня все казаки любили! Як жал мне руку Степан, перстень раздавил!» И уплыла в Керчь, пропала...

— Нельзя казакам жить в Петербурге,— сказал Толстопят не столько звонарю, сколько Калерии.— Дочь графа Коковцева влюбилась в нашего офицера на улице, а потом узнала и сморщилась: «А-ах, так он каза-ак... Как странно, что казаки поют романсы. Это им как-то не идет...» Мы им не родня. Петербургские барышни лгуньи, их этому в пансионе учат. Невесту будем искать дома.

Звонарь вскоре ушел, пожелав им спокойной ночи; не дался провести несколько шагов: «Не, я сам, я сам...»

— Сватайся за нее, хлопец...— сказал погодя.— По голосу чую, шо добрая хозяйка.

— Вареников наготовить они все могут! — крикнул Толстопят.— И без любви, так же?

Калерия притворно обиделась. О чем с ней говорить наедине? Опять о покойном премьере Столыпине? Хоть и пишут уже, что святая Русь отдала крест на поругание врагам и мы расточили, как блудные сыны, наследие отцов, царь скоренько найдет себе нового помощника. Будет премьер поменьше слушать птичек в саду Зимнего дворца, приемы и рауты устраивать за государственный счет, писать не ле-

вой, а правой рукой; и на Елагином острове во дворце поселится другой граф или князь — только и всего. Кого потеряли — скажет история. Они в Тамани на празднике. Толстопят глядел на славное личико Калерии с озорством. Маленькое приключение в 1908 году все же повенчало их памятью. Как будто навеки повисли над ними те вроде бы шутливые и непригодные слова: «Мы связаны тайной этого свидания». Из тьмы слов всегда выскакивают эти. Калерия тоже думала о них. Как легко попасть в мужские сети! Даже неприятная пустая связь сближает. Так же чувствовала себя ее подруга: пустила как-то в беседку на целую ночь своего поклонника, пококетничала, разругалась с ним на рассвете, но уже прежней незнакомкой ходить мимо него не могла. Молчание Калерии сейчас тоже было какой-то зависимостью.

— Небесный голосок! — окликнул ее Толстопят.— У маленькой шалуньи небесный голосок.

— Я не хочу, чтобы вы так ко мне обращались. Здесь не Петербург.

— И не Царское Село, к сожалению. На берегу можно отцепить лодку, не желаете?

Ее темные глаза насторожились.

Сама себя стыдясь, она мигом подчинилась приглашению Толстопята, встала и пошла за воротца. Этим согласием она словно пообещала что-то ему, и когда спускалась к берегу с кручи, то думала о том, что она душой уже предает Бурсака. Недолго барышне и закружиться. Они сели в лодку, привязанную к железному колу, и было похоже, что Толстопят вознамерился сказать ей нечто важное.

— Вы меня не утопите? Скажите мне что-нибудь.

— Что же я должна говорить? — Она не могла смотреть долго ему в глаза и на эти его острые кошачьи усы и еще раз покаялась перед далеким Бурсаком: Толстопят раздразнил ее чувства. Не было, не было его — и вот на́ тебе: вошел, спустословил немножко, и таманский день перевернулся. Что ей казачий войсковой круг, ну что барышне парад и речи, когда у нее тоска?

— Женщина никогда не говорит того, что чувствует? Так же ж?

— Смотря кому. А отчего вы так?

— Мне надо. Я на Кубани жил, а попал в Петербург — думаю: любят не как у нас. И все не как у нас. Или потому что я казак?

Толстопят даже поглупел от своего вопроса и таращился своими чудесными глазами на Калерию, ожидая, чтобы она

ответила. Но казак он был хитрый. У него и манера разговора была озадаченная: все как будто он ничего не понимал. А потом тут же смеялся. Калерия тоже хитренько сейчас помалкивала.

Толстопят глядел на слезливую поверхность моря. Думал ли о мадам В. и вообще о петербургских нравах — неизвестно. Может, думал и удивлялся: за что его так скрутили бечевкой любви? С мадам В. он уже кое-где побывал. А ты,— хотелось ему сказать Калерии,— ты, дивчина-красавица, все тут горюешь в Хуторке среди индюков и уток?

— Приезжайте ко мне в Царское Село. Поведу вас на рождественскую елку. Напишу в карточке: «Желаю получить от его величества дамские часы с гербом».

— Мне папа выписал через магазин Гана из Швейцарии. Хотя и без герба, но хорошие. Вы надели конвойскую черкеску и воображаете, что близки ко двору?

— Я езжу за царской каретой,— хвастался Толстопят.— Не серчайте, это во мне деревенские углы. Я ж казак, один раз скажу по-французски, другой — матерком. Может, я подорвусь на бомбе. Будете плакать?

— Почему я должна плакать?

— Сам не знаю отчего, но я вас ждал.

Толстопят прищурился на нее, проверяя действие своих слов, и Калерия заметила его пустую усмешку, но велико в тот день было желание обманываться: она скрытой нежностью ответила ему на признание. Пусть на секунду, пусть только мыслью, но сердце ее изменило Бурсаку. С Толстопятом ей было легче. Она подумала, как бы целовалась с ним, как бы вольно прижалась к нему, если можно, и ни минуты бы не стыдилась ласк, что с нею случалось, когда слишком смело ухаживал Бурсак. С Толстопятом открылась бы ей сладость страсти, которая захватывала ее только в книгах. Все бы, кажется, отдала — лишь бы одним глазком посмотреть, кому целует ручки Толстопят в Царском Селе.

— Я виноват перед вами,— сказал Толстопят.— Я зашел к вам попросить прощения.— Она поняла, какого прощения он добивается, и это ее слегка напугало.— Простите! Вы все еще сердитесь? Или мне у извозчика Терешки просить? Вы сердитесь на меня?

— Я сержусь только на себя.

— Всегда?

— Всегда-всегда.

— А за что же так себя не любить? Дивчина красивая. Надо вас засватать в Тамани. Запорожцу бронзовую руку приставили, вы попытайте его. На кого он укажет, того и в

женихи. Чего? А кто байки хорошо рассказывает, того не надо. Так же ж?

Он захохотал, и тогда Калерия от обиды вспомнила Бурсака, всегда деликатного и умного, которого она согласна обмануть ни за что. Нет, не так, как обманывают легкие дамочки, нет, нет. Предательство — в наших мгновенных чувствах, которые вспыхивают и гаснут как искорки. В эти мгновения и теряется верность.

— Почему не приехал мой дружок Дема?

— Я не спрашивала его,— решила скрыть Калерия свои встречи с другом Толстопята.— У него крупный процесс

— Так вы прощаете меня? Ну чего? А то я поведу вас к запорожцу и там на колени стану перед вами. Так же ж?

Ему было приятно дурачиться на кубанской земле. Он так строен, красив, прибыл из Ливадии побрехать с земляками, и ему больше ничего не нужно. Калерия злилась от того, что в самом деле оказалась обманутой в своих чувствах, поторопилась, да так ей, наверное, и надо. У женщины просят прощения в тот миг, когда она его не хочет.

— Завтра праздник...— сказал Толстопят.— Ничего, дитятко, уси будемо там, куда звонарь нас посылал. И Головатый со своей Ульяной сто лет на спине лежат. Вам любить хочется, а наш станичный писарь гордится, что пятьдесят два года просидел на одном стуле.— Черт-те что молол Толстопят. Калерия уже и не слушала его.— До запорожцев тут кто был? — Калерия молчала.— Высадились запорожцы, завоевали Кубань, а дивчина молчит. Вот Терешка проклятый! Подогнал фаэтон и завез в гостиницу Губкиной. Вроде женатый, чего он? Ще й буркой накрыл. Так же ж? — Толстопят захохотал, и такой у него был вид, что Калерия тоже растянула губы.

— Лучше бы поговорили о чем-нибудь серьезном.

— Когда я был серьезным, вы меня кулачками били А сегодня я вас жалею, как свою сестричку. А-а, так и болит моя спина. Шаляпин толкнул, и я об крыло фаэтона Бурлак!

— Зато прославились.

— И с вами, моя козочка, я прославился на весь Екатеринодар. Батько фельетон из газеты вырезал и под стекло вставил: «Бисова душа, до смерти не прощу!» Вы хоть простите. Дурношап, так же ж? А за кого ж вас просватать? Черноморцы в могиле, а хороших казаков все меньше

— Можем ли мы знать, какими они были.

— Они были репаные казаки, но их не вернешь, и мы

будемо там, да вспомянут ли нас, как мы завтра вспомянем кошевое войско с Антоном Головатым и Чепигой?

Он замолчал.

— Рано вам об этом думать. – сказала Калерия

— То я так. О, звонарь кличет в церковь...

Они проулочком поднялись в станицу. На телеге пылили три наших казака, гнавшихся за племенным бычком с другого конца области. Станица пестрела платками, папахами. Для Толстопята и Калерии она была обителью таких же кубанских казаков, как они. Но мы должны за них сказать, на какой земле они проводили свой летучий день. Им казалось, что Тамань так и звалась испокон веков. Но те, кого давно здесь не было, звали ее по-своему: Гермонасса, Матрига, Таматарха, Таман, Тмутаракань. По киммерийским могилам они шли, по песочному пепелищу русского монастыря, по засыпанным полам мраморных дворцов и так же, как все люди, жили ощущениями своего бытия. Каким взором увидеть стены с гербами генуэзских консулов, татарские кибитки, турецкий артезианский водоем на две версты вокруг, двести фонтанов и колодцев, мечети и дворцы Эдема, густой непрерывающийся сад с аллеями на восемнадцать верст, вырубленный казаками на топку и ради безопасности от черкесов, по каким насыпям и камням угадать основания русских церквей, греческих вилл? Как чистою мечтою унестись во тьму времени, когда каждую минуту прерываются мысли о самом себе? Ни Калерия, ни Толстопят не пылали священными сантиментами к далеким покойникам. Разве что вздохом пожалели они иной раз запорожцев и тут же увлеклись собой. Всегда, всегда, на протяжении всей жизни будет она благоговейно вспоминать Тамань 1911 года, где как будто что-то оставила она драгоценное, где витало над ней какое-то облачко счастья, но она тогда не подняла голову с изумлением. Какое же это счастье? Да, наверное, это молодость ее и то, что все были рядом и все казались родной казачьей семьей, чтившей свои сложившиеся заветы. Зачем было печалиться о себе?

— Еще раз простите меня,— сказал Толстопят серьезно.— Ради праздничка. Не сердитесь. Казак поболтал и забыл, так же ж?

— А как жаль, что мужчины все быстро забывают.

— Клянусь тем бронзовым запорожцем, что уже стоит напротив хаты моего дядьки, клянусь вам, что и звонаря и вас в его хате я буду помнить до ста лет, если доживу.

— Время покажет.

— Время все покажет, моя маленькая шалунья.

Они шли в Покровскую церковь, где уже выставили дары запорожцев: ковчег серебряный, чашу, крест и святое Евангелие в большой лист, в серебряной оправе, с изображениями четырех евангелистов, воскресения господня, Саваофа, архистратига Михаила, архангела Гавриила и тайной вечери. Евангелие подарил церкви Антон Головатый, имя которого приберет себе людскою молвой тот бронзовый запорожец, с которого еще не стянули белое покрывало. Была панихида с провозглашением вечной памяти Екатерине II, светлейшему князю Потемкину, графу Суворову, бывшим черноморским кошевым атаманам и всем запорожским казакам, прибывшим на поселение. Тьма народа стояла и в церковной ограде, и на песках. Певучий голос преосвященного Агафодора пробивался на улицу:

— Непроходимые дебри, пустыни и мрачные леса были на Кубани, когда пришли запорожцы. Рыскал жадный зверь и дикий хищник. Одно столетие — и на необитаемых местах явились грады и веси... Благословение царя небесного всегда почивало на вас и на предках ваших. А сии грамоты, сии регалии, сии священные знамена не суть ли неоспоримые доказательства высочайшего благоволения и монаршей милости к войску? Вознесем ко господу наши молитвы, наши прошения! Как сохраняем мы во святом предании прохождение с проповедью о господе нашем Иисусе Христе через нашу Тамань в нынешний град Киев святого апостола Андрея Первозванного, так свято храним память о запорожцах. Призри с небес, боже, Тамань и виждь и посети виноград сей и утверди й, его же насади десница твоя. Мир дому сему, мир граду и мир всем, здесь присутствующим и отсутствующим. Аминь...

Казалось казакам и казачкам под тянучие кроткие голоса хора, что о них так же будут молиться.

Калерия повнимала словам и настроению панихиды, удивилась на короткую долю времени пришествию на Тамань Андрея Первозванного, имя коего было на российском ордене, потом в толпе рассеялись ее мысли, и она, попрощавшись с Толстопятом, пошла к хатке слепого звонаря, думая о том, что на нее все оглядываются, но никто не любит так, как ей хочется.

У ПАМЯТНИКА ПРЕДКАМ

5 октября, на день войскового круга и тезоименитства августейшего атамана всех казачьих войск наследника цесаревича Алексея Николаевича, начался праздник.

Ночью Луке Костогрызу снилось, будто он поставлен на пьедестал в запорожском костюме и в правой руке держит солонку, подаренную ему Екатериной II. «Чем я не казак или не хозяин? — говорил всем своим видом Лука народу, склонившему пред ним обнаженные головы.— Сыра земля! Расступися! Оце добре вы, казаки, надумали, шо пришли с горилкой. Какое нам дело до целого света?» — «А ты кто такой?» — кричал из толпы генерал Бабыч. «Разве вы не видите по оселедцу? Я ваш кошевой батько урядник Лука Костогрыз Шестой. Я вас привел на Кубань. А ну, доставайте, бисовы души, грамоты, перначи, литавры!» Костогрыз спрыгнул на землю, поздоровался со всеми помощниками за руку, поцеловал Бабыча и поехал на волах в Пашковскую к своей бабке.

Сны веселые, да вставать тяжело. В хате пахло вчерашним борщом; осенняя муха ползла по полотенцу; на листке церковного календарика чернело старое число: 25 сентября, день св. Сергея Радонежского. Вчера поразила его новость: через Тамань в Киев святыми шагами прошел задолго до запорожцев апостол Андрей Первозванный. Не рука ли святого направила запорожцев к крутому берегу?

Кости ломило, ноги натоптались по станице, болели. Накануне приплыл из Керчи со шкурками Попсуйшапка, на ночь оба жаловались на пропавшую Варюшу и уснули, как обиженные младенцы. Костогрыз умылся, выкурил люльку натощак, потом — еще чуть свет — пошли они на ярмарку и за рвом наткнулись на Толстопята, у которого и спросили, честно ли служит в конвое Дионис.

— С таким голосом нигде не пропадет,— сказал Толстопят.— Государь любит наши песни и пляски. Я послезавтра опять буду в Ливадии, что передать от деда?

— А передай, шо ждем на льготу с мундиром урядника и со знаком. А колы оставят ще на срок, то я буду гордиться, как индюк. Дед Лука, скажи, подтоптался уже, но ще ходит журавлиными шагами. Та скоро и я лягу к запорожцам. Ото поставим казака, и...

В Покровской церкви ждали депутатов войсковые регалии. Ах, если б вложило в них провидение живые уста, чего бы не рассказали позднему роду людскому! Сколько казачьих рук прикасалось к ним, и где те руки? Сколько наказных атаманов шло за ними с выпертой грудью на парадах и на встречах важных особ, и где те атаманы? Цари склоняли головы к ним, и где те цари? Из рода в род освящают регалии славу казачью. Было что вспомнить войску.

В 1774 году река Кубань была объявлена русской грани-

цей на Кавказе. Предвидя новую войну с турками, правительство обратилось к запорожцам с призывом послужить на новом месте. Вечные переселенцы, они пустили корни и на Кубани, и неужели кто-нибудь в иной час вырвет их и разбросает по свету? В 1792 году «кош верных казаков», позднее — войско Черноморское, подготовился в полном составе перекинуться за Дунай, но Екатерина II обхитрила их указом, по которому казаки наделялись островом Фанагория со всею землею по правому берегу Кубани, от низовья ее к Усть-Лабинскому редуту, так что с одной стороны река Кубань, с другой же — Азовское море до Ейского городка служили границей войсковой земли. Так порешила Россия. И пришли, и высадились в Тамани и на Ейской косе с войсковым скарбом и куском ржаного хлеба, и протянули живые силы через всю заболоченную степь. Куда пришли?! Теперь чего только не брешут про казаков, но куда они пришли, на какие страдания?! Ничего, кроме неба, камышей и малярии. Пластуны сторожили спокойствие Черномории. Сидели они в воде, взлезали на высокие деревья, ползли змеей, кричали и свистели подобно зверям и птицам, окликая товарищей. Кто теперь это поймет, кто им, дряхлым или погубленным смертью, посочувствует?

Чуть позже снимались на чужбину украинские семьи; похоже было, что движется по степи станица, только вместо белых хаток переваливались неуклюжие гарбы. На гарбах были навалены кровати, столы, лавки, кадушки, бороны, чувалы с зерном. Шум, скрип колес, крики пивней простирались на несколько верст. В дороге рождались дети, крестили их в попутных селениях; ночевали под звездами. Кто их вспомянет, пожалеет тех сынов-малороссов? На регалиях вышита́ их слава.

У церкви Костогрыз попрепирался с Бабычем о том, что ему нести.

— Грамоту, шо Екатерина дала.

— Не-е, я солонку понесу с блюдом. Может, и мне дадут три ковша червонцев, как Антону Головатому.

— Все ты знаешь, Лука,— сказал Бабыч.

— А шо ж! С нашего роду письмо турецкому султану составляли. Ото меня там не было, я бы отлил пулю. Ну, они не такое письмо писали, как вельможа Потемкин. Ото ж наши запорожцы разогнали турков и поляков и никакого их мира с москалями не признавали. И сказал им вельможа Потемкин: «Вы крепко расшалились. У всех у вас одна думка: как бы теперь москаля прибрать. Вот ваши худые и добрые дела»,— подает Головатому толстую тетрадь, в ней

все худые и добрые дела Запорожья. И шо ж он, Потемкин, сделал? Худые дела написал строка от строки пальца на два и словами величиною с воробья, а чего доброго Сечь натворила, так то написано было часто и мелко, будто маком посыпано, и оттого наши худые дела загубили места больше, чем добрые. «Все кончено,— говорит,— пропала ваша Сечь!» — «Пропала Сечь, так пропали уж и вы, ваша светлость. Вы ж вписаны у нас казаком, та колы Сечь пропала, пропало же и ваше казачество». И поехали наши казаки с Петербурга с понурыми головами...

— Ничего, зато мы с тобой и со всем войском голову высоко держим,— сказал Бабыч, похохатывая.

— Ах, как бы можно их с того свету позвать, то б удался праздник на славу. А их нема. Я скажу свое слово сегодня.

— Скажи, скажи...

После литургии по приказанию генерала Бабыча понесли под народный гимн тридцать пять куренных запорожских знамен, двенадцать куренных малых булав, жалованную Екатериной на новоселье солонку с блюдом, два войсковых знамени и грамоту от нее же, куренные значки и восемнадцать перначей, войсковые серебряные и медные трубы, юбилейное знамя от ныне здравствующего императора, белое знамя св. Георгия Победоносца, к которому прадед Толстопята прибивал и свой гвоздик. Несли древнюю запорожскую икону со словами на ней: «Молим, покрой нас своим покровом и от врагов сохрани» и... «избавлю и покрою люди моя излюбленныя...»

И потянулась за ними свита.

Отец Толстопята вел белую лошадь с литаврами через спину. Отец Шкуропатской, может, последний раз держал в руках трубу. На блюде нес священную солонку Костогрыз.

Под звуки духовой музыки каза́чка в старомодной одежде вела запряженных в повозку волов, а сбоку шел казак в постолах и в старой черкеске с привязанными к поясу кисетом и люлькой. На возу лежало немного домашнего скарбу, стояла кадка и сидело четверо малых детей.

На кручах, на каменных заборчиках, на лавочках, домашних стульях, на крышах выросли над шествием любопытные таманские обыватели. Жили и вроде бы слыхали, что когда-то у берега, где ныне ловят бычков, высадились тринадцать тысяч душ запорожцев, но и во сне бы не явилось, чтобы чтить их с такой пышностью в присутствии трех десятков генералов, начальства и даже керченской городской управы.

Калерия смотрела вниз с колокольни Вознесенской церкви.

Попсуйшапка искал в рядах знакомые лица. Насчитал он из сорока семи атаманов добрый десяток таких, которые приезжали покупать своим казакам папахи; сразу узнал невысокого, круглоголового Бабыча с насекой, шедшего как-то сердито, двух гвардейцев конвоя его величества, стариков Шкуропатского и Толстопята, дряхлых генералов, ловивших в отставке рыбу в Кирпилях, и генерала другого, сычом дремавшего на кургане под Медведовской. В войсковом хоре были одни знакомые. Шел родной брат Бабыча из станицы Уманской, тоже в папахе его работы. Блестели на солнце галуны, эполеты, ладанки, перевязь. И все они были героями короткого дня, который никогда не повторится и никому, кроме них, не будет понятен, потому что пройдет еще несколько лет (семь — как дни недели) и в обломки, в прах превратится жизнь со старыми гимнами, молитвами и историческими преданиями. Они были жителями этого дня, этой последней эпохи казачества, и они тучной властной громадой окружили памятник, который через двадцать, пятьдесят лет будет маячить у моря единственным свидетелем черноморского прошлого. Будущего не предвидеть. Через восемь лет здесь всхлестнется междоусобная война, в Тамань проберутся солдаты кайзера, потом уйдут самые ярые казаки за море, увозя в сундуках регалии предков...

Проводив регалии от двора Вознесенской церкви, где их окропили водой, Попсуйшапка побежал вперед, чтобы взобраться повыше и оттуда видеть и слышать то, что будет происходить у накрытого полотном памятника. Еще раз последовало то же самое: за куренными значками, грамотами и булавами прошествовали вниз чины и депутаты. Бывает торжественный миг, когда тяжко стоять в толпе безликим. Душу тянет туда, в самое царство причастных к памяти! Почему он всего-навсего маленький шапочный мастер? Почему в его роду нет Георгиевских кавалеров, трубачей, даже писарей? Ему попеременно хотелось просиять перед публикой и наказным атаманом, приуставшим от ежегодных церемоний и литургий, и рослым офицером конвоя в алой черкеске и белом бешмете, и всеми любимым за шутку Лукой Костогрызом, и длиннобородым пластуном, думавшим, что это его прадед ступил ногой на пустую таманскую землю. И даже бы белесым и хрупким, как тростиночка, преосвященным Агафодором, владыкой человеческой веры в золотой ризе, захотел, он явиться на миг. С первыми звуками народного гимна сбились на нет его слепые мысли. С разо-

стланного ковра архиепископ Агафодор начал свое благословение:

— ...Вспоминай дни древние и ищи в них поучения... И будем молить всевышнего: да благословит он казачье войско силою крепкою и мышцею высокою в дни брани, а в дни мира да воздаст тихое и безмолвное житие, и да умножит благодать и покой. Доблестные имена вождей войска, на брани живот свой положивших, да напишутся в книге животней, да даст им бог венцы нетленныя; а на земле имена их да живут из рода в род... Да умножатся в городах и весях земли его храмы и монастыри, в которых находят утешение, усладу верующему сердцу своему доблестные сыны войска в наше время безбожия и холодного равнодушия...

Вместе с хором Попсуйшапка запел «Многая лета».

— И сотвори им вечную память...

Опять запели, потом слепой звонарь ударил некстати в двухсотпудовый колокол. Снизу от памятника стали махать, кто-то побежал на горку к Вознесенской церкви. Звонарь не унимался, будто звал на пожар. Мальчишки на заборах засвистели. «У нас вечно что-нибудь не так,— поругался про себя Попсуйшапка.— Они, говорят, и по Кубани плыли, так два раза на карчу наткнулись, буксир «Николай» их стягивал... Ну ясно: звонарю восемьдесят лет, он забылся...» Но вот, слава богу, колокольный перелив стих, и тогда вышел с бумагой екатеринодарский городской голова, неприятный Попсуйшапке уже тем, что хотел рассчитать по старости отцовского кучера Евтея.

— Не может ветхая деньми седина казацкая не крякнуть с гордостью в могучий ус свой при виде молодого атамана, писаря, вахмистра, урядника,— поднял сытый голос городской голова, глядя в бумагу и словно подчеркивая толстым пальцем предложения,—...когда видит, как здорово, стойко, честно и умело каждый исправляет вверенное ему дело; когда совет держит он с министром без лести и робости, ответ держит пред высоким царским слугою...

«То вы там держите...— палил ему в ответ шапочный мастер.— У вас в Екатеринодаре какой порядок? Вы тротуары чистите? Улицы замостили? Желтобилетниц с базаров и харчевен убрали? Тариф на водку повысили — и все? Да постановление вынесли — гласным на проезд от дома на извозчике выделять по рублю. Себя не забыли. У вас и в городской думе развернуться на вешалке негде, пальто в руках таскают...»

— ...должны были держать границы родной Сечи и зем-

ли русской от татар и турок, так и здесь, на Кубани, новым поселенцам пришлось защи...

Попсуйшапка отвернулся лицом к морю и разглядывал пароход. Есть ораторы, которых слушаешь, потому что некуда уйти. И если переслушать и перечитать все торжественные речи, то покажется, что их говорил один и тот же твердолобый человек. И в Тамани никто из них, грамотных и знатных, не сказал лучше Луки Костогрыза. Попсуйшапка аж привстал на цыпочки и так, с вытянутой шеей, прослушал крик старика до конца:

— Казаки мои родные! Все на свете повторяется, да ничего не воротишь. Как бы позвать нам оттуда наших черноморцев та спросить, чем они жили, то зацвела б снова наша слава, а они б нам сказали: было житье на казатчине! Тогда,— сказали бы,— величали мы друг друга братом, а кошевого атамана батьком. Если на раде приспичило нашему кошевому чихнуть, все чубы ему низко кланялись: «Тоби, батько, на здоровье, нам, казакам, на радость, ворогам нашим на погибель!» В светличке о трех комнатах, под камышовой крышей, где на светанье божьего дня чиликали воробьи, нам было нетесно. Наши матери и молодицы разъезжали еще в стародубовских кибитках, в которых только что и роскоши было, что медные головки на гвоздиках. Стремя было для казачьего чебота шо крыло для пяты Меркурия. На дружеских пирах мы пили варенуху, под цимбалы отплясывали «журавля» та «метелицу». Пуля и даже сабля не брали нас в бою, затем шо никто из нас назад не оглядывался. А шо ж мы теперь слышим? Нема Сечи, нема и Черномории; пропал и тот, кто ими верховодил. А мы, родные мои казаки, им ответим: нет, не так. Запорожская Сечь долго блукала, пока не нашла свою долю на Кубани. Есть еще порох в пороховницах, та й не согнется вовек казацкая сила! Слава о вас, наши батьки и деды, не сгинет, мы ее подхватили и передадим внукам. Господи, упокой их души в лоне Авраама. Нам же в казацком кругу пошли здоровья и крепости духа. Эй, люди добрые! Сходитесь до кучи, сядем на колоде, табаки понюхаем, люльки покурим та раду послухаем. Встаньте и вы, деды-черноморцы, гляньте на нас. Пошли, пошли нам, господи, шо было в старину. Еще не умерла казацкая доля! Узнают еще вороги рыцарские дела. От стародавних обычаев нашей неньки Сечи мы не отступимся. Пошли, господи... шо было в старину.— Слезы блестели на глазах Костогрыза, он задыхался от умиления предками, но после паузы собрался и докричал: — Слава героям, слава Кубани!

— Слава! — выдохнула толпа.

«И у такого деда,— подумал Попсуйшапка,— такая вредная внучка... И бог бы с ней, да она, как на грех, моя жена...»

СТАРАЯ ХЛЕБ-СОЛЬ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ

После открытия памятника Попсуйшапка пошел перекусить к греку в духан, а семьсот человек гостей были приглашены на войсковую хлеб-соль у складского помещения, внизу возле моря. Генерал Бабыч, архиепископ Агафодор, чины штаба, атаманы отделов, отставные генералы и прочее начальство и гости трапезовали в особо устроенном закутке; во дворе под навесами сели на длинные доски депутаты станицы. Пускай под портретами их величеств и наследника цесаревича генералы поют «Многая лета», слушают струнный оркестр, посображают вслух о том, что станет после смерти Столыпина,— простым же казакам лишь бы выпить и побрехать, и на их гогот все равно выйдут спесивые начальники. Пили казаки из деревянных чарок и ели из старой казачьей посуды — по запорожскому завету: хоть с корыта, да досыта! Но жаловаться сейчас было грешно: столы ломились. Горькая, рябиновая, полынная, старая, смирновская водка; балыки, маринованные куропатки, десяток сортов грибов, копченья, икра зернистая, паюсная, мешочная, еще какие-то домашние закуски, тоненькие кусочки розового сала — ну! как тут жаловаться на здоровье? Страдать будем завтра!

Бабыч вышел к ним раньше, чем думали.

— А богу помолились? Нет. Шо вы, казаки? Или душа ваша в постолах ходит?

Костогрыз, скорчив на лице дикий испуг, вскочил на ноги и, не замечая, что кинжал с его пояса ткнулся в чашку с икрой, сложил руки к сердцу крест-накрест:

— Батько наш кошевой, по письменному атаман наказный, я и громада просим у тебя прощения... Меня не было сразу: взял же у матери Катерины на парад солонку, та соль рассыпал, а лавка закрылась. Пока извинялся перед ней, они без меня посадились. Они еще молодые, дури много. Прости басурманов.

— Я-то вас прощаю,— сказал Бабыч, подыгрывая,— пусть бог простит тоже. По просьбе его прощаю, казаки.

— За це бьем тебе челом, до пояса казацкий поклон! — Костогрыз махнул головой вниз и так стоял с добрую ми-

нуту. Потом вылез вперед, поцеловал с чмоком у Бабыча руку. Казаки торжествующе прокричали «У-ра!». Растроганный Бабыч развел в стороны руки, наклонился и поцеловал (как отпечатал) Костогрыза в щеку. Это была минута, когда казаки почувствовали, что Бабыч сейчас обыкновенный кубанский старик и погонами не чинится. Так оно и положено на гулянке.

— Давай же, батько, за твою к нам любовь и прощение поцелую в твое доброе сердце!

Костогрыз под крики «ура!» поцеловал ордена св. Владимира и св. Анны на груди генерала.

Тут Бабыч и поздравил некоторых депутатов с присвоением звания урядника.

— Командуй, Лука.

— Ну, начала бутылочка ходить по столу и низенько кланяться и булькать весело. Ач, и я возьму горилочку в руки и поклонюсь тоже. Сало есть? Вон и пирожки. Чи так, то так. Перекидаем чарку в рот.

— Не-е,— отвел рукой Бабыч его торопливость.— Опять не с того. Как твой дед начинал?

— Передавали мне так. А ну, казаки, постихайте. Дед начинал с того, шо хвалил Кубань. «Як подумаю, то в целом свете нет земли богаче». И чарку в рот. А чи вы, люди добрые, знавали моего покойника деда? — обратился он к столам.— Ото ж жизнедательница наша Катерина переселяла их с Запорожья и с Полтавщины, та и нахваливала Кубань: «Там будет вам доброе житье. Там барашки, красная рыба, там добры кони и волы и щуки и караси». А девчата! — це уже мой дед балакал, а я добавлю. Не против ночи будь сказано: одну пощупаешь, а захочется всех! И язычком почмокаешь, та й годи!

— А зачем же их всех щупать, Лука Минаевич?

— Казаков же мало сперва пришло, а число где брать

— О-ой, Лука! — пискляво провыл васюринский казак поспевший с товарищами на праздник и уже уговоривший Луку свести его с Бабычем ради племенного бычка симментальской породы.

— Так ото ж, дед рассказывал — царство ему небесное, упокой его душу в лоне Авраама,— колы приехали на Черноморию, дак у нас, говорил, и пуза закраснелись, и не стало у нас никакого яствия, одни галушки, лихо ее батькý. Де как шли на сию Черноморию, то до крайности разорились: батько в речке утонул, а сапоги сыну выкинул; волки на кобылу напали и все пузо разорвали, аж кишки висят. Мать с горя билась три дня об лавку, а на четвертый встала, глаз

ну замесила и пирожков напекла. Дед мой (три годочка, но высокий) вылез из бочки, сломал лозину и давай кишки собирать и пузо кобыле зашивать. Да как шли опять на Черноморию, то снег горел и соломою тушили. Ой, лихо. Да еще как пришли на Черноморию, то был у них атаман Загоняйбыка и писарь Заплюйсвичка. Так атаман был дуже строгий: «Залезайте наверх и пукайте разом!» Дак мы, говорил дед, правда: тот пук, тот пук, та не разом. «Шо вы не разом?» Господи, прости...— Перекрестился Костогрыз и, подорванный смехом казаков, сел.

— Бреши, бреши, Лука! А мы поможем.

— Я брехать не умею. Вам пить та салом закусывать, а мне ще, как нашим батькам, в Азов за хлебом ехать. Оттуда приеду и буду жениться, а то у каждого цыгана есть жинка, и мне одному жить не личит. Так? Бабы были и раньше на Кубани, но каменные, и жениться было не на ком. У моего батька лежала одна такая под окном хаты, и я малюсенький становился ей ногами на живот, чтоб посмотреть в окно, чи готовы материны пирожки, а в грязь об нее землю с чебот счищал. Ну, хватит, иначе батько, мой двенадцатый наказный атаман, с нами выпить не захочет. Чи так, батько?

Бабыч, чтобы не унизить себя молчанием среди шума и веселья, тоже изволил пошутить:

— Я человек ще молодой и по старинному обряду пью две сряду. Насыпайте в чарки! Дай, боже, шоб наши враги рачки лазили, а у вас очи повылазили. Только и нашел, что съел да выпил. Со мной рядом стоит кацап, а стихи пишет про казаков,— подшутил атаман над Костогрызом.— Пишет, но наизусть не выучит, так я вам прочитаю.

Взошла для войска вновь зарница:
За верну службу мать-царица
Тамань с Кубанью подарила;
Хлеб-соль, как милости драгия,
Солонка, блюда золотыя,
Литавры с бахромой сребристы,
Такие ж трубы голосисты.
И знамя бранное вручила,—
В нем наша слава, честь и сила!

— Ай, Лука, матери его хрен! Добре сложил,— похвалил сам себя Костогрыз.— Но пить за него не будем. Выпьем за наказного. Кланяются тебе, наш седенький кошевой, казаки хлеб-солью, а я балычком. Пожелаем нашему наказному атаману здоровья и долго-долго носить атаманскую булаву.

— Нехай с богом носит!

— Перекидаем чарку в рот!

После первых рюмок молчали, таскали к ртам закуску, и казалось, что в одно место согнали людей, недовольных друг другом. Но минута пришла! Чарка за чаркой, и началась казачья услада, разгулялась хмельная вольность, сомкнулось «товариство», и было то, чего нельзя выдумать нарочно, что, увы, всегда пропадало как звук, едва кончались пир, полковая встреча, ужин у костра, свадьба или застолье по случаю возвращения казака из Персии, Геок-Тепе, Тавриза, Варшавы, Царского Села или даже из станицы Уманской. Выпьем и мы хоть чуть-чуть с старейшинами из запорожского михайлика, захмелеем и послушаем байки. Не будем строги к их грубоватым, порою примитивным шуткам и к кое-каким знакомым сюжетам: все дело в голосах, жестах, в настроении и простоте душевного общения всей рады, избранной самим торжественным случаем.

Костогрыз уловил момент оживления, встал и, постукивая деревянной борщовой ложкой по скляночке со смирновской горилкою, пустил вопрос к дальним столам:

— Есть тут казаки Кущевской станицы?

— Колы симментальского бычка выведешь на дорогу, то есть.

— Даст вам батько бычков, каневские, васюринцы и кущевцы, даст, шо всех телят пересватает. А ну налейте и жирненьку тараньку потяните за хвост. Готово? Перекидаем чарки в рот!

Казаки послушались Костогрыза; Бабыч выпил и присел рядышком.

— Так! — стукнул Костогрыз пустой чаркой и лукаво посмотрел вдаль на кущевского казака с таким полным красным лицом, что оно, казалось, вот-вот треснет. — Теперь слушайте. То давно было. Приехал к моему дяде кум, накрыл стол, налил горилки себе и куму, а после того и жинкам, та как закусили добре осетринкой, то кум и начал рассказывать. А я под столом. Дело ось яке. Вы знаете, шо как вода в Кубани на спад, то за плавнями надо было следить, черкесы то в одиночку, то партиями через плавни тайком подбираются к Кубани: выберут брод и ударят на казачий кордон. Тут не зевай! Заснешь — вырежут всех и на другой день объезд наступит на мертвое царство. Так оно шоб такого не случилось, с кордоном высылали пошляться по плавням человек пять-шесть. Раз и послали шесть верховых Кущевского куреня, с урядником. С вечера засобирались. А урядник Лаштабега и говорит: «Глядите, хлопцы, не забудьте чего. Мы проездим завтра целесенький день.

может, и ночь захватим, а может, и на другой день, то шоб было чем червяка заморить. Возьмите сухарей, сала в саквы та не забудьте соли, а я фляжку горилки додам. Чарки по две, по три на брата». А один казак, Терешко, обозвался: раз так, мол, то дозвольте уж и маленький казанок с собой прихватить, завтра вечером, если придется в плавнях ночевать, я галушек сварю.

«А как ты там замесишь?»

«Саквы у нас кожаные, я одну выпорожню и парой онуч застелю, на ней и замешаю. Прихвачу жменю пшена и кину в галушки, смачно будет».

«Тьфу! — не стерпел Лаштабега и плюнул набок.— Галушки на онучах замешивать?»

«Голод прикрутит, то по нужде чего только не съешь. Вон пластуны рассказывают: им и камыш доводилось хрумкать».

«Камыш! Им же губы и язык порежешь!»

«Тю! Кто старый камыш хрумкать станет? Наберут молодого, только лист пустил, подправят салом, посолят — то тебе такой борщ! Выголодаются так, шо и камышиный борщ медом покажется. Им и прикорнуть если придется, то одним оком». Эх! — громко вздохнул Костогрыз.— Выпьем за них, как ни страшно было, все прошло, а сгадаешь, то жалко.

И все опять выпили.

— А чего ж ты сел и молчишь? — спросил Бабыч.

— Ач! Лысая моя голова задумалась. Посадились на коней, перекрестились и выехали, тихонько сникли в плавнях. Выбрали прогалину, где и камыш не рос, и решили переночевать.

— Репаные казаки.

«Давайте тут и заночуем,— приказал Лаштабега,— а завтра чуть свет до дому. Только надо кругом проехать, а то как не черкесы, то, может, кабаны ночью нами закусят. Останьтесь тут, хлопцы, та нехай и Терешко тут спрячется. Он же галушки нахвалился варить. Но сильно полымя не разводи».

Смеркалось. Выехали сотню шагов со становища, Лаштабега опять:

«Теперь, хлопцы, разделимся. Вы трое завертайте направо; проедете сотню шагов или две, то заверните направо, потом столько же и там опять направо, а тогда держитесь прямо, пока нас не встренете. Как последний поворот сделаете, дайте какой-нибудь знак, шоб нам не разминуться».

«Та я,— один говорит,— крякну жабою».

«Ну а я,— другой,— по-кабаньи захрюкаю».

А в плавнях такой камыш растет, шо не только с конем сховаешься, а и конца пики не видно. Разделились и поехали потихоньку. Месяца на небе не было; звездочки моргают кое-где. Однако ж съехались обои партии.

«Кабан хрюкал добре».

«И жаба не отставала».

«К становищу!»

Приехали. А где ж казак Терешко? Возле коня нема. Стоит коняка расседлана. Кто-то напнулся на кучу камыша, там заворошилось.

«Шо це ты, сучий сын, спишь? Мы думали, придем и зараз до горячих галушек!»

«Тогда б они горячие не были».

«А воды в казанок набрал?»

«Как бы раньше набрал, прикрыть нечем, оно б напрыгало туда всякой нечисти».

«И правда. Ты расторопный хлопец».

«Каким бог уродил».

«Ну так хлопче! — похвалил Лаштабега.— Вы расседлайте там коней, обтерите им спины, а как повечеряем, то поседлайте опять на слабенькие подпруги, навесьте торбы, и так оседланные пускай стоят. Один на карауле, остальным спать, только одним оком. А теперь померяйтесь на камышину. Верхний станет первым, а там по порядку вниз. Последний меня разбудит. Ночь теперь коротка, каждому недолго сторожить. Черкес народ хитрый: мимо тебя пролезет и не почуешь».

Тишина над столами нависла удивительная. Только головы подняты были, да кое у кого рот от внимания открыт да кое-кто уже улыбался — побрехенька Луки была старая Весь смак был не в ней, в самом Костогрызе: он умел и чепухой насмешить.

— Пока урядник так наказывал, кухарь Терешко и кричит: «А ну, хлопцы, до галушек!» — «Скоро сварил». — «Шо ж,— оправдался,— у меня все было готово. Как вода закипела, вкинул туда сала, нарвал галушек, прокипело и готово» .

«Ну, так подожди,— Лаштабега ему,— усядемся, тогда и казанок подавай, а то кто-нибудь в казанок ногою в влезет».

Посадились.

«Гляди, не вылей кому на голову! Иди на мой голос, а я тебя поймаю и сам казанок поставлю».

«А темно! — один казак говорит.— Ще, пожалуй, и в рот

не попадешь. Как бы заместо галушки другого какого зверя не потянуть в рот».

«В рот-то дорога известна, а до казанка поводыря надо бы найти».

Пошутили и ухватились за галушки.

«Ты, хлопче, сала, наверно, не пожалел. Галушек не поймаешь, а от сала не отцепишься».

«Та шо за нечиста мать! Какой шматок не потяну, то едва в роте повернешь».

«Стой! Я шо-то такое поймал в роте, как бы огонь, то глянуть, шо ж оно такое? Стал жевать, а оно трошки квохчет и в роте не помещается».

«А ну и правда! — сказал Лаштабега. — Размахайте, хлопцы, огню, поглядим».

Раздули огонь. Глядь, а там жаб больше, чем галушек. Так и покидали наши казаки ложки, и уже кто-то кричит: «Давайте горилки скорее, не выдержу!» А кухарь вылупил очи и молчит, сопит. Лаштабега кинулся к своей сакве, вытянул фляжку и давай глотать горилку.

Утром повставали.

«Напойте коней, — Лаштабега приказал, — подтяните подпруги та прямесенько до дому. И не забудьте ложки разыскать, шо вчера позакидали».

«Ложки? А на шо их брать? Шоб на кордоне посудину запоганить? Нехай им черт!»

Ехали и молчали. Урядник вдруг как крякнет на нашего кухаря:

«Та как же ты все же, сучий сын, накормил нас жабами? Разве нельзя было ухом учуять, шо они там булькают?»

«Булькали, це теперь только я знаю, шо там жабы булькали. Я шурнул сало в казанок и давай галушки рвать, и думаю себе: как оно так вышло, шо вода скоро закипела? А он видишь: пока вода была холодная, они, проклятые жабинята, сидели тихо, а как трошки нагрелось, то припекло их, и они забулькали. Темно, ничего не видно, заглянешь в казанок — белое перевернется там, думаешь, шо сало, а оно! Как бы я знал, шо оно так, то сам бы не ел, а то их, проклятых, наверное, с полдесятка, если не больше, заглотал...»

«Шо ж делать... — сказал Лаштабега. — Она хоть и жаба, а все же тварь божия. Только, хлопцы, на кордоне — никому. На смех поднимут».

Та где! Разве кому рот завяжешь? К вечеру весь кордон знал, а как сели вечерять, пришлось позычить ложек, но

никто не дал. И прозвали кущевцев жабоедами. Так за ними прозвание и осталось до сего дня, а потом и весь Кущевский курень стали дразнить жабоедами. Ну как же им наш кошевой батько даст племенного бычка? Или дать?

— Да-ать! — закричала громада.

— А вы, Лука, пашковские, сме-ета-анники! — пульнул с угла кущевский казак.

— То нам не страшно. Не только круглолицая казачка, но и худючая черкешенка снимала сметану с пашковского муравленого глечика. Так. Мы, как березанские, не кричали: «Не нашу роту рубают — нехай рубают!» И огурцом церковь не подпирали — как васюринцы. Та шо там: титаровцы собаку на звоннице подвесили вместо колокола и за хвост дергали!

— Кое-кого,— добавил Бабыч,— и синештанниками звали, а они, бисови души, отвечали: «Ввиду того, шо будем строить конюшню, нам акушерки не надо».

— Я одно забыл: как таманцев дразнят. Ну, ничего,— закончил Костогрыз.— Хорошие байки. Налейте и перекинем ще чарку в рот.

Все черноморские станицы имели свои прозвища. Казаки разгорячились, каждому захотелось насмешить побрехенькой, и стали просить слова, между собою хихикать, запалили люльки. Шутки перемешали и уравняли всех. Уже и преосвященный Агафодор вышел из особого закутка, и другие с ним. Пьяная рада гоготала беспрестанно. Встал наконец-то и Бабыч и, толкаясь с пятки на носок, поджидал тишину. Костогрыз застучал ложкой по смирновской бутылке.

— Батько кошевой хочет сбрехать...

— А я за ним,— сказал, точно икнул, васюринский казак.

— Ты уже перекинул лишнюю чарку.

— Це было ще тогда,— начал Бабыч,— как меня только благословили в хорунжего. И дали мне постоянного вестового. Ну и попался ж казак до того дурной! Мучился я с ним долго. И сколько ни просил у полкового адъютанта, шоб переменили и дали другого, ничто не пособляло. Дурные ж служаки тоже нужны.

— Кто дурнее турецкого коня, хорошо служат,— опять встрял васюринский казак.

— Вот мне как-то и посоветовали позвать адъютанта и кого-нибудь еще на чарку горилки, шоб там за чаркою он сам разобрал, какой у меня казак. Я послушался, так и сделал.

— А кто ж тогда был полковым адъютантом? Небось подъесаул Рыштога?

— Та он же самый,— подыграл Бабыч нашему каневскому казаку, уже и забывшему, зачем он приехал в такую даль.

— Знал его. Покойник на льготе чаю не любил, а чарку перекидывал частенько. Тещу свою хорошо держал, царство ей небесное. Вскочит с ружьем в залу, нацелится в ее спальню, та как гогохнет под кровать — и-и. А я свою уточку-жинку жале-ею...

— А ну перекрестись! — пугнул его кулаком Косторыз.— Батько ж брешет. Не перебивать. Ты прости его, батько, казаки ж без дыму не гуляют...

— Прощаю, но бычка не получит... Так вот. Пришел ко мне адъютант Рыштога, а с ним еще два молодых офицера. Сидим мы, чай пьем. А казак же у меня такой дурной, как турецкий конь,— правильно там кричали. И надумал с ним побалакать. «Скажи мне,— спрашивает Рыштога,— правда, шо ты такой дурной, чи, может, брешут?» А тот ему: «Та чего ж там я дурной? То как был маленький, так тогда, известно, был дурной, клад в кургане искал, сорок дней не пил и не курил, щоб клад взять, и с жинкою не спал, и в кармане свечку носил, с какой ходил на страсти под пасху, и был, значит, дурной-дурной, как сало без хлеба, а теперь же я давно вырос здоровый и стал умный».— «А ну скажи мне: шо б ты делал, как бы война была с турками, а тебя послали с пакетом в какое-нибудь место? Конем ехать нельзя, а послали б тебя пешком. Идешь ты с шашкой, с винтовкой, колы выткнулась из-за горы целая сотня турков. Шо б ты сделал? У тебя винтовка в руках, та еще и заряжена?» — «Стрелял бы, ваше благородие!» — «Постой, та подумай: чего бы ты, матери твоей хрен, стрелял, колы ты один, и их целая сотня?» — «Рубал бы, ваше благородие!» — «Ну добре. А шо бы делал, колы во так бы шел при амуниции, а против тебя здоровенная рогатая корова? Ну? У тебя в руках винтовка та еще и заряжена?» — «Стрелял бы, ваше благородие!» — «Постой, ты подумай»,— адъютант ему. «Рубал бы, ваше благородие!» — «О барсук коротконогий. Зачем же ты б корову рубал?»

— Це такие огурцами церкву подпирали,— хихикнул васюринский казак.

— «Зачем бы рубал?» — «Убежал бы, ваше благородие».— «Вот дурной. Убежал от коровы? Шо с привязанной коровой делают?» — «Привязал бы ее та ще й сена подкинул».— «Оце добре. А шо б ты сделал, колы ты едешь, а

навстречу наш командир полка? А у тебя винтовка в руках и заряжена?» — «Стрелял бы».— «Чи ты сдурел? Чего бы ты стрелял в командира полка?» — «Рубал бы, ваше благородие!» — «Ты подумай хорошенько».— «Убежал бы!» — «Дурная твоя голова. Ну чего бы ты убегал от своего командира?» — «Взял бы, ваше благородие, привязал та ще й сена подкинул».— «Вот такой махамет, черти бы его удушили!» — сказал адъютант и переменил мне казака.

Бабыч рассказал историю очень затасканную, но хитрый Лука Костогрыз ляпал ладошками дольше всех.

— Ну добре, добре, батько. И ты в запорожцев. Батько одно пожалел сказать: тот дурной казак был я, но с тех пор я часто ездил с наказным атаманом на охоту, поумнел и сам про дурней рассказываю.

— Бреши, Лука, на здоровье, а мы перекинем чарку за тебя и кошевого.

— Пей и мою чарку, Лука! — закричал кущевский казак.

— А то. Кущевский как пригубит, после него и татарин не будет пить.

— Гуляйте, казаки,— сказал Бабыч,— а я проведаю начальство, может, мне и там поднесут чего кроме чаю...

— На здоровье, батько наш кошевой! — проводили его.

— А мы побалуемся.— Костогрыз опять схватил борщевую ложку.— По очам приметил я, шо хочет крепенько слово взять наш есаул Авксентий Данилович Толстопят. Ой, матери твоей арбуз печеный, перекидаем чарку в ро[т].

За этим дело не стало.

— Послушаем! — скомандовал Костогрыз.— Та не перебивайте, а то я на левую сторону глухой. Авксентий Данилович, заливай сала за шкуру. Я тебя давно знаю. И весь ваш род. Репаные казаки! Бабки моей нема, так я вам открою секрет. Колы я был с волосами на голове и мясо много ел, то ударял в кой час по вдовушкам. Наберу мешок пшеницы — и через сад до Акилины в окно. И так раз навалил в мешок, еле донес. Она самогон варила, без мужика, ясно, скучала. Захожу, а в той комнате коптилка. «Ку[да] мешок поставить?» — спрашиваю. И слышу голос знакомый, а це дядько Авксентия, лет под шестьдесят. Указывает [из] комнаты: «Та ставь, Лука, туда, куда и я свой поставил».

— Ха-а-а-а! Добрые казаки!

— О такие Толстопяты, матери их хрен. Ну, послушаем Авксентия.

— Бреши! Мы уже уши наставили.

Большеглазый, седой Толстопят посмотрел на сына Пе[т]...

ра, потом вокруг и тихим неохотным голосом, без намека на улыбку, начал:

— Кошевого нема? Ну, не передавайте ему, хлопцы. Сейчас хвалятся: войско, служба, мы, мы! Ну какая теперь служба? На вола сядет казак, к воротам, а они закрытые, он развернул того вола и прямо на забор. Мать: «Погоди, ворота открою!» А батько: «Нехай скачет через забор, мне трус не нужен. Або герой, або мертвый». Сын с волом перемахнет забор и давай шашкой жинку гонять. А батько уже пишет в штаб: «Прошу моего вола, имеющего счастие возить моего сына, наградить узким золотым шевроном за беспорочную службу медалью на андреевской ленте (для ношения на шее), а также присвоить волу звание урядника и перевести на казачий оклад, а то я продам эмиру бухарскому».

— Та чувал пшеницы вдове Акилине! — захохотал каневской казак, уже второй раз пивший вместо горилки кисляк из глечика.

— Какая то служба? Вот когда мы служили, то была слу-ужба. Как сберется наше войско та глянешь на него верст за сто — не иначе мак цветет в степи. Кони были у нас цыганской породы, а на масть — шо твои гадалкины юбки. Седла были дубовые, стремена ясеневые, а за уздечки и подпруги и балакать нечего: с самого лучшего ремня, с шерстяным набором. Ну какая теперь служба? Купит батько гвардейский сундук, насыплет туда два мешка муки, сын везет в Царское Село в конвой и ходит к молочнице на блины. Вот у нас было: у каждого казака около пояса и карбиж висит, и каждый добре знает, сколько человек в сотне. Был у нас сотник Вырвикишка. Приказывает: надевайте, хлопцы, на себя все, шо у кого есть: не будет холодно. Так мы его и слушали; как наденет казак на себя бешмет, а на него чекмень, а когда кожух, а сверху него свитку, а на нее бурку, так откуда ни глянь — кругом одинаковый! А как сядет казак на коня — то черт его с места ворохнет.

— То каза-ак!

— Как сядем мы на коней та поедем на войну в Пашковскую. Выехали мы раз в степь, колы глядим — какой-то чертов сын настромил на ратище кичку, а сверх бабскую шлычку и поставил на горе, а мы ж про то знаем, та с тою кичкою и с бабскою шлычкою семь лет, как семь часов, провоевали. Стоим так один раз у трактира Баграта и воюем. Глянули на Старый базар, а там татары: с дрючками, с палицами, с корзинами. И прямо на нас прут! Ну теперь, думаю, я сам себе, наверное, уже война будет, а не битва. Так

и вышло: как стали мы с ними биться, как стали рубаться, так кровь из нас как вода льется, а ременные наши сабли аж бряцают. Татар было двенадцать, а нас сто двадцать, и мы до того бились, шо поравнялись: их стало двенадцать и нас двенадцать...

— Добре!

— Как подскочит татарин к сотнику та репнет его дрючком по спине, то только луна пошла. Как крикнет тогда сотник: «Хлопцы, на коней!» — «А у меня, пан, кобыла!» — кричит Лука Костогрыз. «Садись на кобылу, черт ее бери!» Метнулся Костогрыз, так за семь часов как тот воробей сел.

— Вот собачьей души казак. Джигитовку добре знал.

— Схватили мы коней домой, татары нас только и видели. Бежит Костогрыз по-под горою тихонько и заскочил в трактир. Заскочил, слез с коня и начал зараз кашу варить, бо дуже голодный был. Варил, варил кашу, та недостало пшена, и он наварил галушек. Затолкал сала, заправил цибулею — глядь: к нему татарин на мурой кобыле! И как вы хватит ременную саблю та как ударит его прямо по голове, а она обкрутилась раза три вокруг шеи и по губам ему только: бринь! Он был такой казак завзятый, шо и тут не испугался. Ухватил пушку, засунул в нее добру галушку, а поверх нее горячую юшку та как бебехнул того татарина — р-реп посредине его мимо! Татарин сквозь землю провалился. Трактирщик Баграт шустовский коньяк тащит: «Ой, выпей, к чертовой матери!» Вот как мы в старовину служили, свой родной край от ворога обороняли. Можно б ще добавлять, но слушать некому: хлопцы уже и горилку попили, и спать поуклались...

— Не-е, мы, малолетки, будем гулять до света,— сказал Костогрыз,— а как захочем спать, так тут в куточку и ляжем с девчатами покотом. Хто там хрюкает кабаном? Танцевать! А шо ж мы будем танцевать?

— Нашего запорожского «пьяного казака»!

— А где ж музыка? А где ж наш струнный оркестр? Ну, откидайте столы. Сыра земля, расступися!

«Пьяного казака» изображал васюринский, длинный, комичный, а каневской и кущевский ему помогали; это им давалось легко, так как ноги хорошо зацеплялись. Потом снял шашку Лука Костогрыз и вошел в круг с поднятыми руками. Крики, хохот покрывали музыку. Пыль взвилась столбом. И лишь слепой звонарь не мог видеть казачью пляску. Он согнулся на углу стола и одобрительно улыбался. Казаки поддразнивали его: «Прокофьевич, идите до

нас!» Он махал им рукою, благословлял топать в сто ног и опять замыкался в темном своем сиротстве, бог знает как воображая себе картину. Может, в какой раз с покорным вздохом лелеял он свою заветную мысль: гуляйте, гуляйте, много вас гуляло, та все уже там... Костогрыз приказом вскинул руку кверху, все озорно затихли: сейчас скажет что-то важное.

— А не пора ли нам до колодезя? Воды попить, а лишнее отдать... Шкуринцы, шо, говорили, вместо холеры под мостом корову прикончили, и ты, васюринский бычок, и все вы, кто не нашу сотню рубал, и кто вместо матки в улей черного жука запхал, берите меня под руки и-и...

Но оставим их... отвыкнем от таманской гульбы... взглянем на ночное небо: вместе с запорожцами, сочинителями письма турецкому султану, они там, где и предрекавший всем неминучую судьбу слепой звонарь,— их давно-давно нет на свете...

. . . .

— Еще раз простите меня,— сказал Толстопят утром Шкуропатской; праздничные удовольствия кончались, и надо было расставаться. Начальство, гвардейцы, чиновники отбывали раньше — прочие отрывали от своей жизни день на спектакль «Казацкие прадеды».

В двенадцать часов еще раз окружили памятник, и генерал Бабыч зачитал высочайшую телеграмму: «Передайте кубанским казакам мое сердечное спасибо за выраженные Мне верноподданнические чувства. Верю в их преданность Престолу и Родине. Николай». Текст телеграммы можно было угадать заранее; будь праздник в Тамбове или в Иркутске, слова разнились бы ненамного. Все, однако, простодушно, как откровению, хлопали. Далеко в Екатеринодаре кто-то прочитал отчет в газете и сказал: «Почему преданность сначала престолу, а потом уже Родине? Что же все-таки выше? По мне, дак на первом месте дожна быть Родина».

Толпою провожали Бабыча, слугу царского, и он самодовольно кивал головой по сторонам. Уже где-то высоко-высоко летело вниз, на темя власти, смертельное копье, уже кто-то в небесах расчислил земной срок Бабыча, но не таковы люди, чтобы гадать наперед.

Пароход «Вестник» дал второй гудок, когда Бабыч вышел из хаты в сопровождении атамана. Шпалеры пластунов, депутатов, льготных гвардейцев, певчих протянулись до

сходней. Едва генеральские эполеты сверкнули за калиткой, как ему навстречу, смахнув с головы папаху, выдался Лука Костогрыз.

— Будь здоров, батько! Громада тебя благодарит, и я, сивый, благодарю, шо ты предков почитаешь. Люди кроют хаты кроквами, а ты шапки моих братьев-казаков укрыл галунами, за то тебе кланяюсь до пояса. Садись, батько, на табуретку, вот бурка, а я буду укладывать тебе от казаков на дорогу харчи.

— Добре,— сказал Бабыч и сел.

— Так слушай же, батько, шо я тебе принес. Оце тебе пляшку горилки за то, шо ты казак. Положить в котьму?

— Клади.

— А оце в бутылке квасок, может, где под кустом умочишь сухого хлеба кусок. Класть, батько?

— Клади.

— А оце тебе, батько, шматочек сала, шоб про твою буйну и умну головушку и про нас всех пронеслась слава. И це положить?

— Клади.

— И оце тебе, батько, кусочек сыру,— у тебя, нашего кошевого, головушка сива. Класть?

— Клади и це.

— А ось тебе и хлеб, да прибавил бы тебе бог век. Положить в котьму?

— Клади.

— А оце тебе два яблочка от самого меньшего Костогрызова правнучка. Класть?

— Клади.

— А оце тебе головка чесноку с кошевого войска кошевому казаку. И це?

— Клади.

— А оце тебе маленький кавунец, шо ты, ты, добрый кошевой, молодец. Положить?

— Клади.

— А оце... завезут тебя пьяные пароходчики аж у Стамбул, то передай самому турецкому султану письмо и от меня, нехай не думает, шо мы ругаемся хуже тех запорожцев. Дать?

— Клади, Лука, ты добре пулю отливаешь, я знаю.

— А оце тебе железную цепь-колбасу — я ж тебе, батько, аж до воза отнесу.

— Тай годи! — Бабыч встал.

— Прости нас, батько, за все, может, шо не так?

— Спасибо тебе и войску за все це! — сказал Бабыч и поцеловал Костогрыза.

Лука взял мешок с харчами, потужился для смеху и понес за генералом к пароходу.

— Наклали мне харчей, хватит до самого Константинополя.

— Чихай, батько, на здоровье, счастливый тебе путь. И шоб дал нашим храбрым казакам племенного бычка.

Бабыч поклонился на четыре стороны — по-запорожски. Под музыку поднялся он вместе с преосвященным Агафодором на мостки. Слепой звонарь послал им с колокольни несколько прощальных ударов.

Попсуйшапка тоже махал с палубы фуражкой всем-всем, кто вышел на берег.

. . . .

— Лучше всего помню разговор с Калерией Шкуропатской,— говорил мне через пятьдесят лет Петр Авксентьевич Толстопят.— Праздников в России было так много, что они все смешались в один. Помню слепого звонаря. Только его «пророчество» и сбылось...

— Я не могу об этом вспоминать,— сказала в эти же дни Калерия Никитична Шкуропатская.— И не хочу. Еще все были живы. Отец там был мой, нет, не могу, я буду плакать...

А мне, теперешнему скромному летописцу, всегда будет жалко, что я не сидел с ними 5 октября за столами...

. . . .

О том пиршестве долго судачили по кубанским хатам, возвеличивали за шутки Луку Костогрыза, но потом, волею времени, засорились и иссякли местные предания настолько, что в семидесятые годы, отыскав в селе Витязеве под Анапой престарелую внучку некогда знаменитого пашковского казака, я как волшебную сказку преподнес ей рассказ о том октябрьском дне в Тамани, и она, со слезами подавая мне мутную, затекшую, где-то десятилетия пролежавшую в сырости карточку Костогрыза, охала: «Та неужели ще есть такие люди, которые помнят моего деда?!»

ПЕРВОЕ НЕСЧАСТЬЕ

В дни таманских праздников Дементий Бурсак разъезжал в фаэтоне по восточной степи. Ему было не до многолюдных торжеств.

Выдалась сухая, божески-кроткая осень с мошками над водою, со стогами сена и россыпью огромных кабаков на казачьих кошах, с конскими табунами вдали, под чистым небом на закате. Даже в предчувствии холода, слякоти, тления трав и листочков степь все равно звала к полной долгой жизни, сияла ранним осенним сиянием. Все повторится, все заново прорастет из земли!

«А я? — спрашивал Бурсак незнамо кого. — А я там и останусь...»

Так однажды было и будет со всеми: кругом вечный свет земного бытия, обилие плодов, трепет птиц, крики девичьих голосов, обещание счастья векования твоим сверстникам и потомкам, а тебе, скоротечному, ударил срок смиряться с роковой участью и ждать последнего вздоха.

С чувством неизбежной разлуки Бурсак глядел с некоторых пор на все вокруг.

Еще недавно после театров и полуночных ресторанов он просыпался вялым и опустошенным. «Бонвиванское царство», как называл Толстопят компании молодых panычей и дам, заманивало его в свой круг два-три раза в неделю: заезжали к последнему акту в театр, оттуда на извозчике в ресторан поужинать с шампанским, а в третьем часу ночи под тусклыми фонарями, мимо столба-городового Царского спешили к чугунным ступенькам особняков, в постельку. Теперь, в конце века, когда как-то не пошумишь между собой без обильной выпивки, можно вообразить о екатеринодарском бомонде что угодно; но все будет не то. За дамами больше ухаживали, нежели соблазняли, о политике рассуждали так мимолетно, будто пересказывали мемуары прошлого века, цедили пару бокалов шампанского по часу, и все удовольствие состояло в антураже, в сознании того, что они гуляют, проматывают вечернее время, забавляют дам остротами и болтовней. Пустота к утру, наверное, была от этого. Днем в суде надоедали житейские драмы: убийства, ограбления, тяжбы за наследство и т. п.; там жизнь каралась по всем строгостям закона, и Бурсак вылавливал зацепку, чтобы притушить ее грехи; вечерами он покорялся воле этой жизни. Легко выносить приговоры правительству, нравам столичного общества; сами люди мало следят за собой. Несмотря на все примеры праведной жизни святых угодников, проповеди в церкви, моралистские увещания Толстого, несмотря на угрозы первой революции отомстить за бедных, покончить с праздною вольницей, счастливчиков затягивала петля удовольствий, выгод, взаимной поруки и мирских утех.

Неизвестно, как долго бы чередовалось легкомыслие с хандрой, если бы в начале 1911 года Бурсак не заболел. Выпил как-то на балу в дворянском собрании ледяной воды, и, хотя пил маленькими глотками, наутро стал душить его кашель. Знаменитый в городе доктор Лейбович болезнь ему не назвал, но напугал Дементия всякого рода намеками. Настроение сразу упало, в груди каждый день кололо, в один миг опротивели ему прошлые бравады, речи, сладострастные побуждения. И без того мнительный, Бурсак счел себя на этой земле обреченным. Вдруг возгорелся он вниманием к великим, давно усопшим наставникам, с малых лет постигшим горние мудрости и счастье человеческое, и каялся, что золотые прописи их относил к юродству. Он завел дневничок, читал только древние книги, выписывал себе в помощь, во спасение духовное лекарство. В Александро-Невском соборе с надеждой ставил свечку у иконы св. Пантелеймона-целителя, раздавал нищим рубли, на звон колоколов за домами всегда крестился. «Боже,— шептал,— да будет воля твоя, да не оскудеет же вера моя в тебя, да будет сие наказание за грехи мои не к смерти, а к славе твоей! Ради молитвенников твоих, помилуй мя и исцели. Не оставь меня. Господи, боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь спасения моего, господи...» От тетушки Елизаветы скрывал, было стыдно своей прежней сухости, когда она ходила в церковь причащаться или постоять на чтении двенадцати Евангелий.

Только в романах ничего не значат болезни; там герои страдают друг от друга. В жизни без здоровья ничто не радует. Что теперь все российские события, праздники, юбилеи войн и царства Романовых? Ты воистину один. Ни власть, ни положение, ни фамильные тарелки никак не защищают тебя от напасти природной. Ты калека — как те, что трясутся и тянут руки у церкви, коих ты зачастую и не замечал. И так обидно, так обидно пропадать под голубым небом: почему тебе не повезло? Почему раньше своих сверстников ты должен закрыть глаза навеки? За что тебе так?! И кого позвать на помощь? Может, правда есть чудо? Пожалей, господи, и спаси, я в тебя буду верить.

Таковы люди. Таким был и Бурсак.

Сны теперь до зыбких подробностей запоминались ему. Накануне казачьего праздника в Тамани видел он нового угодника Феодосия, архиепископа Черниговского, по благословению которого укрепилась на весь сентябрь теплая погода. Шел будто Дема по дороге и заблудился. Вдруг блеснули вдали купола какой-то церкви. Кто-то подсказал ему,

что там покоятся мощи св. Феодосия. Он пошел туда. И что же? На правом клиросе серебряная рака, у амвон толпа. На амвоне архиерей читал проповедь. Дема протол кался к святому гробу, припал к нему и молился. Внезапн крышка гроба открылась. Лежавший внизу архиепископ благословил его несколько раз; Дема лобзал ему руку. Ар хиерей поклал свою тоненькую ручку ему на уста. Ручка была маленькая, правильная, но не по росту. Умиленный Дема вышел из храма и перекрестился, обернувшись. И странно: на дороге пожар, горела почти вся станица Ка невская. Он зазевался у одной хаты и сказал казаку, похо жему на его дядю, покойного мужа мадам Бурсак: «Отче ты не помолишься святому Феодосию?» — «Его раку ра били». Дема удалялся, спешил домой, и одно его больш поражало: св. Феодосий благословил его «малою рукою» в этом было нехорошее знамение! Потом на дороге засти ему свет императорский вагон, отцепленный от поезда, и в нем печально молчала монахиня с глазами Калерии... Дема достал наконец из кармана просфору и скушал.

Тетушка искала ему лекарей. Какое то было время. В станицах народ обходился знахарками. Возле рожениц в дежурили в чистых палатах аккуратные сестры, а ворочал в хате чугунами с горячей водой мудреные бабки. Родила какая — значит, бог смерти не дал. Еще она стонет, а уж тащат в хату перерез, заливают кипяченой водой, сбрасы вают на дно раскаленные кирпичи и пули. Больную зата кивают туда париться до тех пор, пока выдержит. Потом дадут ей рюмку водки с перцем. На другой день она носит в сарай сено. Городские ученые доктора пичкали микстура ми, но столько людей умирало, что некоторые казаки ни когда к ним не обращались, лечились травами Чайчих.

Как-то привез тетушку из театра Терешка и проговорился о травниках в монастырях. Бурсак и попросил его повезти туда.

— В Марии-Магдалинском поклон матушке игуменье Архелае,— сказала тетушка перед его отъездом, на ночь (она просыпалась поздно).— Посылаю ей денег на помин души дяди твоего.

О многом передумал Бурсак за дорогу; шутки трех каза ков, гнавших лошадей к Бабычу за племенным бычком вроде никогда не собиравшихся умирать, Терешкины рассказы о Швыдкой, припоминание процесса над помощни ком полицмейстера, убийцей братьев-подпольщиков, его жалоба через Бабыча царю о помиловании, анекдоты про обжору Фосса, тайный роман тетушки с доктором Лейбович

нем — все подсказывало ему о животной дерзости суетиться до «скончания жительства», ногтями выцарапывать свое счастье. А когда ночью под блаженным простором звезд вздрогнешь от приближающегося конца, просишь небеса об одном: дал бы кто-то просто дышать, глядеть на неизреченную красоту — и ладно бы, и уже бы не искушал себя никогда похотями бытия, а изо дня в день приосенял душу благими чувствами, «препоясавши чресла ума своего...».

Мужской монастырь под станицей Чепигинской недаром прозывался Лебяжьим: послушники развели на окружающих двор озерах белых и черных лебедей. В модном усадебном журнале Бурсак как-то читал стихотворение о лебедях, и там, среди слащавых картинок и фотографий барских особняков, беседок, лужаек, оно прозвучало постыдным украшением самодовольства и безделья помещиков. Теперь почему-то обворожило меланхолией.

Лебеди белые, лебеди ясные,
Светлые гости затона глубокого,
Словно вы отблески, грезы прекрасные,
Призраки легкие счастья далекого.
Словно вы ветром осенним гонимые,
Райских цветов лепестки облетелые,
Словно вы тени, когда-то любимые,
Лебеди ясные, лебеди белые!

Везде свой час жизни. Монахи растили птицу, возили камыш, сами готовили пищу, лечили чепигинцев. Некоторые, уже старые и больные, лежали в кельях распростершись и молились.

Бурсак представился настоятелю, затем был на вечерней службе; с ним говорили тихо и кротко, будто с прискорбием в голосе. Его пустили в библиотеку. С таящимся стыдом смотрел он на свято-отеческие творения, в большинстве ему незнакомые. Книги — дары монастырей России — были уникальны. Он их никогда не читал. Зачем были светскому человеку, присяжному поверенному, копавшемуся в людских пороках и не утолившему еще жажды вечерних свиданий, какие-то беседы Макария Египетского? Зачем ему «Ключ разумения», «Меч духовный» или сто двенадцать слов Ефрема Сирина? Рано еще. Монашек, достававший книги с полок, знал, казалось, про невежество Бурсака, но щадил его, «пришедшего от мира греховного». Почивать отвели его в гостиницу, в ту келью, где давно-давно, в 1867 году, при архимандрите Доримедонте («Покоится в обителях рая боголюбивая его душа»,— сказал монашек), провел авгус-

тейшую ночь великий князь Михаил Николаевич, тогда наместник Кавказа, чьего сына-то и нянькала несчастная невеста деда Петра — Анисья. Тогда пу́стынь, поведал все тот же монашек, не располагала к посещению ее благочестивыми богомолками: собор протекал, трапезная церковь прогнила и развалилась, настоятельский дом сгорел. Из окна Бурсак разглядел все. У выездных ворот была иконо-книжная лавка; за колокольнею — домовая церковь св. Саввы; в северо-западном углу каменный флигель для просфорни и труждающихся при нем братий; еще далее трапеза с кухнею, два больших ледника, еще дальше амбары, а к северу братские кельи под железом и храм св. Екатерины. Вдали за монастырскими стенами виднелись крыши скотных дворов, поля и огороды, кладбища, где иноки, когда возглашала архангельская труба на страшный суд божий, принимали уготовленное им место покоя. На другой день Бурсак снижался в храм св. мученика Самуила, что в пещерах, с иконами, писанными на цинке. Он ходил по обители словно по музею и, когда его допустили в ризницу, записал в свою книжицу все дары, чтобы рассказать потом о них Калерии. Книжицу эту он навсегда увез с собою в Париж, часто раскрывал ее и спрашивал: где теперь достояние обители? Уцелела ли Толгская икона божией матери («почитаемая как благодати причастная»), немало XII века? Где икона св. Николая (в рост, в полном архиерейском облачении), вторая святыня Лебяжьего? Где икона успения пресвятой богородицы, висевшая над царскими вратами собора и снимавшаяся после вечерни каждого воскресного дня, когда пред нею свершался акафист? Где сребропозлащенный потир 1753 года? Два кипарисовых креста с надписью: «Дал по обе́ту казак Поповического куреня Софроний, 1769 года»? Четыре митры Межигорского монастыря? Два наперсных креста с рубинами и финифтью? Риза красного бархата с золотыми травами и вышитыми на оплечьях золотыми ликами Спасителя и святых? Риза красного штофа с золотыми и шелковыми травами — надписью: «Помяни, Господи, раба своего Кондратия и рабу свою Меланью и чад их, року 1661 года»? А Евангелие московское на александрийской бумаге — «В вечное поминовение по родителях своих, лета от Рождества Иисуса Христа 1689»? И проч., и проч. Ужели все это пропало, разорвано на куски или продано на декоративные украшения театру оперетты? Или увезено за границу беглыми казаками и там передано православным церквам? Или они в музее под Парижем? Тогда Дементий не мог помыслить, что чья-то немонашеская рука когда-нибудь при-

тронется к ним. В Париже он только вздыхал и думал, что тогда древностей на Кубани и по России было так много и были они частью народного обихода, и кощунством бы уколола паломника мысль, что вскоре они станут просто художественной реликвией. Не одними дивными красками восхищалась душа, она ловила в умерших веру, мимолетно скорбела по чьему-то имени: какой-то Софроний, какая-то Меланья, они жили, их нет давно...

Востроносенький монашек лет пятидесяти пяти, один из тех, кто и в старости худенькой фигуркой и каким-то вопрошающим незнанием в голосе напоминает наивных юношей, наутро сам нашел Бурсака и пообещал свести к послушнику-лекарю.

— Вы несчастны, вам больно? — ласково приставал он.— Читайте пятидесятый псалом Давида. Что, матушка? — быстро перебрасывал он свое внимание к женщине, приставшей к ним сбоку, часто моргавшей, с раззявленным ртом, из которого текли слюни; она их подбирала ладошкой, да так и держала на весу мокрую руку.— Всех бы накормила, всех напоила, и детишек на путь наставила, а теперь уж и сама готовишься в последний путь ко господу. Страдалица, кормилица наша.

Бурсак мельком подумал о своей бабке Анисье. Где она, по каким божьим местам вот так же скитается?

— Вы бы положили на меня руки,— медленно, по слогам проговорила несчастная.

— Приди, приди ко мне, страдалица. Единолично каждый за всех людей и за всякого человека виноват,— сказал монашек уже Бурсаку.— Сие сознание есть венец пути иноческого. Всяк ходи около сердца своего, всяк себе исповедайся неустанно. Греха своего не бойтесь, лишь бы покаяние было.

— Каюсь, каюсь...— отвечала ему больная и несчастная.

Бурсак молчал, недостойный вставлять свое слово в лепетанье монашка, обрекшего себя на затворную жизнь.

— Всякий, кто пришел сюда, познал, что он хуже всех мирских и всех и вся на земле. Чем дольше живешь в стенах сих, тем чувствительнее сознаешь.

— И это правда? — спросил Бурсак.— Вы правда чувствуете, что хуже меня? Грешнее воров, блудниц, тюремных начальников, министров?

— Истинно. Как вы не поймете: вы в миру, а я на божественной страже до конца дней моих. В терпении, скорбях, в тесноте пробуду.

Они отошли и сели в уголку. Монашек ластился к Бурсаку, как к родному брату, не кончался в желании что-то внушить и помочь больному откровением. Постороннему было бы непонятно, отчего глаза Бурсака так расширены, что поражает его? В глазах Бурсака жило еще чувство вины — надо сказать, вины беспричинной в житейском смысле. Всегда легко было укорить его совесть.

— Читаете много?

— Каждый день, каждый день, добрый человек.

— А сами откуда?

— Симбирский, с матушки-Волги. Из усадьбы Карамзина.

— Много времени здесь?

— Суетен твой вопрос, брат мой. Мало ли я провел в обители лет или много, все будет не столько, сколько нужно. От дней рождения нас нужно заключать в сии святые стены. Пешком пришел. И к отцу Иоанну Кронштадтскому пешком ходил.

— Что ж он вам сказал?

— «Иди с миром, нагого увидишь — одень, босого — обуй, голодного — накорми. И тебя господь пожалеет».

Бурсаку тотчас вспомнились городские сплетни о покойном о. Иоанне.

— Сам-то он, пишут, подарки брал...

Бурсак сказал и вспугнулся: не рассердил ли он монашка? Но монашек лишь сверкнул изумленно ласковыми глазками.

— Пишут,— продолжал Бурсак,— шкап открыли, а в нем девять тысяч рублей кредитками и ценными бумажками и две тысячи золотыми монетами. И мешок серебра, мешок старинных монет. Бриллианты, золотые пуговицы, пятьсот штук для застежки подрясника, зачем пятьсот? А уж рубашек, полотенец, шелковых носовых платков, шуб — не счесть.

— Пишут и пускай пишут. А мы его знаем. Пишет кто? — с какой-то даже улыбкой, с прощением сказал монашек.— Злоба чужая сплела ему терновый венец: насмешки, издевательства, клеветы, хулы хищников печати, так? — Монашек опять улыбнулся.— А он был? — тих и покорен богу. Похоти были в неведении его. Конец жизни какой? Кроткий, смиренный. В горном мире ангелы божии вечно поют ему херувимскую песнь. С Толстым сравнить? — Он ждал и не ждал ответа от Бурсака; помолчав, улыбнувшись, продолжал тем же тоном вопрошения, удивления: — Один, как лампада, угасал. Друг бедных и больных, скор-

бящих и обремененных. Кругом него слезы и молитвы, чудеса исцелений. Все к нему сердцем стремилось. Он дитя божие, надо уподобиться такому дитяти, чтоб войти в царство божие. И апостол разумел тоже? Толстой смирился? Кто к нему шел? Ненавидел Россию, святую веру, воровал, блудил, судился, убивал. Так? Самомнение, гордыня. Все вокруг Толстого соединилось.— Монашек вгляделся, поколебал ли он Бурсака.— Вот вам один и другой... У одного детство на диком севере. Бедность, глухое село. Уединение дома, путешествие в Архангельск пешком, «идешь и сны на ходу видишь». А у другого? Приволье, богатство с пеленок, свет, кутежи, ссоры, опять кутежи. У отца Иоанна приход, дар молитвы, чудотворения, труд, труд без конца. Личной жизни нет? Нет. Хищники печати пишут, а мы знаем его духовные подвиги. У Толстого: охота, вино, женщины, расстроенное от пороков тело. Дар великий, правда? И сотни тысяч дохода от книг. Проведши юность в блуде, он пишет о целомудрии и даже ненужности брака. В барских причудах шьет сапоги, косит траву. Отрицает типографию и литературный труд, а без конца пишет и печатает. Отрицает государство и пользуется всеми его благами, его защитой, его порядками. Проповедует о любви? Зачем же пишет с ненавистью о церкви, о власти, возбуждает чувство злобы к царям, архиереям и начальствующим лицам? Кому на пользу? Лицемерие: прекратить брачные отношения, а сам в шестьдесят лет родил сына. Он «не может молчать» при виде казни преступников, но он молчит, когда эти же преступники, почитающие его своим учителем, казнят самовольно невинных людей, бросают бомбы. Блюдите,— говорится,— как опасно ходите. Много лжепророков вошло в мир. Не от тленного семени, а от нетленного, от слова божия, возрождаемся... Не видишь, а любишь.

Монашек уловил, однако: Бурсак не может переступить через Толстого; глаза только расширены от удивления.

— Подите туда,— показал монашек на церковь,— там всякий уверует и возродится. У вас хворь души... Вам больно?

Этот вопрос простой души человеческой трогал Бурсака больше всего. Пролетит много-много лет, сменится власть, уйдут старые и вознесутся новые вожди России, перемелется в сознании тьма разговоров, в журналах и книгах будут рассеяны имена прошлого, осуждения и здравицы забудутся, а нечаянное сочувствие монашка: «Вы несчастны? Вам больно?» — станет известно от Бурсака всем его знакомым, парижанам, русским, и мне, родившемуся после всполохов.

— Читайте пятидесятый псалом Давида,— наказывал монашек и за воротами монастыря, провожая Бурсака.— Читайте «Помилуй мя, боже!»

Благодарный Бурсак уезжал все же из монастыря с облегчением. Нет, он человек светский. Даже во сне не желал бы покинуть Екатеринодар ради обители и изо дня в день приучать себя молитвой к скорби. Надо жить!

«Просветляйте свое духовное око,— слышался ему в степи голосок монашка,— и просветляйте его постом, размышлениями и молитвой. Духовный взор ваш молитвой очистится, проникнет в самую глубину жизни и узрит там одно: невыразимую, непередаваемую словами скорбь. И уверуете вы тогда, что скорбь — удел земли. Носите ее, любите ее как вечную спутницу жизни. Всю жизнь я стремился узреть истину, и она — в скорби; всю жизнь искал исцеления в скорби мира, и оно — в молитве. Не переставайте размышлять над жизнью и душою».

«Нет, нет,— отпугивался Бурсак.— Не хочется скорби. Пусть если так суждено будет, она сама настигнет в долгой жизни, но лелеять ее смолоду нельзя. Надо жить, жить».

Он рвался к Калерии в Хуторок. На душе был прелестный обман: монашек, добрый его гений, будет молиться за него и чудотворно поможет ему воскресить свои силы.

Степь увядала, шуршала на ветерке кое-где засохшими травами. Птиц было слышно менее, и уже по высокой бесследной дороге вверху выстраивались наконечником стрелы и летели в незнаемые земли дикие утки и гуси.

Как быстро все переменялось в его душе! Едва за греблей высунулась над дубами вышка, Бурсака затеребили сладостные чувства: с какой книжкой в руках лежит его Калерия? Как она выйдет к нему? Скорей, скорей!

— А они в Тамани,— сказала ее мать.— Ты подумай! — жалела и извинялась она, словно была виновата перед гостем за свою дочь.— А вы поживите, чи шо.

Она покормила его и извозчика вкусным борщом, бараниной, но поговорить им не пришлось: дурная Катерина, приживалка с крошечною головкой, с мясистым носом, не отставала от них. «Я ж така красива девка! — повторяла она слова, которыми ее, видать, дразнили конюхи.— Здорова, как корова, а дурна, как овца. Мама, мамушка, где мои куколки и жестяная ложечка? Телят я напоила, кабану помои носила».

Монашек бы сказал: «Убогого пожалей».

Ночевать в Хуторке было бы стыдно, и Бурсак поехал

в Роговскую, откуда утром Терешка провез его до Марии-Магдалинской пустыни.

За ворота монастыря вышла к ним Олимпиада Швыдкая с хорошенькой юной монашкой.

Так вот она какая, екатеринодарская Мария Магдалина, скиталица по Малой Азии и Египту, некогда разовая жена случайных господ, бандерша, ныне проходившая послушанием по чтению и пению на правом клиросе, по золотошвейным рукоделиям; ее руководствовала игуменья Архелая к подвигу, который не будет,— говорила,— записан ни чернилами, ни тростью, но всем будет ведом в обители. И это на ее денежки из матраца поднялся в своем промысле мордатый Терешка. Покаялась? Одни ли кроткие глаза отца Иоанна обратили ее на путь иноческий? Все может быть. Неисповедимы пути. Бурсак читал недавно о жажде целой толпы вернуться «на детския круги своя». Он видел на фотографии женски-покорное лицо отца Иоанна. Пропадешь — в кого не поверишь! Пришлешь святому карточку, обрезанные волосы, попросишь благословить молитвой, освященной водой. Так на Руси великой. Другого приюта пока у людей нет. Если толпа, простирая руки вперед, крича и плача, затискивала отца Иоанна в угол и он, смертельно бледный, беспомощный, стоял у стены; если по исчезновении его из храма паломники все еще долго молились и молились среди обрывков веревок, дамских нитяных перчаток, кусочков вязаных косынок и прочего; если сапожник бросался снять мерку с ноги батюшки, чтоб и с него сняло болезнь; если, сколько ни была там Швыдкая, все кричали люди: «Батюшка, спаси, спаси! Батюшка, благослови!» — то как же кубанской блуднице было не восприять помощь от славы всемогущего старца? И обман бывает целебен. Живем разбейшапками, пока не потеряли в жизни все. И опять Бурсак колебался, сторонился мира греховного, алкал правды блаженной и вглядывался в «избранное стадо». Странными казались ему в юности походы старух и молодиц в Иерусалим, ко гробу господню; замогильными лампадные запахи в церквах на службе; жалкими, гнойными причитания юродивых: «Вот я, недостойный, худший из худших, грешный». А не так ли? Не есть ли сирые, покаявшиеся, вечные калики перехожие, монахи «на божественной страже», чуткие души с ясным сознанием, те самые счастливцы, которых мы не понимаем? Мир есть тайна.

— Подвиги послушания настолько тяжелы,— робко пожаловалась Швыдкая Терешке,— что только слезы облегчают.

— Скучно? — спросил Бурсак, любуясь ее смоляными бровями, живым блеском глаз и неувядающей грудью.

— А чего скучно? У нас хозяйство. В праздники осетрина в борще, в каше масло, хлеб у нас хороший... Игуменья Архелая добрая. Богомольцев, сколько бывает, всех кормим, и ни одной копеечки, разве кто по усердию.

Бурсак все никак не мог забыть ее историю. Неужели? Неужели завяли все ее пороки? И зачем здесь красивая чудо-отроковица? От какой беды спряталась она в келью? «Не подобают,— сказала,— нам земные привязанности». Ах ты, голубка, сизая, да ты их познала раньше времени, что ли? Но нету, нету в глазах тени пороков.

— Равны ли вы тут?

— Равные перед господом, да неравны меж собою,— ответила монашка тише обычного и отступила шага на два.

По обители разносился печальный перезвон, возвещая окрестностям какую-то скорбь.

— Ну, благословите нас идти,— отпросилась у него монашка таким сожалеющим тоном, словно являлась к нему на свидание.— Пора живые цветы нести на могилу.

— Кому?

Был сороковой день кончины мантейной монахини Марии; сорок семь лет усердствовала она в монастыре Магдалины, из коих двадцать восемь в совершенном уединении. По церковному чину ее погребли под Мамврийским дубом. В воздаяние благочестивых ее подвигов мирская власть (о вездесущая власть!) посылала ей памятные награды: архипастырское благословение с грамотою. Библию от св. Синода, золотой наперсный крест из кабинета его величества и что-то (Бурсак не запомнил) для ношения на шее на голубой ленте. Швыдкая и красавица монашка шли к храм слушать теплое слово на утешение обители. Каждый день, по окончании литургии, выходят они с сонмом монахинь, инокинь, послушниц на могилу Марии для свершения панихиды. По личному усердию некоторые монашки и в девять и в двенадцать часов снова становятся вкруг печального холмика и поют: «Се жених грядет в полунощи...» Сотни свеч горят день и ночь.

Бурсак все слушал, слушал, кивал головой. Потом Терешка забрал Швыдкую на минутку, отвел в сторонку, и они там поговорили — верно, о городе. Наконец Бурсак поблагодарил Швыдкую за обещанное лекарство, отдал тетушкины взносы, простился, нарочно задержал взгляд на затворной красавице с узеньким личиком. У ворот она оглянулась.

Что за чудо случилось в душе? Но уже «прощай», и может, навеки.

Мечтательное чувство не истекало в нем и в степи. Постояла отроковица, показала свои глазки и покорила! Так бы и выкрал ее из монастыря и внес на руках в екатеринодарский флигель. На него сошла та мимолетная нежная благодать, которой виновница часто бывает женщина. Виновница промелькнет в окошке своего дома, вынесет за калитку кружку воды, как-то смело поглядит на тебя на улице, смутится твоего взгляда в театре. И какая бы дама сердца ни ждала твоего звонка поздним вечером, случайное личико в тот миг морочит твое воображение. Вот вроде бы только о Калерии, только о ней мог вздыхать Бурсак до приезда в пустынь Марии Магдалины; только ее он обнимал втайне перед сном, когда она была в своей постели или в саду в Хуторке. Никого другого как будто нет и не может быть, ее один небесный голосок и слышится! Что же вдруг так сорвалось его чувство? Другим возвращался Бурсак в Хуторок и размышлял о монашке с нежностью, радуясь и уже теряя ее навсегда. «Зачем?! Зачем ей во цвете лет и телесного здоровья уходить в ворота обители, губить свои страсти, желания, искать жизни вечной, не попробовав земной, и ждать, когда «день жизни склонится к вечеру»? Надо жить! А она: «Не подобают земные привязанности». Побыла, помолчала и покорила. Нет, надо жить, хочу жить...»

У Шкуропатских все были в сборе. И тут был свой мир, привычный и дорогой тем, кому он достался. И они затерялись на целое лето в уголку степи и вроде ничего не желали знать, кроме того, как меняется погода, растут огурцы и помидоры, поют и откладывают яйца птицы. Давно уехали из окрестностей российские косари, уже осень, последние каваки стащены в кучу. Легкая зависть кольнула Бурсака. В чужой среде каждый ищет что-нибудь близкое. Еще ничего толком не знает, а уже сердце ему вещует: сюда ему можно пристать. Так же, как чувствовал он, что среди монахов, сколько бы ни клонил головы перед ними, он бы умер с тоски. Матушка Калерии была веселой и доброй. Ее богадельня славилась на всю округу. Хоть короткое время в году, да кто-нибудь кормился в их дворе: странствующий ли старик, богомолка, сиротка. Наверное, и Бурсаку нашлось бы в Хуторке местечко, позови он на брак Калерию. Но куда же сейчас с его болезнью? А видимо, матушка печалилась все чаще об одном: скорей бы, пока не вышел срок, сочеталась ее доченька с благонравным и не бедным господином. Отец лишь напевал, подразнивая: «Боярыня прекрасная,

пришла твоя пора...» Чей бы экипаж ни подъехал к двору, отец хитрым голосом звал Калерию: «Доченька, к тебе поклонник...» Вслед за дурной Катериной она с суеверием шла поглядеть, кто там. То старый священник станицы Роговской прибыл поиграть после обеда на скрипке. «Оце такие девчата вырастают в наших бурьянах»,— в какой раз произносил отец, но Калерия уже обижалась.

Помнится, сидели они под дубами за столом с белой скатертью, ужинали до самой ночи. Где-то далеко выли волки. Помнится, вели разговоры о вечно земном, и Бурсак не раз вспоминал монашку с узким личиком: «Не подобают нам земные привязанности».

— И шо ж,— спросил отец Калерии,— правда они там веруют?

— Господа не обманешь,— ответила вместо Бурсака матушка.

— А друг друга можно. Ехал Александр Первый, на почтовой станции перепрягали лошадей. Царь пока что разговорился со смотрителем. На столе у того Евангелие. «Читаете?» — «Каждый день, ваше величество».— «А где остановились?» — «Апостола Матфея заканчиваю». Царь незаметно в то место засунул несколько ассигнаций. И уехал. Через какое-то время опять попал на ту станцию. «Ну как, все читаете Евангелие?» — «Каждый день, ваше величество». — «И докуда дошел?» — «Евангелиста Луку доканчиваю». Царь развернул Евангелие, ассигнации лежат как лежали — на Матфее.

Когда-то на Кубани рассказывали анекдоты об Александре I! Кто в это поверит потом? И в час полуночи, пока они сидели с Калерией за белой скатертью, перекликаясь смутным чувством нежности, всего в двадцати верстах дремали, молились, жили монашки. Через пятьдесят лет, когда он поедет степью от Ростова, к нему, точно из сна, вернется та далекая и уже сказочная ночь, и он даже припомнит, о чем горевал тогда. Он хотел жить, а думал о смерти. И знал бы он, сколько рассветов и ночей застанет еще и сколько стран, городов объездит! И на пороге станет перед ним женщина, только похожая на прежнюю, только похожая... Годы все превращают в сказку. И, как сказку, слушали они тогда о таманском звонаре («Уси будемо там...»), в дремучем 1861 году оглашавшем колокольным звоном приезд Александра II, о запорожских регалиях, речах Костогрыза и о разбойнике Браницком. Они попеременно говорили о чем придется, но по какому-то волшебству все было связано между собою, хоть связь эта и была в те минуты неулови

мой. Может, вечерний колокольный гул в монастыре донес им весть о звонаре? Может, звонарь в вечной тьме думал сейчас о Калерии и разбитном Толстопяте, который спал где-то в Ливадии, но, казалось, сидел между ними? И не потому ли легла тень разбойника Браницкого, что в этот час исполнилось полгода кончины Анисьи, которую разбойник напугал когда-то в молодости под Каневской? И скончалась бабка Анисья в том монастыре, где Бурсак только что был. Казалось потом Бурсаку, что ночью он уже знал о сиреневом конверте из Петербурга, ждавшем его в Екатеринодаре. И ночью же (когда-то ночью!) он знал все наперед: и судьбу свою с Калерией, и последнее прощание с Таманью, и сожаление о ненаписанной истории своего рода.

В Екатеринодаре поздно вечером он пил с тетушкой чай, и тетушка, все тоскуя по своей Тамбовщине, зачитывала из барских воспоминаний странички о том, как когда-то с музыкой, с цыганами и дворней выезжали помещики на охоту. Дема сердился. Сколько бестолковой паразитической челяди содержалось у одного только господина? Когда работали, откуда эти несметные богатства на развлечения? — спрашивал он тетушку и не ждал ответа. Чего стоили одни выезды из поместья в Москву в гости! Это же надо было додуматься: везти с собой всяких карликов, арапов, слуг в камзолах, в гусарских мундирах и польских платьях; сколько карет с детьми и приставленными к ним мамками, поварами, с буфетчиками и камердинерами, егерями; сколько бричек, набитых бабами, девками, сколько телег с перинами и подушками, повозок с коваными сундуками да повозок, наваленных дураками и придурками, обязанными на остановках веселить господ. Да неужели это было? И племянник вдруг восстал против тетушки, когда она что-то хорошее сказала про нынешнего государя. (Они и за границей препирались из-за России.)

— У нас, тетя Лиза, государь до сих пор говорит не «я», а «мы», чего от него ждать?

— Почему-то считается, что быть недовольным правительством — это хорошо. Государь больше всех заинтересован в том, чтобы сохранить русское.

— Да? — Бурсак усмехнулся. — Оттого, что наш государь придерживается русских блюд и с первой по седьмую неделю поста не ест даже рыбы, не играет на вечеринках в карты, а только в домино или в бильярд, приходит в восторг от песен и плясок кубанских казаков, он не станет мне дороже. Войну проиграли, куда годится?

— Одну.

— Достаточно. У нас все заношено, все начато и недостроено. Мы очень отстали, и ясно, что отстанем и завтра. Нынче мы отстаем от Европы даже больше, чем в московскую эпоху. И после Петра Первого, как это ни странно, мы стали отставать все больше и больше.

— Много ты знаешь, однако.

— Я ничего не знаю такого, чего бы не знали все подданные, если они учились. Я только думаю по-другому.

— С тех пор как заболел?

— Чуток раньше.

— В России хуже, чем здесь, но я не думаю, что уж совсем плохо.

— О конечно. У нас на Кубани выпивают за год водки несколько сот тысяч ведер. У нас горничная потеряет в гостинице золотое кольцо и не заплачет. У нас в лотерею-аллегри можно выиграть серебряный самовар. У нас купец перед смертью завещает по сто тысяч рублей на детский приют. В Монте-Карло господа проигрывают миллионы. Мы сказочно богаты, а до станицы Роговской зимой нельзя проехать.

— Казаки прекрасно живут.

— Поехали бы вы на свою родину в Тамбовщину. Или вы не помните? Или вы не глядели на косарей, нанимавшихся на Старом базаре? Орловцы, брянские, липецкие.

— Никогда не думала, что у меня во дворе живет бомбист,— сказала тетушка. Дема засмеялся.

— Вы чудесная, я вас люблю, знаете как, но где вы летаете? Что с вами будет, когда «мы» скажет не царь, а другие?

— Я готова отдать все табуны свои, лишь бы стояла Россия,— гордо сказала тетушка.— У нас на земле все есть.

— У нас за границу,— продолжал Бурсак,— выезжает в год около десяти миллионов, а возвращается девять миллионов пятьсот. Золота полно, а в вашей Тамбовской губернии крестьяне жуют просяные лепешки Удивительная страна! Миллионные богатства, и между тем жизнь под девизом: с миру по нитке — голому рубаха. До бога высоко, до царя далеко. Средние слои — сукины дети. Все погубят и ни в чем не сознаются.

Они уже тысячу раз об этом говорили — и опять.

— Люди живут, и ни один нищий тебя не поймет.

— Он по-другому поступает. В Петропавловском соборе свечи ставят не на могилы Петра, Елизаветы или Александров, а на могилу Павла, убиенного. Почему? Помогает.

если в жизни туго. У народа своя вера. Ищут отпущения боли. Кто как может.

— У меня, Дема, голова болит от твоих филиппик. Почитай лучше письмо от одной дамы...

«Помните,— писала мадам В.,— на южном анапском берегу вы меня спрашивали: «Quel vin — quel amour?!» Жизнь длинна, и всего не угадаешь. А вдруг мы увидимся еще раз?»

Бурсак порвал письмо на клочки и сказал тетушке:

— Не передавайте ей ничего обо мне. Мало ли что с нами бывает на берегу моря?..

И злые неблагодарные слова его были не от какой-то там жажды чистоты, а от все того же нездоровья, несчастья. Но что это было за несчастье?! Одного он тогда не предвидел, в одном не прозрел: на веку его ждали такие несчастья, каких он не пожелал бы никому другому...

В ЛИВАДИИ

Почти в один день с Бурсаком получил от мадам В. письмо и Толстопят. Ему она написала побольше и, конечно, пооткровенней, без озорства, с томлением: «Скорее возвращайся, мне так одиноко без тебя. Я вспоминаю и переживаю каждый наш час, мой золотой».

«В ней все же сто препикантных чертей,— повеселел Толстопят и спрятал письмо в тетрадь с гравировкой на корочке (подарок сестры Манечки).— Не хочется красавице чахнуть дома и вязать муженьку набрюшник. Ах ты пикантница! Уж обниму перед зеркалом, уточка моя...»

Ночью из Ливадии Петербург являлся ему местом пороков, и он ревновал мадам В., придумывал ей неотразимых поклонников. О, там много дива. Там, хоть и держались строго законов хорошего общества, заносились друг перед другом в вопросах чести, красавицы не упускали, однако, удобного случая, чтобы сказать о себе как о женщине, имеющей sa trentaine bien sonnée[1], заявляя тем о правах на полную свободу поступков. Там спорят, кто лучше ездит верхом на каруселях придворного манежа и элегантнее приветствует даму d'un coup de chapeau[2], а эти дамы чаевали и ужинали в coterie intime[3], «укладывали в лоск» своим

[1] Давно за тридцать.
[2] Поклоном.
[3] Интимный кружок.

кокетством «сонмище военных» и шутили: в сияющих лысинах государственных старцев можно, как в зеркале, увидеть отражение chute d'épaules[1] какой-нибудь графини. А вечера! Приемные залы и гостиные украшались дорогими картинами, редкими коврами, вазами и растениями. Женщина там становится счастливее, если ей улыбаются из лож и забрасывают ее переднюю визитными карточками, и презрительно она глядит на ничтожную улицу из своей коляски, в которую пять минут назад подсаживал ее ливрейный лакей. «Умная женщина? — смеялась над ним мадам В., когда он похвалил одну красавицу.— Зачем женщине ум? Накинуть на нее горностаевую мантию и вести с ней остроумные беседы о чем попало. И целовать ее через шелковый платочек». Но она вовсе не была такой легкомысленной и сочеталась тайной с Толстопятом, верно, потому, что полюбила его? «Меня,— говорила ему,— не миновало то, что французы называют «психологическим моментом» в жизни женщины,— рухнула моя нерушимая безупречность в один миг. С тобой». А если такой момент наступил еще раз, пока он в Ливадии? Петербург! Там корнеты, кирасиры, кавалергарды и бесконечные разговоры: «Она безвластно пошла на его немой зов»; «у нее были неправедные ночи»; «она вся похолодела от волнения, никогда до этого ею не испытанного». И все такое. Однажды, наслушавшись казенных любезностей и острот, понадерганных из «Фигаро» и всяких французских книжек, она села в карету и сказала ему, укутываясь в душистый белый мех своей ротонды: «Они еще скучнее со своими обольщениями, чем мой муж со своей добродетелью». Но как знать...

«Муж старше меня,— вспоминал Толстопят откровения мадам В. в первую ночь.— Три года ухаживал за моими ножками, и папа дал наконец согласие. Была помолвка, потом он уехал. И я иду по Крещатику, а на душе такая тоска, ну тошно мне, тошно, хотя вроде бы случилось то, о чем мечтала. Случилось то же, что с леденцом. Я рассказывала, как в детстве я бежала к фонтану из-за леденца?»

Толстопят бы взвыл, если бы ему раскрылось, кому уже рассказывала мадам В. и о муже, и о леденце, растаявшем на солнце в руке маленькой девочки.

Возвращение в Петербург на подмену намечалось через две недели. Погода еще стояла райская, царские дочери и сама государыня частенько сиживали в платьях в лодках

---

[1] Овал плеч.

дворца. Крым! Знала Екатерина, что́ отбирать у Турции. И до кубанской границы близко: за Керченским проливом Тамань. Но там уже степи, иная глушь и иные люди.

На Южном берегу Крыма тоже был колючий соблазн: везде гуляла, каталась в фаэтонах, слушала в музыкальной раковине заезжих певцов, пила и ела в ресторанах самодовольная публика, и оттого думалось, что всем нравится жить полегче, быть богатым, волочиться при случае за дамами и ничем не тревожить свою совесть. На даче княгини Барятинской, в фешенебельных гостиницах останавливаются сановники, министры; в имении графа Воронцова-Дашкова в Алупке, на даче эмира бухарского позволено бывать только избранным, и везде, везде по взгорью чуть ли не королевскими замками или обителью греческих богов белеют недоступные особняки. Оттуда, наверное, приятно, подобно бою часов или звону колокольчика, слушать надоедливый лай собак возле кофейни у Полицейского моста и ресторанчика «Болото». На Русской Ривьере заметнее довольство и обделенность.

Два раза в году, весной и осенью, по нескольку месяцев отдыхал в Ливадии царь: с семьей, свитой, министром двора и челядью. При каждой царской особе камердинеры, гардеробщики, ездовые, камер-казаки, комнатные женщины, портнихи и прислуги при них, няни, и все они счастливы прислуживать за те блага, которые им никогда и не снились, и все ходят мимо гордо, не допуская и мысли о сближении с конвойным казаком. В камер-фурьерском журнале записаны для истории «труды и дни» его величества: всякие прогулки, выезды на охоту, торжественные события, приемы и обеды. Царь еще был в Петербурге, а уже в Севастополе две сотни кубанцев и терцев выгружали из двадцати двух вагонов сто шестьдесят лошадей, перетаскивали сундуки, потом два дня (с ночевкой в Байдарах) шли походным порядком до Ливадии. Служба в конвое выгодная, однако ж завидки берут. Всегда в стороне водится какая-то прелестная тайна, к которой тебя не подпускают. Ищи себе удовольствия на улицах Ялты.

В сотне Толстопяту докучали жалобы нижних чинов друг на друга. В самый канун приезда депутации кубанского казачества во главе с Бабычем вперся к нему запыхавшийся от обиды Дионис Костогрыз. Толстопят как раз отвечал мадам В., и его прервали на самой интересной строке. Царский плясун и песельник чуть не плакал.

— Господин подъесаул! Это что ж такое? Вы меня знаете, и все меня тут знают, а меня вахмистр перекривляет

в присутствии товарищей и, кроме того, называет пьяным, как я и чаю в рот не брал. Да я ж могу так расходиться, что меня из конвоя попрут, и вина моя будет в том, что я вправде горячий!

— Ты чего как с пожара? — с дразнящим спокойствием спросил Толстопят. — Я тоже горячий.

— Кругом превышение власти. То в прошлом году сундук мой уехал с льготным эшелоном в Терскую область, перепутали, то под козырек офицеру не так отдал, то вахмистр...

— Ты смотри, какой ты у нас невезучий.

— Мало того, что вахмистр меня не посылал для встречи их величеств и в свое отсутствие назначил вместо себя не меня, как старшего в сотне, а младшего, мне подчиненного (он ему из буфета притащил три бутылки «Монополь руж»), и мало того, что он не исполнил приказание даже командира конвоя Трубецкого, когда для песельников и танцоров покупали пиво, так меня еще обвиняет, что я будто при покупке иконы есаулу Рашпилю украл пятнадцать рублей (что не подтвердилось), а сам, между прочим, в день моего дежурства добавил в книжку расходов десять человек и взял в свою пользу десять фунтов мяса, отнес к прачке (с нею схороводился), а когда я сказал: «Вы приказывали удерживать лишний фунт?», то как крикнет: «Бунт хочешь устроить?», и после этого не послал меня встречать их величеств, мстит мне и грозит из конвоя выгнать.

— То, то, то, то! Стой. Придержи коня. — Толстопят напустил на себя достоинство высокой власти, между тем ему пришли в голову красивые слова в письме к мадам В. — На тебе лица нет. Тебя в конвое ценят как никого, а ты каждый день жалуешься.

Дионис Костогрыз был царским любимцем, и Толстопят всегда был очень осторожен с казаком, но тряпкой перед нижним чином казаться не мог.

— Примерная моя служба карается завистью вахмистра. Если ты, говорит, будешь еще разговаривать, я заставлю тебя служить не в очереди. Да я с ним в отхожем месте рядом не сяду, а не то что разговаривать.

— Мы тебя, казак Костогрыз, — вдруг взъярился Толстопят, — и не посадим! Надо еще заслужить... сесть... с вышестоящим. Ты чего мне мелешь? Ты несешь лестную службу при государе. Серебряную турецкую медаль получил? На рождественскую елку что?

— Кувшин и подстаканник.

— Баба твоя на казенный счет в Царское Село приезжала? И наверное, имеешь корыстное желание остаться на сверхсрочную. Тридцать лет выслужить и золотую медаль на андреевской ленте? Однако!

— Как и дед мой Лука, обагренный кровью в бозе почивающего императора Александра Второго.

— Заучил. А может, по примеру других, тебя устроить в казенную лавку продавцом, братец?

— Казаку торговать стыдно.

— Чего ж ты плачешь?

— Я страдаю своей совестью перед моими товарищами,— опять заныл Дионис Костогрыз.— Чую правду и не могу доказать, надо мной смеются. Я видел, как урядник сбивал гирьку назад, и, хотя не хватало фунтов десять — пятнадцать, он приказывал мне снимать чувал с весов, а потом ставил гирьку на тридцать два фунта. На три лошади-то на двое суток полагается пуд и тридцать два фунта. «У меня,— говорит,— тогда овса не хватит, если я полностью буду выдавать». Мы всегда одним горнцем задаем корм лошадям,— строчил Костогрыз как из пулемета,— и раньше всегда хватало, а при этом уряднике задаешь корм тем же горнцем — и не хватает. Я решил заносить на него жалобу. А он мне говорит: «Я хотел бы пива выпить, да нет его сейчас. Или магарыч купить, чтоб ты молчал». А тут еще мне встретился поставщик обуви Файвилович и говорит: «У тебя есть серебряный рубль?»

— Ничего не пойму,— убито сказал Толстопят и вспомнил, как в Тамани на пиру рассказывал Бабыч про дурного казака.— Ты о чем? Какое пиво, при чем овес, магарыч, поставщик Файвилович, он у нас не служит?!

— Извините, господин есаул, горя много скопилось в душе. «Я,— кричит,— в сотне хозяин, а ты не веришь мне? Хочешь жалобу заявить? Напакостить? Ты был в сотне первым казаком, а теперь роешь себе яму?» Пятого октября, когда вы были в Тамани, опять недодали овса. Я присягал служить, а воровство фуража — нарушение дисциплины.

— О, ты святую Анну не получишь. Хватит тебе, что жена святая. В другой раз на квартиру ко мне не являйся. Честность — хорошо, но очень часто жаловаться — не люблю, братец. Разбирайтесь без меня.

— Писали же про вахмистра в царскосельской газете, что он похитил железную решетку для дворца.

— Писали. Враги. Иди, иди, Костогрыз. А то лошадей пошлю чистить не в очередь. Иди. Да приготовься: завтра

могут наши кубанцы приехать, так, может, петь придется.

Костогрыз скомкал его настроение, но письмо надо было закончить. «Моя приезжая богиня, я ваших...» Что дальше? «Моя приезжая богиня, я ваших рук никогда не забуду». И ему тотчас захотелось поцеловать эти руки, обнять мадам В. перед зеркалом и услыхать ее стонущее восклицание: «Как ты красив, Пьер!» Он просил ее смотреть на него из пасмурного сияния этого зеркала, и она тогда, чтобы не выдавать своего страстного взгляда, на мгновение дразнила его капризной миной. Он в письме напомнил ей об этом. Перед сном вышел он прогуляться по аллеям сада. Отсюда, с загибающегося ливадийского берега, видны были тихие свечечные огоньки Ялты и смутные очертания горы Медведь. Он мысленно перерезал линией море, куда-то в сторону Турции, но левее, восточнее, и взор его достиг таманских круч, медного запорожца, хаты слепого звонаря, потом острым лучом пронизал он всю кубанскую степь, уже был в «нашем маленьком Париже», в Екатеринодаре, от Свинячьего хутора до дворца наказного атамана покрытом октябрьской дождливою тьмою. И когда он ткнулся летучим сознанием в свой казачий городок, в детскую пашковскую хату, в углы дома на Гимназической и тут же вспомнил письмо к мадам В., всякие слова, какие-то чужие, подслушанные, плечи его как-то разок-другой передернулись судорогой: туда ли он залез? Казаку ли ломаться под кавалергарда? «Ничего, ничего,— вдруг успокаивал он себя,— не боги горшки обжигают, а пашковские казаки». В породу его кто-то заложил такую скрытую важность, даже влюбленность в себя, что мать с отцом только диву давались. Он вылупился на свет словно затем, чтобы хлопать по плечу начальство, а на равных себе взирать свысока. С детства смазливые девчата внушали ему своей привязчивостью скорый успех в жизни. «Наш хлопец в атаманы выберется,— говорил отец.— Ты посмотри на его походку. Он на землю ногой давит, как на червяка. А взгляд! «Все мое». Руки». Разве что военная дисциплина укрощала его тайную дерзость заговорить с государем, но, кажется, недалек тот день, когда ему и это удастся. Благодаря связи с мадам В. Толстопят уже проникал кое-куда, держал даже в руке подарок английской королевы Виктории внучке Николая I и, значит, тете нынешнего царя, вторым браком скрепившей свою судьбу с казаком, как ни странно, станицы Пашковской,— подарок занятный: терновую палку стоимостью в тысячу фунтов стерлингов, украшенную золотым колечком с двумя

бриллиантами. С ее осиротевшей дочерью дружила мадам В. С любимой женщиной можно подняться на самую вершину власти. Он сидел в каком-нибудь доме и думал: фу! да у них никогда не было и не будет такой женщины, как мадам В. И все они несчастливее его: то жены были уродливы на лицо, то мужья.

«Надо было написать ей,— соображал Толстопят,— что, если я не смогу сразу приехать в Петербург, пусть она в первое воскресенье станет в Царском у Египетских ворот или погуляет по Гусарской улице». Ложась спать, он долго поворачивался и так и этак. Постучали. Завтра прибывает депутация с Кубани для вручения государю копии памятника запорожцам. Служба! Надо тормошить себя чуть свет и бриться. Толстопят перекрестился (точно погонял мух) и, уминая постель, затих на легком боку. Всю ночь ему снились Египетские ворота в Царском Селе.

Кубанская депутация приплыла в Ялту на пароходе «Пушкин» два дня назад, уже осмотрела в Массандре винные погреба, старый, в стиле кремлевского терема, дворец, колокольню, устроенную на ветках векового дуба. День томились в гостинице «Россия», пока Бабыч выверял через министра двора Фредерикса срок встречи с государем и добивался соизволения на подношение цветов государыне и дочкам. Все не так просто. Вроде бы царь ждал депутацию в гости, а выходило, что депутация с подарком вымаливала милости быть принятой. И было такое порою глупое угнетение, словно самозвано приперлись в обитель его величества с жалобным прошением и Фредерикс может поворотить их с гневом назад. Даже уважение обставлено у власти церемониальной гордостью. Казаки волновались. Бабыч, видимо, спал плохо, но утром лицо его было холеным, почти без морщин, и, привставая с сиденья, он не кряхтел, как Лука Костогрыз. Сорок семь лет в армии, и хоть бы ему что! От министра двора приехал как из бани — красный, малоразговорчивый.

— Обедать в конвой! — только и сказал.

Долго рядились, чем ехать: автомобилем или на извозчике. Не всем была бы по карману прогулка на автомобиле: шестьдесят рублей в общий котел туда и обратно, это сколько с одного? Костогрыз замахал руками: и не вздумайте! Он лучше три версты до Ливадии прохромает пешком; пару волов можно купить на такие деньги! А так между тем захотелось поскорее хлебнуть горячей пищи. Но в конвое

родные служаки покормили чем бог послал: к визиту земляков особо не готовились. Зато кашу ели под пение хора конвоя. Лука с ними пошутил для порядка — для того, может, и брали его с собой. Да, слава богу, с внуком Дионисом словцом перекинулся, передал ему меду и вина в двух четвертях, погрозив при этом пальцем: «По чарке всей сотне, но не разом». Конь внука подбил коленку, и Лука загоревал чуток: опять доставай из сундука деньги! Были времена, говорили: «Я купил лошадь за сто рублей». Теперь разоряйся на все четыреста.

В Ялту возвратились веселые: государь разрешил поднести наследнику шашку и пику, а государыне цветы. Бабыч по этому случаю выпил за ужином в ресторане. «Ощущение тревоги перед грядущим счастьем предстать завтра пред лицом державного вождя Российской земли заполняло казачьи сердца». Такое прочитали они в газете по возвращении домой. На самом деле все было куда проще. Костогрыз шутил да вспоминал прошлую ливадийскую службу.

— В семьдесят втором году, как сейчас помню, батько-государь Александр Второй соизволил поохотиться в горах с братом Владимиром и сыном-наследником. Ночевали в долине у лесника, а вся свита и прислуга — на почтовой станции, версты за две. Я ночь стоял на часах. Стою, думаю: «Не пошкодил ли там в моей хате с моей Одарушкой какой-нибудь горец?» Когда гляжу: на крыше, рядом с царским домиком, горит! Я туда, разобрал доски, разбудил двух поваров, повыносил с ними на двор посуду, багаж, из конюшни вывел верховых лошадей и только тогда-а,— поднял Костогрыз палец,— разбудил камердинера его величества. Медаль «За усердие» и похвала царская. За то позвольте перекинуть и мне чарку. Ох и репаный казак был Лука!

Перед сном в номере откупорили модель памятника, каждый совался ртом поближе и выдувал пыль. Лука Костогрыз поелозил запорожца платком, послюнил ему усы и кончил:

— Добре! Стой, казак, и не слазь! Ты ж наш сечевик,— гладил он его по голове,— скажи его величеству круглое, как обруч, словечко, но лишнего не болтай, я за тебя добавлю. Ты ж в Сечи турецкому султану пулю матерную такую отлил — можешь! А тут государь наш, так избави тебя бог. Та за столом, колы посадят, рюмку не сразу бери, а потом. И боже тебя спаси какую даму ущипнуть. А то попотчуют нас печеным раком. В Тамани есть вдовушки... Дух

святой с нами! Счастливо тебе на том свете, а на сем ще с нами дух казачий... Отдыхай до утра.

Толстопят повеселил стариков петербургскими анекдотами. Когда генерал Бабыч сунулся проверить, готово ли все на завтра, он нашел казаков в номере в полной темноте.

— Чего лампу не засветите?

— Лампу не принесли, а свет погас,— отрапортовал Костогрыз.— От жалко, шо старый. Сейчас бы загулял с дамочкой.

— А в Ялте! — сказал Толстопят.— У татарина магазин драгоценных камней... Дама приходит, он дает ей альбом с фотографиями. Там номер. Выбирает, а потом «номер» к назначенному часу является на дачу или в гостиницу. Где ваша фотокарточка?

— Она всегда на мне. Ну, ничего. По-станичному. Балакать натемно можно. Ой, скажу. Я как-то... Только прости меня, батько, я хочу пулю отлить. Как-то приехал с Петербурга в отпуск, зашел к соседу. Сидят, балакают так же — темно. «Чего ж вы не зажигаете лампу?» — спрашиваю. «Та балакать и натемно можно, чего зря тратиться». Я посидел-посидел, а потом ссунул с задницы штаны. Ей-богу. Тю, хозяин разглядел. Толкает: «Та вы шо штаны сняли, чи шо?» — «А оно ж темно,— говорю,— не видно, штаны трутся, а балакать и так можно».

— Смотри мне, Лука! — посердился Бабыч.— Завтра ни-ни-ни!

— Завтра я буду мягкий, как телятина. Ничего так не хочу, как царских дочек увидеть и наследника. Я ж, наверно, не приеду к ним больше никогда, а они так над Россиею и будут.

АВГУСТЕЙШИЙ АТАМАН

После «простого и высокомилостивого приема» дан был высочайший завтрак в столовой дворца. Государева свита, дамы, офицеры конвоя расселись на места, указанные карточками. Перед роскошными букетами, по бокам от государя, пухом опустились на стулья дочери: Ольга, Татьяна (самая красивая, в мать), Мария, Анастасия (самая живая и маленькая). Государыни и наследника не было.

За царским столом не наешься из золотых тарелок, это тебе не в хате и не в степи, когда таскаешь ложку в рот и ни о каком приличии не думаешь; тут уколешь вилкой

кружочек колбасы и боишься, как бы она не сорвалась на скатерть, и к тому же нет аппетита, все больше глядишь на августейших особ и слушаешь тосты. Конечно, те времена, когда Екатерина II в знак особой милости посылала кошевому атаману к концу обеда десерт, прошли безвозвратно, все при новых императорах стало проще, но лишнего не скажешь, а уж тем более не отмочишь грубоватую шутку. Дочки царские тоже мало ели, были они как лебедушки, откровенно посматривали на казаков, то на одного, то на другого, и (что значит сословная разница!) самый старый из них, самый гордый и храбрый, смущался и считал себя обязанным преклонить свое чувство. Чего ж: кто-то же должен стоять над ними, не пахать, не сеять, а только освящать собою знамя державы.

Когда подали полоскательницы для рук, Лука Костогрыз хмыкнул про себя и было уже ткнулся рассказать один старый случай, но сдержался и лишь шепотом поделился с атаманом станицы Таманской.

Тот реготнул тихонечко, однако царь услыхал и спросил:

— Может, это интересно и для нас?

— Да не знаем, как сказать, ваше величество,— оправдался Костогрыз непонятно в чем.

— Нет, мы хотим.

— Пожалуйста. Чашки с водой принесли, це ж руки пополоскать. А годов так пятьдесят назад у нас на Кубани у наказного атамана графа Сумарокова-Эльстона (я ще застал его) был обед. И подали также полоскательницы. Архиерей глядел-глядел на эти чашки с водой, взял и выпил! Разом. А граф тогда, шоб не опозорить архиерея, подморгнул соседям и сам напился тоже. Так я и вспомнил.

Генерал Бабыч облегченно засмеялся вслед за царем, дочки переглянулись, Толстопят мигнул офицерам.

— Ваше величество,— вскочил в паузу Бабыч,— позвольте спросить: наши казаки интересуются, будут ли они иметь счастье видеть своего августейшего атамана.

— Ваш атаман где-нибудь за игрушками...

Нужно было великодушно улыбнуться, и дамы, свита улыбнулись. Казаки расстроились.

Но через десять минут семилетний атаман всех казачьих войск, в платьице, похожий на девочку, жалобно заглядывал в окно столовой, потом толкал ножкой дверь, припертую кушеткой.

— Папа! — звал он настойчиво.— Открой.

Государь улыбнулся для всех: вот, мол, ваш атаман и будущий правитель.

— У, какой ты. Нехороший папа.

— Ангелочек...— громко вздохнул Бабыч.

В 1875 году таким же маленьким херувимчиком видел Костогрыз нынешнего императора, в штанишках с тесемочками, пухленького, с теми же красивыми глазами, обвязанного такой заботой, какой и в снах не смогли бы получить казачата. Государь, видимо, заметил на лице Костогрыза какое-то переживание и спросил:

— И у тебя есть внуки?

— И правнуки, ваше величество. Один внук у вас, сейчас на воротах стоит. Дионис.— Костогрыз заплакал.

— Я его знаю. Хорошо поет и пляшет.

— Та в деда ж. Я всегда перед вашим батьком плясал.

Подали кофе, и государь разрешил курить.

— В честь встречи с вами, ваше величество, закурим по толстой,— пошутил Костогрыз. Он достал из кисета люльку, вмял в горлышко турецкого табаку и под внимательными взглядами великих княжен, дочечек, к которым он испытывал дедовскую нежность, прислонил горящую спичку, пыхнул раз-другой. А для дочек размотал и снова завернул за ухо оселедец. Пускай посмеются.

— Па-апа! — все удивлялся цесаревич, что его не пускают к взрослым.— Откройся! Ну на минуточку. На самую-самую одну минуточку, папа. Поиграй со мной.— Гости глазами просили державного: пустите малютку, ваше величество.— Папа. Никуда твое казачество не денется и в лес не сбежит.— Хохот покрыл столовую.— Эх вы, какие барины, сами сидите, а я один.

Сестра Анастасия подошла к двери, что-то пошептала через стекло и вернулась.

— Вот ты какой, папа! Прямо чудо на тебя смотреть. Слепые глаза у тебя, что ли? Я маме скажу.

— Пустить? — спросил государь у гостей.

— Будем счастливы, ваше величество,— сказал Бабыч.

— Мама моя послала не для того, чтобы я стоял и смотрел на вас, баринов. Мама послала, чтобы поиграл со мной. Что я буду тут стоять? Мама уже платье надела. Какой ты. Папа. Папа римский.

— Не даст нам покоя,— сказал государь и встал.— Суровый атаман, держитесь, казаки...

Старшая, Ольга, убрала от двери кушетку и подвела мальчика к отцу. Тот взял его на руки.

— Время по телефону разговаривать у тебя есть,— продолжал упрекать наследник царя,— а поиграть со мной времени нет...

— Войско твое кубанское приехало в гости... А какие подарки тебе!

— Ко мне? Ко мне по службе? — Дитя грозно оглянулось на белевших в нарядах сестер.— Ко мне по службе. Вам тут не место.

— Каков служака августейший атаман, а! — подсластил Бабыч и сделал два шага к наследнику.

Отец-государь спустил мальчика на пол.

— Принимай...

Толстопят стоял сзади и подмечал, как кубанское начальство приноравливается к высшей власти.

— Возьми шашку,— ласково приказал самодержавный отец.

Кудрявый, с полным румяным личиком и смышлеными глазками будущий повелитель России стоял в ожидании с протянутой ручкой. Генерал Бабыч, переняв от казака маленькую, с золотой рукояткою шашку и положив ее на вытянутые руки, приблизился, согнулся в поклоне и, приравняв малышку к взрослым («оце носи, ваше высочество, и командуй казачьим войском»), сцепил шашку с пояском.

Казак передал генералу и казачью пику.

— Возьми и пику,— подтолкнул опять словом отец.— Как дорастешь до нее, поведешь в поход на ворогов. Что надо сказать?

Дитя вдруг засмущалось и пригнуло подбородок к груди.

— Спасибо, господа казаки,— научал отец.— Передайте, скажи, поклон всем от мала до велика.

— Эти слова мне не по вкусу.

— На то ты и атаман,— придумай другие.

— Благодарю покорно! — выкрикнул наследник и сорвался с места.— Никогда не сомневался в моих славных кубанцах!

— Ну, вот.

— Кланяйтесь от меня вашим семействам. Служите России и мне,— повторял он слышанные слова отца, улыбнулся, взмахнул ручкой и побежал в сад под стеклянной крышей...

Государь и гости последовали за ним. Исполнился всего месяц, как убили премьера Столыпина, могучего защитника самоправства, но ничто не поколебало, видать, уверенности

государя в прочности власти; он шутил, на лице не выражалось и тени глубокой потери, или это так принято — скрывать муки души, или у него таких много: ушел один, поставили другого и опять цело-невредимо? Государь изредка приосанивался, откидывал назад голову, покручивая усы; слегка поучал, как управлять Кубанью. Большие брови старили его очень.

— Воспитывайте молодое казачество в преданности. Чтобы юношество получало воспитание в правилах чистой веры, доброй нравственности...

— Усердствуем, ваше величество,— заверял Бабыч.

— Жалоб много пишут?

Неужели министерство двора не кладет жалоб на царский стол?

— Жалобы бывают,— робко сказал Бабыч.

— О чем?

— В основном жалуются на атаманов, полицейских. Самовар вот отобрал атаман, что великий князь, покойный Михаил Николаевич, подарил кормилице Александра Михайловича. Не найдем никак.

— А почему я об этом не знаю?

— Отобрали давно, ваше величество.

— Кормилица Анисья, ваше величество,— посмел вступить в разговор Толстопят,— недавно умерла. Мне написали. В Магдалинском монастыре.

— Это прискорбно. Я спрошу у Александра Михайловича.

Говорили еще о предстоящих юбилеях: о столетии Отечественной войны с Наполеоном и трехсотлетии дома Романовых. Бабыч приглашал его величество на Кубань.

— Поохотиться можно? Что на это скажет старый конвоец? — допросил государь Костогрыза.

— Фазана, ваше величество, не стало. Камыш покосили, терен попололи, нема для фазана того причала. И куропатке негде сесть. В семьдесят втором году каждая станица ловила по двадцать пять штук; меня, помню, командировали, я в клетках привез сто двадцать восемь штук живыми для государя в Ливадию, причем некоторые поранены. Уряднику за доставку золотые часы, а мне двадцать пять рублей. Так то ж фазаны! Земли, ваше величество, стает так мало, что скоро негде будет и свинью со двора выгнать. А без земли какие мы казаки?

— Не будет казаков? Мой наследник без конвоя останется? У вас на добрую Англию нераспаханных земель. Так, запорожцы.

Затягивать беседу с царем было не положено, но Костогрыз, все подумывая о том, что он в кругу царской милости последний раз на веку, опережая Бабыча, докладывал его величеству о житье-бытье на Кубани.

— Еще сидят у нас около дворов старцы-пластуны на стульчиках. Слышит слепой казак, болотные птицы летят, застонет: «Диточки! диточки! Дайте мне заряженное ружье, я хоть выстрелю туда, где они летят, и то мне легче будет».

— Передайте ему поклон от меня.

— Обязательно, ваше величество. Семьдесят шесть моих лет уже кануло в вечность, с двенадцатым наказным атаманом живу, а есть казаки и постарше. Давно была та Кавказская война. Многие герои полегли в лоне Авраама. Когда-то приезжал к нам великий князь Михаил Николаевич (то еще он наместником Кавказа был), и поехал он в Закубанье лесными зарослями. А черкесские дозорные на верхушках сидят и криками передают: казаки! А те дальше, в аул. Михаил Николаевич и спрашивает: «Неужели казаки не могут пристрелить?» А наказный атаман: «Могут».— «Ну?» — «Выстрел, ваше высочество, вызовет у них озлобление».— «Прекрасно. Так покажите мне, по крайней мере, искусство казаков в стрельбе». Позвали пластуна, шо сейчас сидит на стульчике в Пашковской. Пришел. В постолах из кабаньей кожи, в поношенном бешмете, шапка на нем лохматая. «Можешь застрелить черкеса на дереве? Что он кричит во все горло!» — «Так точно, ваше императорское высочество». «Пристрели».— «Не бей конного, говорят, а бей того, кто с коня слезает».— «Пристрели».— «Как прикажете? Вот так, как стою, возле вас, ни с места?» — «Вот так». Он снял штуцер с плеча, раза два к плечу приложил, на глаз прицелился. Готово! Он в пятнадцать годов стрелял кабана в око за двести шагов. Теперь слепой, болотных птиц слушает.

— Передаю ему через наказного атамана серебряный портсигар. Бравые кубанцы.

— На то воля божья. Теперь у нас в Пашковке каждый двор имеет друга-черкеса из аула. И коней воровать перестали, и жен наших тягать за Кубань. У меня пол-аула в друзьях.

— Под русским двуглавым орлом хватит простора всем народностям.

— У нас их в Екатеринодаре много.

— Не обижаете?

— Казака в городе нет. Одни офицеры. Персы, турки

с товарами в лавках, болгары с овощами, армяне магазинов понаставили, греки кофейни держат. Горько дивиться казаку, как бабы их понаденут на каждый палец штук по десять перстней, ходят как павы, воздушками (веерами) у глаз помахивают.

Бабыч плечом оттирал заболтавшегося Костогрыза, но зря: прием и без того подходил к концу. Все еще раз полюбовались княжнами-дочками, августейшим атаманом, и каждый, верно, сравнивал их со своими детьми, внуками. Натолкали казаки в карманы оставшиеся после чая гостинцы, разобрали на память цветы; конфеты в красивых бумажках будут всю дорогу беречься для внуков, а семена яблок и апельсин думали посадить, чтобы правнуки помнили, как деды их к царю ходили с медным запорожцем. Потом стали стенкой и дружно пропели «Спаси, господи, люди твоя». Была, кажется, великая то минута, и потом, через годы, когда вся царская семья погибла, минута расставания так и застыла в глазах: печальные голубые глаза государя, желавшего, чтобы депутация разнесла по Кубани о нем молву, красавицы дочери и вырывавшийся из рук старшей наследник. И мысли Костогрыза о том, что он будет много-много лет лежать в могиле, а эти пятеро, романовского корня счастливцы, будут приезжать и приезжать в Ливадию и глядеть с балконов на море. Он и думать не думал, что им всем не дано будет узнать даже любви, что он на целый год переживет их...

1912 ГОД

И в этом году были старые и новые праздники, и самый торжественный из них — 100-летие Отечественной войны с Наполеоном. На Бородинском поле поставили павшим французам красивые памятники, и русские люди ходили возле них с той забывчивостью о чужой жестокости, которая отличала Россию. Об Александре I, вошедшем в Париж с казаками, писали в юбилейные месяцы гораздо меньше, нежели о Наполеоне; анекдоты, рассказы о корсиканце (как он спал, чем лечился, каких женщин любил) были занимательнее страничек о Кутузове и Багратионе. Такое странное время. «Нынче Россия готова к войне, как никогда»,— похвалился царь в эти дни. Петербургские газеты прикинули на счетах, на сколько тысяч рублей выпито под Новый год в ресторане Кюба, у Донона на Английской набережной, в «Аквариуме» и «Медведе» и т. д.

Всякая мелочь пылью летела на бумажные листы. Ничего нельзя было утаить от желтых репортеров. Почему-то всем надо было знать, что певец Ф. Шаляпин застраховал свою жизнь на миллион рублей, «королева цыганского романса» А. Вяльцева ездит по России в своем вагоне, а великую княгиню Марию Павловну свалил в январе грипп. И это почему-то интереснее всего другого. В 1912 году М. О. Меньшиков спрашивал: «Где быть столице Русской земли? Раньше, чем сознание ошибки Петра Великого,— предрекал он,— заставит исправить ее, она будет исправлена железным ходом истории».

Почему-то всякие сплетни, пакости, пошлости и другие жестокости надо было знать и екатеринодарцам.

У сотника Андрея Шкура́, знаменитого впоследствии белого генерал Шкуро, украли из квартиры самовар, дамскую шубу, две черкески и персидский ковер за сто пятьдесят рублей, а у горничной номеров «Россия» — четыре золотых кольца.

Надо было, конечно, знать, что ювелирный магазин Гана не уступает лучшим магазинам Парижа, Берлина и Вены, что городским головой опять избрали сорока шарами Скворикова, удача благотворительного вечера в пользу бесприютных детей зависела от «массы заграничных сюрпризов» и цветов из Ниццы, но надоедали скандалы, убийства, пошлые подглядывания и глупости — вроде: на троицу в Чистяковской роще два оркестра играли разом, извозчик завез гуляк за Свинячий хутор, в дворянском собрании на хорах, на лестнице наблюдались сцены весьма пикантного свойства. Так изо дня в день, изо дня в день. И только раз в десять лет мелькало воспоминание старого пластуна да извещение о посмертном завещании какой-нибудь богачки. 26 ноября в Екатеринодаре выпал снег. Манечка Толстопят читала в «Кубанском крае» статью о том, какие женщины лгуньи.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ

В начале апреля 1912 года подъесаула Толстопята послали на Кубань для комплектования сменных команд конвоя.

20 апреля на стол командира конвоя князя Трубецкого положили письмо:

«В конце 1910 года с моей женою познакомился подъесаул собственного Е. И. В. конвоя П. А. Толстопят. Затем,

дабы бывать у меня в доме, сделал визит, на который я ответил. После этого он начал бывать у меня в доме все чаще и чаще. Я же, имея в виду, что это же офицер, никак не мог даже предположить, чтобы целью его посещения была моя жена. Я не допускал мысли, чтобы офицер, у которого чувство порядочности должно быть прежде всего, осмелился войти ко мне в дом с такою гнусною целью. В феврале с. г. ко мне в руки попало его письмо моей жене. Я потребовал от жены объяснений. Хотя жена и призналась, что Толстопят ухаживает за ней несколько месяцев, но при этом она поклялась, что он благороден и за это время не позволил себе даже малейшей вольности и у них самая чистая дружба. Мог ли я возбудить дело против Толстопята в суде чести? Я бы только скомпрометировал свою жену. А меня суд чести обвинил бы в клевете. Меня теперь обвиняют в неблагородстве, но в чем оно? Я двадцать лет отдал на служение военному делу, и теперь, когда мне осталось всего дослужить до пенсии два года, меня могут уволить в отставку без всяких средств.

Сначала, дабы сохранить репутацию своей жены, я вызвал подъесаула Толстопята на объяснение и потребовал от него, чтобы он прекратил свое гнусное и неофицерское ухаживание за моей женой и, кроме того, возвратил бы ее письма, но он ответил, что письма жены моей уничтожил, давши при этом офицерское честное слово. Но, оказывается, письма он не уничтожал, а, напротив, по словам жены моей, начал требовать, чтобы она продолжала с ним свидания, грозя в противном случае показать ее письма посторонним лицам. Имея в виду, что подъесаул Толстопят вторгся в мою семью, разрушил ее, обесчестил мою жену и не выполнил честного слова офицера, и находя поступки Толстопята совершенно несовместимыми с понятием воинской чести, я познакомил с ними (после его командирования в Екатеринодар) офицеров конвоя, которые постановили: руки ему не подавать и в доме у себя не принимать и просили меня довести об этом до Вашего сведения. Полковник В-ий».

Не знал Толстопят, блистая мундиром на улице Красной, что через три недели поступило в канцелярию конвоя объяснение и от мадам В.:

«...Тень моего позора падает на моего ни в чем не повинного мужа, которого обвиняют в том, что он, зная о моих преступных отношениях с подъесаулом Толстопятом, не предпринял никаких мер и не сумел защитить чести своей жены. Даю честное слово, что мой муж решительно ничего

не знал, в каких я находилась отношениях с названным офицером, и раскрыл только недавно, когда я сама призналась во всем, но при этом поклялась, что Толстопят благороден и за это время не позволил себе даже малейшей вольности. Если бы муж возбудил против Толстопята дело в суде чести, он бы только скомпрометировал меня.

Толстопят казался мне симпатичным и недюжинным человеком, я приняла в нем участие, ввела его в некоторые семьи, где он стал бывать и где я с ним встречалась. Симпатия наша друг к другу с каждым разом проявлялась все больше. Держала же я себя всегда с подобающим достоинством и гордостью. Встреча за встречей, его полное мной увлечение, предупредительность и любовь вскружили мне голову; его клятвы, целование креста и обещание хранить свято мое имя усыпили мой внутренний голос, и я не устояла. Подъесаул Толстопят — моя первая ошибка в жизни, я им увлечена была настолько сильно, что готова была бросить семью. Хотя я одиннадцать лет замужем, но сталкиваться с подобными субъектами мне не приходилось. Он вошел в душу лестью тонкой, незаметной и добился своего. Может, я и виновата, что приняла в нем участие, что хотела исправить безнравственного человека и наставить на путь истинный, но... сама сбилась с него! Находясь в связи с подъесаулом Толстопятом, я переживала ужасные нравственные муки. Но он все время утешал меня, что не я первая, не я последняя, все так живут.

Его письмо случайно попалось моему мужу, по которому он стал догадываться о наших отношениях, но был еще далек от истины, ибо моя одиннадцатилетняя безупречная с ним жизнь заставляла его верить мне, и правду сказать я не решалась. Ради спокойствия семейной жизни я дала мужу слово прекратить всякие сношения с Толстопятом и потребовала от него обратно мои письма, но он их не вернул, а при объяснении с мужем дал ему честное слово, что сжег их. Я снова сошлась с ним, чтобы каким-либо путем вернуть письма, но все мои усилия были тщетны. Он требовал меня свиданий, угрожал, что опубликует об наших отношениях, и, чтобы сохранить свою репутацию в глазах общества, я подчинялась ему. Я думала, что подъесаул Толстопят, обесчестивши женщину, которой он клялся, целуя при этом крест, что честь ея для него дороже всего, что он готов пожертвовать для нея не только службою, но и жизнью, на этом остановится, но, оказывается, подлости его нет границ. Он это доказал 2 апреля, приславши моему мужу письмо, в котором называет меня распутной женщиной и опять

угрожает опубликовать о наших отношениях. Чистосердечно признаюсь тем, кто будет судить, что, увлеченная подъесаулом Толстопятом, я отдала ему самое дорогое для меня — честь мою, и, поверивши в его честное слово, я обманывала мужа своего. Спрашивается, за что Толстопят так жестоко поступил со мной?»

ЕКАТЕРИНОДАР, ГИМНАЗИЧЕСКАЯ, 77

Права была тетушка Бурсака: после Петербурга Екатеринодар предстанет Толстопяту большой неухоженной станицей. Так!

Под горку по Екатерининской прогрохотали мимо духана и шашлычной «Заря» в прореху Царских ворот. Миновали сад братьев Шик, но это же не Летний сад, это какие-то заросли с горбатой меловой статуей богини. Ах, боже мой, но отчего дрожь и столько воспоминаний? Вот и гостиница «Нью-Йорк» со шпилем, общественное собрание на Борзиковской, белая женская гимназия и войсковой собор, угол гостиницы Губкиной, где он держал в бурке Калерию, и вот напротив бани Виноградского широкая веранда на втором этаже, свисающая над тротуаром.

Что новенького в родном городе? Умер знаменитый адвокат Канатов, сказал Терешка. На скачках были дорогие призы. Проезжал через Черноморскую станцию принц Ольденбургский. Ограбили витрину в ювелирном магазине Гана? Кёр-оглы и Дон-Дудин открыли в Чистяковской роще буфеты? Сколько было ситцевых балов, кто женился, пошли ли к Темрюку пароходы? Детишки цепляются за хвост бельгийских трамваев; у клуба приказчиков кучи мусора и тряпья, и даже мадам Бурсак, говорят, оштрафовали за неочистку тротура. О наш маленький Париж, ты такой убогий, а все же столица казачества.

А что дома? Жив ли прапрадед-пластун? Перестала ли плакать матушка? Выросла Манечка?

Из дальней комнаты, где лежал прапрадед с Нового года, несло плохим запахом. Мать и отец в ту минуту, когда вошел Петр, не разговаривали друг с другом. Сестричка Манечка была на занятиях в Мариинском институте. Все то же. Все то же из года в год. Мира, тишины в доме никогда не было. Жестокая власть отца довела семейную жизнь до оцепенения. Он ни с кем не считался, психовал от каждого пустяка и, сколько помнил Петр, ни разу не признался, что он в чем-то может быть виноват. Мать и заплакала как будто

с радости, но на самом деле заплакала несчастно, жалуясь слезами на долю и надеясь на спасение от сына, приближенного к царской милости.

Четверть века шла домашняя война. Однажды Манечка потихоньку составила жалобу наказному атаману, но испугалась и порвала ее. Уже дрожали губы и сжимались руки в кулачки, когда отец нападал на мать. По каждому пустяку. То не так нарезала хлеб, то сослепу не туда положила карты, то истрепалась черкеска времен японской войны, и во всем виновата бедная жена. «Шла бы на Афон, чи шо!» — кричал и гнал на двор, будто сроду ничего доброго ему не делала. А это она ездила в 1905 году за ним в Харбин, где он лежал в лазарете Крестовоздвиженской общины в отделении безнадежных, это ради него она устроилась в общину сестрой милосердия и день и ночь выхаживала его, тянула с того света. Хамами слыли Толстопяты из рода в род. Ведь и прапрадед, гнивший теперь на постели, жалобным стоном пускавший из беззубого рта сожаления «завелись, уже завелись!», разгонял некогда домашних в чужие хаты на ночлег. «Прожила с ним как с мужем,— жаловалась матушка своей родне,— а боялась, как волка. Цыганку он пожалел. Цыганка украла у казака деньги в церкви. Так он созвал в станичное правление музыкантов, те играют, а цыганка-воровка пляшет. И простил». Зато нет цены казаку в службе, на смотрах и парадах, в станичном правлении. Выбрали Авксентия в 1888 году пашковским атаманом, слушали и боялись как огня. И до сих пор легендами окружено его имя. Начал он с того, в чем был грешен в своем доме. Вызвал в правление казака: «Так мне люди заявляют, шо ты пришел недавно со службы, получил там урядника, а пьешь, блукаешь по чужим хатам, над жинкой издеваешься».— «Та бывает ссора. Ну шо как она не может ни хлеба спекти, ни борща хорошего сварить. Как сварит, хоть за ухо вылей». Не пойдет же атаман на хату ложкой борщ пробовать. Встал Авксентий из-за стола, закрыл занавеской большой царский портрет в золоченой раме и отчесал самоуправного молодца нагайкой во всю удаль. «Ну как? — кричит голубчику через некоторое время с крыльца правления.— Как там жинка? Хорошо хлеб печет?» — «Хорошо, господин атаман».— «А борщ как?» — «И борщ хороший». И когда вскорости арестовал в буйстве весь станичный сбор стариков, никто тому уже не удивлялся: за дело, наверное! Взяток не брал, а за честность народ все простит. Зато какой порядок кругом! Проложил атаман мощанки на улицах, исправил гребли, запретил выносить сор и золу из печей на

дорогу, перестали при нем выпускать на церковную площадь скот и свиней, и сам уже не позволял того, что раньше: когда в молодости уходил к любушке, то жена обязана была встречать его за два квартала. Всеми уважаемый в войске за ратные заслуги, отец к старости чудил не переставая. Ретивые защитники устава уже дважды возбуждали против него ходатайство об исключении из казачьего сословия за нарушение векового обычая: в мундире есаула он, нацепив ордена и медали, торговал фруктами из своего сада на окраине Пашковской. В церкви кричал на иногородних, чтоб стояли на молитве позади казаков: «Вы, бисовы души, храм строили, чи шо?» Даже дома ходил в черкеске и лишь за стол не садился в поясе с кинжалом. Луку Костогрыза почитал пуще епископа Иоанна. Ругался, что в середине прошлого века расказачили Екатеринодар, понапустили «другой нации», а казаки перебрались в станицы. И такой во всем неумный, стародавний в лихости был он и дома. Петр знал, что встреча через час кончится ссорой. Так и вышло.

И, как всегда, завелись с пустяка, зацепился отец за возражение в голосе, не так, видите ли, почтительно прозвучавшем.

— Ну, чего там государь делает?

— Как чего? — холодно пробубнил Петр.— Не яблоки же продает.

— А и попродавал бы! — выкрикнул отец, наливаясь злостью. Но злость была не против царя, совсем нет, то от искры воспламенялся толстопятовский псих.— То оно и видно, шо царь ваш из москалей.

— А ваш?

Отец, еще минуту назад готовый умиленно расспрашивать сына о дворе, тотчас припомнил полицейские новости и попер обвинять. Ему теперь было лишь бы ударить.

— Шоб вас сыра земля побила! В карты во дворце гуляют!

— Вы видели?

— И не видел, и не видел! А знаю.

— Что там казак знает? Как корову к быку водил...

— Ишь... С Петербурга он приехал. А кто тебя туда устроил? Кто Бабыча через штаб просил? — аж приседал в гневе отец и перекручивался телом.— Ставай ухо на ухо!

— Не выдюжите, батько. И вам не стыдно?

— Где ты набрался такого толку? Тебе уже за батька стыдно-о?

— Я сказал немножко не так.

— Бисова душа,— побежал отец в комнату и вернулся оттуда с векселями.— Это шо? За это тебе не стыдно? Триста рублей батькиных просадил, не стыдно? Чтоб завтра вернул. Судебного пристава позову.

— Я не просил,— сказал Петр.— Сами вексель составили. Вам их не жалко, это вы — лишь бы укорить. Лишь бы крик поднять. Да сколько можно? Загоняли всех. Ползаете по церкви на коленях с охапкой свечей от иконы к иконе, дома Библия на аналое, свечи вон горят, а мать до чего довели. Георгиевское знамя носили на парадах.

— Послали тебя в конвой — и батько дурной стал.

— Вы позорите свой мундир. Где благородные принципы, которым вас учили?

— Я в чистой отставке, а вы хотели б, дети, шоб я кланялся вам в ноги до самой земли? И кричать на батька не в свой голос?

— Вы еще и гласный городской думы, а что у вас в доме? Вы должны проявлять рыцарское отношение к женщине.

— Жалуйтесь на меня, бисовы души, гражданским порядком.

— Я вам не просто уже сын, я русский офицер.

— А-аа-аа,— завыл отец,— так ты уже не казак? Ты уже русский офицер? Научили москали. Щенок белогубый.

— И до каких пор...— сказала мать, умоляюще протягивая руку.— Про тебя уже и в газетах пишут. Я уже жить не могу. Выйду за ворота и от ветра валюсь... Чего ты?

— Молчи, бисова ящерка. А то понадеваю твои горшки тебе на голову.

— О-одно только...

Отец повернулся к сыну и выставил палец:

— Накрути себе на ус: ты казак. Не приведешь ли ты мне в хату крашену кацапку? Торохну лбом в двери так, аж на двенадцатеро расколотятся...

Застучали на лестнице каблучки, то бежала из института Манечка. Отец сразу стих, убрался на веранду и сидел там, согнувшись к перилам. И так по нескольку раз в год ни с того ни с сего обидеться, поломать всем настроение и с веранды слать родным молчаливые упреки: «А побей вас сила божья!» Сестра Манечка бежала со своими новостями. Нынче водили их во дворец наказного атамана и в беседке под дубами им подавали кофе. Через месяц у мариинок прощальный звонок, вручение аттестатов и бал. В последний раз наденут они форменные платья, получат из рук наказ-

ного атамана аттестаты — и что тогда? Будут ли жить дома, выйдут замуж и будут ходить на базар с корзинкой или сгинут сельскими учительницами в дальних станицах? Она любила ходить в церковь и в дневничке своем записала: «Я пойду в монастырь, если только сделаю то, что хочу сделать». Но она любила думать также о том, что ей недоступно: отчего-де она не родилась от родителей, принадлежащих к высшему свету? Попасть бы в заколдованный круг, знакомый ей лишь по газетам и мемуарам. Наверное, немыслимое желание преследовало ее в те часы, когда в доме буянил отец. Рассчитывать в Екатеринодаре было не на что. Но и горевать зачем? Женщина всегда утешится детьми.

— Братик! Пьерушка! Я тебя видела во сне, и у меня с утра чесался нос.

Только сестра может так невинно прижаться грудью; только эта барышня в переднике, с кружевным воротничком вокруг нежной шейки, тощенькая и непорочная, молится за братика, как за самого примерного и скромного казака. Отец словно проснулся на веранде, вышел не столь хмурым, прощупал всех взглядом лупастых глаз и мирно сказал матери: «Ну, собирай на стол, да я пойду в церковь певчих послушаю». В зловонной комнате охнул и перекрестился прапрадед. Манечка скоренько переменила ему штаны, подтерла пол, подала и вынесла посудину, накормила старца из ложки. Вспоминая сумрак роскошной комнаты, пахучие волосы мадам В., Толстопят думал: «Ну разве она способна на это?..»

— Я тобой горжусь,— говорила Манечка за столом.— Я мечтала тебя встретить на станции, и так, чтобы мои подруги видели, как ты выходишь из вагона. Сбежать с уроков нельзя.

— И хорошо, что не пришла. Нас задержали на целых двадцать минут под Динской, потом пустили, а два прицепных вагона из Новороссийска еще стояли. Его высочество принц Ольденбургский ехал. Из местных властей на станцию никто не прибыл, так принц и просидел в вагоне. Ну зато я вышел к Терешке вместо принца.

— Ты выше, лучше, братик, всех принцев,— боязливо шепнула Манечка и с ойканьем вскочила, прижалась к нему.

Ночью он воровски прочитал несколько страничек Манечкиного дневничка, припрятанного на этажерке. «Долго, долго я не говорила с тобой, мой миленький дневник. Целых два с половиной месяца. Я не могла писать, потому что

боялась, чтобы не увидели папа и мама. Мне ужасно досадно, отчего я не родилась в начале прошлого столетия. Вчера днем, помолившись в церкви, иду переулком, а мне навстречу трое нищих — просят денег. Сперва я отказала, но потом нагнала их. «У меня нет денег, хотите взять мои сережки?» — «Давай, давай, матушка»,— был ответ. Сама не помню, как сняла серьги, бабушкин подарок, и положила в руку одной старухи. «Они золотые»,— сказала я и поскорее ушла вперед. Какое-то странное чувство испытывала я, когда ушла от них. Быть мне монахиней с четками в руках и псалтырем на аналое своей кельи? Прапрадедушка спит, а проснется — ни с того ни с сего скажет: «От як колысь были мы в Старой Сечи...» Недавно читала «Воспоминания о поездке на Афон» Страхова. Это гора, вся озаренная вешним солнцем и природою. Из забот и удовольствий состоит вся наша жизнь, а те молятся до конца дней своих, мысли их чисты, и ясен ум. Сейчас начну читать «Красное и черное» Стендаля. Ах, если б кто знал, как я жалею, что не поэт...»

В кого удалась сестра Манечка? Откуда у ней, еще малютки, такое терпение, раннее предчувствие смысла жизни? Когда она успела созреть? Для отца с матерью она была только тихой, послушной дочкой с некрасивым личиком, этого им было достаточно. И он, брат, ехал ее учить! Чему? Немного пристыженный, Толстопят, как это бывает с нами в минуту-другую, проклинал себя и вспоминал, что в возрасте Мани (и даже постарше) он жег на степи хворост, пел и танцевал под гармошку да порой укладывался после вечерниц спать с девками на гарбе или на полу в пустой хате, а уж что болтал им, что молол-то — ужа-ас! Дурак. Конечно, он всегда был сынком есаула, вояки, заслужившего бранными трудами и кровью кое-какое уважение, он был паныч и утробою своей понимал, что мешаться ему в кучи казаков нельзя,— да разве удержишься в забавах? Он с юности красовался, ноги бинтовал, потом натягивал чулок из тонкого сафьяна, а сверху — смоченный чувяк. К женскому полу влекло его лет с семи. «Я сразу почувствовала, что ты такой,— сказала ему мадам В.— Ты цепляешься взглядом». Наверное, в отрочестве те «дамы сердца», коими он подглядывал, могли бы сказать то же, но молчали. Все они были старше его: и дочь священника, и двоюродная сестра, и дочь учителя (ей он носил флакон духов собственного изготовления — из листков комнатной герани). Еще он любил свою восемнадцатилетнюю няню, терся о ее ноги, следил, как она моет полы, и перед сном мечтал поваляться

с ней на сене, на манер тех игр, которые затевали с ней два парубка в степи,— он гнал как-то барашек и видел издалека. Подслушивал ли он взрослых, сплетничавших о соседке, которую кума, возвращавшая наседку, накрыла с батюшкой на кровати, у него чернело в глазах: когда и я так буду?! Вот он какой рос. Такой и до сих пор? На царицу зыркал, и то... В Уманской, уже после похищения Калерии, после стука в ее окно в Хуторке, он в новолуние под собачий лай за левадами терзал казачку у тополя и сторожил взглядом, чтобы не услышал и не выскочил из хаты хозяин. Есть что скрывать от благонравных людей!

Но он быстро потерял мысли о своей грешности, простил себя за какие-то будущие подвиги и примерность, заодно припомнил и бесконечные секреты, в которых все другие казаки раскрывались не хуже, чем он, и только перед Калерией ему было неловко. Зачем отнимать у барышни дорогое время? Оно у них в оные дни роковое.

— Что ты смотришь на меня так, братик? — спросила его утром Манечка.— Я плохо выгляжу?

— Любуюсь тобой.— Толстопят обнял и прижал ее к себе. Щупал невинные ее косточки, жалел ее. Может, ей всю жизнь прижиматься только к папе и маме, братьям? Мадам В. не знает скорби ожидания.— Козочка наша... В кого ты у нас? Мне бы жену такую.

— Ну, если в Петербурге не присмотрел, то мы найдем. Чтоб хорошо борщ варила?

— А то что ж.

Она опять таскала в комнату горшок и возила на полу мокрой тряпкой.

— Мамо! — сказал Толстопят без Манечки.— Она у нас не простая девочка. Надо отдать ее на Бестужевские курсы.

— Куда-а? — мать перестала вытирать пыль с пианино.— Без мужа за спиной она делалась смелее в разговоре и резче.— С церкви вон сейчас придет, скажет: «На шо оно то нужно? Батьки наши так жили, и мы по-ихнему».

— Если батьки стукались головами о стенку, то и нам?

— Ворожейка ходила, хиромантка (и в Ерусалиме побывала), так она сказала: «От больших пророчиц слыхала: война будет!»

— У нас в Петербурге лучше знают. А Маню надо учить дальше...

— С батьком говорите.

Старый Толстопят пришел из церкви взъяренный, стучал на кухне ложкой по столу и доругивал обидчика:

— Я ему покажу, за шо нам кресты давали! Настало времечко: пока казак на службе, он не забу-удет честь отдать. А как вышел в отставку — не узнать: никогда первый шапки не снимет. Я старый есаул, а мне урядник... Я ему покажу, каких мы китаянок за ноги держали.

— Обидели, обидели его...— шептала мать сыну.

Домашние тоже были виноваты перед ним за то, что его возле церкви обидел урядник. Так устроен мир: никто сам себя никогда не накажет и никто не убережется от суеты человеческой. Уже дитя Манечка устает от земных скандалов. Старик и после молитвы превыше всего ставит суетный быт.

Отец упрятал себя снова на веранду; там и просидел до обеда со своей досадой, изредка кому-нибудь кричал вниз: «Чего ты, бисова душа, кожух надел и папаху? Чи ты казак, городовицкая твоя душа?» И все-то ему надо.

— Нема ума,— жаловалась мать.

Толстопят отвык от батькиной ругани в Петербурге, а когда рассказывал про атаманские его замашки, то было всегда лишь забавно и смешно. Ах, Петербург!

НАКАЗАНИЕ

Сменные команды конвоя формировались каждый год. Спущенные на льготу казаки прибывали из Петербурга на станцию Сосыка. Тут им производил смотр атаман Ейского отдела, благодарил за службу и распускал по хатам. Уезжают на почетную службу равными, возвращаются тоже вроде все с выгодой, с одинаковыми значками и отличиями, но кое-чей гвардейский сундук прячет особое драгоценное внимание августейшей романовской фамилии. С гордостью грузили отцы те сундуки на телеги.

Такие же огромные гвардейские сундуки стояли наготове у тех, кого уже отобрало общество и офицер конвоя сменный эшелон, но там, в перегородках, ничего, кроме шаровар, трех пар белья, чувяк с ноговицами, башлыка да черной папахи, не было.

«Встречали, как архиепископа Агафодора»,— любил вспоминать Толстопят в поздние годы, когда уже все потерял. Куда как выгодная командировка! Толстопят путешествовал по станицам, объехал попутно свою родню, пообнимал

всех тетушек и двоюродных сестер, засиживался по вечерам со старцами и везде выбирал в царскую охрану молодцов. Главное пристрастие у него было к песельникам, и он горой стоял за какого-нибудь баса, просил сбор стариков выделить лишних денег на покупку лошади, если казак страдал бедностью. Ему хотелось подобрать сменную команду небывалого образца, чтобы все последующие офицеры равнялись на строгость Толстопята. А слабость проявить было легко. Жить всем хотелось, умоляли, кланялись, но тут Толстопят являл свою прирожденную властность. На все пускались люди. Один принес откормленного индюка; несколько дряхлых героев кавказской и турецкой войн совали ему в руки нижайшие просьбы. Нет, каменной стеной стоял красивый офицер. И пожалел только бессменного ординарца Александра II, слезно молившего забрать в конвой его младшего внука. Цепляя головой воробьиный пух, пролез Толстопят к хате времен черноморских. Боже мой! В сенях оклунок муки, кадушка с водой; в комнате, налево в углу, дымовая труба, на деревянной полке чашка с тремя ложками, два чугунка, сковородка, в правом углу на деревянных гвоздях икона Казанской божией матери. И три доски вместо кровати.

— Записать!

Коннозаводчик-кабардинец Коцев поставил Кубанской области сорок голов лошадей гнедой масти, и на разгонном посту под Екатеринодаром Толстопят сам отобрал жеребцов конвойным трубачам, двум офицерам, а к пасхе дал телеграмму князю Трубецкому: «Христос воскресе выбрал Вашего Сиятельства чистокровных спокойных арабов оба нарядны более двух аршин полтора вершка имею запасе трех рыжих кобылиц для графини Браницкой...»

Но милости не будет, если муж мадам В. отослал жалобу в конвой.

«Вы не проявили офицерского благородства»,— скажет командир конвоя.

«Возможно, ваше превосходительство».

«Согласны ли вы на дуэль?»

«Согласен принять вызов. Богу одному известно, какие муки я испытываю. Прошу как милости оставить меня на службе. Лишение гвардейского мундира позор для казака...»

Предчувствия были нехорошие. Что ж, рано или поздно за все надо расплачиваться. Да казаку ли краснеть за любовные шалости? Отдать ей ее кошачьи письма — и все.

«Фрина! Тарновская! — вспоминал он имена дам, замешанных в процессах, дам, доведших мужиков до разорения, самоубийств или полного краха. — Ольга Штейн — вот ты кто».

Накануне лагерного сбора будущих конвойцев около Пашковской гребли Толстопят получил письмо от мадам В.:

«Дорогой мой, прошло три дня, как я приехала в ваш скучный городишко, но эти три дня показались мне годом без тебя. Я в гостинице «Европа».

Толстопят рассвирепел, обзывал мадам В. последними словами, сметая с души нежнейшие воспоминания о часах, когда роднее мадам В. никого не было.

«Три дня без меня кажутся годом! Тарновская... Это она приехала выпрашивать свои письма...»

Письма Толстопят придерживал у себя как доказательство пламенной любви северной женщины, доказательство самому же себе, казаку, у которого, может, никогда и не будет больше такого романа.

О письмах мадам В. сперва молчала. Он пришел к ней вечером, хмуро сел напротив окна и закурил папиросу. Мадам В. приехала с семилетней дочкой. «Нарочно взяла, — определил Толстопят, — чтобы муж не подозревал». Девочка была славная, с затянутыми на затылке волосиками, очень похожая на маму, беленькая, ничего не понимающая. Она сразу же стала готовить ее ко сну, постелила ей на диване, сунула книжку с картинками. Толстопят смирился немножко, поспрашивал о житье-бытье и, волнуясь от возможности помириться с мадам В. на несколько минут, следил за ее улыбкой, таившей прошлое родство и какую-то лукавую радость нынешнего свидания. Девочка засыпала. Под видом того, что в темноте она заснет поскорее, мадам В. потушила лампу. Ну вот мы и одни, — как бы вздохом сказали они и подождали, кто осмелеет первый. Из гостиницы «Большая Московская» доносилась музыка. Она подошла к нему. Женщина чувствует, когда ее прощают. Она прислонилась и обняла его так виновато, что Толстопят улыбнулся и кончиком уса коснулся ее виска. Как прихотливо возгораются и утихают любовные войны!

— Что? Что скажете, многоуважаемая богиня?

— Воля твоя... смеяться надо мной.

— Тебе нужны письма? А где ты прятала мои?

— У меня в будуаре стояла маленькая старая конторка из красного дерева. Подарок на именины. Лакей, передвигая мебель, конторку опрокинул, доску из ящика выбил

Я приезжаю, **он** зовет меня в кабинет, запер дверь на ключ и подал мне твое письмо. Я насмешливо посмотрела на него. «Ты читал?» — «Читал. И не раз». Я вдруг заплакала. «Можешь думать обо мне что угодно,— сказала, моя совесть спокойна. Я люблю этого человека. Чего ты хочешь? Я на все согласна. Я люблю этого человека».

— Не верю.

— Что?

— Не верю, что ты **так** сказала.

— Сказала.

— А зачем тебе письма?

— На память о том, как я тебя любила.

— Правду говорят: женщина лжет, не замечая. Теперь твой муж обязан драться со мной на дуэли.

— На каком основании?

— В основании дуэли лежит мотив удовлетворения чести. Суд офицеров рассматривает, а потом вменяется поединок в течение двух недель. Тебе бы пора знать, какому риску подвергала ты своего мужа одиннадцать лет.

— Никто не может знать, сколько лет подвергала я его риску. Я буду просить его не драться.

— За каждым офицером — свобода выбора: драться на дуэли или оставить службу.

— Он драться не посмеет.

— Значит, подлежит увольнению. Не смыть нанесенное поругание чести — позор. Офицерская честь дороже жизни. Если он разойдется с тобой, его могут простить и оставить на службе.

— Служба! Самовар, розовый абажур и шерстяное ватное одеяло ему дороже, и правильно. Я не хочу, чтобы вы стрелялись.

Через день он принес ей письма, был пьян, падал на колени, обнимал ее ноги и повторял: «Все погибло... поеду укладывать гвардейский сундук...»

— Мой милый... мой любимый... за что нам так?..

Толстопят верил каждому ее слову, вздоху, восклицанию, пустому состраданию. Женщина скажет и забудет.

«Все! На оленьи рога в офицерском собрании (подарок государя) будут глядеть другие. Выгонят меня. Я сам уйду. Чтоб мне товарищи не подавали руки? Лучше я в Уманской буду пыль глотать».

Но пьяный он рассуждал так же, как его отец.

Чего бы не служить? Плохо было появляться в Фельдмаршальском зале, на молитве в Феодоровской церкви, в

аллеях Боболовского парка? Довела баба. Наказный атаман рекомендовал Толстопята князю Трубецкому как «человека прекрасного, поведения безукоризненного, характера твердого». И служил бы, только дурак не дорожит такой службой. Полковнику пенсия 2700 рублей в год; а уж генералом бы стал, так к дню рождения получал бы телеграммы, какую послал на днях командир конвоя генералу Богдановичу: «Да продлит господь бог надолго вашу драгоценную жизнь, нам на поучение, родине на пользу». Ни больше, ни меньше. А теперь кому нужна эта помятая справка? «Подъесаул Толстопят на страстной седмице великого поста говел, исповедался и причастился св. таин». Из книги «Весь Петербург» навсегда выпадет его имя: вроде бы ерунда, а все же приятно увидеть свою фамилию в числе самых знаменитых. Отняла эта жгучая страсть все: и праздники 100-летия Отечественной войны, и на следующий год пышные торжества 300-летия. В январе еще конвойцы сопровождали депутацию монголов; государю везли подарки: три священных трона «бурханюши», шелковые шарфы, четки из драгоценных камней, а кроме того, для наследника — монгольский нож и огниво. Восемь коней-иноходцев изволил русский властелин осматривать в окно, и Толстопят думал: «А что будет через год, на праздники!» Какой-то Дионис или Тимофей Рыло будут сидеть на запятках княжеских карет, а Толстопята забросят куда-нибудь на лагерный сбор в станицу Уманскую, где он будет кричать на атамана: «Ты мне должен честь отдать! Мало ли что ты стоишь на общественном дворе, мерзавец!» Тяжело падать вниз. Если бы мадам В. не отговорила мужа от дуэли, он мог бы погибнуть под пулей. Благородная смерть! Когда закололи шпагой графа Тулуз-Лотрека, газеты писали целый месяц.

В начале августа он последний раз получил кормовые и прогонные деньги «на весь путь следования на родину».

— Плохо ему было на ужинах после бала,— ругался старый Толстопят на рынке, ни перед кем не мог сдержать и стыда и боли.— Бульон лукулловский, холодное из рябчиков по-суворовски. А теперь куда?

В декабре отец диктовал Манечке почтительную просьбу на имя государя:

— ...Во всякое время я беспощадно приносил свою жизнь в жертву за царя и Отечество и был предан своим послушанием начальству, чем могу доказать наградами службу. Я имел счастье быть на Дальнем Востоке во время военных действий. Но наконец пробил роковой бесчувствен

ный моей доли час. Час этот служит теперь укором моей совести и опрокидывает всю мою жизнь. Угрызение совести состарило меня на десять лет. Дайте мне свободно дыхнуть и с людьми быть наравне... Теперь пиши, в чем вина сына Петра, а потом вознеси молитвы перед его величеством и призови к милосердию...

БУРСАК И ШКУРОПАТСКАЯ

Когда Бурсак возвратился в ноябре домой, на столе лежали его летние письма, отправленные Толстопяту из Швейцарских Альп, из Парижа в Петербург, в конвой; на конвертах чья-то служебная рука красиво вывела два слова: «Адресат выбыл». Куда он мог выбыть? Но предчувствие было: Толстопят, исправно снабжавший его веселой болтовней о том о сем, вдруг с февраля замолчал на несколько месяцев.

На Гимназической, 77 отец Толстопята с лета лежал в постели; он потерял свой характер: ни с кем не разговаривал, никуда не выходил и часто плакал. 29 ноября Толстопят уезжал в Персию. «Пусть лучше меня персюки убьют,— сказал он Бурсаку,— чем тут каждая собака будет спрашивать: а что случилось?» В горе он стал как будто еще красивее, в самый бы раз показаться ему среди публики в скетинг-ринке на концерте Анастасии Вяльцевой, королевы романса. Бурсак проводил его на Черноморскую станцию и вечером в одиночку сидел на втором ярусе, пил кофе (как это заведено было там) и хлопал диве Вяльцевой за то, отчего пострадал его друг: «за муки сладострастия», тройки, любовные свидания.

Я хочу, все хочу
Вам сказать, что вас люблю.
Но не могу, не могу
Выдать тайну вам свою...

Она пела про что-то чужое, про кому-то богом посланное счастье томления, но всякий мог вспомнить, что в Панском куте, в фаэтонах лихачей, на полянах за Кубанью, или дома у пианино, или поздно ночью в саду постигало душу все то же. Тогда в песнях никто никого не учил, а признавался или жаловался на душевную боль — может, этого мало, но такое было время: в столетнюю годовщину войны с Наполеоном Бурсак не услышал ни одной торжественной песни — всё звали мелодии к ласкам, к светлому саду и проч. За это, может, и поплатились.

На лишний билет некого было повести с собой: Толстопят уехал. Калерия жила в станице Каневской.

И, придя домой, в тетушкин флигель, Бурсак надумал всполошить Калерию своим визитом. Завтра же договориться с Терешкой, сложить в европейский чемоданчик кое-какие вещи и выехать. После лечения чувствовал он себя хорошо.

Теперь не хватит чувств, чтобы вспомнить и пережить все так, как оно было тогда, в ту последнюю стылую пору 1912 года. Именно чувств старость и не возрождает; сухая память разве что подскажет что-нибудь. Писали в том году газеты: бродил по какому-то захолустному городу стотридцатилетний старик и доказывал, будто он видел в Смоленске Наполеона. Было очень занятно на него поглядеть и даже совратиться его небылицами, но что через сто лет ясного удержалось в его сознании? Все перепуталось. Так многое перепуталось за жизнь в голове Бурсака.

Кажется, ехал он по степи с Терешкой дня два. Половину дороги лили дожди, и Бурсак побаивался простудиться снова. Какую-то книжку он взял с собой и читал на ночлеге. Какую же? Возможно, французскую — какой-нибудь дамский роман для Калерии. Тогда не любили женщины читать про общественные нужды, про несчастье и голод деревень и прочее, искали легкой занимательности в интимной жизни царедворцев, в романах, почему-то не казавшихся слащавыми. Он и купил ей что-то такое.

Конечно, ехал он к Калерии с трепетом и на холоде, усталости еще нежнее мечтал о том, как постучит, войдет, обнимет ее, сядет пить чай и останется у нее навсегда. Он робко, еще не надеясь на свое выздоровление, писал ей из Швейцарских Альп, но она не отвечала.

«Я не могу без вас жить»,— тысячу раз повторил он в вдаль, обдумал, в какой церкви они будут венчаться.

Под какой станицей сломалось у Терешки колесо? Ехали ли они от Брюховецкой или где-то в стороне? Важно, что он освободил Терешку и шел до Каневской несколько верст. Они еле дотянули с поломанным колесом до постоялого двора. Ворота там всегда были открыты, а на заборе торчал шест с пучком сена, что означало: есть чем покормить лошадей. Бурсак погрелся немного в хате. Хозяйка в широкой длинной юбке без оборок, в шерстяных носках подала чай в большой медной кружке, начищенной золой. Где тут ночевать? Из печи, обставленной рогачами, чаплейками для сковород, черными чугунками, несло угаром. В три часа ночи он вышел на дорогу.

Нигде в Европе не отыщешь местечка, похожего на такую просторную глухую степь с волками, птицами, табунами мерзнущих на ветру лошадей. О волках он почему-то не подумал. Шел и жег спички, присматриваясь, не сбился ли с дороги. Где-то здесь разбойник Браницкий, мечтавший уравнять богачей с бедняками, подковал гвоздями мельника, а жене его отрезал грудь. Он был сперва табунщиком у старого Петра Бурсака. Потом он притворялся странником, монахом, просящим милостыни на храм, ремонтером, грабил и убивал с компаньонами, и однажды вели его стражники по этой дороге в Каневскую, где он скрывался у казака на чердаке в бочке. Из станичной тюрьмы его пускали во двор Петра Бурсака под честное слово; мать Демы его кормила и потом вспоминала, как он ее, еще девочку, таскал на руках. Отправляясь на Сахалин, он сказал Петру Бурсаку, где зарыты им драгоценности, но боголюбивый старик смотреть то место под станицей Уманской не пожелал. Так они, верно, и лежат где-то, и никакие пастухи, пригонявшие скот к речке, никакие турки, перерывшие землю по разрешению султана и русского правительства, искавшие сокровища своих предков, ничего не найдут. Даже кувшин с золотом, награда за выловку тела Петра Бурсака из Кубани, закопан кем-то неизвестно где. Этот бы кувшин поднести Калерии. Где она? Неужели он снова в родной степи? Неужели скоро станица? Прошло девять месяцев — может, она слюбилась с кем? Но в станице не так это просто. Будет ли благородная барышня прятаться по кустам, проводить за руку в темени к своим дверям незнакомого мужчину, а назавтра идти по станице в гимназию? Но все бывает! Почему она должна ждать прекрасного присяжного поверенного? И разве он прекрасен? Подъедет в экипаже какой-нибудь хлыщ с зализанными волосами, прокатит — и куда денется ее полуночная тоска! В жизни не так уж много логики, и сюжеты ее коварнее книжных.

На курорте в Швейцарии и в отелях Парижа сколько раз можно было соблазниться хорошенькими женщинами, увезти в Россию, жениться, но нет! — закоснела казацкая натура: лучше, понятней кубанских барышень не попадалось. Чувствительны к красоте француженки, элегантны и остроумны, да только ненадолго попадайся им в плен — они не вынесут нашей уединенной жизни; загадочны англичанки в белых пикейных платьях, в шляпах с широкими полями и перьями или в газовых оборках, пришитых к соломенной тулье, но нелеп рядом с ними казак; головокружительны, игривы откровенностью записки тех и других, а русская

стыдливость, таящая огонь, все-таки дороже. Жить в Европе? Ни за что! Не дай бог. Романы о «гибких телах», о «le sang chaud de la luxure»[1] можно читать и дома. Он жалел эмигрантов, которым царской властью заказан был путь в Россию. Они, правда, его сочувствия не спрашивали.

Но и в степи, так вот, как тысячи и тысячи казаков, он жить бы не смог. Утекло то время хуторского сидения, хотя многие офицеры и даже генералы за сладкие пироги не перебрались бы в Екатеринодар. И странно, что Калерия сама себя затворила в глуши. «Надо бы и правда,— думал он,— довести до ума историю нашего рода... не переведемся, так кто-нибудь продолжит. От Запорожской Сечи начать...»

И в пять, и в шесть утра в степи было еще темно. Сколько ждать еще тусклого огонька, первой камышовой крыши?

В девятом часу, под самой станицей, Бурсака нагнала подвода. Но вот и крайние хаты, вдали слева купола церквей. Наделы у казаков были широкие и оканчивались огородами в степь. Хаты стояли то с краю, то посередине надела, то вовсе за садом, белели стенами на восток и на юг, длинные, куцые, под соломой или камышом. С угла прицепились к нему собаки, гавкали, отставали, выскакивали через щели загорож новые, и так они передавали его по всей улице.

«Где ты, моя девочка? Выгляни, что ли...»

Она снимала квартиру у того самого отца Софрония, который приезжал к отцу в Хуторок поиграть на скрипке и заставлял Калерию петь. Она встала, видать, рано, убралась и позавтракала. Кажется, было воскресенье, ну да, потому что она не спешила в гимназию. Она была из той породы женщин, которые не умеют встречаться после разлуки. Все их чувства внезапно гаснут; не знают они, как взглянуть, с чего начать, пугаются. «Боженька ты мой!» — почти неслышно, с удивлением сказала Калерия, и все.

Через час она кормила его за столом, покрытым чистой скатертью. В комнате почти вся обстановка была хозяйская: пианино, диван, трельяж и прочее. Лишь граммофон из магазина братьев Сарантиди забрала она у отца с матерью, да всякие дамские мелочи. Скрывала ли она скорбь своего одиночества, или ей было хорошо? Ее шаловливая ветреность мариинки как будто навсегда пропала, как пропало

---

[1] Пылкость сладострастия.

невинное детство, когда однажды в пятилетнем возрасте она, возвратившись с рождественской елки, рассказывала маме, в кого влюбились ее подружки и в кого она сама. Мужчина в страдании забрасывает все дела, женщина зарывается в них. Она сама насолила огурцов и капусты, нагнала виноградного соку, сварила алычовый мед; на время холодов сшила себе два платья, связала отцу носки. Все она умела, и не шептал ли ей кто, что на веку суждена ей трудная доля?

Ждала ли она от него какого-нибудь вещего слова? Думала ли тайно: зачем он приехал? Поначалу они говорили о совершенно постороннем, даже о том, как лучше закармливать свинью на сало...

— А тебя никто не видел?

— На том краю, когда шел, какая-то казачка выглянула, я хотел спросить, где учительница Шкуропатская, но раздумал. Самая крайняя хата.

— А-а... Ее сын в сотне Толстопята служит.

— Теперь уж, наверно, в сотне Рашпиля. Толстопятик наш в Персии на ковре сидит.

— А кто эта женщина? Тоже какая-нибудь графиня Тарновская?

— Не видел ее, не знаю.

По какому-то колдовству Бурсак в тумане увидел свою варшавянку мадам В., кравшуюся в Анапе по ночному саду и показнил себя за свои письма к ней, но никакой святой дух не шепнул ему, что эта мадам В. («какая-нибудь графиня Тарновская», как сказала Калерия) запутала в своих сетях и его друга Пьера.

— Я приехал к тебе,— сказал он,— и ничего больше не знаю. Тебя тут никто еще не засватал?

— Сюда ворона костей не заносит. Маленькую мама меня в золоте купала. Купала, и один золотой в голову, другой в ноги. А счастья нет. Слушаю только рассказы о твоем деде Петре. Бабушка твоя Анисья умерла, знаешь?

— Тетушка сказала.

— Умерла... За неделю ходила на службу. «Поцеловала всех святых, можно и умирать». Ты устал? Хочешь отдохнуть?

— Я немножко продрог.

— У меня есть церковное вино. Я его нагрею, и ты попьешь.

— Спасибо, милая. Вот Толстопят говорит: надо искать невесту в местах неиспорченных. Чтоб всю ее на ладони было видно. Он прав.

Калерия поняла намек и печально улыбнулась.

— Ему ничего другого не остается. Показаковал.

— Отец его при смерти. А Пьера в Уманской в полку чуть не убили казаки.

— За что?!

— В его отсутствие казак отлучился в станицу, и вахмистр на перекличке ударил его с маху, тот упал без сознания. Пьер вахмистра спрятал от расправы. Его забросали камнями, и если б не командир полка, наверное, убили бы. С японской войны очень переменились казаки.— Бурсак помолчал.— Его бы не выгнали из конвоя, если бы он не замешан был еще в одном деле.

— В каком?

— Только прошу тебя никому не говорить. Какой-то еврей из антикварной лавочки принес ему старинные иконы, золоченую чашу для причастия восемнадцатого века, дискос со звездницею и две тарелочки. «Вам нужны деньги? У вас связи, можете реализовать эти вещи как фамильные». Он соблазнился. Забрал, поехал к великому князю Сергею Михайловичу и говорит: «Ваше высочество! Могут описать мои семейные вещи. Купите их». Тому понравились вещи, он их купил за двенадцать тысяч рублей. Толстопят расплатился с антикваром, а две тарелочки подарил даме, с которой у него был роман. Ради двух тарелочек для нее и рисковал. А еврей посчитал, что он уплатил ему не все, и написал командиру конвоя Трубецкому.

— Отдохни. Поспи после Европы у нас в станице. По лучше Венеции, везде вода.

— Ездил в Венеции по каналам в гондоле, и мне все казалось, что меня хоронить везут. Гондола вся черная, а гондольер похож на факельщика. Вообще у тетушки моей губа не дура. Я теперь понимаю, за что она любит Европу.

— ?!

— Мы никогда, видно, не научимся жить. У нас Теберда не хуже Альп; но что в Теберде и что в Альпах? Ни к чему не можем приложить руку.

— А если бы жить там всегда?

— Не накажи господь. Ну как нам жить без станичного правления и атамана? «Чи долго мы будем сопеть носами? А то как вдарю!» Без этого скучно, ха-ха...

— Сейчас я тебя положу. Как я не люблю зиму! Надо ждать, когда натопится печь. Закутываться. Жду марта, тогда уже все кончится навсегда. В октябре над нашим домом несколько ночей летели журавли. Я просыпалась. И слышно, как курлычут. Соскочу — и к окну: они летят

и курлычут, курлычут. Вспоминала, как ты возил меня на дачу.

— Почему ты не отвечала на мои письма?

— Я уже все сказала.

— Прости меня...— сказал Бурсак.— Видно, судьба хочет этого.

— Чего?

— Чтобы ты отрезала локон волос, я у тебя просил, помнишь?

— Нет, скажи, чего хочет судьба?

— Разлук наших.— Бурсак углубился в себя и как-то повинно склонил голову.— Я не хотел тебе говорить тогда... я уезжал за границу лечиться.

— Я знаю, я все знаю!

— Ты и правда веришь, что я тебе на роду написан?

Калерия приподняла одно плечико и задумалась.

— Ну уж не Толстопят, конечно...— сказала.— Он ничего до сих пор не знает.

— Ему не до нас.

— Ложись... у тебя вид усталый.

— Не стели, я так полежу немножко. Что это ты пишешь?

— Переписываю, вдова урядника попросила.

Бурсак взял листочки и стал читать.

«Его благородию господину товарищу прокурора.

Имею честь просить Вашей милости простить меня за то, что я без Вашего разрешения позволила писать в тюрьму записки. Я не знала того, что если бы я обратилась к Вашей милости с просьбой, я бы могла иметь свидания со Скибой и Вы бы разрешили писать ему письма. Теперь прошу Вас, Ваше благородие, возложите божескую милость хотя бы для моих детей, несчастных сирот. Не наказывайте строго меня, глупую женщину. За мои подлые поступки. Дайте срок мне определить моих детей, тогда я буду готова страдать за свои проступки, а теперь прошу у Вас пощады. Мы все у бога одинаково грешники, мы должны прощать друг другу. Вы предупредили меня отстать от бывшего у меня Скибы, но я не могу, потому что я была на краю пропасти и просила выручить меня. Кроме него, мне не от кого было ожидать спасения. Он мне тогда сказал: «Я выручу тебя, но ты мне за это дай пред богом клятву, что ты меня до могилы не бросишь: если со мною случится какое-либо несчастье, ты должна будешь меня до возможности выручать». И я клялась всей своей жизнью пред богом, небом и землею, потому

что мне надо было спасать свою жизнь для детей моих сирот. Теперь я должна его выручать, если он окажется действительно важный большой преступник. Тогда я буду просить всевышнего создателя вернуть мою клятву, а его куда бог повернет. А если он будет оправдан и ему будет небольшое наказание, то я с ним должна идти вместе страдать, потому что я клялась и мне все равно бог не даст жизни, я должна буду мучиться своей совестью пред богом — не живя на свете, погибнуть, Ваше благородие. Если Вы желаете узнать все дела за Скибу, то я могу Вам рассказать, только не на допросе. Вдова урядника Федосия Христюк».

— Федосия Христюк?! — Бурсак поднял удивленно глаза на Калерию.— Длинная, нескладная? Она служила на даче тетушки,— ты помнишь ее, когда мы с тобой были, она нам молока приносила?

— Я тогда не приглянулась.

— Скиба... какой же это Скиба? У нас судили помощника полицмейстера за убийство братьев Скиба.

— Он им троюродный брат,— пояснила Калерия.— Замешан в тайной организации.

— Какая жизнь пошла! Федосия Христюк, полуграмотная казачка, и революционер. Впрочем, пути женщины к мужчине неисповедимы. Она очень бедовая: «Как дам,— говорила,— мужику по морде, так и перекинется». Разве ты не помнишь? Она рассказывала. Мать шаль ей купила, а казак грязными пальцами и замазал. «Я как дала — он и выстлался. Ты мне справлял ее?»

— Ты бы не помог ей? Поговори в прокуратуре.

— Я поговорю. Никто не чувствует своей вины перед другим, и от этого все беды. Не ты ли помогала ей писать?

— Нет,— сказала Калерия, и Бурсак ей не поверил.— Ты поспи, поспи...

Она попоила его горячим вином, укрыла одеялом и шубой и вышла, чтобы он поскорее заснул. И он лежал, закрыл глаза и, однако, не мог спать — отчего? Он любил Калерию, любил совсем не так, как вдалеке, в плотском томлении, с одуряющими фантазиями. Когда она закрыла дверь, он сказал с восхищением: «Какая душа!» Она не играла словами, не травила его терпение взглядами — нет, она прятала свои взгляды, боялась намеков и, казалось, отодвигала невидимой рукой призрак сближения, но все, что она делала, говорила, было любовью. Это было тихое пламя, а не какая-то дергающаяся похоть. Им не надо было говорить о том

что им делать, все выяснялось уже само собой, и надо было только продолжать жить вместе. Вся любовь ее была в заботе о нем. Пока он спал, Калерия вычистила его одежду, вымыла сапоги; на стуле возле кровати на белом платочке поставила она для него чашку с соком. Любит тот, кто заботится? Без нежных слов и обещаний бывает любовь. Душу все равно не выскажешь. Мужикам не дано знать, как женщина перебирает пальцами складки их одежд, что она чувствует, какие слова шепчет. Калерия все сделала, прибрала и ушла, и, хотя записки нигде не было, легко было предугадать ее слова: «Я здесь недалеко, ты просыпайся, я сейчас вернусь...» Бурсак ждал ее, теряя терпение. Чу! Не ее ли тень под окном? Он закрывал глаза. Пусть она подойдет к нему, холодная с улицы, пусть наклонится, и он будто в полусне притянет ее за руку. Но как ему тут оставаться? Нельзя позорить учительницу.

Калерия внесла в комнату лампу, прижгла фитиль и вставила стекло. Бурсак нарочно зашевелился. Калерия подошла и села с краешка.

— Здравствуй еще раз! — сказала она и положила руку ему на грудь. Бурсак поцеловал холодные пальцы. Она первый раз взглянула на него со стыдом...

Никогда не вернутся те нежные часы!

Рождество Калерия справляла в Хуторке с родителями. Все было готово к приему гостей из станицы: забили телочку, откормленных гусей, засолили сало, наставили тарелки с икрой и балыком и несколько блюд с пирожками, начиненными разным фаршем. И конечно — неизменная кутья и взвар. Стол уставили свечами. Не было только Бурсака. Всегда рождество он встречал здесь. «Ну,— говорил отец,— кто за ужином чихнет, тот получит в подарок телочку». Чихала почему-то мама. В старом флигеле Калерия погадала с прислугой. Поставили в скорлупу грецкого ореха огарок восковой свечки, зажгли ее и спустили в миску с водой и ждали, у какого билетика с мужским именем она остановится. Лодочка Калерии причалила к билетику с именем «Петр». Это, наверное, оттого, что она часто жалела бедняжку Толстопята, заброшенного в исламскую страну. Есть мужчины, с которыми нельзя связывать свою жизнь, но воображение вечно влечет к ним, прощая им все.

1913 ГОД

В конце февраля праздновали 300-летие дома Романовых, и праздник этот шествовал еще всю весну. Всем, так или иначе отвечавшим за церемонии, стало легче, когда закончились убранства городов и сел, заседания, парады и встречи.

Торжества совпали с масленицей, и это прибавило оживления романовской дате.

Выпало как раз много снегу в Екатеринодаре, на очистку Соборной площади пригнали Самурский пехотный полк. Под амнистию, под производство писарей и атаманов в урядники, под крестные ходы и панихиды по почившим императорам власть являла величавый порядок в России. Никто и не догадывался, как мало уже отпущено ей красных дней для самодовольства. Детей забросали лакомствами, нищим устраивали общественные обеды, дамы и господа танцевали на ситцевых балах. Из дальних станиц привезли малолеток, показывали им город, дворец наказного атамана, памятник Екатерине II. «А шо она в руке держит?» — спрашивала девочка, и ей долго втолковывали, почему у царицы в руке крест. На пароходе «Благодетель» возили богатую публику до Темрюка.

Не чувствуя края гибели, гулял сановный Петербург. Огни, гирлянды, вензеля, флажки, лампочки, бюсты императора по улицам и вокзалам пугали обывателя нерушимой волей царствования. Всюду столбы, увитые зеленью, украшенные гербами, штандартами; величественные арки; у здания городской думы — громадный шатер с изображением избрания Михаила Федоровича на русский престол. На Полицейском мосту — колонны с барельефами Петра I, Екатерины II, Александра II и III. У Николаевского вокзала заканчивали постройку храма — по типу древних ростовских церквей, спешили к 14 марта (по новому стилю) водрузить кресты. Перегруженными прибывали поезда, торговали юбилейными жетонами и значками. Две тысячи членов «Союза русского народа» прибыли на подкрепление державной славы.

В январе екатеринодарские союзники, угрожавшие Попсуйшапке сорвать вывеску с мастерской за отказ жертвовать на икону для подношения государю, опять опозорились: тридцать пять подписных листов чья-то рука положила себе в карман. Генерал Бабыч не оказал содействия в распространении брошюры Союза Михаила Архангела «Будущему России грозит катастрофа».

К пасхе разлилась Кубань. Пока в церкви конвоя кубанские офицеры христосовались с государем и получали из его рук фарфоровые крашеные яйца, на Воронцовском бульваре в Темрюке спорили до ругани: права или нет вдова Софья Андреевна Толстая, окопав усадьбу в Ясной Поляне канавой?

9 мая государь прибыл в Берлин, а 26-го, когда в Екатеринодаре шел дождь, в Кремле, в Архангельском соборе, поклонялись гробницам древних князей и царей.

Калерия Шкуропатская родилась в один день с великой княжной Татьяной Николаевной — 29 мая, и у нее было плохое настроение: Бурсака послали в Анапу на выездное заседание суда.

По северным городам путешествовал государь, но читать о возвращении семьи разбойника Зелим-хана было значительно интереснее.

«Провалится власть,— думал Бурсак, сворачивая газету.— Это хорошо, конечно, когда царь покупает на триста тысяч икон и дарит их Русскому музею (а бедным в Ярославле всего десять тысяч), но не вечно же, как при Петре I, слуги будут мести сор с камешками, выпавшими из господского бриллианта...»

— Кровь прольется тогда в таком изобилии,— говорили книжники,— что ягненок сможет плавать по ней,— помните пророчество греческого монаха Козьмы... Восстанут мизинные люди.

25 октября было двадцать пять лет чудесного спасения царской семьи при крушении поезда в Борках.

Попсуйшапка в какой раз сказал Луке Костогрызу, что он был тогда ребенком и видел «живого царя» Александра III и супругу его Марию Федоровну.

Странники отправлялись в Иерусалим из Одессы.

Несмотря на цифру 13, жизнь в 1913 году была ни хуже ни лучше.

У каждого свое.

Было воскресенье. После базара Василий Попсуйшапка завтракал и за чаем читал свежие газеты — «Биржевые ведомости» и местный «Кубанский край». Он долго отсутствовал, побывал в Москве, Нижнем Новгороде, Петербурге, и вчера вечером привез его с Черноморской станции все тот же Терешка. Настроение было хорошее, даже самодовольное, новостей хоть отбавляй, и он, проснувшись, все высыпал их перед женой, как из мешка, повторяя кое-что,

смакуя, словно совершил заморское странствие. А тогда так и воспринималось путешествие в Москву и Петербург: нет бо́льших чудес, чем в столицах. Там даже разговаривают не так.

— А где ж ты брата моего Диониса видел? — спросила жена. Она после тоскующих месяцев одиночества, после вчерашнего совместного купания в бане будто расцвела и почувствовала смак в дружной жизни.— Гдесь с царем ехал?

— Ну ясно,— важно сказал Василий, сгибаясь к блюдечку.— Торжества ж были. А я встал, хотел проехать на извозчике к приказчику шапочного магазина, а извозчики не едут, все улицы перекрыты. Я и забыл, что неприсутственный день. Ну, я пешком пошел за народом. Идут и идут, там столько миру, как на Нижегородской ярмарке или, ото, когда у нас шествие на войсковой круг. Царя ждут, он должен проследовать аж до Казанского собора, там богослужение назначено. Ну, я стою. Люди смотрят поверх голов, и я. Когда слышу, с того краю кричат: «Ура! Ура!»

— Видал его?

— Ну ясно,— коснулся пальцем усов Василий с таким видом, будто ему привычно встречать царя.— Едет сотня конвоя его величества впереди, за ней открытый экипаж. Сидит так, значит, царь,— показал Василий,— а сбоку,— привстал он и протянул руку в сторону,— наследник Алексей. Красивый мальчик, ото, знаешь, как у Турукала бегает, похож на него. За экипажем командир конвоя, я его в Екатеринодаре с дочками видел, ему у нас с братом папаху ж заказывали, и Бабыч подносил. Держит саблю, а глаз, ну скажи, не поворотит.

— То будет он на тебя смотреть!

— Зачем на меня обязательно? Следующая карета нарядная, в русскую упряжь, четверкою лошадей, в ней мать Мария Федоровна, Александра эта (я не люблю ее и не смотрел долго, а мать маленькая). Мать же у него принцесса Дагмара, ты знаешь? А, зачем тебе.

— Ты у меня все знаешь.

— Я всем интересуюсь. И опять за ними офицер конвоя, наш казак, я его батька хорошо знаю, из Северской, каждую неделю на рынок молоко возит — они, как въезжаешь в Северскую, ихний дом на низу стоит. А в другой карете упряжь парою, до-очки едут в светлых платьях, в андреевских лентах. Сзади офицер конвоя, а сзади офицера замыкает сотня, и я чуть не крикнул: наш Дионис сидит! Я ему

махать, я ему махать, ну такое дело — разве он будет головой крутить, им там наказали.

— Ему надоело!

— Ну да! А то им плохо — царя возить! Еще и с мундиром вернется. Атаман мимо пройдет и руку подаст — плохо ему будет. Турукало бегал по станице, закупал сало, щетину, пух и перья, а теперь с конвоя спустили со знаком — вахмистр ему честь отдает. Плохо им.

— Приедет — расскажет.

— Ну ясно,— сказал Василий и еще налил себе чаю.— Менять надо городского голову. Опять газеты пишут: в Чистяковской роще водкой торгуют, а в городской сад за вход полтинник назначили. Чтоб бедняк совсем не хотел играть в лотерею-аллегри. А может, бедняк как раз выиграет? Почтальон Евлаш выиграл же прошлый раз самовар, а проститутка со Старого базара платье к венцу.

— Ото еще! Оно тебе нужно?

— Спасибо тебе, что ты у меня такая умница. Ты ж моя ласточка,— вдруг стосковавшись, протянул руку Василий и поймал жену за передник.

— Та отстань...— весело дернулась она, но не отошла и придвинулась животом к его плечу.

«Бабе цена грош, да дух от нее хорош»,— подумал Василий.

— Поехал бы в Пашковскую да рассказал деду с бабкой, как Диониса видел.

— Съезжу. Газету прочитаю да... с тобой помнусь. Наелся, а чего-то не хватает.

— Вечером...— согласно толкалась жена животом.

— Вот так и будем жить. Оно хорошо, когда мирно. Ладно, поеду,— чего там дед Лука делает? Завтра Султан-Гирей приедет папаху заказывать,— вспомнил он,— а я в церковь хотел сходить.

Лука Костогрыз пришел как раз со станичного схода, немного выпивший и ворчливый, долго балакал за столом перед чашкой с варениками.

— Выбирали атамана. Меня предлагали, но встал казак против меня. Сказал: ничего себе человек Лука Минаевич, да он в конвое двадцать лет прослужил и забыл, как в родной станице двери отчиняются, а горше всего то, шо язык у него такой острый, ну как бритва, резанет по животу та сверху ще присолит або поперчит,— оттого и не годится в атаманы. Савоцкий тож против: Лука, дескать, страшно старый, ему годов полтораста або и двести будет. Зайдет чужой человек в товарищество, глянет на его и перелякается: по-

думает, шо попал у Ноев ковчег; у него, мол, и борода такая, как у святого Авраама, чуть не до самых пят, ему нож в руку та на гору святую овцу резать. Ач! Отбрили Луку от власти. Бычий пузырь им на голову! А я б им подлатал хозяйство трошки. Пробрал бы дурней. А то дожили: атаман гроши прятал за голенище, страшно оставлять в сундуке в правлении. Ач! И выбрали: самого носатого, шоб легче ухватить!

— Тю-у,— прервала его бабка,— хватит тебе! Не иначе на тебя крикливица напала.

— Не на меня. На нашего батюшку. На трехсотлетие так кричал, как на церковного сторожа, всех людей перепугал. Вот такие, Василек, торжества у нас. В золоченых каретах не ездим, а своими ногами до духана протянем, и ладно. Ну, рассказывай!

В Пашковской он задержался до ночи, жужжал про торжества не смолкая, в тех же подробностях описывал проезд по Невскому проспекту царского кортежа, похвастался покупками. Когда Попсуйшапка рассказывал о празднике в Петербурге, можно было подумать, что он сам ехал в экипажах или, на худой конец, ему было поручено проведение торжеств. Вины в том его не было. От веков досталось ему убеждение, что романовское самовластие нескончаемо и благотворно и другого ничего не бывало и не будет в России. Куда ни кинься — все под рукой царской. Братьев Скиба, усомнившихся в нынешней правде, расстреляли, о них уж и позабыл город. Ювелир Леон Ган приготовил для кубанской депутации поднос из чистого серебра, и казаки повезли его в подарок царю. Доктор Лейбович, заподозренный в сочувствии революционерам, носит орден св. Анны. Куда ни повернись — одна власть. Хотелось преуспеть в этой жизни, подумать о себе. Больше он ничего не знал. В толпе он еще сильнее приподнимался на цыпочки, чтобы лицезреть пышное преуспевание, а может, и быть замеченным. Слаб человек!

Когда наутро появился в мастерской из аула тонконогий князь Султан-Гирей, Попсуйшапка всей душой пытался ему услужить, и казалось ему, что князь будет долго помнить о нем. Тот важно вышел и про все забыл. И все же услужить было приятно. Князь! Всем услужи — будешь человеком. Родной жене, да еще такой, как его Варюша, тоже угождай ласковым словцом, хлебом насущным, подарком. Если и любить перестанет, все равно будет держаться тебя. На том свет стоит. Кто норовист, того никто не жалует.

Между тем дома, хоть и произошло примирение, ничего не изменилось и супружеской радости не было. Все так же жена наспех кормила Василия, комнаты убирала кое-как, с базара приходила насупленная. Василий не понимал, чего ей еще надо. День-деньской он крутился как белка. «А что ж, Варюша, ничего у нас не меняется? — хотелось сказать ему.— Я стараюсь, а ты?» Но молчал, знал: за день — еще хуже станет. Первый вечер, когда она покорно слушала его рассказы о Петербурге и за руку тянула спать, ушел как в сказку, и снова ей стало все безразлично: перебивала его на каждом слове, называла (будто в шутку, а с ехидцей) шапошником, мать его не замечала. И Василий в обед просиживал часок где-нибудь в Старокоммерческой гостинице, в ресторане или в шашлычной у Бадурова с Терешкой, жаловался.

— Надо было мне жениться на Кривохацкой, ее мать бубликами торгует. Она мне вышила двенадцать платочков голландского полотна, шелком расшила: «Люблю сердечно, дарю навечно. Того встрелю стрелой, кто разлучит меня с тобой». Знала молитву от сглазу, от крикливиц.

— Раз такое дело, я б за тебя свою дочь отдал.

— У портного Телушкина тоже хорошая дочка. Но я пришел к ним, а мать нарезала на стол тараньку нечищенную. Это ж она и дочь не научила чистоте? Говорят же: взад хохол умен.

К лету, успевая везде и всюду, Попсуйшапка так же внимательно прочитывал газету, бурчал, поправлял журналистов или высказывал свои соображения. Брат Моисей ужасно любил его слушать.

— Государь в Кострому поехал. На семейную землю. В Ипатьевском монастыре с иконой божией матери архиепископ Тихон вышел. Этой иконой мать Михаила Федоровича благословила на царство. Та я читал, знаю и без них. А наследника — у него ж ножка больная — носит казак Деревенько. Знаешь Деревенько?

— Пашковский казак?

— Не-е. Матрос.— Василий вставал, подтягивался, изображая матроса.— Мужчина высокого росту, разухабистый. Да как Турукало — гвардеец, их там подбирают, не думай... Он спас наследника во время крушения «Штандарта». Подумали, что наскочили на мину, он его хвать — и бросился с ним с яхты в море. Оценили. Я видел его, как этот раз за товаром ездил.

— Что ж, парадные экипажи красивые?

— С Терешкиным не равняй. Царица тебе поедет в та-

ком. И великие княгини в позолоченных. «Духовенство выходит навстречу государю в полном облачении и осеняет путь монарха...» Ну, хватит про царей читать. Хорошо там, где нас нет. Моя Варюша от этого лучше не будет. И наш городской голова улицы не замостит. То ж, как бы сказать, товар лицом, эти парады. России нужно марку держать, а казаку крышу камышом самому надо крыть, и нам с тобой шкурки замачивать — самим. Ты замочил?

— И откуда ты, брат, у нас умный такой?

— Сплю и думаю.

Калерия воспитывала теперь сирот в приюте, над которым попечительствовал ее отец. К церковным и государственным праздникам к дому у Карасуна подвозили мешки с мукой, несколько бараньих туш, конфекты, пряники, потом отец приходил сам, поздравлял и вместе с детьми сидел на концерте, которые устраивала Калерия: кто-нибудь читал Некрасова, пел детскую песенку, танцевал. Отец добивался, чтобы и другие имущие обыватели жертвовали в приют; на месте деревянного дома ныне стояло крепкое двухэтажное здание. Попсуйшапка тоже не пропускал случая, чтобы дать в общую кассу хоть маленькую денежку. Был у них случай такой: мальчик, кем-то наученный, написал в Петербург наследнику Алексею жалобные слова, и через некоторое время на его имя принесли из канцелярии Бабыча пакет с вложением. На десять рублей купили арбузов, но наказный атаман строго предупредил воспитателей. Попсуйшапка, прочитывая фамилии в списках пожертвований к разным дням, сравнивал, кто сколько дал, и, не желая позориться, с каждым разом прибавлял рубль другой. Жена за это на него нападала.

Если ты человек с достатком, пусть самым маленьким, благотворительности не избежишь. И от попрошаек не отобьешься. Люди всегда почему-то думают, что у тебя всего больше, нежели на самом деле. Скрывать же богатство тогда не любили. Наоборот: дорогую шубу, бесценный бриллиант пусть увидят все! Попсуйшапка гордился своими шляпами разных фасонов: рафаэлевского, а-ля Тарас Шевченко, французского. И уже не одна молодка строила ему глазки и мечтала отбить. О том, как человек живет дома, узнают по каким-то еле уловимым признакам.

Кругом было много нищих, калек, они стекались к церкви, сидели на холодной земле, и Попсуйшапка, глядючи на них, забывал свои неурядицы, радуясь самому первому счастью — здоровью и возможности жить на сноровку своих

золотых рук. Могло быть ему в жизни хуже... [Не дописано][1]

Неужели когда-то у Бурсака была свадьба?!

Была. И она совпала с этими пышными днями дома Романовых. Они тогда с Калерией пренебрегли праздниками, традициями и повенчались; и Терешка обвез их в роскошном фаэтоне три раза вокруг Екатерининской церкви — «чтоб невеста от жениха не вернулась домой...». Да обвез, видно, в плохом настроении, иначе бы не так коротка была их совместная жизнь, но об этом потом...

Из Персии прилетел от Толстопята листочек: «Желаю вам в счастливом браке дожить до своего трехсотлетия». Отец Калерии созвал из станиц многочисленную родню, старых полковых товарищей да нанял оркестр пластунов. Шафером Карелии был двенадцатилетний внук родного дяди. В спальне, где стояла у зеркала бледная взволнованная невеста, одетая в шелковое платье, с фатой на голове, мальчик надел на ее правую ногу маленькую шелковую туфельку, а в церкви поддерживал шлейф, когда священник водил молодых округ аналоя. Три дня пировали на Борзиковской улице; зарезал отец к столу быка, несколько баранов. Потом целую неделю объезжали молодые по станицам родичей. В Хуторке они тоже прожили неделю. После свадьбы Манечка Толстопят сообщила брату в Персию: «Я никогда еще не видела любви такой, как в романе, и теперь вижу. Все это так ново, так странно для меня. Представляла себя на месте Калерии: и я люблю, не знаю кого, но люблю». Она не написала, что на другой день не могла без стыда взглянуть на молодых. Если она кого полюбит и выйдет замуж, то как бы она хотела, чтобы роковое таинство брачных уз никому в целом свете не было известно, чтобы не царапали душу намеки, взгляды, осколки тарелок наутро. Она посреди шума гостей, собравшихся обмывать неназванный позор Калерии, была, наверное, единственной, кто жалел помятую красу.

Манечка забегала к ним раза два вечерком.

— Сколько казаков за тобой ухаживало,— говорил Бурсак.— Не выбрала?

— Ну их. Мужчины, когда ухаживают, ужасно дуреют и выдают себя с головой. Не обманут.

— В окружном суде сколько женихов.

[1] Так в рукописи.— *В. Л.*

— Мама меня ругает... Она думает, что если товарищ прокурора присылает мне корзину персидской сирени, то в суде мое счастье.

— Называет «моя дурочка...»?

— Ой, не говорите. Пошла к Залиеву в магазин. Товарищ прокурора звонит хозяину: «Была у вас барышня? Вы не заметили, что ей понравилось?» — «Муфта и горжетка».— «Пришлите». Прихожу в суд рано. «А ну несите, что вы там написали. Ну ни к черту, ну ни к черту! Кого любите? Кого? Грозу, своего начальника, любите? А ну-ка померьте муфточку. Идет вам». Я возмутилась!

— За богатство, Манечка, ни в коем случае,— советовала Калерия.— Вы будете игрушкой.

— Он жена-ат. Я и денег за работу не взяла, ушла. Не нужно мне его платье за сорок пять рублей. Я не золушка. Вы по любви вышли или по настоянию?

— По любви.

— Мы с подружкой бросали на Новый год туфли за ворота. Шел мимо господин, поднял и понес. Она бежала за ним квартал. Городовой Царсацкий отобрал. Он и стал нечаянно посредником в знакомстве. Обвенчались. Ну что это? Судьба?

— Предписание свыше.

— Тогда уж лучше пусть на извозчике украдут. Мне надо, чтобы меня всю жизнь любили... Вы всю жизнь будете любить Калерию Никитичну?

— Хранить сон уставшей любимой женщины — мое призвание,— сказал Бурсак.

Когда Калерия спала, по-детски подтянув колени к животу, унеся в свой сон вздохи, просьбы и легкие стоны недавней любви, он сидел напротив нее с веером, отгонял севшую на ее плечо муху, любовался ею и не помыслил ни разу, что с такою женщиной можно когда-нибудь расстаться. Начало совместной жизни! Воистину даруются парочке дни, когда никто не нужен. Все полно преувеличения, светлых надежд, каждое слово друг друга драгоценно, любую мелочь хочется запомнить и удержать.

— Люблю тебя,— шептала Калерия, ласкаясь.

— Я тебя люблю.

— Нет, я.

— Нет, я!

— Люблю, люблю тебя, люблю, люблю, чтоб ты знал!

Из трубы граммофона распускались по комнате звуки романса.

— Правда, что Вяльцева завещала сто тысяч на благотворительные цели, а мужу ничего?

— Писали так.

— «Под чарующей лаской твоей», «И обожгу и утомлю», а чем кончается? «Батюшку, батюшку позовите!»

— А ты не боишься смерти?

— У нас в роду живут долго.

— Мы с тобой будем жить долго, и из нашего маленького Парижа поедем в большой.

— Когда?

— Когда будем богаче.

Медовый месяц они провели в Кавказских горах, в Теберде. Наняли все того же Терешку, извозчика надежного и хорошо знающего дорогу. О такой красоте, о воздухе и одиночестве можно было только мечтать! Недоступный Эльбрус был совсем рядом! Мелкие ручейки ящерками бежали вниз то здесь, то там. Калерия спускала пуховый козий платок на плечи, Бурсак тоже ходил с непокрытой головой. Они часами бродили где попало, держась за руки.

— Господи, благодарю тебя за такую красоту.

— Разве могли мы отдать Кавказ Турции? — говорил Бурсак.— Рай.

— А Персия в какой стороне?

— Где Толстопят, там и Персия. Сознайся, тебе понравилось тогда, что тебя украли на извозчике? «Моя маленькая шалунья!»

Теперь он спокойно дразнил ее, зная, что никогда ее не потеряет.

— Я ничуть не виновата. Почти так же, но не совсем, отец увез маму. Познакомился с ней, стал ходить домой. Его старики полюбили. А раз приходит, его пускают не с парадного, а с черного хода. В комнате сидит казак в погонах. Что-то тут не так. В другой раз вызывает ее: «Ты за меня замуж пойдешь?» — «Та... пойду».— «Тогда иди оденься, пойдем к моей бабушке на Котляревскую». Бабушка графинчик выставила. Купил отец беленькие туфли, носочек муха закапала. В Кубанском певческом хоре — все товарищи. Отец заказал венчание, взял фаэтон. Так на свадьбе тот жених, казак с погонами, плакал навзрыд. Когда рюмки поставили, казак плачет, мама плачет и отец плачет. И живут до сего дня!

— Ты меня любишь?

— Разве ты не чувствуешь? — говорила Калерия и, уже как единственная, разделившая с ним все тайные страсти женщина, гладила его по плечу.— Зря моя мама мои баш-

маки прятала. Все равно увели. Хорошо, ой как хорошо. Ты успокоился. Уже не ворчишь, что в России в году сто сорок праздников, что из-за них в крестьянском хозяйстве теряется два миллиарда рублей.

— Я думаю о тебе.

— И думай всегда! Но жалко все-таки, что Пьер в Персии. Бедняжка.

— Ах ты, моя маленькая шалунья!

— Не надо так, прошу тебя. Лучше обними...

На обратном пути проведали они в Каневской могилы отца, матери, деда Петра, а когда прибыли в Екатеринодар, тетушка Елизавета раскатала перед ними персидский ковер, подарок от Толстопята.

— Это он тебе прислал,— сказал Бурсак.

— Милый Пьер... Зачем он в Персии? Без него скучно в нашем богоспасаемом Екатеринодаре,— говорила Калерия, подражая Толстопяту.

В том 1913 году Пасха пришлась на день рождения Бурсака, и никто ему не мог бы подсказать, что будет это последний спокойный год в его жизни...

Часть третья

ОТБЛЕСКИ ВОЙНЫ

— Ну что ж: значит, быть по сему...

(Из разговора)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

...И случилась эта несчастная война.

«Братья,

творится суд Божий. Терпеливо и с христианским смирением в течение веков томился русский народ под чужеземным игом, но ни лестью, ни гонениями нельзя было сломить в нем чаяния свободы. Как бурный поток рвет камни, чтобы слиться с морем, так нет силы, которая остановила бы русский народ в его порыве к объединению.

Да не будет больше подъяремной Руси!

Достояние Владимира Святого, земля Ярослава, Осмомысла, князей Даниила и Романа, сбросив иго, да водрузит стяг единой, великой и нераздельной России, да свершится Промысел Божий, благословивший дело великих собирателей земли русской, да поможет Господь Бог царственному своему Помазаннику Императору Николаю Александровичу всея России завершить дело великого князя Ивана Калиты, а ты, многострадальная и братская Русь, стань на сретенье русской рати.

Освобождаемые русские братья, всем вам найдется место на лоне матери России.

Не обижая мирных людей, какой бы они ни были народности, не полагая своего счастья в притеснении иноземцев, как это делали швабы, обратите меч свой на врага, а сердца свои к Богу с молитвой за Россию и за русского Царя.

Верховный Главнокомандующий
генерал-адъютант

Николай

5 августа 1914 года».

...За слезами и плачем забылось воззвание великого князя Николая Николаевича, но ясно было одно: иди и умирай за Отечество. И был поначалу великий патриотический

подъем. Извозчик Терешка отдал армии вороного жеребца за вексель в полторы тысячи рублей. Купцы братья Тарасовы и Черачев одели на войну своих служащих на собственные деньги и платили их семьям по пятьдесят процентов зарплаты. Даже в «Союзе Миаила Архангела» отрекались от брани с инородцами, закупали на взносы соленое и свежее сало для фронтовиков. В день объявления военного положения многие станицы выслали конокрадов.

Любопытно то, что блестящий хвост кометы появился на небе в безлунную ночь под выстрелы первых боев. В начале августа комета находилась в созвездии Рыси, приблизительно в том же месте, где распускала сияние комета в Отечественную войну 1812 года. В начале сентября комета скрылась, а в октябре она перешла в созвездие Большой Медведицы.

Уже первые сводки выкрикивали мальчишки с газетами в руках, уже лица убитых и раненых замелькали на полосах быстрых журналов. Черноморская станица все провожала и провожала новобранцев.

— Прощайте, прощайте на земле и на небесах.

— Не журитесь, раз стрельну и вернусь...

— Возвращайтесь с Георгием!

НЕДЕЛЯ БЕЛЬЯ

Разъезд начался в четыре часа утра. У второго общественного собрания Терешка поджидал молодых господ. Рюмка водки в обжорке Баграта да гусачок подкрепили его, и он тепленько сидел на козлах, раздумывая, каким повышением цен на рынке грозит война. Пока все шло, слава богу, так же, как и всегда: базары были окружены возами с хуторов и станиц, фунт баранины не подскакивал выше 15 копеек. Переваливались на возах из станицы в станицу ярмарки. Но и богатая публика так же, без тревоги, ездила на курорты в Минеральные Воды, и балы (правда, под видом благотворительности) не прекратились. Только разве мадам Бурсак остепенилась, не заезжала за бриллиантами в банк и не мечтала больше о Париже.

Терешка по роду своего ремесла лучше других знал, кому как обходится война с немцем. Попсуйшапка, например, приостановил в своем дворе постройку каменного сарая. Лука Костогрыз передал ему, что генерал Бабыч отложил празднование своей полувековой службы в офицерских чинах до полной победы над врагом. В день его рож-

дения шесть пекарей несли к дворцу трехаршинный пирог от Кёр-оглы; полиция задержала процессию: показалось, что революционеры волокут генералу гроб! На Новом базаре Попсуйшапка сорвал со столба объявление: «Нужна интеллигентная немка к детям». Персы спешно продавали свои лавки и уматывали к себе на родину.

Заскочил было в Екатеринодар забияка Фосс, поврал, будто едет на Кавказский фронт толкать пушки, но никто, даже Баграт и Бадуров, уже не накормил обжору бесплатно.

4 сентября провели по улицам первую партию пленных; и так же, как в турецкую войну, нижние чины поставлены были на казарменное положение, а офицеров растолкали по квартирам, связав их одним честным словом. Екатеринодарские вдовушки, ветреницы зазывали к себе на постой немцев и австрийцев и жили с ними, наплевав на позор. Никакой наказный атаман не мог бы запретить им. Мало ли когда-то турки увезли на родину русских жен; увезут и эти, если захочется, когда наступит мир.

На третий месяц войны Манечка Толстопят записалась в Общину Красного Креста, которую возглавляла супруга наказного атамана. Община выпустила воззвание «Добрые русские граждане!». Манечка прочитала и затрепетала от слов: «Слава наших героев — наша слава, и их беспомощность — наше несчастье и позор». Написала заявление и побежала во дворец. На душе было то же чувство, что и в августе, когда по всем церквам звонили колокола, а на другой день в семьях прощались с сыновьями и внуками, давали на дорогу серебряные рубли и плакали: «Сыночек мой! От ветра я тебя укрывала, от солнца я тебя защищала. От службы царской не упрятала я тебя-а...» Манечка шла по улицам за конным строем, слушала, как пели новобранцы, и плакала. С детства любимым ее занятием было встречать полки казаков. Они ехали обычно по Котляревской улице и всегда пели. И не она одна выбегала любоваться лихими всадниками. Кто жил поблизости, вставал от трапезы, растворял окна или выскакивал на улицу. Со временем екатеринодарцы избаловались зрелищами шествий и парадов, а в прошлом веке их внимание к родному воинству было воистину родственным. Покойный ее дедушка надевал черкеску и гордо стоял на тротуаре, опершись на кизиловый костыль. Манечка бежала за конными казаками до епархиального училища; там перед черным узорным крестом в оконном стекле наверху песня смолкала.

Еще через месяц Манечку как-то подозвал к себе отец.

Его заполошный окрик в первое мгновение ее испугал. В семье и так за него боялись. После горя, причиненного ему сыном Петром, после смерти прапрадеда, в котором так вольно жила душа предков-запорожцев, мало было надежды на его выздоровление. Но вот с марта он, сухой и костлявый, какой-то присмиревший и виноватый даже перед женой, стал похрамывать там и сям на улицах, на базарах, шуметь в городской думе из-за дров, тротуаров и прочего. В письмах к Петру в Персию Манечка с плачем молила братца покрыть позор ревностной службой на ратном поле иначе отец умрет. Он каждый вечер спрашивал: «От персидского нашего шаха нема звуку?» Манечка и сейчас подумала, что отец прикажет ей добавить еще одно нравоучение. Петр между тем уже сражался с турками.

- Дитятко, сказал он.— Клади александрийскую бумагу, садись и пиши.

— Что, папа?

- А я скажу. Такая ты у нас козочка худенькая, маленькая. И война, и ты без жениха до се.

- Ну папа! Вечно вы...

Тут Манечка обратила внимание на то, что отец надел черкеску, на боку у него шашка, и к поясу прицеплен посеребренный кинжал.

На Бабыча имя пиши...— Он поднял голову, вздрогнул плечами, словно подтянулся перед начальством.— Его-о превосходительству господину наказному атаману и... все отличия, тебя учить не надо. Пиши: прошу вашей милости приказать зачислить меня в Первый Кубанский полк на Кавказский фронт.

— Мама вас не отпустит.

— А то я ее послушаю. В своем полку родился как боевой казак, в своем и помру, если убьют. Там девять Георгиевских кавалеров... Пиши... Находясь в полном здоровье и силе и желая на склоне своих лет принести жизнь свою на пользу Отечества, я... Чего? Чего смотришь так? Пиши, пиши храбрей. Имею опыт персидского похода, еще не последняя спица в колесе...

— Так не надо, папа,— робко поправила Манечка.

— А как? Тогда напиши, шо есаул Толстопят Авксентий Данилович соглашается идти младшим офицером. Могу нести как строевую, так и административную службу.

— Как же вы, папочка, будете нести строевую службу? С ногой на деревянной колодке.

— Ну! — отец топнул властно. Когда в восемьдесят восьмом году приезжал на Кубань с царем граф Воронцов-

Дашков, то мой батько, а твой дед стоял в почетном ряду. Воронцов раньше был с ним в отряде против горцев. Узнал батька. Батько раз двенадцать пуль схватил в битве. Воронцов спрашивает: «Что бы ты желал, Толстопят?» Батько прокричал ему: «Снова служить в строю!» А я не в него?

— Куда-а ты надумал? — плачем уговаривала матушка, растопыривая руки, запачканные белейшей мукой (она на кухне готовила благотворительный пирог для «Чашки чая»). — Опять поеду за тобой, как в ту японскую? Ой, боже, ой, лихо... он нá турку собрался. Да ты до базара дойдешь и пыхтишь.

— Царю я уже послужил, теперь хочу спасение души заслужить. Ты стряпаешь там и стряпай. Казак не без доли. И никак с бабских языков не счешешь того, шо налипло. Глянь! — показал он на икону. — Как бог на тебя сердито смотрит.

— То на тебя.

— Я, наверно, сейчас за палку возьмусь.

— Та есть у тебя ум?

— Я с тобой живу больше тридцати годов, а ты, кручена овца, так и не вразумила, шо такое есть казак. Казак есть камень. Сколько б на него не лилось, а он не мокнет. Только стряхнулся, как гусак, повертел крылами — и геть вода с того гусака. Я к тому ж ще и выборный гласный.

— Прямо в диковину! На фронт ему. Бородой трясти. А то молодых нема.

— И уродится ж такая зуда! — рассердился отец. — Ну, я пошел. Давай заявление, дочка. Что ты, моя дуронька, плачешь?

— Папа, — сказала Манечка, — вы нас пожалейте.

— Ничего, дитятко. Я белье буду на фронт возить. Вина в графин наточите, приду, шоб стоял графин.

Он взял палку, перекрестился на выходе и скрылся за дверью.

Над церковной площадью кружились черные птицы.

«Ишь, иродова птица! — сердился Толстопят. — И она сюда! Це плохая примета... О, господи, шо оно дальше станет с нами? Молю — укрепи мои силы».

Бабыч (уже снова военный генерал-губернатор) принял его тотчас же.

В 1905 году между ними прошел сквознячок, они поссорились и девять лет не здоровались.

Бабыч повертел заявление и своего согласия не изъявил.

— Белье с вагоном сопровождать — поезжай...— только и сказал.— Немецкое колбасное войско разобьем, и турки руки вверх поднимут. Война будет короткой. Живи.

— Сколько ни живи, а два века не проживешь.

— Все умрем, да не в одно время.

— К животу припарки ставить, к ногам толченый лук — моя доля?

— Ничего, и без одного цыгана бывает ярмарка. Опять заместо чужого солдата верблюда убьешь. Не пущу, в окоп упадешь.

«Э-эх...— на кого-то обижался Толстопят на улице.— В девяносто четвертом году, девятого августа, прибыл я в лагерь под Сарыкамыш в Первый Кубанский полк... После закуски в столовой дежурный трубач как заиграл тревогу, казаки выстроились! «Кубанцы! — слышу.— Взять и покачать подъесаула Толстопята». Меня качали, и музыка играла, и казаки стреляли с холостых патронов. Бабыч теперь верблюда вспомнил. Ну, было. На персидской границе на кордоне раз наварил я каши. Стрелял в татарина, откуда взялся верблюд? Может, караван шел? Увидел — татарская шапка с камыша показалась, в нее и нацелился. Как сказали хлопцы, шо я верблюда убил, так меня аж в жар бросило: верблюд двести целковых стоил, где ж деньги брать? И какая могла нечистая сила попутать, колы у меня на шее был крест с распятием? Поскорее закопал верблюда, пока хозяин не нашелся. А Бабыч и до се не забыл... Ну а папаху ты мне не запретишь сшить! Сейчас же зайду!»

В мастерской у Попсуйшапки он вступил в спор о том, что было бы, если б Тарас Бульба не выронил люльку; потом, когда все ушли, похвастался перед мастером Василием, какая у него дочь Манечка.

— Моя ж она козочка! Она ж у меня и в Красном Кресте, и в «Чашке чая». У них там ктось бросил в кружку кольцо, а один — золотой крест святой Анны. На войну. И записка лежит: «Дай бог перебить всех врагов». Вы почему не на фронте?

— Казакам в армию папахи шьем. Белые билеты выдали.

— И не спите небось?

— Мы, Авксентий Данилович, не так, как в Зимнем театре,— едко заметил Попсуйшапка, разглаживая шкурку.— У них «Веселый рогоносец» танцуют.

— А моя Маня в четыре встает, в час ложится. Раненых привезли, она на станцию: надо ж принять в зале, чаем угостить, холодной закуской, порасспросить. Она и комару,

который ее вжалит, перевяжет ногу. Им, сестрам, воспрещено театры и рестораны посещать. У них в «Чашке» войсковой симфонический оркестр три раза в неделю играет; публика с театра едет к ним кофе пить. За месяц три тысячи рублей собрали. Рука дающего не оскудеет, так же? А утром соскочит, еще не умылась — уже про белье думает. К вашему двору не подъезжали фургоны?

— Труба так гудела, что мы с братом проснулись. Я дал носки теплые, одеяло.

— А наша Маня таскала, таскала от матери и со счету сбилась. Раненым пять тысяч коек расставили — и в военном собрании, и в «Монплезире», в епархиальном ведомстве, и так, по домам...

— И как России не везет,— сказал Попсуйшапка.— В несколько миллиардов война с Японией обошлась, а эта во сколько? Ей и конца не видно.

— Побьем... Недаром персюки да турки уже лавки попродавали и на родину кинулись. Чуют.

— Вы не ходили во дворец поздравлять Бабыча с пятидесятилетием в чинах?

— Не. Я сердитый на него с девятьсот пятого года. Я заявление написал на позиции, но не вышло. «Война,— сказал,— недолго будет».

Так бы он сидел в мастерской до вечера, если бы не вскочил пристав Цитович. Попсуйшапка позеленел, думал, что Цитович ворвался с обыском. «Так твою, ты что за рыло? Пущу протокол и будешь в кордегардии!» — его приемы на службе. Но Цитович сладенько поздоровался, глянул на все стороны и холопом вытянулся перед Толстопятом.

— Просили передать, чтобы вы срочно шли к наказному атаману!

— А я был.

— Просили передать – срочно! Извините, вас ищут через полицмейстера. Извините, господин есаул, муж жену избил — мне на Карасунскую.

Во дворце Толстопят с ходу спросил у Бабыча:

— Чем я провинился?

Бабыч встал и важно зачитал телеграмму.

На другой день Толстопят обошел всю родню, гордо толкался по базару, был в церкви.

Его поздравляли: за геройство в бою с турками сына Петра наградили святым Георгием 3-й степени.

Через неделю старый Толстопят, Манечка, мадам Бурсак выехали на Турецкий фронт с вагоном белья и подарков.

Сопровождали вагон и те три казака, которых осенью 1911 года поручение выпросить у Бабыча племенного бычка завело аж в Тамань. Ехали помочь доброй услугой, а заодно и внуков проведать.

НА ВСЕ ЦАРСКАЯ ВОЛЯ

Через неделю, наевшись яичницы, отправился к Бабычу и Лука Костогрыз. Некогда заласканный почетом, праздничными жестами высокородных лиц, на старости лет Лука Костогрыз вздумал писать жалобы, а точнее сказать — тягаться с властью. Но на его жалобы не было почему-то из Петербурга ответа. Лука решился прощупать наказного атамана.

Первым делом он щедро поздравил Бабыча с 50-летием службы в офицерских чинах. Запев ему удался, так как Лука поставил Бабыча выше атаманов, тем более русских, всяких там графов Сумароковых-Эльстонов и Евдокимовых. Круглоголовый Бабыч скупой самовластной улыбкой отвечал ему, но особой благодарности не проявил. Он постарел. Маленькие синие глаза атамана глядели на Костогрыза устало. Все уж надоело ему!

— Опять стихи? — спросил Бабыч.

— Не-е, я́ за умом пришел к тебе. По своим старческим летам неправды тебе не буду говорить.

— Когда это казаки жалобами распинались?

— Жалобами своими я добиваюсь одной только правды, а не какого-либо корыстолюбия. Мне ничего не надо, меня смерть ждет. А по словам в бозе почивающего Александра Второго, милость и правда да царствуют в России!

— Ты, бисова душа, всех зацепишь.

— Свадьба сорочку найдет. Мне и правда ничего не надо. Капитул орденов сообщает, шо на мой именной крест идет пенсия, но, ввиду того, шо я потерял документы, денег не выдают. Ладно, я пасекой проживу.

— Что ж, будем в войну заваливать государя вздорными прошениями? И у меня на столе их сколько!

— За себя просить не буду. В России порядка нема. И у нас на Кубани. Я приходил к тебе насчет нового пашковского атамана, ты меня не выслушал, а позавчера, смотрю, он хватает казака, приказывает идти с ним в лавку для набрания ему сукна на чекмень. Это атаман?

— Та я ему голову оторву! — взнуздался вдруг Бабыч. Он и сам порою страдал ухватками станичных атаманов.

— Мало голову оторвать; надо и ноги выдернуть. Я боролся всеми силами, ничего с глупым народом не сделаешь. Теперь атаман бросает казенные гроши черт знает куда — я тут ни при чем. Он как поступил на должность, хотел похвастать, лучшую школу поставить, а гроши в кассе не подсчитал, а может, счету не знал. Отдал техникам полторы тысячи, а тогда разглядел, шо не за что строить, то со стыда, запрятал ту смету молча в стол, пока атаман отдела не привязался, как ему кто шепнул в ухо: «Дай объяснение!» И опять запятая с точкой атаману! И кто ж виноват? Сбор. И не докажешь. Казначей полкассы замотал. Одним чудом Пашковка держится.

— Враждуешь с атаманом? Учить нас вздумал?

— В Сечи как было? Ежели в каком курене атаман неисправный, то господину кошевому вольно его покарать и доброго зараз поставить.

— Сейчас не время думать о нашем неустройстве. Все должно стремиться к победе.

— Атаман купил на пятнадцать лошадей сто хомутов. Зачем?

— Ему виднее. Враждуешь.

— Такой атаман не может нажить врагов, так как от него всем тепло, одной станице беда. Ошибка будет твоя, батько, так думать, гласность пускай не устрашает тебя. Я побежал к писарю за приговором сбора, который он похитил домой и положил в папку,— так он начал стрелять в меня! А зачем воровал бумаги? Чтоб самому атаманом стать.

— И ты про це царю написал?

— Не писал, це ты сам разбирай, а я писал кое-что побольше. Слава господа через пророка Михея: начальники требуют подарков, судьи судят за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и превращают дела на свой лад; лучший из них как терн колючий, справедливый — хуже колючей изгороди. Читай: глава седьмая, стих третий, четвертый. Это было за несколько тысяч лет до Христа, а сейчас еще хуже тех в десять раз. Карманы полопались от взяток, а бедных только мазнут по губам салом — и все.

— Брешешь!

— Было, спрашивает моего деда атаман Бурсак: «Шо б ты сделал, як бы на тебя сказали «брешешь»?» — «Бил бы!» — «Та брешешь!» — «Ей-богу, бил бы!» А я своего кошевого жалею.

Бабыч немножко сдался; адъютант доложил, что пришли из городской думы, но Бабыч рукой отвел: подождут, мол.

— А какой же черт тебя дернул писать в Петербург?

— Атаман навел меня на размышление. Посадил меня, смердячья жаба, под домашний арест. У ворот поставил казака с шашкой. До чего дело дошло? Ладно, бисова душа. Я вам всем покажу. Пишу ему записку: выпусти меня, я в баню схожу да быка посмотреть у кума надо, бык набрюшился. Сижу в хате и думаю. Покойный Петр Бурсак, шо с кручи бросился, снится средь бела дня. Была слава у нас. Всевышний внушил мне святую мысль и желание идти на помощь. И вся неправда за шкуру полезла, вспомнил, шо в жизни видал и шо сейчас. Война идет, а тут агент компании Зингера стучится, в рассрочку машинку швейную навязывает. Кто кровь проливает, кто наживается. В Петербурге министры зевают, а я ж столько видел за службу! На них костюмы русскоподданные, а сердце и зубы волчьи. Полевые враги истребляют нас живыми и ранеными. Сколько уже за три месяца с лишним осталось от убитых и раненых воинов молодых жен с детьми, стариков и старух?

— Что ж ты хочешь?

— Удалить всех немцев с должностей. Прикрыть тюрьмы и переименовать их на учебные и ремесленные заведения. Туда поместить больных и увечных воинов, безродных стариков. А конвой тюремных отправить в действующую армию.

— Перекрестись, Лука!

— Перекрестился, и опять за свое. Можешь подумать, шо я без разуму, так не! Я за чужим разумом не гонялся, бо у меня с роду его больше, чем нужно. Я могу лучше богу и царю служить, нежели подлости. Вы нас, стариков, за хорьков или зайцев считаете? Мы покоряли Кавказ. Конечно, стыдно и грешно мне об этом вести переписку, но я не последнее лыко в войске. Я выработал проект на высочайшее имя.

— Пока в хате под арестом сидел? Ну и что ж ты там на спасение Отечества выдумал?

— Назначить комиссию, проверить книги почтовых учреждений, кто сколько денег послал до войны на большие проценты в Германию, с виновных взыскать за каждый рубль по двадцать пять копеек на военные нужды. В банках забрать капиталы на военный заем. Все спрятанные товары продать с публичных торгов, а кто купит товар, продавать по дешевой цене. Таким путем победим.

— Мы и без того победим скоро,— сказал Бабыч.— С нами бог был на Куликовом поле, в Полтаве, с нами бог был в 1612 году и в 1812-м. И сейчас будет с нами.

— На небо нетрудно залезти, как назад вертаться? Это газеты брешут про победу? Ну, говорят, шо за морем дешева собака, да дороги мухи. Дальше. Проверить кассы монастырей и белосвященников и лежалые деньги забрать на заем. Зачем на деньги графа Воронцова-Дашкова (два миллиона) строить какое-то учебное заведение? Взять на войну! Компания Зингера грабит весь Кавказ, агенты, как цыгане, ходят по дворам, иную машинку за один год три раза продают. Господин министр финансов с мертвых пчел собирает мед.

— На Кубани накачали двести шестьдесят тысяч пудов меду, не знают, куда сбывать! Чего ты? До ста пудов в день принимает хлебный рынок и полтора миллиона пудов пшеницы, ячменя отправляется из Ейского порта за границу. В России тридцать девять миллионов лошадей, и всех кормим.

— Пропадет Россия со своими кацапами.

— Не забывай, что Россия тысячу лет строилась и разбиться так — ей не с руки.

— И не увидите, как развалится.

Тут Бабыч, немалый наместник самодержавия, решил поучить Костогрыза; сам пусть послушает и другим казакам передаст.

— Угодно вам оставаться казаками, так помните: защищаете вы Россию — хорошо, и она вас не забывает, а чуть против нея — то на кой хрен вы ей сдались? На ваших землях мужиков можно в три раза больше посадить, да и забот станет меньше. Как блоху раздавят, только дух нехороший пойдет.

— Мало наши косточки похрустели,— тихо сказал Костогрыз.

— А то чистый смех! Вам лясы точат, а вы уши затыкаете. Дадут вам дарового коня, так чем же вы от других будете отличаться? Снаряжение свое? У драгун оно лучше. Или долой панов? А паны разве с неба падали? Чепига у Карасуна в какой хатке жил? Много ли земли осталось у ваших панов. Вся продана почти. У меня и дома своего нет. А начни отнимать, похерите закон собственности, а землю похерить — похерить и кое-что прочее. Не казачье дело во вражью дуду играть!

— Мы с тобой, батько, поругаемся, как в корчме. Мне нельзя на тебя кричать — я урядник, а ты генерал. И то сказать: от Сечи повелись оба, казаки. Не накажешь меня по статье двести восемьдесят третьей Уложения?

— И статьи уже выучил?

— И цены все подсчитал. Спички продают с приварком.

Чай Высоцкого два рубля. На мыло цены вздулись до двадцати пяти копеек за фунт.

— Зато фунт баранины по пятнадцати копеек держится. Я подписал приказ, чтоб такса была ровная. Война скоро кончится.

— Ку-да! Пока мы заводы устроим, неприятель перекрестит Россию вдоль и поперек. И скажут старые казаки: «Про...ли Россию! Катерина нам землю дала, а кацапы басурманов напустили». Изучайте мой проект. Проект я создал не из книг, а из книги жизни, писал своеручно.

— На каком основании ты указываешь государю?

— Никто не должен жить для себя, а все должны жить для всех. И за всеми заботиться без гордости и самолюбия. Я работаю на пользу Отечества по высочайшему повелению от третьего июня 1891 года и шестого августа 1905 года.

— Ты же, Лука, у нас не красная девица и не студент, чтобы изнывать от тоски и неверия: «О жизнь, зачем ты избрала меня своей жертвой?» Или ты балуешься?

— А зачем же ты, батько, булаву на кухню отнес? На кухню! И кашу ею мешаешь.

— Ты, Лука, с ума сошел и хочешь, чтоб и мы с тобой?

— Это тебе кажется, батько. Я тебе больше скажу. Так как впоследствии возбуждается война от Китая, в такую тяжелую годину я не могу молчать. Святые книги подсказывают, а я уже вижу. Жалко, по моей бедности и старости не могу добраться до его величества. Через внука Диониса передам.

— Нету уже там твоего Диониса,— сказал Бабыч, но Костогрыз будто не расслышал или принял слова Бабыча за пустой звук.

— Я бы вот шо сделал,— продолжал он,— когда война с немцем кончится. После войны я бы все кандалы, решетки, штыки, ружья, пушки, шашки переделал на плуги, косилки, молотки. На память всеобщей войны и мира построить надо с союзными державами три больших монастыря с престолами для каждой религии, с отделением для стариков и малолетних сирот.

— Побрехали, и хватит,— сказал Бабыч и достал какую-то бумагу.— Будем жить, Лука, как жили. А менять — на то царская воля. Я слушал тебя из уважения к твоим заслугам. А теперь обороняйся... От внука Диониса было письмо?

— На третий день войны.

— Мне бумага пришла... Внук твой Дионис...

Костогрыз, чуя беду, побелел и мелко три раза перекрестился, губы его распались, и он сидел немой и жалкий.

— ...сбежал из конвоя!

— Та не может быть... Дионис? Не верю.

— Плохо воспитывал.

— Малым был — чуб ему мял раз в неделю. Та вы ж знаете меня! Та я его стопчу, собаку! Ну, рассказывайте.

— А чего рассказывать. Пришло предписание: найти, револьверы отобрать и возвратить в конвой. А за ним пришло уже другое. Деньги за лошадей, которые конвой продал, направить войсковому начальству. Серебряные часы за джигитовку, серебряный бокал и подстаканник не забирать. Беглецы уже в действующей армии.

— Та как же они, бисовы души, сбежали?

— Прибыл к нам офицер конвоя Рашпиль и рассказывал так.

Тут Костогрыз выслушал такую историю. В жизни он так не слушал усердно, хотя истории бывали похлеще этой. Все же родной внук!

Обнаружили, что нет на месте Диониса Костогрыза и его товарищей, на утренней уборке. Накануне они были в отпуску и явились в казарму уже в четыре часа утра. Взводный дежурный послал Диониса на уборку конюшни, но Дионис отпросился к прачке и так с узлом под буркой и ушел. Взяли они с собой походные сапоги, черкески защитного цвета, шубы, револьверы, узкие кинжалы и шашки, компасы и захватили по пути в царскосельской лавке еще пять фунтов табаку — «для братьев-раненых», как они сказали лавочнику. Дионис давно искал напарников и многим предлагал «удрать на войну» и прославиться так же, как пятеро бежавших солдат из железнодорожного полка.

— А что ж теперь будет им, батько?

— Благоугодно было повелеть: не возбуждать дело о предании виновных суду и взысканию до окончания военных действий.

— Сла-ава тебе, господи...— Костогрыз осел назад от счастья.— Это значит вернется с Георгием. Я его знаю. В нашу породу. От бисовы Костогрызы, и сроду они такие! То значит — выиграем войну. А где ж они в действующей армии?

— Прислали письмо в Первую сотню, а полк не указали. Разведка нашла: Первый Хоперский великой княгини Анастасии Михайловны полк на Западном фронте. Участвовали в тридцати боях. Полк перебросили на Кавказский фронт.

— Из конвоя исключили?

— На третий день. Без всяких преимуществ за службу.

Так что жди, Лука, когда война кончится, а там царская воля: прощать или...

— Я, может, не доживу, батько, до победы, а наказание ты смягчи. А ты отказался от меня из-за проекта, как Петро от бога.

— Я тебе сказал уже, Лука: мы с тобой не на охоте в Красном лесу.

«Сколько ни говори ему,— разочарованно думал Костогрыз, проходя мимо памятника Екатерине,— все равно как по воде батогом. Им укажешь? Пока булава в руках, им кажется, шо все вечно...»

А Бабыч приказал адъютанту: «Больше его ко мне не пускайте».

ЯВЛЕНИЕ ЦАРЯ НАРОДУ

В Екатеринодаре 17 ноября выпал снег; извозчики катали обывателей на санях, в Карасуне стала замерзать вода, но — откуда ни возьмись — подул через неделю теплый ветер, и город сразу почернел. 23 ноября, в воскресенье, публика гуляла по Красной в шляпах, наблюдали за украшениями. За три дня до этого генерал Бабыч получил шифрованную телеграмму: «Встречайте Екатеринодаре хозяина».

24 ноября, в день св. Екатерины, приезжал царь.

Питейные заведения, магазины, лавки, булочные были закрыты с раннего утра.

Говорили потом: по всей линии следования царского поезда, от Тихорецкой до Екатеринодара, выставлены были поверстные часовые из конных казаков. Но ежели и не от самой Тихорецкой, то от станицы Динской, за восемнадцать верст до столицы казачества, было именно так: каждые двести метров по обеим сторонам полотна восседал на лихом скакуне казак с шашкой наголо. Как только паровоз, ведомый потомком запорожского войскового судьи Головатого, дворянином, променявшим наследственные льготы на службу машиниста, равнялся с всадником, тот гнал свою лошадь до следующего поста.

Надо вспомнить наивность тогдашнего простонародья. Все, кто мог, побежали к вокзалу.

Попсуйшапке было не до встречи. Три дня назад он со станции Динской отправил в Екатеринодар четыре ящика с папахами и теперь требовал с багажного кассира свой груз или, если он окончательно потерян, 2029 рублей 25 копеек.

По Екатерининской улице свисали с балконов дорогие

ковры; нарядные жильцы глядели в сторону вокзала. Калерия Шкуропатская прошла у гостиницы «Националь» и заторопилась мимо городовых и строевых казаков вниз к Царским воротам. Зачем ей надо было разделять любопытство толпы? Может, душа толкала ее отвлечься от горя? С тех пор как умер ее первый младенец, она сиднем сидела дома и плакала. С мужем Дементием она разговаривала мало, да и он, чтобы она забылась, не трогал ее. Накануне Бурсак читал вслух обращение полицмейстера помогать ему в охране царя, зло ругался и предсказывал поражение России в войне. «Все вырождается,— сказал,— и цари, и знать». Калерия молчала, но как будто от того, что ей тяжело, соглашалась с ним. Уже погибла в Мазурских болотах армия Самсонова. Что ж, царь родился несчастливым и нес тем несчастье России. И она пошла посмотреть, какой он.

На Котляревской она, как ни странно, поддалась гипнозу толпы. Ее теснили в спину. Когда она спешила, у нее на ботинке сломался каблук, и теперь Калерия держала его в руке. Старухи поминутно спрашивали: «Чи нема его?»

Шла война, и визиту царя в маленький город придавалось особое значение, но народу было не больше, чем в годовщину войскового круга. И охрана была какая-то незаметная, словно состояла она всего из двух живых стен по сторонам мощеной улицы.

Старухи переговаривались:

— О, сказали, шо царь будет ехать, а его нема.

— Як нема?

— А где ж он?

— Та ото ж проехал!

— Ото? Та то ж москаль полицейский.

— А царь чи не москаль?

— Казак в черкеске.

Владелец бани Лихацкий, с алой лентой через плечо, лез показаться в первый ряд. Вдали у перекрестка взобрался на фаэтон Терешки Попсуйшапка и, пока царь задерживался, жаловался на пропажу ящиков с папахами. Кто-то совал извозчику рубль, только бы пустил в чеботах на чистое сиденье. «Умойтесь, причешитесь и идите на Красную»,— наставляли вчера гимназисток, и они пришли в одинаковых фартучках.

В теплый день можно было ждать сколько угодно. Пока на Черноморском вокзале на устланной сукном платформе подносили царю хлеб-соль, потом в стеклянной галерее с тропическими растениями радовали его еще крепким духом депутации от станиц (из стариков-конвойцев, из гвардейцев

прошлых войн), на Екатерининской прислушивались к первому удару пятисотпудового колокола на Александро-Невском соборе.

Вдруг с городской каланчи дежурный казак махнул флагом всем звонарям. Сперва увидели высившегося в фаэтоне толстого грека-полицмейстера. «Сзади меня едет его величество государь император! — кричал он на все стороны.— Сзади меня...» Калерии почему-то думалось утром, что царь прибудет с наследником, дочерьми и супругой. Нет, он был лишь с дворцовой свитой.

Царь, как из сказки, выплыл на черной машине из арки триумфальных ворот.

Так было и двадцать шесть лет назад.

В счастливое время, когда был еще наследником-цесаревичем, сопутствовал он по Кавказу своему августейшему отцу и провел три дня на земле кубанского казачества. Еще жив был брат Георгий. Еще мать их, императрица Мария Федоровна, на которую он так похож, полагала, что до старости будет носить на голове корону государыни и стоять на молитве рядом с мужем.

В 1888 году они пожаловали в Екатеринодар 21 сентября. Во всю ширину Екатерининской улицы застыла на взгорке новая арка с четырьмя золочеными орлами на башенках. Отец крестился на образ Александра Невского, украшавшего нишу. «Да осенит тебя, великий государь, божиею благодатью твой ангел-хранитель». Нельзя было запомнить всех, кто их приветствовал, но бросались в глаза заслуженные старики, герои с Георгиевскими крестами, плакавшие с простодушием крестьянского сердца. О вольнице запорожцев напоминали войсковые регалии, строгие атаманы с насекой, хлеб-соль на деревянных резных блюдах. Купцы подставляли хлеб на серебре чеканной работы. Где эти блюда? — он и не ведал, так много было раболепных подарков за годы царствования без отца. Блюда с медальонами, с золотыми кистями по бокам, с изображением короны, в русском стиле XVI века, с вензелями, надписями: «С нами Бог». Да где сами те люди, старики великаны, генералы, бабы-казачки в белых платках, дамы в нежнейших воздушных платьях? Сколько их умерло, состарилось, не пришло нынче? «Из уст в уста,— говорили,— счастье и радость передадутся потомству»,— но много ли их, кто благодарно помнит 88-й год? Теперь холод, война, тоска, нет мужества улыбаться. Верны ли ему слуги?

У дворца наказного атамана отцу, наследнику и брату Георгию подводили лошадей с богатыми седлами, подавали

шашки, кинжалы, бурки и башлыки, обшитые золотой тесьмой. Девять лошадей отправились за ними в Петербург, на гнедой он ездил до самой коронации. На обеде казаки гнулись похвастать изобилием. Разварные осетры и севрюги, шашлыки, кавказское вино, малороссийские пироги на белых скатертях, слова к чарке: «Покорнейше просим осчастливить нас, принять от Кубанского войска чарку вина!» — и тосты, один другого благодарственней, и в ответ «милостивые расспросы» гвардейцев-стариков о прежней службе, разговоры в почетной сторонке о бывших подвигах — все, все было настроено на одно: на прославление нынешней жизни, такой красивой и благополучной, какой она, увы, никогда не была! Церемониальное величие, всегда сопровождавшее русских царей в явлениях народу, было той уздой, за которую власть подтягивала доставшийся ей порядок. Перед лицом пышности и расписанных правил парада сама жизнь как бы теряла право показывать свое сиротское нутро. Власть всем своим видом призывала идти с ней в ногу, радоваться и верить в указующий перст. Стыдливо прикрой свое рубище! Вон там плачет и крестится вдова убитого воина? Но то, верно, слезы умиления? Нету равенства? Но и в царской семье не все равны. В 1888 году наследнику Николаю подороже и позлащенней, чем брату Георгию, вручались от казачества дары. Если наследнику сукно на черкеску, тесьму и перчатки, то Георгию тесьму для часов и перчатки; если первому вышитый тенями ковер и два полотенца, то второму сорочку и полотенце; если Николаю азиатское одеяло из верблюжьего сукна с вензелем посредине, то Георгию лишь полотенце.

Что еще было? Стеклянные шары на высоких проволоках, звезды в блеске разноцветных шкаликов, бюсты их величеств на балконе общества взаимного кредита, шесты с иллюминацией на гигантских дубах во дворе полковника Бурсака, терем и государственный герб в городском саду. Нынче все скромнее. Война. Отец посетил тогда в больнице тифозных, женскую и тюремную палаты. До того ли сейчас?

На сей раз не было в шествии льготных казаков-конвойцев Луки Костогрыза. В конце концов не мужик в чеботах, а он заплатил Терешке рубль (с головой императора) и глядел вместе с Попсуйшапкой вдоль улицы. В кармане свернуто было прошение, и Лука придумывал улучить момент, чтобы выскочить к царю, стать на одно колено и вытянуть руку с бумагой при всем честном народе. Царь может узнать его, приласкать, и Бабычу будет позор.

Так когда-то, в том же 1888 году, устроил переполох

старый, недавно схороненный Толстопят. Отобедав в доме наказного атамана, царь Александр III со свитой ехал по Котляревской улице. За нынешним домом священника Четыркина по завалященькому забору были натыканы длинные восковые свечи, а посредине пыльной улицы стоял на коленях сивый Толстопят в поношенной черкеске, весь усеянный почетными наградами. Дородный кучер придержал лошадей. Царь, привлеченный редкой выходкой казака, сошел на землю.

— Что такое, казак?

— Ваше величество! — кричал Толстопят, прижимая руки к груди.— Я Толстопят! Я Толстопят!

— Поднимись с полу, что такое?

— Я Толстопят, ваше величество! Колы ваш батько пошел гулять в Атаманский сквер, я за ним доглядал. Ото как вы наш гость, я хочу пожелать вам здоровья и дожить до тех лет, как наш сотник Блоха.

— Везите его за мной,— сказал царь.

Когда уже потчевали царя в палатке в лесу Круглик, подозвал он Толстопята к себе и спросил:

— Так что же сотник Блоха — чем он прославился?

— Он ще из старой Сечи и жил долго-долго, ваше величество. Но только простите меня, не накажете? — и жил до тех пор, шо когда, бывало, лезет на мажару поспать, то п.....!

Один разве Костогрыз и помнил эту выходку нынче. Цари всегда любили грубые шутки.

Грусть на бледном усталом лице, мерцание отрешенных от мира житейского глаз, что-то сломленное, фатально-покорное в маленькой фигуре — вот каким запомнился Калерии последний русский монарх. И через пятьдесят лет бывшие мариинки, гимназистки, девочки-казачки, когда их спрашивали о царе, отмечали одно: глаза.

— Глаза! глаза!

— Глаза печальные, красивые.

— Да, глаза, а сам плюгавенький.

Одет он был в серую черкеску с погонами полковника, на голове высокая казачья папаха, на которую больше всего и глядел Попсуйшапка, думая, что, может, то папаха его работы. Невзрачный вид царя и погоны полковника ввели в заблуждение старых казачек, да не только старых. Генерала Бабыча с белыми жирными эполетами они принимали за императора. «Удостоилась! — шептала какая-то бабка. Живого побачила». Калерия не перепутала Бабыча с Николаем II, но разочаровалась: не таким хотелось видеть венценосца в годину ратного испытания.

Пока Калерия прибивала у сапожника каблук, свершалось в городе все намеченное церемониймейстерами. Окропляли святой водой в соборе царскую голову, пели многолетие, благословляя нижайше: «Пода-аждь, господи, победу благочестивейшему нашему императору Николаю Александровичу!» Прикладывался царь к кресту, целовал руку владыки, а владыка царю. И еще не кончилось торжественное действо, а журналист «Кубанского края» Шевский вертел в голове строки статьи: «На долю горожан выпала радость видеть и приветствовать его величество, которая повторится ли снова — бог весть». В Мариинском институте, когда девочки в шестнадцать рук сыграли на роялях гимн, потом спели «Засвистали козаченьки» и царь при этом всплакнул, приласкал хроменькую казачку, бросил на память детям носовой платок, Шевский воссиял оттого, что все это хорошо ляжет в хронику. Но он не заметил, как тряслась от страха в лазарете Красного Креста Манечка Толстопят. Ей казалось, что ее раненые, лежавшие на кроватях семьи Бабыча, пожалуются на плохой уход санитарок, на пищу и белье. Она не запомнила даже лица царского,— все глядела во время расспросов на бедных солдат. Между тем все обошлось: раненым нацепили кресты и медали, в складе лазарета полно было табаку, дамы тут же при царской особе выкроили несколько рубашек.

— Никогда не сомневался в моих славных кубанцах,— сказал царь.— Благодарю сердечно за готовность жертвовать во славу и на защиту Отечества.

Он всегда так говорил, но было приятно услышать живой голос.

После Шереметьевского приюта, во время легкого отдыха у наказного атамана, начальник походной канцелярии подал царю пакет: «От Ея Величества».

«Мой родной,— читал царь, отрекшись от всех,— драгоценный. Запоздалый комар летает вокруг моей головы в ту минуту, как я тебе пишу. У нас сегодня утром было четыре операции в большом лазарете, а затем мы перевязывали офицеров. Я осмотрела несколько палат. Мы прошли целый фельдшерский курс по анатомии и внутренним болезням, это будет полезно и для наших девочек. Я по обыкновению помогаю подавать инструменты, Ольга продевает нитки в иголки. Мне пришлось перевязывать несчастных с ужасными ранами... они едва ли останутся мужчинами в будущем, так все пронизано пулями – страшно смотреть; я все про-

мыла, почистила, помазала йодом, подвязала. В. смотрела так равнодушно, совсем уже, как она сама говорила, очерствевшая, ей постоянно нужно что-нибудь новенькое. Она снова увлеклась своим молодым оперированным другом,— помнишь Петра Толстопята? Он был в твоем конвое офицером и послан в Персию, отличился в бою с турками, его перебросили с полком на Западный фронт, и он едва не был убит. Она ездила с целой партией наших раненых в город и очень веселилась в вагоне, ей страстно хочется играть роль и потом без конца рассказывать о себе и о том, какое впечатление она произвела. Раньше она ежедневно просила о большом количестве операций, а сейчас ей все это надоело, так как это отвлекает от ее молодого друга, хотя она навещает его ежедневно после обеда или вечером. Конечно, это нехорошо, что я на нее ворчу, но тебе известно, как она может раздражать. Увидишь, когда вернешься, она будет тебе говорить, как ужасно без тебя страдала, хотя она вполне наслаждается обществом своего друга Тостопята, которому кружит голову, но не настолько, чтобы позабыть о тебе. Будь мил и тверд, когда вернешься, не позволяй ей грубо заигрывать с тобой, ее постоянно следует охлаждать. Я по вечерам всегда целую, родной, и крещу твою подушку и жажду обнять своего милого. Но мы никогда не даем воли выражению своих чувств, когда мы вместе, да это и бывает редко. Будь здоров, да благословит, защитит и хранит тебя Бог от всякого зла, спи хорошо,— святые ангелы и молитвы твоей женушки охраняют твой сон...

Твое Солнышко».

Царь понюхал душистые листки, поцеловал и сложил в конверт. Еще надо было проехать в станицу Пашковскую.

У Луки Костогрыза от топтания на Красной болели ноги. Добираясь ни с чем назад в Пашковскую, он думал, как зальет ему бабка горячей водой перерез и он залезет в него отпариваться. Третьего дня ходил Лука на остров за Кубань рубить лозу. На зорьке лед еще сухо звенел под ногами и был толстый. Перешли спокойно и в какие-то три часа нарубили лозы большую кучу. Она стояла высокая, ровная. Поднялось солнышко, стало тепло. Лука рубил и рубил себе в охотку. К обеду подъехал на подводе внук. «Давай, деда, бросать, поверх льда вода выступила». Лука отмахнулся. «Уже вода нам за голенище будет,— стращал внук через час,— давай бросать. Зачем она нам?» — «Не хватит на под-

воду».— «Да как мы ее будем брать? Как нам отсюда выбираться? Вода с аула растет». Лука напевал что-то черноморское и продолжал свое дело. Потом стал носить лозу к берегу. Воды натаяло много. Лука сел на кучу лозы, разулся, стащил с себя штаны и голый поперся в воду: «За мной!» В подошву кололо, вода была выше колен, но Лука перебирался туда-сюда, пока не перетаскал на другой берег все; затем забрал свои сапоги, штаны и топор, оделся, сложил лозу на подводу и, завязав веревками, закурил свою допотопную люльку. «Нужна была она вам, эта лоза?» — укорял внук. «Нужды в ней нет, но можно использовать в хозяйстве. На базаре она рубль подвода, нанять перенести — такого дурака не найдешь». В хате он налил стакан водки, распорол ногтем стручок перца, высыпал весь и духом выпил. Проснулся как живой, но вот теперь, после дня суетни на улице, ноги что-то ломило.

В тот час, когда он сошел на улице Петра Великого с трамвая, по Введенской площади под пение хора и музыку двигалась после церковной литии печальная процессия: впереди несли святыни, за ними крышку гроба, с оружием и двумя Георгиевскими крестами сверху, дальше шли священники с причтами, в светлых облачениях, за ними гроб, еще дальше стройные отряды полусотни казаков (с ружьями на караул) и растянувшаяся на версту толпа. Провожали в последний путь героя Кавказского фронта; в бою он зарубил шашкой четырнадцать турок и пал сам. Лука снял папаху.

На трамвае же прибыл спустя два часа с неожиданностью для атамана станицы царь Николай II.

Костогрыз, уже раздетый, курил перед пустым перерезом с углями; вдруг вбежала жена Одарушка и закричала: «К Турукало, к Турукало повели!»

— Кого?

— Та царя ж!

— О, бисова лягушка, перепугала меня. Я думал, корова наша отвязалась. Чего он? Мы его тут не ждали. Давай мне штаны!

— Лука...— мягко, как всегда, упрашивала Одарушка, еле переваливаясь на толстых ногах.— Оно тебе нужно? Опять с прошением сунешься... То без тебя там не знают, как им управляться...

— Козочка моя, я сроду такой.— И взвился: — Я им покажу! Я Бабыча в дугу согну! Отнес атаманскую булаву на кухню.

— На какую кухню? — не понимала жена.— Сиди, ради

бога. Зачем тебе ця булава? Чи ты Бабыча согнешь? У него погоны жирные.

— Он меня в строй льготных конвойцев не поставил, он меня за пояс запхнул, побоялся, шо я царю на ухо шепну, как у нас жалобы по годам лежат без движения. Не нужен стал казак Лука. Нужен был, колы в крови от бомбы лежал на мосту? Нужен был, колы в плавнях сидел мокрый? А когда слово за обедом говорить перед Воронцовым-Дашковым — нужен был? Рубаю, как секирою, и всякое слово в дело, не боюсь ни тучи, ни грому. Господи, дай же мне маленько... та где ж мои штаны, козочка?

— И вода уже нагрелась, попарился бы, куда ты поскачешь?

— Может, последний раз дотолкнусь, погляжу на царя,— я ж у его батька как нянька ходил. Ему было, наследнику, годиков семь, и так он мне, чертенок, надоел: бежит мимо и крикнет: «Здравствуй, братец!» Я на посту. Пока ему отвечу по всем правилам, он бежит уже назад и снова: «Здравствуй, братец!» Да иной раз по целому часу так мучил. Зато когда кто приходил к нему (уже постарше был), то, бывало, примешь у него шинель, а он за это жменю серебра мелочью мне, иной раз больше рубля. Или он забыл казака Костогрыза?

— У него вас много таких...

— Ач! Тихо. Где серебряная шашка от него за турецкую войну? И конвойский мундир.

Пришествие царя в станицу застало врасплох все начальство. Пока атаман советовался с обществом стариков, кому подносить хлеб-соль, кто-то побежал за ключами от церкви к настоятелю — церковь была заперта. Старики в один голос постановили: хлеб-соль должен подносить Лука Костогрыз. Но атаман, затаив на него зло со дня выборов, заупрямился. Старики погнали своего скорохода в хату Костогрыза. Запихав прошение под бешмет, Лука впритруску выскочил со двора.

Ах, не та доля стала у репаного казака! Атаман напрочь отстранил Луку от подношения блюда с хлеб-солью. И, видно, заручился поддержкой у Бабыча. Ах, начальники чертовы, бисовы души. Где те простоватые черноморские казаки лебеди, что пришли по воде, проплыли по земельце в лубяных сидельцах, пили дорогою горилку с маком и ели пироги с таком? Не снимут шапок с бритых голов и не моргнут усом. Все прошло, все заросло новыми порядками. Эти зачванились. Поборол Луку? Но не тот казак, что поборол, а тот, что вывернулся.

«А шо! Удастся нашему телятке волка задрать? Сто чертей вам в задницу!»

Хорошая речь уже навернулась на ум:

«Да позволено будет мне, семидесятилетнему молодому человеку, от лица детей Кубани чистосердечно пожелать вам, ваше...— Тут он перебрал свои самодельные стихи и остановился на том, который читал еще и тридцать и двадцать лет назад женам наказных атаманов, покидавших область Кубанскую.— Не знайте в жизни дней ненастья, цветите сердцем и душой, и пусть судьба цветами счастья вам посыпает путь земной...» Слаб человек, обида мигом прошла, и Лука воображал перед собой благодарное лицо государя и восторженную толпу, в кругу которой он был опять тем же героем, что в старые добрые времена молодости и почетной службы. Слова потекли.

— Государь! Посещением своим окраины необъятной России и сегодня нас, кубанцев, вы воскресили нашу казацкую жизнь. Наши деды и отцы дружно поили своих лихих коней в водах от Сены до Евфрата и от Дуная до стен Константинополя. Да будет так и ныне! Как бы царю-батюшке угодить, верой и правдой послужить? — Лука передохнул, оглянулся, никто его не слышит.— Кубанцы! Возблагодарим от искреннего нашего казацкого сердца государя императора! Пью бокал, ваше величество, за ваше здоровье — и гаркну: «Ура-а!»

«Шось я болтаю? — осекся Костогрыз.— Какой бокал? Мы ж не на завтраке. Тьфу! Разтакую мать! Сивая моя головушка! Привык, привык почитать власть. А она меня?»

У хаты Турукало висли на деревьях малолетки. Толпа давилась; лезли к забору и вскоре повалили его. Хатка у Турукало была длинная и маленькая, еще меньше, как в клетушке, была дверь, так что даже нерослому царю пришлось, видно, сгибаться. Они жили бедно, казак был на турецком фронте, дома старая мать да дочка с мальчиком. Дочка, завидев, как во двор наступают чины с погонами, с переполоху побежала и закрылась в уборной. Мать месила тесто и стояла перед большими господами виноватая. Царь (потом рассказывали) погладил по головке маленького мальчика и спросил: «Вырастешь, пойдешь, казак, ко мне в конвой? Ваша гордость. Можете рассчитывать всегда на мою поддержку. Надейтесь на меня как на каменную гору». Мать без конца приглашала садиться и извинилась, что ей нечем угостить — тесто еще не подошло, а то б пирожков подала.

«У меня ж и мед есть,— думал Костогрыз о том, как бы

он принял,— и рыбка сушеная, и вареники бабка б такие сделала! Чего их повели в первопопавшуюся хату? У них семь дочек без земли жили, никогда хлеба не хватало. Нема головы у атамана. Не знают на кого темляк и шашку надеть».

— Будет общество забор ставить! — крикнул сапожник, дурачок Приступа с мокрыми руками, которыми он сгребал с подбородка слюни.— Атаман поставит.

— Гляди...— сказал Костогрыз.— Наш атаман поставит. Наш атаман в своем дворе убил из револьвера чужого гусака, сжарил и сам съел.

— Девушки, голубушки! — завопил Приступа.— Люблю вас, люблю вас. Как летела моя курка мимо вас, мимо вас.

— Иди, Приступа, иди.— Костогрыз оттолкнул его.— Иди сапоги сшей царю-батюшке. Успеешь. Пока он вареников у Турукало попробует, ты и сошьешь.

— Нехай сперва царь-батюшка подивится на меня. Я ему словечко скажу. И возьму его руку и погадаю, от чего ему смерть будет.

— Та пропустите его,— сказал толстый урядник,— ему уже сорок годов.

— Ну и шо, як сорок,— ответил Приступа невозмутимо,— а все равно ще малый.

— Малый! Пудовую гирю поднимаешь.

— Пуд не пуд, а сорок фунтов будет.

— Просись в действующую армию. И чин офицера. Вернешься с Георгием.

— Цыц! — успокоил Костогрыз.— Не иначе выходят...

Но пробиться к царю не было никакой возможности.

«Куда он, атаман, опять их повел? — Костогрыз привстал аж на цыпочки.— Нашему атаману конец, нехай другой штаны полатает. Чайник привяжем. К Морозу повел. Там поминки готовят, с кладбища вот-вот будут».

Костогрыз вдруг прослезился. Наверно, просрочил он свой век на земле. Полой водой сошли с нивы жизни все те, кто был ему примером, и никого вокруг похожих на них больше нет. И сам он со своим старым рыцарством никому не нужен. Зачем ему было лезть в толпу несмышленых, раболепных, чопорных? Запрячь лучше линейку да поехать к дряхлым товарищам в Васюринскую — оно слаще будет.

«Скажу сейчас бабке, шо поплыву в Иерусалим ко гробу господню. Да куда! — уныло вспомнил он.— Война. На Новый Афон разве?.. Война. Жизнь прожил и мира не видал...»

В поезде царь писал жене ответ:

*«Моя возлюбленная душа Солнышко,
мне кажется, мы так давно разлучились! Сегодня у меня первый свободный день.*

Мы едем по живописному краю, для меня новому, с красивыми высокими горами по одну сторону и степями — по другую. Со вчерашнего дня сильно потеплело, и нынче чудесная погода. Я долго сидел у открытой двери вагона и с восхищением вдыхал теплую свежесть воздуха. На каждой станции платформы битком набиты народом, особенно детьми; их целые тысячи, и они так милы в своих крохотных папахах на голове. Конечно, приемы в каждом городе были трогательно-теплые. Но вчера в Екатеринодаре, столице Кубанской области, я испытал другие и еще лучшие впечатления,— было так уютно, как на борту, благодаря массе старых друзей и знакомым лицам казаков, которых я с детства помню по Конвою. Разумеется, я катался на моем автомобиле с атаманом, генералом Бабычем, и осмотрел несколько превосходных лазаретов с ранеными Кавказской армии. У некоторых бедняг отморожены ноги. После лазарета я на минутку заглянул в Кубанский женский институт и в большой сиротский приют, все девочки казаков, настоящая военная дисциплина. Вид у них здоровый и непринужденный, попадаются хорошенькие лица.

Скажи Ольге, что я много думал о ней вчера в Кубанской области. Великолепен и богат этот край казаков. Пропасть фруктовых садов. Они начинают богатеть; а главное, непостижимо, чудовищное множество крохотных детей-младенцев. Все будущие подданные. Все это преисполняет меня радости и веры в Божие милосердие, я должен с доверием и спокойствием ожидать того, что припасено для России. Еще раз повторяю: все наши впечатления восхитительны. То, что вся страна делает и будет делать до конца войны, весьма замечательно и огромно.

Но, любовь моя, я должен кончить,— целую тебя и дорогих детей горячо и нежно. Я так тоскую по тебе, так нуждаюсь в тебе! Благослови и сохрани тебя Бог!

Всегда твой муженек Никки.

Поздравляю тебя с наступающим Георгиевским праздником!»

В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

В своем письме в Екатеринодар упоминала царица о Толстопяте неспроста — в Феодоровском лазарете в Царском Селе снова его увлекла знакомая нам мадам В.!

Он увидел ее в окно.

Она была в изящном манто, в шляпе из черного бархата. Все так же, как раньше, она готова была пользоваться счастьем не совсем открыто, с маленьким риском попасться на глаза мужу, знакомым.

«Хоть и говорят,— думал Толстопят в первые дни,— что la soupe rechauffée ne vaut rien[1], но легко простить ту, с которой когда-то хоть немножко был на седьмом небе. Не во сне ли она явилась мне? Она ли это?»

В палату мадам В. вошла в одеянии сестры милосердия. Красные кресты на рукаве, на шапочке, на груди и белизна халата чудесно преобразили ее: как будто с мехами оставила она там, за дверью, где переодевалась, все грешные помыслы, всю обольстительную жизнь свою и пришла воистину сострадать, выхаживать, любоваться героями. Большинство посетительниц-патронесс мелькали в палатах словно затем, чтобы произнести несколько сочувственных фраз, которые, как положено думать, должны воодушевлять больных. У Толстопята все спрашивали: «Вы женаты? Ах, ну так мы вас женим!» Фразы, toujours des grandes frases[2]. Царица тоже имела обыкновение навещать лазареты. Едкое остроносое лицо ее становилось приветливым; она касалась больного рукой, склонялась, крестила ему голову, а собиравшимся снова на фронт дарила пояски с молитвой св. Серафима, которые носили солдаты в японскую войну и оттого якобы не были убиты. Мадам В. сопровождала царицу, стояла за ее спиной и на первых порах ничем не выказывала своего интереса к Толстопяту. Глазами она поздоровалась с ним, улыбнулась и как бы пообещала что-то. Толстопят отвечал на вопросы царицы, но каждую секунду чувствовал, что мадам В. слышит его. Когда царица отошла к другой койке, мадам В. приблизилась к подушке Толстопята.

— С Западного фронта? А были на Кавказском. Я все о вас знаю... Вас, кажется можно поздравить с Георгием?

— Принимаю с благодарностью.

— Поздравляю даже трижды. Нет, четырежды, чтобы в будущем вам дали все четыре степени.

---

[1] Вчерашний суп ничего не стоит.

[2] Всегда одни фразы.

— Принимаю и четырежды кланяюсь.

— А вы все так же милы, друг мой...— сказала она потише. Взгляд намекнул ему на темные ночи любви в Петербурге и сцепил его с красавицей надеждой на тайну. Но теперь он был немощный казак, пострадавший в боях. Его надо было жалеть. Вдали от дома и товарищей по полку ему нужна была чья-то ласковая рука.

— Поправляйтесь... Я приду еще...

Неужели она правда воскресла в любви к нему? — так нежна, заботлива была она с ним в поздние дни выздоровления. Истосковавшийся по женщине вояка был благодарен за каждое доброе слово и кокетливый взгляд. Он теперь был зависим от мадам В. гораздо больше, нежели в часы парфорсной охоты в 1910 году. Все нити общения она держала в своих руках и как бы говорила: ну! где же ваша казацкая прыть? Когда ему стало легче, они каждый вечер гуляли по Боболовскому парку, и Толстопят показывал, где казаки его сотни занимали 4-й пост, 17-й и где однажды Дионис Костогрыз в воротах № 9, недалеко от 14-го поста, взял под уздцы лошадь наследника Алексея, ехавшего в санях с доктором и няней и едва не столкнувшегося с автомобилем Суворина-сына. Хотя возвращение в Царское Село на лечение было грустным, хотя в первые минуты кололо сердце от воспоминаний о позорном прощании с конвоем, о скитании по чужой Персии, уже вскорости Толстопят ни о чем не жалел. Что было, то было, и главное — его пощадила пуля: он не убит и опять видел то же, что раньше. Может, права его сестричка Манечка: он родился в рубашке! Его могли отправить на тот свет еще по дороге в Персию. Куда только не закидывает судьба кубанского казака! Где только его нет?! Зачем ему нужна была Персия? Едешь, едешь — то вдоль узкого русла горного ручья, то по долине с грудами камней, то берешь перевал, виснешь на краю пропасти (из темных ущелий ползет туман, холодно и сыро) — где ты, кто тебя помнит? Вначале изредка попадались разгонные почтовые станции — помещения с двумя деревянными диванами и табуретками, с картинками на стене да с книгой жалоб на длинном шнуре, припечатанном к подоконнику сургучом (а часто и хлебом). Тут еще, поблизости от русской границы, жена ямщика напоит молоком и намажет масло на хлеб. А потом по чарвардарской дороге все реже встречаются караван-сараи: сзади Россия, впереди Персия. Вот и персы в цветных длиннополых зипунах нараспашку (вроде наших извозчичьих кафтанов), на головах высокие черные барашковые шапки с государственным гербом, в ру-

ках палки — знак власти и служебного положения. Вот уже и грязные улицы, ханэ — дома с куполообразными и плоскими крышами, без окон, вместо дверей — узкие низкие дыры, кругом навоз. Слышится странное монотонное пение. По крыше разгуливают персы и тянут свою вечную молитву, поворачиваясь при этом во все стороны. Так вот он какой, золотой Восток! Поневоле вздохнешь и о Царском Селе, и о богоспасаемом граде Екатеринодаре. Загнала его коварная мадам В. в гибельную ссылку! Что ей казак? Его заменит улан. А казака зарежут бахтияры, и не скоро дойдет весть о том на Кубань. Дорога казалась бесконечной, вокруг дикий вид: ни кустика, ни зверя, ни птицы. Фарсах (английская миля), еще фарсах, еще. Как в анекдоте: собрался перс в дорогу, намотал на ноги онучи, обвил их веревкой, закурил трубку и пошел мерить землю. Вдруг веревка перервалась, сел перс перевязывать онучи — фарсах прошел! Что ей, мадам В., казак, где он скитается? Ей все равно. Вот впереди движутся серые кучи — то идут ослы, навьюченные саманом. Вдали, значит, караван-сарай, чайханэ. Сюда бы мадам В., вечно не чищенный, с круглыми башнями по углам и по стенам караван-сарай. «Газыр чай вар? (Есть горячий чай?)» — спрашивал Толстопят у сидевшего на кошме перса с плетенным из камыша веером. В такой земле еще оставить свою голову? И чуть не оставил. В караван-сарае села Кохруд едва его голова не свисла на плечи. Их было четырнадцать человек: десять казаков, две женщины с детьми и чарвардарцы, ехавшие с ними в Исфаган. Караван-сарай был у самой дороги, в котловине, и все жилища стояли по склонам гор. Они выставили русский флаг и легли почивать. В двенадцать часов дня горы и крыши жилищ заняли люди какого-то Машал-хана, у которого бахтияры украли сына. Закрылись ворота; персы направили свои ружья на казаков и сказали, что будут сообщать в русскую миссию и просить похлопотать за сына. Если не помогут, казаков постреляют. И все бы так и случилось, но спасло их провидение: прибыл исфаганский консул.

Война вернула его в Царское Село.

— Не зря душа моя так тосковала по тебе,— ластилась теперь мадам В.— Но разве я стою одного твоего мизинца?

— Но и ты тоже что-то пережила за эти годы.

— Да-а,— неохотно соглашалась она.— Господь умудряет младенцев. Боже избави меня теперь умиляться речами, ужимками, вроде: «Нельзя ли поцеловать эти пальчики в перстнях?»

— Разве я тебе такое говорил?

— Я не о тебе.

— А мне можно все-таки?

— Я буду счастлива.

— В Петербурге научат всему. И — amour de tigre[1].

— Вы, мужчины, чему не научите! Как это досадно, что нас, женщин, не берут на войну!

— Почему же? — Толстопят был как-то хмур и строг с ней.— Наша казачка Елена Чоба из Роговской станицы бьется в мужской гимнастерке. Георгия получила.

— Одно и слышу здесь от конвойцев: казаки, казачки. Ну что в вас такого? — И она, чтобы исправиться позаметней, приставила свою ладошку к щеке Толстопята, нежно потерла ее, но Толстопят отвернулся.— Полно, полно хмуриться, казак Толстопят. Женщина его любит, а он морщится. Прости меня.

На следующий день гуляния в Боболовском парке Толстопят впервые после разрыва поцеловал ее.

Царица, фрейлина А. с костыльком и мадам В. устраивали в лазарете посиделки, приглашали в комнату и Толстопята с товарищем. Война, Георгиевский крест списали с Толстопята злополучный конвойский грешок. У царицы были еще два любимца-офицера (оба кубанские казаки), о которых она даже пеклась в письмах на фронт к своему Никки.

Царица по обыкновению что-нибудь вязала, потихоньку сплетничала, а Толстопят с товарищем играл в карты. Толстопят виду не подавал, что слышит, кому дали орден, как поживает императрица Мария Федоровна на Елагином острове. Куда не вознесет на легких крыльях любовное родство с женщиной! Никакие воинские подвиги, никакая слава не поставила бы его рядом с теми, кто самим родом своим выше его на сто голов. Недаром же бабушка его думала, что царские дети не могут играть в песочек подобно казачатам, а слепой звонарь из Тамани дивился, что царь ест лук и чеснок. Между тем хотелось поскорее выздороветь и уйти на фронт. Пусть они обсуждают, как им властвовать, быть ли царю Иваном Грозным, Петром I, являть силу или милосердие. Участь казака — рубить шашкой. Мадам В. виновата, но это ненадолго, он ее не любит уже, хитрит с ней, греется возле нее в своем лазаретном сиротстве.

Царица порою вздыхала:

— У меня все дни расширено сердце. Трудно быть счастливее, чем мы были. Ночи так тоскливы. Мне, когда гляжу я на нашу Ольгу, тревожно: что ее ожидает? Ах, ка-

[1] Жестокая любовь.

кие испытания посылает бог нам. Жизнь же великая тайна: то ожидают рождения человека, то опять ожидают отхода души. Какое было холодное лето, когда родилась моя Мария! До этого у меня были ежедневные боли. Спала плохо. И сейчас плохо сплю, засыпаю после трех, а вчера после пяти; лежу и думаю: что нас ждет?

— То же, что и Россию. Война скоро кончится. Зачем гадать?

— Лучше предугадывать события, чем просыпать их. Мы должны передать беби сильную страну. Как давно, уже много лет, говорили мне то же: Россия любит кнут! Это странно, но такова славянская натура. Никки очень добр.

— Бог поможет,— пусто утешала ее мадам В.

— Бог над всеми, но я боюсь, что нам придется пережить еще много страданий. Вокруг нас гнездо вранья. Представь себе, О. дала мне честное слово, что никогда ничего против меня не говорила, а старая княгиня утверждает. что говорила, а князь передавал грязные сплетни в Ливадии обо мне своему другу Эмме. Во всем видно масонское движение.

— Колокола звонят...

— Я очень люблю эти звуки,— у меня в комнате окна все раскрыты. Вчера в церкви было чудесно, много народу причащалось: солдаты, три казака. Толстопят, вы нас слушаете?

— Боюсь сказать, ваше величество...

— Никки очень любит кубанцев. Казачки красивее наших петербургских дам?

Толстопят на мгновение замялся: выгодно ли сказать правду? Может, лучше угодить? Но натура: а вот и скажу!

— У казачек наших совсем нет живота, ваше величество. Грудь высокая, но живота нет. Это у кацапок: тут ничего, тут ничего — и вот такой живот!

Царице-немке это очень понравилось.

— А все-таки мы Толстопята женим!

— Ни за что, ваше величество. Мне воевать. Жена ждать не станет.

Захотелось рассказать побрехеньку, но опять он съежился и замолк.

— Многовато чудес на вашей Кубани.

— Ну! Индюки были такие здоровые, что как зарежут, бывало, одного, так добудут с него три дежки сыру, коробку масла та сотню яиц.

И глупостей немало, сказала царица.

Больше Толстопята в отдельную комнату лазарета не звали, но мадам В. встречалась с ним ежедневно.

С Кубани от Манечки, от Бурсаков шли письма, оповещая о раненых и убитых соседях, о том, что отец покупает свежие газеты, мать вяжет носки на турецкие позиции, и еще о том, как пленный австриец, настраивая у мадам Елизаветы Бурсак фортепиано, сыграл для пробы победный австрийский марш и никто не возмутился. Что было казаку вылеживаться в Царском Селе?

Ему дали короткий отпуск на Кубань.

Прощались они с мадам В. в ресторане Кюба.

Шариком остриженные гарсончики бесшумно хлопотали, как и до войны.

— Вы нам подадите,— сказала мадам В.,— бульон из ершей и дьябли с пармезаном. Велите только не пережаривать сухарики и нарезывать из одного мякиша. Да-а, пармезан взбить с яйцом, и только немножечко каненского перца. Потом... есть камбала?!

— Камбала, устрицы, омары, лангусты ежедневно поступают из-за границы.

— Ну и прекрасно. Или, Пьер, может, соус трюфельный с шампиньонами?

— Мне все равно.

— А может, по котлеточке Мари-Терез? Только, пожалуйста, без дурацкого фарша, а просто разрезать крыло пулярды, вдоль, вложить туда тонкий пластик паштета, затем уж обвалять в маленьких сухариках и — в кипящее масло. Будете любезны? А филейчики тогда не надо.

— К котлеточкам что подать?

— Зеленого горошка по-английски.

— К десерту?

— Дюшес и мускатного винограда.

«Война,— думал Толстопят,— а Петербург все тот же...»

Все так же, как тогда, в 1911 году, съезжались поздно, после театра, повидать друг друга господа, собрать компанию, чтобы потом поскакать куда-то дальше за город. «Война, братья наши на сырой земле мерзнут,— осуждал Толстопят всех подряд,—а им подай воздушных пирогов...» И он тоже уступал мадам В. потому только, что хотелось напоследок повторить минувшие мгновения и провести ночь в особняке.

Теперь из гостиных и дворцов жизнь vraie société[1] перебралась сюда?

---

[1] Настоящее общество.

— Жизнь никогда не теряет свое лицо, мой друг.

— В конвое танцы около казармы кончились. А тут — как до войны. Наши казаки в бою.

— Опять «наши казаки»! Нельзя обо всем судить по казакам.

— Я виноват, что родился казаком?

— Но ты же сейчас со мной...

Он глядел вокруг с раздражением. С лукавым задором велись прежние речи о водах, о чьем-то хлебосольстве, о кружевах, шляпках и уборах, marqués au coin du goût le plus pur u le distingue[1], вспоминались чья-то безупречная tenue[2] в свете, величавость приемов, вызывавших одобрение самых collets montés[3], и шепотом вопрошала какая-нибудь tête ardente[4]: «Есть ли счастье?» — и звучали вялые ответы: «Счастья нет; есть только известное состояние духа, как говорится, при котором тебе только менее скверно, чем обыкновенно», и тот же пылкий голос возражал: «Ты, видно, никогда не любила...»

А там, на фронте, скачут по полю лошади с порванными постромками, из разоренных деревень бегут спасаться в леса женщины с младенцами на руках, на перевязочный пункт приходит старушка с обуглившимися руками. Там в лесу стоят замаскированные австрийские пулеметы. Атака! Придется ли вернуться?

То звонко топает конница, тянутся в несколько рядов обозы с провиантом и фуражом, то бегут лазаретные линейки, скрипит щебень под колесами орудий, то медленно, влекомая четверкой дохлых от старости лошадей, тащится щегольская карета с подвязанными к задку чемоданами и корзинами, и в запотевшие окошки глядят лица женщин, то вдруг покажется из-за поворота огромная, как Ноев ковчег, фура с пожитками, и еврей тихим шагом идет рядом, держа в одной руке вожжи, в другой лампу, за ним семенят дети мал мала меньше. И тоже видна везде жизнь. Но какая? Спешат занять фланги отряды, мечут искры походные кухни на привалах, и толкутся бабы у сеней уцелевших хат. Вокруг валяется по межам и канавам черт-те что. Какая-то бляха. Лоскут конверта с иностранным штемпелем. Продырявленный чайник и разбитое зеркальце. Из корявых веток крест над свежей могилой, венчик из ельника. Стонет, кажется, сама тишина по полям.

---

[1] Отмеченные самым чистым и изысканным вкусом.
[2] Манера держаться.
[3] Чопорных.
[4] Пылкая головка.

Ты лежишь в дальней дали бесконечного поля, тебя бросили, ты один. В овраге хрипло ссорится воронье. Когда Толстопят очнулся, приподнялся на локте и взглянул на потухающий закат, обиженно подумалось опять, что его забыли, и он бессильно заплакал. Еле-еле, опираясь на шашку, встал на ноги, пошел к густым кустам. Далеко-далеко где-то выли волки. И счастье его было в тот день в том, что на него вскоре наткнулся казачий разъезд.

— Какие густые усы у кавалергарда,— сказала мадам В.

Из хрустального кувшина с желтым соком Толстопят налил себе немножко и отхлебнул. Мадам В., разглядывая издали кавалергарда, нисколько не завидовала даме, которая была с ним, она втайне гордилась своим казаком, с которым была уже когда-то в самой близкой связи. «Вам не понять,— могла бы она возразить высокомерным,— вы не знаете, как он пленяет, когда мы одни...» Она взяла бокал и томительно подождала, когда Толстопят поднесет свой — чуть слышно торкнуться.

— За тебя, Пьер... за твою дорогу домой. И за Царское Село!

— Благодарю тебя, моя сестра милосердия,— сказал Толстопят игриво. Глазами, движениями губ она выразила ему свою любовь.

— Я и правда хотела быть тебе сестрой. Я справилась?

— Отменно.

— Ты не думал, что я могу?

— Не думал.

— Я старалась ради тебя. Государыня часто говорила: «Ну, тебе пора уже к своему Толстопяту. Благословляю».

— Разве она не знает, за что меня исключили из конвоя?

— Могла и позабыть.

— Ну слава богу.

— Мы не знаем, что с нами будет... Да? Одна госпожа Тэб предсказывает: русскую армию ждут торжества; над головами твоих казаков на турецком фронте она видит сияние. Причем крест будет воздвигнут на иерусалимских высотах. Русские возьмут Дамаск.

— У нас в станицах бабки лучше гадают.

— У вас! У вас, ты говорил, цыгана приняли за архиерея...

— У нас сидит на хате старый дед без штанов, а голые ноги со стрехи свесил. Баба под ним руки растопырила и держит штаны. «Бабка на старости лет штаны мне пошила, так не доберем толку, как их надеть».

— Казаки смешные. Ты куркуль? Опять ты скоро бу

день в грязи, в снегу. Мне жалко тебя. Где мы теперь увидимся? Я дам тебе на шею кипарисовый образок мученика Иулиана. Никогда не снимай с себя этого образка. Никогда.

— Никогда! — сказал он.

— Появится на небе белая звезда, она раз в столетие бывает. Знаешь? — аллах превращает женщину, которая сама не знала, чего хотелось, в белую звезду. Взглянешь на нее — теряешь вкус к жизни.

— А ты не гляди-и... Гляди на кавалергардов.

— Противный казак!

— Тебе надо было родиться персиянкой. Ткала бы гильдузи — застилать пол. А? Жила бы на Востоке? Роскошные сады вокруг стен; дворец древних владык, купол кажется окаменевшей влагой, звезды отражаются. Ты умащиваешь свое тело мазями. Хотела бы?

— Благодарю. Я хотела бы уснуть с тобой в Тамани, в той хатке звонаря слепого, где ты красовался в своем мундире перед какой-то Шкуропатской. Наше счастье с вами. Воюйте и возвращайтесь. Боже, спаси Россию, сохрани ее крепость духа. Еще, кажется, недавно был мир, я ездила в Москву на грандиозный бал. Тысяча двести приглашенных. Съезд в десятом часу. В аванзале роскошно сервированный буфет с чаем и фруктами; тут же ледяные глыбы для прохладительных напитков. В Синей гостиной царские портреты. В Оранжевой — чай. После танцев в первом часу ночи богатый ужин. Кого там только не было!

— И ни одного казака!

— Разумеется.

— Я в это время глотал пыль в Персии.

— Из-за меня... Прости...

— Ради бога,— сказал Толстопят, и сказал с легкостью, потому что его ожидала роскошная ночь с нею.

Мадам В. наклонилась к нему через стол:

— Можно я тебя спрошу? Можно?

— Можно я тебя спрошу?

— Сколько угодно.

Толстопят помолчал.

— У тебя был кто-нибудь после меня?

Мадам В. соображала, говорить или нет.

— Был...

Странное дело: Толстопяту, пока она собиралась с духом, хотелось надеяться, что мадам В. горевала без поклонников. По какому праву она должна была страдать за него? Он не рассуждал. Так легче душе, так что-то остается в ней веч-

ное, обманчиво-прекрасное, ведь у него никогда такой женщины из чужого мира не было и не будет. Но он быстро успокоился. Что делать? Никто никого не ждет. Только казачки ждали своих мужей из плавней, походов, с турецких и японских войн. А чего было не сгорать в огне страстей мадам В., когда они так скверно испортили свое начало и скверно расстались?

У мадам В. горело лицо, но не от стыда, а от волнения и воспоминаний.

— Но я во всех церквях ставила свечки за твое здравие.

— Спасибо.

— Почему ты спросил?

— Я в Персии вспоминал тебя.

— И долго у тебя это будет продолжаться?

— По-моему, все кончилось. Если из-за любви стреляться, мало кто в живых останется.

— А твой друг Бурсак счастлив? Он ее любит?

— Они живут плохо, по-моему. Дементий Павлович слабый человек. Он сердится и быстро прощает. А быстро прощать женщинам нельзя.

— Ой ли?

Толстопят решил схитрить и промолчал. Впереди была блаженная последняя ночь с мадам В. Может, его осенью убьют где-нибудь под Сарыкамышем,— зачем же он будет портить себе часы расставания?

У ОТЦА С МАТЕРЬЮ

«Господи боже...— шептала Манечка перед сном накануне приезда брата.— Прости меня за то, что я не хотела грешить да ничего не исполняю...»

На столе лежал ее дневничок. Она переписала туда стихотворение великого князя, в прошлом году погибшего в бою, и теперь учила его наизусть, чтобы в конце марта на благотворительном вечере в честь воинов прочитать всем. Первые десять строк она уже знала. Отец с деревянным стуком подошел к постели, спросил:

— Чего ты бормочешь, дитятко?

— Учу стихи.

— Ото ще! Из стихов брюк не сошьешь. Спи.

— Ладно, папа, я усну.

В темноте она повторяла еще раз последние строчки:

...И вновь зовет к себе Отчизна дорогая,
Отчизна бедная, несчастная, святая,

Готов забыть я все: страданье, горе, слезы
И страсти гадкие, любовь и дружбу, грезы
И самого себя. Себя ли? Да, себя.
О, Русь, страдалица святая, для Тебя.

«О боже,— вздыхала Манечка, зарываясь в подушку,— и уже убили... И наших братиков кубанских побило сколько. Скорей бы до Трапезонда дошли. Не забыть завтра к Шкуропатским зайти — что от приюта будем посылать на фронт? — Зажгла свет, ткнула в Евангелие пальцем, и ей выпало: «...чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни...» — Да, я уже получила, и я живая, а там? А братику Пьеру еще что предстоит? Скорей бы он ехал к нам! Уж папа сколько раз надевал черкеску и ждал на углу. Братик мой шалопутный. Завтра свечку поставлю. Ой, билеты еще по дворам распространять, на меня собаки лают! Зашла к мадам Бурсак, а у нее сибирские коты за столом и все кушают из блюдечка... Устаю. Но ведь правда говорится в писании: «...понеже сотворите единому из сих братий моих меньших, мне сотворите...» Спать... Папа ему невест приглядывает: Георгиевский кавалер, кончится война — все равно женится... Спать...»

Ей снилось: Пьер открыл ворота и въехал во двор, посвистывая на быков. «Ось як мы к вам приехали! — кричал он с дрог.— Ну а теперь як же мне с дрог добраться до вашей хаты?» — «Доски сейчас положим,— сказал отец и захромал к сараю.— Ото та-ак. Сейчас видно — администрация!»

— Манюша, вставай, братик приехал!

Широкоглазый Пьер стоял над ее постелью, а матушка бросила к изголовью халат. Манечка, чтобы брат не видел ее пухлого лица, закрылась рукой и сказала:

— Поцелую тебя в Георгиевский крест. Я тебя во сне видела. Тебя Терешка вез? Мы его предупреждали, что вызовем.

— Почему ты все, моя шалунья, только нас во сне видишь? Неужели в Екатеринодаре мало кавалеров?

— Хорошие-то воюют. И никто не берет.

— Тебе нужен казак, который бы на полном скаку с земли носовой платок брал?

— Мне нужно, чтобы я его любила.

Отец, из-за всякого пустяка повышавший голос, закричал из другой комнаты:

— Она у нас архиерея ждет. Чего она там понимает? Любовь! Любовь — ее за пазухой, около титек, долго носить не будешь. У твоей матери дед какой был? Уйдет к любушке

на неделю, а жена должна встревать его за два квартала. Раз не встретила, так от страха залезла на дерево. Любовь.

— Когда любят, к чужим не бегают, папа,— сказала Манечка.

— Ну и сиди. Ты не дочь золотаря, я за тебя двадцать пять тысяч приданого давать не буду.

— Завелся, завелся наш батько,— вышла успокаивать мать.— Он не может.

Отец усовестился перед сыном-героем и замолк. Манечка оделась, умылась, выпила молока и в комнате обняла брата, да так и не отпускала, покачиваясь вместе с ним из стороны в сторону.

— У тебя ничего не болит? Ты опять был в этом Петербурге? — Она прищурилась, подумала, наверно, о той женщине, которая погубила три года назад ее братца.— Ты ж мой братик,— поцеловала она его,— ты ж мой роднулечка. Папа как тебя встретил?

— «Ну подойди до меня, бисова душа, чи правда ты храбрый казак?»

— Он жда-ал тебя. На маму: «Смотри мне, бисова душа, шоб тесто было готово». Каждый день пироги пекли. И настойка всегда на столе. А я серебряный стаканчик получила. За усердие.

— И медаль получишь, если будем долго воевать. Все такая же худенькая. Одни косточки.

— Мой братик... Страшно там? Много турок убил?

— Не знаю.

— Говорят наши дамы: нынешняя война есть война за мирную цивилизацию. Разве страдание может быть мирно?

— Я себе голову этим не забиваю.

— Та свисни ты с его! — прикрикнул отец.

— Садитесь уже,— позвала матушка.— Все готово.

— Мне уже бежать надо,— сказала Манечка,— фургон наш ждет, наверно.

— Кого ждет жених, а Манечку нашу фургон.

— Врачевать увечных и недужных — мое призвание

— А ранняя пташка росу пьет.

— Выходить замуж á tout prix[1]? Хоть за лавочника? Продавать подсолнухи с ним? Здесь лежал один сотник. Я еду, говорит, на фронт, получу полковника и женюсь на вас. В первом бою погиб. Четыре чина, говорил, получу за храбрость.

[1] Любой ценой.

— Ну идите, идите! — толкала их мать.— Борщ свежий.

— Сколько раз звать? — сердился отец.— А ты чего как лисица хвостом машешь? — на мать.— Чего-нибудь с погреба нам давай. Наточи в графин. Хоть языком лизнуть цю заразу. Как поднес мне сорок лет назад атаман чарку на площади, с тех пор я и не пил.

Так было в их семье в марте 1915 года, когда Пьер из виноватого и грешного стал городостью и опорой старой фамилии. От этой домашней радости отцу казались теперь все милыми и хорошими, даже городской голова, которому еще вчера он не давал спуску.

— Я ж, сыночек, и на базаре всем рассказываю, за шо тебе крест дали,— сказал старик со слезами, чокаясь с сыном.— В нашу породу.

— Ото...— сказала матушка и сама заплакала..— Ото и радости... шо живой.

— Отдыхай, казак... У нас тихо. Бабыч запретил увеселения, и елок на Новый год не ставили, маскарады отменили,— ни визитов с поздравлениями, ничего. Оно правильно: надо в молитве проводить дни. Так! До Бурсака сходишь, и ладно.

— Съездим в Панский кут! Чай подадут целым самоваром. Отвык.

— У Бурсака малышка умер, знаешь? Калерия плачет день и ночь.

Отец, не любивший чересчур козырявшего своим адвокатством Бурсака, перебил Манечку:

— Ну а в Петербурге ярмо чи хомут не нашел себе?

— Нашел, батя,— смело ответил сын.

— А ну! шо за краля? какого роду?

— Княгиня!

— Тогда бери в сарае веревку и вешайся! Опять скрутила та змея?

— Я их никого не люблю. Я женюсь на казачке.

— Тут есть одна. Ох, она хорошая, со всех сторон хорошая, но не казачка.

— Дай бог кончится с немцем,— сказала матушка,— подберешь себе друженьку по летам. Нехай она будет не богата, но мягкосердечна, а не такая крикуха как у Бурсака.

— Калерия? Она же добрая.

— Была добрая, пока мать на руках носила. Хвост закрутит — и бегом со двора.

— Он ничего мне не писал.

— А и не час теперь с бабою сидеть,— прикрыл об этом разговор отец.— Война! Кругом война. За царем немка,

а теперь нас топчут ногами. Оце так родичи! Наточи нам, мать, казаку холодно. С Турции ще не отогрелся.

— Да-а,— вздохнул Пьер.— Как были в походе - а мороз! Снегу в горах так много, и окопы все завалены. Сапоги мои разбились.

— Я тебе новые чеботы справил.

— Спасибо, батя. Снял сподники, обмотал ноги. Ремешки от седла связал и замотал. Сутки промерзли в снегу, а утром взяли турецкую деревню. И там я достал себе турецкие чувяки — так немножко теплее стало.

— Колы батьки ваши так воевали, то вы шо ж? Не такие люди? Мы под Ляояном в китайских фанзах ночевали — бумага вместо стекла. Ложились рядами, прижмемся друг к другу, под низ три-четыре шинели, крайним все равно холодно. А строить палатки – колышки не влезали в землю. На рождество у деревни Фыньдятунь начальство достало в Харбине колбасы и водки для нас; сидим в землянках при свечках, пьем водку, а япошки с сопки навели на нас свет из прожекторов, но не стреляли.

– У вас и колодцы были общие,— напомнила матушка.

— По очереди туда ходили, то они, то мы. И хоть бы кто стрельнул. Всяко бывало. Все ж живые люди. У всех, мать, дети...

— А Шипкинский редут? – подогревала отца Манечка.

— Ну! Бывало, без патронов солдата выручал штык, а казака шашка та дебелый кулак. Ось як мы воевали! А теперь мне городовой в трамвае права качает: «Вас таких много». Я его выкинул с вагона.

— Ешьте уже,— подгоняла матушка.— И отдохнуть же надо. Пороху нанюхался, тай ще придется понюхать. Ой боже...

— Иногда везло. Коня подо мной ранило, дважды бурку пробило, и головка кинжала отлетела, а меня ничего.

— Ешьте, ешьте.

Но хотелось поговорить со своими. Толстопят разомлел, вытянул ноги и с доселе неизвестной ему лаской смотрел на старых родителей, жалел Манечку. Его тоже жалели. Матушка, пока сидели, несколько раз потужила, что сынок ее все еще без семьи.

К Бурсаку Толстопят не являлся два дня. Он съездил в Пашковскую, проведал самую любимую свою тетушку, та поплакала оттого, какой он стал большой и красивый, угостила его наливкой; в станичном правлении он покрасовался перед атаманом, выслушал, как встречали пашковцы царя, прогулялся мимо дедовской хаты и про друга не то что за-

был, а что-то не лежала душа к скорой встрече, какая-то кошка пробежала между ними, была маленькая досада на Бурсака: он не ответил Толстопяту на письмо из Царского Села.

25 марта прилетели первые ласточки, малиновки, дрозды; в полях кочевали тучами скворцы. Через два дня подул холодный ветер, запестрел над землею снег, ночью морозило.

Было воскресенье. Калерия с вечера ушла к матери и там ночевала; Бурсак на веранде флигеля читал газеты. Когда жена уходила к матери, Бурсак грустил. В доме детства ее сердце! Было бы стыдно перед другом, если бы он узнал, как они живут. Обоим было тяжело. Мальчик умер от скарлатины, и Бурсак едва едва боролся со своей тоской. Калерия по целым дням сидела у окна. Он подсаживался к ней, брал ее руку:

— Ты позволишь мне поговорить с тобой?

— Ну, говори, я слушаю.

— Ну что же делать, моя дорогая, что же делать?

— Не надо, не надо! Ради бога. Уйди.

Бурсак опять тыкался в газеты. Писали как будто против него. В чем только не обвиняли в те месяцы русскую интеллигенцию! В отщепенстве, в слепоте, в том, что она не хочет видеть нашествия изнутри, в умственном косоглазии, в преклонении пред прогрессивными фетишами. Бурсак чувствовал, что и он попадает в этот разряд. Критикуешь высокопоставленных лиц? Жалеешь инородцев? Защищаешь в суде «борцов за освобождение», надевших на себя кандалы партийной дисциплины? Отказываешься написать статью в «Книгу русской скорби»? Грань между дозволенным и недозволенным в человеческой душе разрушена, порок приобретает черты гражданства, и вы, господин Бурсак и прочие, не понимаете этого? Какие же вы-де русские, если благословляете темные силы? Все изменится: власть лучших (по крови и уму) сметется господством худших, и воссияют лозунги: «Чем тяжелее теперь, тем скорее наступят светлые времена!» Идеалы животного довольства станут на первое место, все будут одинаковыми. Печать уже забрызгана грязью улицы, скверным сорочьим стрекотанием, угождением обывателю. Очнитесь! летело в лицо Бурсаку. — Сорок сороков в белокаменной Москве волнами носят звуки церковного благовеста. Придите в умиление, как молится в храмах святая Русь, поймите, что не иссякла вера ее, и не трогайте, не сворачивайте Русь на другую дорогу. Скажите себе: «Здесь, перед святым крестом, клянусь...» Меньшиков

из «Нового времени» прямо-таки заклевал Бурсака, хоть он его никогда не видел, разумеется. И Бурсак, развалясь на диване или бродя по городу, отвечал не кому-нибудь, а именно Меньшикову, и так он проводил в отповедях и спорах немало часов. «До чего мы дожили! — немо кричал с улицы Графской в Петербург Дементий Павлович.— Ваше правительство отстало от времени, вы под властью старой исторической инерции, вы и родились-то в крепостные времена, впитали с молоком матери психологию «старого величавого порядка», когда народ почти отрицался (это он тоже вычитал, но в левой газете). А уж все не то, другое время, милые мои. Что рядом у вас с православными заклинаниями? А вот: «ходатайство о субсидии», «просили взаймы», «требовали за службу», «растратили», «не дали отчета». Ваши правые газеты? Из «Московских ведомостей» сделали трактирный листок. Утром эти правые газеты шпарили ему ответы: русские по вере и крови не отдадут своего первородства за чечевичную похлебку; еще древний Рим ставил вечный завет: щадить покорных и смирять заносчивых!

— Не будем, Дементий Павлович, проклинать свое время,— затирал друга своей волей Толстопят.— А вдруг станет хуже?

— Едва ли.

— Что мы можем знать...

За этими «беседами» застал его Толстопят.

— Я помню тот день...— говорила мне через пятьдесят лет Калерия Никитична Шкуропатская, уже на другой улице, в другом доме.— Я часто ночевала в своей детской у мамы. Когда я пришла, они уже обо всем переговорили, но почувствовала, что прежней свободы между ними нет. Дементий Павлович в суде имел дело все время с несчастными случаями, очень переживал иногда за кого-нибудь, монархистов не любил, вообще он был, что называется, демократ, либерал по натуре. Очень мягкий человек. А Толстопят офицер, герой, казачина я тебе дам, и умом, конечно, не блистал. То, что хорошо было в молодости, прошло, и общих интересов стало все меньше и меньше. Кто из них был прав — это жизнь рассудила лучше, вам думать над этим, но я вошла тогда и сразу заметила маленький раскол.

Толстопят, в форме, с Георгиевским крестом на груди, прохаживался по комнате и немножко задирал друга.

— Где ее величество? Поссорились, что ли?

— Querelles de familles[1] ничего не значат,— оправдался Бурсак.— Не-ет! У женщин бывает.

— Да-а, не с той ножки встанут, то погода плохая. Женщина как ящик с хрусталем, наверху надпись: fragile[2].

— Пошла на мамин борщ и задержалась.— Бурсак счел нужным таить затянувшуюся хмурость супруги.— Ты у нас когда женишься?

Толстопят, ломая кисти рук, уставился на портрет предка Бурсака и молчал.

— Разве я стою хоть одной их слезы? — сказал наконец.— Свершится воля господа: когда-нибудь женюсь. Если не убьют! Уйду к сорока в отставку, буду пить чай с пятью сортами варений и на ноге подбрасывать наследника. Если не убьют...

— А ты почти в седле.

— Ага, я взобрался крепко. Впереди отборная кавалерия турок-сувари, тебе надо врубиться в ее середину и погнать назад. А там впереди еще два табора, орудия и тысячи две курдов на взгорке. Пока моя невеста рассуждает, возможен или нет брак на камне чистоты, меня уже, может, орлы клюют. Так-то, Демушка.

Ему, видно, хотелось подобострастного внимания к себе, но друг сидел перед ним, заострив нос кверху, и ни о чем не расспрашивал. Толстопят сам стал привирать о Царском Селе, о царице, поставившей свое имя в записной книжке по выписке его из лазарета. Бурсак все качал ногой. Ах, обыватели! Они тут наслаждались оперой Пуччини в Зимнем театре, симфоническим оркестром Черкасского, фокусами математика Арраго, сиянием свечей и пением в теплом храме, а казаки, как перешли в 12 часов 21 минуту турецкую границу, сняли шапки, перекрестились и поздравили друг друга с боем, так и вылетело из головы, что есть на свете неприсутственный день, городской голова и его заботы об очистке снега с Соборной площади, что важны слухи о дуэли между губернским и уездным предводителями дворянства, о выстреле в доме свиданий и прочее, прочее. Никто ни в чем не виноват, но все же, все же...

И хотя бы спросил этот чертов присяжный поверенный: ну как там ты лечился в Царском? Кто тебя перевязывал? Облепился газетами.

— Там кровь льют,— нарушил он молчание,— а у вас в городе читают лекции о любви к чернокожей на Малакских

[1] Семейные ссоры.
[2] Хрупкий.

островах! Казак два года жены не видит, детей — и увидит ли их вообще? — а они о наслаждении с папуасками рассуждают. Ну живете!

— Женись-ка ты, братец,— сказал Бурсак лениво.— Тебя раздражает наш быт, потому что ты не женат. Ты и сам этого не знаешь.

— Да ты вот у нас женат и на снегу не лежал, а я чего-то не вижу на твоей физиономии довольства.

— Меня борют общественные страсти! — Бурсак ухмыльнулся, и как будто эта ухмылка была в свой адрес, но Толстопят счел ее за высокомерие.— Я ведь «нанятая совесть». И все же пора тебе жениться.

— Женюсь, женюсь! — с злым весельем сказал Толстопят и повернулся к зеркалу: какой казак пропадает! — Может, на турчанке? Будет по Красной закутанная в одеяло на ослике ездить! А-а, Демушка? Ты входишь — она чадру на рожу. А-а, Дема? Позавидуешь султану Толстопяту? Восточные сладости вкуснее.

— Нет. Турчанки худые.

— И я ведь не одну привезу, четыре-пять. Весь Первый Екатеринодарский полк сбежится посмотреть. У них женщина — «цветок на окне моего дома». Волосы на уши, узлы любви, м-м.

Бурсак наконец улыбнулся; сбросил с себя присяжную сухость.

— Ну, начал дурачиться уже, господин подъесаул. Ты не стал серьезней.

— Женюсь, женюсь!

— А мы вот опять вдвоем. Нету нашей малышки.

— Да, да, я понимаю...— устыдился Толстопят своей пустой болтовни.— Бедная Калерия, сколько она пережила... Но вы не отчаивайтесь. Еще будет, еще все впереди. Лишь бы война кончилась. А вот и сама!

Толстопят, крыльями распуская в стороны руки, пошел навстречу усталой печальной Калерии и точно со сцены посылал ей приветствие пением:

Радость мне и счастье обещала.
Ты ушла, и жизнь ушла навеки за тобой...

Он обнял ее и долго так держал возле себя, обнял и ластился без прежних намеков, а как солдат, с чувством уже только екатеринодарского родства, как солдат неубитый. И она поняла это.

— Усы, усы-ы! — поразилась Калерия.— Когда женитесь?

— После победы над врагом, козочка. Так же?

— Вам война не принесет счастья, вы чересчур храбрый.

Как они ни старались опростить отношения, та кража на извозчике мешала им глядеть друг на друга долго. А Бурсак, словно чувствуя их тайные мысли, сидел с ними лишним.

— Да вы поцелуйтесь, что ли...— вдруг говорил он и только Калерия соображала, отчего это ее муж балуется шуточками, Толстопяту же было невдомек. То ночью в постели, то днем в столовой Бурсак посмеивался над ней: «Ну уж скажи, что ты любишь Толстопята, а за меня вышла — это ему отомстила. Признайся? Какие усы!» Нет, он не ревновал и ничего не опасался, но ему было чуток обидно, что в душе Калерии тлеет пепел нежности к другому и даже, может, томит ее порою сон о несбывшейся страсти. Один мужик надежней, а другой слаще.

Во время обеда, потом снова в гостиной Толстопят уже говорил для Калерии. Он изображал в лицах петербургских господ, сестер милосердия в Царском Селе, нянек, офицеров, царицу Александру Федоровну и «одну тигрицу любви», которая на него «даже не взглянула» (то, конечно, была мадам В.). Калерия при этом таинственно поблескивала глазками. Лихому Толстопяту она все, кажется, простила бы, даже если бы он был ее мужем.

О будущем не гадали. Все силы на победу, а там как-нибудь.

Дома на Гимназической Манечка составляла список благотворительных даров. Толстопят на носках подошел сзади, взглянул через плечо, прочитал: «От семьи А. Н. Камянского — 10 руб. и 2 пирога; от Ирзы — ведро «Медка»; от Б. Черачева — дюжина ножей; от Арзаманова — 5 скатертей; от В. Попсуйшапки — 15 рублей». И т. д.

— Трехсаженное письмо пишете?

— Ой, ты меня напугал!

— А от нас что?

— Там, говорят, граммофонные иголки собирают на производство оружия, у нас целая баночка старых. Завтра благотворительные скачки — не пойдешь? Ника у Келебердинских приз возьмет. А у меня вся неделя занята. Кружечный сбор, мы записываем на «красное яичко» воинам. Музыкальный вечер. Рублей сто пятьдесят выручим. За порцию пожарских котлет берем два рубля, два ломтика осетрины — тоже два. А как же? Потом в городском саду дивертисмент, а в июле сбор лекарственных растений.

— А потом замуж?

— Отстань... Я не хочу, мне противно! — тряхнула она рукой.

— Где наш батько?

— Передает опыт в думе, как опрыскивать деревья в саду. Летом принимаем оркестр из Москвы.

— Не до музыки,— сказал Толстопят.— Беднота ложится спать рано, а оркестр играет с девяти вечера. Пуд мяса восемь рублей стоит, а им музыка. Худенькая ты у нас...

— Я всегда буду как наша бабуля.

— Ну, иди спи, козочка.

Толстопяту было так жалко ее, так жалко, будто он уже предвидел ее судьбу.

На другой день отец созвал родню, было человек тридцать. Так они сидели вместе последний раз. Все тосты были за толстопятовскую породу, за героя Петра, ее прославлявшего ныне. Манечка весь вечер тревожно глядела на братика. У нее было лицо молодой монашки, готовой на подвиг смирения и сочувствия. Хотелось вернуться с фронта живым и опекать ее до конца. Она сказала ему потом, что хотела бы записаться в его полк, не отступать от него ни на шаг, но он ее с собою не брал.

Через неделю он уехал на Кавказский фронт под командование генерала Гулыги.

НИКТО НЕ ЛЮБИТ БЕДНОСТЬ

В апреле 1916 года, когда кавказские войска взяли Трапезонд, полицмейстер Екатеринодара, грек, браво вошел в кафе «Монплезир» и поздравил всех с приятными вестями. В Трапезонде из ста тысяч населения восемьдесят тысяч было греков, и «Монплезир» радовался вдвойне. Тотчас же принесли серебряное блюдо и накидали шестьсот рублей на постройку водолечебницы в Теберде для раненых, а глава колонии Акритас добавил, что это лишь первый взнос, который просят передать генералу Бабычу екатеринодарские греки. Манечка в тот вечер разносила с дамами угощения в «Чашке чая». Что такое? — не к одиннадцати, а намного раньше в кафе повалила шумная публика, а на Красной разрастался веселый галдеж

— Дни Турции сочтены! Трапезонд взят! Недалек тот день, когда русские пушки будут на берегах Босфора!

10 апреля с крашеными яичками пришли пасхальные дни. Магазинщики зазывали к себе щедрыми рекламами в газетах. По реке Кубани плавали разряженные лодочки, и,

поскольку пароходы не катали до Хомутовских мостиков и обратно вверх к Бжегокаю, лодочники без устали зарабатывали рубли, переправляя обывателей в «Аквариум», на другую сторону. Там подавали мороженое, бузу. Вечером в городском саду зажглось электричество, играли в летучую почту, телефон и телеграф. Сюда же, рядом с музыкальной раковиной в Ореховой аллее, перебралась на летний сезон «Чашка чая». Но в мае спустились холода, потом от гусеницы погибали сады. Один Авксентий Толстопят разве со своим хитрым промыслом и неутомимостью мог ждать урожая к осени.

И подошла троица, косили у дворца наказного атамана траву, продали женщины на базарах все ветки ясеня, клена и лещинника, по станицам беднее, чем до войны, отторговались ярмарки — Пантелеймоновская, Ильинская, и Попсуйшапка, конечно, объездил несколько станиц, раскладывая на прилавке остатки папах, шляп и фуражек. В троицын день Манечка ушла с пашковскими парнями и девчатами в Панский кут. Повесили на сучке дерева крест; девушки, взявшись за руки, обступили дерево кругом. Красивый парень выбрал Манечку, назвал кумой, вывел из круга и поставил возле креста. По обряду парень этот принял на себя обязанность охранять Манечку от обид, быть советчиком при выборе жениха, но сам жениться на ней не имел права,— зато до смерти принуждала его клятва носить крест. Он ей так понравился, что она подумала: ей хочется нарушить клятву, которую она со злости давала брату,— жалеть увечных и обиженных и никогда не бросаться замуж.

Еще прокатились в июне по станицам погромы лавок. Торговцы впадали в панику. Поползли всякие слухи. По просьбе торговцев Екатеринодара городской голова Скворцов созвал совещание управы с участием полицмейстера и начальника сыскного отдела. Авксентий Толстопят пришел поздно и рассказал в семье о положении дел.

— Ничего,— успокоил он.— Полицмейстер сказал, у него сто шестьдесят городовых. Лучшие, правда, на фронте. Нет средств на пополнение. Ну, Бабыч даст сотню казаков, как резерв — дружинники и школа прапорщиков. Применят плетки.

— Зачем? — сказала Манечка.

— То ж власть. Не я. Покричу на вас и забуду.

С петровского поста, когда богатые люди набились в экипажи и подались в Тиберду, Манечка собирала с ученицами лекарственные травы.

От брата Петра опять не было известий.

Прибывали в отпуск с Западного и Кавказского фронтов казаки и офицеры; родные были счастливы, что они живы, так же как в доме Толстопята, когда две недели гостил Петр.

В одном поезде приехали в августе месяце Аким Скиба и Дионис Костогрыз.

В вагоне их сблизило происшествие. В Баку к ним подсел черноволосый мрачный Георгиевский кавалер и на одной из станций послал скромного Скибу за кипятком. Тот вдруг с бранью отказался: «Я тебе не слуга!» Кавалер зарычал: «Ах ты, кацап проклятый! Посеку в капусту! Извинись сейчас же». Скиба достойно молчал. Дионис с легким своим шутовством кинулся ему на выручку, стал перед кавалером на одно колено и, скосив к переносью глаза, прошамкал, как беззубый старик: «Господин Георгиевский кавалер! Простите меня, старика, не жалуйтесь по начальству, я за вас помолюсь, куплю свечку в церкви, понюхаю, а если она ладаном вкусно пахнет, то и съем за ваше здоровье. Чего с парня взять? — ткнул он пальцем на Скибу.— Сколько прожил — штанов не носил, а как баба штаны купила, то он залез на крышу, ноги свесил, баба штаны растопырила, и он упал в них ногами. Они жили и ниткою хлеб резали. Он был парубком, а дед его ще был невеличком, а батька его и на свете еще не было. Ну!» Кавалер зареготал и простил Скибу, набрал сам на следующей станции чайник кипятку и все дергал Диониса: «С Пашковской станицы, говоришь? Ну юла, ну брехло!»

А Скиба вышел в тамбур, уткнулся лбом в дверное стекло и, припоминая шутку Диониса о штанах, грустно думал о своем детстве. Он часто удивлялся, почему уцелел на свете. Видно, кто-то берег его. Маленьким он бежал за матерью и плакал, чтобы она взяла его с собою; мать закрыла ворота и не успела отойти, как ворота упали и чудом не задели малышку Акима. Много раз суждено было ему умереть и после, но он не умер.

Семья у них была большая, семеро детей: четыре брата и три сестры. А шестеро умерло до рождения Акима, и двое уже при нем. Кто же его спас? За что? За то, что он плутовал меньше других ребятишек и в десять лет читал «Кормчего»?

Старший брат научил его грамоте. Он писал соседям письма и читал над покойниками псалтырь, за что полагалась ему буханка хлеба, пятьдесят копеек и тот платок, который хозяева обыкновенно стелили под псалтырь.

В православном журнале «Кормчий» он нашел статью о святом Геннадии, прочитал и спросил у брата: «А вот пра-

вила святого Геннадия о вере и жизни христианской — это как понимать? Сказано: человек богатый есть ветвистое дерево, и если поклонишься, то свободнее пройдешь. А я у хозяина работал, подсолнухи молотил, они меня оставили на току на ночь, а рядом кладбище, всю ночь под воскресенье гроза. Утром приходят, жена его спрашивает меня, не страшно ли было, глядит на меня и жареными семечками угощает. Хозяин ее чуть не убил за это! Как же я ему поклонюсь? Он, бесстыдный, садился оправляться прямо перед женой. После лихорадки у меня все губы обсыпали прыщи, рот еле раскрывал. Так он что? — нарочно отрезал широкую скибку арбуза и гигикал оттого, что я мучаюсь».— «А ты кланяйся не богатому и не бедному,— сказал брат,— а человеку. Священные книги не по нас, ты запутаешься. Живи сердцем».

Он и жил сердцем, рос умненький, вокруг умирали, а он рос и рос.

Может, потому, что мать привечала странников?

У этого злого хозяина, про которого Аким говорил брату, боронил он один землю под сев. Земля была сырая, и борона часто забивалась комьями; двенадцатилетний Аким, надрываясь, поднимал борону, очищал, а хозяин лежал на повозке и кричал, чтобы забороновал он еще поперек нивы. На узком загоне он закружился на частых поворотах, кони покусывали друг друга, а когда борона ударила углом коня по ноге, кони всхрапнули и понесли. Аким упал, острые зубья бороны перелетели через него. Как он остался цел? Хозяин прибежал, стегал кнутом — раз по несчастным животным, раз по Акиму, приговаривая: «Вот так возят! Вот так погоняют! Вот так возят! Вот так погоняют!» Была у хозяина привычка точить Акима за столом, припоминая ему все грехи за прошлое лето. Кто прятал груши в траву? Кто сорвал перед хатой яблоко? Кто на гнедом Мальчике катал чужого человека? Такой пытки Аким уже не мог стерпеть, и ушел он на табачную плантацию к грекам.

От Армавира Аким и Дионис ехали, не отступая друг от друга ни на шаг. Уже в то время предвещался между людьми разброд. Так, на станции Кореновской Дионис Костогрыз схватился с господами. Они с Акимом забежали в буфет купить папирос. В зале за большим столом сидели офицеры из 2-го Лабинского полка и закусывали; за маленьким столиком занимали места двое в судейской форме, один из них был не кто иной, как Дементий Бурсак. В коридоре по чьему-то пьяному требованию заиграли гимн; все встали и сняли фуражки. Бурсак же громко сказал: «Мне нравится музыка

гимна, но «Марсельеза» лучше». Дионис вспыхнул и взял Бурсака за плечо: «Кому надо «Марсельезу»? Что вы чушь несете? Кокарду носите, состоите на коронной службе и такие речи?»

— Не вам судить обо мне. Вы дикарь! Не знаете правил благочиния.

— Пластунской постромы покуштовать захотелось? Гадость... Убирайся отсюда!

— Кто вы такой?

— Я верноподданный государя императора Николая Александровича!

Бурсак встал. Дионис правой рукой толкнул Бурсака, и тот, к удивлению, пошатнулся и повалился на стол.

— Вешать таких господ! Получишь как-нибудь кинжалом в бок. Разводить смуту?

— Я вправе вызвать вас на дуэль.

— Выйдем!

Оба вышли из зала к подъезду. Дионис развернулся и ударил Бурсака по щеке.

— Вот тебе и весь дуэль!

Кто-то закричал; позвали жандармов, но в эту минуту засвистел паровоз, и казаки с офицерами побежали к вагонам. Скиба до самого Екатеринодара молчал.

— Не хотелось марать рук об эту морду,— сказал Дионис,— но не стерпелось. Правильно? — спросил он у казака, но тот молчал. Казак пребывал в турецком плену и все дни переживал: что скажут в станице? Засмеют! «Шо ж,— будут издеваться,— без турецких ковров приехал!»

С разным настроением возвращались домой: Дионис погордиться наградами, Аким помочь по хозяйству, отыскать в городе старых товарищей-подпольщиков да поблагодарить от солдат Манечку Толстопят за теплое белье, носки и табак, которые она присылала от имени общины сестер милосердия.

Ее-то он и увидел первой в доме на улице Гимназической. Она что-то писала в дневничке, когда ее позвал отец. Она переписывала послание пластунов: «Зная ваше отзывчивое сердце, я от лица своих товарищей обращаюсь к вам — помочь по мере возможности: собрать нам на зиму теплых перчаток, простых, базарных, из козьего пуха. Поклон дорогим екатеринодарцам...» На последних буквах ее и прервал голос отца. Она вскочила — может, письмо от брата!

На пороге стоял солдат, не казак — синеглазенький, с тонким носом, невеликого росточку! Она тотчас сообразила,

что он с фронта, с того полка, который недавно выбил турок из ущелья.

— Мария Авксентьевна, здравствуйте, я Аким Скиба, можно к вам на минутку?

Отец, добрый час ворчавший на городскую думу, вдруг присмирел и заулыбался. Матушка вышла с кухни напуганная — она в каждом госте ждала почтальона с дурной вестью. Вид солдата с турецкого фронта ее успокоил, и она поспешила на кухню разогревать пирожки.

— Какой станицы? — вежливо допрашивал отец.— Марьянской? Городовик? Ну и шо ж вы, так и живете голотрепами?

— Есть и казаки голотрепы, чуть ли не мы.

— А золу с печи около двора небось высыпаете?

— Бывает.

— Э-э, меня нет. Я, бывало, в Пашковке конюха вызываю: «Митрохван, запряжи волов, подавай к правлению». Тот кричит: «Господин атаман, санки готовы». — «Ага! Зараз поедем по дворам». Сена положили, ковром постлали. Поехали. «А ну подожди! — зола чернеет.— Давай хозяина!» Выглядывает без шапки. «Иди, иди сюды. Шо це чернеет? Баба насыпала? Так вот: я проеду до того краю, а оттуда вернусь — щоб цего не было, а у меня в правлении положишь на стол пять рублей штрафу».

— О, хвалишься,— сказала матушка.— Посади человека. Он же с дороги. И голодный?

— Чи казак стул будет тасать?

На кухне его расспрашивали о боях; Скиба и раз, и два, и три поблагодарил за посылки.

— Пойду,— сказал,— мне поручили солдаты письмо наказному атаману передать. Хоть часовому, хоть как.

— Чем недовольные?

— Чтоб не лишали пособий семейства. Пишут бабы: как что — лишают атаманы пособия в станицах. Ехал казак мимо своего двора и забежал повидаться с женой, матерью — лишить пособия! За что? А то, говорят, мы штыки в землю и шашки в ножны, а там как хотите. В Тифлис Николаю Николаевичу напишут.

— Пахнет разбоем. На базаре болгарин овощи продает, а серебряные рубли с головой государя бросает себе под ноги, в ямку. Цитович его за ворот — и в кордегардию. Дела-а... До свидания, хлопец. Возвращайся живой.

Манечка проводила Скибу до тротуара.

— Красивый мужик,— сказал отец,— да бедный, как церковная мышь.

Чем бы в тот месяц ни начинался разговор екатеринодарцев, цены на продукты и товары были главной занозой. Жизнь вздорожала. Старики поминали прошлое.

Между тем жизнь дорожала всегда.

В молодости Лука Костогрыз тащил с базара поросенка за 15 копеек, а в начале германской войны гуси подскочили до рубля, поросята до полутора рублей, куры до 60 копеек. Бабы возвращались с базаров недовольные.

— Я все подсчитал,— говорил Костогрыз и выносил бумаги.— Министру внутренних дел отдай двадцать шесть тысяч в год. Нашему Бабычу со столовыми тысяч двенадцать, так им можно по восемь рублей за пуд мяса платить. В Ейске бунт был, и у нас жди.

— А были б вы царем, шо б делали? — спрашивал Дионис, закрывая один глаз.

— Ач! Был бы я царем... как говорил тот городовик: сало с салом ел бы и спал бы в теплой хате на соломе!

В обжорке Баграта тоже калякали о ценах, проклинали время.

Скиба успел зайти в дом на улице Новой и поинтересоваться новостями. Из окна дома видна река Кубань; там, на острове, были зарыты когда-то бомбы и оружие. В дом наезжали полицейские чины, в том числе и помощник полицмейстера, виновный в смерти братьев Скиба; квартирантка, связанная с подпольщиками, узнала, что помощник полицмейстера под видом наблюдения за островом оставался у хозяйки ночевать. То было давно. Квартирантка все еще жила там же. Ее, бедную, несколько раз забирали в кордегардию и требовали от нее указать на политических преступников, стращали увезти в номер гостиницы и там надругаться над нею, но она держалась.

— Тот помощник полицмейстера умер недавно в тюрьме,— сообщила она теперь.— Царь так и не скостил ему вину. Второй раз его судили за мошенничество с монетами.

В обжорке Баграта беженцы-армяне, коих набилось в Екатеринодаре немало, скучились в углу, кормили детей, не пили и сидели тихо.

За столиком Скиба молчал. Баграт посылал армянам лишние порции.

— Теперь, к чертовой матери,— говорил он,— такой закон, что и водки не достанешь.

— Наш государь не самостоятельный,— сказал злой мужик Терешке.— Что министры подсунут, то он и делает. При Александре Третьем больше порядка было.

— Как же государь не самостоятельный,— воспротивился Терешка,— когда он подписывает «быть по сему»?

— Не подпишет, его министры коленом под зад.

— Каша у тебя в голове. Без царя знаешь что будет? Темнота. Интересно: тебя царем поставить, что бы ты делал?

— Я бы! — мужик погрозил кулаком.

— Ты бы и трем свиньям толку не дал. Ты этими речами не ошибайся.

— Махать я хотел! Пусть меня жандарм арестует. Что они меня — кормят? Или он мне дал этот рваный костюм? Какой он мне подарок сделал? Махать я хотел! И государя, и престол, и корону махать я хотел. Ты знаешь ход жизни моей? Ну а чего ж ты? Иди донеси.

— Сам на себя наносишь,— сказал Терешка, жалея.— Бог тебя накажет. В святых книгах сказано: «Бога бойтесь, царя чтите...»

— В Библии и про Саула сказано: «Царь дан народу в наказание». Царю только наше тело нужно, наша грудь, чтобы мы подставляли под пули. Бог ни при чем. Если хочешь знать (ты, наверно, лавку держишь?), в Библии сказано: был благоверный царь, и по смерти заступил его сын, сделал пир, велел принести священные сосуды, которые отец его забрал в Ерусалиме, и когда они пили, высунулась из каменной стены рука и начала писать на стене: не быть тебе царем, не быть тебе царем, не быть тебе царем! Так и теперь. Был у нас Спаситель, да не спас от грабителей но придет другой, спасет от всего,— постойте...

— Проспись, дурак, и жди своего призыва на фронт.

— На хрена ты мне нужен, такой красивый. Проиграли войну, как с японцами. Настала пора скинуть ярмо. Дураки солдаты, что идут на войну и кладут головы.— Мужик взглянул на Скибу и сказал как бы ему, моргнул: — Государь с государыней в карты играют да водку пьют.

— Ты там был?

— Не был, и не надо.

— Кто же будет, по-твоему, защищать Отечество?

— Лучше собаке служить, чем...

— Нельзя так скверноматерно говорить о государе. Смотри не греши, это дело не маленькое.— Терешка оглянулся, кто там вокруг. Мужик подумал, что он выглядывает городового.

— Я никого не боюсь. Я уже был в Сибири и никого не боюсь,— сказал.

— Не греши.

— Вынуждают к этому. Нечего бояться. Надо действо-

вать, а будем прятаться друг за друга — ничего хорошего ожидать нельзя. Придет время, народ побратается с войском и возьмет верх. Выдумал войну, сукин сын! Что ему, жалко нас? Дураки солдаты, идут. Если б сделали так, как на станции в Армавире, — убили офицера.

Тут Терешкино терпение кончилось, и он, надувшись, встал и застегнул пуговицы.

— Я жалостливый, — поводил он пальцем по воздуху, — приставу не скажу, но в другой раз не выражайтесь так, а то будет плохо. Стоит перед тобой стакан, допивай и иди спать. Богатеют от честного труда, бережливости и жизни по заповедям божиим. А власть ковырять — дурное дело.

— Махать я хотел, — сказал мужик, когда Терешка ушел. — Мне пятьдесят пуль в грудь, а государя долой. Его дядю убили в пятом году, а руку нашли на другой день, и с ним то же будет. Сына у него нет. Мать его, Мария Федоровна, родила своего и отдала ему, чтобы был наследник. Махать я хотел весь романовский дом!

Мужик ругался в ту минуту, когда беженцы-армяне вставали с места и шумно выходили. Скиба положил свою руку на руку мужика:

— Мой вам добрый совет. Пока молчите. А то вас заберут в тот момент, когда мы будем нужны. Я ничего не слышал. До свиданья.

— Махать я хотел... Девять месяцев крепости, а то и три, а то и семь суток аресту — подумаешь!

— То раньше было. А сейчас упекут в Сибирь.

— Да вон недавно одного — он царя дураком обозвал, — на семь суток всего под арест.

— И все же...

Возле шапочной мастерской Скиба раздумался, с какой подводой добираться ему в Марьяновскую.

В мастерской Василий Попсуйшапка спорил с братом о том, был ли Тарас Бульба на самом деле или его придумал Гоголь, и доказал бы, что такой человек все-таки был, и еще раз посокрушался бы, зачем же у Тараса выпала люлька (его б не поймали), если бы вдруг за окном не послышались крики, брань, вопли о помощи. Василий быстро вскочил и, заметив взъяренную толпу, закрыл дверь на ключ. Выпали тотчас из ума гоголевские бранные страсти в повести! Люди с тех пор не помирились. Пока они в мастерской спорили, все двадцать семь трактиров, дюжина погребков, более двухсот пивных лавок, буфетов, греческих кофеен,

много магазинов перестали обслуживать обывателя — где заперлись на все замки и выставили в окна иконы, а где уже поминали разбитые стекла, посуду и мебель; даже постоялые дворы затворили свои двадцать шесть ворот. Только волосатый Баграт в обжорке никого не боялся — босяки и базарная чернь любили его.

Что же произошло там? С чего началось?

Бунт подняли на Сенном рынке жены запасных, настаивая на проверке таксы. Кто-то ограбил лавку — и пошло! Со всех углов стекался народ. Пристав Цитович надорвал горло, уговаривал: «Ваши действия только на руку нашим врагам». Бабы зажимали его в кольцо.

— А почему у нас дорогие ситцы? Сахар вешают неправильно, кладут много бумаги!

— Весь базар переверну,— грозил Цитович, взбираясь на бочку.— Не допущу! Понюхаете у меня клоповника на голых досках.

— Мы будем жаловаться.

— Жалуйтесь на меня! На кого науськиваете? На Отечество наше?

— Какое право ты имеешь ругаться матерно? Передадим Бабычу, и тебя уберут.

— Его нет в городе. Я за него наведу порядок. Кому и для какой цели нужен разгром? Цены не понизятся, а повысятся еще больше. А долг перед Россией? А помощь тыла? Понизится дух войска. Погром на руку немцам. Стыд, позор!

— Берите, бабы, дрючки и гоните его! Паршивая полиция! Живодеры!

— Убить полицейских!

— Уби-ить!..

Над головой Цитовича повис тяжелый кувшин. Сзади стояли мужики с Покровки и с Дубинки и ждали: если полиция откроет огонь, тысяча душ, вооруженных палками и гирями, выступит в защиту баб, а к ним уже обещают припрячься выздоровевшие в лазарете нижние чины. Виновных не найдешь.

Пожарная команда спряталась, брандмейстер наотрез отказался разгонять толпу водой. И никого из черной сотни нету.

Скоро возмутители перекинулись на магазины по Красной улице, ныне Николаевскому проспекту. Уже несли тряпки, обувь, одежду. Трамваи остановились.

— Я ни на минуту не остановлюсь перед усмирением беспорядка! — сказал по телефону полицмейстеру помощник

Бабыча и вызвал шестьдесят конных казаков и сорок юнкеров.— Пишите воззвание к населению. Утром приедет Бабыч.

Наказный атаман Бабыч был в Тифлисе. Городской голова Сквориков, тот самый, что после избрания в думу просил отца рассчитать старого кучера Евтея, соединился с помощником Бабыча.

— Я их расстреляю! — подтвердил помощник.

— Ваше превосходительство,— сочно булькал в трубку городской голова,— я уверен в вашей распорядительности, но расстрел применяйте в крайнем случае. В воздухе висит гроза. Не проливайте крови. Довольно будет, как ни стыдно это говорить, одних плетей.

— Я сам сейчас выеду.

Толпа уже рекою текла к обувному магазину Сахава. За женщинами, подростками, сотней хулиганов топтались полиция и казаки на лошадях.

Городской голова растерялся; лучше ему было наблюдать за толпой с балкона гостиницы «Большая Московская». Уже теребили бельевой магазин Чехмахова. Со взводом казаков подъехал в фаэтоне помощник Бабыча и что-то кричал. Фаэтон повез его дальше; грабеж продолжался при «декоративном присутствии войск» и затерянных в давке полицейских. Голова вздумал спуститься вниз и произнести речь, но переменил решение: власть передана военному начальству, и всякое вмешательство будет потом поставлено ему в вину.

— Почему не разгоняете? — крикнул он казакам.

— Не приказано.

— Сам наместник разрешил грабить, ничего нам не будет! — орал кто-то.

Уже был час дня. По всем улицам тащили добро.

«Почтенная интеллигенция с удовольствием наблюдает,— думал городской голова.— И никому нет дела. Грабеж может перейти на мирных жителей. Ни у кого сердце не шевельнется. Уже лавку Аветисьяна растаскивают. Извозчиков захомутали, о-ой! Корсеты несут от... Все на руку врагу».

В четвертом часу его позвали в войсковой штаб на Борзиковскую.

— Что вы думаете дальше? — спросил помощник Бабыча, генерал, такой же плотный и седой, но грубый.

— Дело защиты передано военным властям — нам думать не полагается. Поэтому я позволю себе спросить: что вы думаете делать? — Никто не хотел, видно, брать на себя

смелость — время неуверенное.— Общий голос таков: для спасения имущества ничего не делается.

— Нагайки употреблялись. У казаков одни рукоятки остались.

— Господин полицмейстер Михайлопуло ручался за казаков, как за самого себя.

— Если полицмейстер ручался, то это его дело. Он, как офицер, не ручаться за русских воинов не мог. Я несколько успокоил баб. Сказал, что распоряжусь, чтобы городской голова собрал думу, купцов и торговцев и установили цены такие, как до войны, с надбавкой на двадцать процентов. Полагаю, довольно. Немедленно привлечь к ответственности уличенных в сокрытии товаров. Запретить вывоз мануфактуры в станицы. Никаких самочинных обысков и арестов.

— Вы, осмелюсь сказать вашему превосходительству, по обещали бабам невозможное. Дума не устанавливает цен. На цены влияет много причин. Посевная площадь сокращена, рабочих рук не хватает.

В эту минуту за окном мимо гостиницы Губкиной побежала к Новому базару толпа баб. Генерал посмотрел туда и сказал:

— Вот, извольте видеть. Что прикажете делать? Побежала баба в красном сарафане, я ее видел уже в двух местах.

— Энергичные меры, ваше превосходительство.

— Меня не упросят употреблять оружие против такой толпы. Пусть меня судят царь и бог, пускай снимают с меня эполеты, но я не пролью крови, выйду из этого суда со спокойной совестью.

— Утром вы обещали расстрелять толпу. Я первый просил вас не допускать этого.

— Не буду же я вызывать для усмирения донских казаков? Издали приказ о невыходе на улицу с девяти вечера до шести утра — хватит. Погром начался из-за пустяка. Кто-то из мелких торговцев продал барыне один фунт сахару за шестьдесят копеек. Так и надо им, паршивым торгашам, два года пили кровь. Привыкли шкуру драть, теперь дрожат.

— Послать телеграмму наместнику,— осторожно подсказывал городской голова.

— Послали. Завтра утром приедет наказный атаман Бабыч.

— Почему,— кричали с улицы,— продают одни кости и головы? Где же мясо? Разным гостиницам, а нам?

К вечеру в 1-ой полицейской части пристав Цитович допрашивал арестованных. Захвачена была и казачка станицы Елизаветинской Федосья Христюк. Она приезжала на базар с молоком, распродалась и хотела добыть сахару. Крики и столпотворение у лавки замешали и ее в грех, она даже не заметила, как стала помогать бабам в нападении на полицию, потом побежала по Красной в плотной куче и бросила в широкое итальянское окно аптеки глухого Каплана свой камень. Цитович уже в полной безопасности, позабыв про «защиту Отечества», терзал жертв дознаниями. Федосья, длинная, костлявая, никогда не боявшаяся в станице ни атамана, ни заслуженного урядника, слушала, слушала пристава да вдруг сорвала с головы белый платок и, смотав его на кулак, вызверилась на Цитовича:

— Вы чего, бисова душа, на меня гавкаете? Или я вином с бочки торговала? Или я ворую сорочки с мертвых, а меня саму по репьях мужики тягали да ты меня впоймал? Шо ты на меня так кричишь — ты мне разве на свадьбе бычка дарил? Я с тобою под арбой на степу не спала, обнявши руками.

На столе у Цитовича лежала надкусанная морковка; он хрустнул ею, зажал в кулаке.

— Это ты меня ударила по фуражке и согнула кокарду? Ты кричала «паршивая полиция»? Хочешь свозить сор на дрогах в Карасун? Я тебе устрою, красная твоя морда!

— И ты будешь меня помнить! — пристукивала кулачком по столу Федосья.— Я до наказного атамана дойду, и он тебя пустит коров пасти, там револьвером и пугай. Ишь отъелся, как кабан. Лазишь по квартирам, бурдюки с запахом араки ищешь,— ну до меня ты не подлезешь. У торговцев вино отбираете, а куда его? К себе в хату?

— Фантазия досужего стряпчего. И ты мне арапа запускаешь?

Забрал меня, а у меня в хате дети беспричальные сидят. Я не девка, а хозяйка. Куда смотрите? Бабам под юбку?

— Что ты мне бунт поднимаешь? Ты разве не знаешь, какое сейчас время? Из-за этого может быть всеобщий погром

— Если будет погром, я первая пойду. Одна разве власть имеет суждение? Мы тоже видим. У бедных выливаете вино на землю, а немец Бруно торгует, вы ему ничего.

— Одни ли купцы и торговцы виноваты? А какие цены загибают бабы на по́лку, косовицу, жнивье? Залили керосином чувал рису и, думаете, вам пройдет? На сколько вы

сегодня принесли убытку? — Он отложил морковку, пальцы на левой руке согнул, на правой выскочил указательный.- У Сахава в обувном товаров на сто семьдесят тысяч. Это что тебе? У Фотиади Христофора — на пятьдесят тысяч. Это тебе как нравится? У братьев Тарасовых — на сорок тысяч Это — что-о? — заревел Цитович.— Пляски?

— Ну чего ты так их защищаешь? Они уже спят, а ты ще морковку не доел. Доешь.

— Тю-у, дура. Сию же минуту пущу протокол, и ты будешь в тюрьме. Я не свят дух бегать за вами по городу Взять дрын да прогнать тебя кругом Елизаветинской, чтобы не оглядывалась.

Федосья встала.

— Так не томите мою душу, кончайте скорее, отрубите голову, повесьте! Я такая, но подо мной земля горит в три аршина. У меня никого нет,— сочиняла она,— я злая, хуже меня и грешнее нету. Бог моих молитв не слышит, я страшная преступница и грешница. Я нанимала у Лавриненко квартиру, а он начал меня обнимать; легла с ним спать клопы кусают. Я такая скверная,— стала рыдать Федосья, красная, немытая, подо мной земля горит. Я в Киев молиться иду. На чертова батька мне ваш сахар...

«Она сумасшедшая прямо! — Цитович разинул рот и откусил морковку.— Как горбыль худая, страшнее турецкой войны. Чего она мелет? Отпущу...»

— Слушай-ка,— сказал он, убирая листы в ящик.— Иди, иди, ради бога, от меня подальше и больше не попадайся вместе с покровскими бабами. Помни: попадешься — не сорвешься. Клоповника понюхаешь. Ты казачка. Имей гордость... Моли бога, что я отвязал камень с твоей шеи. Бры-ысь!..

«Это он отпустил меня оттого, что голодный...— подумала Федосья.— Такую мать! — порядки охраняют, и перекусить им некогда... Ах, где ж мои кони? Наверно, Миновна уехала без меня... Чи пешком теперь? Клоповник! Я тебе покажу клоповник! Та чем же мне добираться до хаты? Божечко мой, та то не Аким мне махает рукой?..»

Ах, этот августовский степной вечер 1916 года! — куда он развеялся? За долгую жизнь накопится немало маленьких радостей, но вечер тот по дороге на Елизаветинскую хата Федосьи, семилинейная лампа в сарае и сон на гарбе под звездным небом — никогда! И ах эти казачки! — мастерицы унимать боль, прогонять сиротство в душе, награждая

часами заботы, хлопотливым вниманием и почти материнским уходом. Не тому только было суждено вспоминаться, что она в зените ночи растолкала его на гарбе, прилипла большими губами и придавилась худым теплым животом, а и тому, как кинулась к солдату навстречу на улице, заплела за руку и уговаривала ехать ночевать к ней («У тебя ж в городе никого и покормить некому!») и побежала к Сенному рынку искать елизаветинского казака с возом. Душою взяла баба, сама некрасивая, но душа на троих!

И поехали они на вечер вольною кубанскою степью. У фермы Гначбау остановились, сбегала Федосья в хату (где в 1918 году будет убит Корнилов), потом выпросила четверть молока, напоила своего дружечку Акима. Бородатый казак погонял да курил, а Федосья и Аким разговаривали за его спиной. За аулами горцев, по ту сторону Кубани, в низине обливались последним красноватым светом простори. Ехать бы вдвоем — было б слаще. Но и за спиной чужого человека можно коснуться руки, живота, сладко потерпеть в мыслях о темноте в хате. Он ее заметил случайно на Красной, когда шла она злая из 1-й полицейской части от этого проклятого крючка Цитовича. Кто-то им подворожил, наверно. Он уже, как всегда в юности, намерился выплутать к дороге у Бурсаковских скачек и шлепать двадцать пять верст до своей станицы Марьянской. Что ночь! — он не боялся.

Его с детства любили девчонки, жалели, но считали «глазливым». Виною было пристрастие Акима всматриваться в лица. Он отводил свой взгляд, если кто-то замечал, что за ним наблюдают. Лицо забывшейся женщины, девки цвело как радуга: то очистится мыслью высокой, таинственной, то зальется нежною лаской, то вскинутся брови, то губы скривятся в усмешке или подернутся плаксою. В лице столько оттенков, сколько в степи ранней весной,— смотришь и не насмотришься. Федосья Христюк, пришедшая на табачную плантацию из Елизаветинской, будучи старше Акима на восемь лет, говорила напарницам про его глаза: «И как они хороши! Да была б моя воля, обменялась бы я с ним глазами и додачи бы не пожелала». На танцах дурачились на все лады, пели неприличные песни; Акима переодевали в армяночку, а Федосья изображала ухажера, целовала его в щеку; ее синие зрачки (как крошечные колокольцы) не смеялись, а были зовущи. «Погадаешь мне!» — просила Федосья. Аким, гадая, раскидывал всего четыре карты. Каждый вечер перед сном она его выкликала нахально: «Ну, кто ночевать? Раз — кто ночевать? Два — кто ночевать?

Три — и...» Зря приполз он к ней во тьме — ее на полу не было. Аким не спал всю ночь, придумывал всевозможные кары изменнице. Днем облюбовал он во дворе обрезок дуба и, когда все легли спать, внес это бревно в казарму и положил рядом с Федосьей. При этом шепнул: «Пусти ночевать».

На черкесской стороне колыхались дымки, под обрывом Кубани плоско текла вода, а вдали, за нескончаемой степной долиной, темнели на горизонте барашковые силуэты садов. Городская пожарная каланча прощально перебиралась по небу своей верхушкой. В лицо дул теплый ветерок. Сытые лошадки с охоткой трусили к дому. Всякий раз, когда млела душа чувством к родной вольной округе, хотелось запеть что-то дедовское. Раньше, шагая в одиночку по прямым дорогам, взгоркам и балочкам, Скиба всегда пел в полный голос, и только птицы да кони в табунах слышали его.

Не раз слышала степь и Федосью.

И когда совсем потемнело вокруг и Аким откровенней подпирал плечом ее спину, завела она материнскую, и Аким вторил ей:

Козак отъезжае,
А дивчина плаче.
«Куда едешь, козаче?
Козаче-соколе,
Возьми мэнэ с собою
На Украину далеку...»

— О-ох! — громко вздохнула Федосья, когда кончили песню, и боком повалилась на Скибу.— Забунтовалась баба, а в хате дети ждут.

— Полюбила городовика? — посмеивался возчик, казак из Новомышастовской, тайком презиравший бабу за связь с иногородним.

— Полюбила-невзлюбила, тебе шо за дело? А злее ваc никого в свете нема. Я сама казачка, а их не терплю. От души говорю. Он тебе за сто годов не забудет.

— А офицеры?

— И офицеры таки ж. Они хорошие на службе, но не по семейной жизни. Его не учили, как с бабой жить, а чтоб скакал, стрелял. Оно ж недаром поется: «Не дивися, казак, як дивчина плачет». Мой дед: «Бери Фроська, мазницу, мажь колеса, а я подмогу, а то я замажу черкеску. Да будешь вести бычков за налыгач. Хлеба взяла? А сало, пшено? Я не могу запылиться, я в казачьей форме». Не довели господь. Себя берегли. А гуляли!

Возница больше не заикался, и Федосья, повспоминав

прошлое время в молчании, тихонько рассказывала уже только Акиму:

— Я тут работницей была. Стоп — оцего ще не было: стал хозяин ухаживать за мной. «Лука Иванович,— ему,— если будешь меня так цеплять, я скажу атаману. Не будь Серком. Чего ты?» Цап, цап.

— Добрая была?

— На меня указали, шо я девкой согрешила, и батюшка назначил целый год в церкве молиться. Я походила, походила и думаю: «Какая мне польза? Хозяин меня выгонит». Говорю батюшке: «Отец Антоний, знаете шо? Я служу у хозяина, меня выгонят; работать надо, а я в церкву». А он: «Федосья, привези мне свинью на подводе и арбузов»,— «Батюшка, а где я возьму вам?» — «Я буду тебе помилование творить, а ты мне не заплатишь? Приди спать до меня». От это не брешу, истинно. Пришла в церкву, я уже вижу, шо он сварится на меня. Я не подхожу Евангелие целовать. И так я не пошла до него, помилование он мне не сделал. Я дулю ему скрутила! «Ось,— говорю.— Ты батюшка! Кто же тебя слушать будет?» Оце не брешу, сама себя выдала, тебе чи нужно было знать?

— А ничего,— сказал Аким.

— И как же ты не побоялась, на пять душ пошла? — спросил казак.

— Решила, замуж пора. Иду в церкву, а мама говорит: «Федось, я была на похоронах, умерла Шевченчиха, ну так кричали, так кричали дети, а он как плакал! Ты бы пошла за него, тебе бы господь простил все грехи». Поговела в церкви, молебен отстояла. Колы навстречу тот самый Шевченко. Белая папаха, красный вершок. Казак! «Федосья Кузьминична, можно тебя на минутку?» — «Нет, я иду с церквы. Если тебе нужно, так ты знаешь, где мой батько и мать, иди туда. Буду я с тобой ковылять та балакать, шоб все знали, шо ты меня сватать хочешь». И пошла. Бросила кавалера своего. Мама спрашивает: «Ну, Шевченко был?» — «Та видела в церкви. Вышла, а он меня зацепил, так я ему отповедь дала и не знаю, придет теперь или нет». Колы идет! «Отак и отак, мамаша, папаша, я встретил Федосью, а она от меня отвернулась». Я слушаю и говорю: «Не надо с церквы встречать та сватать! Ты ж веришь, и я верю». Посидели. Батько: «Шо ты с ума сошла — на пять душ!» — «Молчите, папа, я сама отгавкаюсь».— «На черта он тебе сдался, такой старый?» — «Пускай он скажет, шо у него есть». А у него одна корова, пара коней. Наутро я встала, мать: «Федосья! Тебя кличут. Не Шевченковы дети?» Я к

дверце подхожу: «Здравствуйте, детки! Чего пришли?» — «Мы по маму. Идемте до нас жить».— «Я не могу». «Мы наловили рыбы, папанька пожарил, сказали, шоб вы пришли».— «Не пойду».— «И мы без вас не пойдем». Они так кругом меня стоят, ручка за ручку, и хором: «Ой, мамочко! Ой, мамочко!» Хоть бы там камень и то лопнул бы. Думаю: «Оце шо такое? Ну шо это такое?» И все соседи смотрят. Так я тогда пошла, нарядилась — было во что нарядиться. Иду. «Куда?» — люди спрашивают. «Иду замуж».— «За кого?» — «За Шевченко».— «Малохольная. Куда ты идешь?» — «Пойду. Значит, так должно быть». Вот... И Федосья заплакала.— Плевали мне в глаза: куда тебя черт несет? Пойду и пойду, сказала себе. Он чистый, красивый мужчина,— ну, шо ж, шо на двадцать лет старше? Я его таким хозяином сделала! Двенадцать коней стало, пять коров, хату перерубили, линейку купили, возили на Сенной молоко. А он взял и умер. Вот. Ну, значит, так должно быть. Такая моя доля. И у тебя она есть. Ты веришь?

— А как же.

— Другая, глядь, маменька не скажет: «Возьми, сыночек, съешь каши». А я скажу... Уже и станица наша. Сейчас баню тебе сделаю.

Уложив почивать своих деток, она нагрела три ведра воды, затащила в сарай корыто, поставила на бочку семилинейную лампу.

— Ну, солдат Аким,— сказала она,— готова тебе турецкая баня. Й потру, и веничком похлестаю.

Так купают ребенка. Она намылила его, потерла ему спину, обливала водой и не переставая разговаривала.

— И нужны мне эти дармоеды! Как что — кричат: дойдем до Босфора, займем Дарданеллы! А мне в корыте хорошо, зачем Дарданеллы?

Чем же вас там кормили, щo у тебя одни косточки? Куда вы без бабы! — кто вам штаны поштопает, кто руку под голову подложит? Поворачивайся, я не вижу, не стесняйся. Ото ж я косточки твои пощупаю, покормлю, пускай на них, как на кабане, жирок отложится. Я люблю за мужиком ходить. Домой завтра приедешь — мать и не узнает: чистенький та румяный. Вот. Поворачивайся. А теперь вставай, я на тебя полью. Ото крючок Цитович не знает, какая Федосья!

— Дай поцелую.

— Просохнешь, я тебе на гарбе постелю, а сейчас не цепляй меня...

— Офицеры небось пристают?

— Я им неровня, а они мне не по нраву. Была моложе

урядник мне: «Поедем с тобой в Петербурх, поедем без венчания». И за руки. «Давай,— говорю,— я тебя до венчания поцелую. Подставляй губы». Обмакнула мочалку в корыто — та по губам, по губам ему. «Ах ты стерва! Так я тебе в глотку саблю воткну!» — «От стервы слышу».

— С корыта не хочется выбираться. И как ты меня заметила?

— Господь подсказал: иди на Красную.

— А на дачу Бурсачки ты ходишь?

— Не... Калерия ласковая со мной, а тетка Бурсака как собака: не видит, а гавкает.

— Ну, они скоро нагавкаются. Не все нам их караулить. Хватит нас вешать, мы уже сами веревки сучим.

— Словами улицы не мостят,— сказала Федосья.— Я тебя уже раз выручала? Ой, не попадайся... Иди...

— С корыта не хочется ступать.

Закутанный в холстину, Скиба пил чай из большой кружки, Федосья еще долго возилась в сарае.

На заре он ушел в Марьянскую. Никто из них не догадывался, как надолго они расстались и как перевернется вся жизнь через несколько месяцев...

ТАК ПРОХОДИТ СЛАВА ЗЕМНАЯ

Все!

Все кончено в один миг.

Утром генерал Бабыч проснулся, и мысль болью сдавила его: все кончено, власти в руках больше нет. Вчера был наказный атаман, царский слуга, сегодня уже никто, частное лицо. Михаил Павлович Бабыч, казак, муж, отец. В преданиях пишется: «Уже тебя, господина, слуги твои не знают». Но то стряслось с кем-то̀ в оны веки, а зачем пало проклятие на них? И кто бы это мог ожидать? — царь отрекся от престола. Слепыми глазами разглядел Бабыч на столе бланк (его бланк, начальника области) и по привычке заполнил строчкой: «Господи, даруй добрый день!» И перекрестился, крепко придавливая персты. Жена, маленькие дочки еще почивали; подойдя к иконе, он без прежней торопливости шептал слова, которым учила его мать Дарья Федотьевна:

— ...Избави всех с верою тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от скорбей, бед и напрасныя смерти; даруй нам дух сокрушения, смирения сердца, чистоту помышлений, исправления греховныя жиз-

ни и оставления прегрешений...— Пресвятая богородица, заступница казаков-запорожцев, отвечала ему вечным своим пречистым взглядом. Бабыч помолчал.— Да сохрани мирну страну нашу, да утверди державу благочестивейшего самодержавнейшего государя нашего, императора Ни...— И запнулся, скривил рот, заплакал.

Все кончено. Неужели все? Неужели брат царя Михаил Александрович не наследует трон? Или цесаревич Алексей?

— Господи, даруй добрые дни!

Еще четыре дня назад, 3 марта, Бабыч выезжал для встречи его высочества принца Ольденбургского; нынче все величества и высочества окликаются, как простые граждане. 2 марта на ночь читал он воспоминания о короновании Александра II и смеялся: на одной странице писалось, как московские кадеты, развлекаясь с маленькими великими князьями, подложили наследнику (тоже Николаю Александровичу, давно уж покойному) жгут и лупцевали его легонькими ударами. «Как ты смеешь меня бить? Я наследник русского престола!» — прикрикнул великий князь. «А ну-ка хорошенько его, этого наследника русского престола!» — послышался голос отца, государя. Все вскочили и вытянулись перед ним. И даже Бабыч в минуту чтения распрямил в судороге пальцы ног. Беспечные времена, вы уже далеко! В Успенском соборе венчались на царство русские цари, и последний — там же. При великом стечении народа произносил государь Символ веры, и перед державным супругом преклоняла колена царица. В уединении Александрийского дворца в Нескучном готовились они три дня к принятию св. таин постом и молитвой, слушали всенощную накануне в церкви Спаса Золотая Решетка. И гудел колокол Ивана Великого, и с Тайницкой башни стреляли пушки. В Андреевской зале государь садился на трон. На сколько лет? Оказалось, до 1917 года. С Красного крыльца ступал государь под гимн «Боже, царя храни». И уже заменили гимн пока на «Коль славен». Не бывать прошлому? «Наложи на главу его венец от камене чистого и даруй ему долготу дней, даждь в десницу его скипетр спасения...» — не бывать и сему? Не перед кем будет исполнять кантату Чайковского на слова А. Майкова? В парадной золотой карете станет ездить какой-нибудь хам Радзянко?

Сам царь сложил свой жгут. Сам! И перед кем? Перед горластой Государственной думой. «Да поможет господь бог России» — последние царские слова.

Бабыч плакал: Россия республика! Как это?! Как такое могло случиться?! Разве можно всему царству повалиться

в один день? Только что, в январе, феврале, все текло по-другому, по волею божиею укоренившемуся закону. «Казаки! — поздравлял он с Новым годом. — С новым счастьем, родные мои кубанцы и обыватели высочайше мне вверенной области...» Уже дума почтила вставанием павших в революционной борьбе. Где оно, великое царство? Какая, казалось, твердыня! Какие парады, обеды, сколько горячих молитв в церквах, какие манифестации патриотизма у Зимнего дворца и на площадях российских городов! Какая блестящая свита, гвардия, какие войска! Конца, казалось, нет этому царству и под его рукою содеянному порядку. Даже шнуры балдахина несли 16 генерал-адъютантов. «Благословен, грядый, во имя господне». Купечество Москвы к 300-летию дома Романовых в ознаменование посещения государем московской купеческой управы ассигновало 300 000 рублей на благотворительные цели. В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца и на Боярской площадке накрыли обед свыше чем на семьсот персон, и из внутренних покоев следовал к столу высочайший выход. Кто кричал «ура» на знаменитые царские слова: «Наша поездка по Волге и по древним русским городам доказали, что те единение и связь между царем и народом, которыя встарь отличали матушку Россию, нерушимо существуют и ныне»? Почему же они не подают голоса в защиту помазанника божьего? Не купцы ли то, не жаждавшие ли приглашения к обеду от высочайшего двора предали государя? Где духовенство? При кликах «ура» шествовали с народом через Красное крыльцо в Успенский собор, поклонялись святыням и принимали благословение от митрополита московского иконы св. Ермогена и в Чудове монастыре тоже кланялись святыням. Что же они?!

«Старый мир потерпит крах, — гадала как-то госпожа Тэб. — Наступит час для проявления героизма и для героев».

Героями, по Бабычу, могли стать в такой момент несколько генералов, конвойцы, гвардейские полки. Еще один переворот! Но назад.

Дочки пришли из Мариинского института и сказали, что бюст государя валяется на полу, а на портрете у царя проколоты глаза. Между нами всегда живут скрытые ненавистники. Они своего дождались. И это в женском Мариинском институте! Два года назад завороженно глядели девочки и дамы в глаза государя, на клочки разорвали его носовой платок, пели ему казачью песню. Ну кто же это поколол теперь ему светлые очи? Сторож Бабкин? Как к этому привыкать? Уже проклинают и отрекаются, матом кроют высо-

кородные имена, как крыли в 1905—1907 годах некоторые пьяные казаки, за что Бабыч гнал их в Сибирь на поселение или наказывал крепостью. Тогда можно было в защиту режима вызвать полк из Самурских казарм, а теперь? Сбылось — не единицы лают на власть, а тысячи и тысячи. Рады! Чему? Ведь рухнет само русское государство без царя. Они это понимают? Какой же он слабый, отрекся во вторую неделю Великого поста, оставил в самую бойню войны свой народ на развал, а старым, таким, как Бабыч, не дал и на пенсию выйти с почетом. Что теперь будет-то?

Последние атаманские распоряжения лежат на столе в стопке: запретить продавать печеный хлеб третьего сорта выше 8 копеек за фунт; три тысячи рублей штрафа или три месяца ареста за нарушение извозчичьей таксы; двенадцать тысяч рублей в год новому городскому голове Глобе-Михайленко; за спекуляцию сахаром арестовать на три дня миллионера Тарасова. Последние жалобы казаков. Последние его слова к депутации из станицы: «Во дни испытаний личность монарха священна». А монарх взял перо, подписал отречение. Как теперь защищать Отечество? Сказал бы как Петр Великий: «У меня есть палка, а я вам отец». Или как прадед его Николай Павлович: «Или я погибну сегодня, или завтра буду императором!» За кого поднимать чарку? 23 февраля, в день приезда царя в Ставку в Могилев, Бабыч, выслушав доклад о дебатах в городской думе (где больше всех чудил старый Толстопят), удалился в домашнюю половину дворца, достал из шкапа бутылку с вином, налил полный чайный стакан и вдруг невольно, с близким чувством, сказал тост: «Пью за здоровье вашего величества и за здоровье государыни! Да продлит господь вашу драгоценную жизнь». И уже висит, говорят, в приемной доктора Лейбовича царский портрет с надписью на лбу: «Дурак». Детям в глаза смотреть стыдно. Разве он не знал, что его слабости только и ждут? Босяцкая Покровка выползла на улицы с манифестацией: свобода! Не те ли там дерут горло, кто выносил ему, Бабычу, смертный приговор в списках? А какая его вина? Наказывал, ссылал, строжился? На то власть.

Три дня не верил, не передавал Бабыч в печать телеграммы о государственном перевороте, скрывал от помощников. Но известие пришло стороной, через телефонисток, и в 11 часов ночи явилась к нему депутация городской думы во главе с будущим комиссаром Временного кубанского правительства Бардижем[1]. Бабыч все сопротивлялся. Примет

[1] В 1918 году будет расстрелян с сыновьями и брошен в море.— *В. Л.*

власть царский брат — и еще кто кого! Он ждал также приказа от кого-нибудь (скорее от великого князя Николая Николаевича) о призвании на помощь армии. Но солдаты Самурских казарм вывесили красные флаги свободы; но приказа не было. Рухнуло! Рухнуло самодержавие в один час. Счастливчик покойный батько говорил в 1881 году, в час известия о покушении на Александра II: «Дал бы бог не дожить до того дня, когда народ будет избивать панов дрекольями и оглоблями». Не к этому ли дело идет? Уже арестованы министры, а на Дону — наказный атаман. Что ждет его?

«Смерть и разрушение! Да водрузится будущее!» — вот что всем обещают.

«Третий день весны,— думал он, поглядывая из окна на памятник Екатерине II.— Уже в степи бабак свистнул. Нехорошо, если на первый день великого поста заходит женщина. А как раз черт принес мадам Бурсак Елизавету. Нет чутья у бабьей породы. А у меня оно было? Привыкли жить так, не думали не гадали, э-эх... Маты Катерина, дала ты нам землю, чего ж стоишь с крестом ко дворцу спиной? Скажи хоть одно какое мудрое слово... Ты на них была мастерица... Не скажешь, ты свое отправила. Ставили мы памятник запорожцам в Тамани, а как гуляли за столами! Думали, конца не будет казачеству... Нема батька, нема дела...»

8 марта при поездке бывшего верховного главнокомандующего кавказских войск великого князя Николая Николаевича через Кубанскую область в Ставку Бабыч передал ему прошение об увольнении от службы, но великий князь считал, видно, не все потерянным и отказал. «Верный слуга Вашего Императорского высочества»,— подписался Бабыч, а кубанское войско уже в руках временщиков. Не от государя, не от великого князя принесли ему бумагу: «Начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанских казачьих войск генерала от инфантерии Бабыча уволить от службы, согласно прошению,— по расстроенному здоровью с мундиром и пенсиею...» Все кончено. Не надо будет ему вызывать на парады по Красной две роты Анапского резервного батальона, Екатеринодарский полк и конную кубанскую казачью батарею. Так проходит слава земная... Почетный старик более тридцати станиц, кавалер почти всех российских орденов, Бабыч должен был выселяться из дворца и искать кров. Только тот, кто держал в руках немалую власть, познает. до чего же трудно с ней расставаться под силою врагов. Привык думать, что твердыню не сло-

мишь. Он ради утешения, ради того, чтобы убедиться, что он был главным на Кубани, листал прошлогоднюю подшивку «Кубанских областных ведомостей» с собственными приказами на первой полосе. Вчера, вчера еще грозою стояло его имя! Вчера же укрепляли порядок каким-нибудь новым зовом к памяти предков: кто-то предложил награждать матерей воинов-георгиевцев орденом св. Ольги: «Со Святославом начинается наша национальная гордость». Начали подписку на памятник Ярославу Мудрому. Во исправление ошибки Петра Великого хотели перенести столицу на холмы Москвы. Неужели все сразу предали самодержавие: и льготные конвойцы? и станичные атаманы? и мытари черной сотни? И ему, кошевому батьке, никто не пришел выразить соболезнование. Но атаманскую булаву он временщикам не отдаст.

Он подходил к большому зеркалу, скорбно глядел в свои глаза, на чистенькие белые усы, на мундир. «29 января с. г. в Зимнем дворце Его Величеству Государю Императору имел честь представляться г. Начальник Кубанской области М. П. Бабыч...» Впервые видел он свои глаза в слезах и жалел свою старость. Что ж! — прошла его слава земная...

9 мая Бабыч пришел к Елизавете Александровне Бурсак. Она во флигеле пила за столом под зеленой лампой чай и сердито препиралась с племянником Дементием. Бабыч и прежде хаживал к ней поиграть в карты, послушать о Париже да поворчать на свою моложавую супругу. Именно ей, когда-то помыкавшей своим мужем, он доверял секреты своего сердца,— таковы странные повороты жизни. Бабыч даже прощал ей дружбу с доктором Лейбовичем, особой знаменитой, но подозрительной.

Елизавета Александровна была в черном платье, у племянника на шее малиновый галстук. Дементий нарочно злил тетушку.

— Не знаю,— сказала она, встречая Бабыча,— не знаю, Михаил Павлович, какую газету взять, чтобы узнать правду. Сколько народу совратили с девятьсот пятого года этими листками. Перепутали, где правда божия, где ложь непавистная...

— Господь, Елизавета Александровна, сказал: «По делам узнавать их». Подождем.

— Чьи мы теперь будем? Господи, господи...

— Ничего, надо привыкать.

Бурсак шлепнул карты на стол.

— Не надо было обманываться и говорить: «За нами стоит народ-богатырь», когда этот народ разут и раздет. Вся эта «безграничная преданность народа своим царям» — на бумаге. Завтра же царя забудут. Они в андреевских лентах шествовали с парада на парад, открывали «польский» и изволили «отбывать во внутренние покои». Сколько самоуверенности, самомнения! «Мы, Николай Второй...» Уж так отстать: можно ли это слышать? Нет, просто ничего не бывает. Заслужили.

— Государь чувствовал,— сказал Бабыч тихо; в другой раз он бы разделал этого остроносого племянничка, как тушку.— Во вчерашней газете со слов лейб-медика пишут, как он с семьей встречал Новый год. А мы и не знали. Играл в домино с дочерями, свечи на елке не зажгли. Медик поздравил: «С Новым счастьем!» И сам, говорит, почувствовал, что будто странно звучат его слова.

— Война проклятая! — сказала тетушка.

— Воевали и раньше,— поправил Бабыч.— Прозевали опасность крамолы. Плакали по усадьбам, по оранжереям, а оно нынче не о том плакать придется. Интеллигенция отдала свою собственную заботу на пользу иноземца. Взмостились на ходули западной цивилизации, свои коренные устои ослабляли год за годом. Пропала Россия!

— Что вы хотите, Михаил Павлович...— Елизавета Александровна родственно подвинулась к бывшему наказному атаману.— Уже в десятом году стало заметно, как что-то изменилось у нас. Такой, например, жизни, какая была еще в восьмидесятые годы, никогда, наверное, больше не будет. Даже балы не те. На балах стало больше народу разного. Допускались уже те, кто никогда не допускался. А разве можно было раньше подозревать горничную, что она что-то унесет у господ? Все упростилось, а сердечной простоты, что была, все меньше. Бывало, выйдет человек на улицу, со всех сторон кланяются, а потом? По Красной гуляют проститутки. Казак шел старый по Борзиковской, тяжело. «Доведи меня, деточка, до угла, я тебе на платье наберу и копеечку дам». Это надо было видеть!

— Батько мой Павел Денисович, если спрашивали, как поживаете, всегда отвечал: «В спокойствии духа и совести».

— А нынче Сенька выбрал шапку по себе-е...

— Уже «Чашку чая» обругали! — Бабыч усмехнулся.— «Чашка» им не такая.

— Все вырождается,— сказал Бурсак,— и цари, и знать. Сколько духовенство ни осеняло бы путь монарха и сколько раз по десять тысяч рублей ни кинь городам — этого мало:

надо накормить всех. Разодрали русское знамя себе на ливреи. Кровь лили.

Бабыч задвигался на стуле, словно чесал зад.

— Государь не подлежит обсуждению. Он не может сделать зла. Что, вся кровь, пролитая в России, пролита по высочайшему повелению?! Никогда!

Тетушка закивала:

— Рано, рано дали свободу русскому народу. Еще будут локти кусать, воображаю, какая грустная жизнь наступит лет через двадцать. И сквозь золото льются царские слезы. Намучаются и поймут, что при государе им жилось не так плохо. Государь родился в день многострадального Иова.

— Все вырождается,— повторил Бурсак.

— Уж несут заявления: «...так как я настрадался от действий кошмарного режима...» Делопроизводителю кричат: «Уходи как не соответствующий современному государственному строю!»

— Этот строй еще в люльке лежит,— сказала Елизавета Александровна.— Пусть они сначала юродивого Григория Босого из Екатеринодара вышлют.

— Кто это?

— Появился на днях на Сенном рынке «Христос». С «апостолами» и «богородицами». Бежал по Красной от городовых с криком: «Христоса ловят!» А эти грязные «богородицы» целуют у него ноги и вопят: «Спаситель наш! Спасителя нашего ведут на распятие!» Такая тоска, такая мука. Чем все это кончится? Вам пенсию дали?

— Две тысячи шестьсот пятьдесят пять рублей в год, сверх того, из эмеритальной кассы две тысячи сто сорок пять. На службе мне платили пять тысяч жалованья и пять тысяч столовых. Ну, нам хватит. Не в том дело. Сколько уж тут жить осталось? Восьмой десяток догрызаю. А дочки, даст бог, вырастут с матерью. Недвижимого имущества не нажил. Так проконопатил на службе с места на место, и земля отцовская к немцам перешла,— вы ж знаете, колония Гначбау под Нововеличковской, то наша была земля. И под Ахтанизовской. Отец получил наградной участок — тоже немцам перешел, арендовали на девяносто девять лет. И дом отцовский, где ночевал Александр Второй, снесли. Я, Елизавета Александровна, верный служака. Сегодня надень шапку в шесть вершков, завтра трех; сегодня черкеска черная, а завтра красная; сегодня сумы холщовые, а завтра ковровые. До сорока лет был на привязи. Раздайте

карты. Посидим, а завтра пойду на могилы. Попрощаюсь, да надо будет мотать из Екатеринодара.

— А куда ж ехать?

— В Кисловодск на дачу Соколовой, что в Ребровой балке. Подальше от греха.

— Рано, рано,— еще раз сказала Елизавета Александровна,— дали свободу. Настрадается русский народ.

Дементий Бурсак не выдержал:

— Может, тетя Лиза, разумней говорить об этом в прошедшем времени?

— Нема батька, нема дела,— ответил за тетушку Бабыч и подкинул ей пиковую шестерку.

Играли они в своей жизни последний раз.

10 марта передал он помощнику печати, бланки, допустил описывать казенное имущество, но почтальон Евлаш все еще носил письма на его имя. Казак, некогда гонявшийся за ним в Тамань с желанием заполучить племенного бычка, плакался, что в станице нет ни одной мукомольной мельницы, возят зерно за двадцать пять верст и ждут там по неделям, а потому нижайшая просьба: освободить от военной службы в действующей армии в 6-й батарее единственного хозяина мельницы такого-то. Палач слал ему требование уплатить 150 рублей, по 50 за каждого казненного им в марте 1914 года,— деньги якобы присвоил делопроизводитель канцелярии. Пусть теперь отвечает департамент полиции! Заведующий бараками для военнопленных умолял распорядиться о розыске блудной жены, попавшей под влияние «людей старого режима». Из тюрьмы просился домой под честное слово Г. на близящийся праздник св. пасхи. И к рождеству, и к пасхе, и к казачьему празднику Бабыч приказом атаманам отделов освобождал всех, кто отбыл треть наказания. «Посидите, голубчик, при новом режиме. При мне вы у стены с цирковым медведем баловались, вот теперь знайте». Вдобавок ко всему прискакал чистить грешников Лука Костогрыз. Быстро наглеют люди! Как у себя в хате, ходил Лука по комнате и хватался то и дело за кинжал на поясе.

— Ач! Наказачились. Я говори-ил, не послушали меня, я чу-уял, куда ветер камыш гнет. Видите, шо теперь.

— Что тебе от меня надо, Лука?

Костогрыз продолжил ту свою гневную речь, которую он начал в трамвае из Пашковской.

— Христос построил церкву на двенадцати камнях? Та-

ак. В старом режиме я правды никакой не добился, и новое правительство осталось на мою просьбу глухим. Нигде не написано, шоб церква делала ограбление. Куда мне кричать? Внуки против немцев и турок кровь проливают, а честным судом свою домашность не возьму. Тогда скажите, бога ради, чего ж мне думать? С коленопреклонением просил — отдайте мое имущество.

— Кого просил?

— Наше кубанское правительство.

— Жди, пока утихнет, и власть установится как следует.

— Жди.

— А что такое?

Костогрыз сел, нацелил люльку на Бабыча.

— В тысяча восемьсот шестьдесят четвертом году мой дед построил на церковной площади дом с лавкой, крытой железом. После его смерти поп Геласий самохрапно завладел тем домом, поставил в шестнадцатом году туда вдовствующую попадью, якобы просвирницей. Поп-черносотенец до сего дня служит и молится за царя Николая. Вчера со слезами говорил в церкви: «Нужно молиться за своего царя».

— А ты кому служил? — печально спросил Бабыч.

— Служил, а теперь его уже нет. Настал праздник свободы. Народ изливает свою обиду.

— Где твоя совесть, Лука?

Костогрыз отодвинулся назад, перепугался по старинке атамана, потом сморгнул гнев, устыдил себя мыслью: «Атаман кошевой несчастный как с креста снят». И глупо улыбнулся.

— На Сенном рынке совесть забыл, Лука? Пятьдесят лет назад у вас лавку отобрали, ты молчал, а теперь на старый режим жалуешься? Так ты к ним и ступай. Ведь свобода! Нема совести. У тебя от царей награды, ты им в ноги кланялся и ходил за ними как нянька. Отрекся государь-батюшка, и ты ему тоже нож в спину?

— И ходил за ним, и ходил, Михайло Павлович, да шо хорошего от них казакам было? Мало казак той беды принял? Что она, Русь! Бывало, какой черт ни возьмется оттуда, требует казачью лошадь и казачью охрану. Великими князьями не ты ли, батько, казаков отрывал от полка, шоб их, чертей, на охоту везли в Псебай? Ото москали покуражились над нами. Если у русского крестьянина один сын, его в армию не брали. А казаков всех поголовно. Даже слепые на один глаз служили. Вон в Первом Ейском полку казак станицы Копанской слепой на один глаз был. Би-

сову мать! Некогда и хлеб было посеять, занимались охраной матушки-России. Хлеб при недородах покупали в Азове. Я увидел первую сеялку в семьдесят девятом году.

— Интересы казаков всегда были близки царскому сердцу.

— Это так под рюмку балакали по праздникам. А мы помним. Четыре года отбудешь на службе, а лошадь продать не смей, тебя ще во вторую очередь поставят, и не запряги; как найдут след хомута на шее — бракуют. Охо-хо-о. Всю зиму в строевых занятиях, а май в лагерях. На границе в холодное время в буйволятниках жили.

— Чего ты пришел ко мне?

— Та я пришел проститься с тобой,— вдруг смирился Костогрыз.— Старый я, и ты старый. Нам уже до бога идти. Нехай без нас поживут. Без нас в электробиографе «Тайны гарема» смотрят. Нехай.

Бабыч сидел как каменный; ничто не трогало его. Ему все были противны. Все предатели, все нечисть. Скорей бы закрыл дверь Костогрыз. А тот отпустил ручку двери и вернулся на середину комнаты.

— Я ж не с тем пришел к тебе, Михайло Павлович... Не, не так. Я б не пришел до тебя, если бы сон не увидел. Проснулся, и ото так же, как я тебе приходил рассказывать сон про могилу Бурсака, так же у меня засосало: кому рассказать? Почесал за ухом: чи дома он, батько, чи уже арестован и без оружия? А я, как луку с салом поем (ты знаешь по охоте), меня за веревку дергает! Пойду! Давай, Одарушка, черкеску с медалями!

— Что ж за сон такой?

— Разреши мне присесть.

— Так тогда давай уж я скажу, чтоб нам стол накрыли. Оно, может, правда наш век кончился.

— Та чего я буду вас объедать теперь! Я сытый.

— Где готовится обед для двоих, там и третьему можно не быть голодным. Или Кубань нас не кормит? Хоть ты уже и отпил чай, но хоть чашечку и со мной выкушай, а то мне совестно одному.

— Ну, пожалуй, уж выпью.

Бабыч позвал супругу; она приготовила закуску.. На столе появилась квашеная капуста, соленые огурцы.

— Ач! — рассмеялся Костогрыз.— Вспомнилось, как в восемьдесят восьмом году, колы я после крушения царского поезда вернулся на лечение, трубач Шкуропатский угощал. Батько того, шо на Борзиковской сейчас. Понаставил, на-

лил, а сам взял в руки скрипку и туда-сюда ходил, играл со мной и разговаривал.

— Сон...

— Сон! Снится мне под тот день четвертого марта. Будто все то давно, аж при первых атаманах. Поехали наши казаки Вышестеблиевского куреня за солью в Крым. И я с ними. Уже синичка запела: «Бросай сани, бери воз». И не день и не два идем после переправы в Тамани. Бог миловал: никакой оказии. Допхались кое-как, натягали на возы чувалы с солью, помолились на заход солнца и — назад. Сплю, вижу сон и знаю, шо сон, а не встаю. Татар миновали, въезжаем в православное село в косарский полдень,— как раз Великая пятница была. За селом стали табором. Перекрестили место, выпрягли своих воликов. Пришла пора кулеш варить. Тот кизяки собирает, тот перекати-поле, а тот таганки ставит. А я взял будто баклагу на плечи, набил роменским табаком люльку, потянул в село по воду. Ач! навстречу люди. Я шапку снял, поздоровался: «А то вам, добрые люди, нечего делать, шо вы по улице шляетесь?» — «Мы люди крещеные,— они мне,— были в церкви, сегодня Великая пятница. Сегодня бог умер». А я будто: «Правда? А где он лежит?» — «От дурень так дурень! Иди в церкву и увидишь». Эге! Пойду ж. Пришел, поставил баклагу под церковью, вынял с пояса кисет с табаком, воткнул туда люльку, положил на баклагу, выкашлялся, обтерся полою, шапку снял — и ее на баклагу. Вхожу — колы там мертвый человек лежит. Я как об пол ударился!

— Та опять брешешь,— сказал Бабыч недовольно.

— Истинно, батько. Лежит мертвый бог. Упал я на колени и стал креститься. А из церквы иду, кисет с люлькой запхал в пазуху, забыл и курить. Шапку аж на очи надвинул. Набрал воды, иду и думаю: шо мы теперь на свете без бога будем делать? Старые люди говорили: без бога нет дороги. Без него нас москаль заездит. В таборе сел у воза, подпер голову и молчу. «Шо ты там ходил,— спрашивают,— шо видел и слышал?» — «Бог умер,— говорю будто.— Лежит посреди церквы в селе». Они повставали, поснимали шапки: «На шо ж он нас осиротил? Москали будут нас обижать, и некому за нас заступиться. Дожились до краю!» И стали кричать, кого выбрать заместо покойного бога. Толстопят старик поддувает под каганком кизяки та молвит: «Нехай будет богородица». А я и говорю: «Не-е. Хоть она и мати божия, а она жинка, ей нельзя в алтарь входить».— «Колы богородица не подходит,— вскричал трубач Шкуропатский, несучи до таганка оберемок перекати-поля,— так нехай бу

дет боговать Никола».— «Сгодился бы,— отвечаю,— ну одно горе: он дуже с москалями познался».— «Так на кого ж кинем?» — мой внук Дионис кричит. «Та чего тут думать! — это ты, батько, обозвался, громко, как звонница на площади, подал голос.— Нехай будет Георгий! У него своя коняка, и шлях насыпет и уровняет. Оце так! На что змей крылатый был лют, так он и тому попал копьем в глаз и пришпилил до самой земли. Нехай будет Георгий!» — «Оце так! — и я закричал.— Оце правда». И проснулся.

Бабыч молчал. Жена принесла им чай. Дымок вился над стаканами. Два казака сидели словно в полном одиночестве.

— И знаешь шо, батько? Знаешь, какой то сон? Когда я был маленький, рассказывали старые черноморцы про Сечь. И я забыл на шестьдесят лет целых. И вот оно!

— Они сложили, когда их Екатерина выгнала из Сечи.

— Ясное дело — тогда. Чую, придется переселяться казачеству опять. Потеряем землю черноморскую. То моя душа пророчит.

— Нам с тобой уже мало осталось,— сказал Бабыч.— Переселяться некуда...

Ночами Бабыч не спал, думал о том, где доживать век. Дождаться окончания войны, купить плановое место в родной станице Нововеличковской и сиживать сычом на кургане перед заходом солнца. А пока с глаз долой!

— Может, в Эривань поедем? — спросил он супругу Софию, которую там и засватал. Это был его второй брак, взял моложе себя на целых двадцать пять лет. О чем ни спроси, никогда не знаешь, как она ответит.

— Ради бога! — сказала жена из столовой. Но как это понимать?

— Что, Сонюшка?

— Поедем, пока не арестовали, в Кисловодск!

— Меня не за что арестовывать. Пенсию виновным не назначают.

— Повыпустят босоту из тюрем — найдут твою вину.

Бабыч отошел к окну, задумался. От памятника Екатерине хромал к двору Авксентий Толстопят. Куда он шел? Бабыч раскрыл окно, Толстопят увидел его и остановился. С 1905 года они дулись друг на друга и даже в Тамани на открытии памятника запорожцам не покорились в праздничном братстве.

— Иди, иди! — крикнул Бабыч и позвал рукой. О смута, она разодрала отношения старых товарищей.

В том 1905 году революции Авксентий Толстопят командовал полком. Бабыч был помощником наказного атамана. В ноябре за его подписью прислали батальону указание выступить из станицы Уманской в направлении бунтующего Новороссийска. Станица провожала казаков угощением; старики, матери, жены ехали за ними на подводах до станции Кисляковской, пели, плакали, кричали; казаки стреляли в воздух. Все были пьяные. «Нам царь-батюшка,— кричали,— в табельные дни отпускает водку, а потому мы пьем и других угощаем. Нас везут охранять купцов,— где такой приказ? Две службы нести нельзя!» Семь дней бездействовали казаки на запасных путях в Екатеринодаре в вагонах-теплушках. Участились массовые и самовольные отлучки по харчевням и грязным домам с девицами. Сторублевое пособие нельзя было отправить семьям из-за забастовки почты — оно пошло на веселье. В Новороссийске казаки вдруг отказались грузиться на пароход «Великая княгиня Ксения»: потопят!

— Вас мобилизовали по высочайшему повелению!

— Покажите нам высочайшее повеление. Государь ничего не знает. Нас собрали для охраны купцов, на их средства и содержат. Не поедем в Батум!

Ночью прибыл генерал-майор Бабыч, застал Толстопята в вагоне в одном нижнем белье.

— Они еще в станице решили не идти на погром,— сказал Толстопят генералу.

— А ты где был? Привел оборванцев.

— Я тоже не хочу стрелять в толпу. Стоит, дескать, убить двух-трех евреев, и беспорядки в городе прекратятся. А я так не считаю.

— Тогда подавай рапорт об отставке! — приказал Бабыч и пошел уговаривать Третью сотню.

Речь его была гневной:

— Вы позорите свое родное Кубанское войско. Не только войско, но и станицу и свою семью. Что скажут старые казаки, если встретят на улице ваших детей? «Оце сынок позорного батька». Вы с этими вопросами не считаетесь? А оно будет, а может, уже есть... Вы кого послушали? Бунтовщиков, агитаторов? Они вам посулят много, а что дадут, спрашиваю вас? Кроме позора — ничего. Они выкинут вас с честной и святой земли, что добыта вашими прадедами, дедами и батьками. Зачем? Чтобы самим стать хозяевами на вашем месте. А вы их слушаете. И вы возьмете ком грязи и бросите в чистое солнце? Вы замараете войско. Надо помнить, что казак без доброй вашей славы и чести,

казак на печи и в кожухе с клюкою не казак. Деды ваши были еще темнее, но лихая слава сопутствовала им до конца. Призываю вас на борьбу с ворогом государства!

Третья сотня послушалась Бабыча, погрузилась. Уже был поднят флаг и готовились снять сходни, как вдруг с парохода сошла вся команда. Другие казаки предупредили ее, что перестреляют всех, если пароход тронется с места. 17-й пластунский батальон вернули назад в станицу Уманскую.

«Помните одно,— советовал Толстопят нижним чинам,— будет следствие и суд. Не подводите невиновных товарищей. На меня же вам трудно будет свалить вину, так как я поступал по закону. Я мог быть преступником, но подлецом не был».

Бабыч ему этого простить не мог.

— Читал?

Бабыч сперва не понял, о чем спрашивает Толстопят. Он стоял перед дворцом, задрав голову.

— Читал, шо про тебя пишут?

Толстопят точно флажком водил газетой по воздуху. Постоял без всякого сочувствия и пошел опять к памятнику.

В «Кубанском курьере» публиковали интервью с комиссаром Временного правительства Бариджем.

«Правда ли, что высшая администрация области старалась спрятать под сукно телеграммы о государственном перевороте?»

«Бабыч и др. сделали попытку замолчать. В городе начались волнения. Тогда под моим давлением Бабыч разрешил напечатать в газетах телеграммы. Привычный к бесконтрольной власти, Бабыч не хотел уступать своего места. Тогда население потребовало сместить атамана, а иные требовали его ареста...»

Бывшая прислуга дворца уже выносила в сад красную и мягкую мебель, кровати с сетками, плетеные и венские стулья; супруга упаковывала портреты, образа и иконки. Жалко было мраморного столика, за которым играли в карты с наместником графом Воронцовым-Дашковым, но столик был казенный. Ничего не взяли чужого. Родной сестре Бабыч дарил венецианское зеркало...

— Подушечку, Соня, под ноги не забудь.. Шашку золотую как повезем? Шашку батькову я ж не оставлю им! За храбрость дана «орлу сизокрылому», а кто же теперь будет разбираться, чья то шашка и как досталась.

Перебрали письма: пустяковые рвали и бросали в печку, а письмо казаков с турецкого фронта супруга вложила в чистый конверт на память о том, чем не дорожишь, когда

счастлив. Так быстро и далеко улетел 1915 год! «Дорогая наша мати,— писали ей,— мы, казаки, твои дети, шлем привет тебе и родной Кубани. Ой, спасибо за заботу, прислала ты нам гостинцы — белые штаны и сорочки, с табаком кисеты, хорошее мыло и разные конфеты. Шлем издалека низенький поклон за твои гостинцы. Не гневайся, мамо, шо мало сказали, бо уже казаки наши коней поседлали. Кучка пушкарей Кубанской казачьей батареи».

13 марта Бабыч посылал за Терешкой и ездил на кладбище поклониться родителям. Так у него было заведено: перед дальней дорогой и по возвращении он навещал семейные могилы. В еще голом кладбищенском лесу постоял теперь у мраморных плит, вспоминая самое дорогое из своей счастливой жизни под кровом отца-матери. Лучший кусочек клала ему матушка на тарелку; а батюшка воспитывал казачонка лихим. Золотую, с бриллиантами, табакерку (подарок отцу от Александра III) он уже носил с собою в правом кармане Коллекцию старинного оружия супруга сложила в сундук. Что ж, отец повоевал на славу — племена натухайцев, шапсугов и абадзехов произносили его имя со страхом. Три года в походах, в двадцать два года получил орден св. Георгия и увенчал свои подвиги орденом Белого орла. Скакал казак от Темрюка, Анапы, Геленджика и Гагр до Силистрии в Болгарии. В 1846 году, когда ему, Мише, было два годика, отец начальствовал в крепости Фанагорийской, а в 12 лет он молился за него по наущению матушки — чтоб вернулся живой из битвы с горцами, потом англо-французами на Таманской горе, на косе Чушке и в станице Ахтанизовской. Спи, батько... Он попрощался с тревогой, и когда пошел, то несколько раз оглянулся с чувством, будто мать и отец следили за ним.

— Повезешь в Кавказскую? — спросил Терешку.— Там на поезд.

— Были бы вы начальником области, опять бы заработал семь суток аресту — не повез. А теперь повезу.

— Когда я тебя арестовывал?

— Послали за мной казака на биржу, а я отказался. Но я не досидел, вы мне три дня скостили, пасха настала. А чего бы вам не остаться в Екатеринодаре? Вон панычи хвалились у нас как в Париже!

— Да, у вас теперь как в Париже — свобода...

Как ни согнули его дни переворота, а в осанке, в важной речи чувствовалась гордость властного человека. Стояла ласковая весенняя погода. Галдели лавочники. Птицы кружили над Александро-Невским собором. Бабыч во спасение свое

скоро перекрестился и потом смотрел только вперед. На пожарной каланче краснел флаг. В «Чашке чая» было пусто. Какие обеды устраивали, какие речи текли, сколько воспоминаний! Объехав вокруг памятника Екатерине II, взглянув направо на деревца над могилами старых атаманов, Бабыч встал у дворца и расплатился с Терешкой.

— Завтра подъезжай с утра. Да скажи Евстафию Сухореброву, пускай один экипаж еще пришлет. На дочек. С крытым верхом.

— Хо-о! — крикнул на лошадей Терешка.

У городского сада в фаэтон сел Попсуйшапка.

— Как дела?

— Дела будут идти,— сказал Попсуйшапка,— если не спать. На ярмарку готовлюсь. Чего Бабыч говорил? Эх, я думал, опять он закажет папаху из тибетского козла. Кончилось царство. Руби столбы, заборы сами повалятся. Я маленьким был, когда коронование случилось. У нас в деревне Новая Водолага сколько было у торговцев возле лавок керосиновых бочек (и смола была там, деготь), так все выкатили на площадь и зажигали. А мы, мальчишки: «Пошли на пожар!» Раздавали на коронацию фрукты, чашечки с вензелями... Ну, оно, может к лучшему?

— А чего нам их жалеть? Они нас кормят?

14 марта Бабыч выезжал за город в степь, по Ставропольскому шляху. Прощай, Екатеринодар.

«Прощаюсь с тобой, батько, не без душевной грусти,— сказал в тот раз Лука Костогрыз,— но на все есть воля божия». Проезжая пашковские сады, Бабыч позавидовал казакам, которым не надо менять жилищ и которые и при новом правительстве, если не обберут их в правах, будут кричать во все глотки: «Готовы ринуться по первому зову!» За садами скрывалась внизу Кубань; эти места были опасны еще во времена его молодости, и где-то здесь мать Луки Костогрыза захватили черкесы.

Кисловодск не Кагызман на границе Карской области, у реки Аракс, но и не земля родная. Опять Кавказ, Азия! Там на службе казаки дружно поругивали. Русь. Три тысячи футов над уровнем моря, в 15 верстах город Александрополь, в нем три тысячи турок, армян, татар. Бесконечные строевые занятия, карты, танцы в офицерском собрании по праздникам. Лошади бежали под горку, словно спускали его на воспоминания в эту самую Азию. Сколько там казаков сложило головы! Не раз, награждая белым крестом, произносил Бабыч речи: «Прежде чем получить белый крест, каждый из вас ждал себе другого креста,— и не на

родной стороне, а на далекой чужбине. Вот почему поднимается рука ломать шапку перед вами, и первее всего хочется вспомнить ваших товарищей, сто оставили свои кости на чужой стороне». За каким крестом теперь едет он сам? Ехал, и обиды на Русь все разрастались. В 1894 году на перевалах Сенак-Баш и Караван-Сарая завязалась перестрелка с курдами, и на фланге был ранен русский прапорщик; казак станицы Новоминской достал его, лежавшего впереди стрелковой цепи, взвалил на себя и под пулями вынес в укрытие. Русский прапорщик получил золотую медаль 1-й степени за храбрость, казак — ничего.

«Проморгала Русь все! — злился он теперь, потому что кара пала не просто на царскую власть, а и на ее слуг.— Бисовы души! Не парады, не памятники и публичные молитвы были нужны, а...— Он не мог подсказать что.— Говорили же: придет время, и людские слезы камнем упадут на их головы. «Рады стараться, ваше императорское величество!» А кому ж теперь кричать? Выборным? Дулю. Генералы предали Россию. Скрутили государя. Дулю вам, дулю! Все равно России нужен царь, одна рука, а не десять. Дулю вам!»

Когда сели в поезд на станции Кавказская, Бабыч сразу же лег на устроенную женой постель и заснул. Теперь едва ли прицепится кто-нибудь с отмщением. Снилось ему, будто совал ему Лука Костогрыз газету «Новое время» и дергал за руку: «Вставай! Государь ждет расписаться в особой книге в память о посещении твоей хаты». На пустой странице чернело: «ТОСТЫ БЫЛИ ПОКРЫТЫ ВОСТОРЖЕННЫМИ КЛИКАМИ «УРА!».

Проснулся — на станции красные флаги. Что будет-то?

«Храни нас, господи,— шептали ему уста покойной матушки Дарьи,— пресвятой ангел мой господь, храни меня Во все минуты храни меня, во все часы...»

СВОЯ ВЛАСТЬ

И упала прошлая жизнь!

И заговорили те, кто молчал, и примолкли всегда говорившие.

Помещичьей России не вернуться.

«Плакала Временная власть! — разговаривал сам с собой Аким Скиба.— Наляскались. У них только и хватило ума, чтоб в газетах разорвать наряды Романовых. А у народа животы пухли и потолки валились. Сколько в пользу голодаю-

щих ни устраивай Грандиозных вечеров, не накормишь; греко-итальянская капелла с этого вечера все тарелки с балыком и утащит. Ни в ком здоровья настоящего не было. Кончилось! В один год столько событий. Еду, а не верится, что Екатеринодар уже другой. Все господа еще на месте, а уже не господа. И что ни газета — аршинными буквами наша СВОБОДА смотрит. Назад ходу не будет... Зимний дворец наш...»

— Терентий! Назад ходу не будет, слышишь?

— А я назад не поворачиваю, я ж по Длинной взялся везти,— отвечал свое Терешка.— Теперь бегунам с фронта на надо скрываться. И что ж это будет?

«Не надо мне скрываться... Воткнул раньше других винтовку в землю, а позовут завтра большевики — возьму... Вези в длинную жизнь...— радостно благословлял Аким.— Заслужили. Наши товарищи хорошо поработали. Где ж тот помощник полицмейстера, что убил моих братьев? И где Бабыч в папахе и комиссар Временного правительства Бардиж? Назад ходу не будет. Ни-ко-гда. Власть народная. До скончания века...»

На магазине братьев Богарсуковых окна закрывали красные дорожки лозунгов.

— Надолго? — крикнул Терешка, отваливая голову вбок.

— До скончания века,— как отрезал Аким.

— А жена пристава Цитовича вчера заливалась под воротами: «Погодите шапки кидать, мы перебьем эту босоту...» После пятого года говорили: «Придет время, будем панов люшнями бить». Так, значит, пришло оно.

Все крючки-полицейские куда-то разбежались. На пожарной каланче резво трепыхался красный флаг. Не будет у них больше царства над бедными. Вот-вот появятся из далеких тюрем екатеринодарские подпольщики. Эхом звучали в ушах опасные речи смельчаков на фронте: «Зачем вам внешняя война? Зачем воевать с турками? Это наши братья, у нас враги внутри, они нас триста лет мучили». Но впереди еще, видно, будут сражения. Вчера с вокзала вез Терешка двух солдат Кавказского фронта; рассказывали кое-что. Солдаты были как раз из того батальона, где воевал Аким. Когда в Петрограде свалилось Временное правительство, все титулы в армии умерли сразу. Уборные были закиданы погонами. Военное богатство, оружейные арсеналы, склады с продуктами, обозы передали чужим войскам, солдаты же погрузились в пустые эшелоны и поехали в Тифлис. На складах и платформах Сарыкамыша ворохами лежали товары и обмундирование, горы сапог, и их всякий тянул себе

на ноги. Брали сапоги, палатки, шинели, валенки, и никто не спрашивал, зачем берут. На станциях, когда отходил поезд, солдат было полно не только на крышах вагонов, но и вокруг дымовой трубы паровоза.

В Армавире на вокзале все окна были выбиты, и в каж дом выставлены пулеметы.

Борьба еще впереди.

На родине Акима, в станице Марьянской, казаки подписали на сборе приговор: «...в присутствии станичного атамана имели суждение относительно тяжелого положения нашего родного края и о том, защищать ли его или отдаться всецело в руки большевиков... Постановили — сходиться с большевиками против панов...»

С КАКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ?

Что бы там ни гремело вокруг, личная жизнь не убавляет своих ударов, хлопот, огорчений. 28 октября по старому стилю, через два дня после переворота и крушения временной республиканской власти, Василий Попсуйшапка повез старенькую свою матушку в Новую Водолагу, на Украину. Его как будто ничего не касалось,— тогда такие, как Попсуйшапка, не понимали сразу, куда с этого дня вступает Россия. Засыпал Попсуйшапка с мыслью о том, как пристроить в родной деревне матушку и хорошо ли ей будет там. Там жила дочь, жила не в ладах с мужем, и Василий переживал: нужна ли она им? «Отвези меня,— просила мать,— отвези умирать». Он ее долго упрашивал, обещал ей снять комнату у швейцара городской управы, раз уже она чувствует себя у снохи чужою. Но она ни в какую! Она была характером мягкая, гостеприимная, очень верующая: перед пасхой даже воды не пила. Ему было стыдно перед товарищами-шапочниками. Так храбро, по многу раз, рассказывал он им о ворожбе цыганки и до женитьбы ни на минуту не сомневался, что мать будет жить с ним до скончания дней своих. А вышло? Сдал он ее на руки сестре, положил на расходы и питание запас денег, наказал и дальним родственникам присматривать за матерью его и вовремя извещать о неблагополучии. 3 ноября уехал назад прикупив по пути в Керчи связку смушек. Пусть господа речи произносят, хорошему хозяину слушать их некогда.

В Екатеринодаре уже целиком перетряслась обстановка, но Василий все жил своими думами и домашними заботами. Уладится!

Но совсем схорониться от событий нельзя было.

Именно в воскресенье, в декабре 1917 года, когда затянула его жена в Пашковскую к Костогрызу, чуть не убил его Дионис, сорвавшийся с развалившегося фронта на Кубань. В этот день на далекой стороне умерла его мать, и никто Василию о том не сообщил. Кто знает, как она померла. Они с братом Моисеем не могли себе простить, что послушались ее и отвезли в Новую Водолагу.

В то воскресенье пошел он на Старый базар купить мяса на борщ. «Сон хороший был,— вспомнил Василий утром.— Ловил рыбу и поймал судака вот такого. Это заказчик будет хороший».

Рыбный магазин тоже не пропустил. Гриша Хаджиев на месте.

— Что у тебя, Гриша? Только севрюга, осетр, а лососины нету?

— Ну как! Пожалуйста.

Пока все есть. Жить можно.

Знакомых на базаре — не просунешься! Идет навстречу богач Обухов — как не поклониться? Приказчик из магазина братьев Тарасовых (вишневый компот — его слабость) — ну тоже здравствуй, тоже доложи ему про дела. Казак станицы Северской привез сало — ну, как там, вышла замуж Маруся, научилась чистить селедку? О ярмарке в Каневской поговорили, другому казаку совет дал: «Когда закончится ярмарка, не вези домой товар. Купи сливочного масла, его любая кондитерская возьмет. Малосольное по восемь рублей, свежее десять пуд, в кадушках». Вон жестянщик, согнул спину в горе, жену похоронил. «Поздно теперь плакать,— думал Василий,— поздно. Когда она, бывало, на тын выйдет та в подоле навоз тащит, вот когда надо было жалеть». Пожаловался ему утильщик Лапенко: грыжа замучила; по этому поводу Василий пошутил: нету отца Иоанна Кронштадтского, а то б к нему поехать — «поболтать», как те студенты Старик хиромант сам взял его за руку, пощупал кисть: «Будешь вдовцом. А проживешь долго. Хотите, я срисую вашу руку и через два дня дам ответ?» Попсуйшапка отвернулся: «Через два дня я и сам узнаю». Старый черкес, адъютант бывшего наказного атамана, нес бочонок соленых огурцов. Попсуйшапка сказал ему, что из Китая прислали ему шкурку тибетского козла, а шить папаху некому: старая власть в Кисловодске проживает. И добавил: «Заседало с чаем кубанское Временное правительство, хватились, а кто-то семь серебряных ложек украл в бывшем атаманском дворце. Черносотенцы шепчутся: погоди, все вернется как в девять-

сот пятом году». Теснота, все друг друга знают. Извозчик Гойда, каждый день подававший к крыльцу сына Асмолова (взял 16 000 приданого с торговца станицы Кущевской), похлопал Василия по плечу, пошел дальше. На базаре всяк гордится своим благополучием. Василий тоже такой: если муха пролетит, он знает — зачем. «Над нами, конечно, есть, но и под нами людей сколько!» Манечка вот, ну и до того она кроткая, некрасивая, так хорошо работала в общине сестер милосердия, что пила чай из чашечки атаманши. Батько, наверно, послал на базар. В углу за прилавком торговала от монастыря Швыдкая. Увидела и отвернулась: ниточница (по дворам нитки, чулки носила) — с ней брат Моисей баловался в 1903 году. Ее пригласили на именины к писарю мещанской управы, брат купил двадцать стеариновых свечек, налепил на ограду во дворе и зажег. Два гармониста Бобылевы старались вовсю. Брат протанцевал с ней два раза, потом взял ключи от лодки и повлек ее кататься на Карасун. Ей теперь стыдно.

И откуда ни возьмись — дед Лука Костогрыз с горшком масла в руке.

— Дионис приехал! Бери жинку — и к нам.

Так всегда перед несчастьем: в трамвае животы надорвали над шутками Костогрыза. Внучка стыдилась:

— Та спрячьте вы горшок!

— Ач! Не краденое. Це кума Мокрина попросила продать горшок масла, но шоб кум Василь не знал. Не хотел было брать. Чуяла душа беду, да пожалел Мокрину. Давали за масло хорошо, но я просил дороже. Уж и солнце под обед, а все поджидаю купца. А может, такая рука у меня скверная. Пора уже и до хаты ехать, думаю. Пойду куплю на юбку Одарушке, а себе на бешмет, а тогда завезу масло на Красную в булочную Гезе. Пошел я ситцу покупать, зашел в лавку, а горшок у дверей поставил — неудобно с горшком к приказчику. Ко мне бежит: «Ваня, подай господину уряднику стул!» Купил, повернулся, а горшка нету. Убьет меня кума Мокрина! А его приказчик на стол поставил. Слава богу, а то б Мокрина убила. Та шо! Она меня и вас свалит. И не продал масло, пожадничал.

В хате Костогрыза выпили, закусили и мало-помалу начали галдеть о текущих событиях. И черт дернул Попсуй-шапку возражать пьяному Дионису. Тот палил вина и, чокаясь о кресты св. Георгия и медали на своей груди, скомандовал:

— Идем рубать босяков!

— А я не пойду...— тихонечко, вежливо сказал Попсуй-

шапка и отставил стакан. Сказалась тут еще и привычка гордиться своей самостоятельностью, привычка мастера, учившегося «за три копейки у дьякона».

— Та ты шо? — Дионис встал и долго рассматривал Попсуйшапку, как червяка.— Против? Не пойдешь стрелять большевиков?

— С какого благополучия?

— Нужно эту гадость уничтожить.

— Они же не турки в красных фесках, они такие же люди, как мы. Идти против своих?

— Ты большевик!

— Какой я большевик? У тебя язык с душой не сговорился. Если б я шел с ними с оружьем в руках, тогда другое дело. Но я не буду стрелять. С какого благополучия? И тебе не советую.

— Я с фронта и приехал защищать казачество. Я теперь сотник и кавалер. Вот моя шашка, и твоя голова долой. Я три года рубил этой шашкой врагов и буду рубить всех, кто против казаков. Кайся передо мною, революционер. Я человек скаженный, так голова и слетит. Мы казаки, и нас на басни не подманишь.

Попсуйшапка вытянулся к нему, желая победить Диониса умным словом.

— Дионис Тарасович... если мы возьмем ружья и пойдем этих большевиков стрелять, то что же между нами будет? Оттуда, я не уверен, что мой брат двоюродный не идет, а ты не уверен, что твоей жинки Матрены не идут братья сюда на Кубань. Чего ж мы с тобою будем лезть? Мое дело шапки шить. Я не политический.

— Ты и на действительной не был. И батько, наверно, твой не служил.

— Я без батька вырос.

— А без царя жить нельзя! — закричал Дионис.— Нема нашего заступника. Он же казачий старшина. Казачество держится на царской милости. И как он, бедняжка, поддался Алексееву? Нас там не было. Не дали бы ни за что! Теперь жди горя да беды.

— Э, нет,— повел пальцем Попсуйшапка.— Как ты любишь свою жинку больше ночью, так я люблю правду светлым днем. Ты мне балакай, что хочешь, а я стрелять в своих не пойду. Я вашего царя не знал.

— Ты ему кум!

— Ну ясно.— Попсуйшапка ухмыльнулся.— Я только что ему папаху не шил, а так он у меня каждое воскресенье в хате гулял. Кум. Конечно.

— Не конечно, а кум. Ты мою дочь крестил?

— А как же? Тебе я кум.

— А царь крестил моего сына. Кто ж вы с ним?

Попсуйшапка вытаращил глаза, потом подумал и засмеялся.

— Чего ж тогда он меня, если мы кумовья, к себе ни разу не позвал? Кум. Пускай кум. Его нету, он под арестом в Тобольске, а я стреляться за него не буду. Не хочу кровопролития.

— Тогда я тебя расстреляю...— Дионис кинулся в комнату и вышел оттуда с деревянной кобурой. Лука Костогрыз, отлучавшийся во двор напоить скотину, ахнул, когда увидел, как вцепились в Диониса с мольбой молодухи. Что такое?

— Братик,— плакала жена Попсуйшапки,— я тебя прошу, не делай этого, у меня уже, ты видишь, дети, будь добренький, пожалей!

— Выходи, бисова душа, во двор, ставай к стенке! Цыц, шлюха!

— Сними эту царскую побрякушку,— сказал Попсуйшапка, тыча в награды.

— Ач! — спокойно прервал ругань Костогрыз.— Ухо на ухо!

Диониса ветром вынесло за дверь.

— Валяй! Перевертай ворота так, как мы возы перевертали.

— Я думал,— обнялся Попсуйшапка со стариком,— на позициях дураков нет, а они есть. Чего ж он, такой патриот, пришел с позиций? А я с какого это благополучия побегу на большевиков? Там, может, мой брат идет. «Я тебя сейчас расстреляю!» За что?

— Дурной, аж крутится,— сказал Костогрыз.— О времечко! Крепкая арака, как на рождество была. Выпил, проспится, дурак, и зараз такой же станет. Вы, бабы, капусты б на стол подали. А ты, Василь, не притесывайся к нему сбоку,— подальше. Крепкая арака.

— «Я тебя застрелю!» — махает.

— Куда ему? — протягивала, словно просила помощи, руки к деду жена Попсуйшапки.— Он гуся зарезать боится

— Та кто его гонит — я, чи шо?

— А чего ж брат напал?

— Ну прискакала сорока до света не срамши, подумаешь! Не настрелялся с турками.

— Шлюхой меня назвал. Яка я ему шлюха! Шо, своими жинками меряете?

— Сволочи, подлецы! — слышалось под окном.— Страна воюет, а они спят с бабами. Шапки шьют.

«Свят, свят, господь! — шептал и крестился Костогрыз.— Вот-от оно, началось. Жили и не знали этого».

— Обдерут наше казачество вплоть до люльки! — Дионис опять стоял на пороге и грозил пальцем.— Время еще не все упущено, надо организовать свои полки и с божьей милостью уничтожить голодранцев. Мотня расстегнута, а они управлять! Завтра отслужим молебен, попросим господа, шоб помог нам.

— Ты один такой.

— Задешево отцов своих и дедов не продадим.

— Не пугай бабу великим... кхм...

— Наслушались провокаторов. Жили городовики на нашей земле сто лет гостьми, нехай и теперь так же живут. Казаки не побежали с фронта гурьбою. У нас в сотнях осталось по семьдесят штыков, и мы с этой горстью уже были готовы перейти перевал Бачер-паша; там снег. Ну, нет, мы потягаемся с вами. Дух казачий еще не потерялся.

Обиженный и злой, вернулся Попсуйшапка из Пашковской и зашел утихомирить душу к брату Моисею. Тот как ни в чем не бывало кроил шкурки. Он еще в марте не соображал, к чему это вывесили флаги, и хотел оторвать кусок — на подкладки к папахам.

— Пусть идут,— сказал, выслушав брата.— На то у них и шашки. Нам с тобою за товаром в Ростов надо ехать.

— Я сам. Да куда ж ехать? Там, говорят, бои.

— Тогда прямо в Москву.

Василий всегда слушался брата.

— В Москву так в Москву.

Было предчувствие, что ехать не нужно. Все мастера отговаривали его, но Попсуйшапка перевязал чемоданы и попрощался.

Долгим было его путешествие!

СКИТАНИЯ

В Москву Попсуйшапка повез рыбу и удачно ее распродал, а «чтобы назад даром не ехать», накупил дамской обуви — подарить родне да сбыть в какой-нибудь дальней станице. «Товар надо уметь купить»,— говорил он часто. Он хитро и долго выбирал товар, вертел в руках, приговаривал: «Для Екатеринодара сойдут...» Рядом терся какой-то рос-

лый мужчина с заросшими щеками; Попсуйшапка глянул на него и обомлел: Толстопят!

— О, земляк! — сказал ему.— Все Толстопяты широкоглазые.

— Тише, тише,— толкнул его Толстопят.

Так они поехали домой вместе. Толстопят был в гражданской одежде, всякого мужика с ружьем сторонился и сам старался выглядеть мужиком. Он пробирался на юг с Западного фронта. Кончилась его офицерская служба: спрятал шапку и черкеску на чердаке русской избы, сбрил усы, опростился. Лишь бы кто-нибудь не узнал. Попсуйшапка был человек надежный.

— Что там дома? — спрашивал Толстопят, когда шли к Курскому вокзалу.

— Что дома... Уже того, что было при вас, нету. Советы депутатов командуют. В Москве разве не видели? Вот и у нас такое же. Вашему брату плохо будет, офицеру (если не перейдете на их сторону), а мы, мастера, работаем как работали. Дом свиданий «Швейцария» ликвидировали, оно и правильно... Богатые попритихли. Бабыч уехал в Кисловодск.

— Еще что?

— Выбрали нового городского голову, как ра-аз на пятое марта; пока он речь держал, зал опустел, и заседание закрыли. Топлива ж нет, чего его слушать? Уголь восемьдесят копеек пуд. Что ж дальше будет, по-вашему?

— Гадалка видит на Севере орла с распростертыми крыльями и свет вокруг головы.

— Старики вздыхают: пропала Россия!

— За Россию не знаю, а армии уже нет. Мы повоевали не плохо. На Огнепоклонной горе под Исфаганом наша сотня как пошла широким наметом за бахтиярской шайкой, за перевалом как нагнали — они по скалам, они по скалам. И мы по лаве как открыли огонь! Воды ближе, чем на двенадцать верст, нет, губы пересохли, а все ж семьдесят две лошади взяли в плен, сто тридцать бахтияр убили. Сардар-предводитель удрал на верблюде. То ж армия была. А присяга, она старше миллионов. Ты не воевал?

— Я шапки на фронт шил. И обувь. Ваш полк далеко зашел в Турцию?

— Еще немного, и к лету Босфор бы заняли. Все было готово. Перебросили к западной границе, а тут...

— Сказал же генерал Алексеев: переворот совершился волею божией. У царя якобы на счету больше миллиона, а у царицы столько же, да у дочерей не меньше.

— А кто подсчитывал? Алексеев?

— Ну, наше дело маленькое.

— Наше дело такое, что и домой не проберешься. Хлопнут по дороге.

На Курском вокзале они нашли в багажном отделении всесильного старшину носильщиков, который за плату добыл им три билета в купе. Третий билет припасался для приятеля Толстопята Дюди, бывшего кавалериста, ныне липового помощника санитарного транспорта земского союза. Всюду толпы, толпы. По путям пробрели они в конец к международному вагону, но и тут люди с бранью и криками карабкались на подпорки, цепляли друг друга, стаскивали, вырывали вещи, и товарищ комиссар с наганом в руках, стоявший на площадке, не мог остудить их животного напора ни матом, ни угрозами. С помощью все того же старшины носильщиков троица взобралась в вагон.

«Что за счастье иметь плацкарту! — думал Толстопят.— Бог помогает пока».

— Скорей бы,— волновался Попсуйшапка.— Там дома без хозяина товар плачет.

— Торопишься получить на шею толстую веревку?

Красивый высокий Дюдя, поуспокоившись, мечтательно сказал:

— Нет ли где заплаканных прекрасных глаз? А?

В вагоне публика была pour le temps qui court[1] достаточно приличная: какие-то мужчины приятного вида, две-три скромные дамы, несколько актеров и много бывших офицеров, переодетых под «товарищей», начиная с элегантного сумского гусара, кавалергарда с холеными ногтями и кончая молодыми людьми во всем защитном, в толстых солдатских сапогах. Еще недавно, до войны, с таким удовольствием подъезжали они к вокзалу на извозчиках, за ними носильщик волок багаж, они усаживались, и в том, что поезд трогался, что они ехали, не было никакого события,— обычная жизнь, братец мой! Теперь они должны были благодарить господа бога за то, что всякими неправдами доставят их в Курск, а оттуда по степи, через деревни, к Белгороду, где близка уже Украина и властвуют немцы без всяких Советов. В купе говорили отвлеченно, но несколько раз кавалергард, изображая из себя коммерсанта, проговаривался. Все познакомились и поняли втихомолку, кто есть кто. Когда поезд застучал, разгоняясь, оставляя за окном несчастливых, Толстопят вздохнул и тихо, про себя, перекрестился.

[1] По нынешнему времени.

Попсуйшапка уже болтал о ценах и шкурках. Толстопя
огляделся. Старый русский международный вагон! Каки
чудом он еще курсирует? Со смешанным чувством смотре
он на знакомые стены. Но всюду что-то и не то: гд
не хватает крючка, где ручки, задвижки: в купе нет ковро
тюфяков, о белье, конечно, смешно и подумать; в уборн
все переломано и с трудом можно умыться при свеча
Мест в купе не четыре, а шесть — по два на нижних див
нах и по одному наверху. Толстопят и Дюдя улегли
бок о бок, отвернулись, чтобы не дышать друг на дру
Ночью на одной из подмосковных станций проверяли док
менты, их филькины грамоты, а утром в Туле они выпи
скверного черного кофе и только в Орле истратили п
14 рублей на брата за обед из двух блюд, посердились н
время и вернулись в вагон, где публика стояла уже и в кор
доре. В Курске стали думать, как перебираться чер
границу. В залах первого и третьего класса люди часам
ожидали очереди, чтобы сесть на стул. К пограничной ста
ции поезд подходил на рассвете. Где ночевать? На прил
ках базара? В заплеванном семечками кинематогра
Офицеры уже открыто, без оглядки, вспоминали св
бывшую военную жизнь. Эта курская лунная ночь во
базара, потом стук колес до Прохоровки, потом досмотр
конечной станции Беленихино, о которой бы никогда в др
гой доле и не вспомнилось, стали вечным отголоском, в
ным эхом раз и навсегда сломанного бытия. Более тр
часов томились на проверке. Отбирали материю, мыло, спич
ки. Утомленный комиссар поставил наконец на бумаг
число. Зашитые в подкладку на плече тысячерублевый
билет и офицерские документы были спасены. Тепер
до Белгорода полем! Всего сорок семь верст, а подвод не
найдешь. По комиссарскому пропуску (маленькой бумажке
с четырехгранной печатью) выбрались они при лунном си
нии впятером, сговорившись с возницей за 250 рублей. До
рога спускалась в глубокий овраг,— то ведь была Русь, а не
кубанская степь, но за оврагом вдруг выстлалось ровное
поле. Сидеть было неудобно, и они часто соскакивали и ш
пешком по обочине. Как раз на полдороге возница свер
в сторону, на свой хутор, чтобы переночевать, перепрячь
утру лошадей и ползти дальше. Часу в четвертом но
притащились лошадки к избушке возницы; путники тот
же завалились спать на солому, разбросанную по глиняному
полу.

Попсуйшапка проснулся раньше всех. Голодный и про
рогший, он пожалел о том, что поддался слабости и сог

сился пробираться домой кружным путем,— проще было ему, ни в чем не виноватому, пуститься по дороге на Воронеж. Теперь поздно каяться, но можно пропасть ни за что.

Проснулся и Толстопят, вышел угрюмый, злой. Попсуйшапка отрезал ему из своих запасов кусочек сала, разломил сухой хлеб и назаметно куда-то отлучился.

— Идите сюда! — позвал он через минуту Толстопята, загребая рукой к себе. Можно было подумать, что Попсуйшапка раскрыл какую-то тайну. Да так и вышло: странная то была тайна!

Господи, что за тайна сам русский человек?!

В сумеречной избе, припав к полу коленями, молились возница и его жена. Головы их задирались к иконе, но что это была за икона? От пола и почти до потолка тлела красочным сиянием картина в золоченой раме; на ней изображался палач Малюта Скуратов, вихрем врывавшийся с топором в келью митрополита Филиппа. Пастырь при появлении жестокого Малюты поднес руку к горящей свече,— наверное для того, чтобы не предаться искушению страха и приготовить себя к мукам. Ни возница, ни жена его не чувствовали чужого присутствия и все крестились и клали поклоны. В углу спали под тряпками дети. В избе была такая бедность, что Толстопят позабыл свои несчастья. Из чьей помещичьей усадьбы вынесли они эту дорогую картину? И зачем? О чем они молились? Что просили для своей души? В ту пору даже Толстопят не разбирался, какому времени посвящена сия картина. А было это при Иване Грозном. И неужели эти крестьяне каждое утро шепчут монаху какие-то слова?

— Тамбовщина! — сказал Толстопят во дворе.— Везде одна и та же Тамбовщина. Вся Русь. Рассказывают анекдот такой. Из степей забрел на Тамбовщину верблюд. Ну, люди побежали к попу просить спасения от какойсь загогулины, которая дергает с крайней избы солому. Иначе все, мол, село сожрет. «Ой, пропала наша Бамбовщина!» А одна тетка упала перед верблюдом на колени, взмолилась: «Ой, матушка-загогулина, да не ешь ты наш Бамбов, а поверни ты на Пензу, там народ покрупнее будя». Вот и извозчик не хуже бабы той...

Через полчаса возница, чмокая и матерясь, дергал за вожжи лошадок; впереди, за перелеском, была желанная Украина.

Им повезло. Бумажка с красным крестом и изысканными печатями, солидная наружность приятеля Дюди внушали

немцам доверие; их пятерых пропустили без карантина, прямо в Белгород.

В самом городе всюду поблескивали немецкие каски.

Через два часа Дюдя повел Толстопята из гостиницы на Соборной площади к тетушке своей княгине Волконской. Попсуйшапка даже по этим временам к обществу бывших пристать не мог. В Белгороде они и расстались. Затурканный Попсуйшапка случайно встретил на базаре екатеринодарского шабая и уехал с ним до Харькова. С какого благополучия терпеть ему невзгоды?

Между тем у княгини за черным кофе с горячим белым хлебом кончились колебания Толстопята — куда пристать? В городе генерал Т. регистрировал русских офицеров для переправки на Дон в Добровольческую армию. У офицера нет другой дороги. Стать на сторону народа? Но еще в окопах солдаты глядели на своих младших начальников подозрительно. Да, другой дороги нет.

В соборе зычно, угрожающе гудели проповеди святых отцов:

— Бога бойтесь, с мятежниками не сообщайтесь: они снуют везде, чтобы обольщать народ несбыточными обещаниями. Они обещают водворение порядка, а водворят нестроение. Не слышно будет звука молотилок; остановится колесо; заржавеют соха и борона. Невозможно будет ни пройти ни проехать безопасно: в городах — денной и ночной грабеж, и некому будет спасать от этого. Да сохранит нас бог от печали...

На прощание Толстопят и Дюдя заглянули в местный сад с верандами. Под звуки немецкого оркестра поужинали с водкой и глинтвейном — первый раз в этом году. Утром княгиня-тетушка повела их в собор к мощам св. Иосифа. Измученная сомнениями душа надеялась у гроба святителя, что она непорочна, что есть истина и живет правда вовеки, что существуют как вечное мучение, так и вечная радость и торжество. В подземелье, у раки с мощами, в тесноте подождали очереди, прослушали акафист святителю. Образки, бутылочки с елеем переходили из рук в руки. В правом приделе собора помещался стеклянный гардероб, хранивший нетленные облачения святого: митру, омофор, палицу, панагию, наперсный крест, туфли.

— Не переменили ли одежду? — усомнился Дюдя. Двести пятьдесят восемь лет, а целая.

— Когда же это могло быть и кто бы на это дерзнул? сказала богатая дама.— Сорок лет я здесь живу и ничего такого не слыхала.

В седьмом часу вечера по берлинскому времени они уехали в Харьков, оттуда через станцию Лихую в Новочеркасск. Уже в Лихоц при проверке документов чисто одетыми донскими казаками от сердца отлегло что-то тяжелое. На долгое ли, короткое время, но жизнь спасена. В Лихой Толстопят увидел первого русского офицера в форме, с шашкой на боку, офицера без пристяжных немцев, без украинского контроля, и вновь глаза затекли от воспоминаний о великой армии. В дачном вагоне второго класса доставили их в Новочеркасск; зашибленное, старорежимное чувство патриотизма вздохом выходило из груди. Рукой подать и до Кубани.

Дюдя поспешил обзавестись кокардой и погонами. Толстопят раздобыл черкеску, шашку, кинжал. Тут была еще старая жизнь. Офицеры отдавали друг другу честь, казаки козыряли офицерам, и после кошмарного перерыва Толстопяту казалось, будто все вокруг были произведены в офицеры, и он сам как новичок любуется своей формой,— свершилась какая-то сказка, сон прошел, все сразу принялись за обычную работу. На Платовском проспекте часовой так лихо брал на караул своей шашкой, что Толстопят, не смея приписывать себе такую честь, вздрагивая от неловкости. В местном саду шумела оперетка; на террасе подали им во льду николаевскую водку, к жаркому бордоское красное вино и отличное рейнское к персикам. Так не обедали с мирного довоенного времени. От полноты чувств Дюдя дал лакею на чай лишний билет.

— Не надо меня освобождать от славных преданий Андреевского стяга! От присяги! От долга! — говорил пьяный Дюдя, воспаляясь с каждым словом все больше, глядя на товарища, но посылая свой гнев тем, кто покинул фронт, восстал против господ.— Кто не изменил России теперь, тот не изменит ей никогда!

— Печальны наши дела, друг мой,— отвечал ему Толстопят.— Доляпались господа в ладошки.

— Будь у меня сейчас десять тысяч юнкеров, я через две недели въехал бы в Москву на белом коне!

— Покричи, покричи. Полегчает. Ты не знаешь даже, что с тобой будет завтра.

— Боже мой! — вскричал умиленный женственный Дюдя, когда вышли за ворота сада.— Гляди! Гляди, какой красавец жандарм стоит! Унтер-офицер. Лапушка. А-а? Моя Ирочка влюбилась бы в него. Я обниму его, а?

— Не смей.

— Пье-ер! Кого же мне обнимать? Лучше я погибну

сейчас же. Ты знаешь, мне порой кажется, что я смог бы стать во главе Добровольческой армии. А-а?

Через три дня в здании гимназии на Ермаковском проспекте им выдали квитанции о зачислении в Добровольческую армию, а в конце недели выстроили на распределительном пункте. Серьезный полковник скомандовал «на молитву шапки долой», несколько раз набожно перекрестился, бесконечные шеренги развернутого фронта сделали то же самое. Затем полковник громким голосом сказал, что с сегодняшнего дня они числятся в Добровольческой армии и потому всякое уклонение от службы будет считаться дезертирством и судиться по законам военного времени.

— Вам предстоит сейчас идти через город на вокзал. Покажите, что вы являетесь представителями русской армии: по тому, как вы пройдете, будут судить о всей армии.

Лихо, с пением шагали они под взглядами обывателей по Соборной площади на вокзал. Там им пришлось долго дожидаться отправки, и лишь около полудня тронулся их эшелон. Хотя начальник штаба воспрещал исполнение гимна в общественных местах, херсонцы под первые стуки колес запели его, и Дюдя, подстраиваясь своим звонким голосом, заплакал: с 6 декабря 1916 года, с последнего парада, он не слышал этого родного мотива.

Огромная новочеркасская гора с домишками и азиатски величавым собором оседала на глазах, и до темноты, до тумана вечерних сумерек все поблескивал золотом купол, все маячил и наконец растаял белой точкой, как звезда в небе...

Под серпом месяца проскочили разоренную станицу Кагальницкую.

Думал Толстопят об отце-матери, о сестре Манечке и заснул грустно, безутешно, без надежды на скорую встречу с Екатеринодаром.

Часть четвертая

ТРИЗНА

Эпизоды гражданской войны

— Придет время, и людские слезы камнем упадут на их головы...

(Из разговора в 1908 году)

ЧЬИ ДНЕВНИКИ?

Был ли когда-то этот грозный 1918 год?!

Через полвека спокойными слабыми голосами рассказывали о русской сечи ссохшиеся старики, кое-что перепутывая, забывая имена, числа, местечки сражений. С дорог и глухих тропинок невесть куда уйдут озлобленные люди, и со временем составится о них общая Книга их далекой невероятной судьбы. Но не все победы, не все дни и недели, не все летописи войдут в эту Книгу: много листочков выпало, много оставлено себе на память, много валяется в чужих сундуках.

Ровно шестьдесят лет спустя я на улице Коммунаров (бывшей Борзиковской) купил за три рубля чьи-то дневники без начала и конца. У подъезда двухэтажного узкого дома с красивой виньеткой на дверях торговала книжками, поношенными вещами, посудой, всяким ненужным домашним скарбом старушка; торговала каждое воскресенье из года в год. Видно, никто у нее ничего не брал, и она тогда поставила на землю послевоенный патефон с пластинкой Вадима Козина. На тарелке лежала тетрадочка с обгрызанными углами. Я присел на корточки и не поднялся, пока не прочитал половину. Листик начинался записью от 12 февраля 1918 года. «Господи, благослови. Екатеринодарцы друг друга спрашивают: возьмут или не возьмут?»

— Чья тетрадка?

— Не знаю,— то ли солгала, то ли правду сказала старушка.— В войну кто-то занес в наш дом.

— Имени нет.

— Берите.

— Так вы точно не знаете, чья это тетрадка?

— А зачем вам? Вы все равно не могли знать этого человека. Тетрадь неизвестной...[1]

Я ушел радостный, думая, что все равно этой тетрадкой когда-нибудь воспользуюсь.

[1] Позднее установлено, что эта тетрадь принадлежала Манечке Толстопят.— *В. Т.*

12 февраля 1918 года. Господи, благослови. Екатеринодарцы друг друга спрашивают: возьмут или не возьмут? Всех ли богатых будут резать или только избранных? Всюду нервозность. Выдержит ли Екатеринодар? Одно ясно: если у города загремят пушки, как и полмесяца тому назад, то такого подъема, как 22 января, уже не будет. Не побегут вновь со всех сторон к «Метрополю» нарасхват разбирать оружие. Казаки по-прежнему спят. Трудно ожидать, что 170 добровольческих штыков удержит 5 красных полков. На улице единичная стрельба. Когда трусят, всегда стараются открыть стрельбу.

14 февраля. Читала в газете и согласна. Все оказалось в России ложью: ея мощь, ея религиозность, ея монархичность, так же как и ея стремление к свободе. Буквально все принципы европейской культуры оказались совершенно непригодны для нас, русских. Все, за что тысячелетиями боролось человечество от века Перикла до последнего билля британского парламента,— все это в России даже не возбудило внимания, простого хотя бы любопытства. Обыватель полагает, что ради него льется кровь человеческая, «аки вода». Дементий Павлович Бурсак сегодня заметил: грядущее потребует от человека таких жертв, которых он еще ни разу не приносил. Оно, это грядущее, выучит его, что такое государство Российское, и выучит раз и навсегда, ибо теперь мы дошли до предела не обывательского мнимого страха, а реального ужаса, распада человеческого общежития.

18 февраля. Ходят всякие провокационные слухи. Жители то ожидают большевиков, то надеются на приход немцев. Якобы из Новороссийска большевики подвезли 8 тяжелых орудий для осады Екатеринодара. После 9 часов на улицах жутко. В «Чашке чая» безумцы пели ультрапатриотического «Олега» (за царя, за Русь) под оркестр.

19 февраля. Говорят, корниловская армия в составе 8 тысяч штыков и сабель с артиллерией пробивается к Екатеринодару.

28 февраля. Тучи сгущаются. Краевое правительство и партизанские войска покинули Екатеринодар. Водопровод перестал подавать воду — забастовка рабочих. Паника охватила, кажется, уже всех. Все советуют уезжать, но куда и как, и зачем? В садах зарывают драгоценности, вазы, офицерские формы и оружие. Мы спокойны. И только одни мысли: где наш Петюшка и что будет с папой? Он ушел

вместе с этой кубанской стихией в степь. Там он надеялся найти Петюшку. Накануне, после совещания Рады и Кубанского правительства, все бросились на базар в «азиатский ряд» — покупать амуницию, но большинство пришло во двор реального училища в том, что захватило на скорую руку. Мы попрощались, и они на заходе солнца тронулись в путь, двуколка за двуколкой, по направлению к железнодорожному мосту и к Траховскому — через Кубань. В учебных тужурках и пальто, с узелками, ушли серьезные гимназисты. Тысячи обывателей спрятались за их спинами. А день теплый, солнечный. Мне как-то было не по себе при мысли о том, что детям придется по необходимости стрелять и убивать. Что их ждало, что станется с их беззащитными родными? Ушли на ночь по дороге на аул Тахтамукай.

В ОБОЗЕ

Как хотелось добраться к своим в город! Никогда бы Попсуйшапка не подумал, что так будет переживать разлуку с семьей, и никогда не обдавали его холодом страхи за жену и детей, как в эти последние недели.

Он шел по степи и мечтал: «Хоть бы какой напарник попался». Но никого вокруг! Точно вымерла степь. Такой тишины он, пожалуй, и не слыхал за всю свою молодость. В степи ему становилось жутко, и он часто оглядывался: а вдруг выскочит кто? Один день двенадцать верст уходил он от какого-то мужика, неожиданно появившегося на конце хутора. Попсуйшапка с испугу не шел, а летел. Кто знает, чем он дышит, сейчас время такое: убить не жалко. Только под станцией Попсуйшапка дал себя обогнать и чтобы скрыть трусливое намерение, сел и стал переобуваться. Мужик сказал: «Ну, ты ж идешь! Я чуть не лопнул». У Попсуйшапки от быстрой ходьбы хоть и кололо под боком, но он уверенно ответил: «И не догнали бы, если б я не стер ногу».

За Ростовом Попсуйшапка попал в обоз отступающей Добровольческой армии. Деваться было некуда: поезда в Екатеринодар уже не ходили. Генерал Корнилов вел армию как раз в сторону дома. «Пойду. С ними, может, жив буду. Там где-нибудь в Васюринской отстану,— рассчитывал Попсуйшапка,— потом до Пашковки, а Лука отвезет в город. С какого благополучия я буду все время с ними?»

За армией на две-три версты тянулся обоз беженцев.

Повозки, запряженные лошадьми, волами, застревали в грязи. Многие шли пешком. Впереди скрипели лазаретные двуколки с белыми навесами и алым крестом. Кого только не увидел Попсуйшапка в обозе! Мог бы разве в прежнее царское время идти он рядом с петербургской светской дамой, княгиней? Под дождем, в грязи, в страхе быть настигнутым вражеской конницей уравнялись все! Вот она, правда на земле: перед роком все люди. «Э-э! узнали! — и корил и жалел Попсуйшапка.— Узнали, как в степи люди жили. Казаки пришли, им так вот и доставалось: грязь, да ветер, да пули горцев, да болезни. Это не дома с ванной и лакеем». Но он помогал женщинам: нес их сумки (свое уж давно потерял в дороге), подкармливал салом, искал для них свободное место на повозках. На привалах Попсуйшапка (на то и родился таким) расспрашивал господ о чем только можно и прежде всего о том, где их мужья, сколько детей, на какой улице жили. И на неслыханную простоту ответов, как бы в знак благодарности, но ни на минуту не забывая, что он все же бывший приказчик, ныне шапочный мастер, что он не барин, отвечал любезными разговорами о Петербурге, о важных своих клиентах и о Луке Костогрызе, двадцать пять лет служившем в охране царя. Старая привычка угождения жила в нем еще. Каждый в обозе искал, к кому пристать понадежней. И за Попсуйшапкой увязалась белокурая красивая дама в заляпанном дорогом пальто. Попсуйшапка не утерпел спросить где она шила.

— Мы были с мужем в Париже. Там.

— То я смотрю, не наш фасон. В Екатеринодаре портной Рожков сшил моей жене пальто, но не такое.

— Одни воспоминания,— вздохнула дама.— Сколько мы так будем идти?

— А кто его знает. Меня уже потеряли в Екатеринодаре. На то, что вас будут встречать с хоругвями, и не надейтесь, милая. Абы живой остаться. Меня, может, и помилуют, а вы спасайтесь. Интересно, где мой шурин Дионис? Пришел с фронта, хотел меня застрелить.

— За что-о же?

— Я сказал: не пойду стрелять своих братьев. «А-а, так ты за босяков?» Ну, жена упала на колени: «Бра-атик, у нас дети». Я теленка боюсь зарезать — куда мне стрелять! А Дионис, он, конечно, из конвоя его величества. Им командовал такой же вспыльчивый: сотник Толстопят, я ему хорошую в пятнадцатом году папаху сшил.

— Как его зовут?

— Петр Авксентьевич. Невыдержанный казак: слова по-

перек не скажи. Он у нас украл по молодости барышню на извозчике. Но что-то у него не получилось. Вы наших казаков не знаете?!

«Господи,— всполохнулась в душе мадам В.— Помоги, чтоб он был здесь, с нами».

— Где он? Не убили ли? Мы с ним с Москвы добирались, но я потерялся. А дома у меня плачут. Та кто знает: может, и нет. Жили недружно. Позвольте руку, тут яма.

Под боком была станица, но всю ночь предстояло провести на холоде.

«Наверно, здесь придется и замерзать,— горевал Попсуйшапка.— Не поехал бы с Толстопятом, давно бы дома был. Эх!»

С 23 февраля начались бои.

Станица Уманская, почуяв приближение Корнилова к Кубани, протрубила сбор. Казаки раздали пятьсот ручных бомб, триста винтовок, двадцать пулеметов и всего шестьсот патронов. Первым делом на окраине взорвали мост, но красные снова навели его и угрожали расстрелять станицу с бронепоезда. На поле сражения вышло три тысячи казаков; батарея сделала несколько выстрелов и повернула назад. Казаки с разными хитростями — кто воду пить, кто обедать, кто за кожухом — возвращались в станицу, и через три часа сто пятьдесят человек выкинули белый флаг. Что за сеча была там, как расстреляли на станции родного брата Бабыча, узнали потом, через несколько дней, когда генерал Корнилов передавал Уманской свой поклон до земли за восстание, давшее ему возможность перейти невдалеке линию железной дороги и соединиться с войсковым отрядом.

В Лежанке в сумерки Попсуйшапка пошел искать повозку, под которой можно было бы уснуть, укрывшись от ветра. Настала уже черная туманная ночь, сырость пронизывала до костей. Солдаты кое-где поставили офицерам дветри палатки. В темноту сквозь щели тянулись полоски света, слышался говор. В одной палатке было тихо и уютно. На столике и чурбанах горели свечи в подсвечниках. Шумел самовар. Коренастый офицер наливал по стаканам чай и посасывал янтарно вспыхивавшую трубочку с золотым ободком и золотым колечком. «У нашего солдата,— говорил,— есть удивительная способность: по-домашнему устраиваться где попало». Попсуйшапке нечего было надеяться на гостеприимство в кругу офицеров.

Он пошел блуждать дальше. До чего же перевернулась жизнь! Под экипажем, согнутый в три погибели, сидел в бурке и в мохнатой шапке не кто иной, как Толстопят.

Значит, и ему не было теплого ночлега! Дул холодный ветер, и казалось, не существовало на свете души, которая бы пожалела его. Придет время, слыхал он от одного социалиста в 1908 году, когда убили братьев Скиба, и людские слезы камнем упадут на головы всех виноватых. Вот оно. Так проходит слава земная. В Лежанке все с вечера позакрывались на запоры, окна занавесили плотной тканью. Кругом так зловеще тихо! Но мало кто спал. Лежанка занята, но какой ценой? Сомкнутыми рядами, как на параде, шли вперед под пулями офицеры, и как уцелел Толстопят — непонятно. По горло в ледяной воде переходили они речку. За ними, когда красные побежали из села, двинулись по мосту обозы. Где же хлеб-соль? Станицы давали добровольцев с недовольством, и армия все оставалась такой же малочисленной, какой она вышла. «Опять со станиц! Хлеб со станиц, скот со станиц! Все со станиц. Уже все поотдали, сколько можно. Весна на носу, кто будет землю пахать?» Какой-то член бывшей Государственной думы, не разбираясь, что перед ним простой шапочный мастер, вчера рассуждал: «Наряду с мечом воинским должен блеснуть и меч духовный, меч правды святой. Храм осквернен, погасли светильники, и во тьме бродит русская душа». Ну, ясно, ему не привыкать болтать языком; вынести б ему, как студентам, стакан с водой от отца Ивана Кронштадтского, чтоб поболтал ложечкой, да уже нет ни отца Ивана, ни святого Петра. Домой, домой!

— Убьют нас и зароют,— сказал Толстопят.

— Будет ли кому зарывать?

— А я думал, ты уже дома,— сказал Толстопят утром.

— Дома, может, и позабыли, как звать меня.

— Теперь, если убьют нас с тобой, то хоть на казачьей земле. Корнилов нас приведет в Екатеринодар.

— Ой, не знаю. Вас, может, и приведет, а мне надо самому добираться. Не хочу, чтоб надо мной выли, как вчера одна казачка выла над убитым сыном: «Я ж на тебя не насмотрелась на живого. Хотел быть знатным, богатым, заслужил чинов, а теперь счастье твое на небе». Я шапки шил и шить буду.

— Некому станет шить, если вы все так рассуждать будете,— построжился Толстопят.

— А я ни против кого не пойду.

— А ну перекрестись! — вскрикнул Толстопят и выдернул шашку из ножен.

— Если вы меня порубаете, то, может, и женщину начнете рубать, которую я по степи чуть не на руках нес? Красавица.

— Какую женщину?

Попсуйшапка назвал фамилию, имя и отчество.

— Где же она?!

— Здесь, в обозе.

— Сей-час же найди ее мне!

— Найду обязательно, у меня рука легкая.

Часа через два Попсуйшапка вернулся.

— Идите,— сказал он Толстопяту.— Там в хате казака, возле церкви. Я ей ничего не сказал про вас. Она ноги отморозила, ее укутали в одеяло.

Еще издалека он услыхал голос Вари Паниной, некогда (словно в прошлом веке) знаменитой певицы. Родные звуки спокойного времени! «Побудь со мной, побудь со мною...» И оказалось, что пластинку завели на граммофоне в той самой хате, где грелась теперь уже мадам В. Толстопят взволновался, душа уже летела обнять ее, бедную беженку, сироту петербургскую, заброшенную в грязную стужу далеко от дома, сжать ее колени и виновато, за всех и за себя молчать, молчать и молчать — потому что что́ же говорить в пору такого несчастья и бессилия?

Старый казак, тот самый каневской, что гнался с товарищами за генералом Бабычем в Тамань из-за племенного бычка, не хозяин, а тоже заблудший гость, столкнулся с ним на пороге, оскалился, но, увидев на рукаве и папахе белые повязки добровольца, подобострастно сугодничал и промолвил: «Заходите, заходите, господин есаул».

Их сразу же оставили вдвоем.

В чужой натопленной хате они с помощью хозяев отпраздновали за столом встречу, которая была одновременно и расставанием,— в любую минуту могли послышаться в огородах выстрелы, начнется бой и — кто знает? — не ему ли суждено свалиться на землю? Он узнал от нее, что муж убит в Орле, дети пропали без вести, где-то в деревне у бабушки, что сама она отдала по дороге все золото, лишь бы пробраться на юг, к армии. Как странно, как допотопно, убивая воспоминаниями, звучали слова с пластинки! Кто тогда жил? Он ли? Была ли парфорсная охота в Дидергофе, ресторан Кюба, сырые петербургские улицы? Ценили ли они что-нибудь? И так хотелось мира, покоя, так хотелось домой, к родным, за общий стол, под высокие дубы во дворе!

Задумчиво ко мне на грудь
Головку нежно вы склонили...

А впереди что? Смерть?

— Мне снилось в Ростове,— говорила ночью мадам В., прижимаясь к Толстопяту,— что я твоя невеста. Я проснулась, раздвинула занавески. Шел дождь. Как в этих просторах тоскливо! Хочется плакать. Я смотрела вдаль и чувствовала себя сиротой.

— Мертвым, но буду в Екатеринодаре. А тебя отправлю с Попсуйшапкой в Хуторок к Калерии Шкуропатской может, там тихо. Пересидишь. Они хорошие. Завтра же! Не хочу, чтобы ты погибала с нами.

— А я хочу погибнуть. Нечем жить. Я ночевала в хате в Кущевской. Они русские. Хозяйка рассказывала. Заскочили казаки. На стене висел портрет дедушки, фотография. Сыны ушли с красными. Заскочили, а в хате только четырехлетняя девочка. Казаки стреляли в портрет! А девочка бегает и кричит: «Уже! Уже дедушку застрелили!» Ну что это! А взрослые в кадушках спрятались. Ну как это понимать?

— А так и понимай.— Толстопят пальцами пощипывал мочки ее ушей.

— Серьги я сама сняла и отдала, а то б с ушами выдрали.

Она, точно маленькая, совалась к нему лицом под мышку, дрожала, цеплялась ногами за его ноги. Потом внезапно:

— Ты меня любишь? Ты помнишь что-нибудь?

— Помню,— шептал Толстопят.— Помню, как ты взяла шкатулку, вынула засохшие фиалки, мою карточку, я на обороте написал три строчки каких-то пустяков.

— Еще что? Рассказывай.

— Однажды ты назвала меня «жуиром весьма дурного тона».

— Ну уж... ладно тебе. В ресторане мы были с тобой?

— Как же! Обязательно. Да-а, все видели и сознавали, до какой степени плохо кругом, но никто палец о палец не ударил. Только бы ростбиф или индейка к обеду.

— Не надо сейчас об этом... Сейчас мы несчастные. Вспоминай другое.— Она гладила его, целовала.

— Где твое пианино из палисандрового дерева?

— Я о нем не жалею.

— Вижу тебя в десятом году в маленькой шляпке с лиловым бантом. Высокие серые ботинки. Si jolie, si douce[1].

— А потом мы пошли в лес, и там...

Она не дала ему заснуть до утра.

---

[1] Такая красивая и нежная.

Каждый раз, когда он уходил в бой, она долго, до конца (пока отряд не скрывался из виду) стояла на окраине села и прощалась с ним. Но он возвращался невредимый. Она грела воду и в бочке-перерезе купала его: со сладостью мылила, терла его сухим веничком, обливала из ковша и на время надевала на него свою просторную ночную рубашку. Стала такой обыкновенной бабой-казачкой!

Вскоре двинулись по степи дальше. Дул сильный ветер. Как-то в отдалении завиднелись яркие огни станции. Она была вся освещена внутри, как перед приходом курьерского поезда.

Едва солдаты разместились за дровами, приладив винтовки к выступам, и едва Толстопят, вспомнив статью воинского устава, стал на место, самое удобное для наблюдения за своими солдатами, как уже во мраке с правой стороны сверкнул короткий ясный язычок и первый револьверный выстрел глухо тяпнул в тумане. Тут Толстопят разглядел, что́ перед ним. То были окна вокзала, большие и широкие. Свет был так ярок, что даже похоже было, словно пройдет немного времени — и впорхнут сюда барышни в белых платьицах, изящные молодые кавалеры, грянет музыка и начнется блестящий бал. Но то, что увидел Толстопят за светлыми стеклами, столь поразило его, что он сперва не поверил. Там мирно сидели за столами в мягких креслах казаки в шапках. На богатой люстре были развешаны портянки и носки для просушки. Винтовки кучей лежали в буфете.

Через два дня армия по открытой степи направилась дальше. Не раз священник произнес над убитыми молитву: «Да успокоит господь твою чистую душу в селениях праведных...» Каждый день к дороге подходил кто-нибудь и спрашивал: «Чи вы, дяденька, не видели нашей матери, старой та необутой? Казака на рыжей коняке? Корову с красным матузочком на шее?» На молитве станичный атаман, певший и в будничные годы на клиросе, крепким голосом читал перед алтарем Евангелие. Потом кричал на площади: «Всех иногородних до люльки вырубить!» И всюду, куда ни входили под благословение хоругвий и икон, не кончались на площадях речи.

— Армия наша, подобно евангельскому горчичному зерну, разрастается в многоветвистое древо, которое своими ветвями захватит всю русскую землю! Да хранит же вас господь в сем благом подвиге.

— Чада возлюбленныя! О сколько плачевен ныне удел наш. Умален и отвержен пред миром народ русский.

Черная печаль томит сердца. При жизни вкушаем мы горькую смерть. Где слава недавняя? Где держава великая, православная? Но да будет благословенна карающая десница господня, ибо и во гневе отвержения есть любовь божия. Осмердела земля наша, зачумел воздух. Ближайшее время решит — быть ли России свободной под знаменем святого креста или рабою — под масонской звездой.

— В Кремль, в Успенский собор за святою водой!

— Боже, помилуй нас в смутные дни! Боже, царя нам верни!

И опять причитания матерей: «Сыну смерть выела очи. Или я в бога не верила? Или я не то тебе у судьбы просила? В чем мне каяться? Сыночек, дитятко родимое. Где мне с ним встретиться? За божьей оградой».

Вскоре на армию наткнулся крестный ход. Дети несли кресты из живых цветов, народ держал букеты и зажженные свечи. За ними колыхались хоругви, а далее, по четыре в ряд, шли женщины с иконами. Ряды богомольцев заканчивались большой иконой Успения и Голгофой — изображением Христа, распятого на деревянном кресте. И последними шли певчие и духовенство в золотых облачениях. Они освятили уже много станиц, призывая братьев не убивать друг друга.

Попсуйшапка узнал, куда направляются со своей миссией люди, и, попрощавшись с Толстопятом, пристал к ним с мадам В. На постели под подушкой Толстопята лежала ее фотография с надписью на обороте: «Увидимся ли опять? Будем надеяться, что да. Куда бы меня ни закинула судьба, я тебя никогда не забуду. Пусть старое сохранится, а новое сбудется. 17 марта 1918 года».

— Если меня убьют,— сказал он ей, расставаясь,— то, когда жизнь наладится, не выпускай из виду мою сестричку Манечку. Это чудо-человек, следи хоть издалека за ее жизнью... Отец с матерью уже старые.

— Я тебе обещаю...

В станице Роговской Попсуйшапка свернул на дорогу в Хуторок к Шкуропатским.

«Слава те господи,— радовался он,— ближе к дому...»

Все разлагалось. В Марии-Магдалинском монастыре пьедестал гроба господня выбросили в сарай, крышку гроба в пономарьку. Киот двунадесятых праздников со святыми иконами валялся в дровяном сарае, закиданный окурками и чайными крошками. Жертвенник в алтаре опустошен, лампады уничтожены; лестница под колокольней пала.

«Кого люблю, тех обличаю и наказую»,— вспомнил Попсуйшапка.

— Как мы это допустили? — вопрошала мадам В., прикладывая руки к лицу.

— У вас, в России, не знаю, а на Кубани каждый казак мог крикнуть на иногороднего: «Не смей, москальская душа, казачьей земли пахать!» Докричались.

— Заманят народ красными словцами о кисельных берегах, переведут всех честных слуг и разграбят страну. Погибло все, для чего жить? На что мне теперь жизнь? Как жили! Проснешься в Петербурге, дождь, осень, ничего не хочется. Пошлешь денщика с паспортом формальности выполнить, а вечером уже в поезде, еду на юг Франции, в Ниццу.

— Вы верующая?

— Да, да,— сказала мадам В. и испугалась: была ли она в мирное время взаправду верующей или только подчинялась обрядам?

— А я любил хор слушать. Если обернется так и дальше, я вам советую: выходите замуж за простого человека, доброго, пересидите, а там видно будет. Нечего плакать об отцовских хоромах, надо жизнь свою спасать.

— Вы думаете, большевики победят?

— Я не думаю, я вижу, куда дело клонится.

— Только лай собак... Ставни у всех закрыты, нигде ни огня.

В хуторе Шкуропатских, там, где когда-то ночи казались короткими, где наутро закладывались экипажи и гости с хозяевами уезжали на целый день в Роговскую или в монастырь, а к возвращению готовился на ужин молочный кисель, где вся жизнь велась от года к году размеренным порядком, теперь приуныли и сидели в дожди на запорах. Недавно и здесь побывал отряд, но, слава богу, никого не тронули. На прощание было сказано Калерии: «Ваш муж Бурсак? Присяжный поверенный? Он защищал на суде революционеров, живите...» Долгими зимними вечерами теперь развлекались чтением вслух. Дементий Павлович Бурсак жил в Екатеринодаре.

ДНЕВНИК МАНЕЧКИ ТОЛСТОПЯТ

1 марта 1918 года. Поздно вечером с некоторыми повозками отправилась за Кубань и я. Мне хочется найти брата и поберечь папу. В 2 часа ночи я была в ауле. Вокруг костров из камыша грелись пехота, артиллерия, еще говорили о Екатеринодаре.

Утром отряды двинулись к аулу Шенджий. Обоз растянулся на несколько верст, и каких только экипажей не было в нем: и походные двуколки, и четырехколесные повозки, и арбы, и линейки, и фаэтоны с извозчиками на козлах. И сколько знакомых лиц и примелькавшихся на улицах физиономий! Какие странные костюмы на тех, кого привыкли видеть прекрасно одетыми! А эти генералы и полковники, с которыми приходилось встречаться в клубах, на концертах! Вот на остановке старый-старый генерал подвязывает торбу с овсом к лошадиной морде. Там сидит на повозке чиновник и с аппетитом уплетает сухой хлеб. Сколько, однако, женщин в отряде в форме добровольца, сестер милосердия и просто дам, девиц, не решившихся отпустить своих мужей в одиночку. И молодежь, молодежь. В ауле Шенджий армия опять ночевала под открытым небом, а я в чистой сакле, где черкешенка хлопотала у очага, приготовляя пышки без соли. Стакан молока в ауле стоит 1 рубль. Зато в станице Пензенской оказались и хлеб, и яйца, и молоко, и вареники, и даже чай (по 6 рублей за полфунта). В станице из газеты «Новый курьер» мы узнали, что вблизи Екатеринодара находится армия генерала Корнилова. Решили идти на соединение с ним. Над станицей пролетели дикие гуси, повалил снег. Там, с Корниловым, мой брат? 6 марта отряды вышли обратной дорогой на аул Шенджий, где ждали радиотелеграммы от Корнилова; посланы были разведчики. В ауле с трудом добывали себе пищу. Ругались, что не взяли из города муки, что на станции Энем остались полные вагоны сахару, галет и т. п. Похоже, никто не заботился о продовольствии армии. 8 марта получены были точные данные, что Корнилов на днях прошел Кореновскую и по расчетам времени должен был подходить к Пашковской, отстоявшей от аула Лакшукай (куда мы пришли) версты на 3—4, на противоположном берегу Кубани. Там шла ружейная и артиллерийская перестрелка с большевиками, окопавшимися у Пашковской. Тратить снаряды и патроны бесцельно: Корнилова нет. Мы не знали, что корниловская армия переправлялась на нашу сторону Кубани. Казаки расстреляли все патроны на Пашковской переправе. Унылые и испуганные, отходили они от берегов Кубани, от аула Лакшукай к станице Калужской через аул Гатлукай. Обоз вытягивается версты на три. Вечером 10 марта был дан приказ сократить обоз. Бросили одну двуколку и разбили часть телефонных аппаратов. Шли быстро всю ночь, в иных местах без дороги по степи. Попадались трупы неизвестных мужчин, одетых по-простому, нескольких офицеров, уста-

навливавших связь с Корниловым. Взошло солнце. В полдень показался большевистский разъезд и сейчас же скрылся. Часа в два голова обоза подошла к небольшому леску. Вдоль его опушки протекала речка. Мост через нее был разрушен. Отряд взял вправо и пошел вниз по течению речки, ища переправы. Прошли около двух верст, вдали, прямо, стал вырисовываться на горизонте какой-то аул, занятый большевиками. В банковском обозе заволновались, так как он остался без прикрытия. В это время мы достигли небольшого деревянного моста через речку. Обоз переправился на левый берег. Прошли еще несколько верст. Дорогу пересекала балка. Несколько глубоких ериков с водой, протекавших по ней, и молодой запущенный лес, плотно обступивший дорогу, задерживали обоз. Подводы сбились в кучу, обоз застрял. И вдруг совершенно неожиданно раздался ружейный выстрел, за ним другой, третий. Снаряды рвались над обозом и даже сзади него. Отряд был застигнут врасплох. Казалось, спасение уже немыслимо. Многие стали рвать документы, последний патрон оставляли для себя. Спешно стала подтягиваться пехота и сейчас же рассыпалась в цепи за лесом, в четверти версты от обоза. К лесу подвезли орудия, и завязался бой 11 марта.

Пути назад были отрезаны, обоз застрял и при отступлении весь бы целиком попал в руки неприятеля. Ясно, что армия или победит, или погибнет. На карту была поставлена судьба всего отряда. Стали чистить повозки законодательной рады. Часть повозок оставили, лошади пошли под верх. Из повозок выпотрошены были картофель, крупа, мыло, сахар, выбрасывали одежду и белье, сапоги и упряжь.

Боевые старые офицеры говорили потом, что на германском фронте они не часто слыхивали такую перестрелку. Снарядов не жалели и достреливали последние. Но большевики держались стойко. Их было что-то очень много, больше пяти тысяч. С полудня до вечера стрельба не умолкала. Уже солнце заходило, когда в обоз прискакал офицер с приказом всем могущим носить оружие идти в цепь.

Отделение, бывшее, как и вся рота, в резерве, сразу направилось бегом вперед. Бежали, шли в беспорядке, гурьбой, во весь рост. Поднялись на холм и продолжали идти дальше, по-прежнему не пригибаясь. Это незнание военного строя спасло, к счастью, все положение. Большевики дрогнули, увидев новые толпы наступающих. Передовая цепь, чувствуя за собой поддержку, перешла в атаку. Собственно, это была не цепь, так как на протяжении версты растяну-

лось всего человек 30, не более; так малы были силы партизан.

Скоро совершенно стемнело. Выстрелы смолкли. Пошел частый холодный дождь. Земля сразу намокла, разбухла. По пахоте невозможно было идти, к ногам прилипали тяжелые комья грязи. Цепи стянулись, набралось три роты. Пошли влево по направлению дороги на Калужскую. Вдали засветился огонек. Дождь все лил и лил не переставая. Все совершенно промокли и еле плелись. Наконец дошли до маленького хуторка, в котором расположился наш штаб, обоз и куда стягивались все войска. Хуторок был всего в несколько десятков хат, и немногие попали в них. Большинство же принуждено было спать в сараях, под заборами, подводами, прямо в грязи. Хлеба достать тоже нельзя было, а многие не ели целые сутки. Найдешь кочан кукурузы и не знаешь, самой ли сгрызть или отдать лошади.

12 марта к помещению штаба подъехала группа всадников с белыми повязками и отпечатанными черепами на левой руке. То был корниловский разъезд. Известие сразу облетело весь отряд, войска начали волноваться: многие настолько разуверились в существовании корниловской армии, что приняли корниловцев за большевистских шпионов. Бывший начальник войскового штаба полковник Гаденко предложил разъезду выдать оружие, поставил в стороне взвод с наведенными винтовками и только после этого приступил к переговорам. Сам генерал Корнилов стоял уже в ауле Шенджий.

15 марта выпал глубокий снег. Дороги замело. Горные речки вздулись. По грязи и снегу части Кубанской армии, делая в час одну версту, добрались до Новодмитриевской. Переправы через речки порою были ужасны. То всадник перевернется вместе с лошадью, то опрокинется двуколка, и какой-то банковский чиновник в тулупе, в синих очках стоит по пояс в воде. Войска взяли Смоленскую станицу и Григорьевскую слободу, а затем и станицу Георге-Афинскую. Где мой брат? Разве доберусь я к нему среди рек грязи? Уже чувствуется весна. На деревьях видна первая зелень. Там, за рекой, Екатеринодар. Всех охватывает нетерпение поскорее перебраться на другой берег, но в первую очередь после артиллерии и авангарда перевозят раненых. Мы сидим на берегу третий день. Переправа идет одним паромом, по двадцать повозок в час. Верховые переправляют лошадей вплавь. Генерал Корнилов был уже на той стороне, и его передовые части уже достигли окраин Екатеринодара. Мы жили слухами. 28 марта мы переправились и вошли в станицу Елизаветинскую. Казачки

угощали нас блинами, бубликами и молоком. Говорили, что бои идут на Сенном рынке.

— Крестный путь на Голгофу позади,— сказал кто-то в те дни,— впереди подвиг спасения России...

Я всеми правдами и неправдами решила пробраться домой в город. Надо было сказать матушке, что братец мой жив, а папа потерялся под Калужской.

ОБОРОНА ЕКАТЕРИНОДАРА

В ночь с 30 на 31 марта Попсуйшапка в числе домовладельцев стоял в карауле на своем квартале: проверял документы у поздних прохожих, пропускал мужчин с винтовками, прислушивался к крикам, к дальним взрывам снарядов. Переменчива была в те месяцы доля людская: еще в феврале Попсуйшапка тащился по степи в корниловском обозе, в Хуторке пристроил у Шкуропатской мадам В., еле пробрался через Пашковскую, Дубинку на свою Динскую улицу; когда добровольцы-кадеты и казаки Рады переправились у Елизаветинской через Кубань и пошли на штурм, его поставили на оборону города. На защиту поднялись Дубинка, Покровка, жители кожевенных заводов. Извозчики и дрогали с подводами перевозили раненых. Делегаты Второго съезда Советов днем заседали в Зимнем театре. Скиба ночью бился на Сенном рынке. Никто не знал, что делается на тридцать шагов от него. Генерал Эрдели обошел Екатеринодар с севера и пересек железнодорожную линию, напугал Пашковскую, но вход в город загорожен ему был частями большевиков. У полковника Покровского гимназисты на ветру обморозили руки. Пашковская отрядила в добровольцы несколько сот человек, среди них немало было казаков-черноморцев с сивыми бородами, они-то и кричали: «Не дадим поделить батьковщину!» Уже три дня корниловцы вели ожесточенные атаки на территории кожевенных заводов, на четвертый Покровский кинулся к Черноморской станции. На втором пути стояли вагоны с винтовками, прибывшие из Киева. Скиба подговорил машиниста, и вагоны пометили мелом, загнали в депо на ремонт, и там рабочие переложили винтовки в старые паровозы. На Дубинке за спирт наняли четыре подводы; ночью в дождь все винтовки в мешках попали к рабочим. Терешка, не ездивший без копейки и квартала, покорно перевозил снаряды. Но на Новой и Кузнечной улицах обыватели выставили в своих дворах столы с водой и продуктами. Ждали. Но кого?

Несколько дней назад у Луки Костогрыза добровольцы-разведчики отобрали лошадь «под генерала Корнилова». 31 марта Костогрыз писал жалобу самому Корнилову. Густо заклеенный конверт так и завалялся в гвардейском сундуке казака: к вечеру донеслась к пашковским хатам весть, что генерал Корнилов убит. С кого было требовать лошадь?

ДНЕВНИК МАНЕЧКИ ТОЛСТОПЯТ

5 апреля 1918 года. Позавчера видела тело генерала Корнилова. С утра уже разносились слухи о том, что тело нашли в степи в колонии Гначбау, где-то вдали колодезных журавлей, где добровольцы, отступая, спешно предали земле своего генерала. Хоронили его тайно, но из окон немецкой колонии кто-то видел. Пленная сестра милосердия опознала его.

Теперь уже потихоньку рассказывают, как проходил бой за город и как генерала убило.

В семь утра, в двадцати шагах от крыльца хаты, в которой был Корнилов, убило шрапнелью пятерых юнкеров. Тут же снаряд попал в стену хаты; из окон посыпались стекла, повалил дым. Офицеры вбежали в хату. Генерала Корнилова застали на полу в синих брюках с лампасами, присыпанного штукатуркой, со слабыми признаками жизни. Из виска сочилась кровь. Через десять минут он скончался на круче реки Кубани. Это было в семь часов тридцать три минуты. Из Китая Корнилов вывез золотой перстень с таинственным иероглифом. Генерал Алексеев снял его с руки мертвого вождя армии и передал Деникину. Убили его на сорок восьмом году жизни, а цыганка нагадала ему шестьдесят четыре... С восковым крестиком в руке его повезли на телеге в Елизаветинскую. После панихиды в доме казака гроб на подводе отправился вместе со штабом армии в отступление.

Екатеринодар праздновал победу.

И вот нынче труп Корнилова привезли в Екатеринодар. Лошадь тянула скверненькие дроги. Корнилов лежал в рубашке и в кальсонах.

Я не пошла сначала во двор гостиницы Губкиной, куда свернула повозка. Двор заполнился красноармейцами. Но не выдержала и пришла на Соборную площадь. Через некоторое время красноармейцы выкатили на себе повозку на улицу и сбросили тело на панель. Появились фотографы. С трупа сорвали рубашку. Ниже живота положили клочок

сена. «Тащи на балкон, покажи с балкона!» — закричали. Но тут же послышались противоречивые возгласы: «Не надо на балкон, зачем пачкать,— повесить на дереве!» Уже несколько человек влезли на липу, что стоит напротив 1-й мужской гимназии, и подвязали голого Корнилова вниз головой. Толпа прибывала. Кто-то выразил сомнение, что это не Корнилов, а похожий на него калмык-доброволец. Но, кажется, это был он: во рту такой же золотой зуб.

— Э, червяк! Нашел себе смерть. Черт тебя принес!

— Да он не православный, не русский. Калмык.

— Да это не он, брехня! Разве это генерал?

— Как мальчик, сухонький маленький...

Через два часа с таким же шумом потащили повозку с останками Корнилова к Свинячьему хутору; его стегали плетками, били палками, на повозку вскакивали босяки с Покровки, рубили шашками, плевали в лицо; издалека кидали к повозке камни. На городской бойне Свинячьего хутора тело обложили соломой и в присутствии Сорокина и Золотарева подожгли. Солдаты ширяли в костер штыками. Жгли остатки и на следующий день. А сегодня по Красной шествовала шутовская процессия ряженых, изображая «похороны Корнилова». Останавливались у подъездов, звонили, требовали денег «на помин души Корнилова». И только в «Чашке чая» молодые люди с маникюренными ногтями по-прежнему мило беседовали.

6 апреля. Где же наш брат Петюшка? Где папа? Встретились ли они в степи или на том свете? Накануне, 31 марта, мама топила баню, ждала, что отец и сын вот-вот войдут в город и постучат в дверь. Вода остыла, но мама ее так и не вылила из чана. Господи, сохрани нам их... Услыши, Господи!

10 апреля. В лазарете Лейбовича и князя Вачнадзе я ухаживала за ранеными красноармейцами. Все живое на свете страдает, им больно, и я не отхожу от них по целым суткам. Иные из станиц, иные из русских губерний. Во сне кличут родных.

ЭПОПЕЯ ПОПСУЙШАПКИ

Всю весну и осень 1918 года Попсуйшапка оборонял разные участки Кубани в красном отряде. Сперва в Екатеринодаре, в дни осады Корнилова, он дежурил на своем квартале, передавал снаряды в артиллерийскую батарею на набережной. Потом копал окопы под станцией Некрасов-

ской. И сам не заметил, как вместе с другими очутился в ополчении, вынужденном защищаться от белых. В Понежукае, когда черкесы разулись на молитву, они напали с отрядом и разогнали пол-аула в лес. Затем его записали в 1-й Кубанский полк.

Междоусобная война колобродила по всей Кубани; с августа в Екатеринодаре царствовала белая власть. Поспешное отступление Добровольческой армии в апреле спасло ее. Известие о гибели генерала Корнилова поразило как громом небесным, все надежды казаков увидеться со своими, стряхнуть ужасных паразитов с белья, помыться — лопнули; надо было опять уходить в степь без снарядов, без перевязочных средств, замерзать ночью под голым небом. Гибель была, кажется, неминуема: против армии стояли вдоль железных дорог выступать броневые поезда. Положение на Дону было неизвестно. Куда идти? Обосноваться в Ейском отделе или двигаться по направлению к Баталпашинску? Восьмиверстная змея обоза спешила проскочить железнодорожные переезды, теряя линейки, повозки, вещи, чемоданы. Рада возила с собою кухню. Здоровые, упитанные господа в строевые части не влились. Наконец в станице Успенской началось формирование Кубанского казачьего войска. 16 апреля есаул Толстопят получил под командование полк. В селении Горькая Балка он мог бы попасть под пулю товарищей Попсуйшапки и в четверг на страстной неделе не послушал бы в церкви чтение двенадцати евангелий.

Попсуйшапка с 1-м Кубанским полком гонял осенью белых в Терской области.

Через пятьдесят лет в бессонные текучие ночи вел он заочные разговоры то с Толстопятом, то с учителем Лисевицким, то еще с кем-нибудь, увлекался и рассказывал о своей эпопее в 1919 году; рассказывал с таким внутренним убеждением, будто о гражданской войне никто ничего не читал и кино не смотрел, порою вставал с постели и сиротливо смотрел в темное окно. Вот эта речь:

— В Терской области мы быстро разогнали казачьи отряды. В одну станицу пришли, двор атамана разграбили, работник-старик показывал, где что спрятано. Все нашли. Ко мне обратилась пожилая дама, атамана жена, просит меня: «Дорогой сынок, помоги мне, поведи в свой штаб полка, я попрошу вашего командира, чтоб больше меня не обыскивали. Я вам заплачу за ваше сочувствие. Вы же видите, что делается в моем дворе». Я согласился с ней пойти, она боится, полная станица вооруженных, и есть пьяные, выражаются в бога и Христа, как кому вздумается. Я повел эту

барыню в наш штаб. Зашла она к командиру полка, объяснилась, кто она и что, пожаловалась, что у нее растянули все и без конца идут, ругаются в бога и Христа. Попросила: «Дайте справку, чтоб больше не было у меня обыска». Командир знал, что справка эта не поможет ей, но дал. Успокоилась, просит меня, чтобы я провел ее до дома. Я согласился. А там солдат полно, тащут. Ну, она меня поблагодарила, вытянула с пазухи, отвернулась, отсчитала пятьдесят рублей николаевских денег, а они уже не ходили на стороне большевиков, а у белых ходили. Я ее оставил в доме, сам ушел. Она меня еще поблагодарила, сказала: «Господь тебя защитит от меча и от врага твоего», а я ей сказал: «Не жалейте ни о чем, время пришло такое, пусть берут все, лишь бы не убили. Не выходите из дома».

Время было суровое. Как-то я с товарищем, отличавшемся сонливостью, поехал в разведку. На краю села мы наткнулись внезапно на двоих кавалеристов, нас разделяли каких-нибудь тридцать метров. Кавалеристы были в бурках, и один из них с пикой, на одежде никаких отметок. Это меня сразу насторожило. Я остановился, те тоже остановились, увидев мою винтовку со взведенным курком. Они стали звать нас, чтоб мы подошли ближе. Простоватый товарищ мой пошел к ним, а я, почему-то чуя неладное, остался на месте, не спуская с них внимательного взгляда. Напрасно они звали меня. Потом один сказал:

«У тебя винтовка заткнута листьями, разорвет при выстреле».

Дуло винтовки у меня действительно было заткнуто, чтобы в ствол не забивалась пыль.

Они поняли, что без урона ничего не добьются, и решили удалиться.

«Такие дураки и по своим стреляют»,— сказали на прощание.

«Чего ты боялся?» — спросил меня товарищ.

«Ты лучше стань за плетень и посмотри, куда они поедут».

Проехав вдоль села, кавалеристы спустились в балочку, а на ту сторону не выехали. Через некоторое время они выскочили далеко влево, около самой горы.

«Теперь ты видел, какие это свои?»

«А чего они тогда нас не трогали?»

«А того, что одного из них я бы обязательно застрелил. А подошел бы — они б уложили нас».

Настала зима; наши большевики были раздетые, из дома пошли летом, кто в чем, никакой военной формы, вольная

одежда сносилася. А я в то время перешел в конную разведку, и вот наша конная разведка отрезала в балке скопившихся беженцев-казаков терских с семьями на подводах; и на каждой подводе полно домашнего барахла, подвод триста. Командир полка приказал: назначить два десятка бойцов и у мирных беженцев конфисковать все мужское одевание (сапоги, папахи, бешметы, бурки, шубы, штаны, рубахи, черкески, чекмени). Вот нам наотбирали вороха, а потом отпустили подводы беженцев домой. И я надел чекмень, рубаху, брюки, шубу, шапку белую, башлык белый. «Ну вот, все стали казаки у меня»,— говорил командир.

В декабре мы вернулись к Минеральным Водам. Арсенал всей нашей армии и оружейная мастерская были в то время в вагонах, двинулись по путям. Заведующим этими оружейными мастерскими был мой кум из станицы Пашковской. И он набрал в мастерскую всех своих. Они в тылу живут, в вагонах. А я с передовой на передовую, не рад своей жизни, вот-вот с часа на час ожидаешь смерти. И за что такая кара? Отдыха не дождусь, хотя бы поспать спокойно, подышать без страха и без тревоги, без паники. Какой я несчастный: жену не вижу, родных оставил на территории белых, не знаю ихнее положение, казаки белые уже пронюхали, что я ушел с большевиками. Могут издеваться над женой. А мы все отступаем без боя и отступаем. У меня в душе таится недоверие к командиру. Нам надо вперед, а нам приказ — отступать. Куда отступать? Кубань сдали белым, Ставрополь оставляем, куда отступать? В Каспийское море? Услыхал, что в арсенал приехал Аким Скиба, арсенал и мастерская стоят в пятигорском тупике. Поеду, Аким меня помнит по Екатеринодару, я его раз выручал из беды. Поговорю с ним. Пусть скажет,— может, из-за нас уже белые побили всех наших родных и жен, а мы все отступаем. Что мы завоевываем? Я оседлал коня и поскакал. Приехал, нашел. Стоит длинный эшелон, эта самая оружейная мастерская. Вылез из вагона Скиба, он к товарищу заехал на денек. Я подвел коня, конь был умный, повода накинула на луку, по шее пошлепал рукой, сказал: «Стоя-ать!» Аким навстречу мне: «Здравствуй, Василий, живой?» — «Да пока живой!» — «А лошадь твоя? Ты б привязал ее».— «Не надо вязать, она будет ожидать меня».— «Ну, посиди минут пять сам. Я сбегаю чайку принесу, угостить больше нечем».— «Напрасно ты беспокоишься, я к тебе не на угощение приехал, а просто поговорить и посоветоваться, горе разделить, а то его накопилось — девать некуда. Сам не дам ладу».— «Побегу, потом будем говорить...» — ухватил чайник и побежал. Недел-

го бегал, несет кипяток, белый хлеб и две большие грудки сахара. «Ну, садись, горяченького чайку выпьем». Я сказал: «Спасибо. Я ничего не хочу. У меня душевная боль. Я приехал к тебе, ты в партии давно, ближе к начальству. Ты мне скажи такую вещь: за что мы с тобой воюем? Бросили своих родных на гибель и страдание. Они ответят за нас жизнью, а мы их после не вернем». Аким выслушал спокойно и сразу мне: «Вот, дорогой мой, что я тебе скажу. Я пошел добровольно в большевики. Я себя пожертвовал. И так решил: чтó там делают белые с нашими семьями — мы не знаем. Но хотя не перед глазами с них издеваются. Пусть и я погибну, лишь бы остался жив Ленин и сохранилась новая власть. Пусть погибнут наши родные и я погибну в степи».. Мне стало жарко, в глазах темно. Я на слова Скибы ничего не ответил, только слезы потекли. Забилось сердце, не мог ничего сказать. Взял шапку и сразу к дверям на выход. «Куда ты? — он мне.— Погоди, не иди». Я ничего не мог говорить, я просто ушел. Все замкнулось. Только когда вышел, сказал: «А кому будет счастье, если погибнут родители, жены, дети? И мы с тобой? Кто будет иметь счастье в будущем?» Скиба понял, что он меня убил этими словами. Стоял. Я со слезами вскочил на коня, круто повернул — и ни «до свидания», и не оглянулся, уехал. Что он потом думал, не знаю. Еду я дорогой, вот, думаю, зачем я к нему приехал, у меня в груди легче было, а сейчас? Не знаю, выдержит ли мое сердце такую печаль. А я еще, дурачок, думал проситься к нему в отряд. Нет, умирать будем не вместе, а врозь.

Приехал в свою часть такой грустный. Тут командир разведки кричит: «Попсуйшапка, сюда быстро!» Я думаю: что случилось? «Вот, дорогой, тебе надо сейчас же ехать с этим пакетом у штаб полка срочно. У тебя лошадь самая лучшая». Первый час дня, штаб полка в тылу за двадцать пять километров. Он вытащил карту и показывает: станица Александровская. Одежда на мне была вся казачья, хорошая и теплая. А зима, пятое января девятнадцатого года. Я вскочил на коня. «Давай побыстрей!» Я был выполнимый, без слов взял пакет и тронул в путь. Оружие у меня было — карабин, сотня патронов и две ручные гранаты. И казачья сабля, плеть. И все. Прискакал я в станицу Александровскую за три часа, сдал пакет. Начало вечереть. Хотел было вернуться на ночь в часть, но лошадь пожалел: голодная и наморена. Решил остаться заночевать. «Где,— спросил в штабе писаря,— с вами могу я переночевать?» — «Со всем бы удовольствием,— писарь,— ну ты сам видишь, что нас

много у одного хозяина. Вот я тебе советую, рядом сосед, богатый казак, там никого нет. Для тебя будет удобней. Заедь к нему. Да тут вообче станица пустая, войск нету никаких. Вот только наш штаб и нашего полка тыловой обоз. И все». Я согласился. На пакет взял расписку и выехал. Соседа двор тоже такой, богатый забор, шилеванный под закрой. Вышина такая, что в калитку любая лошадь с всадником, пригнувши немного голову, вполне проходит. Я в калитку постучал плетью, крикнул: «Хозя-аин! Выйди!» Отворяет казак высокого росту, русый, с усами, примерно лет пятидесяти. «Вы будете хозяин этого двора?» — «Я» — и строго смотрит на меня. «Разрешите у вас заночевать?» — «Кто вы будете? И сколько вас?» — «Я один. Красный. Вот у соседа вашего наш штаб полка».— «А, знаю...» Открывает калитку и говорит: «Заезжайте. Снимайте седло, вот в конюшне свободное место. Я сена принесу, за драбину наложу, чтоб хватило на всю ночь». Я сложил седло, сумы и плеть и верхнюю уздечку. «Ну, а оружие понесем в хату».— «Давай теперь закурим»,— говорит хозяин. «Благодарю за предложение, но я не курю».— «Тебя первого встречаю из красных — не куришь. А откуда сам родом?» Я это ожидал, что спросит богатый казак. А на мне вся одежда с ног до головы казачья, мне надо было умело отвечать. Я отвечаю: «Я ваш терский казак, станицы Шелковой Кизлярского отдела. А фамилия Шахворостов Василий Иванович».— «А давно ты у красных?» — «Нет, одиннадцать дней».— «А как же ты попал в мужичий полк?» — «Нашу станицу заняли красные, отец скрывался, красные нашли, убили, а мне вот дали коня и мобилизовали. И я в тылу у них, на передовую не посылают, пакетик привез».— «Пойдем в дом»,— он идет впереди, а я за ним несу карабин, а гранаты я оставил в сумах. Дом богатый обстановкой, много было икон разных, горели лампадки и сидел бородатый старик. Примерно не меньше восьмидесяти пяти лет. И с ним женщина лет пятидесяти, а две молодые (одной лет двадцать пять, второй тридцать). Я поздоровался. Старик спросил сына: «Кто ето такой?» — «Батя, ето наш казак терский».— «А чего ж он у красных служе?» — «Ладно, батя, всяк приходится. На то война внутренняя». Старик было начал ругать большевиков, но сын предупредил отца, сказал: «Вы молчите. Ваше дело помалкивать». Старик скривился, но замолчал. Старшая женщина спросила: «Ну что, можно готовить?» Сын кивнул головой, поворачивается ко мне: «Вот сюда иди в ету комнату, здесь оставляй оружие свое и одежду. Здесь будешь сам спать. Вот на той койке тебе постелют». Я наконец снял

шашку, бурку, шубу, башлык. «А сейчас пойдем с нами вечерять, знаешь, что завтра крещение?»

На столе поставлено было много кушанья. Старик встал со стула, сказал: «Ну, бабы, идите помолимся». Все строго подошли к столу, начали креститься. Старик остановился, и все бросили молиться. Старик первый полез за стол, потом сел хозяин и рядом подсунул стул мне. Сели и женщины. Началась вечеря. Хозяину подали большой чайник и деревянную цветастую чашку. Я не понял, что в чайнике. А в чайнике было налито вино трехлетнее, но я молчал. Налил хозяин полную чашку вина, преподнес старику, в чашку влазило около литра. Старик перекрестил чашку и выпил. Хозяин налил себе, выпил, налил жене — она отказалась, спросил вторую — тоже отказалась. Ну а третьей не предложил, долил полней и поднес мне. Я половину выпил и оробел, вино было пьяное. Покушали. Старик первый вылез помолиться, пошел в какую-то комнату, женщины тоже. Хозяин говорит на меня: «Ты сиди, пока я встану». Налил еще вина, выпил сам, налил и мне поднес: «Пей, спать лучше будешь». Я немножко глотнул и отказался.

«Вот что, казак; здесь против нашей станицы фронта нет, открыто — красных войск нету. Сегодня белая разведка в два часа дня приезжала в нашу станицу к церкви и сказали, что завтра ожидайте нас, приедем в вашу станицу, крестить будем». Я, конечно, хозяину не поверил, подумал, что он меня изучает: как я — сробею или нет. Я попросил хозяина: если есть зерно, то завтра дать моему коню хоть немного. Хозяин сказал: «Ладно, найдем».

Я лег спать, но сам думаю: хозяин ушлый, хочет меня напугать. Но я все же не дал виду. Не может такого быть, чтобы наш штаб полка не знал. И уснул. Крепко.

Утром проснулся, на дворе было видно. Напоили мы с хозяином девять лошадей, я помогал воду с колодца вытягивать и лить в корыто. Напоили коров, овец (больше двадцати). «Ну,— хозяин говорит,— помоги сена заложить, ты лошадям, а я коровам». Я начинаю собираться ехать в часть, ближе к фронту. «Ты куда?» — «Буду ехать, меня ожидают».— «Ничего, живого дождутся. Не езжай. Вот скоро отец придет с церквы, воду принесет свяченую. Пообедаешь хорошо и поедешь. А я сейчас усыплю твоему коню ячменя. Успеешь на передовую еще, война затянется долго, много погибнет людей без вины... Ну вот и отец пришел, сейчас пообедаем».

Вошли в хату; хозяин берет кропило и воду святую, а мне говорит: «Будешь идти за мной и писать кресты ме-

лом». А женщинам сказал: «Быстрей готовьте на стол, а то парень торопится». Ну мы обошли все базы, кошары, катухи — я везде пишу мелом кресты; закончили, пошли в дом, и в доме он кропит, я пишу кресты. «Ну, теперь к столу». Стол был накрыт богатый.

«Чем садиться,— старик,— давайте помолимся». Все стали к столу, лампадки горели, начали молиться по-вчерашнему.

Еще на середине обеда послышались частые выстрелы из винтовок, а затем и пулемет заговорил. Я вздрогнул и хотел сразу встать из-за стола, а хозяин говорит: «Сиди, кушай, это наши казаки приехали станицу крестить, я тебе говорил вчера — вот так и есть». У меня в кармане большевистские деньги, больше ста рублей, и большевистские документы. И вдруг я в плену! Мне сразу петля. Я прошу хозяина: «Пусти, я вылезу, посмотрю, что за стрельба». Вылез, сразу оделся. Хозяин советует: «Не выходи со двора, убьют. Во дворе я тебя спасу». Я все-таки — до калитки, глянул по улице — в ту сторону и в другую. Ездит кавалерия, на шапках белые ленты; против соседского двора, где стоял штаб полка, тачанка с пулеметом, и взяли в плен нашу канцелярию. На улице линейки нашего полка, врач большевиков и казаки верхом. Я закрыл калитку — и в конюшню седлать коня. Хозяин за мной: «Подожди, не смей выезжать». Только проговорил — бьют в калитку. Я быстро из кармана деньги и документы выхватил, кошелек, разгорнул конские говна и затоптал. И стал на дверях конюшни. Смотрю на калитку и думаю: «Все, пропал. Сейчас зарубают или застрелят». Распахнулась калитка, верхом казак в бурке и шапке (белая лента), за ним второй, третий.

Первый увидел меня, крикнул: «Ты кто такой? Большевик?» — «Никак нет, господа! Такой казак, как вы». Тут, спасибо, хозяин бросил закрывать калитку и говорит: «Нет, нет, господа казаки, я за него ручуся, он казак терской станицы Шелковой. Я его прячу от большевиков две недели». Тот первый, в бурке, указал на одного из тех, что во двор заехали: «Оставайся, пусть сейчас седлает коня, и ты его отправь в штаб полка, командир с ним сам разберется. А мы поехали!» Я пошел в конюшню седлать лошадь, хозяин опять ко мне близко подошел и сказал: «Не робей, а то заметно; пусть допрос делают, а ты не бойсь, крой смело; врут, не повесят. Ему волки нужны. Когда останешься в живых, постарайся мне сообчить как-либо». И мы стронули со двора. А сам думаю: «А что я буду говорить, если встретится казак знакомый, а я пленный да вдобавок в полной ка-

зачьей форме. Как быть? Только отказаться, что я терский казак. На одном буду стоять. Фамилия никакая, а Шахворостов Василий Иванович». Так твердо решил. А иначе мне вешалка. Едем по этой станице, смотрю — впереди толпа, стоит подвода, линеечка, и верховых пять казаков. Ближе едем — наши пленные: Бараненков и фельдшер, фамилию не помню, дразнили Кащей, худой был. Вот угадают меня и продадут! Я отвернул лицо, мимо проехали, правда, им было не до меня. Слава богу, прошло; как дальше — не знаю. Конвой помалкивает, только говорит: «Суда». Мы выехали в степь вдвоем, я спрашиваю: «А далеко?» — «Десять километров». Солнце. В полдень приехали в другую станицу, свернули в улицу. Стоит кирпичный дом, висит знамя — полоса широкая белая, ниже синяя, поуже, и еще уже узкая красная. Штаб полка. Казак открывает дверь — сидят много, пишут, открываем вторую — сидит полковник (я сразу снял головной убор), полковник крикнул на меня: «Ты кто такой?» — «Я казак, господин полковник, Терской области, станицы Шелковой, господин полковник».— «Ты что, у красных добровольцем служил?» — «Никак нет, господин полковник. Мобилизовали красные, отца убили, а у меня забрали оружие, мне не доверяли, господин полковник. Я ушел от красных, я у красных три дня был, господин полковник».— «Так вот, будешь служить во втором Черноморском полку, в четвертой сотне, полк сейчас стоит здесь на площади. Явишься к командиру четвертой сотни».— «Слушаюсь, господин полковник! Напишите записку, а то меня не примут». Он крикнул: «Никаких записок! Скажи командиру, что полковник Непокупной приказал записать! Иди!» Выхожу, мой конь стоит. Конвой отвязал своего и уехал — куда, мне неизвестно. Думаю: «Прошла черная гроза мимо моей головы. Что делать дальше? Нету у меня никаких денег и документов. Ехать надо домой. Хотя б узнать, живые родные или нет. А где ж Скиба, что он думает обо мне? Ну, ехать на риск, законов не знаю, поймают — пропаду. Давай поеду в поле дня на четыре, на пять, не больше, придумаю что-либо; может, поездом быстрей и удобней, в толпе лучше уехать». Ну, сел, тронул на площадь этой станицы, а сам твержу: «Второй Черноморский полк, четвертая сотня, командир полка Непокупной!» Приехал к церкви, поют казаки кубанской сотни песни, один табун, второй, третий. Я подъехал к одному табуну, спросил четвертую сотню второго Черноморского полка. Показали: вон. Подъезжаю, отходит от круга казак в бурке. Я спрашиваю: «Скажите, как мне найти командира четвертой сотни?» —

«Я командир. Что вам?» — «Меня полковник Непокупной послал к вам, чтоб вы записали меня в свою сотню. Я терский казак».— «Ага! Хорошо, давай. Взводный! — закричал вовсю.— Четвертого взвода, ко мне!» Бежит среднего роста белявый казак. «Запиши терского казака в свой взвод. А оружие у тебя есть? Выдай винтовку, шашку, пятнадцать штук патронов, вот там в обозной подводе есть». Повели меня к бричке, нашли винтовку, пехотинскую шашку, патроны, а потом вытащил блокнот: «Говори фамилию».— «Шахворостов Василий Иванович».— «Сейчас ночевать будем, квартирьеры приедут и поедем по квартирам». Через десять — пятнадцать минут команда: «По коня-ам!» Стали в строй, смотрю, все черноморцы станицы Кореневской, Дядьковской, Платнировской. Но знакомых не вижу. «По пять человек во двор!» И я поехал пятый во двор. Три женщины, одна пожилая, две молодых. Повязали лошадей под скотным сараем, сена нету, наложили соломы пшеничной. Был небольшой мороз. Кручусь я на дворе, много думок, ничего не придумаю, что дальше делать. Зовут в хату: «Терец, терец, иди скорее ужинать». Уже сели. На столе две сковороды сала с яйцами нажарено, самовар шипит. «Ого,— думаю,— вот где правда. Вчера у красных, сколько прошел станиц, ни разу так не угощали, даже за деньги и то плачут: «Нет хлеба, нету сала», а тут вот как белых кормят, я-асно. Выходит, что белым последнее отдают: куда там завоевать красным. Пропал мой Скиба. Но все равно я стрелять на него и соседей не буду. Посмотрю завтра, вырвусь домой, а там пусть вешают дома, пусть соседи увидят, как казаки казнить будут меня». Сел ужинать, кушать хотелось. Я у того хозяина не наелся. Шестого января в плен попал и шестого к вечеру с белыми за одним столом. И думаю: что было б мне, если б они знали мою тайну! Но терпи, душа: возможно, я добьюсь своей цели. Поел сала вволю, выпил чаю два стакана. Хозяйки бегают веселые; наверно, ихние мужья в белых. Ну ночь. Спать. В большую комнату принесли соломы, хозяйка внесла длинную полость, раскатила по соломе. «А подушек,— говорит,— нету».— «Спасибо за это». В хате тепло, я шубу свою в голова, а буркою укрылся. Остальные двое легли, а двоих нету. Шутят где-то с молодыми хозяйками. Я сразу уснул. Слышу, кто-то дергает. Я луп — в хате темно, отзывается казак: «Терец, терец», гукает тихонько. Я ответил: «Что такое?» — «Вставай!» Я думал: тревога. А он шепчет:

«Иди, вон в той комнате дерут хозяек».

«Я не пойду. Я больной, у меня живот болит».

И уснул.

Седьмого рано утром поднялись, опять сало жареное и большой самовар шумит. Вот, думаю, дела! Как хозяйкам не стыдно! Позавтракали, бежит посыльный верхом: «Выезжайте к командиру сотни, быстро!» Оседлали и выехали. Тронулись в ту станицу, в которой я попался в плен. Ну, думаю, как же заскочить к тому хозяину, который меня спас от смерти, он просил меня. Спрашиваю с моего взвода, того, который будил меня ночью, говорю: «Слушай, давай заскочим в ту хату, там казак хороший, знаком мне, на одну минуту». Он ни слова: «Давай свернем». Заскакиваем, я постучал, вышла жена хозяина: «Его нету, ушел в правление». Я попросил: «Скажите, что я во втором Черноморском полку, все в порядке, а хозяину большое спасибо». Она угадала, засмеялась. Нагнали свою сотню, выехали со станицы колоннами, нигде никто не стрельнул, едем в город Георгиевск. На дороге брошенные ломаные подводы, больные раненые лошади, кухни бросили большевики. Нашему полку якобы было задание брать город Георгиевск, но почему-то его бросили красные и отступили без боя. В Георгиевск зашли первая Черноморская конная дивизия, второй Черноморский полк. Мне наряд — мост охранять на окраине города. Я вижу, что плохо, с той стороны стреляют редко с винтовок, там Скиба и все соседи — и вдруг убьют меня? Нет, не пойду в караул. Сразу к взводному, заявляю, что у меня сильно заболел живот и понос, я не могу идти в караул на мост. Он позвал санитара, тот дал пилюлек — две, глотай сейчас, от караула освобождаю. Я не пошел мост охранять, там, где взводный, там и я дремал до утра. Рано утром сняли наш взвод с моста, пришла пехота на мост, наш полк на площадку в конце Георгиевска выстроили 8 января 1919 года в одну линию, и стоим, кого-то ожидаем. Вот бежит сотня, видно черкесы, и на палках знамя, и верхом сам генерал Покровский. Добегают рысью, он кричит: «Здравствуйте, братцы казаки, второй Черноморский полк!» Пробежал до конца, здоровался с каждой сотней, назад шагом.

«Благодарю вас, господа казаки, за взятие Георгиевска».

А потом указывает, что впереди, что взять. Кричат: «Постараемся, господин генерал!» И уехал, откуда приехал. Пришли командиры, говорят: задание — сегодня взять хутор Орловский. «По коням!» Едем, стрельбы никакой. Остановились. Командир подходит: «А где терец?» Указали, подошел поздоровался.

«Ну что, терец, ты, видимо, журишься, тебе скучно с черноморцами? Вот скоро займем твою станицу Шелковую,

то мы тебя атаману сдадим. «Возьми,— скажем,— господин
атаман, своего казака, а нас за то, что сохранили целым,
угости вином. А может, у тебя в доме найдется вино? То мы
напомни-им. Смотри, не поскупись, угости, если есть».

«Было спрятано две бочки, одну разопьем всей сотнею».

«Смотри,— повзводному,— береги терца, чтоб жив бы
будешь со своими станичниками, тебе будет веселей».

«Ого,— думаю,— откладывать нельзя ни одного дня, а то
в Шелковой повесят. Что-то пора придумать».

Если бы пошел бой, я бы себя ранил в ногу. Нету! Боль-
шевики отступают без боя, не догонишь и не знаешь, где
них ближе фронт. Как сделать? Голова кружится. Один вы-
ход: ранить себя так, чтоб не заметили. Если я сумею себя
ранить (хотя легко), я отстану от этой части, то еще пожи-
ву, иначе мне петля.

Без боя поздно вечером приехали в хутор Орловский.
Команда подалась: «Повзводно во двор, отпустить подпруги
в седлах, а седла не снимать».

Заезжает мой взвод во двор — бедный, хатка камышом
крыта, во дворе стожок соломы пшеничной, сена нету, ма-
ленький сараишка, одна сторона без стены. С вечера потя-
нуло на мороз и начал идти снег. Весь взвод спешили. В ха-
ту — покушать, все голодные как собаки, а мне не до еды,
решаю судьбу свою. Придумал найти во дворе какие-либо
вилы и прохромить правую руку — и завтра в госпиталь,
а они пусть гонятся за большевиками. Хожу по двору, в
сарай, ищу вилы. Нашел вилы с двумя рожками. Рожки
толстые и концы тупые, не нравятся, тяжело прохрамли-
вать ладонь: держак длинный. Но других не нашел, темно,
снег идет тихий с морозом. Но как сказать, если прохромлю
ладонь? Решил так: прохромлю и с собой беру вилы, так
в хату к взводному и буду ругать: кто, мол, устроил вилы
держаком в скирду в солому, а рожками наружу? вот я
разогнал руки в солому насмыкать коню, а оно темно, и про-
бил ладонь на эти вилы. Так и сделал. Встромил держак по-
крепче в землю, чтоб не посунулись вилы, наложил мякиш
правой руки между большим пальцем и указательным, ле-
вой сверху, для того, чтоб крепче надавить, и глаза зажал.
Как давану на рожок! Так на четверть наружу выскочил
рожок вил! Сразу выдернул назад! Затошнило, оглянулся
кругом никого нет. Я эти вила под руки и в хату. Кричу:

«Господин взводный! Какой дурак встромил вилы в соло-
му держаком в скирду, а рожками наружу?! А я пошел
коню смыкать соломы, разогнал руки, хотел больше выдер-
нуть и... вот на рожок, пробил ладонь. Вот эти вилы!»

«А как узнать, кто встромил? — взводный.— Выбрось их на двор, я сейчас скажу фершалу, пусть перевяжет руку». Фельдшер посмотрел, помазал йодом, забинтовал. И все.

В хате было тесно, никто не раздевался, лежать негде. Я сел в углу, там, где рогачи стояли и кочерга; руку дергает, думаю: вот все, она до утра распухнет, и я в госпиталь. А там мимо и домой. Рука беспокоила до полночи, а потом тише. И я уснул, сидя с рогачами. Утром санитар вскакивает в хату, говорит: «Кто больной? К врачу!» Врач сказал: «Ехать только с обозом». И все. Пропала моя надежда и весь мой труд. Что делать дальше? Надо только стрелять, лишиться ноги или руки, иначе весь пропаду — близко Шелковая станица, а большевики отступают без боя, в день двадцать — тридцать километров. И вот утром девятого января девятнадцатого года поехали в направлении на станицу Государственную, от хутора Орловского примерно двадцать километров. Приехали без выстрела, станица громадная. Поставили квартирьеры меня и еще трех казаков в бедный двор. Молодой казак недавно построил хату и конюшню, колодца во дворе нету, хозяйка молодая, две девочки маленькие, сидят на русской печке. Я решаю ночью что-то предпринять. Рука моя проклятая уже не чувствует боли, надо что-то сильней, мне не спится. Утром хозяйка встала, зажгла лампу, поднялись и мы втроем, на дворе было видно. Пошли к лошадям. Вот бежит вестовой верхом на лошади, кричит: «Давайте за завтраком! Берите у хозяйки посуду, получите с кухни!» Кто ж пойдет? Я ответил — не могу, рука у меня болит. Взял казак ведро и пошел за завтраком. А второй казак пошел чистить коня. А хозяйка взяла цибарку и пошла через улицу по воду. Малые две девочки сидят на русской печке. Я в то время сообразил выход с тяжкого положения! Быстро в хату, пока никого нет, вытащил обойму патрон с шубы и в чужую винтовку зарядил один, на боевой взвод поставил и к столу все три винтовки поставил, заряженную винтовку приметил по ремню. Сам вышел с хаты в конюшню и думаю: хозяйка принесет воду, она винтовки не тронет, а надо только, чтоб этот казак, что в конюшне чистит лошадь, не пошел в хату до тех пор, пока второй казак принесет завтрак. А по-военному завтрак — быстро, не чухаются. Я рассказываю этому казаку дребедень, дабы он только не пошел в хату, а то он уберет винтовки от стола, тогда пропал мой план. Стою на дверях конюшни, разговариваю казака, а сам посматриваю на ворота, чтоб не прозевать, когда будут нести завтрак. И думаю: вслед идти в хату буду я, затем казак с завтраком, а завтракать будем на

столе, а там приставленные винтовки, их нужно будет убрать — то я охотно схвачу эти винтовки и буду переносить в какой-либо угол и наложу большой палец левой руки, потому что правая больная, и прикладом крепко об землю толкну, пусть летит большой палец, дабы я сам остался целым. В станице Шелковой мне вешалка. Но так и получилось. Вот открывает казак калитку, несет ведро с супом: «Пошли завтракать, а то скоро выезжать будем». Я за казаком вслед. «Кто винтовки поставил к столу?» — «Не знаю, говорю.— А что, прибрать?» — «Да мы же завтракать будем на столе».— «Я сейчас уберу».

Хватаю в левую руку заряженную винтовку под мышку, большой палец кладу на дуло, в правую беру две и несу в угол, где рогачи стоят. Приподнял левой рукой заряженную, толкнул раз об землю — не выстрелила, я приподнял второй раз выше и крепко нажал на руку. Как выстрелит, пуля разрезала большой палец и пошла в потолок. Я испугался, как будто неожиданно; с руки, то есть с пальца, потекла кровь. Казак, что принес суп, выскочил и ушел доложить взводному. Бежит взводный!

«Чья винтовка заряженная?»

«Моя»,— казак.

«Вот тебе наряд: два дня вне очереди дежурить за его! Чтоб знал, что в тылу винтовку надо разряжать».

Завтрак никто не кушает. Я пошел со взводным к врачу.

«Перевяжи палец».

«В госпиталь направлю. Чья лошадь, твоя?»

«Нет. Дадена. И седло даденое».

«Фершал, запиши фамилию, имя, отчество».

Я хотел было заменить фамилию свою, но тут стоит взводный,— нельзя. Ладно: Шахворостов Василий Иванович.

«Иди сдай лошадь, седло, оружие и что твое — забери с собой. Приходи сюда, я тебя отправлю в полевой госпиталь».

БОИ

Красные отступали к станице Урупской.

С боем прорвавшись через Синюхинские хутора, белая бригада завела на окраине какой-то станицы лошадей во дворы. Казаки пили чай. Внезапно принесли донесение о бое на переправе. Толстопят поехал туда.

С кургана было видно, как за оврагом залегла цепь про-

тивника. Впереди них, в двухстах шагах, за скирдами соломы притихли две сотни казаков. И вот из оврага поднялась густая лава красной конницы. Было ясно, что на плечах казаков красные ворвутся на батарею, стоявшую за курганом. Так и вышло. Команда «на задки!» не помогла. Было поздно: неприятельские всадники уже опрокидывали орудия.

Толстопят побежал к кукурузному полю; в стороне врассыпную скакали казаки и бежали артиллеристы.

— Господин подъесаул! — услышал Толстопят.— Возьмите мою лошадь.

Толстопят отказался. Офицер настаивал, продолжая ехать рядом с ним.

— Не возьму, не возьму. Скачите в хутора, ведите сюда линейцев и черкесов.

Вдали скакали навстречу три всадника. Толстопят схватился за револьвер. В эту минуту показалась лазаретная линейка с сестрами милосердия и раненым полковником. Толстопят побежал, догнал ее и вскочил на ходу. Всадники стали отставать.

К вечеру белые части достигли реки Урупа. Урупская и Бесскорбная несколько раз переходили из рук в руки. Наконец седьмого октября пала станица Урупская.

Красные отошли на правый берег. Дул уже северный ветер. Бригада, в которой был Толстопят, зашла в тыл противника.

РАССКАЗ АКИМА СКИБЫ

Мы отступили к Урупской, заняли позиции на высоком правом берегу. Последние дни осени были сухие и жаркие. Мы там очень страдали без воды. Я решился на отчаянный поступок. Я знал, что за экономией в камыше под бугорком есть отличный родник. Сказав ребятам, что иду по воду, я взял котелок и спустился вниз. На их предостережение, что меня могут убить кадеты, я уверенно ответил: «Не убьют!» С экономического сада я забрался во двор. Известно, что человека, идущего к вражеской позиции, тем более если он один, ни за что не станут убивать издали, а засады в экономии я не боялся — она была на нашей стороне Урупа. И в обед едва ли кто из кадетов останется в ней. Пройдя через двор, я выбрался на открытое место, начал снижаться к роднику; припав к холодной струе, я пил ее и пил, и не только за себя, но и за всех моих жаждущих товарищей, после чего, полежав немного, я еще раз напился и, набрав

котелок воды, беспечно пошел назад, думая про себя: мож... не заметят? Но меня заметили. Едва я прошел десяток ш... гов, как рядом со мной в кремнистый берег начали впива... ся пули. Тогда я, стараясь не разлить воду, упал и пр... творился убитым. Стрельба сразу прекратилась, и я, подб... рая под себя ноги для нового броска, злорадно дум... «А что, чертовы души, взяли большевика?» Я схватился и дал деру. Я уже подбегал к амбару, как пуля врезалас... в него, а вслед за нею раздался дружный залп, но четы... стены амбара с закромами надежно прикрыли меня. Во... было всего полкотелка. Взводный, передавая его, сказ... «Только по глотку, и по женскому, а не по обычному».

Мы отступали и дошли почти до станции Свечка. Пот... четыре дня опять наступали на Урупскую. Белые, разма... вая шашками, бросались в атаку из-за холма; во все д... перед нами были только небольшие кавалерийские груп..., которые, обстреляв нас, безнаказанно уходили, да изред... било по нас орудие. Во время наступления перед наш... цепью бежали зайцы; один из них затаился в траве и был пойман нашим бойцом. Как заяц, бедный, жалобно крича...! И боец пожалел его, кинул его назад цепи. На спуске к Ур... пу нас встретил жестокий пулеметный огонь; многие по... жали вниз по дороге, но я решил скатиться с крутизн..., вполне уверенный, что по одному стрелять не станут, а н... встречу мне на крутизну мчались зайцы. Мы перешли Ур... и вдоль дороги окопались и заночевали. На другой день бе... лые в пешем строю пошли из-за холма на нас в атаку. В... они уже близко.

— Бей золотопогонников!

Белые понеслись обратно. Пулемет их косил без пощад... Вдалеке из-за увала выскочил офицер на серой лошади и стал лупить плетью отступающих.

— Бей его, гада! Это офицер!

Старик, некогда охотившийся на диких свиней, прице... ся, и через минуту офицер упал с лошади.

А через две ночи к нам в тыл зашли белые, и мы, пер... дя Уруп, окопались на правом берегу, но через день в пр... рыв между нашими солдатами вклинилась белая кавалер... Нас осталось тринадцать человек.

Какая-то животная покорность овладела мною, я по... рял способность сопротивляться. «Вот это так, значит, бе... рут в плен»,— подумал я. Оглянувшись вокруг на пуст... степь и не видя себе поддержки, я, следуя примеру друг..., воткнул винтовку штыком в землю и пошел навстречу бе... лым с поднятыми вверх руками. Теперь меня уже не ин...

ресовали пробегающие с пустыми седлами кони. К старику, позавчера убившему всадника на серой лошади, подъехал пожилой казак и со словами «Тебе стрелять?» всадил ему пулю в живот. На нас кто-то почти в упор резанул из ручного пулемета, но, видно, от волнения плохо прицелился — пули просвистели у меня над головой, не задев.

— Стой, не стреляй! Скидай шинель! — сказал уже мне низенький казак.

Отдавая ему шинель, я увидел, что поперек седла у него уже висело еще три или четыре шинели.

— Марш, догоняй своих!

С горы я с тоской посмотрел на жидкий кустарник. Даже скрыться негде. А то бы удрал. Я почему-то был уверен, что нас всех расстреляют, и, вспомнив свою бабушку, три раза набожно перекрестился. Уже вечерело, когда подошли к аулу, в котором недавно наши поживились; воспользовавшись тем, что жители разбежались, брали все съестное, стащили в окопы кто ведро муки, кто курей, кто горшок молока, некоторые взяли жаровни и там в окопах жарили семечки, пекли на шомполах кочаны кукурузы, а кто варил галушки. Да простят мне все, кто считает большевиков непогрешимыми,— нас плохо кормили, а то черт бы нас заставил грызть эту крепкую как камень кукурузу. В этом ауле я все же сделал одно доброе дело. В одном дворе увидел я в базу привязанного к пустым яслям истощенного жеребенка. Он призывно заржал. Несмотря на то что по мне начали стрелять, я отвязал жеребенка и вывел его на улицу, и он пошел к Урупу, качаясь на своих тонких ногах и как будто благодарно кивая головой. И вот я вторично в ауле, уже пленный. Какой-то казак пропускал нас между собою и плетнем и нещадно лупил плетью.

Окруженные с двух сторон сплошным конвоем, мы в сумерки повернули к Урупской.

Казаки спрашивали, нет ли среди нас матросов. Все молчали. Потом они начали обсуждать результаты сегодняшнего боя.

— Там их навалили, лежат как снопы.

— Если бы я знал, кто вчера гнался за есаулом Толстопятом, я бы его изрубил, как капусту! Эй, краснопузые! Кто из вас вчера тройкой гнался за нашим есаулом?

— Та они и сегодня добры. Ты им кричишь: «Стой!», а они станут та по нас залпом, та залпом.

Но вот в разговор конвойцев вмешался кто-то из наших, он начал восхвалять казаков и насмешливо отзываться о большевиках.

— Вы знаете,— говорили,— какая у них паника бывает! Как смешаются обозы с войсками та с беженцами, так сам черт не разберет, кто кого душит та кто на кого стреляет. Дрожь бегает по-за шкурой.

— А ну замолчи, собачья твоя душа. Ластишься, как цуцик. Ишь, добрый. А ты у них, должно, был первым оратором? Подлипайло.

В Урупской нас загнали на верхний этаж кирпичной школы и наутро выстроили во дворе для расправы. За ночь люди осунулись. На нас посыпались насмешки, на которые кубанцы большие мастера. Вдоль строя прошел черноротый казак-корниловец с черной каймой вокруг погон и такой же ленточкой поперек и белой лентой навкось через папаху.

— Вот-так большевики, вот так чудо-богатыри, гадко и на щепку взять. И скажи, пожалуйста, этим большевикам ще добрых три года треба по-под стрихами воробьев драть.

Казаки засмеялись; они сейчас бы ни за что не поверили, что удирали с бахчи именно от нас. Но вот вышло к строю начальство.

— Кто среди вас комсостав? — Мы молчали.— Так что, у вас нету комсостава? Я вам русским языком говорю: все отделенные, взводные и командиры шаг вперед!

«Все равно будете расстреливать всех, так зачем вам командиры? Тем более что они у нас выборные».

— Если не выдадите командиров, через одного буду расстреливать! Отправлю, как вы недавно генерала Бабыча в Пятигорске, нюхать фиалки.

И тут в наших рядах кто-то сказал:

— Ну что, ребята, выходите, не пропадать же всем...

И командиры вышли.

— Вот этого тоже надо,— подошел и показал казак на нашего товарища.— Его брат в нашей станице все ораторствовал.

— Так то ж брат, а не я.

— Выходи! — сказал офицер.

Наших командиров увели на расстрел, а нас загнали опять в школу.

Люди сели молча вдоль стен, всем было как-то не по себе. А я взял из шкафа газету «Великая Россия» и стал читать.

Так. Что там творится на белом свете? В Екатеринодаре белые. Таскают тех, кто «совершил преступление при большевиках». Уже и вождь Добровольческой армии генерал Алексеев сдох в доме Ирзы. «Честь! Отечество!» В здании первого реального училища устраивается грандиозный бал

маскарад в пользу семей павших участников этого самого похода. Цена билета с шампанским пятьдесят рублей, без — двадцать. Идет предварительная запись на столики к Новому году — в здании первой женской гимназии, в той гимназии, где я в дни обороны города от Корнилова сидел на Втором съезде Советов. Баня Лихацкого по-прежнему то́пится. Речь генерала Деникина: «Настанет день, когда, устроив родной край, казаки и горцы вместе с добровольцами пойдут на север спасать Россию, спасать от распада и гибели...» Судят доктора Лейбовича, обвинение: в ночь на 1 марта 1918 года, когда Рада покидала Екатеринодар, Лейбович приступил к организации власти и порядка и готовил встречу революционным войскам к утру. Ну а что там на последней полосе? «Благородная дама предлагает свое большое терпение для больного». На памятнике Екатерине II недостает нескольких сотен букв и деталей. Утерян лорнет! Ушел со двора щенок Шерри! «Ищу офицеров лейб-гвардии Уланского Его Величества полка».

На меня зашикали. Я бросил газету и подошел к окну. Далеко-далеко белели вершины Кавказского хребта. О как мне тогда захотелось скрыться в тех снежных горах!

Вошел офицер, легонько тронул меня сложенной вдвое плетью по рукам (руки надо опустить); он был ниже меня ростом, глаза серые, губа надменно выпячена, кривые тонкие ноги замотаны; если бы с него снять одежду, он бы смахивал на лягушонка.

«Дать бы тебе сейчас по уху, чтоб аж твои курячьи ноги поломались!»

— Кто из вас служил в четырнадцатой дивизии?

— Я! — сказал и вышел один из бойцов.

— На австрийцев в атаку ходил? Кем ты служил?

— Артиллеристом!

— Потеряли всю Галицию, Буковину! У меня служить будешь?

— Так точно, ваш-ство!

«Вот и есть один предатель»,— подумал я.

— А еще кто желает служить у меня?

Но таких не оказалось.

— Этого обмундировать, а с остальных снять все казенное.

К вечеру нас, босых и раздетых, погнали на Армавир. Мы тесно прижимались друг к другу, спасая себя от холодного ветра,— по-видимому, мы тогда были похожи на кучу толпящихся баранов.

В Армавире мы заночевали на потолке сарая. А на дру-

гой день нас спустили в бетонный подвал, в котором воды было почти по щиколотку. Просидели мы там день или два. Жрать хотелось до безумия. Армавирские женщины, отогнув с улицы густую сетку на окне подвала, бросали нам всякую снедь. Наконец нас выстроили во дворе. Один из офицеров сказал:

— Ну что, сволочи, наелись свободы? Копала свинья землю, ну и копай, так нет же, равенства захотелось! Самодержавие сменить хамодержавием? Проклятые картузники хотели завоевать казаков? Нет, не удастся. Не удастся тем ремщикам казаками командовать. Мотня рваная... Не было этого и не будет во веки веков.

Мне не было страшно даже когда он сказал: «Расстрелять каждого десятого!» Мы в это время стояли и курили. Дело в том, что, пока он нас ругал, какой-то офицер шел вдоль рядов и давал каждому по папиросе, а через каждые десять человек давал одному прикурить, шепча при этом: «Не бойсь, не бойсь...»[1]

Нас опять спустили в подвал. «Значит, расстреливать не будут, раз не отсчитывают десятого». Но, когда я дошел почти до двери, казак, преградив винтовкой дорогу, сказал: «Хватит, там и без вас тесно».

Нас, человек сто, вывели на улицу, где ждал нас конвой. И погнали нас в сторону Константиновской. Шли мы очень долго. Потом была подана команда «Стой!».

«Неужели тут, прямо на дороге, будут расстреливать?»

В это время на взмыленном коне примчался казак, отдал конвою бумагу и, соскочив, стал рвать пучки стерни и стирать с коня хлопья пены.

— Ну, голодранцы, поворачивайте назад, на Армавир.

Конвойцы повеселели и заулыбались.

— Видно, меж вами счастливая душа, за яку мама добре богу молится.

В подвале я заболел, и меня отвезли в больницу имени Довжиковой. В комнатах лежали раненые кадеты, а в коридоре — большевики, другие няни тут ухаживали. Над головой у меня на стене висел скорбный лист, на нем писали температуру. Лежу и смотрю в потолок, а там вертится черная точка, но вот она все ниже и все больше и больше, вот сейчас задавит. Как-то утром проснулся и увидел, что я привязан к кровати простынью.

— Жарко? Жарко? — спрашивала няня. — Ой, большевик, большевик. Ху-удой.

---

[1] Офицер тот был Толстопят.— *В. Т.*

В бреду я ругал кадетов на чем свет стоит, и один офицер ударил меня поясом.

— Кто вам дал право? — спросила женщина-врач.

— Он меня оскорблял. Он большевик.

— Медицина делит всех на больных и здоровых, но красных и белых з д е с ь нет. Это вы у себя в штабах разбирайтесь.

Вскоре я поправился. Няня маленькая обняла меня, повела в раздевалку.

— Ну как он пойдет, ну как он пойдет? — ахала она.— Пара белья да тонкая рубашка и брюки, а на дворе ветер.

Она где-то достала чувяки, носки и портянки, солдатскую шапку, в которую я нырну́л как в кадушку, хотела дать и шинель, да она была сильно в крови. («Эти кадеты такие дураки, на ком больше крови, того больше бьют!»)

Так в одной рубашке я и ушел, на дворе меня ждал конвой.

Меня отвели в штаб, где спросили, какой я части и откуда родом да где проживаю. После штаба увели меня в подвал, на этот раз хотя и бетонный, но сухой; несмотря на то что там людей было очень много, там было и сильно холодно. Подстелив под себя кусочек рогожи, скорчась в три погибели, я застыл как пенек. Очень долго я так сидел скрючась и от нечего делать слушал, как кто-то высокопарным голосом проповедовал смирение. Кто-то сболтнул, будто в Москве на Лобном месте соорудили памятник Стеньке Разину из деревянных шпал. Под утро я свалился и уснул мертвецким сном. Проснулся — уже было видно на дворе; в подвал зашел офицер и разделил нас по отрядам. Поднимаясь, чтобы встать в строй, я понял, что от холода у меня отнялась левая нога. Нас вывели на станцию. Пронизываемые холодным ветром, мы стояли в строю, цокая зубами. Но вот нас, к великой радости, загнали в товарный вагон, где мы, сбившись в куток, надеялись согреться. Поезд тем временем тронулся.

В Усть-Лабинской нас тоже загнали в подвал с нарами и деревянным полом. Зная от пленных, что по ночам в подвалах немилосердно избивают, я залез под нары и в самом куточке согнулся калачиком. Прошло порядочно времени, пока загремели запоры, дверь отворилась, и в подвал вошел один человек. Я видел только его ноги.

— Есть казаки?

— Мы,— разом ответили два парня.

— Хороши, голубчики. Так вы тоже свободы захотели? Простительно вон тем голодранцам, а чего вам надо? У вас

права, у вас земля. Так вам еще чего надо? Здесь вам глаза черви выедят.

— Скоро мы поменяемся ролями. Вы, офицеры, будете сидеть в подвалах, а мы вас охранять,— сказал казак.

— Этого быть не может!

Две звонкие пощечины огласили тишину. К счастью, офицер скоро ушел, и до утра мы спали спокойно.

На другой день нас повели в комендатуру, поместив за железными воротами. И сейчас же через ворота женщины стали нам подавать милостыню: кто булочку, а кто просто кусок хлеба, кто пару или больше бубликов, кто большую булку. О милые, добрые русские женщины, вы всегда готовы помочь страждущему, и нет той преграды, куда бы не проникло ваше любящее сердце. За все время плена нас ничем не кормили. Мы только и жили что подаянием, а у ворот появлялось женщин все больше и больше. Конвоец-казак расхаживал тут же, принимать милостыню нам не запрещали, но требовал, чтобы женщины не толпились у ворот и, по-видимому, злился. Но, не зная, на ком сорвать зло, накатился на меня. «Оцей, бисовой душе, не давайте, хай здыхае, воно тоже, г... паршивое, ходило стрелять казаков» И наши пленные, деля милостыню, не стали давать мне ничего. Казак, расхаживая, наблюдал за выполнением своего приказа. Я сидел понурый под стеной и вдруг услышал, что меня дернул за рубашку сосед. И тут же в мою руку попала булочка. Когда конвоец не смотрел на меня, я поспешно жевал. Но вот на посту казака сменил черкес. Видя, что все едят, а я нет, он сказал: «Твоя зачем не кушай? Ево тебе не давай?» Он подошел к воротам и, подставя полу своей черкески, сказал женщинам: «Давай, давай, ми знай» — и, собрав кило два всякой снеди, он принес и все высыпал передо мной: «Кушай!» А заметя улыбки на лицах остальных, сварливо сказал: «Что ваши зубы покажи, разве я не правда сделал? Ваша душа, а его собачья, а?»

Вскоре одна сердобольная старушка подарила мне женскую кацавейку, и, хотя в ней было полно гнид, мне все-таки стало теплее. Тут же, перед воротами, остановились два верховых казака. Вызвав по списку группу людей, в которую попал и я, погнали нас дальше.

Шли мы, ярко светило обеденное солнце, на дворе было тепло, как весною.

Степь уже просохла, шел я и слушал хвастливые речи конвойца — как они, изменив большевикам, перешли на сторону белых и как они вон там, где спускается с увала дорога, изрубили два полка. Одетый в куцую кацавейку, в

огромной шапке, я вызывал насмешки конвойцев, да и другие, чтобы им угодить, посмеивались надо мною.

— Эй, малый,— сказал один конвоец мне,— богато побил казаков?

— Кажется, ни одного,— серьезно ответил я.

— А все ж стрелял и добре целился?

— Целился как следует.

— Дать бы тебе плетей, сукиному сыну, шоб ты знал, як воюют. Куда тебе идти?

— В Марьянскую.

— Жаль, там тебя бить не будут.

— А может, будут?

— Сразу бить не будут. Сперва соберется суд стариков, а там посмотрят: если много нашкодил, то будут бить, а нет, и не будут. Сейчас бить зря и особенно по дороге строго запрещено. А то, думаете,— показал на меня,— я оцему вышкварку не дал бы плети? Ого, аж шкура б полопалась.

Наш этап казаки прогнали через всю станицу Пашковскую, где нас предупредили, что нынче ночью такой же этап был посажен в подвал атамана, а потом пьяный атаман и конвой порубили арестованных. У духана стоял старик городовик в шапке с белой лентой наискось. Белые приказали всем мужикам носить белые ленты на шапках.

Около правления станицы на бревнах сидело несколько стариков. Один из них подошел к нам и, тыча мне палкою в живот, сказал: «Оця, бисова душа, тоже ходила на казаков воевать». Глядя на его черную бороду, я спросил: «Дедушка, а у вас есть сыновья?» — «А тебе какое до них дело?» — «Да я думаю, что они могут попасть к большевикам в плен». Брызжа слюной, старик крикнул: «Господа старики, идитека сюда та послухайте, що ця гнида маринованная каже! А где ты видел, шоб казак сдался в плен? Та он скорее костьми ляжет. Ах, ты, гнида маринована!»

Медленно подходили другие старики.

«Наверно, сейчас начнут бить»,— подумал я.

Но, на мое счастье, в правлении открылось окно, выглянул оттуда атаман, крикнул:

— Господа старики, отойдите от пленных! Что у вас власти нету? Власть сама знает, с кем и как расправиться.

И сейчас же между мною и стариками просунулась голова лошади конвойца.

— Затворить их в каземат! — крикнул атаман.

В каземате было сухо и тепло, на земле валялась солома, я с удовольствием растянулся на ней.

На другой день завели нас прямо к атаману, и опять я оказался самым передним.

— Ай да вояки! — сказал атаман.

Присутствующие засмеялись. Не успел он задать мне два-три вопроса, как сзади послышался шепот: «Скиба. Скиба...» Ко мне протискивался огромного роста угрюмый казак.

— Что тебе надо? — спросил его атаман.

— Да вот его сестра оставила мне его одежу и просила, если увижу, так чтоб дал ему кусок хлеба, так вы, господин атаман, пустите его до меня, хай повечеряет та переночует.

— Нет, не пустим. Передачу можете сделать. Затворить их в казематку!

Угрюмый казак принес мне нашу расейскую свитку, кусок сала и хлеба, и я поверил, что была у него Федосья и за меня просила.

Наутро меня посадили на подводу, в том числе и казака-конвойца, и отправили в Екатеринодар; там я пробыл три дня. Казак повез меня домой и по дороге рассказывал, как он был у белых в обозе.

— Вот тут,— показал он кнутом на рвы,— стояли таманцы, а отак казаки, на штыки не сошлися сажень на десять, и казаки кинулись тикать; тикают, а они по них бьют, а они по них бьют, та с орудий, та с орудий. И только орудия як гром гремит, а пулеметы аж захлебываются. Все за ними как в котле кипит. Дивлюсь я, а казак лежит и кишки сверху, просит: «Дай воды». А я-й думаю: «Ой, голубчик, та где ж я тебе воды достану?»

Хитрый казак так сложил свой рассказ, что он якобы жалел белых и ругал таманцев, но я чувствовал, что у него язык с душою не сговорился. Конвоец молчал, а я смотрел вперед. Далеко впереди маячила одинокая фигура, и чем она становилась ближе, тем яснее что-то знакомое в ней казалось мне, уже до нее версты полторы, идет она как-то по-утиному, одна-одинешенька. Кто его знает, может, дома тоже все погибли, она и идет от горя сама не зная куда. Поравнявшись с подводой и увидя меня, Федосья весело сказала: «Ага, ты, значит, идешь до дому?» — «А ты куда?» «Тебя встречать!» — «Как будто ты знала, когда я вернусь».— «Знала,— уверенно ответила Федосья, берясь рукою за подводу.— Кадеты хвалятся, шо загнали в бутылку большевиков, осталось только пробку заткнуть».

В правлении казак отдал мой сопроводительный пакет; вскрыв его, писарь в присутствии старшины стал читать

в течение семи дней меня должны были приставить в город Екатеринодар.

— Хорошо им так писать, а где взять обмундирование? — сказал старшина, жирный и брюхатый человек.

— Что же с ним делать? Затворить, что ли? — спросил он у писаря.

— Зачем? Пусть идет домой да хоть воши стряхнет. Ты не убежишь?

— Нет.

— Ну и хорошо. А завтра придешь, мы тут кое-чего запишем. Ну, вали.

Федосья повела меня к своей хате в станицу.

— А почем ты знала, что я еду?

— Сказали. Я была в Екатеринодаре у самого старшего, и он сказал, шо я вашего брата пришлю домой...

Перед кем она унижалась и кого просила, осталось тайной; она все просила, чтобы ее допустили до самого старшего, говоря, что расскажет ему всю правду. Кто ее принимал, она не знает, но принял ее, по-моему, в доме братьев Тарасовых есаул Толстопят.

— Кто ж он? Начальник тюрьмы или городской голова? Какой он на вид?

— Какой там голова. В черкеске, с крестами та медалями, красивый есаул, та ще бляхи на нем висели.

— Он сам был в комнате или еще кто с ним?

— Двое было не наших, в зеленой одежде и с великими карманами.

— Они вас о чем спрашивали?

— Не, они сидели в сторонке, шось шептались меж собою, и один чегось изредка окейкал. Я как вошла, то он меня спросил: «Шо вы хотели?» — «Мой брат у вас в плену. Так я хотела его повидать».— «А вы знаете, что ваш брат враг Отечества?» — «Ни-и, мои братья не враги, мой старший брат три года бился с турками, и не его вина, шо русские стали биться меж собой, а ему ж треба було стать на якусь сторону».— «А где ж ваш старший брат?» — «Убитый».— «Кто ж его убил?» — «Кадеты. Они ще в марте месяце как пошли вместе с Корниловым через нашу станицу, то наши солдаты бились против них, от тогда его и убило».— «А сколько вашему брату, вот этому, что у нас в плену, лет?» — «Тридцать».— «Так он, значит, добровольно пошел к красным?» — «А то якый бы из его был брат, шоб сидел дома сидьма. Его ж брата убили».— «А вы понимаете, что вы говорите?» — «А чего ж це я не знаю, та я кажу только правду».— «По-своему вы, конечно, правы, корни-

ловцы были вам врагами; конечно, это все правда, как правда то, что вы сестра двух большевиков, что, к вашей чести сказать, вы и не скрываете. Но вот знаете ли вы, куда пришли? И кому вы все это говорите? И знаете ли вы, что ваш тот и этот брат не только корниловцам, но и нам злой враг? За что мы его и расстреляем».— «Я все знаю, знаю, шо вы его расстреляете, на то ваша воля, бо он у ваших руках. Ну знайте вы и то, шо он только вам лихой ворог, а мне он родной брат, и я повинна знати его долю, яка бы она ни была. Я хочу последний раз его повидать, от и все. А милости у вас я не прошу, вы не подумайте. Та не забудьте вы то, что кроме них у меня ще один, он хоть и малый, но он колысь так вырастет на вашу голову».

— Ты так и сказала?

— А ты шо думал — стану я перед ним богу молиться? Тебя поведут расстреливать, а я буду ему в зубы заглядывать, чи шо?

— Что ж потом тебе ответил есаул?

— А он трошки подумал и сказал: «Вы все-таки опять правы, ей-богу, вы сестра. Быть по-вашему: вы увидите своего брата». И начал писать якусь бумагу. И сказал: «Вы очень счастливая сестра. Я вам завидую, у вас столько братьев, и если они такие же смелые, как вы, в чем я не сомневаюсь, то они, наверное, и белых постреляли немало».— «Не знаю, як цей меньший, а тот добре стрелял. За три года он и турков перебил немало».

В кабинет вскочили два телохранителя.

«Вот истинно русская женщина! Идите с ней и во что бы то ни стало разыщите ее брата. Пусть она приведет его ко мне».

Когда она выходила от Толстопята, то он, наверно, гордясь перед английской миссией, сказал им: «Ну, какова, а?» Те хвалили его за гуманный поступок. Не столько милосердие Толстопята, сколько присутствие англичан спасло меня. Надо было выдобриться перед союзниками.

Сопровождал Федосью, по-видимому, адъютант. «Мы с ним куды ни придем, то все казаки перед ним как на пальчиках». Он добросовестно помогал Федосье разыскивать меня, сам заходил в подвалы и окликал мою фамилию, требовал от конвойцев, чтобы те принесли фонари, и все его приказы сразу же выполнялись. В одном подвале он сказал: «Повернитесь лицом, не ради меня, а ради вот этой женщины, она такая же большевичка, как и вы, ищет своего брата... которому командованием дарована свобода». Все повернулись, да напрасно: сколько она ни всматривалась в

изможденные лица стоявших и лежавших в беспамятстве, меня там не было. Тщательно осмотрели весь подвал, даже стены и решетки, после чего проводник о чем-то поговорил с конвойцем и сказал Федосье: «Очень жаль, но не нашли. Это уже последний подвал. Идемте к есаулу Толстопяту».

— Значит, не нашли? А что, если он больной? И вы его просто не узнали?

— Та он бы меня узнал! — сказала Федосья.

— Посидите немножко.— И взял какой-то язычок, потарабанил в него, потом поднял какую-то кривульку, приклал ее к уху и стал что-то в нее говорить.

Вместо меня вошел в кабинет еще один пан, шел навытяжку и держал руку возле головы, стал и клацнул подковами.

— Где ее брат? — спросил Толстопят.— Он был у вас, вы его расстреляли? Вот она спрашивает: «Где мой брат? Я последний раз взгляну на него». Это ее святое право. И заметьте, что милости она не просит, а что я ей скажу? А вы калечите людей в застенках без всякого разбора? Молчать! Эта кровь все-таки русская, а вы губите их по дорогам да вешаете по станицам, чем ожесточили уже народ против себя до безумия! Марш!

Тот вылетел мигом.

— Ух, вислоухие политики... Ваш брат, наверно, где-то на этапе, но мы его разыщем и пришлем домой целого и невредимого. Тому порукой мое честное слово. Идите домой.

В тот час я был по дороге на Константиновскую. Ведь недаром же казак так измучил коня, догоняя нас. По всему видно, что над нами затевалась жестокая расправа, и Федосья спасла жизнь не мне одному.

«А на шо ты вспоминаешь про це?» — отвечала она, когда я позже ее спрашивал, и я до самой ее смерти уже не возвращался к этому.

СТАНИЧНЫЙ ПРИГОВОР

«...Мы, нижеподписавшиеся, собрались первый раз после пропажи москальской власти; мы, потомки запорожцев, по своему слабоумию или недохвату в науке не так давно изменили родной Кубани, дали большевикам такую власть, якою сами владели, памятуя, шо они наши братья по нашему государству,— ну наша думка была гнилая, и плода с нее доброго не вышло. Но пословица «Бог не без милости, а казак не без щастья» не умирает. Те наши батьки-паны,

поруганные нами, не допустили ихних покорных детей до погибели, стали на оборону перед теми каторжанами, с якими мы побратались: и вывели нас с москальской невол. Мы, как мала детина (побачивши красно яичко), вздохнули своей грудью, як вздыхали раньше, то было не только в степу не усидишь, а даже было опасно с хаты носа показат. И мы, казаки, сегодня на своей раде все дружно закричали «Ура!» И спасибо вам, паны генералы и весь начальствующий состав, просим за прежнюю нашу ошибку прости нас, даем казачье слово, шо до гроба не дадим своим батькам-панам измены, будем идти тою ж дорогою, що шли наши предки. Помогай вам Бог дальше спасать Кубань и батьковский порядок нам давать. Мы чисто раскаянные дети. Да здравствует единое казачество. Для цего прикладаем свои руки, кто грамотный... Станица Марьянская...»

Так перевернулись после приговора в октябре девятнадцатого земляки Акима Скибы. Куда ж было ему идти?

ЕКАТЕРИНОДАР, 1919 ГОД

«И придут времена, и исполнятся сроки».

Все изменилось. Раньше, в мирное время, Екатеринодару случалось принимать высоких вельможных гостей; дважды взирали жители на царских особ; наезжали сюда наместники Кавказа, министры, князья, генералы. Но тогда они лишь мелькали, были над народом; их речи, взгляды, приветствия белыми перчатками были величественны и легки, позы уверенны; между народом и ними всегда был забор: цепь вооруженных казаков и офицеров, свита, толпа почетных гостей и местного начальства. Нынче растерянные господа толкались среди обывателя везде и всюду, и было их так много, что можно было коснуться и заговорить. Вся Россия, казалось, сбежала на узкие улицы степного города.

Да! — казалось, вся титулованная и богатая Россия, каждая ее косточка, перекочевала в маленький Париж. Такое можно было представить только во сне или в нелепых мечтах. Случилось несчастье, и те, кто никогда бы не подумал без гримасы об этой куркульской дыре, были рады, что их приютили и спасают им жизнь. Если бы каким-то чудом успокоилась взбаламученная Россия, вернулась на «круги своя» и присмирела, Екатеринодар в одну ночь стал бы ее столицей — в нем были все или почти все, кроме царской

семьи. Присутствие высочайших чинов кое-кому прибавляло духу: не померкнет держава, которую всегда охраняли от попустительства погоны, шубы, трости, белые воротнички.

С пожарной высоченной каланчи любопытно было наблюдать в теплую погоду за шествиями по Екатерининской и Красной улицам.

Воистину: кого там только не было! И в ресторанах, кафе, в театрах, на лекциях князя Е. Трубецкого, о. Шавельского, о. Восторгова кого только не увидишь! Тут были камер-пажи вдовствующей императрицы Марии Федоровны и камер-пажи, несшие шлейф некогда юной царевны в тот час, когда она впервые вступила на русскую землю, и камер-пажи, трогавшие во время репетиции последнего коронования трон Ивана III в Кремле. В квартире на улице Рашпилевской собирал членов Государственной думы Родзянко. Копошилось с планами дворянство и земство. В Управлении продовольствия армии на Кирпичной улице слышалось: «Княгиня, не будете ли вы так любезны достать дело номер 14522 А?» Чванились жены членов Государственного совета. Но былые заслуги, звания и отличия не имели больше никакого значения. Лавры оплетали головы участников Ледяного похода и героев последних сражений.

Все подходили поклониться памятнику Екатерине II на Крепостной площади, повздыхать и передернуть бранным словом в адрес черни. Памятник высился так же гордо, как и в Петербурге у Александринского театра, в том Петербурге, где уже нет старой власти и неизвестно что происходит в домах с золочеными ручками. Но неужели?! неужели все погибло?! Ложились спать по екатеринодарскому времени, служащие вставали на работу по петроградскому.

Гусары нанимали извозчика Терешку везти в шашлычные и погребки. Он быстро приноровился к генералам и государевым слугам всех мастей. Его дело везти, а кого, куда и зачем — неважно. Так же возил он и при большевиках. Возил дам в поисках квартир; возил офицеров к ферме Гначбау на символическую могилу генерала Корнилова — это там же, на Бурсаковских скачках, он как-то мок под дождем из-за Бурсака и Шкуропатской. Вокруг могилы наросло бурьяну, чуть подальше бросил кто-то телеги, брички. И кругом кучи навоза. Офицеры ругались матом и клялись, что, когда победят, поставят на берегу усыпальницу, а рядом устроят большой приют-санаторий для участников Ледяного похода и прочих увечных добровольцев. Терешка курил на козлах и слушал, но так, будто его ничего не касалось. Из речей мудрецов он запомнил, что писатель Чехов

(которого он никогда не читал и не знал, что он уже покойник) Россию не любил и «замешан на одних разговорах», что народ достоин своей интеллигенции, что Русь погибла из-за масонства.

— Россия жертва чудовищной провокации. Иудино дело сделано. Я вижу, Россией еще полстолетия можно будет управлять только палкой и виселицей.

— Франция когда-то дала всем игрушку, и мы за ней. У нас были свои светочи. Отплатил нам сторицей русский народ за те чувства, которые мы к нему питали. Походит по нему чужестранная плеть. Пустили свиней в сад, они и деревья подрыли.

— А чем вам плохой русский народ? — вдруг обиделся Терешка и повернул голову.— Он виноват? Значит, довели. Вы в Панский кут едете деньги мотать, а нет чтобы раненым белье купить? У них там, в лазаретах, лоскутки от старых рубах вместо полотенцев.

— Твое дело погонять. Ах, до чего распустили! И правда ведь с именем республики связано все предательство, продажность и бесстыдство. Нужен царь. Монархизм — это склад души. Это подчинение иерархическому началу. Дисциплина. А это что?

— Мне надо лошадей покормить. Я не поеду,— сказал Терешка.

— Да ты большевик проклятый! Немедленно его в полицейскую часть! Полиция!

Так Терешку сдали в кордегардию, и, пока пристав Игнатович разбирался с ним, прошла ночь.

С тех пор Терешка возненавидел приезжих всей своей хозяйской утробой.

«Понаехали, еще и недовольны. Из-за вас и цены подскочили. Ничего не купишь по старым ценам. Пора бы вам уже и лоб перекрестить —гром грянул. Только и знаете объявления в газетах вешать: пропала собачка, пропали два кольца с рубинами, нож с рубинами за пять тысяч. Раненых почему некуда девать? А вы ж все позабрали: постоялые дворы, углы у частников, номера в гостиницах. Денег-то много. А пожертвовать обществу жалко? Ну конечно, кое-где жертвует, так они и не обзывают русский народ. Они понимают: на то вражда. Когда шестого августа прошлого года белые входили, им пели «Спаси, господи, люди твоя». Ишь, каждый думает, что воюют за него. А сам чего ж сидишь? То называли меня «товарищ», а как вошли отряды казаков с белыми повязками, сразу: «Господин извозчик!» Э-э, люди. Из подворотни вылезли, на-

вязали белых носовых платков на рукава, белые бумажки повтыкали в головные уборы, поверх лайковых перчаток кольца надели, «ура, ура!». То наряжались в оборванные платья, чуть ли не в душегрейки, а то и ну кошельки выворачивать, и забегали по дворам: «Всех дрогалей послать к железнодорожному мосту!», «Зажечь на всех дверях свет!» И задымили, и задымили толстыми папиросами в первых рядах Зимнего театра. Оперетки им готовы: «Аромат греха», «Счастье только в мужчине». Ну конечно: наелся, выпил, давай бабу. Да мелом по зеленому столу рулетки цифры выводят. И все русский народ виноват им — отобрал Панский кут! Вот и вся статья. Так вашу мать! Сдыхать будешь — мимо пройдут. «Родная земля отвернется от вас, если вы руки свои запачкаете невинной кровью». А вы в руках деньги и рюмки держите. «Печать Каина...» И не проси́тесь в мой экипаж...»

А кормиться чем-то надо было. И опять подвозил он к «Чашке чая» какую-то даму. Она приклеила к дверям объявление о том, что здесь «дружина памяти учащихся-добровольцев» производит запись желающих собирать портреты погибших, ухаживать за могилами, собирать материалы к описанию геройских подвигов и средств на создание памятников. От Рашпилевской и к Длинной довез он как-то дочь генерала Корнилова, худую и молоденькую; она расплатилась и пригласила в городской сад на благотворительное гуляние и концерт в пользу Белого креста. К вечеру Терешка не раз подгонял туда экипаж с пассажирами. Был праздник св. троицы и св. духа. Чтобы собрать с обывателя денег побольше, устроили шествие по Красной с цветами, что должно означать возрождение России. Для беженцев из столиц уголки сада декорировали под былой Петербург, Париж и Рим. Пригласили самых знаменитых гадалок. Напечатали пятьдесят тысяч билетов к лотерее-аллегри и назначили выигрыши: до пяти тысяч керенскими и николаевскими бумагами, остальные — дарственными вещами. Шла торговля цветами, шампанским, черным кофе и кавказскими сладостями. С американского аукциона продали: бутылку шампанского за 3450 рублей, пять фунтов рафинада за 150 рублей, яблочного поросенка за 2745 рублей и... серебряный самовар Анисьи, подарок от великого князя Михаила Николаевича, тот самый самовар, о котором она хлопотала когда-то перед наказным атаманом. Бурсак был в саду, но не видел этого. Облетевшая столики после своего номера артистка Добротина собрала на тарелочку три тысячи. Она пригубила бокал «в честь

самого милого и щедрого из гостей», и бокал тут же продали за несколько сотен. Накануне по подписным листам было собрано 65 000 и на 15 000 пожертвовано продуктов и вин. В кабаре, украшенном зеленью и национальными флагами, набросали 10 000.

После 12 ночи стулья из зала Летнего театра убрали, и публика заняла изящные столики. В изобилии подавали шампанское, вина, фрукты. Ели и пили под остроты артистов и музыку столичного оркестра. Есаул Толстопят с блеском танцевал мазурку. Жены командующих Добрармией к 8 утра валились от усталости: они были организаторами. Растроганные российские дамы набросали на прощанье много колец и бриллиантов.

На этом празднике Терешка тоже хорошо подзаработал.

— До родной хаты! — кричали офицеры. — Пусть наши лихие штыки и шашки не покроются позором измены, пусть наши знамена развеваются над головою казака. Гони, Терентий!

— Хо-о!

Так и жил город: панихидами, благотворительными гуляниями, слухами, хозяйством. Всюду было много глазеющих. Осенью 1918 года, когда хоронили вождя, генерала Алексеева, все улицы забились любопытными: на тротуарах, на балконах, в окнах, на крышах и телеграфных столбах все жаждали взглянуть на покойника. Куда один, туда и все. Но и на похоронах — все на плечах армии. Недаром как-то жаловались пьяные офицеры: горькая им досталась участь — нести самый тяжелый крест и погибать. По всей Екатерининской улице, до самого Александро-Невского собора, — шпалеры войск. Странная армия! Как она одета? В лафете с гробом усопшего вся запряжка офицерская, вся прислуга, все ездовые — офицеры. Целые шеренги пехоты — офицеры разных родов оружия: саперы, артиллеристы, пластуны, моряки. На них гимнастерки, белые и цветные рубахи, сапоги, краги, ботинки, обмотки. И только винтовки русские. Не так пышно хоронили генерала Бабыча. Фаэтон Терешки нанимала семья. Тело Бабыча привезли из Пятигорска зимой 1919 года. Гроб так и не открыли. И опять было одно любопытство: как его убили? Его взяли в Кисловодске, препроводили в вывернутой наизнанку генеральской шинели в Пятигорск и под Машуком на кладбище расстреляли. Другие рассказывали, будто его зарубили шашками и перед тем самого заставили копать могилу.

Лошади Терешки вымотались; клиенты стучали в его ворота день и ночь. Как было отказать тому, кто просил

отвезти на городское кладбище поправить чужую могилу? У многих не было на юге родственников, и за гробом шли два-три воинских товарища да сестра милосердия из лазарета.

Никогда не дремлет жизнь. Обыватель пирует во время чумы: хоть день, да мой! За спиной армии, то белой, то красной, укрывались живоглоты, спекулянты, черная свора и просто «милые люди», пережидавшие момент. Едва в шесть утра подкатывал первый трамвай, толпа спекулянтов с Дубинки забрасывала вагон чувалами, корзинами, ведрами и спешила на базар в Пашковскую забрать по любой цене все, что выставят казаки на прилавок: молоко, хлеб, сыр, рыбу. Жизнь продолжалась. Открывались курсы по пчеловодству, созывался съезд северокавказских городов. Тучами налетали гастролеры. Продавались подворья, дачи в Геленджике, процветало в Круглике тайное винокурение, выделывались кроличьи шкурки, шла торговля с Италией. На почтамте контрабандисты, ехавшие в Москву, брали за большие деньги письма и поручения: «Беру без политики. С политикой тоже вожу, но по тройному тарифу». И как всегда: прошлое забывалось, а будущее было туманно. Забыли, как летом 1918 года бежали в Новороссийск, и уже с надеждой взирали на потрепанный турецкий пароходишко в бухте. Но и там, чуть заблестела надежда на перемену, екатеринодарская буржуазия осаждала коммерческий клуб. В Тамани были немцы. Едва прогремел бой под Кореновской, платили Терешке любую цену, лишь бы вывез через Трахов мост за Кубань. Забыли, как вчера еще в белоколонном зале Дворянского собрания перепелами кричали на концерте Д. Смирнова: «Ожили дни прошлого! Снова литургия искусства!» — и несли цветы пианисту Дм. Покрассу. Забыли, потому что не верили в полный крах. Пройдет, пройдет эта смута.

В вагонах на станции лежали полураздетые отверженные воины, чумные. И когда Терешка вез Манечку Толстопят из лазарета князя Вачнадзе, она ненавидела всех, всех, кто шел по городу, кто был жив и здоров. «Явился Спасителю в Гефсиманском саду ангел с небес и укрепил Его. Явись же и ты ко мне, Господи. И укрепи. Я порою ненавижу людей»,— думала она. Ее сердца хватало на всех. Когда стонет раненый, грешно думать, на чьей стороне он сражался. Она уже вытаскала из отцовского дома все белье, все рубахи, все братовы кальсоны.

Иногда она забегала к Калерии Шкуропатской.

— Где же общество? Где оно? Разве они не видят?

— Помилуй, Манечка. Такое время.

— Но пройдите по Красной. Всмотритесь в этих сытых людей. Они довольны. Ювелиры еще никогда так не торговали, как сейчас. Берут только валюту, чтобы в крайнем случае не менять в Константинополе московские «колокола». Шестого августа крестились, плакали, целовали офицерам руки. Под копыта лошадей бросали цветы. Не я же прислушивалась к каждому пушечному выстрелу. А теперь? Им жалко разрознить дюжину белья? Вместо почетного места в центре города корниловский полк простоял на кожевенных заводах. Они, видите ли, думали, что армия несет дешевый хлеб и кофе со сливками, а тут оказывается, что разрушенный дом остается разрушенным. Я не могу больше. Мне хочется умереть. Мне жалко всех.

Екатеринодар 1919 года! В газетах останется его приблизительная жизнь, и никому не будет дано оглянуть и разом схватить его тогдашний миг и миг каждого. Кто был тогда тут, стерег свою безопасность, торговал, блудил, спорил в кафе, плакал по убиенному государю, одиноко думал, ждал с поля боя своего брата, отца, мужа, таился, лукавил, тихо обменивался мыслями с родственниками, спасал от преследований красноармейцев — сие есть тайна каждого. Пока кто-то писал приказы, стонал после перевязки, Манечка Толстопят молилась о братике Пьере, чтобы он уцелел, и пока она молилась, братик ее, может, в ту же минуту в издыхании чувств (в сыром поле или в греческом духане за стаканом вина) повторял другую молитву, сочиненную товарищами-офицерами:

О Боже, святый, всеблагий, бесконечный,
Услыши молитву мою!
Услыши меня, мой заступник предвечный,
Пошли мне погибель в бою!

Смертельную пулю пошли мне навстречу,
Ведь благость безмерна твоя!
Скорей меня кинь ты в кровавую сечу,
Чтоб в ней успокоился я!

На родину нашу нам нету дороги,
Народ наш на нас же восстал,
Для нас сколотил погребальные дроги
И грязью нас всех забросал.

ЭПОПЕЯ ПОПСУЙШАПКИ

(Продолжение)

— Меня выручил фельдшер. Госпиталь — большое длинное помещение, бывшая школа. Между раненых и больных ходит хромой фельдшер. Казаки лежат на соломе, сырые

холодно, все стонут. «Ого,— думаю,— вот это госпиталь, тут здоровый заболеет или замерзнет». Я присмотрелся к фельдшеру: хромой на левую ногу, низенький, белявый. У меня является чувство, что он не из казаков, а иногородний. Думаю, как точно узнать, кто он? Если он иногородний, то я выйду из положения, фамилию чужую заменю, и тогда обязательно уеду поездом домой и узнаю судьбу семьи. А там видно будет, что делать дальше.

Фельдшер вынес из кабинета маленький самоварчик, налил водой, распаливает. Я похаживаю по коридору взад-вперед и не придумаю, как его затронуть. Ну а затем сказал:

«Господин фельдшер, вы сами откуда? Мне кажется, ваша личность мне знакомая, я где-то вас видел, но не вспомню».

«Вы не могли меня видеть. Я издалека».

«Ну а все-таки».

«Я из Екатеринодара».

«О-о,— я засмеялся,— тогда точно! Я вас там и видел».

«А как вы меня могли видеть, когда вы терский казак станицы Шелковой?»

«У меня там дальний родственник, лихач первого разряда».

Фельдшер утупил глаза на меня, курит; в самоваре чай греется.

«А на какой улице он живет?»

«Угол Базарной и Котляревской. В монастырском подворье. Напротив владелец скобяного магазина, у него нету двух пальцев, мизинного и подмизинного».

«А как зовут извозчика?»

«Терентий Гаврилович Трегубов».

Фельдшер как будто обрадовался, сказал:

«Вот теперь я верю».

Самовар закипел. Фельдшер схватил его и понес к себе в кабинет. И зовет меня:

«Господин казак, зайдите ко мне, чайку горячего попьем».

Я этого не ожидал. Я захожу, разделся, тело у меня свербит, чувствую, что вша завелась. Сел за маленький столик; налил он мне чаю в стакан, а себе в кружку, выпиваем.

«Господин фельдшер,— прощупываю,— вы кто будете, казак или иногородний?»

«Я иногородний».

«А как вы попали в белую казачью армию, вы ж иногородний? И притом инвалид».

«Да, господин казак, я попал по несчастью. Я фельдшер, меня мобилизовали. Приходится, хочешь ли, нет, а воз надо».

«Давно у белых?»

«Как заняли они Екатеринодар, так и меня забрали. Да так плохо, что не имею сведений о семье, жива она? — не знаю. И жена обо мне не знает, жив я или нет. Вот так и воюем».

«Ага,— думаю,— вот я попал на своего. Значит, я не без счастья. Теперь буду дома вполне».

Выпил я стакан чаю, время было три часа дня — 9 января 1919 года. Фельдшер налил второй. Я теперь думаю: надо просить его, чтобы он меня немедленно направил в какой-либо город, может, в Екатеринодар.

«Господин фельдшер, мы уже с вами почти нашли общий язык. Я вас хочу просить, чтоб вы меня завтра направили в Екатеринодар, в госпиталь. Я вашей жене передам от вас записку. Не откажите».

«Я бы со всей душою, так я не имею никаких прав. Я только могу направить вас в первый ближайший госпиталь в Минеральные Воды».

«Спасибо и за то. Только, будьте добры, чтоб не позже, как завтра».

«Если дадут в правлении достаточно подвод, я всех больных и раненых отправлю».

«Господин фельдшер, если не будет ни одной подводы, дайте мне одному документ, я пеши пойду до станции Копанской, а там уеду поездом».

«Ладно. Иди».

Закрыл кабинет и пошел. Я волнуюсь, переживаю: а как же мне переменить фамилию? С этой фамилией терской мне домой ехать нельзя. А черт его знает! — он иногородний, ну и что же, может, сын какого купца или лавочника, может, белый доброволец? Как ему признаться? Ладно, решил,— признаюсь! Один на один. Уже темно, началась ночь.

Пришел фельдшер и говорит:

«Еле-еле выпросил одну подводу, и то на быках. Приедет до зари, чтобы пораньше ему вернуться».

Зажег лампу, я зашел в кабинет. Достал он бумагу и хочет писать.

«Господин фельдшер, или товарищ, или друг, прошу тебя, не пиши в документе фамилии Шахворостов, а пиши Попсуйшапка».

«А почему не Шахворостов?»

«Вы мне сказали, что у белых служите по несчастью. А я был Шахворостов и казак также по несчастью».

«Вот оно как, значит! — Фельдшер подал мне руку.— Мы с тобой братья».

«Да еще кровные. Распозналися в своих несчастьях. Прошу тебя, брат, выручай».

«Это очень хорошо, что ты так меня понял, а то, не дай бог, сразу повесят».

«За мной ходила вешалка, но не без счастья. Прошу, пиши документ».

«Сейчас. Подожди... Тело мое дрожит. Немножко посиди, я успокоюсь. Расскажи, как это произошло, что ты по несчастью был казак. И фамилия чужая».

«Да, но ты мне выпиши документ, а потом я тебе расскажу все».

Фельдшер согласился, написал документ в Минеральные Воды.

«Ну, теперь говори, какую тебе писать фамилию».

Я говорю, он пишет. Вдвоем сидим в кабинете полностью.

«Получай, Попсуйшапка Василий Афанасьевич. Теперь расскажи».

Я признался ему открыто, как кровному брату. А он мне признался. Он с первых дней войны был фельдшером у красных. Их захватили белые в плен — на вешалку. Он со слезами просился, клялся богом, что будет служить белым честно, и его оставили живым, потому что они имели нужду в медицине. И вот с тех пор он служит, боится бога, что клятву дал. Но я усмехнулся, ничего не сказал. После признания друг другу фельдшер начал писать письмо жене.

И так мы с ним провели время до трех часов ночи.

В четвертом часу подъезжает казак-старик; на ходу у него по бокам лежали доски; запряженные волы масти серой, большие.

«Отправьте меня,— подошел еще один казак с перевязанной головой,— я дальше пешки дойду, у меня вещей мало».

Фельдшер согласился, выписал казаку документы, я слушаю, откуда этот казак. Фамилия его Скиба — из станицы Каневской. Не того ли Скибы брат, что служил у Бурсачки?

«Ого,— думаю,— вот сосед!»

Ну, он моего документа не видел и не знает. А слыхал, что я терский казак, да и форма говорит. Я фельдшера поблагодарил, и 10 января 1919 года на быках тронули мы

в пять часов утра. На станцию Копанскую ехали, шли пешком, и хозяин быков пеши почти всю дорогу. Приехали к станции Копанской, солнце поднялось в дуб. Стоял паровоз и вагоны товарные. Старый казак повернул домой, а мы с Скибой к паровозу.

«В Минводы будет паровоз?» — спросили у машиниста.

«Скоро поедем в Минводы и в Армавир».

«Скиба,— говорю,— давай выбирать вагон».

Но они все пустые; залезли в вагон, сидим вдвоем. Вот свисток. И поехали в Минеральные Воды. Уже считался у белых глубокий тыл. Вылезли мы, зашли в вокзал. У меня нету никаких денег, ни копейки. И продуктов — ни куска хлеба. Жрать хочется после вчерашнего, желудок пищит, просит чего-либо.

«Пошли скорей в госпиталь»,— Скиба говорит.

А у меня мысли другие, мне госпиталь не нужен, мне домой надо. У Скибы голова сильно болит, конь копытом ударил по голове, а у меня рука перевязана левая, бинт через шею, и правая забинтована. Но, спасибо, правая не ощущает боли от вилкового прокола. А от пули боль есть, но терпимо.

«Ну пошли»,— говорю.

Нашли,— там полно раненых, больных. Не стали и спрашивать места.

«В этом госпитале здоровый умрет,— говорит Скиба,— давай ехать в Армавир. Там город другой, будет госпиталь, да и врачи лучше».

Вернулись на станцию. Ну, пришли, а купить не на что.

Я Скибу оставляю на вокзале.

«Пойду искать коменданта. Потребую пайки хлеба. А кипяток на станции есть. Поезда не будет до ночи».

Подаю коменданту свой документ.

«Господин поручик, прошу продукты на семь человек».

«А где остальные?»

«На станции. Они тяжелые».

Он ни слова не сказал, пишет бумажку — выдать раненым белого хлеба десять фунтов и сахару четырнадцать грудок.

«Вон ларек»,— указал пальцем.

Приношу Скибе,— сидит, дремает. Выпросил у людей посудку и попили с белым хлебом кипятку. Остальной хлеб Скибе в сумку, так как у меня ничего не было, а сахар в кармане.

Стою я. На мне вся одежда — шуба, бурка, белый башлык, белая лохматая шапка, ну — казак грозный! Подходит

офицер (есаул) и держит поднос. А на подносе черная булка хлеба и в руке нож.

«Господин казак,— на меня,— я вас прошу, сделайте одолжение, перережьте вот эту булку,— и ножом почертил корку,— я вам заплачу, если вам можно».

«Могу».

«Вот пойдемте, я поставлю поднос, там удобней резать, а то здесь общество, офицерам не разрешают резать в обществе».

Я взял нож в правую забинтованную руку, левая подвязанная под буркой была. Я левым локтем придавливаю булку, а правой режу и на поднос складываю. Офицер стоит, смотрит по сторонам. Я половину срезал, офицер говорит:

«Хватит, господин казак. Остальное возьмите себе. Мне достаточно.— Вытащил с кошелька двадцать пять рублей и подал мне: — Это вам за труд, возьмите».

«Благодарю, господин есаул».

Я был, видно, до того заросший и вымученный, что Толстопят меня не узнал. А ведь мы с ним прошли в 1918 году до самого Белгорода. Я его сразу узнал и лицо отворачивал. Как я буду выкручиваться, если он меня вспомнит? И деньги взял. В карман их, а хлеб приношу Скибе. Теперь мы не голодны будем.

Ночью под одиннадцатое число мы выехали с Минеральных Вод в пассажирском поезде, одиннадцатого, помню, было воскресенье, солнце поднялось высоко. Подъезжаем к городу Армавиру, поезд идет так тихо, что любая старушка успеет. Мы вышли со Скибой, идем рядом со своим вагоном. Оказывается, поезд отцеплен, рядом кавалерия казаков, а пехотинцы по вагонам и по-над вагонами проверяют документы. А у нас документы в Минводы. Я решил не показывать. Иду впереди, Скиба за мной. Вот казак подскочил: «Предъявите документы!»

Я сразу обозлился:

«Ух ты, тыловая крыса! Вон туда на фронт, а не тут у калек документы спрашивать! — Вытащил с-под бурки руку: — Вот остался без руки, а ты, тыловая крыса, документы спрашиваешь. Ступай на фронт, там проверишь».

А сам иду не останавливаюсь, и Скиба мне вслед. Казак тот остолбенел:

«Чиво вы серчаете... я обязан... меня заставили...»

Как дальше быть? Скиба только за госпиталь свой и разговаривал.

Пошли к коменданту. Я подал документы. Поручик сра-

зу же все написал. Вышли с помещения, стал я читать, не можем прочитать. Идет прапорщик. Я остановил: «Где госпиталь?»

«Во-он, смотрите, его хорошо видать».

Мне госпиталь не нужен, ну ладно — пойду, узнаю, есть ли при госпитале распределительная комиссия или нет и когда она бывает. Я-то теперь свою фамилию ношу, но на фронт ни за что не поеду; как-то запутаю Скибу; хотелось мне и Скибу довести до его двора.

Распределительной комиссии не было. Мы ушли.

«Сюда,— говорю Скибе,— в любое время успеем. Ты с Каневской, а я поеду в Екатеринодар, там госпиталь лучше, а ты в Каневскую, дома всех увидишь».

«Так как же мы поедем без документов?»

«Мы сейчас опять пойдем к коменданту, я буду говорить, а ты молчи. Скажу, что врач послал нас в Кавказскую».

Ну, Скиба согласился, мы пошли к коменданту, бумажка-то, что комендант писал в госпиталь, у меня. Заходим никого нет, один комендант. Подаю ему его записку и говорю:

«Господин комендант, были мы в этом госпитале. Врач сказал, что нет мест, уезжайте в Кавказскую. А никакой бумажки в Кавказскую у нас нет».

Комендант схватил ручку, листок бумаги:

«Ваша фамилия?»

Штамп приложил и подал.

«Вы не напишете,— говорит Скиба,— отдельно?»

«Зачем отдельно?»

«Мне не по той дороге ехать».

«Как не по той? Ты куда хочешь ехать? Хотите ехать по домам? Дай сюда бумажку! — крикнул мне. Я подал, он ее порвал на клочки и бросил на пол.— Идите отсюда!»

Я обиделся на Скибу.

«Я тебе говорил раньше, чтоб ты молчал. А ты с больной головой выскочил. Я б тебе ее отдал, если б тебе хотелось ехать, а я бы поехал без нее в Екатеринодар. А теперь давай разделим хлеб и сахар — и кто куда!»

Попрощались, я пошел по путям, там формируются эшелоны. Смотрю, полно в вагонах казаков-пластунов. Иду дальше. Дверь открыта в вагоне, на одну сторону стоит тачанка, на вторую — лошадь. Вот мой вагон,— думаю.

«Господа казаки, возьмите раненого».

«Пожалуйста».

«Не смогу залезть, высоко, одна рука».

Быстро соскочил один, а второй подал руку, а этот под задницу, и затянули в вагон.

Сел возле колеса тачанки на чувал с зерном, вытащил кусок хлеба и грудку сахара и ужинаю. Паровоз толкнул, прицепляется. В вагон сиганули два офицера, походные койки развернули и положились. Я заснул, проснулся — Кавказская. А тут глубокий тыл. Барышни ходят, шляпы с перьями, полна станция людей, ожидают поезда в Екатеринодар. Проходят мимо меня две барышни в шляпах, одна глянула в свои часы, сказала: «Второй час. Ровно через час будет на Екатеринодар». Как же мне уехать? Мне только до Динской, а там я степью в Пашковскую.

Вот сразу как двинется публика в двери, пришел поезд! Я скорей к вагону, очень большая очередь, я к другому, там кричат: «Вольные, назад! Там теплушки есть!» Полнопереполнено! Я вижу, что по-хорошему останусь. Я бурку закачиваю за левый локоть, чтоб рука забинтованная виднелась, и кричу: «А ну, вольные, к чертовой матери! За вами раненому пропадай! Не влезешь! Пропустите!» Услыхал в вагоне какой-то казак, кричит: «Не лезьте, вольные, пропустите раненого».

Я посильней нажал передних, неизвестный казак подал из вагона руку и втащил.

Приехали — Динская. Тихо, кучи снега лежат.

Было 12 января 1919 года. Люди забудут, а мы — никогда. То наше время. 12 января я подходил со стороны Старокорсунской к станице Пашковской.

Вдали на дороге что-то чернело. Подхожу ближе и вижу: стоит человек, ноги раскорякой, сам нагнулся вперед и руками опирается на палку. И сколько я шел к нему, столько он стоял в таком положении. Это показалось мне подозрительным.

ПО ДОРОГЕ НА ИЕРУСАЛИМ

В 1835 году на этом же месте, где Попсуйшапка нашел раскорякой стоявшего Луку Костогрыза, пахала в предпасхальные дни землю под баштан мать Костогрыза. Прозвонили к вечерней службе, но ей хотелось еще два-три раза пройти с бороной, а то назавтра она бы уже не смогла: она ждала родов.

Ее и соседей захватили тогда черкесы, переправили их за Кубань. Уже стемнело. Мать лежала на возу и стонала. Черкесы развели костер и, когда он перегорел, жар сгорнули в сторону, нагретое место полили водой, сверху застлали

соломой, покрыли солому буркой. На этой бурке и родился Лука Костогрыз. В ауле черкешенка взяла младенца в чистую пеленку и понесла в саклю. Через неделю их выкупили за пленных черкесов. Мать поклялась десять раз побывать у киевских святых мощей, что потом и исполнила.

Зимой 1919 года Лука Костогрыз шел ко гробу господню в Иерусалим.

У крыльца правления, где старики ругали «москальскую власть» и надеялись на победы генерала Шкуро, Костогрыз жаловался:

— Мало вижу в очках, мало слышу, а зубов осталось только четыре. Хожу тихо и то с одышкой — горе, тай годи!

Уже все предсказывало ему, что скоро вытянется он на койке и будет звать тихим голосом свою старуху.

«А интересно бы узнать,— думал он вечерами, облокотившись на плетень,— чем оно кончится? Долго ли панов будут люшнями бить? После пропажи москальской власти вера и дисциплина распались, но сыны вывели нас с новой москальской неволи, побачили мы снова красное яичко и вздохнули так, как раньше вздыхали. А то было опасно из балагана носа показать, бо скрозь матюкаются новые наши братья и нас тюрьмою стращают. Спасибо вам, паны, генералы и весь начальствующий состав, особо родному батьку Бычу[1]. Чем кончится? — узнать, а там в лоно Авраамово. Киевского митрополита Владимира расстреляли, а недавно его наперсный крест из Мамврийского дуба, нательный крест отобрали на Красной у дамочки. И Бабыча все же расстреляли, сам могилу себе копал, а я ж говорил, я ж им подсказывал: це добром у вас не выйдет! Где мой Дионис? Вошел в чины и забыл деда? Живой ли? Убил двоюродного брата и не охнул. Рассыпалась храмина. Подарила казакам царица Екатерина землю, а теперь шо? Собираться и грабить? Не взойдет больше святое солнце воли, восстала кара над нами... Не станет Савл Павлом и не будет блудница праведной? Корнилов забрал у меня коняку, его убили, а где ж она, бедная, мотается? На базаре один сказал, що уже и церкви не надо».

В субботу вышел он к трамваю, взлез на ступеньки и поехал в город. На Соборной площади пугливая мысль поторопила его зайти **напоследок** своих земных дней в Александро-Невский войсковой собор, помолиться и послушать певчих. Оттуда занесли его ноги к пивоварне «Новая Бавария», где когда-то, в далеком детстве, в большой хате

[1] Председатель Кубанского краевого правительства при белых.

размещалась певческая школа, кем-то окрещенная в «сичь». То было в 1843 году! Дядя привел его за руку к регенту, велели ему тянуть под скрипку «а-а!», но он кричал «не хочу!». Однако его взяли, и жил он сперва с другими казачатами на частной квартире возле реки Кубани, в которую, когда купались, прыгали разом человек по десять, чтобы сом не ухватил. Иногда регент посылал их в степь нарвать клубники. Сичь! Надо ж и правда написать воспоминания, приставал же к нему с мольбою архивариус Кияшко. И взволнованный подувшим на него ветерком детства, временем, когда по Красной улице бродили свиньи и куры, повернул он было вниз к пристани Дицмана, но ноги пристали, и он махнул рукой извозчику Дятлову: подвези на Динскую к внучке. Там за чаем погадали они с внучкой о Попсуйшапке (где он, что он), повеселил квартирантку (мадам В.) нравами «сичи».

— Оно ж маленькое ще, дитятко, спать ему хочется, а его будят в собор на утренню. А то ще ночью по грязи шли через весь город. Вздумается взрослым ночью повеселиться, то дежурные должны собрать тридцать шесть певчих. Собаки кругом, грязь, лезешь через заборы по садам от Дмитриевской улицы до «Новой Баварии». Пьяное собрание ждет. Да любило начальство слушать «круглый молебен», до того неудобный, шо нельзя при добрых людях ни одного слова повторить. Всякое бывало. Поминки, поздравления с именинами и праздники — певчие! Делимся пополам, одни по правую сторону Красной, другие по левую, и поздравляем. Духаны, трактиры, погреба и даже, прошу прощения, дома терпимости — «Здравствуйте, позвольте пропеть». И все нас угощают. И жил бы себе, да мать забрала в степь.

И к матери потянула его память. Как будто с пашковского кладбища, из-под тяжелой земли взывала она к нему, но взор почему-то видел все пустынное время той казачьей жизни, когда воевали только с горцами и турками. Батько служил на кордоне у берегов Кубани — с зарослями камыша по одну сторону и тучного леса — по другую. Он лежит в секрете, а в это же время мать встает на восходе солнца, кладет Луку в торбину вместе с кубышкой воды и краюшкой хлеба и идет жать свою ниву. Отец скоро придет на льготу — на год, чтобы обеспечить семью, хотя в тот же год позовут его на усиление кордонной службы не на казенных, а на своих сухарях. Они ждали отца, вот он скоро-скоро появится, принесет им маленькую торбочку гречневой крупы, возьмет Луку на руки и скажет: «Расти, сынку, доб-

рый казак будешь...» Отчего это мать сегодня не плачет, чего она бегает по всем закоулкам, подметает хату, перестилает на скрыне скатерть, наставляет мисок и пляшек? Лука бегает верхом на палочке. Чу, где-то песня; мать, как угорелая, хватает Луку за руку, и он бежит с ней, не чувствуя колючек в ногах. Вот они и за станицей; вдали казаки залихватски поют что-то; какой-то инструмент издает звуки, словно кто колотит в пустую бочку; у одного казака на длинной палке болтается что-то красное, что-то пляшет. Потом? Мать вдруг стала прижимать его к себе и кричать... Отца среди казаков нету...

Тем же вечером Костогрыз достал из гвардейского сундука, из того ящика, где хранил он всякие бумажки, медаль и кресты (низ сундука был засыпан мукой), тетрадку, в которой начинал писать воспоминания под заголовком: «Досужие минуты кубанского казака». Читал, наверное, кому-то, запомнил сочетание слов, понравилось. «Так, братцы,— брызнул чернилами и точно крякнул.— Понесу свои слова в общую скарбницу. Самые горячие годы моей жизни канули в вечность; я лишился двенадцати наших казацких атаманов, и ничего не остается мне, старику, как только сетовать о разлуке с птенцами Кубани и молить Бога: да упокоит он мою душу в лоне Авраамовом...

Было, да быльем поросло, и горько вспоминать...»

Что-то помешало тогда продолжить; как будто на последних словах махнул Костогрыз рукой, прослезился и бросил. Может, перебила какая хозяйская мысль, потому что на полях, поперек листа, нацарапал: «Корова перегуляла 22 мая...» Теперь Костогрыз задумался: в каком это году принесла корова теленка, сколько раз он водил ее еще к быку, резал с племянником осенью годовалых бычков? Перечитал и раз, и два. Про что дальше?

— «Да позволено будет мне, 84-летнему старику...— диктовал он вслух себе и давил на ручку неподатливыми кр[illegible]ными пальцами,— ...свято по силам исполнить долг православного...— И надолго задумался.— В детстве своем письменной премудрости наметался я у дьячка, когда был в певческой школе, а поступив в службу и проходя ее, природным умом своим и запорожскою шуткою привлек я внимание сильных местного мира сего и попал в Петербург в гвардейцы... Я недаром потратил свою жизнь. Меня уважали. Характер у меня от предков, пластунский. Жили наши предки бранью, защищали Черноморию. И ни одна святая личность, долгое время озарявшая горизонт нашей Кубани, не может быть забыта. Я о них рас-

скажу. Что вы, добрые люди, знаете про жизнь казачью?..»

Но он только подразнил сочным своим словом и поставил на этом точку.

Ночами он стал бредить, выкликать умерших родственников, атаманов, войсковых товарищей.

— Пойди, Одарушка, выгони телят, а потом уже принеси воды и замети хату.

Жена в одной сорочке склонялась к нему, клала ладонь на лоб.

— Сетую о разлуке с вами,— бормотал Костогрыз,— и молю бога: да пошлет он вам здоровья на многие годы для блага Кубани. Прощайте. Свято и по силам исполняйте долг православного воина.

Утром ему было легче, сознание прояснялось; он вставал, кушал борщ, спрашивал:

— Шо я там ночью вскакивал с речами?

Снилось ему все старое, хорошее, доброе. Снились умершие малютки — дети. Снился себе молодым, где-то в ущелье, стрелявшим в кабанье око. Снилось, будто подносил он принятому в почетные казаки станицы Пашковской графу Воронцову-Дашкову (уже покойному) кавказское оружие (шашку, кинжал, газыри и проч.); по старинному запорожскому обычаю поднес ему вино в деревянной, точеной из ореха чарке, называемой михайлик. Снилось еще празднование двухсотлетия Кубанского казачьего войска, фейерверки за Кубанью.

— Как же я буду с вами расставаться? — вздыхал он.— Сто рублей, Одарушка, как умру, послать в Ерусалим в пользу гроба господня и сто на святую гору Афонскую. Ночью шел я по скорбному пути на Голгофу. Было четыре остановки. Та накажи, Одарушка, Дионису: если живой будет, то серебряный рубль от царя Александра Александровича пускай так и держит в хате, не тратит, то мне давали в конвое на память. По одну сторону голова царская. Я ж за ним как нянька ходил. Из рода в род и передавайте. Казаки ж хватко служили России.

Последнюю неделю он ходил по станице и всем говорил, что собирает на храм и скоро пойдет ко гробу господню в Иерусалим, а оттуда на гору Афонскую.

В том помешательстве шел он за пашковскую греблю в смертный свой час.

— Куда, Лука Минаевич? — спрашивали.

— В Ерусалим.

У правления разорялся отец генерала Шкуро:

— Та якый вин Шкуро? Шкура́ вин, ось хто! Бог его

знает — хранцуз який нашелся? Я ему кажу: «Чего ты, собачий сын, в Шкуро перевернулся?» Здравствуй, Лука! Куда ты?

— В Ерусалим.

— А-а, ну давай, це недалеко.

Он шел по снежной дороге на Старокорсунскую, и ему казалось впереди светлое царство. За Киргизскими плавнями он вдруг вздохнул, наклонился на палку переждать, и застыл раскорякой. Попсуйшапка побоялся его трогать и побежал к первой хате выпросить сани. Говорили, что это был, наверное, единственный случай такой смерти — стоя.

Лука Костогрыз умер — было известно через день в Екатеринодаре и окрестных станицах. Но до него ли было?

ХИРОМАНТКА ПРЕДСКАЗЫВАЕТ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Совсем не так, как когда-то наказный атаман Бабыч, поздравила газета «Вольная Кубань» с новым, 1920 годом. На россиян-беженцев сыпались одни упреки. Шумною толпой устремились-де они за Добровольческой армией, но не затем, чтобы принести ей помощь, нет, жаждали возврата своих имений и угодий. После гибели самостийников Рябовола и Кулабухова казаки не доверяли деникинцам. Упрекали и генерала Шкуро за то, что он раздает автографы смолянкам, держит у себя в доме на Крепостной невестку бывшего наместника покойного графа Воронцова-Дашкова и стоит за единую и неделимую Россию. Его «волчья сотня» с черным знаменем и сам он на скакуне в серой папахе из волчьего меха кое-кому уже не внушали восторга. Красные захватили Новочеркасск. 20 февраля Рада учредила орден «Спасения Кубани» и медали I и II степени. Генерал Шкуро упивался криками толпы, ездил всюду в сопровождении собственного хора песенников и балалаечников. По-прежнему звали: «На Москву! На Москву!» Но еще чаще между собой: «Пропала Россия!» Дамы с собачками покупали билеты на поезд в Новороссийск, к морю. Там управление вооруженных сил взяло на учет даже публичные дома, скопившие иностранную валюту. Деникин признавал, что борьба внутренняя для него тяжелее фронта. В октябре 1919 года он отправил жену и мать в Кисловодск. Ночью в саду посвистывала птаха, и Манечка думала: «Душа чья-то кричит». На Котляревской улице по линиям рук, по году и дню рождения и по Библии хиромантка предсказывала настоящее и будущее. Хотелось пойти к ней. Но ей уже гадала один раз по руке красавица мадам В., возб-

ленная братца Пьера. Вместо этого она пошла в Зимний театр аплодировать артистам МХАТа — В. Качалову, О. Книппер, А. Тарасовой.

В воскресенье 9 февраля добровольцы отметили в Зимнем театре вторую годовщину Ледяного похода. Были генералы во главе с Деникиным.

— Два года,— сказал он,— но сколько лет горя они будут стоить России!

В начале марта все чаще стрелялись прибывавшие с фронта офицеры. В часовне на Крепостной площади каждый день стоял гроб, усыпанный цветами.

Беженцев с севера все прибавлялось. С фронтов поступали тревожные сводки.

Калерия Шкуропатская не очень-то пугалась вторичного нашествия красных на город, потому что ее Дема, Дементий Павлович, защищал в суде подпольщиков и красноармейцев. За милосердие не накажут. Сама она выдавала книжки в пушкинской библиотеке.

— От своего народа не бегают,— сказал Бурсак как-то за чаем в день окончания процесса над доктором Лейбовичем.

Речи его, правда, были уже не столь передовыми, как в царское время. Изменился он после того, как прочитал беседу с бывшим другом Толстого Чертковым. На вопрос, что сделал бы теперь Толстой, этот Чертков ответил без колебаний: «Как в николаевское время ответил Толстой на расстрелы статьей «Не могу молчать», так и теперь сказал бы: «Поставьте и меня к стене». Вдруг Бурсак напал на интеллигенцию: она-де не признавала ничего своего, самобытного, жила готовыми, принесенными с Запада теориями.

— Стыдно сказать, но ведь было даже приветствие кое от кого из русских японскому императору по случаю японской победы над нами. Кто сейчас погибает? Офицеры. А их всегда считали дикарями.

Калерия не напоминала ему о том, что́ он говорил раньше. Она еще не знала, что в эти месяцы созревал тот Бурсак, который с ней вскоре простится. Уже повисло над ним слово «никогда». Никогда больше не соберутся они в своем доме. А пока они порою были даже беспечны.

— Я перед ними не виновата,— говорила тетушка Бурсака, все дни носившая черное платье.— Я везла им на Кавказский фронт двадцать пудов муки.

— В революции, тетя Лиза, виноват тот, кто не становится на ее сторону.

— Если не будет нашей победы, то что же мне — вешаться?

— Если победят они, значит, они России нужнее. А вас, впрочем, выручит доктор Лейбович, тогда с ним будут считаться. Вот я попросил в речи взять его на поруки за сто тысяч. Двадцать тысяч пообещал сразу купец Квасов, а десять вы. Спите спокойно.

— Четыре года каторги — шутка ли? Ему шестьдесят пятый год, он не выдержит. У него такие заслуги, сколько орденов от царской власти: святой Владимир, святая Анна, еще. А что он сказал в последнем слове?

— Он встал, руки простер: «Возьмите Евангелие, там написано: когда сказали Христу, что его ученики рвут в субботу колосья, Христос ответил: «Не человек для субботы, а суббота для человека». И в субботу, значит, можно делать добрые дела. Ради того, что я делал для граждан, вы должны простить меня».

— Но прокурор ему припомнил связь с социалистами в девятьсот седьмом году?

— Обвинений много. Свидетели говорили разное. Якобы из всех раненых белых партизан он думал воспитать инструкторов Красной Армии. В «Чашку чая» входил с красноармейцами для сбора пожертвований в пользу большевиков. И на японскую войну ездил, дескать, с целью подрыва дисциплины в войсках. Другие — будто он прятал у себя в доме белых; возмущался расстрелом господ, те собирались встречать Корнилова цветами.

Тетушка, вся пунцовая от злости, сказала:

— Мерзавцы! Обыватели всегда обыватели. Я вот о чем думаю, племянничек. Все бумаги Бурсаков я отдала архивариусу Кияшко и жалею. Пропадут, если... Говорила тебе: отдай кому-нибудь, найми, пусть напишет. Уже бы книга была.

— Но если род наш на Кубани оборвется, зачем книга?

— Да кто тебе сказал? Деникин не сможет, Врангель поведет на Москву.

— Жаль, нет Толстопята, он бы почитал вам, какие стихи сочинили офицеры. Все надеются на них, а сколько их? Горсточка. И гимназисты. Нет, тетя Лиза, надо было получше кормить народ. Не знаю, не знаю, чем это кончится.

— Уйдем и вернемся с союзниками.

— Я пока уходить не собираюсь.

— У тебя семь пятниц на неделе. Не забывай, пожалуйста. И не забывай, что если придет хам, то на полях Кубани взойдут не добрые всходы, а плевелы.

— Вы меня обижаете, тетя Лиза. Я боюсь толпы, но я

всегда за демократию, и я понимаю, почему взбунтовался народ. Мы не были на фронте, и значит, ничего не видели. Русский народ не отступится.

— Да ты же только что сомневался!

— Иногда я боюсь за себя, тетя Лиза. От этого. Лобанов-Касаткин печатает в газете стихи, а я думаю: ну так, так: «разграбившим храмы твои», так. Но где же вы все были раньше?

— А ты где был?

— Защищал в суде попавшихся революционеров.

— Бомбистов. А ты где была, Манечка?

— Я училась, Елизавета Александровна.

Манечка Толстопят слушала их разговор с грустью. Но она ничего не боялась. Привыкшая в лазарете к стонам раненых, к смертям тех и других, она давно перестала беспокоиться о себе. «Наше святое дитя»,— звали ее Бурсаки. Она всегда при старших молчала. На лице ее, ниже глаз, остро лоснились косточки — так она похудела за два года.

— Больше ничего доктору Лейбовичу не приписывали? О лазарете у кладбища не поминали?

— Нет.

В лазарете Манечка выполняла все поручения доктора Лейбовича. Как-то, когда он еще был на свободе, она пошла даже на риск. У них во дворе стояли с лошадьми корниловцы, позволявшие ей ездить верхом. Там, где спустя десятилетия поместят вендиспансер, белые устроили возле кладбища хрупенький госпиталь и свезли в него раненых красноармейцев. Свезли на смерть, оставив без всякого присмотра и медикаментов. «Я дам тебе лекарства,— сказал ей Лейбович,— ты потихоньку передай в госпиталь». Перевесив через спину лошади санитарные сумки без крестов, Манечка от дома доктора спускалась на лошади к Кубани и глухой улицей выезжала к госпиталю, отдавала сумку какому-то санитару. И так один раз в неделю. Потом она научилась красть одежду. На пустыре Крепостной площади, возле часовни, кучей лежали окровавленные военные кители. В туманные утра она набирала их в корзину и на трамвае привозила домой. Кто в госпитале выживал, надевал китель и ночью скрывался в Свинячьем хуторе. «Господь бог, храни всех, храни и брата моего Петюшку»,— шептала она на ночь.

Вот почему она спрашивала о том лазарете. И помалкивала.

Последние лекции читал в «Монплезире» князь Е. Трубецкой, но еще не знали, что последние.

В эти дни неисправимый силач Фосс еще раз накушался за чужой счет: зашел в лавку, натолкал в рот на три рубля колбасы и, нагнав панику, удалился, не заплатив ни копейки.

— Брызги жизни! — сказал на прощание. — Я Фосс! Фосс не платит.

Говорили также, будто на следующий день на него в Пашковской положили двадцать пудов досок, и верховые казаки проехали по этим доскам несколько раз. И проспорили бочонок меду.

Десятого марта Калерия ходила с мужем в «Чашку чая». Вправду толкуется: никто не может предсказать будущее. «Чашка чая» перебралась на улицу Гоголя под Зимний театр. В светлом большом зале, украшенном тропическими растениями, в тот вечер вместо барышень обслуживали раненые офицеры.

Кто же там был?

Как нарочно, в тот вечер зашли обогатить кафе содержатели магазинов, лавок, старые казачьи генералы в папахах, уже плохо слышавшие, плохо видевшие и мало что понимавшие в политическом вихре. Там был обувной король Сахав, покупщик первой легковой машины, скандалист и бабник. С ним сидели другие богатые армяне: братья Богарсуковы, Демержиев, Ходжебаронов; владелец Старокоммерческой гостиницы седой вежливый Папиянц и благодушный, вечно дававший ссуды Черачев. Там были давно на Кубань залетевшие греки: Акритас, Мавраки, хозяин «Националя» Азвездопуло, родня Фотиади, в доме которого на Соборной стоял Деникин, торговцы музыкальными инструментами братья Сарантиди, бывший полицмейстер Михайлопуло. Там были турки: пекарь Кёр-оглы, Гасан-Мамед-оглы и еще кто-то. Не все персы уехали в 1914 году, и они пришли. Там были ювелир Ган и аптекарь Каплан. В группе пожилых офицеров сидели дамы: начальница Мариинского института княгиня Апухтина, директриса гимназии Понофидина, вдова генерала Ассиер, классная дама Толстая. Там были и господа петербургские, московские и прочих губерний.

Сбор пожертвований по объявлению удался вполне.

Пристав Цитович с городовыми следил на выходе за порядком.

Вечер этот запомнился на всю жизнь: в «Чашке чая» сидел с мадам В. раненый Толстопят. Такое было в их жизни, и от этого никуда еще не денешься. Запомнилось еще Калерии: Бурсак подарил Толстопяту русско-

французский словарь «Общественно-полезные разговоры».

— Шел сегодня мимо магазина Запорожца и купил.

— Подпиши,— сказал Толстопят невесело.

Бурсак подозвал офицера и попросил принести ручку и чернила. На титульном листе он сделал надпись, которую не раз потом они перечитывали с грустью. «Пьеру Толстопяту, моему другу, на будущую жизнь. 10 марта 1920 года. Екатеринодар, «Чашка чая». *Д. Бурсак*».

— Спасибо,— сказал Толстопят.— Пора утончаться.

И передал мадам В.

Она полистала, зачитала несколько фраз:

— L'empereur a publié un edit... Je m'abandonne à mon malheur... Ces temps sont passés... j'ei dessein de passer l'hiver à Paris...[1] — И она медленно, безнадежно опустила книгу на колени.

— Кто там шумит? — Толстопят обернулся к оркестру и долго разглядывал молодецкого офицера с двойным гвардейским серебряным галуном.

— Это сумский гусар,— сказала мадам В.— Он пробрался к нам с Урала. Вчера он рассказывал, как они в Тобольске хотели выкрасть государя. В январе восемнадцатого года они выехали из Москвы до Тюмени и потом триста верст ехали на ямщицкой тройке к Тобольску. За ними должны были прибыть сто гардемаринов. Государя охраняли триста солдат Гвардейской стрелковой дивизии. Мечтали даже захватить телеграф. Но они плохо организовали похищение. И не было денег.

— Сейчас на Кубани весь Сумский полк,— сказал Толстопят.

— Монархисты,— заметил Бурсак равнодушно,— люди определенной психологии. У них особый склад души.

— Царя уже забыли,— сказала Калерия.— А прошло не так много времени.

Бурсак зло, будто Калерия перед ним виновата, пробурчал:

— Или у людей нет собственной жизни?

Они утром поругались и еще не помирились.

— Чего ты сердишься? — удивилась Калерия.— Я не к тому говорю, что его нужно жалеть, я просто так сказала. А детей мне жалко.

— Они наследники власти. Они были опасны потому, что в любую минуту могли знаменовать своим существо-

---

[1] Государь дал указ... Я предаюсь своему несчастью... Эти времена прошли... Я намерен провести зиму в Париже...

ванием власть. Старую власть.— Бурсак злился все пуще.— У женщин нет логики.

Калерия решила перемениться.

— Давайте поговорим о другом.

Но мадам В. продолжала свое:

— Правильно кто-то сказал: муха, севшая на Исаакиевский собор, не подозревает о его стиле. Я думаю: какая грустная жизнь ожидает всех. Или уйдете и опять вернетесь? Такое уже было. В Турцию уйдете и оттуда вернетесь.

— Ну да, уйдем в Турцию, там есть монастырь, в монастыре церковь, а в церкви, говорят, мизинец Иоанна Крестителя. Помолимся, но уже и святой мизинец не поможет. Молитву офицеров я вам читал?

— С молитвой и вернетесь.

— Когда они вернутся,— сказал подслушавший их купец с другого столика,— иголка рубль будет стоить. Извините.

— Все мы в положении евангельской смоковницы,— сказал очнувшийся Толстопят.— А я, друзья мои, так устал, что молчал бы, кажется, всю жизнь. Легко говорить этим магазинщикам. «Ешь нашего хлеба,— говорили запорожцы,— та не заедайся, бо мы тебе его дали, мы и отнимем». Вода прибывает весной, и она прет на греблю, и поначалу помалу пробивается, а дальше как заревет, то и греблю снесет. Так будет, к бисову батьку, и с нами.

— Что с тобой? — мадам В. приложила руку к его плечу.— Рука болит?

— Я воюю с четырнадцатого года. Когда я почувствую на своей груди штык, я не испугаюсь. Иногда хочется этого штыка.

— Зачем же так?

— Ты, Дема, не был в первом походе под Лежанкой. Ты мало видел. Вон они кричат,— протянул он руку в сторону дальних столиков,— слышишь?

— Сегодня для многих последняя застольная беседа,— кричал там офицер.— Многих не будет между нами к последующей встрече. Вот почему не станем ничего желать себе. Нам ничего не надо, кроме одного: да здравствует Россия!

И слева за столиком тоже говорили, тоже жаловались:

— До чего все разложилось... Какой-то священник Четыркин в церкви на кожевенных заводах отворил во время пения певчих царские врата, пошел к певчим и приказал, чтобы они прекратили пение.

Вскакивал, как ужаленный, какой-то господин в пенсне, брызгал стихами:

Святая Русь, что сделали с тобой?
Твой взгляд потух, страдальчески печален.
Во тьме, усталая, с поникшей головой,
Как мать, своих детей ты ищешь средь развалин.

— Я написал войсковому атаману,— говорила вдова военного инженера,— написала: если вы в добром расположении духа, читайте мое письмо. При наступлении Корнилова на Екатеринодар был убит мой сын, потом мой муж. Я не знаю, каким богам молиться и сколько слез пролить, чтобы дождаться внимания, мне не на что жить. У меня две дочки. Я на старости лет научилась шить обувь. Сегодня обед, а завтра один картофель. Сегодня один ботинок порвался, завтра другой. «Ваша дочь не может быть принята в гимназию, она не казачка!» Когда моего сына Боричку привезли раненого, он стонал и рыдал,— это для господ атаманов ничего не значит, а я всю свою жизнь и средства отдавала для Родины святой. Я была попечительницей на Шпалерной, двадцать шесть, рядом была казарма конвоя его величества, даже бородатые отцы-казаки приходили в мой приют с детьми, я их учила молиться, любить Россию, на собственный счет привозила корзины еды, чаю, сахару. Во время японской войны отдала безвозмездно полный этаж под лазарет донских казаков, это наши ангелы-хранители были, а эти пауки из краевого правительства мучают меня! Что за иезуитские новые штуки? Прикажите, умоляла, на войсковой счет принять. Ничего не добилась...

Мадам В. вздохнула:

— Рим спасли гуси, а нас кто? И неужели об этом никто никогда не вспомнит, не напишет? Сколько страданий.

— Напишут,— мудро успокоил Бурсак.— Но, боюсь, Юлечка, это будет не то, что тебе хочется.

— Я ухожу,— сказал Толстопят.— Завтра мне в войсковой канцелярии надо получить деньги за двух лошадей.

— За каких лошадей?

— За таких. Убитых в Турции подо мной. У меня есть рапорт и свидетельство. Казенная расценка лошади была сто пятьдесят рублей, теперь за эти деньги не купишь и плохой рабочей лошади. Так-то, господа казаки. Я офицер, мне еще воевать. Я присягал. Может, и мы больше не соберемся вместе. Встать! На молитву шапки долой! Ура! Пошли, пошли. Чего на купцов глядите?

Они вышли, и вдруг Толстопяту захотелось подняться

на пожарную каланчу. До Екатерининской улицы шли и молчали. Было тепло, и от Соборной до Крепостной площади гуляли парочки. На каланче была широкая площадка, в мирное время туда взбирались влюбленные и разглядывали окрестности. С высоты было видно до самой станицы Марьянской. В густых сумерках ползла по черной земле гибкая река Кубань. А на востоке в Пашковской, под Дубинкой поблескивали Карасунские озера. Широкую землю держали в своих руках деды! Толстопят прижал к себе мадам В. за плечо.

— Что это там за звезда, знаешь?

— Наверное, Меркурий.

— Я пойду к тебе на Динскую.

— Я ждала, когда ты это скажешь.

— А что это, господа, за звезда? — спросил Бурсак.

— Наверное, Меркурий...

— Такая тишина в степи у Елизаветинской, не верится, что идет война.

Никакая хиромантка не смогла бы нагадать, что они вместе глядят на родной город с высоты в последний раз.

ИСХОД

За сто с лишним лет город еще не знал такого нашествия калмыцких кибиток, телег, верблюдов, пеших скуластых беженцев. Везде попадались брошенные пустые телеги. Калмыки шли через мост на Новороссийск шестой день.

Ту ночь 16 марта Толстопят провел без сна. Толстопят лежал у нагретой стены, протянув руку под голову отдыхавшей от ласк подруги, ласк каких-то смирных и горестных, будто оба они просили прощения. «Золотой мой... — все шептала несчастным голосом мадам В. — Любимый...» Никакое другое время не свело бы их больше вместе. Так нареклось. Они даже были счастливее, потому что многие пары уже разорвались: кто-то погиб, отстал, предал. Теперь мадам В. нуждалась в Толстопяте как ни в ком другом.

Ей приснился сад, необозримый, волшебный. Она, маленькая девочка, заблудилась и попала во владения великой царицы. Робко шла по аллее. То тут, то там возникали грот, ажурный мостик, дальше домик, похожий на пряничный гриб, по сторонам стояли железные скамейки. Она присела на одну из них. Стало темно. Вдруг вдали замелькали огоньки, к павильону приближалась нарядная толпа. Впереди шла дама под руку с высоким смуглым красавцем. Откуда-то, точно с верхушек деревьев, слетела музыка, закружили пары, появились ароматные напитки в граненых

кувшинах с длинными горлышками, сласти и лакомства в хрустальных вазах.

Она шевельнулась и обняла рукой Толстопята. Он не спал.

— Болит рука?

— Нет, нет,— ответил он.— Я гляжу, как двор снегом укрывается.

— Который час?

— Наверное, четвертый.

— Ты совсем не спал?

— Дремал.

Кажется, всего на одно мгновение он сомкнул глаза и потерял мир; сразу очутился у себя дома на Гимназической. Читал Евангелие. Дверь на балкон была растворена настежь. Он читал Евангелие на старославянском языке. Вдруг что-то толкнуло его в бок. Он повернулся. О ужас, в дверях стоял покойный уже, царство ему небесное, государь Николай Александрович, точно такой же, каким он входил на молитву в Феодоровскую церковь в Царском Селе, но в то же время чем-то похожий на его батька Авксентия. Что делать? Встать и поклониться? Толстопят с непосильным трудом привстал, но двинуться вперед не удалось. Попроситься снова в конвой? «Примите меня, ваше величество, к себе на службу»,— сказал будто Толстопят и тут же пожалел: на кой черт он унижается перед ним? И к тому же его уже расстреляли. Царь вдруг заплакал: «Что же вы меня предали, конвойцы?» И ясный его образ стал тонуть в белом тумане и исчезать. Глаза Толстопята были мокрыми. Он почувствовал, что подруга его тоже не спит. Пасмурной белизной сияло окно. Полосами летел снег.

Он встал, оделся и сел у окна. На сердце не было ничего, кроме предчувствия долгой беды, которая вот-вот разломится над его головой и которую не поправить ничем и никогда. Впереди Голгофа. Почему он глядит на чужой снежный двор, почему не дома, с матушкой, с Манечкой? Уж в этой жизни они больше не встретятся!

Что-то подгоняло его уйти и добраться к родным.

— Я пойду,— сказал он мадам В.

— Постой, я провожу тебя.

Уже одетая в теплое платье, она на прощание обняла его у окна. Она так прижалась, что оторваться от нее — значит обидеть. Пустота какая-то отняла у него все слова; он ее не увидит; если он погибнет, надо было все же сказать ей что-то, что она запомнила бы навеки. А он молчал.

— На всякий случай все собери.

— У меня давно готово.

— Ну, пошли.

Надо же! — за воротами он увидел, как издали едет извозчик. То был Терешка. Он подозвал его рукой, тот остановился.

— Терентий Гаврилович, милый. На Гимназическую. Скорей. И перевезешь ее к Бурсакам. Потом.

С конца улицы он оглянулся. Она стояла с поднятой рукой. Чувствовала? Толстопят виновато махнул ей напоследок.

У отцовского дома еще не оборвалась сонная тишина; в бане Виноградского затопили печи. Все долгие годы жалел потом Толстопят, что не разбудил сестру Манечку и не попрощался с нею. Она уснула, видать, поздно; возле подушки лежал ее дневничок, на нем письмо офицера. Толстопят прочитал его: «Я, доброволец 1-го офицерского генерала Маркова полка, в данный момент лежу в лазарете и не имею совсем ни родных, ни знакомых и хотел бы иметь крестную мать, которая бы навещала меня и приносила табак. 9-й лазарет, палата № 11, Епархиальное училище, Котляревская улица...» Толстопят долго не будет знать, что некрасивая его сестричка полюбит этого офицера, спасет на несколько месяцев, до того дня, когда его вызовут в Зимний театр новые властители, втолкнут на Черноморской станции в вагон и где-то в пути расстреляют.

Утром 17 марта, под глухой звон колокола Александро-Невского собора он выехал на Красную, перекрестился и через полчаса был на дороге за мостом.

В два часа дня в Екатеринодар вступили буденновцы. На гривах, на хвостах их коней позорно висели офицерские погоны добровольцев. Народ ликовал.

...В квартирах, на постоялых дворах, в лазаретах, в сараях ненужными валялись трофеи добровольцев и беженцев: рубахи, кальсоны, английские перчатки, браунинги, кисейные юбки, френчи защитного цвета, полушубки, портянки, седла, кинжалы, телефоны, иголки для сшивки ран, щипцы для жеребцов, восковые свечи, книги, меховые вещи, ордена, медали, ленты, румынские, персидские монеты, енотовые шубы, печати, кувшинчики с армянским сыром и даже золотое кольцо Мефистофель...

И жертвенник погас,
Но дым еще струится...

Часть пятая

ЖИЗНЬ ПРОШЛА

— Не сплю, думаю: «Божечко ж ты мой, шо ж я из всих одын остався? Кругом парни та дивчата, це новое племя. А мое племя где ж?»

(Казак А. В. С-в)

Ничего нет в жизни случайного, и наверное, так надо было, чтобы в 1956 году приехал я в Краснодар и присох к нему на четверть века почти.

Было лето: июль, 27-е. Ни одной знакомой души, я иду с вокзала по улице Мира, по Суворовской к общежитию, посматриваю на пекарню, хлебный магазинчик, аптеку с крыльцом, а сам думаю о тамбовском городке, с которым попрощался позавчера. Нынче я бы много дал, чтобы явился тот день со всеми приметами, но это невозможно. Нет такой волшебной палочки. Все было мне незнакомо тогда, а сегодня даже местные историки не знают о городе того, что знаю я. И мне кажется, что уже в первый день мимо меня прошли все, кто потом рассказывал о своей молодости, и я опять восклицаю: это знак! Наверное, так надо было, чтобы в картинной галерее задержался я у «Портрета неизвестной дамы» дольше всего. И может, не обманывает меня другой сон воспоминаний: на Новом рынке покупал я к вечеру персики у низенького беленького и чрезвычайно любезного старичка из станицы Васюринской, и то был не кто иной, как Попсуйшапка. Он тотчас просветил меня, где я живу: напротив Старого базара и знаменитой обжорки Баграта в бывших номерах гостиницы «Керчь». Но меня это нисколько не тронуло.

Я пил по утрам кофе в закусочной (теперь выясняется, что то была когда-то прихожая дома полицмейстера Черника), хлеб брал напротив — в доме с балкончиком, но не просто в доме, а в бывшей гостинице «Лондон», обедал в столовой по соседству с кинотеатром «Кубань», некогда электробиографом «Монплезир». И так — одновременно из сегодняшнего дня и из дальней дали — гляжу я уже на все городское.

За двадцать с чем-то лет исчез и город моей молодости. На месте подписного магазинчика возле посудной лавки, на месте армянских дворов по улице Орджоникидзе (б. Базарной) и затем на месте магазина с великими темно-жел-

тыми ставнями (со стороны улицы Шаумяна, б. Рашпи левской, где, кстати, Толстопят умыкал на извозчике Ка лерию) стоит все другое, новое. Я застал еще круглую де ревянную пивную на углу улиц Ленина и Красной. На сво прошлую жизнь глядишь не взором завхоза, а как-то инач возвышенней. Но не нами она здесь начиналась, не нам и кончится, и не один еще скажет в будущем: «А я пом ню, вот там было то-то...»

Судьба! Мне суждено вспоминать там, где я не родил И виновата моя бабушка. Это она раскрасила мне Кубан в своих воспоминаниях на завалинке. Не на тамбовско толчке приобрел я за старый рубль роман Вас. И. Немиров ча-Данченко «Кулисы», роман плохой, но я храню его ка реликвию — ведь уже в первые южные дни присаживался на корточки среди разложенной на подстилках всякой вс чины, выбирал дореволюционные книжки. О толчке улице Северной, тогда еще не заслужившем того, чтобы е разгоняли, а потом и вовсе закрыли, я пожалел, когда за нялся сбором материалов к роману,— там немало еще бы истых екатеринодарцев. Они уже все на погосте.

Умерла и моя бабушка, тамбовская кацапка, бегавшая девичестве к усадьбе Воронцова-Дашкова, того самого гр фа, кавказского наместника, коего генерал Бабыч с дрож встречал в Екатеринодаре в начале века. Провожая меня Кубань, бабушка наказала мне разыскать в станице Елизав тинской казачку, у которой она «до переворота» на зараб ках стояла во дворе целый месяц.

— Там спросишь Христючку, звать как забыла. характером легкая, хоть на руках неси...

Долговязая Федосья Кузьминична Христюк передала мной бидончик молока Калерии Никитичне Шкуропатс на улицу Коммунаров (б. Борзиковскую), 48. Во дв Шкуропатской росли два толстых дуба, уцелевших, види с черноморских времен. Я тогда не раскрыл, что Шку патская носом и глазами очень схожа с дамой на портр в картинной галерее. Не мне, а квартирантке Верочке К сун сказала Калерия Никитична: портрет свой она вид последний раз в 1939 году.

В хохотушку Верочку с прямым носиком я сразу в бился, и она не испугалась моих взглядов. Я был удив ее быстрым смирением: терпеть мою внешность. Я счи себя безобразным, девчонок чурался и уже подумывал во всем белом свете мне нету пары. Уж где там волочит за каким-нибудь цветочком на улице; даровалось бы счас жениться к сроку — и ладно. А Верочка была хороша соб

невысокая, с красными губками, озорными глазами. Я при ней трещал не умолкая и, может, этим привлек ее внимание к своей особе. Калерия Никитична, пуще всего боявшаяся того дня, когда квартирантка зазовет на свидание парня (да еще, не дай господи, спрячет его в комнате на ночь), почему-то благословила нашу дружбу и сама приглашала меня на вечерние чаепития. Затем, в лунный час, мы сиживали под дубами, и Верочкино шелковое платье сводило меня с ума. Но как было всего коснуться откровеннее? Не должна ли Верочка попросить об этом сама? Святое время! Как-то в Горячем Ключе мы попали под дождь на горке и забежали укрыться в хате. Там жил старик Аким Скиба.

Что-то заставило его посчитать нас мужем и женой.

— Любите своего мужа? — спрашивал он Верочку, когда я отлучился попить.— А он вас? А то научу, как приворожить. Когда я был маленьким, прислали брату книжку «Секреты женской красоты». Я втайне прочитал ее. А потом у сапожника работал и прочитал книгу заговоров. Или вы и так друг друга любите? Как казачка из Елизаветинской Федосья мне говорила: «Я его как побачила, так и сказала, що це будет мой. На него можно садиться прямо с плетня и погонять куда хочется». И у вас так? А то поворожу.

Я, пока ходил пить, высмотрел старую книжку о какой-то княгине, жаждавшей казнить своего мужа неверностью. На титульном листе черными чернилами кто-то написал: «Из книгъ м-мъ Бурсакъ Е. А.».

— У нее была дача под Елизаветинской,— сказал Скиба.— Не знаю, жива ли Федосья Христюк, она там прислуживала, а я к ней приходил.

— Федосья жива. Я от нее молоко возил Шкуропатской.

— И Шкуропатская жива?

— Я у нее стою на квартире,— сказала Верочка.

— Шкуропатскую я видел на той же даче с Бурсаком. Приезжайте ко мне почаще. Можете у меня переночевать. Я один. Я вам порассказываю.

Но молодость! — зачем ей чужие дряхлые воспоминания! Еще не оглядывался я назад. Не придал я никакого значения рассказу Верочки о том, как ее прадедушка гонялся за наказным атаманом Бабычем — выпросить для общества племенного бычка симментальской породы. Еще много надо было прожить до того лета, когда я отыщу в «Кубанском крае» за 1910 год отчет о процессе над убийцами братьев Скиба, в той же газете о похищении барыш-

ни Ш. сыном есаула Т. И намного позже прозвучит в моих ушах прозвание Екатеринодара: наш маленький Париж! Со своим пристрастием к преувеличениям я ухвачусь за это. Да! Покойная моя бабушка не ведала, что подсылает меня к Христюк недаром. От нее потянулась цепочка ко всем остальным моим кубанским сторожилам. Лишь с Толстопятом я сошелся без посторонней помощи. Но тоже, дать, не случайно. Все мои встречи отмечены числами, в которых есть цифра 7. А в цифру 7, говорят,

ЧУДЕСА ВРЕМЕНИ

В здании бывшего епархиального училища, где я после занятий покупал французскую газету «Юманите», вдруг устроились за прилавком киоска новые продавцы, старик и старушка.

Продавцы были очень вежливы, не позволяли забывать на тарелочке сдачу (пусть и одну копейку), киоск свой закрывали поздно. Они как будто жили в этом киоске, дома им вроде бы было скучнее. Всякий раз я ловил себя на том, что подойти к разложенным на широких пюпитрах журналам и брошюрам, полистать и не взять что-нибудь хоть на грош как-то неудобно. Кто они, откуда? Есть милые приветливые люди, с которыми боязно сближаться,— кажется, что ты недостоин их, слишком прост, неотесан. Они были сама вежливость, сама мягкость: сухой высокий старик, подавая газеты, обязательно заглядывал вам в глаза, а супруга его в очках тонкой серебристой оправы, с гладко стянутыми на затылке пуховой белизны волосами касалась своими птичьими пальчиками чего бы то ни было с какой-то музыкальной тонкостью. Однажды, в каком месяце — не помню, именно в том, когда во Франции к власти пришел генерал де Голль, я попросил «Юманите» за три числа, и старик, доставая газеты из укромного места, пробормотал что-то по-французски. Я ни слова не понял. Тогда он спросил:

— Вы свободно читаете?

— Очень слабо. Я самоучка. Со словарем разве пойму, что за птица де Голль.

— Де Голль напомнит французам о национальной гордости.

— А вы, наверно, француз? — спросил я.— Из Парижа? Вы недавно у нас? Нравится наш Краснодар? — спрашивал я глупости и, главное, с глупой интонацией.

— Это мой родной город, молодой человек.

И он занялся делом, дал понять, что спрашивать его больше не следует.

Но мы почти познакомились.

Наверное, я привлекал людей робостью, и потому, кажется, старики быстро допустили меня к себе; через месяц я стал бывать у них дома. Они жили по улице Советской, недалеко от картинной галереи. В маленькую комнату с круглым столом посредине я ходил расспрашивать их о Шаляпине, Бунине, Коровине, Мозжухине, которых они видели за сорок лет своей жизни в Париже не один раз. Большой новостью для меня были воспоминания Л. Д. Любимова «На чужбине» в двух номерах журнала «Новый мир»; эти номера, как и через год «Современные записки», одолжили мне старики. Воспоминания киоскеров о Петербурге, Екатеринодаре, Париже дополняли мои исторические впечатления. Юлия Игнатьевна пекла чудесные булочки, и раз в десять дней я пил у них чай. Скажу теперь, что Юлия Игнатьевна — это известная нам мадам В., а муж ее — Толстопят Петр Авксентьевич. Не надо опасаться, будто они занимались моим перевоспитанием. Они не думали об этом нисколечко, обо всем говорили между прочим, как это и бывает с людьми. Они любили кормить, за столом сидели у них всегда долго, по-старинному, тарелки убирались и вновь ставились, чаеванье растягивалось бесконечно. Каюсь, я непременно читал свои сонеты и каждый раз слышал от месье Толстопята одно и то же: «Дема Бурсак тоже поэт. Че-орт его знает!» Но я не обижался на то, что Толстопят был глух к моей поэзии,— ведь он сам сказал о себе: «Извините, я простой казак». Зато Юлия Игнатьевна подстрекала меня (думаю, не совсем искренне) почаще приносить «что-нибудь новенькое» и обычно перед чаем торжественно объявляла: «Господа! А Валентин Павлович, кажется, написал новый сонет. Попросим?» У меня их было уже числом до ста сорока, и я вместо одного распевом читал с десяточек. В то время я жаждал понравиться своими сонетами всем. Любезная чуткость Юлии Игнатьевны спасала меня от страданий.

1 мая мы смотрели с Толстопятом демонстрацию с тротуара возле Пушкинской библиотеки. Впору было пожалеть, что вымерла мода на белые костюмы: Толстопят выглядел в своем прекрасно. Мы караулили открытие парада. Вдали на перекрестке, у картинной галереи, в ожидании команды переминались военные. Вдруг они выровнялись, стали както выше, теснее, точно чрез их ряды пустили ток, и затем

взмахом сапог потянули себя вперед под музыку, никого вокруг не признавая.

Шла армия!

Глаза Толстопята искрились от слез. Вспоминал ли он со сладостью парады казачьего войскового круга, великорусские парады под Петербургом? Или вступление советских войск в города Европы, когда в зале кинотеатров плакали все эмигранты? Он был воин, человек русский, и шла перед ним в торжестве дисциплины и неумолимой присяги вся та же родная русская армия, защитница. Да, он плакал.

За такие минуты слабости я и полюбил его.

В тот весенний праздничный день мы несколько часов гуляли по нарядной улице Красной, не могли расстаться: всем это знакомо.

— Вот видите,— останавливался он у Ворошиловского сквера напротив Доски почета, за которой должен бы выситься Александро-Невский собор, но его не было.— Здесь ваш покорный слуга стоял. Музыкантский хор нес две серебряные войсковые трубы. За ними знамена от царей. Белое и голубое — от Екатерины. Потом несли грамоты. А за ними наказный атаман Бабыч с булавой, лицо серьезно, будто на войну отправляется. За ним два офицера с булавами на бархатной подушке. Красиво было. Лес хоругвей, певчие, диаконы, три архимандрита в белых ризах и, наконец, епископ Иоанн с крестом и святой водой. Ста-аренький. А теперь сквер, лавочки. Неужели я оттуда выходил? Там пусто, березы растут. Че-орт его знает...

Именно на этом месте, где он сейчас рассуждал без всяких воздыханий, Калерия Шкуропатская гадала у цыганки на Толстопята в 1908 году.

Красная улица длинная, версты на четыре, раньше она утыкалась в памятник казачеству, а после войны проросла почти до бывшего Свинячьего хутора. Мы прошли туда-назад раза три. Я слушал Толстопята с детским интересом. Хорошо рассказанная жизнь становится завидной. Персия, Карс, война с турками — как героически далеко, сколько истлело костей, а тот, кто тогда мерз, стрелял, носил ордена, идет и указывает пальцем на бога Гермеса, венчающего бывший музыкальный магазин братьев Сарантиди. Захочется вдруг пожить чужой жизнью. Но тут я узнаю еще одну подробность. Когда мы уже завершали гулянье, на улице Ворошилова (б. Гимназической) Толстопят подвел меня к дому с широким балконом над тротуаром, помолчал и потом сказал, что из этого отцовского дома он ушел в 1920 году в марте месяце с деникинской армией.

Я кое о чем догадывался и раньше, я понимал, что это наша история, но все-таки я как-то немножко похолодел и даже оглянулся вокруг. Потом сообразил: да ведь еще жив командарм Буденный, еще в скверах на лавочках читают по утрам свежие газеты толстопятовские ровесники, сморщенные и сгорбленные красные бойцы,— чему ж удивляться?! И все же: неужели вернулись домой люди из презренного небытия? Почему? Зачем? Так давно отгремела эта небывалая гражданская война, и неужели я хожу с бывшим белым офицером? Но какой же он офицер: это изящный старик в светском костюме, советский гражданин, и ничего в нем нет ни от «бандита» (как их называли в послевоенных учебниках), ни от «рыцаря тернового венца».

Лето свое провел я на Тамбовщине, рассказывал бабушке о Федосье Христюк, и встретились мы с Толстопятом только в конце сентября, опять на торжестве: за высокий урожай правительство наградило Кубань орденом Ленина. С портретами, флагами и транспарантами шли крестьяне на митинг к краевому комитету партии. Сбоку по тротуару ускорял шаг Толстопят. Я догнал его.

После митинга мы гуляли. С насыпного вала в городском саду мы спустились к шоссе, взошли на мост, перебрались через насыпь железной дороги. В вечернем солнечном тумане лежали топкие поля.

— Что здесь было раньше? — спросил я.

— Пустота. И военный лагерь. Учебный лагерь строевых частей стоял. Тридцатого августа в лагере танцевальный вечер. Экипажи из Екатеринодара. Цветные фонари загораются. Утрамбуют место и покроют навощенным брезентом. Буфет, столы для играющих в карты. Ведь раньше везде, везде играли в карты. Цыгане появляются! Станичники себе в уголку песни поют. Молодежь танцует.

Есть ли что удивительнее времени? Ну так ли уж давно было войску пятьдесят лет? Толстопят родился в 1886 году и как о вчерашнем дне слышал от Костогрыза и от своего прапрадеда о торжествах и гулянии в честь пятидесятилетия войска за рекою Кубанью, в низине, куда сейчас мы смотрели. О время! Одно от другого так рядом: за праздниками Крымская война, конец кавказской, потом русско-турецкая, японская, за ней николаевская, потом революция, гражданская война, Отечественная, и вот никого уже нет...

Поздней осенью был я с Толстопятом на старом войсковом кладбище. Калерия Никитична Шкуропатская по-

правляла там отцовскую могилку; мы поговорили с ней о многих екатеринодарцах, давно успокоившихся под крестами и тумбами.

Прошлое потихоньку приближалось ко мне.

ЧАЙ С ЦЕРЕМОНИЕЙ

У Толстопятов не переводились гости. Если идешь к ним, кого-нибудь там застанешь. Стол, конечно, накрыт, и чувствуешь, что без тебя говорили о чем-то интересном. Чаще других сидела у них богомольная ярославская старушка с сыном-холостяком, и тогда до полуночи велись самые задушевные разговоры. Старушка любила пирожное, и я с удовольствием шел в магазин и покупал. Чай с церемонией (из самовара, с полотенцем на груди) оживлял воспоминания. У Толстопятов я бы, кажется, сидел вечность, слушал и без конца с восторгом удивления повторял: «Правда?» Только потом оценил я, как умели они спокойно, без досады в голосе, повествовать самые обидные истории своей жизни и как хорошо супруги спорили между собой: ни в чем друг другу не уступали, а все ж возражения были ласковыми, взгляды родными.

Бесед было много, но из всех составилась в памяти как бы одна, самая будто необходимая для характеристики моих престарелых знакомцев.

— Кто из русских,— спрашивала Юлия Игнатьевна, послушав новости по радио о Югославии,— кто подарил в двадцать втором году королю Сербии Александру браслет на его свадьбу, ты не помнишь, Петя?

— Уж, конечно, не я, Дюдик[1], конечно, не я...— Толстопят глядел в телевизор, слушал женский разговор сбоку, выходил и приходил, потом вдруг продолжал чью-нибудь фразу, мысль, но на свой лад.— В двадцать втором году я чинил в Болгарии железную дорогу, там, кстати, и видел царя Бориса. На границе с Грецией. Мог бы озолотиться я однажды. Попросили перенести чемоданчик на греческую сторону, к вагону. В чемоданчике, как выяснилось, бриллианты.

— Мы были рядом. Молотили зерно, я у половы стояла. Казаки женились на болгарках. «Пойдем к станичному,— говорим». Одна тема: «Как я женился на Кубани». Рас-

[1] Почему они так обращались друг к другу — я не знаю. *В. Г.*

ходились курить потом в разные стороны — слезу роняли.

— Я очень недоволен тобой, Дюдик. Почему ты не позвала меня на болгарский супчик? Я тогда как раз последний бумажник потерял, материн подарок. В нем кольцо, деньги. Я его носил в заднем кармане. И пошел, простите, в туалет. Он мне мешал, я вытащил, положил его сбоку. И забыл! Никогда себе не прощу. А тут пасха. Да спасибо, один хорунжий пригласил. Сели и давай Кубань вспоминать. Хорунжий: «А-а! Хотя и царское, но бог меня простит». Вынимает перламутровый браунинг, подарила ему одна из фрейлин за какую-то услугу. Он в первой сотне конвоя у Рашпиля, ты, Дюдинька, знала его? Рашпиля, у нас в Екатеринодаре по их фамилии улица называлась, сейчас Шаумяна. Его убило в марте восемнадцатого под Екатеринодаром, во время штурма.

— Его сестра в Бельгии жила, в доме престарелых скончалась.

— И побежали мы, голодранцы, четверо, в греческую деревню, с нами еще два белорусских гусара. Загнали браунинг. Дали нам греческой водки, две бутылки коньяку, сардинки. А хлеба не было. Пустили за стол генерала. «Ваше превосходительство!» — казаки ему. «Что вы! — говорит.— Называйте меня просто по имени-отчеству. Сегодня христово воскресение!» Идиотизм.

— Как это идиотизм, как это идиотизм, Петя?— возмущалась легкомыслием мужа Юлия Игнатьевна, легкомыслием потому, что он говорит об этом вслух, а кроме того, и неблагодарностью к тем, кто все-таки пострадал и потерял все; но в возмущении ее не было злости.— Как это идиотизм? Они так считали.

— Как?

— Свержение царя, они считали, и династии есть уничтожение русского народа. Потому так они и поступали, Петя.

— Я думал, это жена, а передо мной, оказывается, сидит оригинальное учебное пособие по русской истории. Нашим казакам я уже тогда говорил: «Не в Москве вам гулять придется, а пасти верблюдов на Камчатке. Наши знамена втоптали в дерьмо». Даже король испанский Альфонс Тринадцатый (с его дочерью, инфантой, я как-то купался в море) предвидел: настанет время, когда в мире будет только пять королей: трефовый, бубновый, червовый, пик и... английский. Он понимал! А наши лопухи все надеялись въехать в Москву на белом коне.

— Как говорится: «И в судный день, посыпав голову

пеплом, плакать и бить себя в грудь». Дюдя говорил. А ты не плакал, Дюдик?

— Не плачу уже лет тридцать. Я тогда больше всего боялся умереть. Могилы, могилы. Десять лет, и дожди смоют надписи, потом хорваты разровняют, и взойдет кукуруза.

Юлия Игнатьевна (не столько ради правды, сколько по домашней женской строптивости) выкатывала свои васильковые глаза.

— Ты же говорил мне, что когда читал мемуары о событиях гражданской войны, каждый раз казалось, что еще можно победить.

— Так хотелось домой! С горя я едва не ушел в монахи на святой Афон. Дюдя (теперь отец Ювеналий) ходил

— Я была один раз у него на исповеди. Я боялась его. Однажды пришла, он протянул ко мне руки и сказал ласково: «Гряди, гряди, голубица». Взгляд детский. Я сразу заплакала. А говорили: слезы на исповеди — это посылаемая богом благодать. Они знак покаяния.

— Что же он вам сказал? — спросил я.

— Да все то же, — сказал Толстопят. — Уповайте на господа, и он не оставит вас.

— Но он поддержал меня, Петя, он сказал: «России можно служить и на чужой земле. Примите вашу бездомность».

— С кем, Дюдик, я бы сейчас жил, если бы тебя сманили в монастырь. Вот тут бог мне помог. Я тяжелое создание. Не правда ли? — Толстопят поворачивался ко мне. Как можно служить России на чужой земле? Черт его знает! Как может офицер служить России в другой стране? Готовиться в поход? Ювеналий (вы его видели? он теперь в Екатерининском соборе) спрашивал как-то офицеров: «Верите ли вы, что бог слышал ваши молитвы и может исполнить ваши мольбы? Любите ли вы Россию? Встаньте тот из вас, кто, веря в силу молитвы, денно и нощно вопиет к богу, моля спасти Россию?» Никто не встал.

Юлия Игнатьевна покачала головой: вот, мол, хороши голубчики. Петр Авксентьевич меланхолично улыбался своим мыслям: странные, дескать, времена были, и я их застал. Мы все трое долго молчали, словно стукнувшись о преграду, за которой в глухом углу лежит ужасная тайна. С Юлией Игнатьевной у меня не было той простоты отношений, как с Петром Авксентьевичем. Я недолюбливал ее за некоторое высокомерие, за нет-нет да и прорывавшееся отчуждение: это, дескать, мы, а это вы. Иногда, видимо,

она забывалась, перепутывала время, и порою дело доходило до курьезов. «Петя! — говорила она вдруг утром.— Пойди закажи у приказчика продукты к обеду». Во мне ее пугало плебейское происхождение, что-то ненадежное, всегда готовое обернуться коварством, жестокостью, предательством; вместе с тем я казался ей милым, добрым и хорошим человеком. Но я чувствовал между нами именно родословную пропасть; Юлия Игнатьевна, сама того не сознавая, тонко унижала меня. И так же она рассказывала о прошлом. Вам, мол, никогда не понять той великолепной жизни, тех блистательных благородных людей, героев войн, вы не можете сочувствовать великому русскому горю, которое постигло невинных людей, патриотов России, и потому, сколько бы вы, деточки, ни читали старых журналов и ни слушали нас с Петром Авксентьевичем, никогда вам не вдохнуть воздух жизни, которая нас обласкала и которая давно кончилась. Что-то такое могла бы она сказать мне мягко, жалеючи. Но тогда бы я рассердился и больше к ним не пришел. Она понимала это.

Пока молчали, я достал с полочки книжку стихов (парижское издание 1932 года, меня еще на свете не было), прочел стихотворение Г. Адамовича.

Когда мы в Россию вернемся, о Гамлет восточный, когда?
Пешком, по...

— Можете взять...— сказал Толстопят.— Юлии Игнатьевне подарили.

Я захлопнул книжицу и поставил на место. Мне пока довольно было того, что я прочитал в «Современных записках».

— Вам надо писать воспоминания,— сказал я.

— Один в Париже писал книгу о женщинах и назвал ее «1005». А мне? Я бы свои назвал: «Так проходит слава земная». Но я артист. Мы вернулись жить, а не вспоминать старые конюшни. Ты помнишь, Дюдик, мы обедали в Париже с помещиком? Он рассказывал: послал крестьянам своей усадьбы письмо: «Грабьте, жгите, рубите все, не трогайте только липовую аллею моей матушки, на этих аллеях я вас, подлецов, вешать буду, когда вернусь на родину». И таких много было. И об этом я вспоминать не хочу.

— Оно и лучше,— сказала Юлия Игнатьевна.— Меньше переживаний.

— Мы теперь старенькие.

Они были старенькие, а старость всегда жалко. И я жалел их, как и всех прочих, уже за одно это.

— Ее бабушка молилась перед старинным киотом каждое утро: «Благодарю тя, господи, что допустил мя жизнь прожить дворянкой. Не возношусь сим, но смиренно кланяюсь ти». И вот так же наши кубанские казаки гордились регалиями. Двадцать первого июля тридцатого года в первый раз за десять лет вскрыли в Югославии ящики и вытащили оттуда все: девяносто одно знамя, тридцать три военных трубы, семнадцать атаманских знаков и эмблем, двадцать четыре пернача, насеку кубанского войска. Речи говорили: «Будем верить, что настанет день, когда эти знамена опять развернутся и мы опять пойдем отстаивать нашу казачью свободу». Ошиблись. «Не будет того!» — я сказал, так и вышло. «Эх,— говорил,— не вывезли для вас шомполов. Осталась в кладовой Екатеринодарского банка братина для крюшона (конвой в шестнадцатом году подарил Железнодорожному полку), и не попьете из нее в честь победы, так и сдадут ее в музей, и все наше былое вольное казачье царство накроют музейным кожухом. Ото держит казак рукоятку булавы атамана станицы Благовещенской Юхно, а сама булава где? Поверьте мне». А я как будто чувствовал: сине-малиново-зеленый кубанский флаг опять в сундук положат. А они кричали: «Дай, боже, чтоб под этим флагом мы собрались в родной Кубани».

Я уж всего не помню, но вот что осталось из жалоб Толстопята на самостийников.

До самой войны (и даже после войны) в разных европейских местечках жили казаки в устроенных станицах, где начальство соблюдало все обычаи потерянной старины. Станицы носили имена черноморских кошевых атаманов (Белого, Чепиги, Бурсака) и атаманов кубанских. Не хотели и в изгнании прощаться с мыслями о возвращении. Все у казаков вдруг стали виноваты. Желчный гной самостийников забрызгал страницы казачьей печати. Уже ничего не боясь, дружно проклинали вековые связи с великороссами, обидам не было конца. Полили казаки кровью землю в гражданскую войну, и теперь себе только и приписывали почести: «Сыны Кубани не запятнали себя изменой». Одними проклятиями увенчали самостийные газеты даже генералов Деникина, Врангеля, Шкуро, даже бывших казачьих вождей. И, как когда-то после 1905 года в «Союз Михаила Архангела», пробралось к безумным рыцарям казачества много оголтелой рвани, востривший ножи и кинжалы на всякое молчаливое благородство. Сами рыцари превраща-

лись на глазах в лютых волков. На чем свет ругали они Московию: «Оце за то, что не послушали дедов и прадедов, и наказаны; если вернемся, то в станицах ни одного москаля не будет. Мы вам на народном казачьем суде напомним! Станем на свой истинный казачий шлях! И не будем мы слугою московского лаптя». Еще не собрав адресов разогнанных по свету кубанцев, терцев, уральцев, донцов, вожди уже делили российскую землю, вычерчивали на карте пограничные полосы КАЗАКИИ — от хребта Кавказского до Уральского, отрезаясь от России навеки. Так и кричали станичники: «Жив казачий дух! Звенят наши воскресные колокола». Напиваясь в ресторанах и трактирах Праги, Белграда, Парижа, звали за собой: «Дай, боже, сил для неравного боя. Пусть спят спокойно богатыри, Чепига, Белый. Пусть люльку курит Сагайдачный. Правду мы поищем». А утром в газете на всю первую полосу тянулся жирный клич: «Все мы потомки рыцарей степи. Славься казачество — от Урала до Днепра, от моря Хвалынского до старого Темрюка!»

— Бежит Кубань аж у Тамань,— передразнивал Толстопят строчкой известных стихов.— Не выйдет у них ничего. Не дождаться им божьей ласки. Плакать и рыдать на Вавилонских реках.

В 1923 году Толстопят попал под плеть журнала «Вольное казачество». Из лагеря Селимье под Стамбулом он перебрался в болгарский городок Эски-Джумия поближе к кубанцам, основавшим станицу. Местная власть и жители городка ежегодно 30 января угощали казаков обедом в благодарность за освобождение от турок в 1878 году. Шестеро стариков идти с общиной в отель «Борис» отказались: «Богоотступники, не признаете царем Кирилла Владимировича,— не надо нам вашей брехаловки! Мы без вас». На двести левов старики монархисты задали на квартире русского волостного старшины пир горой. Толстопят был с ними. Ночью пришли изъясняться пьяные самостийники.

«Да здравствует Казакия!»

«Вы из ума выжили? — отталкивал их Толстопят.— Ваши гробы тут закопают, а вы уже делите русскую землю. Бабычам и Маламам не стать больше правителями Кубани».

«Да здравствует Казакия! А ты ж чей?»

«Я из великой России. Чего вы осатанели? Какой дурак вас подкармливает? Вы хотите всем подарить пустой казенный сундук? Ваши вожди уже продают кубанские земли германским предпринимателям. А под чьим бы сапогом

Россия ни стала, она должна быть единой и неделимой».

Завязалась жаркая драка.

В свежем номере самостийного журнала Толстопята выругали и затоптали как предателя казачества. Его клеймили, что он бегает по русским выражать свое преклонение пред «красотой мисс России»; ему угрожали расправой на будущем вольноказачьем суде; его упрекали в жертвах на русские алтари и в добровольном лежании под российским кнутом из сыромятной кожи. Нет, мол, Московии, ест ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО КАЗАЧЬЕ, и все!

Тогда-то Толстопят и записался в «Союз возвращения на родину». И, наверное, вернулся бы в числе немногих, если бы не пугали в газетах жестокостью и тюрьмами на Кубан Пугали, будто в Екатеринодаре бывшие дамы подметаю улицы, колокола с войскового собора сняли, и там теперь по вечерам танцы, а в подвале хранится картошка. Жен бывших военных якобы сошлись с чекистами и отныне строят свое благополучие на несчастье других. Памятника Екатерине нет; казаки в станицах формы не носят. На скамейке в Булонском лесу кто-нибудь читал воспоминания о боях с большевиками, и, пока не кончалась еще книга, ему все казалось, что прошлое еще можно спасти, части еще не отступили, город Екатеринодар так никогда и не займут, и он вздыхал и делился вслух своими мыслями. Толстопят вскакивал и бежал в город к ресторану — напиться. А напившись, шел по парижским улицам и, покоряясь общему русскому унынию, шептал: «Пропала жизнь, пропала, пропала...» Позвали их как-то попеть у кубанского генерала, неподалеку от штаба бывших галлиполийцев, почти в центре Парижа, и Толстопят растрогал хозяина и гостей одной песней. Он спел то же, что беспечно пел ночью 1908 года, когда возвращались с Бурсаком из «Яра»: «Прощай, мой край, где я родился...» Как привыкнуть к этой чертовой чужбине? Сколько раз на рассвете, еще в полудреме, перепутывалось сознание: досыпаешь и уже чувствуешь утро, и кажется, что ты в Екатеринодаре, и уже думаешь, куда нынче поскорее надо проскочить по улице Красной; глаза разлипаются — о ужас: солнышко встает не над кубанскими хатами и тополями, а над крышами Парижа! Ему снились пудовые кабаки в посохшей траве, из коих матушка, добавив ячменя, варила кашу собакам, а Петя, отрок, наливал в миску жирного холодного молока и кормил. Сейчас бы сказал матушке: «Чего-то захотелось мне борща с индюком». Это вам, господа, не борщ а-ля мадам Бурсак — его до сей поры готовят в ресторанчике на ...

Бонапарт. На два часа раньше светлеет в Екатеринодаре, и куда ж, в какой угол ткнется бедная мать, с кем перемолвится словечком? Жалко было и ее, и сестру Манечку. Если не суждено будет благополучно вернуться, то умрет мать и бросят ей в могилу жменю земельки чужие люди. Боже, боже (если ты есть), помоги же нам, святый крепкий, святый бессмертный, спаси и помилуй, как прежде. За что ты нас покарал? Или мы всех злее? Или это кто-то наметил сокрушить навсегда Россию? Всякое услышалось и читалось теперь, но любая запоздалая мудрость не утешала: вместо дома на Гимназической — уголок под мансардой в Париже.

Вдруг, точно с неба, свалилась мадам В.

В Париже Толстопят жил на седьмом этаже на улице Латура и видел из окна бесконечные костлявые черепки на крышах. Спасение его было в том, что он имел голос, пел и порою надолго покидал Париж с маленьким ансамблем казаков. Они пели в концертных залах, в ресторанах, в домах российской знати, богемничали и на короткий миг не чувствовали своего нищего домашнего быта. Все менялось тогда. Искренний русский надрыв, чистая бескорыстная печаль и безбрежное сиротство схватывали его душу в те именно минуты, когда он входил в русский ресторанчик и слышал тонкие звуки скрипочки. Плакать хотелось. Бедные, блудные дети, изгнанники... О чем они говорят, думают? На этом крошечном русском островке небытия они спорили о России, в которой потеряли гражданство, обставляли квартиры, которые у них отобрали, поучали молодежь, которая росла без них, вспоминали о свергнутом и убитом монархе, о генералах, атаманах станиц, о том, чего не было уже в русской жизни. Нелепости надежд и снов сладко помрачали ум. Какие-то имения, сады под станицами, скачки в присутствии наказного атамана, пароходы по Дону, Кубани, парады войскового круга, великолепие прежних праздников, европейские моды, воображаемые права в воображаемой усмиренной России. Все теперь были так умны, предусмотрительны, все знали, как надо было жить в старом порядке и как будут жить, если вернутся, знали, куда надо было поворачивать полки и кого слушаться, какими дарами задобрить бедных крестьян, кого вовремя проклясть, повесить, кому ни на полслова не верить. И звучало на ежегодных полковых собраниях с обедом неизменное если бы. Ах, если бы не был таким слабым государь; если бы не убили в 1911 году премьер-министра Столыпина; если бы царь не отрекся, не бро-

ми».— «Сегодня вы будете танцевать только со мной». Я словно поняла что-то. «Хорошо,— говорю,— я буду танцевать с вами...» Тогда он пооткровенничал: «Я получил сегодня письмо. У меня была невеста, она должна была приехать, но полюбила другого. Теперь мне жизнь не нужна. Я пришел сюда в последний раз повидать моих боевых товарищей. И увидел вас. Вы на нее очень похожи! Но, извините, вы старше немного. Вы посланы, чтобы спасти меня. Танцуйте только со мной». Как могла я не отозваться? Каждый виноват за каждого. Я решила быть с ним, пока он не пообещает, что захочет жить. И он пообещал мне потом простить свою бывшую невесту, молиться и верить, что нам посылается то, что нам нужно. Я читала его дневник. Просил меня стать его женой, но зачем? Он моложе. И потом я ведь давала слово: пока не найду Петра Авксентьевича, буду уходить от всякого. И как знала: осенью двадцать седьмого года мы с Петей обвенчались в Сергиевском подворье и пили вино Каны Галилейской...

И оттого, видно, что я родился в другое время, нигде не был, не погибал и не разлучался, мне завидна была их судьба и я хотел отпить вина Каны Галилейской... Смешной, темный и добрый был я в ранней молодости! Все спрашивал:

— Не тоскуете по Парижу?

— Погости сорок лет на камнях Европы,— отвечал Тостопят,— почти сорок лет, мон шер. Думаете, это так просто? — И вставал, шел на кухню, выносил оттуда чайник. Ну, чайку? По рецепту моей покойной сестры Манечки.

СО СКРИЖАЛЕЙ СЕРДЦА

Когда мы в Россию вернемся, о Гамлет восточный, когда?
Пешком, по размытым дорогам, в стоградусные холода.
Без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов, пешком,
Но только наверное знать бы, что вовремя мы добредем.
Больница... Когда мы в Россию... колышется счастье в бреду,
Как будто «Коль славен» играют в каком-то приморском саду.
Как будто сквозь белые стены, в морозной предутренней мгле
Колышутся тонкие свечи в морозном и спящем Кремле.
Когда мы... довольно, довольно. Он болен, измучен и наг,
Над нами трехцветным позором полощется нищенский флаг,
И слишком здесь пахнет эфиром, и душно, и слишком тепло.
Когда мы в Россию вернемся... но снегом ее замело.
Пора собираться. Светает. Пора уже двигаться в путь.
Две медных монеты на веки, скрещенные руки на грудь...

...В русском кабачке под музыку оркестрика, составленного из старичков, давнишних приятелей, под ту новую

волшебно-старинную музыку, которая звучала с двадцатых годов и которая напомнила ему компании, разговоры, слезы, лица россиян, казаков, сколько уж лет погребенных землей, Толстопят слушал это стихотворение поэта, доживавшего не то в Ницце, не то в Париже, слушал из уст корректора газеты «Русская мысль». Сам Толстопят ничего, ничего уже не читал, да и после того, что видел и пережил, не верил ни в какую писанину. Разве что любопытно поймать кого-нибудь на неточностях в мемуарах.

Да! Уже прошли века, а он все еще в Париже.

«Сколько могил! А я жив. Это ж когда писал поэт? Когда я слушал его в Русском клубе? До войны-ы, до войны. Еще Шаляпина не хоронили. И Манечка с Кубани писала мне, и матушка жива была...»

До войны жизнь текла быстрее и домашнее, потому что русских было еще много. Было к кому пойти, и в церкви на рю Дарю молились еще те господа, те старцы, которые воистину были людьми «другого времени» и невозвратимой России. Но теперь, в 1951 году? Все истаяло как снег, и где-то лишь под кустиками, в прохладе, не растопило солнышко крохотные белые островочки: это они, дряхлые российские остатки, странные картинки для туристов-соотечественников. Почему не погиб он тогда в 1920 году, у себя дома?!

Кто-то «спешно, без коммерческой цели, только для подарка» покупал через газету русскую шашку и кинжал. Зачем, кому? Пора умирать.

«Скончался и 6 сентября с. г. похоронен на кладбище в St. Geneviève de Bois поручик Корниловского полка Кирилл Максимович Ольховский, о чем сообщают опечаленные родственники и друзья покойного. Мир праху твоему, дорогой друг».

«Всечестная игуменья Диодора, в миру ее высочество Татьяна Владимировна, скончалась 28 августа с. г. в Иерусалиме, о чем с глубоким прискорбием сообщает Объединение членов рода Романовых».

«Божией волею 6 сентября скончалась Валерия Михайловна Бибикова, урожденная гр. Толстая. В 9-й день кончины будет отслужена панихида в храме св. Серафима Саровского».

От всего уже, от всех российских праздников и памятных дат, отвыкал Толстопят Петр Авксентьевич,— один год чествовал или молился, другой забывал, потом опять... Полнее жила в его душе армейская традиция. Как радостно было прочитать извещение в «Русской мысли» о приближе-

нии Дня русского инвалида в мае — дня помощи, тарелочного собора, простодушных обращений к доброму сердцу русских, что-то в таком роде: «Большинство инвалидов ушло в лучший мир. Уцелевшие ждут своей очереди. Старость, болезни, ранения дают знать о себе. Помогите облегчить их последние дни». В жалких помещениях дышали на ладан, но все же мощно и гордо выстраивали под траурной рамкой свои названия общества и союзы — как ревнители священной памяти императора Николая II: Корпус Императорских Армий и Флота, Правление Российского Красного Креста, Союз Георгиевских Кавалеров, Союз пажей, Александрийские Ее Величества Гусары, Союз Дворян, Орден Потомков Всероссийского Благородного Дворянства, Фрейлины И. И. В. Государынь Императриц, Общество ревнителей русской военной старины, Национальная Организация Русских Разведчиков Имени Императора Петра Великого и проч. Все так же, как в России, только на чужой земле. Еще устраивали раз в год молебны и дружеские завтраки полки, военные училища. «Форма завтрака — привал», сообщалось в газете. В Доме Белого воина на улице Мериме соединялись на пасхальную встречу корниловцы, 18 мая по новому стилю все еще пелась скорбная молитва по Августейшей семье Императора и «верным слугам, с ним смерть приявшим». Гусары, уланы, кирасиры, кавалергарды из листков воспоминаний составляли и печатали книги о службе — с непременными списками служивших перед революцией и крохотным списочком тех, кто еще где-то жил. Одни царские конвойцы ничего о себе не собрали. Изредка выпускал кто-нибудь семейную хронику. Все писали о России, и от всего этого было так грустно Толстопяту, что на первых десяти страницах обычно и заканчивалось его чтение. Еще кое-где вспоминали: у кого в Петербурге был спрятан в сейф золотой портсигар с бриллиантовым орлом, забавные случаи с императором Александром III; при Александре II говорили всем «ты», а при сыне его только «вы»; на Александре III при посещении им Преображенского полка был темно-зеленый сюртук с белым крестом на шее, ноги обуты в высокие сапоги со шпорами; все сложные переплетения браков; в гофмаршальской части постоянной прислуги было тысяча триста человек и тысяча двести поденных. Конвойцы вспоминали светлейшего князя Л., который в Ливадии, когда государь позвал его, махнул через стол. Но уже не стрелялись в спорах о том, кому надлежит быть царем. Толстопят разыскивал казаков из станицы Пашковской. Грустно! Связи, скрепленные когда-то свежей

бедой, нарушились. Все чаще узнавал о смерти кого-то по русским газетам, ну и по письмам, конечно. В Александро-Невский собор на рю Дарю Толстопят ездил все реже. Всегда их убеждали, что эмиграция и есть настоящая Россия, что на родине погибли все русские основы, коли вернуться — жить не с кем, но прошли десятилетия, и вдруг терпению наступил конец.

Как-то в самородных казачьих музеях в Нью-Йорке и под Парижем пересняли ему фотографии улиц Екатеринодара, выборных Пашковского станичного сбора, полковых застолий и проч. Было у него и несколько семейных карточек. И Толстопят, редко их перебиравший, больше часа всматривался в кубанские приметы, в дамские шляпки, в ордена, в бороды и глаза. Ничто так не бьет в душу, как старые фотографии. И к тому же целый век не был он на родной стороне. Везде-везде они бывали когда-то все: и в гостинице «Европейской», и в «Чашке чая», и у памятника Екатерине II. Вот во всем белом Калерия: шляпка, платье, туфельки; и зонтик белый ткнула в пол — как тросточку. Уже она старушка — и где сейчас, в эту минуту? Главное, что она дома. И вот, вот! Старина глубокая, черноморская: дед с бабушкой; он возле нее как часовой, до того серьезный, что кажется сердитым, в черкеске, с Георгиевским крестиком на газырях, а бабушка с посохом в руке, с прижатым к сердцу белым платочком, в юбке до самых пят. Ну и, конечно, Манечка, золотая его сестра,— в группе выпускниц Мариинского института (с учителями, инспектрисой Ассиер и начальницей княгиней Апухтиной). Тотчас вызвал у Толстопята улыбку Лука Минаевич Костогрыз. Он полулежал спереди, у ног атамана, вместе с четырьмя такими же старыми орлами, как сам. Похоже, что он думал в эту секунду про атамана Авксентия Толстопята: «Атаман, кабак печеный, в церкву с насекой под конвоем стариков гвардейцев ходит, там на турецком ковре ноги переминает, у батюшки обедает в Макковеев день, а как у хаты с коня встанет — «давай, баба, исты»! Не-е, колы я с коня вставал, то мне «давай бабу!». Я ж запорожского духу!» О каждом что-нибудь вспомнил Толстопят.

Лежала в его папке и вырезка из «Огонька»: 1943 год, советские войска в Краснодаре! И аж застонал бывший офицер: домой бы, домой! Прямо сейчас!

30 сентября 1951 года, в день Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, в доме возле Булонского леса, где жили до войны их добрые знакомые, артисты Мозжухины, Юлия Игнатьевна читала мужу старую, двадцатых годов

поэму «Станица Пашковская». Толстопят разволновался, стал ходить по комнате, удивлять Юлию Игнатьевну своей памятью:

— В сочельник мать накроет стол, поставит пироги, рыбу, взвар, кутью с медом. А дед снимает со стены ружье, всыплет туда маку и тонкой палочкой заткнет шерсть, а потом мы с ним на двор гурьбой. Поднимет ружье, что-то там сделает, и около руки вдруг огонь, а потом огонь на конце ружья, и как ахнет! Садимся за стол. «А ты чего не ешь?» на меня. А мне сдается, что и в пирожках порох. «Ну, чего. Оно, может, и бахнет, колы добре наешься, а огня не будет». Лежим в постели. «Та не крутись. Ждешь, пока в тебе мак бахнет? Сегодня не жди, оно бахнет завтра». А теперь где я? Правильно писали в поэме: «Таки ж хаты — та не ридны, таки ж и люди — не свои...» Дюдик.

— Что, Петя?

— Знаешь что, Дюдик...

Но он не сказал больше ничего в тот вечер.

Через неделю прилег к полуночи на постель к жене, листавшей книгу Бунина, какой-то том сочинений в издательстве «Петрополис».

— Что, Дюдик, читаешь?

— «Поздний час».

— Почитай сначала, я, может, скорей засну.

Он закрыл глаза и ждал звука ее голоса.

— Ну читай же... читай, моя козочка.

— «Ах, как давно я не был там, сказал я себе. С девятнадцати лет. Жил когда-то в России, чувствовал ее своей, имел полн...»

— Дюдик. Я уже несколько месяцев собираюсь сказать тебе. Знаешь, Дюдик, что... Поедем в Россию! На Кубань! Не к тебе в Киев, а на Кубань. Ты читаешь, а я увидел семь дубов на краю усадьбы Кухаренчихи. И шашлычную Бахчирова, где всегда подавали шашлык по-карски, из майского барашка. Балкон наш над тротуаром небось цел. Поедем?

— А ты не будешь потом жалеть и ругать меня, что я согласилась?

— Я, конечно, сло-ожная натура (не правда ли?), но уверяю тебя, в своем родном Екатеринодаре я даже виду не подам, если что...

— Ах, Петя... Смотри сам, а я тебя не брошу.

Но они просидели в Париже еще шесть лет.

ПИСЬМО Д. П. БУРСАКА

Дорогие мои! Мне грустно от мысли, что я вернусь через неделю в Париж, а вас уже там не застану. Да поможет и да сопутствует вам Господь в вашем пути в Россию! В сущности, это заветная наша мечта. Увы! Все как-то топчемся на одном месте — верно, от усталости, и не могу себе представить реально, что то, чего желаешь больше всего, может стать действительностью. Боже, Боже, ты сотвори, ибо сами мы ничего не можем! — вот это моя молитва, и я все отдаю в его святые руки. Милая Юлечка и друг мой Пьер, напишите мне подробно о себе и о том, какой стала наша «ридна Кубань» и чем она вас встретила. Я вижу, как поедете вы с Черноморского вокзала по Екатерининской, доедете до Красной, и тут думаю: куда же им сворачивать? Где их дом? Я так жду от вас весточки. Хотелось бы знать побольше о... нашем маленьком, маленьком Париже. Да! Бывают минуты, когда в серую мглу комнаты войдет луч солнца, и как странника Божия может принять его вдруг просветленная душа. Десятки лет одиночества, сиротства, бесчувствия и греха могут тогда забыться, и в слезах поймешь, что «любовь все покрывает» и что «времени уже не будет». Не то ли с вами, мои дорогие? Перечитываю стихотворение поэта, помнишь? На войсковом кладбище поклонитесь от меня моим родным и екатеринодарским знакомым, почивающим в селениях праведных. Но главное — привет городу Краснодару, улицам, городскому саду, мосту Трахова, всему, что осталось от нашего старого времени. Счастливой жизни дома! Ваш Бурсак Д. П. Июль 57 год. Вашингтон, США.

ПЕРВАЯ ОТКРЫТКА ИЗ КРАСНОДАРА В ПАРИЖ

Дёмушка! На станции Выселки, где мы стояли десять минут, я купил газету «Советская Кубань» и сохраню ее до смерти. Вернулись в иную жизнь. Обо всем тебе напишет Юлечка. Живем пока в гостинице возле Нового рынка (бывший дом сестер Саморядовых). И придут времена, и исполнятся сроки.

Пожарной каланчи, с которой можно бы увидеть мою Пашковскую, нет. Обнимаем. Твои Толстопяты. 1957, август.

Нужны ли они кому дома? Не зря ли затеяли они эту одиссею возвращения туда, где нет никого? Позднее Толстопят признавался: «Как только пересекли границу, заунывный голос птицы повторялся. Юлия Игнатьевна испугалась: «Дюдик, мы пропали!» На станции Чоп принесли в вагон советские газеты; все, к чему они привыкли, сорвалось пограничной чертой.

В Краснодаре на бывшей Гимназической, 77, целеньким стоял родительский дом. Широкая веранда свисала над тротуаром. С нее отец обычно кричал в воскресенье знакомым, проходившим мимо с Нового рынка. А розовый лук в сетке крепился, наверное, к тому же гвоздю, что и в 1910 году. В теплые дни они всей семьей пили на веранде чай и о чем-нибудь говорили. О чем? Кто бы каким-то чудом прокрутил теперь слово в слово! Голоса отцовского он не слышал нынче так же четко, как в годы разлуки до революции или в первые десять лет эмиграции. Приглохли, помертвели батькины интонации. Но на секунду-другую он вышел на веранду в черкеске, неодобрительно (как всегда) глянул вниз, словно спросил: «Где ж вы, бисовы души, мерили землю своими ногами? Наши с матерью косточки пораспадались... В хате вашей теперь чужие люди». В дом Толстопят так и не пошел, без него ходила тайком Юлия Игнатьевна, поспрашивала, кто тут жил, и одни сказали: «помещики», другие: «не знаем». Зато на войсковом кладбище у отцовской могилы (с памятником в виде папахи) какая-то старушка обрадовалась им: в молодости она торговала вразнос, и матушка Толстопята частенько брала у нее нитки, чулочки. Значит, еще помнили в городе Толстопятов; значит, были еще екатеринодарцы, никуда не выезжавшие.

И вот что интересно: первые месяцы Толстопят скитался по родному городу с чувством удивления: неужели ему позволили вернуться домой и он снова кубанец, а не парижанин? Не в воображении, а наяву мог он пройти в городской сад, подняться на вал, возвратиться назад к Почтовой, к бывшему саду Кухаренчихи, своротить к плану адвокатов Канатовых, потом мадам Бурсак, постоять, заложив руки за спину, у здания милиции, напротив б. дома Калединой и Шкуропатской. Но удивление не кончалось: как же так, его не было почти полвека, а улица Красная все тянется к Свинячьему хутору, и одноэтажный центр с глубокими зелеными дворами все тот же, все тот же?! Он шел по улицам и плакал. Он плакал и на том месте, где был в марте

1920 года Александро-Невский собор,— на него он и перекрестился напоследок.

1920 год...

Они бежали спешно, но, думалось, не навсегда. В сейфах, в сундуках, в дамских ридикюлях и за подкладками пальто увозили реликвии, иконки, бумаги и брильянты не затем, чтобы хоронить их в новых музеях или менять на хлеб за границей,— нет: это на время, от порчи и грабежей. Они тогда не знали и потом долгие годы упрямились не понимать, что случилось с ними великое несчастье и застрянут они в Европе и Америке до самого смертного конца. Когда выскакивали с винтовками и шашками из своих ворот и прыгали на лошадей, не тосковали в страхе, что видят родную улицу, белый собор, дома, вывески магазинов в последний раз; когда грузились в Новороссийске на английские пароходы и кричали с палуб рыдавшим на дебаркадере: «Потерпите! Мы еще вернемся!», то кто ж мог сомневаться из них, что так оно и будет?! Но, видно, сильна была над их поколением кара господня. Тянулись один за одним жестокие годы изгнания, и у свежих казачьих могил все меньше слышалось, а потом и совсем не стало призывных речей. От воинства, некогда забившего все дороги Европы, остались лишь запорожские знамена в музеях, кипы бранных газет да такие выпотрошенные старички, как Толстопят. «Мы еще вернемся...» А решилось так, как рассказывал о них после войны Попсуйшапка: «...и как в двадцатом году ушли-и, то и по сей день идут!..»

Но история и Время не сразу уносят своих свидетелей на кладбище.

Если бы какой-нибудь местный чуткий летописец смог всепроникающим божеским оком обозреть с высоты свой южный город, какая пестрота судеб людских, простых и таинственных, приоткрылась бы ему во всем трагизме, величии и неумолимости истории. По одним улицам, в одни магазины ходили, на одни лавочки в скверах присаживались, одни газеты покупали участники истории, стоявшие некогда по разные стороны баррикад, втайне несогласные друг с другом и по сию пору. Жили и жили, и уже друг другу не мешали. Одних история чтила, других нарочно не помнила. Жили на пенсии великие разведчики; по праздникам надевал ордена и медали офицер, водрузивший флаг над рейхстагом; с белым бантом плелся из магазина бывший адъютант главкома, расстрелянного за анархизм в гражданскую войну; в столовой № 8 обедал седой старец, служив-

ший немцам в 1943 году; довоенный председатель горисполкома ехал вместе со всеми на дачу с ведром и тяпочкой; акушер-профессор, грузинский князь по роду-племени, опирался руками на трость в первом ряду театрального зала, его лысина сверкала в день премьер; маленький русский йог рылся в магазине в новинках философии и скрипучим голоском ругал все на свете; знаменитый партийный секретарь (в немецкую оккупацию беззубый нищий подпольщик) в городском саду сражался в шахматишки; матрос с броненосца «Потемкин» заезжал в Краснодар на лечение; дальние родственники великого историка, племянники и племянницы художников, артистов, военачальников, министров и знаменитостей всякого рода жили не тревожимые краеведами. В 1957 году еще было с кем поговорить о России и революции. Жил и ни у кого не вызывал интереса (кроме разве что писателя, задумавшего эпопею) бывший — страшно выговорить! — врангелевский генерал, казак станицы Лабинской, писал книжку о первых русских летчиках, клеил картонные папки и однажды осенью консультировал режиссера фильма «Хождение по мукам». Молодой человек, донельзя любезный (будущий профессор), выспрашивал у бывшего эмигранта о самостийниках и в душе был недоволен, что пустили на родину «недобитое казачье». Бывшие эмигранты (парижане, белградцы, харбинцы и проч.) знали друг о друге, но не встречались. Морской офицер играл на виолончели в театре оперетты, «югослав» пел в церковном хоре, казак из Канады писал мемуары, а старый больной царский полковник днями сидел у телевизора да отвечал в Нальчик на письма товарищу, участнику рейда Мамонтова на Москву.

С некоторых пор в Краснодаре каждое лето появлялись иностранные туристы. Из Европы, Америки, Канады все чаще приезжали проведать родню бывшие екатеринодарцы и станичники. Несколько знакомых Калерии Никитичны Шкуропатской нашли за морями своих сестер и по их приглашению ездили к ним, пожили там, попрощались навсегда и вернулись домой. На улице Красной возле сквера, где она когда-то прогадала кольцо на Толстопята, остановил как-то Калерию Никитичну приличный пожилой господин в хорошем костюме.

«Простите, — сказал господин тоном исключительной мягкости, — вы напоминаете мне одного человека...»

«Кого же?»

«Неужели это не вы?! Я иду за вами три квартала. Позвольте, я скажу открыто и сразу: вы не были у меня

в старое время гувернанткой, не ездили со мной по Европе?»

«Не-ет... как можно... я всю жизнь прожила дома...»

«Как жаль, я обознался... Простите... Я чувствую потребность говорить с вами, глядеть на вас... Я приехал на пятнадцать дней из Парижа... Я бы все отдал, чтобы взглянуть на нее... Как я истосковался по Кубани... Вы, говорите, прожили дома? Это счастье...»

Вскоре после возвращения, то есть осенью 1957 года, Толстопят дал о себе знать родственникам в станице Пашковской и как-то в воскресенье поехал туда на трамвае.

В Париже окрестности Пашковского куреня представлялись Толстопяту такими, какими они были в златые дни его детства. Но без него кут Головатого с садом Роккеля, с оврагами и старой Кубанью, и Карасунский лиман срослись с городскими постройками. Забылись и люди. Только теперь вспомнилось: дочь садовода Роккеля приезжала в гимназию в коляске с белыми рысаками, и влюбленный в нее Петя Толстопят страдал оттого, что его отец не позволит сыну приблизиться к богачам неказачьего сословия. Роккель, Роккель! Цветы из его сада до сих пор росли во дворе. Где дочь, интересно? Пока шли к Введенской площади, к бывшему (все уже бывшее!) станичному правлению, Толстопят что-нибудь рассказывал жене о детстве.

— Туда, за станицу, провожали нас на службу. Впереди артельный воз, за возом казаки по четыре в ряд, с урядником сбоку. За ними станичный атаман, дежурные несут сулею с водкой, рюмки и закуски. В самом хвосте родственники. «Гладили» дорогу казакам добрый час. Прощались. И-и казачья песня! Замахали платками и шапками бабы и старики. Мы в пляс. Сначала двое, потом еще двое, и так, когда все пустимся пыль топтать, уже провожающих не видно. И говорили: «Где ты был?» — «Казаков провожал в поход».— «Чего ж так долго провожали их?» — «Того, шо мне жалко их было». По этой же дороге провожали конвойцев в Петербург. Чтоб кое-кто с тобой, Дюдик, повстречался...

— Ты столько помнишь, записал бы...

— Для кого писать? — возражал Толстопят. И, видно, вспыхнул, расстроился мигом и добавил: — Для кого, милая? Мы с тобой люди далекого прошлого, а ты все думаешь, что без нас не смогут? Здравствуй, племя младое, незнакомое — вот наша песня... Стои́т ли наша хата?

Не на той ли лавочке сиживали казаки-пластуны с бородами и все разом вставали, когда он шел мимо в конвойском

мундире, весь как будто уже на пашковский, а петербургский? «Доброго здоровьица, Петр Авксентьевич! — прокричали почтительно.— В гости к нам пожаловали?» Храбрые степные рыцари, где они почивают?

Длинная-длинная хата пряталась за высоким каменным домом и служила нынче сараем. В 1900 году отец, перебираясь в город, продал ее казаку Турукало. Почему ее не сломали, построив каменный дом? Толстопят некоторое время раздумывал, надо ли стучаться ему в чужую калитку и проситься пройти во двор, объяснять, зачем ему это, и, может, пугать людей. Забор был ему по плечо. Толстопят у калитки придержал шаг, показывая Юлии Игнатьевне ту хату, где он родился. В эту минуту увидала их с огорода женщина. Чем ближе она подходила к ним, тем опасливее и удивленнее устремлялся на них ее взгляд, и наконец что-то вроде вздоха выразилось в ее лице: божечко мой, неужели о т т у д а вернулся? Это была младшая сестра Диониса Костогрыза, и Толстопята она знала лишь потому, что в 1919 году он несколько недель провел с полком в станице. Забыть его было нельзя и через сто лет: ни у кого в станице не было таких глаз! Толстопят ее не помнил.

— Кто вы? — почему-то закричал Толстопят.— Как вас зовут, чья родом?

— Я б вам сказала, та в горле дерет.

— ??

— Ха-ри-ти-на...

— Ах, во-от оно что! Харитина... Турукало? Сестра Диониса?

— Она. А вы не Толстопят?

— Петр Авксентьевич. И супруга моя, Юлия Игнатьевна, но она не казачка. Значит, узнали меня?

Она стала продолжать разговор так, будто они в спешке прервали его в первый раз недавно; она все поняла, не соображала только одного: надолго ли приехали или повидаться с родными местами.

— Тут приезжал недавно наш казак, оттуда. У него там новая семья, здесь старая жена. «На весь век приехал?» спрашивали бабы. Но жена отказала ему: «Я принимать не буду. Пускай там и живет». А он, видно, прощаться приезжал.

— От брата вестей нет? Жив он? Дионис.

— Нема. Наверно, бог прибрал уже.

Он видел Диониса до войны в Югославии, во Франции; слыхал от кого-то, будто с казачьей конницей Шкуро очищать родную землю с немцами не пошел, но и после войны

искать родню на Кубани, видимо, не пытался, а может, умер давно.

— Где-нибудь в Европе. Последний раз мы с ним были в церкви в Париже в сороковом году. Он приезжал из Югославии. Церкви давно нет?

— Давно свалили. Ее не свалили, а подкопали, пиленые бревешки подсунули, подожгли, она сама упала. А птицы кричали!

— Батько покойный любил на пасху приводить нищих, странников. Раз заболел, не смог пойти к всенощной. Послал с куличом и яйцами меня. «Та зови ж кого-нибудь». Я привел дедушку с котомкой. Из Тамбовской губернии. Шел на Афон. Отец в черкеске уже нас ожидал. Похристосовался со стариком, в хату завел. Молитву пропели — и за стол. «Да не забудьте на обратном пути с Афона зайти. Расскажете». И прошло года полтора, зашел старик. Побывал и на новом и на старом Афоне (это в Греции). Вот в этом дворе и было. Да где они теперь все?! — Толстопят уныло помолчал.— Уже и нам пора к ним. Одна?

— Одна. И дедушки моего нет. Копаюсь в огороде, та сяду и заплачу. Кабы вдвоем, он то, а я то. А то вся дорожка моя. И жить сейчас можно.

Зашли во двор. Но еще раньше, чем он вошел, от его ног побежал босиком маленький казачонок и полетел над крышею крик: «Петя!» Рано приучали его вставать, и теперь, если бы спросили, он мог бы рассказать, кто выезжал на волах из станицы на степь, как выгоняли коров в череду, каким порядком чабаны собирали овец из разных дворов, куда улетали галки, скворцы, которых, говорят, теперь распугали. Он не заплачет, но плакать хотелось. Знали бы деды и прадеды, каким ясным осенним днем, под гул самолетов в небе, вошел на их усадьбу последний Толстопят! «Отак снарядили мы воз на ярмарку,— слышал он дедушку,— как казака в поход». И слышал себя: «А разве воз похож на казака?» Дуб, застлавший собою все пространство над хатой, тоже подтолкнул его память: не забыл позднюю воскресную обедню? Раньше в воскресенье не ели до окончания службы в церкви: «Ось, скоро выйдут с церкви,— говорила мать,— тогда все будем садиться». И Толстопят канючил: «Чи скоро выйдут с церкви? Уже и солнце поднялось над дубом». Еще тяжелее было ждать пасхи. В пятницу на страстной неделе и почти всю субботу поста носа не позволялось сунуть в хату. Упаси боже отворить дверь или окна — застудишь тесто. В день выноса плащаницы не давали есть до тех пор, пока не кончался обряд в церкви. И в

этой хате, в том вон уголку, ложился Толстопят спать пораньше, чтобы не прозевать пасхальной заутрени, ложился, выбрав к свячению самую большую и высокую пасху.

— Утром, не успею еще умыться, батько тычет чуть не в губы желтую дыню или арбуз: «Дыню держи руками, а кавун зубами». Ой-её-ёй: почти сорок лет не стоять в батькином дворе! Чи стою? — топнул он ногой.— Чи я це, Дюдик? Казак станицы Пашковской, чи я это?

— Та ты, ты,— успокоила его Турукало.— Ты. Глазастые вси Толстопяты. А моего брата гдесь носит. Или в земле лежит.

— Батько! Диду! — крикнул Толстопят в небо.— Я тут, чуете? Я уже дома.

Турукало закрыла лицо платком. Толстопят обнял ее одной рукой.

— А чи вы не помните меня, Харитина Тарасовна, на скачках?

— Та, може, и вспомню, як постою с вами подольше. Близ царя служил.

— Ой-ей-ей... Когда ж это было! «Оце казак,— хвалили старики,— за зиму десяток волков загнал! У него и кожух с волков и укрывается волками, а всех собаками добыл, стрелять не годится, шкуру сгубишь. Заходь до менэ, может, найдется какая чарка горилки». И атаман не раз подносил чарку: «Дай боже, шоб оно тебе пошло на счастье, шоб як женишься, то и дети были як ты сам». Когда было, когда было!

Турукало молчала, скорбно провожая памятью утекшее время.

— Мы родились як,— промолвила позже,— за Кубанью переправы ждали по неделе. Так было. На весь век приехали?

— Пока аж сердце не остановится.

Надо же было ступить и в хату.

Юлия Игнатьевна и сестра Диониса с бельмом на левом глазу беседовали в сторонке, пока Толстопят стоял в хате, засоренной бутылками, ржавыми кастрюлями, лопатами, поломанными стульями и всяким старьем. К той вон кой... теперь проржавевшей, бабушка подзывала его: «Пошукай мне вошек, а я тебе про запорожцев скажу». С пор... батько кричал ему вслед, когда уходил он первый раз ... службу: «Ты ж там, Петро, смотри, чеботы не загуби...

О горе, горе человеческое, самое большое горе: умира... времени. Все умерли, все не слышат и не видят его, ... кто спал, обедал, любил, ругался в этой хате более ста ...

«А это там что?.. О господи, то ж сундук гвардейский...»

Он сбросил пыльные тряпки, поднял за железный язычок тяжелую крышку. На дне сундука лежал смятый хромовый сапог. Медная дощечка засорена была мышиными зернышками. Толстопят взял ее, перевернул, пальцем стер пыль и узнал изображение того, кому он подчинялся в конвое беспрекословно,— князя Г. И. Трубецкого. «Во все сотни давали в 14-году, перед его уходом в императорскую главную квартиру. Меня-то уж не было, но мне говорили — давали...» Чтобы сундуки не перепутались в вагоне, мастер-ювелир нацарапал красивым письмом на том же язычке: «Собственный Его Величества Конвой 1910 год Царское Село Д. Костогрыз». Дно крышки Костогрыз обклеил фирменными бланками и открытками с изображением заграничных фей. Боже мой! Века прошли!.. Какой-то 1910 год, Царское Село; государь император Николай Александрович; наследник цесаревич едет в автомобиле в Боболовском парке; воздушной нежности царские доченьки гуляют по дорожкам... века! Уже три четверти русских не знают даже, что они были. И где он сам, и его Юлечка? Где твоя белая ручка, гладкая луковичная кожица на лице, соблазнительные ножки-копытца? Моя милая! Юлия Игнатьевна как раз подошла, стояла сбоку, скрестив по-старушечьи руки на животе и в той позе разглядывания, какую принимают люди в музее. Они глядели за всех, кто не вернулся домой, кто лежит на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем и на бесчисленных кладбищах прочих земель. Только Харитина Турукало, в девичестве Костогрыз, не думала заодно с ним, стояла около, положив руку в карман платья, точно сторож, отомкнувший им двери на минутку.

А уж кто-то видел их у ворот, уже прослышали бабы-казачки, что приехал, приехал, как и обещал, в станицу «хранцуз» Толстопят с женой и вошел во двор к бабке Турукало! И не успела Турукало помыть яблочки и поставить их на тарелке, не успела повспоминать, как в войну перевертывала она лицом к стене портрет мужа в конвойской форме, вдруг понаскакивали во двор бабы в чистых платках, казаки в пиджаках, с палочками и без, потомки всех этих вековых фамилий Пашковского куреня: Савицкие, Литвиненко, Гончаренко, Левицкие, Савоцкие, Шрамко, Опомах, Гараны, Архипенко, Лысенко, Коробко, Швыдко и пр.

Почти всем отвечал Толстопят на один и тот же вопрос:

— А нашего там не видели?

Тот грустный и трогательный день в родной станице кончился неожиданной встречей с В. А. Попсуйшапкой.

Можно ли через сорок лет угадать состарившегося человека по голосу?

Возвращались домой в город под вечер, трамвай катился на солнце. Толстопят сидел с женой впереди на четвертой скамейке; все еще гудели в его ушах голоса станичников. Ехал и договаривал с ними и про себя удивлялся, что они с Юлией Игнатьевной уже не в Париже. Но даже после разговоров в Пашковской, после слез казачек и родной их ласковости чувствовали они себя еще гостями; в Париже они были смелее. Надо привыкать и к родной земле!

Трамвай повернул вниз, мимо дачи мадам Бурсак (где теперь был простой скверик), и тут, словно с того света, врезался громкий голос:

— В этом доме была четвертая полицейская часть! Приставом, помните, был кто? Ци-то-вич. Его поймали один раз хулиганы с Покровки, посадили на забор и заставили кукарекать. Вот тебе: ты нас пришел ловить, а мы тебя кукарекать заставим. Несмотря на такую фамилию, он был казак. Служил со своим полком в Тавризе, хорошо знал персидский язык. Его наши екатеринодарские персы считали своим. Персы у нас торговали раньше вовсю, помните? Ах, вы моложе. Целую зиму дыни висели в подвязках. А Цитович так хорошо наводил в городе порядок, что его перевели из одной полицейской части в другую и наконец бросили аж на Дубинку (мы ее только что проехали), самая трудная часть, иногородних много. И Дубинка стала шелковая! Умер где? На острове Лемносе, где греки живут. Вы давно в Краснодаре?

— Шестой год.

— Вы гость.

— А вы?

— С тысяча восемьсот девяносто пятого года,— по слогам проговорил пассажир.— В Новой Водолаге, откуда я родом, отец мой еще при лучине черевички шил. Вы, наверное, с образованием? А я за три копейки у дьякона учился. Оттого и все помню. Всех учеников помню, и батькив и по нашему городу старому всех — как свои пять пальцев.

За три копейки у дьякона мог учиться только Попсуйшапка. Он и до переворота всюду повторял это. И это он сказал Толстопяту в марте рокового 1920 года, когда уходил Петр Авксентьевич в есаульской форме от мадам Б.

то бишь Юлечки, Юлии Игнатьевны, Дюдика (от голубушки, теперь такой старенькой, думавшей о чем-то рядом, может, об имении родителей в Киевской губернии): «Торопитесь, господин Толстопят, уже за Свинячьим хутором пушки бьют! Мы люди невоенные, а вашему брату несдобровать...» И еще раньше, в конце 1917 года, когда бежали они вместе из Москвы на юг, тот же голос предупреждал его: «Вашему брату плохо будет, а мы, мастера, работаем как работали...»

Весь в белом (в белом пиджаке, белый картуз на голове), маленький этот старичок с мышиными глазками тыкал в собеседника полусогнутым пальцем так же, как и в молодости, и каждое слово произносил со вкусом и удовольствием. В 1910 году Попсуйшапка шил Толстопяту кубанскую папаху. В 1910 году! Черные усы и бородка стали снежной чистоты, вот и все.

Да! Шли на родине годы, зацветали и желтели сады, повторялись праздники; уже закрыли старое войсковое кладбище, и росло, отбирая колхозное поле, новое, а в ящичках адресного бюро еще можно было отыскать фамилии екатеринодарцев. Попсуйшапка среди них был не самый старый.

На остановке у Нового рынка через сорок лет, а точнее, через тридцать семь, они и пожали друг другу руки. На этой остановке всегда толчея: тротуар узкий, окошки с цветами ловят мелькание голов. Много видела и слышала эта остановка, много ступало тут ног, много разговоров велось знакомыми и близкими и еще больше думалось затаенных дум.

— Дом вашего батька Авксентия еще стоит на Гимназической, я недавню проходил, поднял голову, не-ет, никого на балконе не видно,— так начал беседу Попсуйшапка после того, как они узнали друг друга на этом толчке.— Я обычно спрашиваю, живой кто из хозяев, нет, и не приезжал ли кто издалека. А вы ж у меня на квартире стояли в девятнадцатом или двадцатом году на Динской?

— В вашем дворе росли чудесные розы,— сказала Юлия Игнатьевна.

— Оттуда я выехал в тридцать первом году в Нальчик. И до сих пор жалею, что продал.

— Вы так хорошо выглядите, Василий Афанасьевич.

— Слава богу, Юлия Игнатьевна.— Он с первого взгляда узнал и ее и вспомнил ее имя, едва Толстопят отозвал его в сторонку. Не забыл с 1920 года случайную петербургскую даму, квартирантку. И Юлия Игнатьевна была тронута.

— Сколько вам?

— Ну, считайте. С тысяча восемьсот восемьдесят третьего года. Считайте. Я ровесник маршала Буденного Семена Михайловича. У него, правда, усы гуще. Я черный был, многие в молодости со мной здоровались по-гречески, по-армянски. Считали своим. «Калимера!» — греки. Я вас провожу. Пойдемте туда, дорогие мои, мимо бывшего мебельного магазина Амирханова и гостиницы «Москва», там всегда Евсюткин останавливался, помните Евсюткина? Мехами торговал. Один раз привез смушку, а волоса на них не видно. Высушены плохо, вымыты плохо, кровь позасыхала. А товар — золото! Я вижу, что никто не покупает, даю ему, сколько хочу. И купил по пятнадцать копеек за штуку. В одиннадцатом году, как раз снег выпал.

Супруги переглянулись: ну кто теперь мог напомнить Юлии Игнатьевне о людях ее круга? В каком дворе искать ту даму, того старца? Нет их.

— А направо, где автобусная станция, помните шашлычную с кабинетами? Дом повиликой заплетен, во дворе большой фонтан, и плавала рыба. Гость пожелает, сейчас: «Зажарь судака». Мой кум. Он умер давно. Жена его — казачка станицы Баталпашинской. Вы по Красной пройдетесь?

Они с какой-то радостной робостью покорились ему, он повел их как заморских экскурсантов.

— То за театром Старокоммерческая гостиница Папиянца. Фосс там любил покушать. Фосса помните? Обжора, силач. Предлагал свои услуги генералу Деникину, пушки перетаскивать. Над ним посмеялись. Ну а на Красной прошла ваша молодость, тут я и помолчу.

Узенькая Красная улица, некогда совершенно голая, стрекотавшая стуком копыт, загородилась от небесного света зелеными арками. Старых домов было еще много. Кто в них жил? Еще никто не останавливал Толстопята, не спрашивал: куда идете? как ваше здоровье?

— Сейчас по Красной скамеек нету,— читал лекцию Попсуйшапка,— а бывало, идешь вечерком... Там, где собор был, сидят! Акулов, купец, Лихацкий, банщик, братья Поляковы (оба члены управы), Бондаренко, кожевник, братья Бережные (у этих шубное дело), братья Облогины (дом их и сейчас на Карасунской). А теперь пенсионеров много, и моих знакомых никого.

— И моих нет, Василий Афанасьевич! — сказал Толстопят почти с осуждением.— Что ж...

Но Попсуйшапка не понимал замечаний и, уже заведенный на воспоминания, умолкал лишь на мгновение.

— Здесь, в соборе Александро-Невском, я венчался с первой женой, внучкой Костогрыза Луки Минаевича, помните? «Слава героям, слава Кубани!» — здоровался. Терешка-лихач три раза обвез вокруг. Я заплатил ему пять рублей. Тогда стоила мука самая лучшая, с мельницы Ерошова, восемьдесят копеек пуд!

— Как и в девятьсот десятом году, вы все знаете,— сказал Толстопят.

— Ну ясно.

— Вы так быстро идете! — весело упрекнула Юлия Игнатьевна.

— Не осудите. Так вот пройдешься, а тебя обязательно вслед пронижут. Я шел недавно, сидел старьевщик, казак. Я присел около. Двое военных наблюдали за мной. «Спасибо вам! — говорят.— Как вы прошлись!» А как я прошел — не знаю. Шаги простые, нога чтоб не виляла, держать голову ровно.

— Грудь вперед...

— Боюсь только, что сглазит кто-нибудь. Глазливые люди те, которых мать от груди отлучала. А оно ж просит сиси, она даст ему. Бывает, и второй раз отлучит,— вот эти дети самые на глаз нехорошие. Глаза тяжелые. А я не люблю плестись сзади.

На том месте против бывшего собора, где на фотографии 1919 года Толстопят стоит на коленях во время панихиды, Юлия Игнатьевна вздохнула и что-то прошептала. Может, ей казалось, что она ступила точь-в-точь на тот камень, которого касался коленом ее драгоценный супруг? На углу Красной и улицы Мира (б. Екатерининской) Юлия Игнатьевна, надумав купить в гастрономе колбасы и голландского сыру, сказала: «Вы постойте, а я зайду в «Чашку чая».

Попсуйшапка аж помолодел от такой нежданной встречи. Всегда добрый, готовый распластаться перед хорошим человеком, он теперь прямо изнывал от желания угодить супругам, приставшим к родному берегу, затронуть их чувства любым пустяком.

— Помните здесь на углу самого высокого городового Степана? Как-то в девятьсот восьмом году в марте месяце ушел с поста на пожарный двор. «Побалакать трошки». А на самом деле, Петр Авксентьевич, от стыда. А стыд почему, знаете? Днем на этом кутку ходил жандарм, еще выше, чем городовой. Ну как же стерпеть!

— В марте месяце — и это ж надо помнить! Мне приятно, что я вас встретил. Мы с Юлией Игнатьевной просим

пожаловать вас к нам,— сказал Толстопят Попсуйшапке.

— Что ж... если вам угодно, то я с удовольствием.

— Я хорошо завариваю чай.

— А чай, помните, где брали? В магазине Мерцалова и Усань — у-угол Красной и Карасунской, за гостиницей Папиянца. Чаю так чаю. Костогрыз Лука Минаевич, когда вишня наступает, по десять стаканов выпивал. Ну что ж... я со всем удовольствием, Петр Авксентьевич. Такие встречи, как наша, бывают раз в столетие или реже. Где вы живете? Ну ясно, там был салон шляп мадам Кази, помните? Ее любовника я видел последний раз на Новом рынке в тридцать шестом году. Одет бедно...

В зеленом дворике на улице Советской (б. Графской), тихом, безлюдном, они, нагибая головы под бельевыми веревками, прошли в самый конец, к акации. В коридоре пахло яблоками. В мгновение ока Попсуйшапка все приметил, оценил. Живут в комнатушке, коридор служит им и кухонькой, кровать у стены никелированная, покрывало на ней красивое, парижское, подушки-думочки с вышитыми красными узорами на черном, посредине комнатки круглый стол, в шкафах книги, ну и прочее, ничего особенного. Главное, есть с кем доживать. По обеим сторонам зеркала висели на стене фотографии в рамочках — запечатленные странички жизни Петра Авксентьевича, Юлии Игнатьевны, их родни и друзей. Вдвоем не так грустно глядеть на них.

— Без очков не разберу,— сказал Попсуйшапка,— вы с какой-то дамой, Петр Авксентьевич.

— В Петербурге с Юлией Игнатьевной. Булла снимал в одиннадцатом году.

— Булла? Гм... Царский фотограф. Это ж вы еще в конвое поженились?

— В конвое, конвое, Василий Афанасьевич,— сказал Толстопят, не желая разочаровывать Попсуйшапку.

— Замечательная пара! Как в стихах. И тумбочка хорошая. Шашка убрана серебром. Да! Было время, что люди жили так. А я жалею, что свои фотографии отдал сыну. Он их уничтожил перед войной. У нас в Екатеринодаре Чернова была фотография. А в чьем вы доме, не скажете?

— Офицера по особым поручениям при наказном атамане Бабыче! — крикнула с кухоньки Юлия Игнатьевна.

— Фамилия? Я всех помню. Ваш, Петр Авксентьевич, батько был гласным городской думы. Выступал всегда с казачьей хитрецой: «Может, я не так сказал, то отдайте мои слова назад».

— А осенью в есаульской форме торговал яблоками со своего сада.

— То ж свои, Петр Авксентьевич, а не ворованные. Генералы жили в отставке на хуторе, сядет у гребли в шароварах: «А ну, хлопцы, полейте мне на спину, я вам на конфекты дам». Вы, Юлия Игнатьевна, зря столько наставляете, я только чаю выпью и пойду. Мне далеко ехать.

— Без этого нельзя. Мы иначе не можем.

— Ну, пожалуйста,— согласился Попсуйшапка, кашлянул и решил вести беседу поосновательнее.— Я нарочно вас, Петр Авксентьевич, не спрашивал, давно ли в в родном городе и откуда. Не все вопросы можно задавать. Иной все равно не ответит. Ну, а теперь мне кажется, вы прибыли с того конца Европы, где Бурсачка до переворота кожу на лице перетягивала, омолаживалась.

— И где умерла, Василий Афанасьевич.

— Дом ее на Бурсаковской (угол Бурсаковской и Графской, тут рядом с вами) стоит, и там рядом старая хата, табличку повесили, что это дом Бурсака, первый дом в Екатеринодаре. И знаете что интересно, Петр Авксентьевич? Я заметил уже давно. Подойдешь к старому дому, и он так смотрит на улицу всеми окнами, будто ждет хозяев. Я часто где-нибудь иду, остановлюсь, стою и смотрю. Мне жалко тех, кто там жил. Они уже т а м. Думаешь, вот жили в тех комнатах замечательные люди: отец с матерью, барышни, сыновья, даже слышишь их голоса, и на рояле как будто играют. А ведь это обман, Петр Авксентьевич. За этими стенами всякие люди жили, и поганых было даже больше, чем хороших. Но почему жалко?

— Само время ушедшее жалко, Василий Афанасьевич.

— Может быть, Петр Авксентьевич. Как жалко и вас с Юлией Игнатьевной. Я глядел на фотографии эти и думал. Но, представьте, кое-кто приезжает в Краснодар поглядеть на батьковщину. Иду как-то по Борзиковской и вижу, стоит старик, голова кверху. А я, если почую, что с человеком можно заговорить, то не миную. «Что вы разглядываете?» — спрашиваю. А наверху, на фронтоне, две каменные вазы. «Да вот,— отвечает,— вазы еще целы... а двери кирпичом заложили...» — «Вы знаете, чей это дом был?» — «Я в нем родился...» Вот оно что, думаю. Вот почему ты стоишь; приехал попрощаться перед смертью. И он зашел, я за ним. В углу кафельная печь. И, видно, ремонт был, так кафель кто-то масляной краской замазал. Это ж какую надо иметь голову? — кафель замазать! Так я психанул и ушел... А другой — мне передавали — прислал в гориспол-

ком письмо: я, мол, старый уже, скоро умру, но буду и на том свете каяться, если скрою,— там во дворе, за сараем, где беседка под дубом, я зарыл в двадцатом году ящик с драгоценностями, найдите и передайте на пользу моего родного города. Это хорошо, я так считаю, Петр Авксентьевич. Это правильно. Я гляжу на вашу кровать и думаю, что у меня была лучше.

— Из комиссионного...

— Мою кровать купила гречанка в двадцать седьмом году, когда уезжала в Афины. Муж ее ссыпщик. Присяжные поверенные Хинтебидзе и Гелешвили (наискосок от дома Фотиади жили, где Деникин стоял) уезжали в Персию и нигде не нашли такой мебели, как у меня. Значит, вы, Петр Авксентьевич, всю свою домашнюю обстановку в Пари же оставили... Ну, ясно. Устали, Петр Авксентьевич, скитаться?

— Хватит, Василий Афанасьевич. Нагулялся по свету,— с усмешкой сказал Толстопят.

— Будем садиться,— пригласила Юлия Игнатьевна, но сама опять ушла на кухню.

Попсуйшапка не молчал ни минуты. Недаром он перед кем-то гордился недавно: «Я с любым найду о чем говорить». Меньше часа ни с кем не стоял на базаре.

— Скатерть у вас хорошая. В двадцать втором году когда было ущемление, у меня скатерти забрали. Разные люди были. Один честный, а другой... И одну скатерть первая жена моя вышивала. Она одну букву вышила, и все. Иголку вколола, и красная нитка осталась. «Мы привезем»,— говорили. Везут и до сего дня.

— Не жалейте,— сказал Толстопят.— В Париже плакала все время одна баронесса. Не могла вспомнить, в каком месте в своей усадьбе закопала ларец с фамильными драгоценностями. Полагала еще вернуться.

— И на Кубани прятали, надеялись переждать. Года два назад стою у трамвая. Вышла женщина со двора, выплила из ведра, я ее подозвал. Она сестра моего бывшего соседа-шабая. Думаю: где тот сундук? Кому он достался? Хотел спросить ее. Мы в двадцать втором году закрывали ставни вечером, он и спрашивает у меня: «Куда деть золотишко?» — «Гм... Какой вопрос задал,— я ему.— И ты сваришь своей головой? У тебя сундук есть? Купи четыре бруска деревянных, выбери долотом ямочку, застели туда тряпочку, положи туда золото и прибей ко дну сундука. А он, как шабай, любил шлепнуть по руке. «Э! Давай руку!» Так кому этот сундук достанется? Шабай умер. Я хотел

сказать сестре, а она говорит: «У меня белье замочено, мне некогда». И я не сказал. Я хотел сказать ей: «Кому вы, мол, продали сундук брата? Ведь там золото». Терешке матрас достался, помните?

Полвека спустя интересно было услышать любое екатеринодарское имя, и Толстопят кивал, улыбался, ахал и желал одного: чтобы теребили его кубанские чувства! Над ними витало это невыразимое великое волшебство протекшей жизни. Извозчик Терешка. Подумать только! В 1910 году он был просто лихач; нынче и бывшие престарелые мариинки восклицали: «Терентий! Ну ка-ак же! Он к венцу возил мою сестру...»

— Я смотрю на графин, это там вино у вас?

— Племянница в Пашковской налила нам домашнего,— сказал Толстопят.

— А я вспоминаю графин Терешки. Он знаете, какой был скупердяй. Уже, бывало, Александро-Невская ярмарка прошла, цыплята на базаре хорошие, а у него постный борщ. И тридцать первого июля начинается спасовка, преображенский пост, потом будут разговляться, и пригласит к себе на обед, а борщ постный. Графин вина нальет и с рук не пускает. Брат мой Моисей Афанасьевич откровенный был человек: «Терентий Гаврилович! Та поставь ты его на стол, нехай стоит спокойно...»

В иные годы, до переворота, Юлия Игнатьевна и слушать бы не стала о каких-то извозчиках, а в старости, если бы все осталось, как было, не Попсуйшапку бы угощала она чаем. «Так проходит слава земная»,— часто повторял Толстопят, ни о чем не жалея. Теперь они все просто старики.

— Вы счастливые, Петр Авксентьевич.

— Почему, Василий Афанасьевич?

— Сейчас скажу.

— Может, все-таки по рюмочке выпьем? За встречу.

— Наливайте. Что же перед пустым стаканом спрашивать?

Толстопят брал рюмочку и на весу отливал в нее из бутылки темного тягучего п а ш к о в с к о г о вина; делал он это с каким-то величайшим удовольствием, рюмочку опускал на стол как драгоценность, спрашивал у Юлии Игнатьевны, все ли она принесла, точно собирался гадать на тарелках, а когда сел, то к чему-то значительному стал готовиться Попсуйшапка: нежно зажал горлышко рюмочки, вытянулся вперед и уже говорил про себя; Толстопят и Юлия Игнатьевна еще переговаривались, и, только когда они

замолкли, он торжественно встал и, прокашлявшись, повышенным тоном заговорил без запинки:

— Я хочу, дорогие мои, поздравить вас с возвращением, с окончанием вашего скитальческого пути, ибо господь простил блудного сына и поставил на круги своя... кх... Я хочу, чтобы вам, Юлия Игнатьевна, и вам, Петр Авксентьевич, жилось на Кубани приятно и не вздыхалось, когда вы будете думать о молодости. Земля отцовская вас долго ждала, так живите, пока бог здоровья даст. Уже нас мало таких. Мир живет, будто речка льется, а человек точно свечка: ветер дунул — свечка погасла... Так оно... кх...

Супруги потянулись к Попсуйшапке с рюмочками, и он, будто чествовали его, благодарил их легким поклоном, но речь свою не кончал: на помощь ему пришли и «дорогой наш Александр Сергеевич Грибоедов», и «другой Александр Сергеевич, тоже поэт», и «Михайло Васильевич Ломоносов», и Лука Минаевич Костогрыз, «тоже покойный».

— Горчицу сами заваривали или купили? Сами? Хорошая горчица. Я на свою первую свадьбу брал горчицу на Старом базаре у Квочкина,— помните Квочкина?

— Берите масло на хлеб,— просила Юлия Игнатьевна, улыбаясь.

— Благодарю вас, Юлия Игнатьевна, сердечно, я намажу,— сказал Попсуйшапка, снял ножом пластик масла и стал бережно разглаживать его по хлебному кусочку (точно ласкать).— Хорошее на Кубани масло. Ну я вам скажу так. Масло, Юлия Игнатьевна, у нас на Кубани, осенью на ярмарке, на покров (месяц стояла ярмарка; наша кончается — едем в Березанскую, шестнадцать верст от Выселок),— так там масло продавали в соленом виде. А вот когда в погреб спускаешься, а мать другой раз гулять не пустит (это еще в Новой Водолаге) — «колоти качалкой!» — так ту сметану, Юлия Игнатьевна, и то, что остается, тоже с удовольствием ешь. Помните? А-а, вы ж не с деревни.

— Она у нас барышня усадебная,— сказал Толстопят.

— Масло в станице шесть рублей пуд, соленое. А малосольное — восемь. Свежее — десять. В кадушках. «Сколько ж у вас коров?» — спрашиваешь. «Та я хозяин молодой, у меня семьдесят коров». Его на аржаной хлеб намажешь, на житный — так того масла я бы с удовольствием и сейчас съел!

Толстопят хотел улыбнуться, но сдержал губы.

— Гляжу на вас, дорогие мои, и думаю: семейное счастье — прожить свой век с первой женой... Вы счастливые, потому что живете первым браком. А моя жизнь...

Видимо, мысль о семье всякий раз причиняла Попсуйшапке страдание. Он горько, как о самом важном в жизни, задумался. Мало ли, мол, что свершается на белом свете, а семья — это главная крепость. Толстопяты ждали, пока он промолчится.

— Одну схоронил, опять женился. И эта заболела. И еще женился, и эту схоронил. Что же это за счастье, скажите мне, пожалуйста? Самый счастливый брак тот, когда вся жизнь вместе. Вот я гляжу на вас и радуюсь. То-то мне Костогрыз Лука Минаевич часто снится. Как он меня встречал всегда на рождество, на пасху, на заговенье! А во сне выразил мне свое неудовольствие. «Ты,— говорит,— только и знаешь жен себе выбирать». Ну а как же: ведь я с ними не дрался и не разводился ни с одной. Как же вы хотели, чтобы я жил один в молодые годы? У меня же дети. Я женился и всегда говорил: «Если мы сведем свою жизнь, то дети чтоб были одно целое. Если нести гостинец, то нести всем». Мне только один товарищ завидовал: первая девушка и вторая девушка.

Попсуйшапка сам протянул рюмочку, чтоб налили.

— Сказок мир мне был неведом, и узнал его я — как? Очень просто: за обедом пил я шустовский коньяк. Помните, Петр Авксентьевич? Трактирщик Баграт читал. Коньяк Шустова был...

— Я всю жизнь пью только коньяк,— сказал Толстопят.

Разной была их жизнь, они, чтобы приятно побеседовать, цеплялись за далекие екатеринодарские дни. Там, в сумерках лет, у них тоже была разная жизнь, но теперь та разница стерлась, и они о мадам Бурсак говорили как об их общей родственнице или доброй соседке.

— Их усадьба,— поражал, как всегда, точностью Попсуйшапка,— их усадьба стояла на углу Бурсаковской и Графской, напротив сейчас седьмая поликлиника.

— Балыков на дубах нет?— с шуткой спрашивал Толстопят.— Свекор мадам Бурсак Елизаветы Александровны привязал под дубом медведя, чтоб балыки не крали. А Елизавета Александровна не вникала в хозяйство. Приехала раз из Парижа, спрашивает Харитона: «Зачем пастуху рубль заплатили? Я ему даю без того».— «Та за корову, шо погуляла».— «А как погуляла?» — «Та шо бегала за бугаем».

— Она давно умерла?

— Давно-о... В Ницце.

— Рассказывали, будто доктор Лейбович (его дом жгли в десятом году, помните?) был в Париже в двадцать пятом

году на каком-то форуме врачей и зашел к ней. Она его не приняла: «Большевик!» А фаэтон Терешки, бывало, частенько стоял у ее дома. Между ними была, как это считается, интимная связь.

— Не думаю,— Толстопят поморщился.— Она любила молоденьких офицеров, а Лейбович старик. Она после нас выехала. Из Новороссийска.

— Рассказывали, будто вышла фальшиво за турка замуж, и тот ее вывез.

— Невестка подкупила матросов итальянского парохода. Впрочем, ее нет на свете, и теперь можно полагаться на одни легенды. Наш маленький Париж кто теперь помнит? А уж тем более какую-то мадам Бурсак. Для кого она сказка города? Их уже нет. За Карасуном,— сказал вдруг Толстопят,— где нынче железнодорожный вокзал, в дубовом лесу батько мой в молодости бил гадюк. Считалось, что за убитую змею бог снимает грех. В себе змею надо убить. Какой мерой меряешь, тою и тебе отмеряется. Странно мы жили раньше...

— У тебя, Дюдик, какие были политические взгляды?

— Тогда этого вопроса никто не задавал. Тем более военному.

— Вспоминаю...

— Странная Россия,— продолжал размышлять Толстопят.— В пятнадцатом году, когда шла эта война, только из нашего Ейского порта вывезли за границу полтора миллиона пудов пшеницы, больше миллиона пудов ячменя, а меду собрали столько, что не знали куда девать, а между тем сколько в России было голодных-холодных!

— А я вам скажу так, Петр Авксентьевич...— начал было долбить воздух согнутым пальцем Попсуйшапка, но его перебила Юлия Игнатьевна, желавшая возражать своему мужу в их вечных, по-видимому, спорах о России, которые они вели еще там, в Париже. «Какой вздор несешь, Петя!» — поправляла она его, когда Толстопят слишком уж противоречил самому себе. У кого-нибудь на обеде вдруг ни с того ни с сего он оскорблял всех неожиданным осуждением старых порядков и обычаев: дамы держали-де своих собачек и по вечерам играли в винт с полицмейстером; никто в нас не вложил сознания обязанностей гражданина, связанного со своим народом; котильоны, мазурки, места в министерских ложах — весь смысл жизни; проспали Россию, ни о ком не думали и никого не жалели. Юлия Игнатьевна в таком случае наказывала его унизительным приговором: «Вы, господин казак, в свете не жили, и вам прос-

тельно не знать». Нынче Юлия Игнатьевна уговаривала мужа не повторять глупостей и всегда помнить, какими словами встречали родственники некоторых эмигрантов по прибытии их на родину: «Что вы тут забыли?»

— Дюдик, не греши на людей, они переживали трудности вместе с Родиной. И они, что б ни сказали нам, будут правы. И это они могут требовать себе в исполкоме квартиры, дрова, уголь, а мы... только смиренно просить. Не заслужили.

— Если, Петя, полистать старые газеты, то, наверное, не раз можно встретить твою фамилию. И отца, и деда.

— О да, Дюдик! Особенно внимательно листай за октябрь десятого года, когда приезжал с гастролями Шаляпин и мы с Демой отличились.

— Кх...— откашлялся Попсуйшапка.— Весь город говорил: Бурсак с Толстопятом подрались с Шаляпиным в гостинице «Европа» — угол Екатерининской и Красной, ее немец спалил, а наши доломали.

— Черт его знает! — удивлялся Толстопят.— Россия-матушка: ничего не ценили. Великого русского певца хотели побить два казака. Из-за чего? Из-за певички Тамары Грузинской.

— А я, Петр Авксентьевич, из-за Шаляпина попал в первую полицейскую часть, на всю ночь в кордегардию. Не из-за самого, конечно, Федора Ивановича... Я шел по городскому саду к летнему театру и наступил сзади на пятку члену «Союза Михаила Архангела», толстенький был, помните? Как тот размахался, как закричал: «При-истав! Взять его, он пьяный!» А пристав Цитович столбом стоял рядом, услыхал, подскочил: «Ты что за морда?» — «Я вам не пригульный скот, нечего меня тащить».— «В клоповник!» Весь город слушал Шаляпина, а меня в клоповник упрятали на всю ночь. Сижу так я, не битый, не мятый... «Это ж меня люди видели! — обдумываю.— Позор. Вели через весь город под руки. Все заказчики от меня откажутся». Наутро Цитович вызывает, а они с моими братом были соперники, была Шамрицкая Дуся, помните? Интересная, и брат мой приударивал. А у меня золотые часы были, сорок рублей стоили, и деньги в бумажнике. Цитович сидит за столом, красит чернилами белые нитки, чтобы пришить пуговицу. «Закон,— говорит,— виновных карает, а невинно пострадавшим честь восстанавливает». Забрал я часы с бумажником и ушел. Пока вы, Петр Авксентьевич, слушали «Дубинушку», я страда... кх...

— Если бы, Василий Афанасьевич, я не был офицером,

в ту ночь мы сидели бы в клоповнике вместе. Когда в Па риже я пел в труппе князя Церетели (Шаляпин солист я — в хоре), когда потом пол-Парижа его хоронило, я гово рил Бурсаку: «А помнишь наше бесстыдство в «Европей ской» гостинице в Екатеринодаре? Здесь он гордость Росси но он ведь и там, в самой России, был ее гордостью, а кт это понимал, когда Россия стояла цела-невредима?» Манеч ка, сестра моя, понима-ала...

— Я видела ее всего один раз,— сказала Юлия И натьевна,— и никогда не забуду. Она была кроткая, к свечечка.

— Отец говорил ей в пятнадцатом году (она в Красн Кресте была): «Здоровье тратишь, горишь как свечка пер святым».

— В ее жизни,— сказал Попсуйшапка,— рука милосе дия видна во всем. Знаете, Петр Авксентьевич, как ва сестра погибла?

— Немножко.

— Без меня, Петр Авксентьевич, солнце не взойдет, я в видел и слышал. И я эту историю знаю. А почему зна Петр Авксентьевич и Юлия Игнатьевна, дорогие мои, п тому знаю, что я сам был во время облавы немцев на Н вом рынке. В сорок втором году тринадцатого октября. Мы шли нынче с вами от трамвая, мимо рынка, а я посмотр извините, на туалет (он уже новый) и вспомнил Швидку Помните, она заколотила свое заведение под названи «Красный фонарь» и ушла в Марии-Магдалинский мо настырь под станицей Тимашевской?

— Кое-что помню, Василий Афанасьевич.

— И жила там, Петр Авксентьевич, до сорок перв года, монастырь уже разорили, она жила в хате. Раз к про нее речь зашла, я расскажу. Вот немец заступает на Ку бань. Стреляют мирных жителей ни за что. Швыдкая на девает мантию. «Вы зря стреляете. Это черные люди. невинные. А те, советские, уехали. Карайте меня за пра но так...» Они ее не тронули, пришел час — посадили в ма шину и повезли в Тимашевку открывать церкву. Пообе ли ж казачеству вернуть старые порядки. А казаки, П гр Авксентьевич, не все ж перекрасились, некоторые то и ждали. И под Тимашевской были такие случаи. Вот Шв кая и открыла церковь по православному обряду. а, а назад не поворачивалась. А когда повернулась у а ря — сзади немец с овчаркой! «Рабе божие... Я не буд крывать церковь... Вы кобеля завели в храм...» И ушла. за крыла церковь и вышла. И домой пешком! Они ее догн и,

валяли по земле, грозили, а она ни в какую! Так и ушла. Вот вам и Швыдкая, бывшая содержательница «фонаря», а потом монахиня.

— В двадцатом году, за месяц до нашего ухода, давала в газете объявление: «Желаю ухаживать за тифозными больными...»

— Я ее видел и после войны. Она так и жила на той монастырской земле. И, представляете, была уже уверена, что она святая. За ней две монашки ухаживали. «Я,— говорила,— заслужила похоронить меня ангелом». Лицо ее можно открыть тогда, когда ударишь сто поклонов. Ее повивают (черная мантия в виде ленты), ее заматывают. Висячую лампаду позолоченную отвезли в Киевскую лавру. Вот вам Швыдкая. Так она от немцев все же спаслась, а Манечка, ваша сестра, сама на смерть напросилась. Мария Авксентьевна была замужем за племянником доктора Лейбовича. Вы знали доктора Лейбовича? У него царские ордена были, но он, представьте себе, сочувствовал революционерам, помогал деньгами в девятьсот пятом году, а Деникин за то же самое, за сочувствие, судил его в девятнадцатом году, но тогда меня в городе не было. Он жил на Рашпилевской, тот дом и сейчас стоит. С балконом. С того балкона, когда черная сотня погром устроила, рояль сбросили. Вы знали, что Манечка замужем за его племянником?

— В двадцать седьмом году она писала мне.

— Дядя его, доктор, умер до войны еще, у него в тридцатом году были большие неприятности из-за тайных абортов, тогда их запрещали. А Марию Авксентьевну, сестру вашу, я видел, когда приезжал из Васюринской. Увижу — поздороваюсь, конечно: «Где ваш брат? Не слыхать?» Ну, а потом уж такое время было, Петр Авксентьевич, что не подходили, лучше не знаться.

Толстопят сказал глазами, что понимает все очень хорошо, хоть и жил далеко.

— Немец когда взял город?

— Восьмого августа сорок второго года. Улица Красная вся в муке была, обыватель тащил с хлебопекарни в канун вступления немцев.

— Как же им позволили? — удивилась Юлия Игнатьевна.

— Власть из города ушла, а кто из начальников-коммунистов задержался, немец повесил в первый же день. Как начали облавы делать на рынке! Хватали всех, кто без документов, а евреев подряд.

Толстопят кивал: понятно, все понятно.

— Я из Васюринской, Петр Авксентьевич, последнюю капусту привозил и потому видел, как брали Лейбовича и за воротами в душегубку толкали. Сестра ваша была человек благородный, замечательный, она пошла за мужем. Ее отталкивают, а она как клещ: уцепилась за него, берите, дескать, меня с ним. Вот. Ваша сестра. Святая у ней была душа.

— А в «Голосе казачества», в эмиграции, написали будто она погибла на Севере в лагере.

— Не-ет! Она погибла на моих глазах на Новом рынке когда села за мужем в душегубку. Так и знайте.

— Она родилась сестрой милосердия,— сказал Толстопят.— Матушка правильно сказала про нее: «С воды узор снимет». Всех ей было жалко.— Толстопят вздохнул и умолк.

— Редкая женщина в наше время поступит так. Ну, а на Лейбовича, я думаю, нарочно указали те из верующих, кто не мог простить ему двадцать второй год.

— Что же именно?

— В двадцать втором году, Петр Авксентьевич, было большое изъятие церковных ценностей в пользу голодающих. Лейбович заведовал ликвидационным отделом. Тогда председателем комиссии был Берцман. Откуда я это знаю? А оттуда: лихач Терешка был уже в то время ключарем в Александро-Невском соборе и мне рассказывал. Больше пяти пудов изъяли из храма золота: риз, крестов, чаш, лампад, крышек с Евангелий, а по Кубани больше ста. Так вот, когда гитлеровцы зашли в Краснодар, кто-то Лейбовича и раскрыл.

— А Манечка когда за него вышла замуж и почему?

— Не скажу, Петр Авксентьевич, не знаю. Знаю, что при немцах она покупала рваные чулки, латала их, вставляла пятки и носки и продавала, это был тогда ходовой товар. Из трикотажной кофты, пальтишко она сошьет вам, рукавицы мужские и женские. Мужа своего она сперва прятала в сарае, закладывала дровами.

— Интересно, жива ли и где та женщина, которой в Новороссийске, перед посадкой на пароход в Крым, отдал вещи, кольцо, портсигар с бриллиантом для Манечки? Думал, что убьют. Она ей передала всё, Манечка мне написала в Париж.

— Может, и жива, Петр Авксентьевич,— сказал Попсуйшапка.— Да где ее теперь шукать?

— Я вам налью еще чаю, Василий Афанасьевич,— сказала Юлия Игнатьевна.

— Благодарю вас, Юлия Игнатьевна, не пора ли мне вставать? Там дочка потеряла меня. Заболтаюсь, как те студенты, что пришли к Ивану Кронштадтскому. Им вынесли стакан с водой и ложечку: нате, поболтайте.

— Посидите, Василий Афанасьевич, я вас провожу. Берите печенье. Юлечка, подлей горячего.

— Печенье сливочное? На Новом рынке на одном сливочном масле и яички продавали по тридцать копеек фунт.

— И как вы помните?

— Я вам, если понадобится, все распишу. Булка хлеба до десяти фунтов — сорок копеек. Обуховский калач десять копеек фунт. Я ходил недавно, так хотел знать, живы его дети, нет. Гаврила Обухов, чтоб вы знали, Юлия Игнатьевна, спек калач пятнадцати пудов весу. В девятьсот восьмом году на выставку. Корова немецкая тридцать пять рублей стоила. Овца в двадцать седьмом году — пятнадцать рублей.

— Пашковского? — предложил Толстопят.

— Подлейте. Я смотрю на эту ложечку; такую же, только крученую, толстую, здесь красивый кончик, дарил мне тесть-покойник. Отец второй жены. Обе ложечки исчезли. Это белое серебро. Он был приказчик у Демержиева, до переворота. А кассиры были все матвеевской биржевой артели,— помните?

Толстопят покорно кивал, приравнивал себя к торговой среде,— лишь бы текла речь Попсуйшапки.

— А кто вам, Петр Авксентьевич, в девятнадцатом году на станции Минводы помогал резать хлеб?

— В девятнадцатом? Какой хлеб?

— Значит, забыли.

И Попсуйшапка рассказал всю свою эпопею блуждания по степям, не сказал только про то, как наколол вилами руку, чего-то стыдился. Тут они все трое стали вспоминать всякие истории времен гражданской войны.

— В двадцатые годы,— сказал в заключение Попсуйшапка,— те казаки, которые в Новороссийске не сели на пароход и вернулись в станицы, говорили, что якобы грузились на пароход, а матрос ящик с вином уронил с трапа; и пьяные повставали на колени и давай лизать эти лужи. А сверху на них смотрит кто-то из депутатов Государственной думы, махнул рукой и сказал: «Э-эх! пропа-ала Россия!..»

— Это, по-видимому, уже из области легенд,— сказала Юлия Игнатьевна.

— За что купил, за то и продаю, Юлия Игнатьевна. То жестокое время прошло, и слава богу. Раз русских из Парижа в Россию назад пускают, значит, гражданская война затихла окончательно. Разрешите поблагодарить вас, дорогие, и ретироваться. Вот так наше течение жизни идет. Веселые годы, счастливые дни, как вешние воды промчались они. Замечательные слова.

В полночь Толстопят проводил Попсуйшапку до трамвая...

Осенью того же года в Краснодар приехал певец Вертинский. Через двадцать лет пластинка с его голосом будет свободно лежать в магазинах, затем появится вторая, с другим портретом на конверте, но и за нее редко кто будет платить один рубль двадцать пять копеек в кассу, а тогда (теперь уж почти в старину) весть о концерте Вертинского была ошеломляющей. Маленький одноэтажный городишка что-то вспомнил! Впервые появились театральные заботы: как достать билет? Единственный концерт Вертинского состоялся в филармонии, в том самом здании у рыбного магазина, где он в далеком 1919 году, при белых, пел о юнкерах.

Теперь я часто страдаю, когда думаю о том, как мало у меня городских впечатлений за первые годы, потому что я жил своей обособленной молодой жизнью: учился, сидел над свежими журналами в Пушкинской библиотеке, танцевал в городском саду или в толпе гуляющих мерил улицу Красную из конца в конец до самой темноты. И все мне кажется нынче, что я упустил что-то в местной жизни значительное, проворонил старожилов, которые тогда мне были бы скучны, а сейчас столь необходимы. И о концерте Вертинского, об этом в некотором роде историческом событии я знаю со слов учителя Лисевицкого и одного журналиста, которому Вертинский давал интервью.

Из каких-то углов, из каморок и затянутых паутиной комнат, из квартир, ныне заселенных родственниками, из длинных дворов с бельевыми веревками и общими туалетами повылазили старцы, эти последние гимназистки, воспитанницы благородного Мариинского института, бундисты, врачи, нотариусы, уцелевшие гласные городской думы, агрономы, музыканты, преподаватели иностранных языков педагогического института, профессора медицины. Кто в немодной шляпке с пером, кто с кружевами на плечах, с китайским веером, с брошками бабушек, с перстнями

на птичьих пальцах. За минуту до появления артиста из-за кулис (точно с того света) воцарилась в рядах предслезная тишина; сидели, вспоминали молодого попрыгунчика-арлекина, а вышел высокий худой с т а р и к. И как током ударило: жизнь прошла! Прошла судьба их города, их эпохи — они уже на самом краю. Два часа — и в те минуты, когда заметили друг друга в зале, и в те, когда живой голос кумира напоминал голос на пластинках, и тогда, когда после пира воспоминаний выходили на улицу Красную, одно чувство владело всеми екатеринодарцами: жизнь прошла! Единственная жизнь...

— В девятнадцатом году,— говорил Толстопят дома,— когда он пел в «Монплезире» после сеанса «Отца Сергия» с Мозжухиным... ты была?

— ...Не была, я не любила его арлекинство...

— ...И когда он спел «Ах, скажите, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть... какой-то там, забыл, рукой...», то... пробежали на сцену офицеры и буквально на кончиках пальцев...

[Не дописано.][1]

«А НА ЧТО ОНО ВАМ?»

В какой-то миг меня заворожила мечта: написать о Екатеринодаре все так, как оно было. С этой мечтою ходил я по старым длинным дворам.

Город все еще был одноэтажный, маленький, в воскресенье по Красной семьями гуляли до городского сада, куда нынче никто уже не ходит, кроме шахматистов. Иногда казалось, что дворы кого-то ждут, что ручки дверей, колышки заборчиков помнят последнее прикосновение тех, кто когда-то отсюда ушел навсегда.

Уже не с кем было воскрешать «старовыну».

Представьте себя на минуту глубокими старцами, дотянувшими до середины двадцать первого столетия, до той дальней поры, когда уже никому вас не понять кровно и близко, и подумайте, захочется ли вам, немощным и больным, никого не радующим в родном кругу, захочется ли вспоминать для постучавшегося юноши события, имена, секреты и прочее, прочее?! Пока я пишу эту книгу, один за другим умирают последние, и когда она выйдет (если

---

[1] Так в рукописи.— *В. Л.*

выйдет), мне ее не подписать им с благодарностью. А что скажут новые люди? «Зачем и кому это нужно?»

Редко где в комнатах тикали и звонили старинные часы; сломанные пружины и молоточки обрекли их на многолетнее молчание, и этой немотой они как бы сберегали верность своим невозвратным хозяевам. Печать бесполезности лежала на всем старом. Бесполезны были рассохшиеся шкафы, кузнецовская посуда, треснувшие помутневшие зеркала, завязанные в платки и сунутые в дальний угол комода серебряные ложечки, шкатулки. Оттуда, из какой-то мифической дали, смотрят на прихожих с фотографий мать, отец, дедушка. Зачем тревожить их, выкликать и судить? Вперед, вперед, в завтрашний день!

Больше всего меня огорчали грамотные интеллигентные дамы, то есть уже не дамы, а старушки, эти бывшие гимназистки, мариинки, бестужевки. Они почти ничего не сохранили письменного, а если что было, то не давали, и не потому, что скаредничали, нет,— они как-то кисло смотрели на всех пишущих в этом городе.

«Должно же что-то лежать и *для себя*. Кто-то будет глядеть на наши лица или менять эти твердые картонки вензелями на обороте на открытки? Я лучше сожгу...»

Старость не верит, что кому-то чужая жизнь может быть интересна и что можно воскресить тех, которых давно не

Я то бродил по длинным городским дворам, то уезжал на трамвае в Пашковскую. Я сразу же пугал немощного собеседника: без всякой прелюдии пускался называть фамилии гвардейцев, станичных атаманов, священников, богатых дам, купцов, выписанных мною в блокнотик из старых екатеринодарских газет. Иногда, чтобы поскорее влезть в доверие, я балакал по-малороссийски, восхвалял в казаках запорожскую удаль, читал стихи из «Кубанских ведомостей» некоего Жарко. «Це колы було! — разочарованно подавала голос жена казака.— Оно вам нужно? Уже нико нема». В другой раз внуки не пропускали меня во двор якобы дед болен: «Да что он там помнит, зачем вам Гостеприимная казачка Лукерья, всегда кормившая ме варениками в сметане, обещавшая подарить мне гвардейский сундук своего деда, за воротами вдруг придумыва в какую хату мне еще можно зайти: «Сходите-ка еще в туда, они много знают, но на нас не ссылайтесь». Но там бабушка лишь вздыхала: «Як, скажите, с того света моего б дедушку поднять? Он бы рассказал. Не гневайтесь, дети, а если что нехорошее задумали, дело ваше». Лукерья спрашивала потом: «Ну? Что-нибудь выпытали?» — «Ничего не

помнят».— «Ото брешут. Их жизнь потрепала. Та уж столько прошло, кому они нужны? Ото ж лю-уди. Они трудолюбивые были, и батька я их знала, самый чистый двор был в станице. А певцы! Я как-нибудь их проберу...»

Нечему удивляться: большие грозы прогремели над пашковскими семьями за десятилетия; крестьяне к тому же всегда были разумно-осторожны в беседах с посторонними.

Кому-то все же было скрывать кое-что.

Умирал в те годы в станице Пашковской дряхлый казак и напоследок высказал своим родичам тайну: «Ах, не дожил! А я думал доживу, когда наши казаки оттуда придут...» Их уже с горстку уцелело под небом там, в чужих землях, но он до последнего дня думал о них. И уже после войны — надо же только представить!— после, казалось бы, полного упразднения старого, после торжества пятилеток, измен, победы над фашистами, внутренними полицаями, после того, как все надежды на возврат к прошлому уплыли в историю, в некоторых дворах с хмурой тоской жили несмирившиеся. Не так все просто!

Подруга Верочки Корсун стояла на квартире у какой-то старухи, замкнутой и неласковой. Муж ее погиб якобы в гражданскую войну в красном отряде, братья умерли от ран, дети подорвались на мине в эту войну. Старуху порой навещали два казака преклонного возраста, обычные с виду советские граждане. Говорили о ценах на рынке, о лекарственных травах и прочем. Но однажды раскрылось нечто священное. Два раза в год — 31 марта и 6 августа по старому стилю — появлялись эти казаки с белыми лилиями, присаживались к столу, накрытому хозяйкой с особым старанием. Чувствовалось — ни одна душа больше к сему столу допущена быть не могла. Из нижних секретерчиков шкафа доставала хозяйка посуду царского времени, зажигала у иконы свечки, ставила на патефон шипящие старые пластинки; шторки на окнах сводила вместе, а потом, с сумерками, закрывала внутренние ставни. Недоступна нам всякая человеческая жизнь! Все обыкновенно, привычно и просто на улицах: горят огни, идут с сумками, с портфелями, под руку и в одиночку люди, слышатся добродетельные речи, смех; утром на лавочках читают газеты пенсионеры, почтальоны несут невинные письма. И не придет никому в голову, что за ставнями сорок лет скорбит кто-то по утраченному. Муж старухи (проговорилась знакомая после ее смерти) погиб при штурме Екатеринодара корниловцами, именно 31 марта, когда и сам генерал; братья нашли свою смерть в приморско-ахтарских плавнях — с десантниками

Врангеля. Двое сыновей отступили с немцами, но она всех убеждала, что их расстреляли полицаи. Вот она и собирала стол 31 марта — в день гибели всех надежд, а 6 августа — в день торжества: в 1918 году белые вошли с Деникиным в Екатеринодар. Она же записывала в церкви на листок поминовения имена вроде бы семейные: Николай, Александра, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Алексей. Но кто это такие? У кого это были четыре дочки и один сын? У старухи? Нет. У царя с царицей. Забыл я прибавить, что в тайные дни эти один из казаков переодевался в казачью офицерскую черкеску, тихо произносил по-старинному тосты и плакал. Можно бы об этом и не упоминать, но я хочу сказать, что, наверное, и я порою не знал, с кем беседовал, потому что в человеческой правде главное не то, что на ставнях, а что за ставнями. Мне, бывшему сельскому мальчику с Тамбовщины, внуку красноармейца, не почувствовать до конца этих тайн, однако и бояться их нечего: все прошло, и народились другие люди. Пишущему же нельзя делать вид, что история наша скользила по гладкому льду.

Зачем я связался с призраками «старовыны», уверовал в силу своего проникновения, пугал, обнадеживал, травил чувства иногородних и казаков вопросами? Как часто я страдал, возвращаясь длинной дорогой вдоль трамвайной линии из станицы Пашковской в город!! Окна, ставни, заборы, глухие сады, камышовые крыши ветхих хат мне словно подсказывали: не ищи, не трать сердца, не жди чудес! С той же унылостью сдавал я к вечеру подшивки газет, папки с документами в архиве. Я перебрал много дел. Полная молодая женщина не успевала мне носить связки из подвала Дворца пионеров, где временно (впрочем, уже десятый год) сырели старинные документы. Я устал, но рылся изо дня в день. Может, в фонде № 332 я найду интересную историю любви? Но попадались строчки, слова, целые инструкции, приказы, возбуждавшие меня тою исторической тьмой, которая поразила однажды мальчика Арсеньева из романа Бунина: пролетел над головою ворон, и мать ему сказала, что он, может, жил еще при Иоанне Грозном! Таким вороном казался мне Толстопят, фамилия коего мелькала в делах конвоя его величества. Вот ему в 1910 году, в день богоявления господня, надо быть в 11 часов утра у Большого царского дворца к литургии и шествию для водосвятия, где грот. Между тем он в эти минуты, пока я читаю о нем, сидит на улице Советской в Краснодаре и смотрит передачу «Клуб веселых и находчивых». Вот он по заведенному обыкновению просит к рождественской елке подарок

(сухарницу), в другой раз пишет: «Я ценю все, что Ея Величество изволит пожаловать...» Вот жалобы, дознания нижних чинов. Вот телеграмма в Ейский отдел атаману: «Воистину воскрес поздравляем с праздником кобыл брать нельзя Толстопят». Он же вместе с другими возлагает у неугасимой лампады венки на гробницы царей в Петропавловском соборе. Это с ним я пью чай? Листы пахнут пылью. Ну, еще, еще. Расписания наряда в Гербовый зал, Военную галерею и Николаевский зал Зимнего дворца. Диониса Костогрыза Толстопят подвергает аресту на одни сутки за то, что тот недостаточно быстро подошел на дежурстве к телефону, когда звонил командир конвоя князь Трубецкой. 3 марта 1912 года Дионис кашеварил, а через неделю стоял старшим на разъезде в Боболовском парке. В ноябре кавалеры св. Георгия и лица, имеющие украшенное бриллиантами золотое оружие или знак отличия Военного ордена, приглашаются к высочайшему цесаревича обеденному столу в Николаевском зале в 6.30 вечера. Неужели все это было в России? Без него, Толстопята (он уже стонал от жары в Персии), конвойцы возлагали серебряный венок на гроб бывшего наказного атамана Маламы. Для меня самое странное в том, что он сидит сейчас дома на улице Советской. Однажды я прямо из архива пришел к «месье Толстопяту» и с порога спросил: «Так что вы делали двадцать шестого января двенадцатого года в двенадцать часов дня? А я знаю! «При проезде «ура» не кричать, всем держать руку под козырек, номер восемнадцать».

После смерти Толстопята я нашел обвинительные письма мадам В., листы дознания, приказ об увольнении из конвоя и проч. Я выходил на улицу, по которой только что неслись извозчики, а в городе жили все, кого вдруг не стало, и с трудом привыкал к современному виду жизни. И так было несколько лет. В семье уже позабыли, когда я зарабатывал деньги. Я жил мечтой о книге, о сказке, которая будет потому только сказкой, что это свершилось давно, когда город дразнили маленьким Парижем. На улице я смотрел на прохожих и думал: они не знают, в каком месте живут, они ни разу не представили себе, что ходят по тропинкам вырубленного дубового леса. Я расскажу им. Нас с удовольствием станет возить по городу знаменитый извозчик Терешка. Может, я и роман назову так: «Извозчик Терешка». Меня встречал профессор истории, веривший только в пятисотрублевый оклад, который он хватал на кафедре ежемесячно, и говорил: «Ну как ваши казачки? Все еще мечтают о возврате?» Я разводил руками. В просторном дворе под

тяжелой грушей ответит вам на вопрос о здоровье усатый девяностолетний дед привычным присловьем: «Слава богу, шо мы казаки!» Но что с того?

Иду как-то в августе из Пашковской: тишина, вечерне благословение над садами, закат — прожит всеми нами еще один день на земле. Иду по тому самому Ставропольскому шляху, на котором сырой ночью распевал молодой Толстопят что-то запорожское и покрикивал порою на извозчика Терешку. Все во мне разрывается от одинокого чувства. Почему я? Почему я, чужой, тамбовский, а не какой-нибудь юный казак живет этим? Неужели выродилась черноморская степная душа? Как странно. И каким образом передалось это мне? Не лучше ли бы мне заглядывать в русские избы? Когда кончается осень и на целые месяцы закрывают окрестности южные дожди, я тоскую, вспоминая наши снега, скованные реки и свое детство.

А без Толстопята, Шкуропатской, Попсуйшапки я тоже теперь не могу вообразить свою жизнь. Были бы у меня еще где-нибудь такие часы?

Каким волшебным пером описать вечера разговоров, часы каких-то внезапных вдохновений, когда случайно сойдутся давние знакомцы и невзначай увлекутся преданиями, и уже нету этому конца, нету предела желанию вернуться в колыбель навсегда, и даже грусть о потере былой молодости превращается в какое-то редкое счастье? Тут в разговор вперемежку заскочит все: слова исторических деятелей, дорогие имена, свадьбы, похороны, праздники, красивые здания, кто на ком был женат, кто когда умер, и от какой болезни, и какие бывали зимы, наводнения, и сколько, допустим, стоила дюжина стульев. Постороннему (кто и моложе) надо лишь притаиться и жадно слушать. Вечер тянется долго, как тот, когда встретились после сорока лет Толстопят и Попсуйшапка, и неохота вставать, и на душе что-то трогательное, и когда расстаются, то вроде бы что-то теряют, сожалеют, что их элегическое пребывание в рае воспоминаний оборвалось, и такое уж повторится не скоро.

Так однажды сошлись четверо: Попсуйшапка, Шкуропатская и чета Толстопятов; себя с Лисевицким я не считаю. Пили чай, а потом Лисевицкий показывал открытки и дореволюционные журналы. Он пришел позже нас, снял у порога ботинки, в носках протопал в комнату, облобызал всех и тотчас вспотрошил своей крикливостью тихую рассудительную беседу. Точно вошел в класс на урок. Хозяева и гости поначалу сидели смущенно: до чего же

воспитанный, безалаберный человек! Извиняла его только ласковость, такая детская, непритворная.

— Я так счастлив видеть екатеринодарцев! — кричал он.— Вы прекрасный букет кубанской сирени! Вы помните, сирень была достопримечательностью нашего города? О боже мой, вы все в бронзе. Калерия Никитична, в вас все та же молодость, все то же очарование... Считаю за великую честь показать вам свои находки.

Портфель, будто набитый камнями, еле расстегнулся.

— Вам, певец Екатеринодара, певец Кубани, певец любви,— сказал он мне и протянул «Кубанский сборник за 1899 год».

— Почему... любви? — удивился я.

— Но вы же не сможете обойти похищение прекрасных дам на фаэтоне Терешки? О как я счастлив вам чем-нибудь быть полезным. Да-а! — вдруг переменялся он.— У нас в городе живет Герой Советского Союза. Я у него вчера был дома. Скромнейший! Брал рейхстаг. У него орден Александра Невского, Отечественной войны I степени. Боевой офицер. Нужен? Четыре тяжелых ранения. Я вас познакомлю. Он выступал у меня в школе. Я всегда рядом с историей. Я маленькая книжная шашель, только и всего, ха-ха.

Настоящая фамилия Лисевицкого была Костогрыз. Его дед и знакомый нам урядник конвоя его величества Дионис, бежавший в конвое императрицы Марии Федоровны, двоюродные братья. В 1920 году Дионис застрелил брата «за предательство интересов казачества». Он посадил его на телегу, провез его по станице и за садами, возле реки Кубани, поставил над обрывом. «Я пятнадцать лет не был в церкви,— сказал брат, тогда тридцатилетний казак-красноармеец,— дай помолиться мне». Он помолился, отцепил с груди Георгиевский крест, приготовился. «Стреляйте,— сказал,— только лицо не попортьте...» Жена его, бабушка Лисевицкого, ночью нашла мужа у воды, обмыла, принесла чистую одежду и зарыла его там же, на берегу. Лисевицкий ходил к тому месту с березой каждый год. Может, и не под той березой лежал дед, где-то там, напротив дубовой рощи, у бывшего Панского кута с рестораном «Яр».

Лисевицкий поменял свою фамилию на материнскую в юности, когда стал ухаживать за девушками. В детстве его неприлично дразнили, и ему подумалось, что сама фамилия отпугнет ту красавицу, которую он полюбит. Зато после того, как «предмет любви» цветочком клонил к нему головку, он раздвигал занавес своей родословной: «Я не

Лисевицкий, я Костогрыз! Во мне запорожская кровь, моего славного предка привезли в бочке. У нас в роду был Лука, его шутки передавались из уст в уста по всей Кубани. А по матери мы из Полтавы. Но я до мозга костей русский интеллигент, ха-ха...» О годе своего рождения, 1931-м, он собрал все номера «Огонька» и газеты «Известия». Калерия Никитична Шкуропатская с улыбкой прощения называла его «умным дураком». Он жил в одном дворе с нею. За таких, считала она, нельзя выходить замуж: его ничего, кроме книг, не занимало. Летом окно ее было раскрыто, он просовывал голову и кричал: «Милая, драгоценная Калерия Никитична, как почивали? Чем могу быть полезен вашему сердцу или бренному телу?» Несу «Живописную Россию» с богате-ейшими иллюстрациями, не хотите взглянуть? Нет... «Кубанский календарь» за тринадцатый год. Все чины войска, все фамилии атаманов, директоров гимназий, купцов. В очень хорошей сохранности. И достал еще супницу старинную с гербом».— «Отстаньте, Юрий Мефодьевич, со своим хламом»,— прогоняла его Шкуропатская, но была уверена, что любая ее строгость не дойдет до Лисевицкого, на следующий день он просунет голову снова с теми же радостями. Такой вот холостяк-чудило процветал в их дворе. Можно сколько угодно изумляться его доброте и любопытству к истории, наведаться в его захламленную квартиру, но жить с ним вместе невыносимо. Одного часа достаточно. Его огромная, с высокими потолками квартира в особняке покойного гласного городской думы была складом старья, но от Плюшкина он все же отличался: раздавал свои реликвии налево и направо. Иногда за редкую книгу я предлагал ему деньги, он возмущался: «Да как вам не стыдно, я не могу вам продавать, я подарю!» Со стен свисали полоса черной паутины, пол мыла последний раз его покойная матушка, проходы были заставлены столбами книг, журналов, а спинка дивана, на котором он спал, украшена, как грудь какого-нибудь героя русско-турецкой войны, орденами, крестами и медалями. Сам же он бегал по городу в чистом костюме и всегда улыбался. Надо добавить, что он был весьма симпатичен: голубые глаза, хороший рост, прекрасный большой лоб. Спал он от трех до семи, днем и вечером достучаться к нему было нельзя: три массивных, императорских, как он шутил, двери отделяли его покои от входа. Закрывшись на все ключи, он переступал через стопы книг, поднимал какую-нибудь, нюхал («Ах, аромат девятнадцатого века, клеем нельзя надышаться»), брякался на диван и читал. К урокам он не готовился, просто напихивал порт-

фель иллюстрациями, кинжалами, орденами и шпарил перед детьми назубок. «Меня, как августейшую особу, встречают криком «ура»! О наши дети, цветы жизни...» Почему же во дворе прославился он как «умный дурак» и то же сочетание слов вертелось на уме у прочих, его узнавших? Наверное, потому, что он тысячу раз переспрашивал и как новинку рассказывал одно и то же; еще, наверное, потому, что все знал и понимал вроде как люди, но пылкая наивность и телячий восторг по пустякам лишали его и в зрелые годы степенности; и еще потому, думаю, что надсадно борющиеся за жизнь люди сердятся, когда к ним пристают с подвигами и биографиями покойников и вообще черт знает с чем детским. Его в трепет приводило все то побронзовевшее от времени, что другим казалось лишь мертвечиной или антикварной выручкой на черный день. Но Лисевицкий не был сумасшедшим ученым, графоманом-историком, голодным поэтом провинции. Он был никому не нужным устным кладезем истории своего города. Я мистически думаю, что в казачьем городе, где издавна воспоминания о прошлом сочли лишними, природа на место ленивых, трусливых, пустоглазых историков поставила вот эту неприкаянную, милую, но смешную копилку.

— Я полюбил историю,— говорил он в тот вечер,— когда ребенком хоронил свою бабушку, до войны. Тогда на старом кладбище еще цела была церковь, и ее там отпевали. Священник махал кадилом. Меня, мальчика, в восторг привели кресты, мраморные плиты, каменная казачья папаха на могиле, надписи: «Адвокат Канатов», «Генерал-лейтенант Рашпиль...» Что за люди, из какой жизни? Я поступил в наш институт и проводил там время с утра до вечера. Прослушаю лекции на филологическом, а после обеда иду слушать на исторический. Мне показалось мало, и я поступил на исторический в Ростовский университет. Если бы в юности понюхали, как пахнет на развороте старой книги клей, вы бы тоже кончили исторический.

Он говорил, топтался и вертелся по своей оси, снимал то и дело какую-нибудь книгу, нюхал и ставил назад. Старики улыбались, а я уже привык к его закоренелым странностям.

— Что нового в нашем маленьком Париже?

Его околдовало это прозвание, сравнение с городом мира, в котором он не бывал и не мечтал побывать, и он в этом надоедании тоже не знал меры.

Вечер ломался в угоду Лисевицкому. Вместе с журналами и книгами вытащил он из портфеля тяжелый кусок сала, куп-

ленный на ужин, но тут же бухнул его на стол: к трапезе с вами, милые мои старики!

— «Солнце России» за шестнадцатый год. Взгляните на фотографию военного министра Сухомлинова с супругой. Редчайший снимок.

— Рассказывали, даже писали, по-моему, как он под Ниццей в тринадцатом году зашел в деревушке в трактир. Хотя он путешествовал инкогнито, хозяйка от шофера узнала, кто он. Подала к столу, потом села за разбитое пианино и сыграла русский гимн. Сухомлинов прослушал с непокрытой головой, а зате-ем,— Толстопят интонацией выразил приятное удивление,— наш военный министр сел в свою очередь за клавиши и сыграл «Марсельезу».

— Потому и проиграли всё,— сказал я.— Обольщались своей силой.

— Но какая пара! Как он, старец, стоит с ней! И царь его простил. Супруга выдавала секреты армии, а царь простил. Ну что это? А вот! Имам Шамиль, его два сына, сняты в плену в Калуге. Красавцы! Сколько достоинства. Как одеты! А ведь в плену...

— Я как-то проезжал местечко, где бывал Шамиль,— сказал Толстопят.

— Вы счастливый, знали времена русской славы.— Лисевицкий не замечал насмешливых (впрочем, очень любезных) улыбок Толстопята, Юлии Игнатьевны и Калерии Никитичны.— И достал я «Всемирную новь» за два тома Дюма, это большое везение. Прошу взглянуть очами на табакерку восемьсот двенадцатого года. Лента к ордену святого Владимира. А вот и сам орден. Монеты Крымского ханства времен Султан-Гирея. Кубанские Гиреи — их потомки.

Калерия Никитична не утерпела подъесть Лисевицкого:

— Зачем они вам?

— Все это меня, драгоценная Калерия Никитична, интересует с чисто декоративной точки зрения. Я никогда не думал, полезно ли и важно то, что я делаю, но теперь уж мне, право, не к чему меняться, ха-ха...

— Хулу и клевету, Юрий Мефодьевич,— затянул ничего не понявший Попсуйшапка,— приемли равнодушно. Коротко и ясно Пушкин сказал. Дорогой наш Александр Сергеевич. Я люблю книги. Чтоб у меня не заломился ни один уголок! Так.

— Еще, пожалуйста,— Лисевицкий продолжал очищать портфель.— «Огонек». Похороны Дзержинского, Сталин идет за гробом. У кого вы теперь это найдете? А у меня есть.

— Позвольте, позвольте...— Юлия Игнатьевна подвинулась ближе.— В гимнастерке.— И больше ничего не сказала, села в сторонке и задумалась.

— Еще «Огонек» за двадцать восьмой год. Умерла мать Николая Второго, ее портрет, даже «Огонек» напечатал ее портрет, представляете? И фотография ее камер-казака Дионисa Костогрыза. Убил моего деда.

— Да ну? — Толстопят оторвался на шаг вперед.— Неужели Дионис? Похож.

— Мсье Пье-ер! Я счастлив преподнести вам редчайший сюрприз. Это сравнится только с находкой гробницы Тутанхамона или какого-то там Аменхотепа! Иду я по улице — сидит на ступеньках крыльца калека: костыли; губы и щеки размалеваны; черные очки-колеса на глазах. Она больная, не в своем уме. Гляжу, голая, без корочки тетрадка, яти, еры в словах. Почерк женский. Я цап! За пятерку. «Где ты взяла, красавица?» — «У тетечки квартирантка в музее служила, они там выбрасывали». Как стал читать — боже мой: наш город, тысяча девятьсот восьмой — двенадцатый годы. Конца нет. И вдруг фамилия: Толстопят!

— Да неужели?!

— Месье Пьер, честно. Че-естно! И вдруг про брата Пьерушку, про скандал с барышней, про его письма из Петербурга...

— Не может быть...— мертво сказал Толстопят.

— Я торжественно вручаю вам тетрадь вашей сестры Манечки... месье Пьер Авксентьевич Толстопят.

Толстопят нежно взял тетрадку, положил ее на ладонь и понес в угол к дивану, сел и замер в одиночестве.

— И еще я принес «Историю гражданской войны», богатейшие иллюстрации.— Лисевицкий развернул том, желая удивить стариков чем-то необыкновенным. Но все снимки были известные.— Пожалуйста: генерал Корнилов на московском совещании в семнадцатом году. Василий Афанасьевич, Корнилова убили, вы участвовали в защите города или шли на штурм с белыми?

Такая бесцеремонность, даже неделикатность покоробила Калерию Никитичну, и она вздохнула безнадежно, переглянулась с Юлией Игнатьевной. Однако Попсуйшапка того ровно и ждал: отвечать на любой вопрос.

— Корнилова остановили... угол Кузнечной и Бурсаковской. Труп его сожгли на Свинячьем хуторе. Среднего сына кузнеца Нимченко помните? У него была фотография Корнилова на телеге. Я живу как раз в том белом домике

Гначбау, куда попал снаряд и убил Корнилова. Сбоку Бурсакова скачка.

Лисевицкий онемел, потом пришел в себя, зачесался, проговорил:

— Как... как вы туда попали?

— Я ж из Васюринской переехал. Жить негде. На Сенном рынке встречаю Федосью Христюк. Так и так. Она и привела меня. Одни выезжали, а мы поселились. В ту же комнату, куда снаряд залетел.

Приходят люди?

Писатель Аркадий Первенцев, что «Кочубея» написал, завозил начальство. Вроде музей думали открыть в честь победы над добровольцами, но нас же надо выселять, а там пять семей. Заглохло, и слава богу. Кубань рядом, воздух хороший. Одно только: крысы. Желтые! А вы, Юрий Мефодьевич, до переворота в какой части города жили?

Все засмеялись.

— Я же после революции родился,— сказал Лисевицкий.— Мать жила на Посполитакинской.

— А-га. У Ильинской церкви? Там потом дом купил Копейкин Иван. Их четыре брата. Один на Дмитриевской купил.

Так его и слушали весь вечер с улыбкой. Спрашивали иногда только затем, чтобы он говорил подольше.

— Царь приезжал,— помните?

— Вот мне удивительно, почему он не остановился у наказного атамана. Почему он остановился в гостинице «Метрополь»? Он пока проехал от Гоголя до городской больницы, ему подано было три прошения. По Красной он ехал на маленькой машинке «фордик».

— Ну и как это было? — наседал Лисевицкий.— Приехал...

— Кто? А-а? Царь... Ну, приехал в Екатеринодар. Война ж. Охрана была маленькая. Выходит из парадного подъезда гостиницы «Метрополь». Ему подали машину. Они сели: великий князь, дядька его Николай Николаевич, и повернули на Красную.

— Царица с ними была?

— Нет. Николай Николаевич, великий князь, дядька его. Сухой мужчина высокого росту, бородка маленькая и усы.

— Все помните! — похвалила его Юлия Игнатьевна.

— Ну а как же?

Но даже Попсуйшапка уже ошибался. Время затуманило и его память. Я часто ловил на путанице и других старожилов.

— А вот и не все,— с потешной радостью ощерился Лисевицкий.— И не так, и не все!

— Великий князь Николай Николаевич приезжал не с царем, а один,— сказал Толстопят.— В шестнадцатом году.

— Разве? — опешил Попсуйшапка, никогда вроде бы не ошибавшийся.— Разве царь не в шестнадцатом?

— Царь приезжал в четырнадцатом году! — прокричал Лисевицкий.— В ноябре. Ни в какой гостинице он не останавливался, прошений ему не подавали, он был в Екатеринодаре всего несколько часов.

— У меня сломался каблук,— сказала Калерия Никитична.— Бежала, и он сломался.

— Вам бы надо было, Калерия Никитична, тут же за угол завернуть, на Борзиковскую, и пожалуйста — сапожник Заплюйсвичка, замеча-ательный! — Попсуйшапка советовал так, будто это было вчера, а не полвека назад.— Вы помните, как впереди ехал Бабыч с жирными эполетами и кричал: «Сзади меня едет государь император Николай Александрович»?

— То кричал полицмейстер Михайлопуло,— подошел и крикнул в самое ухо Попсуйшапке Лисевицкий, хотя тот слышал еще неплохо.

— Разве?

Лисевицкий знал больше шапочного мастера? Юлия Игнатьевна убивала все эти исторические пререкания светской улыбкой. Казалось, она-то знает все! Но не екатеринодарское (подумаешь!). Было что в жизни поинтересней. И она не желает снизойти до воспоминаний. Иногда она была иной, но редко. Зато она всегда оживлялась, если говорили о ее муже Петре Авксентьевиче.

— Водка почем была?

— Я уже помню, как монополия настанет, возле нас — сорок три копейки казенная бутылка.

— То-то офицеры барышень воровали на извозчике,— сказал я.— Водка была дешевая.

— Это была замечательная традиция,— сказал Лисевицкий,— воровать чуде-есных дам...

— Была...— подтвердил Толстопят.— Что было, то уплыло. Нет пути к невозвратному.

— Но какой это был позор,— сказала Калерия Никитична.

— Зато сколько огня, страсти, божественных чувств к героине своего сердца,—заговорил, как всегда в таких случаях, бездарными строчками пропавших романов Лисевицкий.

— Я помню-у...— Попсуйшапка, по всей видимости, готовился к длинной речи, покхекал, прочистил горло и обратился лицом к Калерии Никитичне.— У нас об этом в десятьсот восьмом году писали в «Кубанском крае». Так же украл офицер первого Екатеринодарского полка дочь покойного генерала. Она была наследница большого состояния, он сделал ей предложение, но получил отказ. Он еще раз сделал предложение и еще получил отказ. Тогда он что? Решил похитить эту барышню. В один прекрасный вечер она возвращалась от доктора Лейбовича по Рашпилевской улице.

Попсуйшапка взглянул на Калерию Никитичну, но не понял, почему она столь таинственно улыбается. Улыбались и Толстопят с Юлией Игнатьевной. Значит, история заинтересовала их, решил Попсуйшапка.

— Вдруг к тротуару подъезжают сани, на нее набрасывают плащ, посадили и повезли в гостиницу Губкиной. Офицер потребовал, чтобы она была его женой, написала под его диктовку матери письмо, мол, я сбежала добровольно с намерением, значит, обвенчаться. Она написала. Мать подослала людей, потребовали ехать к матери, но офицер посадил ее опять на извозчика, и началась погоня. Догнали аж на Дубинке. Жертву отобрали и увезли домой. Так он, офицер, что потом? Стрелял в пристава первой части Цитовича при попытке обуздать его, когда он шашкой пытался рубить крыльцо у дома генеральской дочки. Мне рассказывал Терешка, когда мы с ним сидели в ресторане Старокоммерческой гостиницы Папиянца в феврале восьмого года, как раз полетел снег.

— Не я ли это был, многогрешный? — сказал Толстопят. Тетрадка сестры Манечки лежала у него на коленях.

— Месье Толстопят! — Лисевицкий вскочил как ошпаренный.— Дамы нашего маленького Парижа падали к вам в объятья, а тех, кто отворачивал чудную головку, вы покрывали казачьей буркой и возили в гостиницу Губкиной и рисковали погонами за миг сладострастия! О господи, замотал он головой,— среди каких достопочтенных людей я сижу... Что за нравы, что за жизнь удалая... Счастлив прикоснуться к вашей руке.

Женщины, Калерия Никитична и Юлия Игнатьевна, смотрели на него как на милого неисправимого идиота.

— Только это немножко не так было,— поправился Толстопят.— По-моему, я шашкой порог не рубил. Или рубил? — Он взглянул на Шкуропатскую.— Кое-кто лучше

меня должен знать, но едва ли это теперь интересно.

— Очень! — затрепетал Лисевицкий. — Он все опишет, — ткнул он в меня, — это будет интереснейший роман о маленьком Париже, месье Пьер, и вы обязаны занять там свое место. Почти как у Наполеона: от похищения дамы на извозчике до похищения турецкого офицера под Трапезондом всего один шаг, ха-ха.

— М-да. Но все же вы, Василий Афанасьевич, кое-что прибавили.

— Возможно, Петр Авксентьевич, был другой, кто порог рубил. Ну, вы же помните, казаки были горячие, так что в другой раз могли и вы шашкой порубать.

— Мог бы, Василий Афанасьевич, мог бы. Батькиной дури во мне много было. Но Зелим-ханом[1] меня не посчитаешь, правда?

«Если для них это уже тьма, —думал я, — то что же там можем разглядеть мы?»

— Толстопят воровал благородно, — сказала Калерия Никитична. — С размахом.

— Неужели, Калерия Никитична, я когда-то кого-то украл? Это теперь как во сне. Надо нам спеть, знаете что? «Счастье мне-е и радость обещала...»

— «Ты ушла-а, — подхватил Лисевицкий, — жи-изнь ушла навеки за тобой!»

— Петр Авксентьевич, — с какой-то тайной нежностью, с той памятью о золотом времени, которое сверкало ей когда-то, сказала Юлия Игнатьевна, — был самый красивый офицер в конвое. Душка! И в Париже еще был красив. Но вспыльчивый — просто невозможно.

— Какой роман ваша жизнь! — вздохнул Лисевицкий. — Напишите воспоминания. Наш поэт еще больше вдохновится.

— Я лучше так расскажу. Приходите, друзья. Спасибо за тетрадку Манечки.

— Жизнь человеческая как свечка, — потусторонним голосом пропел Попсуйшапка, — ветер дунул, и свечка погасла. Торопитесь.

— Да-а! — вскрикнул и опять задергался Лисевицкий. — В нашем городе маленькая сенсация. Вам, наверное, известно, что там, где ломают старый дом, ничего не пропустит скромный червяк Лисевицкий. Кому нужны двери, рамы, подоконник? Обеспечу. Но кувшин из-под золотых монет мне не достался. То, наверное, был кувшин, назна-

[1] Зелим-хан — известный в начале века разбойник на Кавказе.

ченный родственниками Бурсака тому, кто выловил его тело в Кубани.

— Бросился с лошадью в прошлом веке,— уточнил Попсуйшапка.

— Так точно. Я позвонил в музей: а вдруг кувшин тот? Забрать в память о Бурсаках. Мне ответили: «Не было на Кубани Бурсаков, а были Барсуки». Никто ничего не помнит.

— И мы-то сами уже все перезабыли,— сказал Толстопят.— Дементий Павлович Бурсак живет в Париже снами. Ему кажется! А все забыто.

Мне стало жаль их всех какой-то высокой жалостью. Но они ни от кого сострадания не ждали.

Долго говорили еще у Шкуропатской в тот вечер. Мы с Лисевицким ушли раньше.

В городе зажглись огни на белых длинных столбах; в кафе и в столовых кверху ножками переворачивали на столы стулья и чистили швабрами полы, гремели ложками официанты, не чая поскорее убраться домой к любимым или постылым мужьям, к детям, в гости, на танцы; уже над темною привокзальной площадью дымом рассеивали лучи прожекторы, в ожидании поездов перемогались какие-то чужие не южные люди; кто-то скреплял дружбу в ресторанах, спаивал красавиц, кто-то кривлялся на сценах театров, участвуя в жизни, которой никогда не было, и так, в одни часы, чувствуя только свой час, жили новорожденные, молодые и старые современники, краснодарцы, наследники времени. О чем и о ком вы там вспоминали? — укором летят от них невидимые искры. Они свое прожили, торопитесь, живите и вы!..

Если бы я родился в этом городе, мне бы с детства больше перепало впечатлений, семейных бесед и т. п. О многом и многом уже не у кого спросить. Одни выехали в другие города, другие умерли. Между тем мне интересно все, даже то, например, как окончили свои дни староста извозчиков Евстафий Сухоребров или мадам Гезе, владелица кондитерской. Вообще как странно: я за столько лет не смог почувствовать в казачьей столице старинных связей людских, наверное, понаехала тьма иногородних, таких вот, как я. Что бы сказал нынче Лука Костогрыз?! Когда он родился, в Екатеринодаре было шесть тысяч триста сорок три человека, а нынче шестьсот тысяч!

— Ах, как я счастлив! — все повторял Лисевицкий. — Вы довольны вечером? Хоть одной рукой прикоснулись к истории? Я рад за вас,— сказал он, хотя я не успел выра-

зить удовольствия.— Вы войдете в бессмертие. Что вы? Стрела большой мысли пронзила вас?

— Думаю о стариках. Они разошлись по своим куткам. Думаю: и раньше они оставались одни. Раньше оставались со своей радостью, горем, мыслями о будущем, а теперь ушли и остались наедине со своей старостью. Вот, Юрий Мефодьевич.

— Так проходит слава земная? Хотите, я покажу вам екатеринодарские дворы? Поэзия.

— Но уже темно. Во дворах одни сараи и туалеты.

— Остатки фонтанов.

— Вы почему не женитесь?

— А куда же я тогда дену свои сокровища? Жена наведет порядок, половину книг сдаст букинистам. Что вы! Я доволен свободой.

— Нельзя жить одними покойниками.

— Но вы же сами напечатали статью «Кто замазал фрески?». И не боитесь. Они вам отомстят. И по имени-отчеству назвали бывшего екатеринодарского голову. Вас выдрали уже.

— Я написал и не отрекаюсь, но живу как все люди.

Мы расстались во втором часу ночи, уже наступило воскресенье, а в восемь утра я купил «Советскую Кубань», обернул ею тетрадку для записей и поехал на трамвае в Пашковскую к одноглазой казачке, уроженке станицы Копанской, которую выманивал натихую от ее осторожного зятя к соседке через дорогу. Святая простота, она мне все-все о себе рассказывала, и, когда я возвращался к вечеру назад пешком, ее голос и голоса других казаков звучали в моих ушах:

— Ездила на родину, в станицу Копанскую, в прошлом году. Было б не умываться месяца два, ото б облизали. Ото кума, ото ж племянница...

— Идите, идите, ничего не знаю... Правду скажешь — нехороший будешь.

— Был в Екатеринодаре шапочный мастер Попсуйшапка, их два брата. Моисея убили бандиты, а Василий, наверное, давно умер...

— Терешка-лихач вез красавицу Шкуропатскую на фаэтоне в гостиницу «Большая Московская», она раскрывала зонт. Я бежала следом, смотрела. Ее уже нет. Калерией звали. Она в Новороссийске в заговоре была замешана, ее и расстреляли. В двадцать втором году.

— Толстопят? Офицер первого Екатеринодарского полка, батько его тут рядом, возле Роккеля, сад имел. Толсто-

пят из-за барышни прыгал на лошади, как тот старый Бурсак, с кручи в Кубань. И ничего. А убили его на ферме Гначбау во время осады Екатеринодара. Красивый был казак.

— Ну как же, Толстопят, офицер Екатеринодарского полка! Приехал из Франции? А слухи давно ходили, что его убили под Афипской в восемнадцатом году. Приехал. Оно же тянет к родной хате. Толстопят... Какой это был красивый офицер...

— Шкуропатскую я видела последний раз после войны, поздоровались, но разговаривать не стали. Теперь она уже померла.

— Бурсак Дементий до войны работал нотариусом, а потом уехал в Нальчик. Его жена Шкуропатская простудилась, заболела, да так и не поправилась. Дети где-то здесь...

. . .

Даже своя жизнь постепенно за годы стирается в памяти; про других никто уж ничего толком не помнил. Путали даты, события, имена, семейные связи. Поживем, посмотрим — будем ли кого-нибудь помнить мы с вами?

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ

Тысячу раз повторяю: никто не знает, что нас ждет впереди. Когда в новогоднюю ночь Лисевицкий позвонил Толстопяту из ресторана «Кубань» и полчаса желал на 1962 год себе и старожилам того-то и того-то, он еще был один как перст и ничего не предчувствовал. И до самого лета носился он вечерами по старикам, чудил, восторгался, спрашивая одно и то же. Жизнь его все время катилась по одной тропе. Герою штурма рейхстага показывал он книжные новинки о последней войне; бывшего адъютанта главнокомандующего Северокавказской армией в гражданскую войну теребил вопросами: а правда, что...? а правда, что... Бывшего партийного работника, руководителя Краснодарского подполья при немцах, заводил в классы при восторженных ученических кликах «ура!» (причем сам кричал громче всех), потом вместе с учениками провожал домой и каждую неделю звонил: «Ну как вам наши дети? Не правда ли, они готовы пойти за вами на новые подвиги?»

Толстопята Лисевицкий позабыл месяца на три. 18 июля он пожарным стуком разбудил его в седьмом часу утра.

Толстопят покорно впустил его, оделся, поставил чайник на плитку.

— Вы, Юрий Мефодьевич, изменили расписание. Обычно приходили к одиннадцати ночи. Я как-то ходил к вам, звонил, звонил.

— Я же сплю голый, услыхал ваш звонок, пока оделся — вы ушли. Голый король. Купил на базаре последний генеральский мундир за пять рублей. Для меня ваше прибытие будет такой честью, что меньше чем в чине генерала принимать вас не смогу.

— Сколько в вас жизни, непосредственности,— сказал Толстопят, повеселев.— Ценю.

— Докладываю, месье Пьер. Душа полна. Вы первый, кто узнает великую тайну моей биографии. Ведь ни в одном архиве обо мне не сохранится ни листочка. Все декамеронские страсти свои унесу в селения праведных, ха-ха...

— У вас неприятности?

— Месье Пьер! У меня не может быть неприятностей, я человек неженатый.

— Так что же?

— Случилось то, что вы предсказывали своим гениальным чутьем. Я величайший любовник города. О лепестки любви! Я их сорвал и засушу.

— Так и должно быть,— догадался Толстопят.— И к вам маленькое солнышко заглянуло в окно.

— Не верится, месье Пьер, что это со мной. Не зря я крутил пластинку Вавича: «Время изменится, горе развеется. Сердце усталое счастье узнает вновь...»

— Вавич? Ах, Вавич. Я помню. Он пел у нас в Екатеринодаре в девятнадцатом году. А Морфесси вы слышали?

— «Мы сегодня расстались с тобою,— запел Лисевицкий,— без ненужных рыданий и слез...»

Толстопят большими пальцами оттягивал подтяжки и смотрел в пол. Обычно манера пения Лисевицкого развлекала его, он хохотал; на сей раз слушал, не разжимая губ.

— На душе весна, месье Пьер. Я горю чистым пламенем любви. Сейчас откроется магазин, я сбегаю на угол, дадите мне какую-нибудь сумку? «И лелея-ал свою я ме-ечту-у...»

В семь он выскочил и побежал по улице Пушкина, в магазине с такой жадностью набирал продуктов, сластей, бутылок с водой, вином, с таким сочувствием, когда торопился назад, запоминал утро, взирал на дома, таким ощущал себя счастливым оттого, что ему с детства попадались интересные люди, которые к нему привыкали и ему доверялись и от которых он узнавал столько чудес, и, конечно, счаст-

ливым оттого, что его провожала на заре за ворота богиня в халатике и тапочках. «Что за лето! — думал он горячо.— Какая у меня прекрасная жизнь! За что мне такое? Господи, не отними... И ее не отними... Нет никого счастливее маэстро Лисевицкого... Мне едва ли забыть, дорогая моя, эту чудную ночь, эту трель соловья! Стихи из альбома какой-нибудь пташки».

— После утомительных трудов дневного послушания пора укрепиться трапезою!

— Еще утро, Юрий Мефодьевич...

— Ах, в самом деле! Еще роса на ресницах любимой...

Толстопят, подпоясанный белым передником, расставлял тарелки, резал хлеб и хотел выпить. Он и вчера и позавчера был пьян, сидел перед телевизором и плакал.

— У вас такой хороший вид, месье Пьер,— сказал Лисевицкий.— Я вам буду читать стихи кубанских поэтов. Ах, хочется петь.

— Между прочим, я сегодня пел во сне арию из «Хованщины». Наша «Кубанская чашка чая» в Париже (была такая), кубанские и донские казаки, почему-то с ними князь Феликс Юсупов (что убил Распутина), Кшесинская (возлюбленная последнего нашего императора). Знаете?

— Ну как же!

— И я так пою, так пою Мусоргского! А все хлопают, плачут и кричат: «Домой, домой, в Россию! Хватит страдать. Господа, к пароходу!» И вы стучите.

— А я уж думал, что никогда не полюблю,— говорил Лисевицкий.— Как я жил, нет, месье Пьер, как я жил? Меня все считали за идиота. Но я же нормальный, вы видите... Я могу полюбить навеки.

— Вы ее покажете мне?

— С гордостью, месье Пьер. И мы вместе перед нею споем. Ах, как хорошо у вас! Я отдыхаю. Сижу у вас, и... люблю. Как вы считаете, она думает сейчас обо мне?

— Не знаю.

— Но от горя и слез, дорогая моя, я увез бы тебя в золотые края...

— Сочинили?

— Стихи из альбома какой-то пташки. Хотите, подарю вам Георгиевский крест? Я приведу ее, и вы наденете. Пусть она знает, с какими историческими личностями я общаюсь. Ваше здоровье!

Толстопят быстро захмелел: глазами, полными горя, он глядел на фотографию Юлии Игнатьевны на книжном шкафу. Лисевицкий глядел туда же и блаженствовал.

— Вы глубоко задумались, месье Пьер? Что-то вспомнилось историческое, окрашенное в голубой туман чудес?

— Да, немножко. В конвое, в день нашей иконы, после молебна, в помещении столовой ставился на серебряное блюдце графин и скромная закуска. Вахмистр наливал водку. Первую чарку поднимал командир сотни: «За здоровье вашего командира, за ваше здоровье, братцы!» И клал на блюдо деньги.

— Зачем?!

— Такой был обычай.

— Ну как бы это нам с вами завести свои нетленные обычаи.

— Они у нас есть. Вы всегда приходите в неурочный час.

Лисевицкий даже не помыслил, к чему Толстопят сказал это. По радио в концерте по заявкам объявили романс Чайковского. Кто-то заблудился в войну в снежных донских степях, потерял всякую надежду на спасение, его нашел без сознания сержант и три версты нес на себе в часть. Для него и звучал нынче Чайковский. Толстопят прослезился, когда услышал.

— Я шел от нее мимо железных ворот и ни о чем не пожалел. Представляете? У меня была история когда-то, и я ни о чем не жалел, вспомнив ее...

Он чувствовал только себя, видел сон, любил только свое. Он в самом деле ни о чем не жалел. Шел мимо ворот, из давнего-давнего времени выступали на мгновение лица, дни и ночи, но ничем не задели его душу. Кто теперь спал в этом большом доме с железными воротами, жив ли хоть кто-нибудь?

Было раннее утро, часа четыре или половина пятого? Уходил ли кто-нибудь в эти часы от любимой? Но казалось, что так, как уходил он, Лисевицкий, не уходил никто, разве что очаровательный казак Толстопят. Томные розы во дворе уже ярко выделялись завитыми головками. Вера — все та же Верочка Корсун, которая ему еще ничего не открыла в своей прошлой жизни,— поцеловала его в комнате у окна, последний раз прислонилась к нему, уже зависимая, породнившаяся в полночь, и, предупредив пальчиком, неслышно повела за собой через одну дверь, другую, потом по длинному двору с кустами роз. С правой стороны, за ветками, горело окно, но уже не так четко, как ночью. Соседи там ссорились до утра. Слева окошко пристройки было невысоко от земли, и Вера мигнула в их сторону, желая убедиться, что никто не видит, как она уводит мужчину.

За воротами утро показалось светлее, и Вера (в цветном

халатике, в тапочках на босу ногу) смущенно гадала, что в его глазах: любовь? осуждение? обещание? Лисевицкий в слепоте чувств мнил себя первым, кого она провожает на заре. Молча, пятясь, отходил он от нее. Теперь в Краснодаре есть уголок, который связал его не чужими историями и великими событиями, а его собственными возвышенными часами с женщиной. То говорил он в прогулках по городу: «Это дом Вишневецкого, на ковре сабли висели... это Бурсачки... а это Христофора Фотиади, грека, в восемнадцатом — девятнадцатом годах Деникин стоял... подворье извозчика Терешки, мою бабушку к венцу возил...» А с этого дня? «Там мы с ней сидели... с пристани Дицмана поплывем к дачам... Дай бог... дай бог...» Не будет конца его любви! На душе такая же нежность, как к старым книгам. «Ты моя радость... Из-за тебя я полюбил краснодарский рассвет...» О, сейчас он все расскажет Толстопяту, споет ему романсы и арии из оперетт и потом подарит ей лучшие книги — о, так хотелось задарить всех! Он многих любил, всегда готов был рвать свою душу, но нынче из-за Веры любил всех подряд. Но что это за Клуб речников? На фанерной афише название индийского фильма: «Цветы персика». Чуть подальше дом с высокими железными воротами. О боже, это же тот дом и те ворота! Вон и узкое окно с другого двора, куда он стучал пятнадцать лет назад. «Пятнадцать лет!» — тут же высчитал он. Это столько по всей земле смертей, войн, удивительных событий, столько любовных союзов, разлук, столько деток, родившихся и уже выросших! Столько он книг перечитал, всяких разговоров вел, путешествовал — без нее, девочки в темно-красном платье. Пятнадцать лет! Где она теперь? Жива ли? Он ничего, ничего не знал о ней. Он позабыл ее вовсе. Можно ли так забыть? Ее давно нет в этом городе. Возможно ли так забывать когда-то святую любовь? Сейчас ничто не шевельнулось в нем. Из какого-то далека повеяло смутно-знакомым теплым ветерком, и все. Ничего страшного, горького. Было — прошло. Она, видно, уже толстая суетливая мамаша, а он еще моложавый веселый господин. Ужас! — он ни о чем не жалел. Удивительно. он ни о чем не жалел. Как, возможно, и та вон старуха в высоком овальном окне. Чего она не спит в пять утра? Она, кажется, перепутала время и дожидается, сложив на подоконнике руки, когда стемнеет. Но уже утро, утро... «Она не знает, откуда я иду... — думал Лисевицкий. — Я счастливый!»

— Я жил, месье Пьер, в ином мире, — говорил он Толстопяту, совсем разомлев от живых сновидений. — Я только

и знал, что ходил к книжному магазину, как вы в Париже к церкви на рю Дарю,— нет ли кого там из знакомых? Да бегал в вечернюю школу, а днем по заводам и фабрикам, докладывать парторгам, чтобы они принуждали рабочих не пропускать занятия. И дворы!

— Не кричите мне в ухо, я прекрасно слышу.

— Виноват, школьная привычка. А где ваш чудесный приемник «Шнейдер»?

— Техник сказал: его только выбросить!

— Вы что! И вы выбросили?! Месье Пьер! Ай-ай-ай! Нельзя так жить. Все терять, терять, терять. Я бы у вас купил.

— Я терял больше,— сказал Толстопят, прихлебывая чай.— Когда мы в двадцатом году уплывали в Черное море, мы теряли все. А звезды оставались над Крымом. Не знали, что многим их с того места никогда больше не увидеть. Сказано в Библии: «Лучше надеть жернов мельничный...» Вещей не жалко.

— Но теперь вы дома!

— Этим я и дорожу.

— Хотите, я дам вам «Ниву» за девятьсот четвертый год?

— Не кричите так громко.

— Простите, все школа, школа научила. Вы всех видели, месье Пьер. Еще несколько слов со скрижалей вашего сердца, пожалуйста. С царицей в карты играли?

— Да-а, если бы у меня был заведен синодик, в который бы я записывал имена, он был бы очень велик.

— Ах, как у вас хорошо! Она подарила мне мелодию Штрауса. И возникла божественная музыка чарующей красоты. Я очищаюсь. Мой милый непередаваемый Петр Авксентьевич, не знающий всей грязи жизни.

— Это я-то?

— Хотите, я принесу вам чудесную императорскую раму — из окна бывшего ювелира Гана?

— Заче-ем?

— Извините, от избытка чувств. Вы скромнейший, деликатнейший человек, месье Пьер.

— Нисколько. Я очень вспыльчивый, бываю груб невыносимо, я неуживчивый.

Все-таки на Лисевицкого постоянно действовало то, что Толстопят жил сорок лет в Париже и что в четырнадцатом году он получил офицерского Георгия. Есть такие люди: чужая биография затмевает им все.

— Вам не одиноко? — спросил Толстопят.

— Что вы! У меня же столько книг! Скоро у меня день рождения, я уже всего накупил, буду у вас.

Толстопят молчал, в глазах стояла боль, руки, когда он брал рюмку, дрожали. Лисевицкий пел, доставал с полки книги, нюхал корочки, рассказывал о первой своей любви в студенческие годы. Так бы ничего и не заметил добрый Лисевицкий, если бы Толстопят не заплакал и не сказал, что две недели назад у него умерла жена, Юлия Игнатьевна, спутница его, страдалица.

ОДИНОЧЕСТВО

Я никогда не забуду, как Толстопят невыносимо страдал. В тот год жил я в Тамани; о смерти Юлии Игнатьевны Петр Авксентьевич сообщил мне через два месяца. Я приехал. Едва он увидел меня на пороге, заплакал и сказал:

— А я один. Моей Юлии Игнатьевны нет больше. Моего солнышка.

Она долго болела. Ее душила астма, но она курила. Порою она не могла лежать и ночь целую простаивала у стены, вытягивая голову. «Дюдик! — говорил Петр Авксентьевич, просыпаясь.— Чем тебе помочь, моя милая? Зачем твои страдания бог не передал мне?» Раз как-то, глядя на ее мучения, он сказал: «Ты как Иов». Она вскрикнула: «Что ты, что ты! Я в чистоте и в тишине, а Иов был на гноище». Она медленно умирала. За две недели до смерти она сложила ко дню рождения супруга большое стихотворение, в котором напомнила всю их жизнь, со дня первой встречи на парфорсной охоте. Оно начиналось так: «Тому назад уже полвека...» Когда я читал это незамысловатое стихотворение, то думал: дай бог, чтобы на старости лет сохранилась у меня с женой такая благодарность за совместную жизнь.

«Ты бы, Дюдик, взял Лисевицкого, сходили в хороший ресторан, поужинали».

Перед смертью она три дня ничего не ела и вдруг попросила варенья, присланного любимой племянницей из Киева.

— Надо бы исповедаться «за всю жизнь»...

Толстопят встал перед ней на колени, просил прощения за все, чем обижал ее; она вытирала его глаза платком. Взгляд ее уходил от него. Толстопят чуть слышно, вместо священника, затянул «Тебе поем...».

— На кого же я тебя оставляю? Бог не дал нам детей Петя... Но наша жизнь с тобой... наш крест осенен...

Она не могла говорить.

— Помолись,— подсказывал ей Толстопят.

Он перекрестилась широким крестом и притихла. Толстопят будто умирал вместе с ней. Ему думалось, что она совершает последнее таинство. Она глубоко вздохнула, и глаза ее остановились. Толстопят приложил свою руку к ее руке. В эту минуту родная его Юлия Игнатьевна покинула его навсегда. Он взглянул на часы: было 6 часов 15 минут утра... Он до полудня никого не звал, сидел перед покойной с раскрытой псалтырью на коленях...

Весь свой отпуск я пробыл в городе и по три-четыре раза в неделю проведывал Толстопята. Он сам приглашал меня: «Почаще бывайте. Мне с вами так спокойно. Я покажу вам письма Юлии Игнатьевны». Каждый раз я приносил вина или водки, потому что Петр Авксентьевич все равно пошел бы в магазин за бутылочкой. Его раздирали воспоминания, он говорил об одном и том же до самого расставания.

— Бурсак Дементий Павлович пишет мне из Парижа: «Будь на людях, ее не вернешь». Я знаю, что не верну. Потому и плачу. Будь на людях! Что я ему отвечу? У меня тут полно родни, у них своя жизнь. «Наш хранцуз осиротел». Тащут мне с огорода все, а мне ничего не надо. Я гордый! Даже двоюродный брат по материнской линии заходил. «Петя, мы тебе найдем невесту».— «Моя невеста,— говорю,— еще в люльке спит». Че-орт его знает! Он, когда мы приехали, высказался по пьянке: из-за меня они, мол, тут страдали. Я вам рассказывал? На самом деле их никто не трогал. Почему они должны были за меня отвечать? Мало ли у кого родственники за границей? А во время войны, когда немцы стояли в Пашковской, он говорил фашистским офицерам: «У меня брат во Франции белый офицер». Это он понима-ал.

— Значит, надевал черкеску и шел приветствовать к правлению?

— Юлечка умерла, и Калерия Никитична написала ему: Петр Авксентьевич очень горюет. Ни слова от него! Только через два месяца пришла открытка от него к Седьмому ноября: «Поздравляю с великим праздником...» О чувстве сожаления ни строчки...

Я глядел на постель с парижским одеялом, где спала Юлия Игнатьевна, на угол у стола, где она всегда сидела, вспоминал ее пуховые белые волосы, ее глубокие, видевшие на свете так много глаза, слышал ее голос, видел, как она перебирает пальчиками модистки мелкие предметы на столе

и смущается, когда Петр Авксентьевич гордится тем, что писатели Куприн и Бунин баловали ее комплиментами, и погружался в вечное недоумение: как же это? Там, где недавно была она, уже пустота. Варшава, Петербург, Париж, Краснодар — и нет для нее уже ничего! И Петр Авксентьевич опустился в один миг.

— Вы не представляете, Валя, какая это была женщина! Вы застали ее больной. Солнышко! Больше мы не увидим ее ангельской улыбки. Деликатная, ласковая, воспитанная. Ее все любили. Мне ни перед кем не стыдно, что я пла́чу каждый день. Я один! Я без нее пропадаю...

Я молчал; мне даже было стыдно немного своего благополучия.

— Не хочу жить... У меня приятели в Ростове, бывшие парижане, два брата. Их внуки меня просто обожают, поди-ка ты. Мне ничего не нужно — это, наверное, многим нравится. Так они все приехали — и в один голос: «Месье Пьер, вам тяжело, мы напишем в Париж ее сестре, позвольте...» Никто мне не поможет... Больше жить не хочу.

— А надо.

— Налейте мне,— протягивал он чарку. Я покорно наливал.— Удивить ее ничем было нельзя. Все видела, все имела. В Мариинском театре над царской ложей сидела. Плачу! Водой холодной глаза умою и выхожу на улицу. Соседи сочувствуют: «Приходите обедать, Петр Авксентьевич». Покойница вынянчила тут девочку, и эта девочка — она уже в школе учится — подойдет ко мне, руку мою гладит и молчит. «Зачем вы ездили лечиться, если вы курите?» — ей говорили. Она курила страшно, ей бы в старое время Асмолов подарок сделал за непрерывный стаж. Скривит губы: «Я не хо́чу остаться после Петра Авксентьевича».

Заходил посочувствовать Попсуйшапка.

— С трамвая встал на Новом рынке, мне надо было где Фотиади дом или дальше проехать. Горюете, Петр Авксентьевич? Вы еще счастливый, с одной женой жили, а я пятерых похоронил. Тут вот, где толкучка на Покровке, мне один сказал: «Хочу вас соединить. Она еще не старая, чистенькая, была когда-то модисткой». «Нет,— говорю,— ничего не будет. И не затрудняйтесь». Думаю про себя: какие теперь могут быть секреты с посторонней женщиной? Вижу: он ее в сторону отводит, на меня показывает и разговаривает. Нет!

— Наши невесты, Василий Афанасьевич, еще в люльке.

— Но жалею, Петр Авксентьевич, что последняя моя жена выбрала мне хозяйку, а я не послушался. Завещала

мне: «Ты не живи один, когда я помру, ни одного дня. Сейчас же женись. Я тебе выбрала невесту».— «Катя,— говорю,— где ж ты выбрала невесту, здесь или в Васюринской?» — «В Васюринской».— «Кого?» — «Ивановну. И не живи ни одного дня. Сейчас же езжай и женись. А там или она продаст свой дом да до тебя перейдет, а скорей всего ты до нее перейдешь. У нее готовый дом». А я не послушал и не выполнил ее последнюю волю. Вот так укусил бы себя за локоть, что продал свой дом.

— Да,это вам не повезло,— пять жен.

— Пять. Нужно было и найти и похоронить всех.

— Примем коньячку по стопочке?

— Если поддержать, то с удовольствием. Говорил Баграт в обжорке: после рюмочки шустовского коньяка всякий танец хорош.

— Знаете, я всю жизнь пил только коньяк. Со времен петербургских. Если меня угощали вином, водкой, я весь вечер пил воду. Нальем полнее обычного.

— Шустовский коньяк рекламировали в газетах стихами. «Разумно дни я коротаю и провожу весь век свой так, и винам всем предпочитаю я чудный шустовский коньяк». Я любил в обжорку к Баграту ходить. Сальничек стоил копейка штука. И хлеба дадут кусочек, и подливочки, покушаю как следует. Вы ж помните, сальник из бараньего гусачка, в баранью сеточку замотанный и прожаренный в своем жирку. Петрушечка там и зеленый лучок, и горький душистый перец. Пять копеек рюмка водки, восемь — десять копеек чайный стакан. Ну, тогда из чайного стакана никто не пил.

Все у них повторялось, но они безвольно слушали друг друга. Что требовать от старого ума?

— Последняя моя жена была замечательная хозяйка. Она приготовит и соус синенький с барашкой — все хорошо. И обращение было очень вежливое. Прожил и не крикнул.

— Хоть бы Бурсак приехал!— стонал Толстопят.— Я его так жду, так жду. Разговоров на несколько ночей.

— Бурсак? Какой? А-ах, племянник той Бурсачки. Ну ясно.

— Жду его, жду. Когда приезжают из Парижа наши казаки, прошу: «Зайдите к Бурсаку, расскажите ему, как я живу. Почему он редко пишет?» С покойницей часто говорили о нем. Сидим дома или гуляем по городу, обязательно вспомним: где он сейчас, Дементий Павлович? В кафе, в Доме инвалида? Она мечтала, когда он приедет, повести нас в ресторан «Центральный»...

— ...На месте гостиницы «Большая Московская». Что же, Петр Авксентьевич. Разве песней успокоиться: «Как бы можно, братцы, жить начать сначала». Дамский портной Рожков пел эту песню. А все равно, Петр Авксентьевич, надо стараться пожить в добром здравии и благополучии. Мне жить никогда не надоест. Я бы еще в Болгарию поехал, там кума моего брата, и в Анапе хотелось бы проведать дро галя, не виделись с тридцатого года. Пойду сейчас дочитаю газеты. Там сегодня пишут — в Америке устроили покушение на наше представительство. Сколько Россия терпела и терпит! Враги думают поднять на нее и Китай.

Попсуйшапка вставал, и Толстопят начинал думать, что он опять будет один. Но они никак не могли расстаться: почистив щеткой ботинки, Попсуйшапка разгибался и говорил: «Недавно сносил туфли, покупал у Сахава в девятьсот тринадцатом году...» И, уцепившись за этого Сахава, рассказывал о своей службе приказчиком, потом о всякого рода товарах, ярмарках, шабаях; в конце концов они снова садились, и теперь уже Попсуйшапка слушал Толстопята, слушал о Савве Турукало или Тимофее Рыло, казаках станицы Пашковской, которых хорошо знал в Париже.

— Я помню, ага,— сиял Попсуйшапка оттого, что все помнит,— любил пробовать силу.

— Здоровый бугай и дурной. Через него Лука Костогрыз передавал царю записку. А в Париже мы пели в одном ансамбле. До войны прислуживал у великого князя Андрея Владимировича. И как-то затащил к нему нас с Юлией Игнатьевной. Привозит. Сверху спускается великий князь, вежливый сухой старичок, настоящий аристократ, держится просто и величественно. «Ваше высочество, хочу познакомить вас, это мой товарищ, кубанский казак есаул Толстопят». Товарищ, а в конвое он был нижний чин, дрожал от моего слова. Ладно. «Очень приятно,— подает мне князь руку (как написали бы раньше, «милостиво» или «удостоил не даяния руки»),— какого полка?» Я сказал. «Это у вас Екатеринодаре мой двоюродный брат пригласил маринок в вагон и потом их едва не исключили из института? Станция Тихорецкая есть? Дорога на охоту в Псебай?» — «Была, было,— говорю,— была станция».— «Почему была?» «Потому что мы в Париже, ваше величество».— «Ах, да, была великая Россия». Мы в тот день поехали еще петь в Аньер. У меня был го-олос! Запою, бывало, мне говорят: «Послушайте, Толстопят, как вам не стыдно! Что же вы здесь сидите? В Белград поезжайте, в Софию. У вас такой голос!»

И это он говорил Попсуйшапке, Лисевицкому, мне и потом еще повторял при других: «У меня был голос!»

— Их и там звали «высочество»?

— Все оставалось как в России. Князь Феликс Юсупов, убивший Гришку Распутина, одно время работал таксистом, но к нему всегда обращались так: князь! Трудно отвыкать. Позвали нас петь в один дом. Говорят: «Сегодня у нас будет генерал-губернатор Самары». Ну и ладно, нам все равно — споем, покушаем. Не помню, была ли на столе скатерть, хватало ли стульев. Входит генерал-губернатор с адъютантом. «Ваше превосходительство! — к нему.— Просим, очень рады». В Париже-то! Сели. Пили чаек. Так и уехали голодные. Не дали кусочка и за «Боже царя...» — Он помолчал.— И придут времена, и исполнятся сроки. Грустно это.

— Да, грустно, Петр Авксентьевич. Проморгали Россию, так чего уж рядиться в костюмы. Или думали вернуть свое?

— Ду-умали. Думали, идиоты. Савва Турукало подслушивал их разговоры и мне рассказывал... Так этот Савва Турукало появляется в прошлом году в Краснодаре, стучит ко мне. Боже, какая радость! Словно с того света, из Парижа. Савва! Вечер. Мы сидим с покойницей у телевизора. А она тоже любила, когда кто-нибудь приезжает оттуда. Са-авва! Здоровый бугай! Это тот Савва, который приходится братом старухи из Пашковской, может, знаете, Василий Афанасьевич, она живет возле сквера, рядом с домом Мороза, у них великий князь Николай Николаевич во дворе был в шестнадцатом году. Я теперь так понимаю: тачанку разобранную он спрятал на крыше.

— Какую тачанку?

— Казаки ж думали вернуться. И разобрали тачанку, смазали, уложили под крышу. А когда после войны рабочие ремонтировали, нашли. «Не трожьте, хлопцы,— старуха им,— оно кушать не просит... не вами положено».

— Ну ясно,— сказал Попсуйшапка.— Могло быть. Они ж, пашковцы некоторые, и немца ждали и встречали с хлебом-солью. Они меня чуть не расстреляли в девятнадцатом году.

— И появляется. Хорошо одет, бравый, оре-от! А Юлечка — она же добрая у меня была, ласковая, нету такой! — приготовила нам все, сама дышит плохо, понаставила на стол, волнуется. У него почему-то котелок, и там приготовлена баранина с картошкой, он едет, оказывается, от родни из Пашковской, завтра рано ему сестру встречать из Новороссийска. Я обо всех расспросил. Уже ночь. Укладываем его спать. Он та-ак храпел, я его проклял. Утром дарит

мне галстук. Едем на вокзал. Выходит из вагона его сестра, дряхлая, маленькая. И он тут же меня забыл, свинья! «Я к тебе приеду,— говорю,— еще потолкуем».— «Да знаешь,— мнется,— я дня четыре побуду еще — и в Париж». Вот люди! Нижний чин. Трепетал передо мной в Царском Селе, но прошло-то пятьдесят лет. Он подумал, что я его стесню. Да у меня в станице полно знакомых, родня! Болван. Людей ничто не переменит,— какие родились, такие и умирают. А Юлечка, солнышко мое, умница, она заметила, что дареный галстук старый, но не сказала мне. Они там стали меркантильными, как французы, научились, да не тому. Я взрывался в Париже. Один привез сюда мемуары жалкий лепет какой-то, ходил я с ними в альманах «Кубань». Оставил, наказал мне проследить и только об одном говорил: «Пусть они мне деньги пришлют!» Скуповаты казачки. Он умирать будет, на сундук ляжет, а не отдаст «Знаешь,— говорит мне Савва,— дураки мы были, шли за царскими генералами, за дворянами. Они добро свое защищали, а мы шли за ними». Ты шел! А я сам за себя отвечал. Поэтому ты в Париже живешь, идешь за подачками в разные антисоветские организации, а я на родине. Мне не все равно, где жить... Я там ссорился с одним казаком «Горжусь,— говорит,— что я француз». Я на него с кулаками. Я сорок лет рвался на родину.

Попсуйшапка хмыкал удивленно, странный мир эмиграции, мир русских людей, которых он знал вроде назубок до великой смуты, поражал его, он ведь тоже, как все, позабыл о них, и вот Толстопят вытаскивал всех на сцену. «Дивные дела твои, господи! — повторял Попсуйшапка.— Сколько чудес, горя, странностей, превращений». Сам Толстопят был чудом. Чудо то, что он, такой недоступный раньше офицер, разговаривает с ним с родственной откровенностью.

Чужим несчастьем всегда пользуются.

Признаться, невольно пользовался желанием Толстопята излиться и я. Ему было все равно, кто и как применит его слова, рассказы, эпопеи, кому передаст. После смерти Юлии Игнатьевны он стал еще говорливее, а вещи в его глазах потеряли всякую цену. Уже многое исчезло из его квартиры за два месяца. Платья, шляпы, пальто, халаты, шелк и французские отрезы разобрали соседки; швейную зингеровскую машину увезла в Пашковскую свояченица; несколько номеров «Современных записок» с рассказами Бунина, Шмелева, Ремизова, романами Алданова, Набокова, Берберовой, статьями политических деятелей, историков засунул в свой портфель Лисевицкий и трепетал над ними как над

реликвией, ни строчки не читая; плетеное кресло Толстопят насильно вручил старику Скибе. Мне он позволил разобрать бумаги Юлии Игнатьевны: письма, альбомы со стихами и надписями, всякие листочки, вырезки из журналов и газет за целые полвека. Лежала там и надорванная страничка из «Нивы» — окончание стихотворения все того же великого князя, августейшего соблазнителя чувств екатеринодарских барышень:

...И вновь зовет к себе отчизна дорогая,
Отчизна бедная, несчастная, святая,
Готов забыть я все; страданье, горе, слезы
И страсти жадныя, любовь и дружбу, грезы
И самого себя. Себя ли? Да, себя.
О Русь, страдалица Святая, за Тебя.

— Валя! — умолял меня. — Приходите ко мне чаще. Я полюбил вас. Мне тяжело. А чтобы вы не утомлялись от моих разговоров, я буду петь вам гусарскую песню «Где друзья минувших лет?». Вы скоро уедете?

Мы ездили с ним к Панскому куту, к Карасунскому озеру в Пашковской, спускались к реке Кубани (в том месте, где она поворачивала к бывшей ферме Гначбау), оттуда шли мимо Троицкой церкви, тогда еще служившей, и на Красной заглядывали в букинистический магазин к Марку Степановичу (я полчаса ждал, когда они наговорятся), а в теплые сухие вечера приставали к шествию горожан от улицы Гоголя до сада и обратно (это были последние годы ежевечернего общения людей в уличной тесноте на дорожках сада). Улица Красная долго была южным Невским проспектом. Она и длинная такая же. Иногда мы с Толстопятом сходили с ее камней чуть ли не последними. Уж кое-кто спал; на дверях магазина в бывшем зеленом богарсуковском доме висел замок. В поперечных темных улицах дома казались совершенно екатеринодарскими; и только колокола на красном соборе уже не били ни полночь, ни утреню. Толстопят теперь пел в церковном хоре, зарабатывал денежки; я раза два провожал его к собору, сам заходил туда, и, когда с высоты раздавалось песнопение, я выделял сильный голос Петра Авксентьевича. С его слов я знал всех хористов, их характер и возраст, хотя ни разу никого из них не видел:

— В Париже ко всем казакам обращались попросту, а ко мне: «Господин Толстопят!» За голос. Дмитрий Смирнов, знаменитый тенор, артист императорского театра (его в Париже ставили выше Собинова), прослушал меня и сказал: «Не надо вам учиться. Поете? Ну и слава богу. И будете

петь, пока будет голос. Где же вы в Париже достанете средств учиться? Пойте». Я пел ему на слова Дениса Давыдова: «Я помню глубоко, глубоко мой взор как луч проникал и рощи, и бор...»

Однажды Лисевицкий привел к нему Верочку Корсун. Готовил Лисевицкий встречу с трепетом, больше всего желая, чтобы Толстопят очаровал Верочку своей удалой биографией и знаменитостями, которых он «имел счастье лицезреть».

Потом он раз десять переспрашивал Верочку о впечатлении от знаменательного вечера: «Ты почувстовала прилив счастья с есаулом Толстопятом? Георгиевский кавалер. Сколько тончайших вин перепил он, сколько полосатых тигриц перецеловал! И ты, скромная милая дама, пролила женский бальзам на его раны жизни... Ха-ха...»

Верочке старый Толстопят в самом деле понравился; раз два в неделю она приходила к нему без Лисевицкого. Толстопят ожил, привык к ней, и когда она какую-нибудь неделю пропускала, он с веселой горестью говорил ей: «А я думал, что вы меня уже бросили навсегда». И ей, молоденькой, была приятна тоска старика. Есть, оказывается, старики, возраста которых не чувствуешь. Ей хотелось поухаживать за ним, постирать занавески, скатерти и рубашки, сварить ему вкусного борща. И она ни с кем так много не болтала, как с ним. А уж он ей тоже порассказывал! С дней его детства и до самого отъезда из Парижа пропутешествовала Верочка и, когда касалась речь женщин, вроде бы даже завидовала, что не она жила в те годы.

Он ее всему поучал нечаянно, между прочим, в лад ее вопросам. Спросит она, как жили раньше — честнее ли, чем нынче, он откинется назад к спинке, улыбнется, потом вдруг положит свою сухую руку на ладошку Верочки и скажет:

— Стыда больше было. Жил в Пашковской казак, уже старый. Пошел в Введенскую церковь к обедне. А ему другой казак громко: «Шо це у тебя на плече? Вошка!» Снял вошку с черкески и ему к носу. Э-э, тот повернулся и драть до хаты! Через некоторое время собрался и уехал аж в Тамань. Навсегда. Мы, когда ставил Бабыч там памятник запорожцам, зашли к нему. Он узнал нас и сразу пóтом покрылся. И на праздник не пошел. Судите, какие люди были.

И Толстопят ласково-ласково глядел на Верочку.

Верочка частенько, прощаясь, говорила:

— Я завтра в обеденный перерыв прибегу, супчик сварю вам...

— Не много ли чести мне?

— Пе-етр Авксентьевич... Мы все вас так любим...

— Вы как моя сестра Манечка. Та всех жалела. Ах, наши русские женщины. Нет их милосерднее. Хорошо, что я вернулся на батьковщину. Юлечки моей только нет.

— ...Вы изменяли Юлии Игнатьевне?

Толстопят сделал вид, что не расслышал.

— Меня тут сватают за вдову с шубами и коврами, я злю-усь: как они не поймут, что я после Юлечки никого не найду? Неужели им не ясно? Мне никто не нужен. Солнышко мое!

К закату дня их стали видеть на Красной, в Ворошиловском сквере на лавочке — его, гвардейски стройного, в берете, без морщинок на лице, и тонконогую Верочку,— и кое-кто стал сплетничать, а Лисевицкий, попадаясь им на пути, вздымал руки и кричал: «Замрите вот так! Я вызову фотографа Буллу: одна эпоха передает эстафету другой!»

— Здесь вот я обидел последний раз Юлию Игнатьевну, перед самой ее смертью,— сказал Толстопят, когда они поравнялись у сквера с Доской почета, за которой росли деревья и белел каменный прямоугольник с железной дверью...— Там Алексадро-Невский собор был. Она мне говорит, покойница: «Постой, Дюдик. Вот тут ты на коленях во время панихиды снят, в восемнадцатом году осенью или в девятнадцатом. Где та фотография?» — «В журнале «Часовой», но я ведь все журналы оставил в Париже».— «И не вырезал?!» — «Зачем ты, Юлечка, напоминаешь об этом? Я приехал жить, а не вспоминать. Что я буду возвращаться к старым конюшням?!» Накричал на нее, и она так обиделась, что слегла. Солнышко мое. Я грубиян. Зачем я ее обидел, старый дурношап? Не могу простить себе. Я сказал правду, а иногда лучше промолчать. Не могу. Привык.

— Вас любят за правдивость, месье Пьер...

— Однако видите, как получается...

— Вам лучше бы не ходить здесь, забудьте.

— Вы думаете? К одному месту у реки Кубани я не могу подходить. Это за Бурсаковскими скачками, поближе к Елизаветинской. Только с той, черкесской стороны. Восемнадцатый год, март, нам надо взять Екатеринодар. Небольшая перестрелка была, мы еще не переправились. Гляжу: на другом берегу солдат прилег к воде, напиться. Я прицелился, бах, он головой в воду. Зачем убил? Когда

переправились, я подошел, рубаху раздернул: крестик на груди. Вот, друзья мои. И я стараюсь не ходить к тому месту.

Верочка глядела на него и думала, чем бы отвлечь Петра Авксентьевича от воспоминаний. Но он сам оборвал себя.

— А вон там я впервые ел мороженое. Это было пятнадцатого мая. Мне восемь лет. Пятнадцатого мая — это знаете, что за день? День коронации Александра Третьего. Осенью этого года он скончался в Ливадии. Я учился уже в Екатеринодаре и вдруг на Красной увидел батька и матушку. Семьдесят лет прошло, а я, когда иду там, вспоминаю об этом с нежностью к ним. Вечером я опять ел мороженое в городском саду, а батько закусывал с чиновником хозяйственного правления станицы Старощербиновской. На другой день батько купил мне книги в магазине Галаджиянца и уехал в Пашковскую. Живите, Верочка,— и обнял ее за плечо.— Любите, страдайте. Ну что, поглядим на закат?

Они несколько минут без прищура смотрели на большое смуглое солнце, клонившееся за Кубань прямо над последними домами улицы Ворошилова.

— Вот что я вспоминал в Париже,— сказал Толстопят. В августе солнце всегда садилось в восемь часов на краешек нашей Гимназической улицы. Время по волоску отнимает нашу жизнь... Ничего не жалко, ни отцовского угла, ни устоев, а жалко Времени: оно как падучая звезда! «...И лишь земля пребывает вовеки...» Но я бы, дети мои, вместо «земли» говорил «небеса». Только сейчас, повидав страны и моря, я чувствую, что живу не просто в городе, на такой-то улице, а живу истинно, истинно под небесами... Пойдемте, друзья мои, я вам покажу, где жила у Попсуйшапки в двенадцатом году Юлия Игнатьевна, а оттуда заглянем к нашим молодоженам — Шкуропатской и Скибе.

ЭТО ЖИЗНЬ

Бывший участник гражданской войны, ежегодно стоявший в часы праздничных демонстраций на трибуне вместе с такими же ветеранами, двоюродный брат тех самых Скиб, которых в 1908 году без суда расстрелял темной ночью на улице помощник полицмейстера, жил с некоторых пор у Калерии Никитичны Шкуропатской.

Нет человеку счастья в одиночестве, и он ищет союза с другим.

Аким Скиба теперь еще чаще, чем в молодости, думал:

«Кто же меня берег? Как это я уцелел на долгом пути?» Не взяла его пуля в войну с турками, не расстреляли его белые, миновала его смерть в голодовку, спасся в последнюю войну от полицаев. Стольких друзей похоронил он, потерял без вести, столько сверстников свернулось от болезней. А он еще бодр и в музее железнодорожного клуба развешивает фотографии бойцов и читает лекции. Кто же его берег?!

Добрые русские люди. Или это судьба?

В тепле, в чистоте лежал он на кровати и пел то красноармейские, то современные маршевые песни. Калерия Никитична постепенно привыкала к нему, разделяла его симпатии, а главное, ценила его доброту, честность, патриотизм. Все хорошее в самом человеке.

— Кого-то же и я берег,— говорил он.

Когда вспыхнула война с Польшей, его призвали в армию и повезли через Россию. В Воронежской губернии подсели к ним в товарный вагон две молодайки; с наступлением ночи их стали насиловать солдаты. Насиловали их и днем. Скиба лежал на нарах, не вытерпел и изо всей силы турнул двери ногою. Они открылись настежь, и солдатня предстала в скотской наготе.

— Кто отворил двери?!

— Я!

— Бей его! Выкинуть с вагона!

— Ах вы, соборня несчастная! Кого будешь бить?

Они, к удивлению, притихли. И решили они выбросить молодаек на полном ходу. Скиба опять закричал не своим голосом: «Не трожь!» Где-то близ Пензы эшелон остановили, приказали всем выйти и построиться. Вскорости мимо прошли несколько вооруженных красноармейцев и двое гражданских; они вели под руки молодайку с забинтованной головой. Она внимательно вглядывалась в солдат. Из рядов вывели троих и тут же у водокачки расстреляли. Эшелон тронулся. «Ну что? — спросил Аким.— Выкинете меня из вагона?» Все промолчали, никто больше до самой Казани не поддевал его. А ведь его могли выкинуть вместе с молодайкой. Что спасло?

И как он не погиб потом, на Севере?

В Казани им выдали обмундирование, и они все сразу стали одинаковыми. Кубанцы распознавали друг друга по казацкому чекменю, по поясу и шапке, а то и по стоптанному сапогу. Потом в сопровождении вооруженной охраны повезли их к Вологде, с Вологды в Котлас. Там у него опухли ноги. До Великого Устюга шли пешком шесть-

десят верст. Скибу положили в больницу, где над ним подтрунивали: «А-а, раз с Кубани, значит, бывший белогвардеец».— «Вы здорово не белите,— отвечал он,— не знаете кубанцев, так помалкивайте. Мы всякие». И решил он удрать за своей частью. Пошел от деревни к деревне, напоминавшим Кубань только колодезными журавлями, ночевал в избах с тараканами; роса в полях не сходила круглый день, и солнце нисколечко не грело. Кое-где звездочку на его фуражке считали антихристовой печатью, и напрасно было просить хлеба. Почему он не умер, не замерз? Опять, кто-то хранил его. Весной чувствовал себя плохо: какая-то вялость, безразличие, сонливость. За хлеб он пилил жителям дрова. И тараканы! Кругом тараканы, даже в свекле. «Они, бывает, как невзлюбят новую сноху, то загрызут»,— поделился один мужик. Заря ночью была такая ясная, что, стоя на посту в двенадцать часов ночи, читал газету. Первый пароход встречали всем городом, и думалось, что на этом пароходе везут в каждый двор по родственнику. Пахали только сохой. Ему не верили, что на Кубани в железный плуг впрягают по четыре лошади. Зубы стали шататься, по ногам пошли синие пятна: если нажать слегка пальцем на пятно, мясо проваливается до кости. «Тебе только и жить на юге»,— сказал доктор. И отослали Скибу домой.

В тот 1921 год была на юге небывалая засуха. Но все же Кубань! На Кубани даже нищие и те отличались от северных. В Великом Устюге пройди десяток дворов, и вынесут где-нибудь кусочек граммов в двадцать. На юге нищие бродили с гармошкой, с маленькими девочками, певшими звонкими голосочками: «Когда ж тебя, детка, поранят, пишися ты в мой лазарет». У нищего справа сума для хлеба, слева для сала, на спине — для муки.

В станице Марьянской у хаты сидел старый отец.

— Сети не продали? — первым делом спросил Аким.

На другое утро он принес домой полтора пуда рыбы.

«Богатая жизнь» — под таким заголовком мечтал он написать о себе. Но все было некогда. Я подговаривал Калерию Никитичну и сам подбивал его взяться за мемуары, подарил ему амбарную книгу. Вечерами, пока Калерия Никитична что-нибудь подшивала или готовила ужин, мы с ним рассуждали на разные темы. Он рассказал, как набился к Калерии Никитичне в мужья.

Старики в таких случаях долго мнутся, выверяют, советуются со всеми подряд; им кажется, будто последний в их жизни брак воспримется людьми, как сделка и будто нарушают они этим верность всему прежнему, что было до-

рого и единственно, и письма в шкатулках, подарки, фотокарточки тех, кто сопутствовал им когда-то, немо укоряют их в измене. А что делать? Как жить одному? Кто добудет лекарства, поднесет воды? Это жизнь.

Давно ушло то время, когда Шкуропатская бегала с подружками на вокзал к великому князю, она этого и не помнила и много лет совсем иначе глядела на все. Но как когда-то ее матушка в Хуторке привечала всякого, кто нуждался в тепле, пище и добром слове, она открывала теперь свои двери одиноким. Лет за восемь до Скибы приняла она из жалости старичка. «Я вдовец,— сказал он ей в магазине,— не подскажете, есть на вашей улице старушка без семьи?» Он напросился к ней попить чайку. Пил, грелся и читал ей пушкинского «Мазепу». Ему, видать, понравилась ее терпеливость, и он пришел еще. В гражданскую он был в коннице Буденного, пережил всех родных, теперь никого. У Калерии Никитичны стояли две девочки-квартирантки. Он им приносил конфет, подговаривал: «Скажите Калерии Никитичне, чтобы она оставила меня у себя. Я ведь командир полка Красной Армии, а она одна. Скажите, что вам без меня скучно». Капля камень долбит. Калерия Никитична пожалела его. Через три года он умер. «Золотце»,— называл он ее.

С Акимом Скибой она повстречалась в Горячем Ключе в профсоюзном пансионате. Однажды к ним на вечер пришел ветеран гражданской войны. Он не только живо вспоминал былые походы, но и читал стихи собственного сочинения, патриотические, длинные. Калерия Никитична поднялась на сцену и преподнесла ему цветы. Он приобнял ее и поцеловал в щеку. Потом они станцевали три раза, гуляли гурьбой под баян культурника по лесным дорожкам и несколько раз одни. Он пел, читал стихи. «Очень добрый и ласковый,— написала она подруге в Ленинград,— и еще интересный: нос горбинкой, прическа под ежика. Сыновья погибли на фронте, жена умерла. Просит соединить жизнь». «Будет сенсация на весь город,— ответила подруга,— на семидесятом году выйти замуж!»

В решающий день Калерия Никитична достала из шифоньера, из кучи белья, фотографию молодого Дементия Бурсака, которую она чудом не уничтожила до войны и, видимо, где-то прятала — быть может, закапывала на огороде,— от сырости по краям стекали желтые мутные пятна. Глядел в сторону молодой-молодой господин, бережно зачесанный на пробор, в хорошем дорогом костюме, в белоснежной рубашке и с белоснежной широколистой бабоч-

кой. Глядел он чуть вкось, и нос его казался еще острее.

— Видите, какой у меня был муж?

— Ну что ж...— сказал Скиба, ничуть не смутившись.— Я вам не помешаю помнить о нем. Он был справедливый присяжный поверенный. Я помню, вы с ним на дачу Бурсачки приезжали. Умер?

— Он в Париже. Он меня бросил, но я ему все простила. Ему было так лучше — уехать, пускай. Пускай будет ему лучше. Я вытерпела. Когда немцы в сорок третьем году издавали у нас в Краснодаре газету, появилось однажды объявление: «Бывший присяжный поверенный 1-го окружного суда Д. П. Бурсак запрашивает из Франции, нет ли в городе кого, кто его помнит». Я не отозвалась...

— Ну что ж...— опять не смутился Скиба.— Вас можно понять. А он почему уехал?

— Он знаете какой человек? Из той интеллигенции честной, порядочной, но которая в любое время чем-нибудь да недовольна. Он всегда прав, всегда «выше этого». При царе был недоволен, царя не стало — опять. Так и уехал.

— Что ж...— сказал Аким.— Значит, так ему суждено. А я женился поздно. В двадцать третьем году иду ночью по станице, ору песни: «Дремлют плакучие ивы». Соседи ругались: «Ну чертов бурлак! И когда он женится?» Сижу на гулянке и думаю: куда ж делись мои друзья? Все переженились, а для новой молодежи я уже дядько. Меня никто не любит, и я никого, а где ж моя пара?

— Трудно представить, что вас не любили.

— Любила когда-то казачка Федосья, она спасала меня от жандармов. Думала, что я погиб, и вышла замуж. Но свою судьбу конем не объедешь. Шли с братом по степи. За хутором переходит нам дорогу девушка, но, видно, вспомнила, что с пустыми ведрами нельзя, и остановилась. Боже, как хороша! — гляжу. Что лицо, что фигура, ну чистая божия матерь. Я даже забыл поздороваться. Стали знаться. Она всякие песни манерные пела. «Ты богу молишься?» — спрашиваю раз. «Молюсь».— «А зачем же такие песни поешь?» — «Это я нарочно. Я совсем не такая». Я поцеловал ее и чувствую, что она мне без души отвечает. Но я забрал ее. Она ревновала меня к книгам. «Чертовы евангелисты, повлипают в те книжки, как клещ в корову, да понадуваются, что аж ничего не видят и не чуют. У нас казак начитался так, что полез на потолок бахчу садить».

Зато готовила быстро и вкусно. Умерла в войну.

Простота и душевность Скибы сломили все сомнения Шкуропатской.

Зажили хорошо, друг другу ни в чем не мешая. Шкуропатская писала десятки открыток во все концы, следила за новинками литературы, Скиба оформлял уголок гражданской войны в железнодорожном клубе, выступал по школам. Они неугомонные были, эти ветераны. Скиба завел тетрадку «Лечение своими средствами», снабжал собственными рецептами журнал «Здоровье» и не сердился, когда ему не отвечали. Заметив неправильности в краевой карте Кубани, он строчил в Институт геодезии и картографии; в другом письме советовал тополя у дорог заменить липами; еще как-то возражал меднадзору, потакавшему обработке артезианской воды хлоркой; от телевидения требовал передач о чести и совести; по случаю избиения малолетками орденоносца дал затрещину судьям: суд скорый, правый, милостивый и равный для всех — тогда только искореним преступность. Некоторые письма он не отсылал. Иногда, разгоряченный голосами международных обозревателей, чувствуя святую необходимость поддержать Отечество «словом народа», Скиба до ночи готовил отповедь Пентагону и самому американскому президенту, причем, как всегда бывало с людьми его поколения, он писал и сам слышал громкое эхо своих слов по всему миру: «Знаете ли вы,— сливался его голос с голосами живых и упокоенных ветеранов,— знаете ли вы, горе-политики, что за ваши плутни вас уже сейчас ненавидит простой народ всего мира, ибо везде действует закон простого человека, не записанный ни на каких скрижалях, но это закон, который разрушил Вавилон, разметал древний Рим и растерзал Византию, а в недалеком прошлом и царскую Россию? Так зачем вы, господа, лезете к нам с ножом к горлу? Зачем окружаете нас военными базами,— что мы вам сделали плохого? Обвесили, или обсчитали, или, может, на картах обжульничали?»

Утром его что-то удерживало, он стыдился того, что лезет не в свои дела. Совсем другое, когда надо перед своими защитить память о героях.

С Толстопятом он в охотку обсуждал международные события. О прошлом, о том далеком буйном прошлом старались не вспоминать, разве что рассказывали всякие детские истории. И все же однажды они неловко столкнулись. Толстопят пожалел своих товарищей, доживающих в Монморанси в доме для престарелых. «Ну дак что ж,— погрозил голосом Скиба,— они сами того добивались. Удрали. Наверно, у них в девятнадцатом году руки от крови не просыхали». И тут Толстопят в своем казачьем упрямстве вздумал их защищать: «Да знаете, Аким Михайлович, разные ведь и

среди них люди были. Иной увидит у красноармейца крестик на груди и пожалеет. А погоны к плечам гвоздями никогда не прибивали». Скиба вспыхнул: «Не прибивали! А в станице Ханской красноармейца решили повесить, не нашли, так повесили его мать. Не ваши ли то были казаки?» — «Не мои, не мои, Аким Михайлович. Мои казаки никого не вешали».— «Вы это так говорите, Петр Авксентьевич, будто в том ваша заслуга».— «Тогда в армии, Аким Михайлович, было заслугой убивать, но ведь прошло сорок с лишним лет, и я недаром вернулся».— «За давностью лет простилось...» — уже мягче сказал Скиба и налил Толстопяту чаю. Женщины помогли им успокоиться, отвлекли на заботы нынешних дней,— живите, мол, уже тем, что устоялось.

Все чужая жизнь, и я каждый день слушаю, расспрашиваю, и вот чувствую, что устаю, теряю свои дни, очарование молодости, и мне хочется переменить свои интересы. Но я сижу, я уже прирос к людям, они меня зовут, им скучно, им что-то нужно, они цепляются за жизнь всеми коготками, и это я, я их толкаю назад, в молодость, в детство, в невидимые годы.

— Ушли, ушли наши годы,— вздыхал Аким.— Молодежь живет в достатке, не знает, сколько мы мук и горя приняли. Я им всегда говорю: «Милые дети, разыщите фамилии героев, поклонитесь им своей памятью».

Мне хотелось поклониться им, но они не оставили письменных следов. Они не умели писать, и в их многочисленных мемуарах, затолканных в шкафы по архивам, одни общие слова и перемалывание того, что мы знаем по учебникам средней школы. Нет там жизни! Надо было родиться в их семье, жить с ними и подслушивать случайные разговоры, в которых они раскрывались, особенно в те минуты, когда их что-то заденет.

Раз пили мы по обыкновению чай за столом, а по телевидению крутили пьесу Чехова «Три сестры».

Аким Михайлович вдруг прервался и, точно на стук в дверь, повернул голову к экрану.

— Вы говорите: прекрасна жизнь,— певуче, по-мхатовски говорила актриса.— Да, но если она только кажется такой! У нас, трех сестер, жизнь не была еще прекрасной, она заглушала нас, как сорная трава...

— Ах, бедняжечки! — с долей ехидного сочувствия сказал Аким Михайлович.— Сколько раз смотрю, и все им плохо, плохо. Да вы встаньте с того света вместе с Чеховым и порасспрашивайте своих деток и внуков, как они

работали, что перенесли, голод и холод пережили и никогда не плакали принародно.

— Вы как будто одними словами с моей покойницей Юлией Игнатьевной рассуждаете,— сказал Толстопят.— Она не любила Чехова. «Нытик»,— говорила. Где он видел таких женщин?

— А были, были,— вмешалась Калерия Никитична.— У меня в Екатеринодаре была подружка, она сейчас в Ленинграде. Так ее мама... Пойдет в магазин к Мерцалову, наберет продуктов в долг, ее запишут в тетрадочку, она принесет домой, руки опустит: «Ах, в чем смысл? Живешь — не знаешь зачем...»

— Ну она же не рожала по тринадцать детей! — прикрикнул Аким Михайлович.— Как наши матери. Да во дворе две-три коровы, да овцы, свиньи, утки, гуси, куры, да в поле семь десятин у казаков земли, а ее обработай, собери да привези, и она, бедная баба, круглый год не знает покоя, рта раскрыть некогда: «В чем смысл?» Плачут: работать, работать. В Екатеринодаре даже Бурсачка занималась благотворительностью. Жены офицеров-казаков коров доили. Кто этим сестрам мешал работать?

Калерия Никитична не соглашалась:

— И все же и они разные были...

— О том и речь,— согласился Толстопят.— Некоторые заняты были исключительно фасонами шляп и покроями платьев. Зависть к чужим наслаждениям, выездам. Котильоны, мазурки, места в министерских ложах. Даже в Париже гордились: «Мне на золотых блюдах подавали фазанов» Их же предупреждали: «Prenez garde aux conséquences» (берегись последствий). Не верили. Так же и эти сестры чеховские: что они могли предвидеть?

Как всегда, разговор потянулся в сторону, первое раздражение забыли, у каждого находилось свое слово, уводившее еще далее; так было и на сей раз. Толстопят уже повествовал о самостийниках, мечтавших за рубежом о Казакии. Калерия Никитична зачитала две страницы из романа Радченко «На заре». Аким Михайлович поспорил, сказал, из какой автор станицы, назвал другую станицу, из которой в период раскулачивания выселили всех поголовно, и опять, в какой раз за свою жизнь, воскликнул: «Как я выжил? Кто меня берег? И голодовку пережил».

— В тридцать первом году сдавали мы табак. На ночь приехали в Елизаветинскую, остановились на краю. И я порыскал, порыскал по дворам, ночлег искал. А станица как вымерла. Ни огонька, ни звука. Постучал в одни ворота —

не слышно. Я захожу во двор. Двери дома забиты навкось доскою, а рядом так... большой подкотный сарай. Я отворил ворота, обоз впустил. Сарай был настолько вместительный, что мы закатили в него все свои тринадцать подвод. В колодце ребята достали воды, но она ту-ухлая. Понюхали, дали лошади: она фыркнула и отвернулась. Тогда мы что? Поставили ведра под желоба, с них с крыши сбегала теплая вода, талого снега. Пока вода набегала в ведра, лошадям дали сена, потом мочили в ящиках полову и посыпали ее смесью — там кукурузы немножко, ячменя.

Ночь. Я залез под брезент и приготовился «возить дрогалей» до самого утра. Вдруг слышу, как наш извозчик кричит во все горло: «Стой, растак твою! Сюда, ребята! Бей его!» И тут же чей-то голос: «Стой, стой, не бей, с нами судья. Мы его сперва осудим». Когда я подбежал, вижу: малый Иван держит левой рукой под уздцы лошадь, а правой за шиворот человека. Тот сидит в грязи.

«Понимаешь,— говорит Иван,— смотрю, лошадь пошла от арбы. Когда гляжу лучше, а у ней шесть ног. Понимаешь, сволочь, он повод перерезал. Тащите его в сарай, а ты, Прошка, выйди за ворота, нет ли кого».

И я начал суд.

«Встать, суд идет! Ты что? Оглох?»

«Нет мочи».

«А красть коней мочь была?»

«И чего мы с ним воловодимся? — возчики кричат.— Жмякнем его раза три оземь — и в колодезь».

«Ты с этого двора?» — спрашиваю.

«Нет, я с другой станицы, тут я случайно».

«Зачем лошадь брал?»

«На́ мясо».

«А почему ж не взял две?»

«А вам же надо ехать на чем-то дальше».

Я уже и не знал, о чем спрашивать. Голод! Кругом голод.

«Посветите, я посмотрю на него».

«Нечего тут смотреть,— говорит,— пожалеешь. Лучше кончать в потемках».

Но ребята мои засветили аж три спички.

Ох и вор! — тощий, улыбка жалкая, молит о пощаде. Я сразу и примолк надолго.

«Прежде чем судить человека,— меня брат старший учил,— поставь себя на его место». И я поставил себя на его место, испугался и сказал: «Ребята, дайте ему хлеба».

Ох, его аж подбросило! Стал на колени и говорит: «До-

рогие мои, братцы милые!» Хватал нас за руки, пробовал целовать их, но возчики руки отдернули и ушли. Тогда он, никогда не забуду, припал головою к переднему колесу и так зарыдал, так зарыда-ал. А возчики воротились, дают ему хлеб, сало, курятину. Он все пихал в рот и ел. Остальное мы вложили ему в шапку, подняли его и вывели из сарая.

Кто-то сказал вслед: «Обожрется и погибнет».

Мы постояли в темноте, помолчали. Утром меня дразнили: «Додумался, скажи пожалуйста, вору салом губы помазать. Ты б ему еще штаны свои отдал. Говорят, шо Соломон был мудрый. Ну, он не додумался бы помазать вору салом губы».

«Оно,— говорю,— как бы и нам не пришлось отведать конинки. Хоть бы петухи закукарекали, никого нету кругом».

«Их еще в тридцатом году поели».

Мы завели в хату лошадей, я лег на холодную печь и заснул как убитый. Проснулся — в хате тепло. Нас всю ночь грели лошади. И думаю: чи живые мои три младшие сестры? Они вышли замуж и переехали из Марьянской. А вор тот и сейчас мне встречается. Он в темноте меня не видел тогда, а я ему не говорю. И вам не хочется говорить. Он не виноват.

— Ну кто, скажите,— попросил я.

— Вы его знаете...

— Кто?

— Ну зачем вам? Ведь это такое время было, не дай бог никому. У одного три мешка сала на чердаке было, а семья недоедала. Берег на самый страшный день. Так что...

— И все же...

— Потом скажу.

А «вором», как выяснилось после смерти Скибы, был Попсуйшапка Василий Афанасьевич. Сам же он до того стыдился этого случая, что никогда не вспоминал о нем. Только повторял часто:

— Мне везло на добрых людей... Столько раз я попадал в переплеты, и, если б не душевные люди, меня б давно на свете не было. В тридцать первом году, когда голод был, так я никогда не забуду... в Елизаветинской.. Но боже упаси задеть человека за живое — он тебе ничего не прощает.

— Отчего так?

— А если жизнь его под угрозой, то тем более. Это ж надо так! — за катушку ниток (а она стоила в двадцатом году две тысячи) можно человека сгубить. Ну, ладно, идет

бойня, а ты ж все равно будь на человека похож. Жену мою избили за что? Вы помните? — забывался он. — Ах, вас же тогда не было. Соседка была с белыми, ну и бежала бы с ними, а она — белые ушли — сделалась красноармейкой. «Мы были белые, а теперь красные». Да ты и не белая, и не красная, а подлая! Насылала по дворам, чтобы брать с людей взятки (у кого муж дезертир), и это хорошо, что у некоторых были документы липовой льготы. А то б крышка. Грозили: «Не видать вам ваших товарищей, их уже побили»,— а теперь? А теперь кто в красных был, они доносят — был в белых. Разинет рот и кричит: «Ты, Попсуйшапка, дезертир! Ты грабитель был в Красной Армии». И не она одна такая.

Беседовали вдвоем, Скиба и Попсуйшапка, я слушал в сторонке.

— Это жизнь...

— На человека трудно надеяться, когда он за шкуру свою боится. Ну, я ни на кого не донес. И кто прятался на чердаке, когда белые отступали (чтоб не мобилизовали его), и кто из Новороссийска вернулся, не сел на пароход, а когда бывших офицеров позвали в Зимний театр на регистрацию, он притаился. И я его пожалел,— ну что уж теперь? Хватит, постреляли друг друга. У него ж дети. Куда ему было деваться, офицеру? Такая дисциплина у них. А их ведь как вывели с Зимнего театра на вокзал, так и с концом. Дети сироты. И так же у красных сирот сколько. Правильно?

Скиба молчал.

— Остались по сараям рубахи, кальсоны, английские вязаные вещи, тулупы да бешметы — убегали деникинцы налегке. «Они сберегают кадетские вещи!» Кто сберегает? Да я их выкину! А причина в том, что я ее мальчику когда-то фуражку не сшил. Как собака бросается. И не пойду я на нее жаловаться. Пускай.

— Всякие люди есть.

— Я у красных, а в нашу квартиру поставили раненого офицера. А жена куда денется? Она ж баба. Она с-под него судно выносила, стирала белье, ну он и оставил ей, как сказал, з а т р у д сапоги шевровые и два чемодана вещей, что ордена забыл (там пять орденов, мечи золотые, медали серебряные), так она не видела. И кругом перед соседками виновата, а это ж соседки и кричали: «Недолго повластвуют большевики, скоро наши с победой придут! Мы тогда покажем». Можно ли на людей надеяться?

— Это жизнь,— замечал Скиба.

Я сидел, слушал их, жалел и думал между тем, что ни в

каком романе невозможно описать их жизнь. Сплетения жизни — такие, какие они есть, всегда были и будут,— перенести на бумагу нельзя. На бумаге все торчит... оглоблей... Но что делать? — я буду несчастлив, если не намекну краснодарцам о том, что здесь давно миновало... И может быть, кто-то когда-то...[1]

РАЗГОВОР ДО УТРА

Летом 1964 года приезжал из Парижа Дементий Павлович Бурсак. С его первых часов в Краснодаре началось наше повествование. Вернуться на родину через сорок лет — событие, да еще какое, но кому оно могло быть заметно теперь? Смерть ни с кем не считается, а еще ведь были и войны и голод.

Сам Бурсак всего шесть месяцев назад прощался в парижском госпитале со своей жизнью.

Мы никогда не знаем, доживем ли до старости, а если доживем, то не предскажем, в какой день она кончится. Кругом всегда, каждый день, умирали люди, и Бурсак с юных лет понимал, что стихнет и его сердце когда-то. Но угроза была бесконечно далека, и оттого, может, казалось, будто чаша смерти минует его вообще. И вот за чередой больших и малых житейских утрат подкрался срок утраты неизмеримой,— пробил его час вечной разлуки. Нынче умирал он. Бурсак умирал по ночам, страдал, лежал в гробу и с ужасом опускался в свежую яму, оставляя наверху, как будто под небесами, счастливую кучку друзей, знакомых и посторонних. Им суждено о нем помнить. Он умирал и позаботился о том, чтобы послали на родину другу Толстопяту траурное извещение хотя бы к сороковому дню, к поминкам. Отделу объявлений газеты «Русская мысль» он сам заплатил положенную сумму, так что и десять лет спустя кто-нибудь из соотечественников сможет прочитать о давнишней его кончине и даже зажжет за упокой его души свечку и помолится. А на родине? Прошлым летом, вместо того чтобы пристроиться к туристам в путешествие по России, слетал он в Америку проведать старую свою даму, с которой он жил до войны три года. В госпитале нелепые сны видел он: все купцы и лавочники Екатеринодара несли ему свои товары — Сахав, Демержиев, Шоршоров, братья Тарасовы, пекарь Кёр-оглы; Попсуйшапка сшил ему

[1] Не окончено.— *В. Л.*

шляпу рафаэлевского фасона; в магазине Запорожца он купил «Историю Кубанского казачьего войска» Щербины; извозчик Терешка вез его в церковь венчаться с Калерией. Лаяли в ночном городе собаки, тарахтели возы по Базарной улице; днем в ограде реального училища орал осел. В скейтинг-ринге пела Варя Панина. В «Чашке чая» бегала с подносом долговязая Федосья, та грубоватая бедовая казачка, что мыла им с Калерией яблоки на тетушкиной даче за Бурсаковскими скачками. Неужели они на том же месте? Он просыпался и, еще спеленатый сновидением, лицами далекого екатеринодарского прошлого, про себя вскрикивал: «Но уже скольких нет! Все умерли! Теперь мой час...» Слова Толстопята в письмах из Краснодара припоминались ему и жгли укором: «...всегда рад встрече с тобой на этой земле, а под землей встречи нету...» Что ж, и над ним сбываются слова поэта Адамовича: «...две медных монеты на веки, скрещенные руки на грудь...»

Но он выжил. Видно, парное молоко, которое подносили ему к постели с раннего детства, укрепляло его сосуды и сердце на долгий срок. Он зажил как прежде и в Ницце даже посватался к шестидесятилетней дочери бывшего русского посла, но, прежде чем сходиться, решил совершить путешествие на родину. Господи, до чего ты милостив: летним июньским утром поезд Москва — Новороссийск медленно тянулся по кубанской степи! Это вам не Европа. Слава богу, хоть в России можно еще часами глядеть на пустынные нескончаемые поля и хорошо выспаться до крупной станции. Однажды терпеливо ждали встречного, и, когда тронулись, над дверями каменного служебного домика открылись за листвой и пропали слова: «Разъезд Бурсак». Как нарочно! Так он еще существует, этот маленький разъезд, названный по табунным угодьям предков?! Сердце глухо забилось. Наверное, один он теперь знает про бурсаковские табуны. Но точно никому не известно, о чем думал старый Бурсак, эмигрант: о прежних картинах во время приближения к дому? о сорока годах в Париже? о последнем дне в 1924 году? Разница с прежним возвращением в Екатеринодар была в том, что году в двенадцатом он, проснувшись в вагоне после Ростова, перебирал в уме родных, соседей, товарищей в окружном суде, подумал об всем, что составляло тогда обывательскую жизнь в городе, где он родился и вырос. Теперь он думал о людях ему незнакомых, о *каких-то* русских людях, которых стало в пять раз больше. Кто там еще, кроме Толстопята и Калерии Шкуропатской?

Но я забыл в самом начале сказать, что после исторического музея Бурсак все-таки не вытерпел и набрался духу подойти к своему флигелю, где жил он когда-то с молодой Калерией. Он попал не в комнаты, а в подвал, и случилось это вот как. Во дворе женщина мыла кастрюли, он поздоровался с ней. Женщина мыла кастрюли, разогнулась и с любопытством ждала, о чем ее спросит явно нездешний господин. Бурсак попытал ее, не живет ли кто во дворе из стариков.

— Там в подвал приходит старушка, ей девяносто лет, а мы здесь недавно...

В каменном подвале с тремя дверями по ступенькам сидела у печки маленькая старушка. Из окна, наполовину срезанного землей, рассеянно и скудно лился свет. Она сморгнула короткими, словно обожженными ресницами забывчивость и молчала. Бурсак заговорил о хозяевах этого дома. Полчаса она ему объясняла, потом достала фотографию на картонке, ладошкой стерла пыль. На фоне богатого казацкого дома была заснята свадьба. Спереди сидели, полулежали; двое наливали из бутылки в стакан, позировали; старик с белой бородой держал между ног четверть; мужчины в офицерской форме, в фуражках, папахах, атаман посредине, ниже молодых: много женщин, дети сбоку, несколько мальчиков в бедных одеждах, и рядом с ними девушка (нынешняя старуха). Бурсак узнал в молодых отца и мать!

— Дементий Павлович? — угадала его старуха.— Меня не помните? Я на Бурсаковском хуторе за коровами ходила...

Бурсак, к стыду своему, никак не мог вспомнить ее молодой.

Свадебную фотографию она отдала ему после беседы, сказала, что все равно она пропадет после ее смерти. В подвале она спасалась в войну и ходит сюда летом в жаркие дни.

Толстопят караулил его на углу.

— Я заблудился! — сказал Бурсак другу за чаем.

— Я уже учил тебя, как спрашивать. «Где здесь живет француз, у которого недавно жена умерла?» Все знают.

— Мда... Можно ли было представить в каком-нибудь девятьсот восьмом году, что на старости я так буду плутать к твоему двору? Обязательно напишу стихи.

— Дома и стены помогают,— что ж.

— Шел и думал: одни стены и помнят меня! Семь дубов

Кухаренчихи еще не спилили? Я узнал все дома, всех хозяев, представь себе, вспомнил.

Дома, домишки, флигеля, особнячки с вазами на фронтоне, с крылечками, с узорными вензелями над окнами, подворья, арочные ворота извозчиков, чугунные ступеньки завода Гусника в один миг вернули его душе город детства. Дома сами называли себя фамилиями бывших хозяев: Калери, Вишневецкий, Камянский, Вареник, Канатов, Кравчина, Малышевский, Кияшко, Борзик, Рашпиль, Скакун, Свидин, Шапринский, Савицкий, Гулыга, Черачев, Скворинков, Дицман, Поночёвный, Барыш-Тыщенко, Меерович, Соляник-Красса, Холявко, Ждан-Пушкин, Келебердинский, Лихацкий, Гаденко... Жили-были...

— По-моему, ни одной такой фамилии сейчас в городе не существует,— сказал Толстопят.— И дальних родственников нету.

— Ну. Что ж ты хочешь! Мир раскололся, и трещина прошла через мое сердце. Гейне говорил. Обязательно напишу стихи. И первая строчка будет такая: «Нам суждено ли край родной увидеть снова?» Одобряешь?

— Че-орт тебя знает! — поднимал Толстопят плечи от недоумения. Он всегда посмеивался над парижским занятием друга.— Какие в наши годы стихи?

Бурсак немножко напускал на себя чужой мудрости:

— Счастье это или проклятие, что мы еще живы?

— Я не философствую,— сказал Толстопят.— Я живу. Мы с тобой уже едем не на ярмарку, а с ярмарки. Подыши родным воздухом. Медленно походи.

— Жестокость в том, что от всего можно отвыкнуть.

— И снова привыкнуть! — Толстопят повысил голос.— Я живу, будто не уезжал.

— Серьезно? Может, оттого, что ты приехал раньше? Ты чувствовал потерю? А я, что я нынче чувствовал? Первые минуты: жизнь прошла! Потом: неужели никого нет?

Бурсак вопрошающе взглядывал на седого величественного друга, молчанием вытягивал из него какой-нибудь утешительный ответ; тот бодро, с улыбкой глядел на него словно повторял ему мудрые, ставшие как бы собственными слова: так, милый мой Дема, проходит слава земная. Может, все-таки надо было Бурсаку тогда же, в 1957 году, в день всеобщего покаяния и поста, объявленный русской зарубежной церковью взамен ДНЯ РУССКОЙ СКОРБИ, да, в «день покаянного плача», поехать домой с четой Толстопятов и восемь лет гулять не в Монсури, а по Крас

ной? Может, простила бы его Калерия, приняла и доживали бы они вместе остаток лет?

— Сильно страдала Юлия?

— Она бы прожила еще, но курила. Ее хорошо лечили, а все равно. Без нее я стал стареть. Ты не представляешь, как я тебя ждал! Меня тут не оставляли, русские везде русские, но если бы ты знал! А и то сказать: пожили — хватит. Пора умирать. Стыдно: мы с тобой всех пережили.

— А супруга моя?

— Она ждет, что мы придем. Я читал ей твои письма. Она рада будет. Помнишь Скибу? Помнишь, братьев Скиба расстрелял помощник полицмейстера в девятьсот восьмом? На Ростовской улице, суд был?

— Ну как же!

— А их двоюродный брат, они иногородние, замешан был в какой-то революционной деятельности, и к тебе приходила некая Федосья...

— Может быть, может быть...

— Между прочим, тоже пишет стихи. Что такое? Калерия пишет к годовым праздникам и памятным датам. Один я без дарований. Будешь знакомиться заново и обживать град сей.

— Успею ли за три недели?

— За три недели еще раз проживешь свои молодые годы. Я так рад, что мы вместе в нашем богоспасаемом Екатеринодаре.

— Да,— грустно поддержал Бурсак.— В нашем маленьком Париже. Не верится. Кто нас поймет?

Бурсаку хотелось грусти, меланхолии, но Толстопят, столько месяцев ждавший его на пир и не раз в воображении раскрывший на этом пиру свою душу, никак теперь не мог приспособиться к другу: хотелось разговаривать так же просто, как с соседом. Слезы и сожаления будут потом. Если будут.

— Поищи, может, кто из родни вашей остался?

— Они все выехали в двадцатом году. А твоя родня?

— Двоюродных много. Дочь моего любимого дяди живет в Кишиневе. Гостила у нас с мужем. Еще при покойнице. Мужу было очень интересно со мной, упрашивал жену пожить еще. Ни в какую! Я накричал, поссорились. Когда Юлечка умерла, Калерия Никитична написала ей: приезжайте, Петр Авксентьевич горюет. Она приехала. И мы не ужились. Курит, пьет.

Толстопят опустил руку вниз с таким отчаянием, что

никакими словами не сказал бы он больше, чем этим жестом.

— Племянников пруд пруди. Но они мной не интересуются. Один вопрос: «А что, дядя Петя, во Франции шмоток полно?» А я-то думал, что меня спросят о другом.

Бурсак в эту минуту с любовью смотрел на друга.

— Был брат Митя, хорунжий, георгиевский кавалер. Он погиб в девятнадцатом году. А дочь жива, в Таганроге. Сказала сыну, когда узнала, что Петр Толстопят вернулся на Кубань: «А зачем он приехал? Чего не видел? Тут давно ничего нет». Одну родственницу обидел, пять лет не ходит. Раньше ж в станице любимым делом было — поискать гнид в волосах. Я как-то вспомнил, а ей передали. «Я не хотел тебя обидеть,— говорю,— прости меня. Я просто вспомнил нашу жизнь до революции». Обиделась!

— А супруга моя?

— Добрее ее нет,— сказал Толстопят.— Хочет поглядеть на тебя. Юлечка ее очень любила. И говорила тоже: «Добрее женщины нет». Солнышко мое трудно было чем-нибудь удивить. Все видела. Но Калерию Никитичну обожала. Сестру Юлечки часто видишь?

— Ни разу. Она в Ницце.

Толстопят вдруг заплакал.

— Не могу, Дема, ходить на кладбище. Мой характер не сахар, ты знаешь, я часто бываю несправедлив, но как я плачу за ней! Я простил ей все романы, которые были до меня,— что романы! летела на ветер сама жизнь...

— Я бы на твоем месте женился. Заболеешь, кто будет за тобой ухаживать?

— А за тобой? — резко спросил Толстопят.— Мы тут часто о тебе разговаривали с покойницей. Как он там? Заболеет — кому он нужен? Кто позвонит, лекарства принесет? За все заплати. «Давай ему, Петя, напишем. Давай напишем. Если сразу не дадут квартиру, мы его к себе возьмем». Она же была ангел, мое солнышко. Вы мне все советуете жениться. Невест полно. У одной пенсионерки трехкомнатная квартира, ковры, сервиз, дети далеко. Другая музицирует, мещаночка. Но на что они мне? Разве могут они мне заменить Юлечку, умницу мою. Я буду вспоминать ее и злиться на новую жену, хоть она и не виновата ни в чем. Белое прошлое я выдирал из себя годами, а прошлое с Юлией унесу в могилу. Ты заметил, из всех моих друзей она тебя выделяла и любила? Она только не понимала твоего поэтического увлечения. Ну, ты уж прости покойнице, ведь ей читал в кафе стихи сам Бунин! Я только не по-

нял, почему вы — она говорила — познакомились не то в Анапе, не то в Геленджике?!

— Она, наверное, что-то напутала...— скрыл Бурсак от друга свое увлечение Юлией Игнатьевной (мадам В.) в 1908 году, как скрывал он и прежде. То была молодость, все скоро прошло и потом затянулось паутиной прочих связей и влюбленностью в Калерию. Бурсак, когда бывал в гостях у Толстопятов в Париже, смущался даже целоваться с Юлией Игнатьевной при встрече и расставании. Мало ли что случалось на рассвете жизни. Он с годами все больше убеждался, что чувственная Юлия Игнатьевна подходила известному среди казаков певцу Толстопяту гораздо больше. С Бурсаком она бы соскучилась.

— Мне с ней было хорошо везде...— сказал Толстопят.— И здесь у нас быстро образовалось вокруг нее общество. Дамы-музыкантши, профессорши с кафедры иностранных языков, медики. И молодые люди: один выспрашивал нас о «старовыне», хочет написать, он, гляди-ка, зайдет. И чудаки, вроде Лисевицкого. Ты помнишь, был такой знаменитый на Кубани болтун, казак из Пашковской, конвоец, Лука Костогрыз? Этот Лисевицкий его двоюродный внук... Добрейший! Он за мной как нянька ходит... Нельзя пропасть на родине, Дементий Павлович. Однако как я тебя ждал! Попрошу ребят, пусть достают машину, повозим тебя по краю.

— В Каневскую. Интересно, где бумаги моего деда Петра?

— Да в архиве, наверно.

— Когда-то я мечтал сгрести все бумаги и отдать комунибудь, чтобы написали историю нашего рода.

— Когда-то! — опять сурово сказал Толстопят.— Когда-то батько мой в форме есаула торговал фруктами из сада. Когда-то мои удальцы из первого Екатеринодарского полка у дам с шляпок цветочки срубали шашками. Не будем...

— Слушаюсь, господин Толстопят.

— В Тамани, когда открывали памятник запорожцам, слепой звонарь говорил мне: «Доктор медицины, профессор латыни, та уси будемо там, уси будемо там...» Так вот, мы еще не там. Съездим, съездим в Тамань! Ах, мой золотой друг, как хорошо, что ты приехал. Че-орт его знает... Le vin est tirè, il faut le boire[1]. «Радость мне-е,— запел он,— и счастье обещала, ты ушла, и жизнь ушла навеки за тобой!»

Они проговорили до четырех утра; спали до двенадцати.

---

[1] Вино налито, надо его выпить.

Позавтракали и опять увлеклись, Толстопят пересказал «всю эпопею» семилетней жизни в Краснодаре. В шесть часов вечера пошли к Шкуропатской, но не застали ее дома: она ушла в больницу к Скибе.

Встретились они на третий день; встретились как-то бережно, с троекратными поцелуями, с какими-то возгласами, но без всякого волнения и без слез. Уже столько было говорено о встрече до этого в письмах к Толстопяту, и к этому дню чувства их выдохлись, а скорее всего — они крепко отвыкли друг от друга, прожили в своих интересах почти полвека, и, может, ни сожалений, ни боли по поводу старого родства у них не осталось. Истинные чувства всегда схватывают нас в одиночестве, невзначай. Пожалуй, больше всего обратили они внимание на то, как изменились их лица, как постарели телесно. Прошла жизнь, прошла! Седая, плосковолосая, с разбухшими ногами, неторопливая, это ли Калерия Шкуропатская, бегавшая к вагону великого князя? Без нее ли он не мыслил когда-то прожить и полмесяца, а прожил сорок лет? Умирая в госпитале, он воображал встречу трагичней, а все обошлось просто и буднично. Другое время над ними, другой город и чужая младая жизнь толкает их в спину. И задуматься — так совсем рядом жили они, до Парижа два часа лету, это как от Краснодара до Москвы, но сколько препятствий!

Может, помешала их слезам подружка из Ленинграда, низенькая, с большим животом?

Они вошли, когда Калерия Никитична читала ей свое новое стихотворение о космонавтах. Листик из ученической тетрадки лежал на столе, и Бурсак, усаживаясь, пробежал глазами несколько строчек. Его стихи были гораздо минорнее. Белые лилии, которые он принес ей, Калерия Никитична поставила в длинные узкие (еще материны) вазы. Толстопят кружил по комнате, обозревая развешанные картинки, вырезки, открытки с кошечками и множество фотографий на комоде. Фотографии Бурсака не было.

В 1924 году, пересекая границу, Бурсак надеялся, что Калерия не вытерпит «массового энтузиазма» и сорвется вскорости вслед за ним. Увы, она не была женой бывшего помощника наказного атамана. В 1922 году этот генерал подбивал в сапожной на углу Борзиковской и Базарной каблуки. Однажды кто-то спросил у его супруги, кормившейся по дворам: «Мадам, а кто был ваш муж? Говорят, начальник? Он убежал за границу?» — «Что вы! — ответила жалкая на вид, но вдруг возгордившаяся генеральша. — Я бы за хвост лошади уцепилась, чтобы уйти с ним». Кале-

рия Никитична такой преданности мужу своему не изъявила. Да и не было уже между ними любви. Из библиотеки имени Пушкина она перевелась на должность машинистки в ревком, тем и зарабатывала денежки целых десять лет. Не поехала она и к матери в Польшу, а потом в Бельгию. После смерти отца в 1920 году мать приноровилась к пожилому инженеру, повезла с ним свою младшую дочь на лечение в Вильно, и вихрями событий была занесена в чужую землю. «Неужели мы так уже никогда и не увидимся? — писала она ей.— Пусть хранит тебя божья матерь от болезней и всяких невзгод житейских». Но все слова матери и супруга Дементия Павловича в письмах давно потеряли смысл. Она выжила среди утешений и помощи совсем других людей.

Они пришли не вовремя: Скиба лежал в больнице, и надо было нести ему передачу.

— Мы охотно тебя проводим! — сказал Толстопят.

— Я пойду еще на Сенной рынок.

— Мы знаем, где находится Сенной рынок.

От Сенного рынка Калерия Никитична, подруга Клава, Бурсак и Толстопят шли по Медведовской улице. Подруга не была в родном городе с 1937 года. Она тайно вела их к своему дому.

Бурсаку после Парижа улицы и дома Краснодара казались деревенскими. Они добрели до здания бывшего Мариинского института, но поглядеть на сад, где воспитанницы любили кататься на «гигантских шагах», не решились. Через Шереметьевский переулок вышли к ограде больницы. Женщины перебивали друг друга.

— У тебя были две длинные темные косы, румянец, черные глаза, ты настоящая южанка. Ты мне часто играла на фортепиано, где оно?

— Мамино я продала в двадцать седьмом году греку Акритасу, он увез в Афины,— без сожаления отвечала Калерия Никитична.

— А в пальцах твоих, помню, такая сила, что, вытирая стакан, ты умудрялась его сломать.

— Это правда,— сказал Бурсак.

— И были в твоей библиотеке все сказки на свете. Мне нравилось, как тебя одевала мама: в волосах бант, короткое пикейное белое платьице и светлые башмачки на пуговичках сбоку.

— И ты это еще помнишь?

— В Краснодаре никого из нас не осталось, и я потому все помню. Я около своей калитки набрала земельки.

У ворот больницы Толстопят распрощался:

— Я вас бросаю, господа. Ко мне придет мастер, чинить телевизор. Акиму Михайловичу привет, пусть крепится, поправляется.

— И я тогда пойду,— сказала подруга.— Я забегу к племяннице. Если не вернусь, значит, я у нее заночевала.

— Вечером ждите меня,— сказал Толстопят.

Полчаса Бурсак сидел на лавочке у больничного корпуса, от нечего делать размышлял. Через дорогу, за трамвайной линией возвышался городской сад; на территории больницы торчали над зданиями трубы с радиолокационными устройствами. Могилы первых кошевых атаманов были там, где сейчас играли в домино обитатели туберкулезного диспансера. А поближе к воротам, у самой проходной будки, наверное, покоился с 1899 года его дядюшка Павел, на его могиле тетушка Елизавета поставила часовенку. Почему она не похоронила его на войсковом кладбище? Ах, значит, старость. Ведь дядюшка из того же рода, что и знаменитый кошевой атаман, лежавший рядом с могилами Чепиги и Котляревского. Лука Костогрыз как-то поднимал шум, бегал к наказному атаману. То-то: стар стал Дементий Павлович. Нельзя долго жить за тридевять земель. Выветривается из памяти даже самое кровное. Он взглянул на подъезд, откуда должна была выйти Шкуропатская, но появлялись больные в потертых халатах и. в штанах на резинке. Вдруг из того же подъезда мелькнула модная шляпка, и Бурсак жадно глядел, как приближается по дорожке молодая особа. Так игриво, кокетливо и с веселым вызовом ходила когда-то Калерия. Бурсак был бы счастлив, если бы «очарова-ательная» (другого слова его поэтический опыт подобрать не мог) женщина по какому-то сказочному сюжету попросила бы у него пустяковой помощи и потом составила бы ему компанию в прогулках по Красной. Наверное, она почувствовала что-то и поглядела на него с улыбкой и издалека оглянулась. Какие предки? Вечный дамский угодник, он только за то, чтобы посидеть с нею вечер на людях, без конца говорить, отдал бы все свои валютные деньги. Только поговорить, полюбоваться глазками, шейкой, мочками ушек и шутя поцеловать нецелованные местечки между пальцев. Своим благополучием за границей не женщинам ли он обязан? Как только нападала на него язва нищеты и отчаяния, тут как тут была доброхотка. «Во мне похоронено столько тайн,— говорил он во хмелю Толстопяту еще до войны,— что открывать их невозможно. С каждым ли так?»

«Неужели она была моей женой?» — думал он о Калерии.

— Привет вам от Акима Михайловича,— сказала она, появившись.— Пускай, говорит, бросает он чужие углы, просится домой. Он помнит, как вы ему помогли в трудный год.

— Спасибо и на том. Ему лучше уже?

— После операции легче. Сколько в нем жизни! Опять стихи сочинил.

— В самом деле?

— Все к какому-нибудь случаю пишет. Сейчас о врачах. Он сам говорит: никакой я не поэт, а пишу наболевшим сердцем. Нет надлежащего образования.

— Поэтами рождаются,— изрек Бурсак снисходительно и пожелал вечером почитать Калерии свои стихи. Их он заведомо ставил выше прочих любительских, а может, выше даже кубанских поэтов, до сборников которых он намеревался добраться завтра же в магазине. Одно стихотворение он пристроил в 1947 году в сборник «Звено», составленный самим Г. Адамовичем,— то было восьмистишье о могиле Шаляпина на кладбище Батиньоль. Его каждый раз при гостях заставляла прочесть последняя жена Бурсака, вдруг как бы нечаянно объявлявшая перед чаем: «Господа! А Дементий Павлович вчера написал новое стихотворение». Бурсак, потакая лжи, тяжко вставал, закладывал руки за спину (остроносое лицо его удивительно походило в такую минуту на бунинское), кашлял и произносил искусственным баритоном первую строчку: «Там, где сияет свод небес...» Еще одно (всего четыре строчки) напечатали в настенном календаре 1955 года; этот календарь он возил с собой всюду. На родину взял он не без умысла рукопись в изящной папке, о чем в удобную минуту наметил доложить Толстопяту и посоветоваться: удобно ли кому-нибудь показать? Бурсак был из тех неглупых в обыденности людей, которых самодельное художество и страсть им блистать мгновенно превращают в недалеких и пустых.

— Чтобы не забыть... У вас, кажется, выходит какой-то альманах?

Надо в самом деле отвыкнуть, чувствовать себя не очень желанным гостем или виноватым перед городом, чтобы так говорить о месте, где родился и где похоронены все предки: у вас! Шкуропатскую это сперва покоробило, а потом она даже пожалела своего бывшего супруга. Вообще он первые часы соблюдал какую-то церемонность, выказывал себя парижанином, человеком другого мира и той России,

за чувство к которой он, дескать, столько перестрадал. Тут, на камнях родного Екатеринодара, он вдруг возгордился своим происхождением, тем, что улицу Красную основали Бурсаки, что нынешнюю улицу Коммунаров старожилы помнят как Бурсаковскую и где-то еще в старой газете 1911 года хоронятся о предках легенды. Калерия (он тоже это чувствовал) молчаливо отстаивала свое: свою сорокалетнюю жизнь с народом — в трудах, горестях и свершениях.

— Выходит альманах «Кубань». А что?

— Я написал два рассказа, очень маленькие такие воспоминания,— может, они заинтересуют редакцию?

— Не знаю даже, что сказать... Я так далека от этого... О чем воспоминания?

— О моих скитаниях.

— Дементий Павлович! Вы же должны понимать! Были бы это воспоминания общественные.

Мимо них прошли офицеры с тяжелыми большими портфелями.

— У вас офицерам позволено таскать портфели? А мне снилось перед отъездом: собака не пустила меня на порог родного дома. Что это за ателье? В Париже я заказываю какой угодно костюм... Но кубанской земельки, посыпать на гроб, там не купишь. Мне друзья наказали привезти.

В семьдесят восемь лет Бурсак был стройным, свежим, на лице всего несколько ворсяных морщинок, спина не горбилась, ногти молочной белизны, а серая бабочка под белоснежным воротничком приравнивала его к какому-нибудь американскому конгрессмену. Но любоваться им не давала грусть: жизнь прошла, и чужие женщины стояли между ними, другие города светили им вечерними окнами. Бурсак еще несколько раз бросал в разговор: «А у меня в Париже...», «в Париже нижнее белье носят только черное...»

— Когда умерла тетушка? — спросила Калерия Никитична.

— Дай бог памяти, году в двадцать седьмом. Или в двадцать восьмом? Она умерла в Ницце. На месяц позже великого князя Николая Николаевича, который тоже умер в Ницце. Часто вздыхала: «Что теперь в нашем маленьком Париже? Кто в нашем доме?»

— За ее дачей на Дубинке вырос новый район, Черемушки. Я, когда после войны уезжала на Север (пенсию надо было получить повыше), очень тосковала по

Краснодару. Я не представляю, как можно без него жить.

— Не захочешь, да сможешь,— сказал Бурсак.— Париж — сказка. Пьер пытается меня жалеть, но не хочу лукавить: у меня в Париже есть все, и я смирился.

— Даже так?

— Даже так.

— А я вам не верю. По-моему, вы себя убеждаете в этом. Значит, сильно обижены на что-то.

— Проще. Все проще. Если не видишь чего-то сорок лет, что остается? Какой-то туман. Вот на этом месте ты в тринадцатом году стояла с кружкой. В день Белой ромашки.

— А чуть дальше меня остановила цыганка, и я прогадала ей колечко. В девятьсот восьмом году. Пятьдесят шесть лет назад. Да, конечно: и люди, если не живут вместе, отвыкают.

— Но родство душ возобновляется при встрече. Когда я вошел одиннадцатого июня в Екатерининский храм, меня тотчас узнал архиепископ Ювеналий. Мы оба вздрогнули! Он был нашим духовником в Париже. Уехал после войны.

— Его ведомство на улице братьев Игнатовых.

— А кто такие братья Игнатовы?

— Партизаны, подорвались в войну у моста. Отец написал книгу «Мои сыновья».

— А вот и мы жили — ну что было о Кубани? Один историк Щербина, которого я не дочитал до конца. Такая история — и ничего.

— А какие характеры были,— ты ведь помнишь?

— Манечка Толстопят говорила: «У нас на Кубани не было узаконенных великих людей, но были в самом деле великие богатыри».

— И не осталось от казачьего города ни-че-го. Только чертежи прямых, как в Петербурге, улиц.

— Ты просто отвык, Дема,— сказала Калерия Никитична, впервые обратившись к нему на «ты».

— Себя я не хвалю. Чтоб ты знала. Если бы сказали мне, что меня похоронят на старом войсковом кладбище или на берегу Кубани, у Бурсаковских скачек, я бы в последний день своей жизни согласился вернуться.

— Сырая земля всех примет, но люди...— Калерия Никитична сначала посмотрела, не сердит ли Бурсак, и только потом продолжила: — Ведь ты пойми-и, люди пережили голод, войну.

— О да, конечно, я понимаю. А пожарную каланчу давно сбросили? И «Европейской» гостиницы нет. Ничего нет! Когда это исчезает потихоньку на твоих глазах, оно понятно, не замечаешь. Но у меня перед глазами все так, как было, когда я уезжал.

Видно, он не чувствовал перед нею никакой вины за свое добровольное бегство из города, перекладывал всю горечь «на плечи истории», как он не раз говорил в эмиграции. Шкуропатская же если и думала когда-то (а может, и сейчас) нечто такое, что сокрушало всякие «гражданские», либеральные помыслы бывшего супруга, то не считала нужным превращать свою личную и общественную обиду в злую отповедь. Вылетела птица на волю, ну и пускай, ей так лучше, она чует свою дорогу, держать ее насильно возле себя мало выгоды. А главное в том, что все случилось слишком давно, настала старость, и уже нет времени и желания даже на легкие возражения; ведь яснее ясного, что Бурсак приехал проститься с Кубанью перед смертью. Когда Толстопят передавал ей от него приветы, она спрашивала: «Приехать-то обещает?» Что ж, ей хотелось не по одной фотографии разглядеть, как он постарел. И вот взглянула, услышала знакомую, по-старинному растянутую речь его, удивилась чудесам жизни: это он самый! не призрак! Но все как во сне.

За те полчаса, что прошли они вдвоем по улице Красной и Ворошилова, много кой-чего вспомнилось им, и уголки, перекрестки вдруг поведали им о когда-то важных случаях их жизни. Кого просить, кому молиться, чтобы на минуту хоть, по неписаному волшебству, возвратилась молодость? Бежали мимо куда-то несмышленые дети с цветочками в руках, в обнимку шла парочка влюбленных. Им некогда думать о дне будущем. Вечернее солнышко трепетало в густой листве. В детском магазине (на месте бывшего здания ювелира Гана, где Калерия не раз поджидала под часами подружек) закрывали двери на ключ. Хотелось глядеть вокруг и молчать. И они молчали до самого дома Шкуропатской. Ведь иногда в минуты молчания понятно, о чем думает каждый.

Молчанием на фотографиях объяснила Калерия Никитична своему Бурсаку и всю жизнь свою без него. Дома она подала ему альбом, папки, и, пока она была привязана к кухне, Бурсак все перебирал и разглядывал. У него в Париже тоже хранились альбомы (все больше с европейскими видами, с карточками друзей и подруг). Он долго глядел на фотокарточку работы Сумовского, увековечившую день их

венчания; как раз подошла Калерия Никитична, положила ему руку на плечо (в груди как-то потеплело от этого) и сказала: «Это мы с тобой... Помнишь, папа привозил полковой оркестр?»

— Терешка три раза вокруг церкви обвез. Он когда умер?

— Никто не знает. До войны, конечно.

— А еще есть у тебя? Где мы с тобой. И втроем, с Толстопятом. В день Белой ромашки в городском саду. У памятника Екатерине.

— У памятника Екатерине... Отдала Лисевицкому, учителю истории. Много карточек я сожгла. Тогда такое время было.

— Надо кого-то попросить, чтобы нас сняли. Аким Михайлович не будет против?

— С чего же? Он все понимает. Уже совсем другое время, разве мы виноваты, что наши родители были казаками и носили награды?

— Да, да,— вздохнул Бурсак,— уже все другое, и никому до нас нет дела. Другие свадьбы играют.

— Ну смотри, а я еще повожусь там.

— Пожалуйста, пожалуйста. Мне так приятно вспомнить. Я покопаюсь в твоих архивах.

Труженица она, его первая жена, наполучала за многие годы почетных грамот за доблестный труд и общественную благотворительность; в шкатулках лежали письма со всех концов от знакомых, которых она завела в домах отдыха, санаториях, и Бурсак ревниво отгадывал, перебирая общие фотографии, кому могла она нравиться, кто водил ее, молодую, по дорожкам парков и долго помнил ее. Кызыл-дере, Кисловодск, Москва, Тбилиси, Ленинград, Одесса, Горячий Ключ — везде побывала. И на всех изображениях веселая, компанейская, с тайной своего мимолетного счастья, о котором по прибытии домой никому не рассказывают. И еще один альбом, и еще. И тетрадки, папочки. Вот ее детство, юность. Вот ее сочинение по истории в Мариинском институте: «Екатерина II вступила на русский престол в 1762 году». О боже мой, да с тех пор перевернулся весь мир, и учат иначе, и дети иные. Даже страшно подумать, как далеко отстоит теперь Россия их детства.

И еще был у нее длинный альбомчик, souvenir, с записями стихов, шуток, пожеланий, самодельных посвящений. На пятнадцатой странице Бурсак узнал свой почерк. Уже тогда он чужое шутливое сочинение выдал за свое?

Adieu, mon ange[1], я удаляюсь,
Loin de vous[2] я буду жить,
Mais cependant[3] я постараюсь
Jamais, jamais[4] вас не забыть.
Je vous assure[5], что вы мне милы,
Что я люблю вас de tout mon coeur[6],
Но почему вы так унылы,
Ведь это портит mon bonheur[7]. *1910 год*

От тетушки Елизаветы:

Пусть сам Христос Спаситель
Тебя от зла спасет
И ангел твой хранитель
К добру тебя ведет. *1916 год*

Еще страница:

Незабудку дорогую
Ангел с неба уронил
Для того, чтобы родную
Я, как ангела, любил.

(Писал поэт, у которого фамилии нет)

А вот и опять его почерк:

Охотно б тебе на головку
Я руки свои возложил,
Прося, чтоб Господь тебя вечно
Такою прекрасной хранил.

1917, август, Бурсак

Бурсак волновался, вспоминал, погружался в какой-то туман, в каждом стихотворении искал следы дружбы, встреч, праздников, грусти, снов, подражаний тем, кто уже пожил и все познал. Если бы составить оглавление, оно бы даже первыми строчками рассказало о чувствах писавших: «Перестань, замолчи, мне о счастье не пой...»; «Слыхала я, что белый свет одною дружбою прекрасен...»; «Ангелом назвать не смею, нету крылышек в плечах»; «Мне не жаль, что тобою я не был любим...»; «Судьба горемычная, злая меня разлучила с тобой»; «Я помню все, и голос нежный, и ласки, ласки без конца...»; «Я умереть хочу весной, с возвратом радостного мая...» и т. д.

---

1 Прощай, мой ангел.
2 Вдали от вас.
3 Но однако.
4 Никогда, никогда.
5 Я вас уверяю.
6 ...всей душой.
7 ...мое счастье.

Но начинала альбом Елизавета Александровна Бурсак, ей он принадлежал, и она-то подарила его Калерии. Всего одну страницу заполнили тетушке гости:

Все прошло, не вернуть,
Все забыто давно.
И волнует мне грудь
Чувство грусти одно.

(Маскарад 1888 год, Рождество Христово)

В конце на корочке уже чья-то старческая рука написала: «Рецепт приготовления кваса — на три ведра кипятку взять десять лимонов, порезать и непременно вынуть косточки. Положить туда же семь фунтов сахару и полфунта изюма». И т. д.

И сохранилась полустертая (пальцем, видать, стирали) запись самой Калерии:

«24.VIII.18—12 часов ночи. На дворе тихо, темно. На Кубани лягушки квакают. На душе жутко, на лампе нет стекла, на постели нет одеяла...»

Что это?! Где был Бурсак? Не вспомнит. Так проходит слава земная.

— Ни в каком романе не описать нашу встречу,— сказал Бурсак, когда ужинали.— Прости меня, ради бога.

— Ну что ты, что ты...— не дала ему воли терзаться Калерия Никитична.— Выпей.

— Не для того прошу, чтобы ты оправдала меня... а... понимаешь меня?

— Понимаю, понимаю! Я тут часто жалела тебя; где он там скитается по чужим дворам? Дома бы уже председателем коллегии адвокатов был.

— Да разве в этом дело? Честно говоря, я думал когда о нашем свидании, то боялся, что ты, может, и видеть меня не захочешь.

— Почему?

— А рассказывали мне в Париже... Бывший офицер из Костромы приехал года два назад в Россию. Там, в Париже, у него дети от другой женщины. Он уже решил проситься домой совсем. Дети тотчас же от него отреклись: «Чего тебе ехать к босякам? У нас, в Париже, все есть, а у этих босяков никогда ничего не было и не будет!» Едва не подрались — так отец замахнулся на них, оскорбленный. Им чего, они французы, русского языка не знают. Поехал он сперва туристом. Бывшая жена не вышла к нему. «Зачем он мне нужен?» — сказала. Может, она права, кто знает. Его фамилия Поздеев. Всегда говорил: «Поздеев, но писать

надо через «ять», только через «ять». Я кацап, великоросс!» И умер в Монтаржи, в доме престарелых. А у тебя ангельское сердце. Аким Михайлович понимает, что ему повезло?

— Мы живем с ним дружно. Он такой честный, обо всех заботится. Я не преувеличиваю. Если бы все такие были, как он, давно бы коммунизм построили. Ты б посмотрел, что он сделал в музее! Всех героев разыскал, их документы, фотокарточки, воспоминания о них, у кого квартира плохая была — он тут ходил к самому большому начальству, его принимают, потому что он на трибуне стоит в день демонстрации. А не так, то в «Правду» напишет, не побоится. Человек хоро-о-ший. Не зря же его Федосья спасала. Когда ущемляли в двадцатые годы, он с милицией ходил по дворам, то, говорит, ни одной серебряной ложечки не взял себе, ни одного шерстяного отреза. Я ему верю! А по плавням сколько полазал, бандитов вычищал.

— Да...— только и сказал Бурсак.

— Вот так. А у тебя там никого нет?

— В Ницце сватает меня одна старушка. Дочь бывшего русского посла в Голландии. Но я привык один. Ты провожала меня в двадцать четвертом году до угла. Поздний вечер, туман. Я шел и оглядывался, а ты все стояла — помнишь? «Уж в этой жизни мы больше не встретимся»,- словно кто-то шептал надо мной.

— Так, видно, суждено было.

Бурсак перевернул страницу альбома, остановил взгляд на фотографии молодой женщины в широкой шляпе с перьями, невысокого роста, глазами похожей на Калерию.

— Давно умерла мама?

— После войны. В Париже. Девяноста лет от роду! Писала: «Прожила в стране, где не с кем мне говорить; каких бы сказок не рассказала тебе о своей жизни, если бы увиделись!» Зять ее невзлюбил, называл ее она. «Дожила до того, что даже дочери родной мешала. Чем жить? Не жить же интересами ее бесконечных романов? Гадать ей на картах?» Но главное — зять. А ведь мама отдала им все золото, когда им было трудно. «Если б я знала,— писала мне, что я даже на пять лет расстанусь с тобой, я бы не поехала никуда». Писала еще: «Я расскажу тебе, почему вышло так, что я рассталась с тобой». Да так и не сказала. Вспомнила перед смертью романс, который они пели в молодости: «Вот близится утро, румянятся воды». Мне советовала: если судьба не пошлет какого-нибудь «принца», то, может быть, пошлет хорошего человека, а это, пожалуй, лучше, чем принц. У меня был хороший муж, но погиб на войне.

— Как же мы не видели твою маму?

— Но она же долго жила в Бельгии. Это она умерла в Париже. Сестра и сейчас там. Расстались мы молодыми и вот после переписки решили встретиться.

— Все же переписывались?

— В войну прервалась, а потом я ее снова нашла. Для меня переписка с ней, ее жизнь там, в чужом пиру, была каким-то мифом, далекой сказкой, с годами тем более. Всех потеряли, постарели и стали как-то ближе, душевнее друг к другу, ласковее. Она где только не была: в Персии с первым мужем, в Индии со вторым; потом вышла за француза, родила сына, у которого почему-то было тройное имя: Михаил-Борис-Франсуа.

— У французов так.

— Разговаривала с ней как-то по телефону, услыхала ее быстрый голос, решила поехать. Назанимала денег, купила ей в Москве каракулевую шкурку (она просила для шапки), вышила дорожку, подушечку и портрет казачки, взяла несколько баночек черной икры и две бутылки водки (больше нельзя, учти). Да шоколадных конфет, да две-три книги о Кубани с видами побережья. Конечно, мои подарки были скромными. С собой больше ничего такого не взяла. Я ни минуты не думала, что могу не вернуться на родину. Она меня встречала на Северном вокзале с плакатом «Шкуропатская». Обнялись. «Ты довольна,— говорю,— что видишь меня?» — «Лерочка, я счастлива!» Всю ночь мы с ней разговаривали. Утром поехали в наше посольство. У меня была виза на сорок пять дней, но потом я осталась еще из-за ее болезни.

— И ты довольна, что съездила?

— Как тебе сказать, Дема... Она, как мама в моем детстве, входила ко мне перед сном, желала спокойной ночи, крестила и целовала меня, а расстались мы чужими. В одну из ласковых задушевных минут, на сон грядущий, я спросила ее: «Поехала бы ты в Россию доживать свои дни?» Она сурово глянула на меня: «Я от своих близких никуда не уеду!» Мать — это понятно, могила ее там, а остальные? Дети сторожат ее драгоценности. У нее индийские столики, китайские сервизы, ценности в сейфе (она их мне так и не показала). Мне она в первый день подарила три шерстяных тонких кофточки, полотенце махровое, ночную рубашку и перед отъездом дала пару старых платьев, демисезонное пальто, которое она не носила.

— Изменилась?

— Не узнать! Одинокая какая-то, всего боится: мне хо-

телось повидаться с русскими, у меня было несколько адресов,— она меня не пускала. «Не надо никаких русских! Я за тебя ответственная, я боюсь за тебя, ты понимаешь? Я знаю старых русских, а теперешних русских я не знаю». Я ее не понимала. И одну русскую я встретила в магазине,— она прямо кинулась обнимать меня и говорила, что в моем лице она целует родину своего отца, донского казака.

— Мне это знакомо,— сказал Бурсак,— французы любят комфорт и наших научили. Француженки устраивают свой очаг, хранят старинные родовые вещи, занимаются своей внешностью. Любят хорошо поесть... и чужую постель.

— Гостей водят в кафе, в ресторан — меня это удивляло. Вспомни, как у нас принимали гостей дома. Сестра переродилась. Было, как мне показалось, тяжелое подозрение на меня в пропаже ее кошелька. Вдруг нет кошелька! Она дает мне бумажку в сто франков, я пошла, купила что надо и еще походила по рынку, посмотрела товары, запоминая цены и прикидывая, что я на свои деньги смогу купить домой. Вернулась, отдала ей покупку и сдачу. Она спрашивает: «Где ты была так долго? Я ходила тебя искала, не нашла, молока купила! А кошелек нашла в кухне, лежал на *твоем* месте». Я удивилась вслух: «Почему на *моем* месте кошелек, почему не сказала, что молоко еще надо купить? И еще бегала меня искала?» Непонятно мне было, необъяснимо как-то это нахождение кошелька на *моем* месте. Мелочи, но они оставили у меня в душе неприятный осадок. Свои деньги я расходовала: когда приехала, отдала ей на дорожные расходы. Покупала и продукты. Ей принесли налог на триста франков, она ахала, охала, жаловалась на платежи. Я отдала ей двести пятьдесят франков. Она обрадовалась, сказала, что вернет. Я ее отговаривала: не надо. Я вела дневник, и вот на прощание она мне говорит: «Я не хочу, чтобы твои знакомые знали, я верну тебе деньги, а ты запиши это в дневник». И она выкинула на тахту франки. Я расплакалась. Я сто шестьдесят восемь франков не успела израсходовать, зачем мне ее долг? Я ее на вокзале поблагодарила за все, но она молчала. Я обняла ее, прижалась к ней последний раз — к такой замкнутой. Она показалась мне жалкой, одинокой, такой старой. Она покрестила меня, что-то прошептала. И когда вагон тронулся, я почувствовала облегчение: что-то грустное, горькое кончилось. Слава богу, что я еду домой, на Кубань. Теперь мне будет легче. Так я съездила. Осталось одно какое-то жалостливое чувство к сестре.

— Мама про тебя, помнишь, как говорила? «У нашей Калерии много фантазий».

— В письмах спрашивала: не очень ли ты, детка, устала вести образ жизни сестры милосердия? Она, видно, вспоминала случай в Хуторке. Мы детьми как-то шли гулять, и кто-то наступил на цыпленка. Я схватила этого цыпленка и побежала назад. Взяла иглу и стала зашивать цыпленку живот. Мне было восемь лет.

— Ты всегда была ангелом. Я бы много потерял, если бы не повидал тебя,— сказал Бурсак улыбаясь и положил руку на грамоты, которые его бывшая супруга заработала без него.— Ты узнаешь меня?

— Еще бы.

Нет, никакая она не бывшая, это все та же Калерия, к которой он ездил в 1912 году в станицу и которую воображал вдалеке. Родство восстановилось легко. И только одно проклятие висело над ними: старость, приближение конца. Ну и чувство потери.

Они выпили по рюмочке.

В 1910 году он шутил с ней: «Pouvez-vous faire mon bonheur éternel?»[1] Она уезжала в Анапу. И он так ждал ее оттуда, так ждал! Она послала ему с песчаных дюн Бимлюка пять писем, в каждом несколько строчек, и ни слова о том, когда она будет в Екатеринодаре. Он проводил бессонные ночи. «Где ж ты, моя милая? — вопрошал он в потемках.— В Анапе? В Джемете? В Сукко? Вспоминаешь ли наше ночное крыльцо?» Крыльцо! Они в полночь забрели в заросший двор Швыдкой, уехавшей на вечное моление в Марии-Магдалинский монастырь. Пароходом «Удобный» они приплыли в сумерки из Хомутовских мостиков. Почему-то даже городовых не было на углах и извозчики проезжали редко. А все уже сузилось от пышных ветвей по улицам, шатрами покрыли дворы высокие деревья, лесная тишина таилась у окон. На Старом базаре лишь, в трактире Баграта, хлопала дверь. Что заставило их после прогулок идти в этот дворик? Они тотчас заметили, что ставни дома закрыты и дверь забита доской. Значит, никого нет! Можно посидеть на крыльце. Крыльцо, спереди и с боков, было опутано ветвями. Он сел на скрипучий венский стул, она — к нему на колени. «А мне в четыре утра надо быть пред светлыми очами маменьки и папеньки»,— сказала она.

Он входил туда, где они были как-то вдвоем целые сутки, глядел на уголки, где она сидела, лежала с книжкой,

---

[1] Можете ли составить мне счастье навеки?

валился на диван к подушке и шептал: «Ты мой ангел, приди ко мне на крыльцо». Почему жгло его предчувствие неминуемой потери? Когда она грянет: завтра? Через год? Через десять лет?

— Я подолью тебе немного?

— Это еще мамины рюмочки?

— Бабушкины. Чистое серебро.

— У меня в Париже ложечка твоя есть...

— А кольцо?

— Кольцо потерял. Петр Авксентьевич, наверное, беспокоится. Куда пропал, скажет?

— Он придет за тобой. Он так изменился после смерти Юлии Игнатьевны. Стал чаще ходить к нам. Я и не знала, что у них было тогда в Петербурге. Из-за связи с ней его и выгнали из конвоя.

— Красивый казак был! Разве ты не помнишь, как екатеринодарские мамы боялись за своих дочек? «Ты была с Толстопятом?!» А отцы и того пуще. «На! — подает веревку. Вешайся заранее». Да где они все? Надо сходить на войсковое кладбище, целы еще могилы, памятники?

— Кое-что есть. У атамана Рашпиля плита целая. Кладбище закрыли. Через несколько лет ухаживать за могилами будет некому, и кто-то прикажет: снести!

— А какое кладбище в Париже! Какое кладбище! Пантеон ушедшей России. Мне уже там места нет. Где-нибудь в Монморанси.

— А чего бы тебе не попроситься домой?

— У меня там пенсия. Нас там много таких: тоска великая, а не едем. К кому ехать? Я думаю, что город детства, по мере того как умирают старшие, родные, близкие, соседи, становится все более чужим. Это уже город поколений, наступающих нам на ноги.

— Но в Париже так же.

— И в Париже, конечно. Везде. Но на родине, где у детей и внуков не встречается ни одной старой казачьей фамилии, мне было бы еще печальней. Не скажешь: «Вы сын Келебердинского? Внук Канатова? Дочь, внучка, правнучка Поночёвного?» Как это трагично! Ты не находишь?

— Я не думала об этом. Или думала когда-то, да привыкла. Выпей еще, оно легкое.

До глубокой ночи отпивали они по нескольку глоточков к тосту и разговаривали о том о сем... Мы не беремся передать их тот близкий, особо задушевный разговор. В родстве, в товариществе, в семейных союзах, в старых отношениях бывают часы, минуты, в которые никто не посвящается.

оно и не нужно. Должно же, любила повторять Калерия Никитична, что-то оставаться и для себя.

. . . .

Кто-то вдруг деликатно постучал в окно с улицы. Калерия Никитична, тяжко переступая на толстых ногах, вышла и сняла с двери крючок.

— Уже третий час ночи, господа мои, а вы и не думаете спать?

— Пе-етр Авксентьевич... Вы меня напугали.

Толстопят, какой-то нарядный, в костюме, в галстуке (настоящий ухажер), хозяином вошел в комнату, поклонился, точно со сцены, своему другу, упер руки в бока. Оба они выглядели намного моложе своих лет. Страдали, тосковали вдали от земли кубанской, но ведь не сидели в окопах, не мокли в болоте, не спали на снегу и не рыскали по лесам с партизанским отрядом. Тридцатые годы не вынуждали их жевать сладкий корень, лепешки из лебеды и щавеля.

— В Париже еще только одиннадцать,— сказал Бурсак.

— Если бы не отборочный матч на первенство мира, я бы уже уснул. Хватился: где он? Как-никак гость. За Терешкой не пошлешь.

— Кто играл?

— СССР — Дания. Долбанули! — как теперь говорят. Мы их долбанули. Последние известия прослушал. Завязли американцы во Вьетнаме. Бомбят мирное население. А все же не умеют воевать! Русский солдат за два месяца бы справился.

Толстопят сел у стола, раскрыл альбом, поглядел на фотографию молодого поручика, сложившего на тумбочку руки с большими чистыми ногтями. Перевернул, прочел надпись: «28.II — 18. VIII 1918 года, Екатеринодар — Георге-Афипская». Подумал о чем-то и захлопнул с треском, словно распрощался еще раз с далекой историей.

— Милая наша хозяюшка! Ты устала? Ложись ты спать, а я поведу молодого человека к себе.

— Куда торопитесь?

— Только в рай, только в рай,— сказал Толстопят.— Так, господа! Не было дня на земле, чтобы кто-то не умер.

— Я вспоминала недавно, Тхоржевский, переводчик Омара Хайяма, хорошо написал: «Легкой жизни я просил у бога. Легкой смерти надо бы просить».

— Вот именно,— согласился Толстопят.

Бурсака что-то толкнуло, он величаво поднял руку вперед и натянутым голосом прочитал четверостишие:

В кружевах наших слов умирают земные обманы.
Из мерцающих звезд в облаках вырастают дворцы.
Мы одни в нашем царстве, в волнах серебристых туманов,
Среди старых легенд мы с тобою одни.

— Это я написал в прошлом году на вокзале Сен-Лазар, когда ждал поезда.

Он солгал, и ему почему-то хотелось солгать, похвалиться своим вдохновением, впечатлительною душою, не заглохшей, мол, во многих страданиях, и поскольку ради своего поэтического престижа он лгал часто, то запамятовал, что четверостишие это, переделанное из строк умершей в 1925 году в Сербии бывшей донской гимназистки, он уже читал при Толстопяте одной известной даме с горностаем, и было это в Барселоне, где Толстопят пел два вечера в казачьем ансамбле.

— Отсталый человек, ничего не соображаю в стихах, сказал Толстопят.— Чувствую только, что не Пушкин и не Лермонтов. Зато у меня был голос! «Ныне отпущаеши раба твоего...» — запел он.— Я забираю поэта к себе, наша красавица; отдохни немножко. Уже светает...

Но Толстопят еще подсел к фортепьяно и тихонько пропел вечнолюбимый пророческий роман Нежальской:

Счастье мне и радость обещала,—
Ты ушла, и жизнь ушла навеки за тобой...

Никогда жизнь не кажется такой мирной и кроткой, как в те часы, когда спит большой город, да еще город родной, где столько недоразумений нарастает за век, столько разлук и печалей нападает на нас. И больше всего любишь людей, уголки улиц, всякие окошечки и фронтоны именно утром, на серой заре, в улегшейся за ночь тишине. Именно утром возбуждается желание пожить еще некий срок, что-то успеть, кому-то из родных помочь, поставить на ноги детей, завершить свои интимные дела. В бессонницу, за беседой с другом или так вот, как провели ночь эти старые екатеринодарцы, вовсе расширяется твое чувство, и, когда идешь домой, к постели, чего-то в этой жизни жалко немножко: в жизни, такой короткой и такой все же чудесной,— она ведь не повторится.

Бурсак и Толстопят шли медленно. Над ними, где-то в зеленых верхушках акаций и еще выше, словно звучала, покрывала собою всю окрестность какая-то волшебная классическая музыка, слышимая внутренним вниманием; и была ли то музыка утрат, прошедшего времени, нашей

любви ко всему живому или одинокой радости — уточнить было нельзя, да и зачем? Сколько на свете невысказанного! И это самое, может, лучшее, самое дорогое, чем мы жили.

Сперва они молчали, потом изредка кто-то один ронял слово, другой так же кратко отвечал ему, и снова они шли и просто глядели. Молча же постояли они перед Доской почета в Ворошиловском сквере. Бурсак подумал о давнишних своих встречах на этом тротуаре с Калерией, а Толстопят вспоминал последнюю прогулку с Юлией Игнатьевной, когда она ему напомнила о молитве в 1919 году. Потом они как-то незаметно попали на улицу Ленина, и у самого угла улицы Шаумяна, несколько шагов дальше к Красной, Бурсак толкнул Толстопята и кивком головы указал на овальное окно второго этажа. Не спала какая-то старуха с черными бровями, повалилась на подконник и глядела вниз. То была та же старуха, которую видел Лисевицкий на рассвете, когда возвращался от Верочки.

— Интересно, о чем она думает? — спросил Бурсак.

— Не о нас, не о нас. Прошли, скажет, какие-то приезжие. Я ее не первый раз вижу. Может, наша ровесница. Может, знает, что были на свете Бурсаки. Не понимаю, зачем тебе ехать назад в Париж. Как это дико!

— Ну а что же мне делать? Ты успел вскочить в свой поезд, а я прозевал. У меня там две пенсии. В Париже я с вечера заказываю обед на завтра. А здесь что я буду делать? Кому я здесь нужен?

— А там ты ну-ужен... Аким Михайлович уже тяжелый, долго не протянет. Вернешься, и будете доживать с Калерией... Чего уж теперь. Страницы жизни перевернуты...

— А раз так, то и тебе я привез... это не сюрприз... это называется... Да вот сейчас придем, покажу...

Дома поставили чайник на плитку, открыли окно. Толстопят со вздохом повалился спиной на постель, подложил под затылок любимую думочку Юлии Игнатьевны; Бурсак, чувствуя, что друг не забыл его обещания, распустил на чемодане ремни, поднял крышку, что-то долго перебирал. Наконец вынул длинную книгу, обернутую бумагой с цветками, но прежде, чем протянуть ее Толстопяту, зацепил ногтем страничку, отвернул и прочитал:

— «14 октября 1921 года, в день покрова по старому стилю, наша семья, состоявшая из шести человек, погрузилась в Константинополе на пароход, предоставленный Красным Крестом для русских беженцев...» Интересно?

— Странный ты какой-то, братец Дема, черт тебя знает...

Почему это должно быть интересно? Роман, что ли? Я романов не читаю.

— Маленький роман о любви. Пять страничек.

— Ты меня чем-то разыгрываешь...

Бурсак отлистал четыре странички, опять прочел:

— «Мир праху его. И. К. Сафьянщикова». Говорит тебе что-нибудь эта фамилия?

— Сафьянщикова? И. К.? — Толстопят поднялся с постели. — Сафьянщикова... Не та ли? Я дал ей три года назад отповедь в нашей газете «Голос Родины».

— Сафьянщикова по мужу, а девичью не знаешь?

— Откуда же мне знать? И зачем?

— Сафьянщикова И. К.

— Уж не помню, мой друг, прости, пожалуйста. Из Аргентины?

— Да, сейчас она там. Что же ты написал в «Голосе Родины»?

— Я им всем писал, — сказал Толстопят жестко. — Она опубликовала статью в «Новом русском слове». Мне в Москве показали. Статья — одна брань. Ну как брань: все в России опустилось, опростилось, ехать туда, мол, незачем Я подскочил: ка-ак? Опять?! Ставлю заголовок: «Почему я пересмотрел свои взгляды». И написал: не слушайте злых языков! Обиду на Родину никогда нельзя иметь. Это Родина мать. Я провел на чужбине сорок лет и вернулся по велению своей совести, и мне, блудному сыну, простили былые заблуждения.

Бурсак слушал внимательно и настороженно.

— Так.

— Я не принял иностранного подданства, — продолжал Толстопят, накаляясь, — а мог бы. Все мы были беспаспортными беженцами, и от нас часто шарахались, как от зачумленных.

— Ну, это ты чересчур.

— Как же чересчур, как же чересчур, братец? — Толстопят даже вытянулся вверх. — Да я же помню двадцатые годы.

— То двадцатые. Как бы то ни было, Франция дала нам кров.

— Спасибо, — поклонился Толстопят. — Но я написал нашим: довольно скитаться! Я живу здесь не по милости а по праву. Мне не надо сострадать, я и без того доволен Жил за границей, сам себя наказывал. — Толстопят вспомнил про чайник, вышел; Бурсак прошелся за ним. — Еще я написал: мне сейчас смешно вспоминать те предсказания

которыми напутствовали там. Возвращайтесь домой! Живут и никогда не умрут наши народные обычаи. Возвращение на Родину — ни с чем не сравнимое счастье. Зачем терпеть, чего ждать? Вздыхать по прошлому, даже если оно у вас было безоблачным, сейчас поздно. Если есть еще соотечественники, которые говорят: «А что нам дала Россия? Нас отвергли», то их мало, они холодные эгоисты. Они рассуждают так: «Да, мы жили в старой России и жили хорошо». Одна дама, когда мы уезжали, вырвала у моей жены сумку с деньгами и кричала проклятья. Она, верно, и сейчас сидит у входа в русский магазин и как будто просит милостыню. Но она не нищенка. У нее фабрика. Ее родным детям страшно, что мама еще говорит по-русски. Что хорошего?

Бурсаку хотелось перебивать Толстопята, но он знал его вспыльчивый нрав и, чтобы не доводить друга до крика, отвечал ему взглядами.

— А как, Петя, зачеркнуть годы, прожитые в эмиграции? Там тебе не было легче?

— Дело не в том, Дема, где легче, а в том, где ты чувствуешь себя дома. Там, где был наш Панский кут с «Яром», где мы с тобой кутили, теперь свалка. Может, оно и правильно.

— Ну хорошо. Я приеду. А с кем жить? Города моего нет, никого нет. Все другие. И чужие, как в Париже.

— Бог тебе судья. А коли уж я русский, то слова Петра Великого помню: «Кто к знамени хоть единожды присягал, тот у оного до смерти стоять должен». Трехцветное российское, красное советское — все одно знамя Родины.

Бурсак молчал. Но в запасе у него был удар, и этот удар он привез ему в чемодане. Книга в обертке все еще была в его руках.

— Вот это все я и написал. И еще, и еще другое. Я им напомнил о Шульгине[1], принимавшем как-никак отречение царя, он сейчас живет и здравствует во Владимире. Разочаровался в белом движении давно. Я, говорит, не видел в нем ни одухотворенной идеи, ни смысла, ни справедливости. За что мы боролись? За сохранение своих классовых сословий и имущественных привилегий? Это Шульгин!

— Наверное, вынудили сказать.

— Да не-ет,— засмеялся Толстопят, отмахиваясь и жестом унижая друга, верившего в ежеминутное насилие в родной стране.— Не-ет! Поезжай, поговори. От Москвы близко.

---

[1] В. В. Шульгин (1878—1976) — монархист, член Государственной думы, после революции белоэмигрант. Умер на родине.

— Мне кажется, Петя... Мне все-таки кажется... извини меня... мне кажется, что, как только русский оттуда переступает границу (на восток), он говорит фальшиво уже на другой день. Его что-то стесняет.

Бурсак говорил и побаивался Толстопята. Побаивался его страшного гнева, которым славился тот все сорок лет за границей. И даже в молодости. Но Толстопят улыбнулся.

— Ты у меня в гостях, Дементий Павлович. Печально, но ты Бурсак, твои деды в кошевых атаманах ходили, приобретали эту землю, а ты в гостях... а-ах, как мне тебя жалко. У меня характер скверный, боюсь обидеть тебя. Но ты знаешь кто? В чем твое горе, трагедия, знаешь?

Толстопят минуты три только качал головой. Бурсак невозмутимо, даже победоносно ждал банального обвинения. Но слова Толстопята стали для него новостью.

— В чем?

— Не обидишься?

— Мы старые друзья.

— Мы старые друзья. Ты добрый, честный, но ты, Дементий Павлович, вечный либерал. Как писали про вас в «Новом времени», такие вы и нынче.

— А ты, кажется, все еще монархист.

— Я Толстопят! Я всю жизнь проигрывал, на фронте с турками (как мы их ни били), я подавал заявление в французскую армию, а они сдали немцам Париж. Я казак, а с самостийниками разминулся, и меня ненавидели. Но я вернулся домой, и это все... Я был в пекле, а вы, мои умные беспочвенные Милюковы, всю жизнь только рассуждали и кривили губы...Ваша участь — быть всегда чем-нибудь недовольным. Я бы раздраконил тебя, милый мой, да ты у меня в гостях. В гостях, боже мой. Бурсак в гостях. Даже мне тяжело. Че-орт тебя знает! В доме для престарелых в Монморанси он хотел бы умереть...

— Хотел бы здесь...

— Так давай умирать! Рядом положат. И от батьки будем недалеко, они на старом войсковом. И тополя какие высокие. Так давай... Ну что тебе этот Париж? Он, конечно, сиреневый, ему нет равных, но наш, маленький, лучше, главное — родней. «Ныне отпущаеши раба твоего...» запел Толстопят вдруг, взмахнул руками и сел.— Шульгин правильно написал из Владимира эмигрантам: «Моим домом будет этот, хотя его больше уже и нет». У меня есть вырезка из «Известий». И Толстопята того уже нет. Приехал — значит, хотел быть своим. Никогда не кривить ду-

шой. Меня тут опекает Верочка Корсун. И вот гуляли мы с ней, гуляли по городу и зашли на Екатеринодарское кладбище. И там я ей вдруг рассказал о том, что себе самому запретил помнить. Никто этого, кроме меня, во всем городе не знает. И в Париже уже никого нет из посвященных. В двадцатом году, мой друг, перед уходом белых, вызвали двадцать пять высших офицеров и почему-то меня в их числе. Показали нам на листочке чертежик. На чертежике указано место, куда из Екатерининской церкви перенесли прах генерала Алексеева. «Вот, смотрите, изучайте, запомните. Когда бы вы ни вернулись в Россию, вам кому-нибудь, может, последнему, придется указать могилу вождя Добровольческой армии. Она здесь». Листочек на наших глазах порвали. Могила в правом углу кладбища. Я не искал, хотя я как раз остался последний. Но я приехал, Дементий Павлович, не на поминки генерала Алексеева.

— Тогда прочитай...— Бурсак шлепнул книгу на стол.— Хроника одной московской семьи. Но читай сначала то, что тебя касается... Страница сто шестьдесят...

— С удовольствием...

ЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

14 октября 1921 года, в день покрова по новому стилю, наша семья, состоявшая из шести человек, погрузилась в Константинополе на пароход, предоставленный Красным Крестом для русских беженцев.

Мы уже привыкли кочевать по миру нищими и бесправными скитальцами; все имущество наше уместилось в нескольких мешках. Большинство русских продолжало надеяться вернуться в Россию, споры о ее будущем и причинах катастрофы волновали всех. Это было время, когда все рушилось, когда хотелось успеть полюбить. Мне шел двадцатый год.

С тех пор как себя помню, я жила любовью. Такие приливы любви были у меня к матери, к тете, к сестре и другим людям. Но Петр Авксентьевич Толстопят был моей первой сознательной любовью. Она началась в самые трагические дни нашей жизни, когда наша семья вместе с разбитой белой армией отступала из Новороссийска. В косынке сестры милосердия я пыталась помочь больным, раненым. Он был одним из них. Он поправился и уплыл в Крым на пароходе «Владимир Святой». Я не знала, жив он или погиб. Потом мы оказались в Константинополе.

И вот случайно мы встретились на улице Стамбула. Ему предстояла новая операция. Мы с сестрой навещали его в госпитале. Он держался сухо со мною, но за этой суровой сухостью прорывалось иногда что-то другое.

Однажды наша компания решила уехать на весь день на прогулку. Я отказалась, мне хотелось одиночества. Когда любишь, так сладко быть одной. А потом я еще и ждала. Я сидела одна, читая переписку Гоголя с друзьями. Кто-то постучал в дверь. Она открылась — это был он. Он вошел очень просто, как будто иначе и не могло быть, как будто я ожидала его.

Он встал против меня, прислонившись к стене, и стоял долго, молча, сияющими, полными любви глазами смотрел на меня. «Я пришел наконец,— сказал он,— чтобы сказать, что я вас люблю. Я любил вас всегда, с первого взгляда, но я знал, что я не должен вас любить, и боролся. Я уезжаю через два дня и хочу, чтобы вы это знали, чтобы вы не грустили и не мучили себя». Он говорил как бы сам с собой, иногда закрывая глаза. Я слушала его молча, опустив голову. Я знала, что он уедет и ничто не может остановить его.

«Не отвечайте мне ничего,— сказал он,— я приду к вам завтра, мы уйдем куда-нибудь, чтобы мне еще в последний раз побыть с вами». Он хотел уйти. «Не уходите, подождите»,— попросила я и протянула ему мою книгу; на ее полях были мои мысли, всегда обращенные к нему, как будто я читала вместе с ним. Он взял ее, улыбнулся и, не сказав ни слова, ушел.

Я осталась одна. Я не знала, была ли я счастлива. Он сказал, что любит меня, но говорил как будто с самим собой. Я думала, что любовь — это другое, что это жизнь и простота. Почему он так ушел? Почему он уезжает? Побежать за ним? Но, может быть, он опять встретит меня холодно и сухо? Любовь хрупка и пуглива, особенно в молодости, когда наша жизнь перемешана с нашими фантазиями и мечтами. Я не побежала за ним. Мне казалось, что это был сон. Я ждала завтрашнего дня. Я так мучительно ждала его. «Но, может быть,— думала я,— он передумает и не придет». Но он пришел. Я услыхала его шаги на лестнице, открыла ему дверь, и мы вышли на улицу.

— Неужели вы не понимали, неужели не чувствовали,— говорил он,— что вам не надо было знать о моей любви. Вы так молоды, перед вами вся ваша жизнь. Простите меня, что я огорчал вас!

Он привел меня в тишину заброшенного сада. Мы подо-

шли к низкой стене; перед нами открывался вид на Босфор, на высокие темные кипарисы. Мы стояли долго-долго, потрясенные, потерянные, он с закрытыми глазами, но я не могла смотреть на его лицо.

Он ни разу не прикоснулся ко мне, не положил свою руку на мою, и это было не нужно. От него лилась на меня такая нежность, такой свет исходил из его странных, таких когда-то непроницаемых широких, а теперь открытых передо мною глаз. Только однажды, когда я подошла к нему поближе, он вдруг побледнел и сказал: «Не подходите ко мне, будьте милосердны». Я тихо отошла и смотрела на Босфор.

Он проводил меня домой, не сказав, увижу ли я его или нет до отъезда. Весь следующий день я ждала его, но он не пришел. Поздно вечером, когда все уже спали, кто-то чуть слышно постучал в дверь. Я кинулась открывать. Передо мной стоял еще молоденький офицерик. Он принес мне письмо. Я убежала к себе в комнату: на небольшом листке, вырванном из записной книжки, стояли слова: «Я не могу жить без вас. *П. Т.*».

На следующий день он пришел под вечер. Он был спокойный и радостный. «Пойдемте со мной»,— попросил.

Мы молча шли по улицам. Я не спрашивала его, нужно ли, чтобы он уехал. Я знала, что все было кончено, что ничего нельзя изменить. Но и у меня было на сердце чувство покоя и счастья. Мы вышли на улицу, спускающуюся к морю. Внизу виднелась гавань и пароход на рейде.

— Вы не пойдете дальше, я не хочу, чтобы вас видели. Мы расстанемся здесь.

Он взял мою руку и стал целовать. Он целовал ее долго, нежно и трепетно. Он смотрел мне в глаза последним, долгим взглядом любви. Внизу послышались отрывистые тревожные гудки парохода, он все не выпускал моей руки. И мне показалось, что у нас одно сердце, переплетенное одной тоской.

Он ушел.

Он писал мне длинные письма, похожие на дневники. В них он рассказывал все, чем жил. Я тоже писала ему, как и он, ждала его писем, жила ими. Однажды он написал мне: «Как жаль, что я не умею больше рассказывать сказки. Я чувствую себя как птица, которая долго была в клетке, и, когда пришла ей возможность лететь, ее крылья уже не могли подняться, чтобы рассекать воздух. Моя любовь к вам не изменилась, но она все глубже уходит от жизни». Моя любовь к нему тоже уходила куда-то на дно, отрыва-

лась от реальной жизни, может быть, она никогда не была связана с ней. Он писал мне:

«Господи, какая вы хорошая и добрая, что решили мне написать из Галлиполи, этого страшного города, рожденного страстным желанием русской армии жить, а не умереть. Мы здесь, на пограничной сербской страже, хотим сохранить русскую армию, но только я теперь думаю, что нам это не удастся. Теперь наша армия без души, это только внешняя форма, но это уже не старая русская армия. Я многое понял. Это огорчит вас, но выражение: «Нет офицеров, а много солдат в офицерских погонах» — до тоски правдиво. Здесь только два сорта офицеров: вундеркинды Добрармии и офицеры гражданской войны. Это особого образования люди. Одни для этого должны были отказаться от многого старого, другие — этого старого не видели. Так или иначе, они не несут в себе того особого, золотого зерна, которое было обязательно в сердце каждого офицера старой русской армии. Производство в первый офицерский чин было актом признания меня достойным высокого звания офицера. В полку все могут быть самых различных характеров, но все обязательно дорогие, родные и понимающие друг друга. Вот из этого золотого зернышка души офицерской семьи вытекало рыцарство, благородство, порядочность, безжалостность в исполнении долга. Отсюда вытекало понятие, что офицер стоял выше, он имел обаяние, был хранителем ценностей, которыми солдаты жили и за которые умирали. Офицер был носителем души армии. Теперешний же офицер сам умрет героем, но не может воспитать «желание умереть», он ничего не может дать взамет инстинкта жизни. Теперь я понял, почему настоящие кадровые офицеры старой русской армии сейчас — вне армии. Они ждут времени, когда пойдут воевать в Россию и за Россию. Тогда будет идея, около нее можно будет начать жить армии, быть РУССКОЙ АРМИЕЙ, для которой должно жертвовать всем, так как она станет действительностью, а не мифом...»

Мы уехали в Сербию. Однажды он написал мне, что между нами лежит непреодолимое препятствие — это то, что он родился на пятнадцать лет раньше меня.

«Может быть,— думала я,— он устал любить меня», и решила «проверить» и «убедиться» и написала ему: «Пусть это будет мое последнее письмо». В самой глубине сердца знала, что поступаю неправильно, я т е п е р ь так знаю, что надо всегда слушать голос нашего сердца. Но я все-таки послала это письмо. Я так ждала, что он ответит, что он, как прежде, скажет: «Нет, я вас никому не отдам». Но он

не ответил. Сколько раз я решала написать ему, но что-то меня удерживало, какая-то глупая гордыня, и я молчала. Когда, наконец, после многих месяцев я написала ему, письмо вернулось, не застав его. Вскоре мы уехали в Сан-Франциско.

Спустя пять длинных лет я случайно узнала его адрес и написала ему. Он мне ответил: «Ваше письмо я получил вчера, и сегодня я шлю низкий поклон моему Солнышку. Я беру ваши руки, целую их и опускаюсь около вас на землю. Я хочу поцеловать ваши колени и, примкнув к ним, быть так долго, пока не отдохну, не начну быть из мертвого живым, пока не смогу хорошо улыбнуться вам и сказать: есть силы, есть смысл жизни. Целую ваши руки. *П. Т.*».

Я читала письмо и перечитывала. Я плакала над ним, как плачут над умершим. Я знала, что теперь поздно, что это все ушло безвозвратно, что не течет река назад. Когда я получила его письмо, я любила уже того человека, которого искала и ждала всю жизнь, и не смогла уже ответить П. Т-у, как раньше.

Мне в Константинополе на улице гадала по руке одна петербургская дама, некая Юлия Игнатьевна В.: «Вас будут любить многие, и никогда вы не будете знать неразделенной любви». Меня многие любили, и среди любивших меня была иногда такая странная связь, как будто была нить, связующая меня с ними и их друг с другом. Так меня любили два человека, оба они знали и любили Толстопята, не зная, что он любил когда-то меня.

Я почему-то всегда предчувствовала, что мне в жизни счастья не будет дано, того простого человеческого счастья, которое дается иногда людям. Но я не жалею, мне было дано другое.

Единственная, подлинная любовь к человеку есть в то же время печаль об этом человеке. Но, кроме этой любви, позволено ли нам любить по-иному? Увлекаться, давать себя любить? Или это грех? А может быть, грех отталкивать любовь, стараться убегать от нея?

...Говорили мне после войны, что П. Т. погиб или в Испании или в Париже при немцах. Я дважды в последние годы бывала в России — в Ленинграде, в Москве и на Северном Кавказе,— и вспоминала там, что П. Т. был родом с Кубани, из Екатеринодара... Мир праху его...

И. К. Сафьянщикова

— Вот и пусть думает, что меня давно-давно нет на свете,— сказал Толстопят в полдень, когда Бурсак проснулся и пришел за стол пить чай.— Так будет легче...

Если верить Бурсаку, то мало в его жизни было путешествий, подобных прогулке по кубанским степям в сторону Тамани — через Елизаветинскую, бывший Копыл (Славянск) и Темрюк. Наверное, это так, потому что путешествие было прощальное. О том, что время жизни исчерпано, напомнила лишний раз смерть архиепископа Ювеналия.

Он умер за неделю до этого.

В Париже до войны о. Ювеналий был духовником многих казаков, кубанских, донских и терских. Один Толстопят не ходил к нему: в 1923 году он в приступе своей вспыльчивости ударил по лицу будущего священника, а тогда всего-навсего корнета Дюдю, с которым в 1918 году пробирался на юг к Добровольческой армии. Ударил в каком-то горячем споре о судьбе России, о роли монарха в ее падении и прочем. Это было, кажется, в тот же год, когда монархисты-офицеры избили в поезде в Сербии бывшего председателя Государственой думы Родзянко, обвиняемого в предательстве государя и в развале самодержавия. Причина ссоры забылась, но дружба с Дюдей лопнула навсегда. И уже в Краснодаре, сколько ни звал его к себе о. Ювеналий, Толстопят не пошел к нему. Зла не помнил, однако покориться не хотел. Приехал домой — значит, лучше похоронить прошлое.

Бурсак навестил архиепископа Ювеналия в епархиальном управлении на улице братьев Игнатовых. Седой, иконописный пастырь с тончайшими ручками, в золотых очках принял его с милостивостью поистине старозаветной. Ни о чем особо не говорили, вспомнили немного тридцатые годы да поспрашивали друг друга о здоровье. Толстопяту послал он через него великодушный поклон. В апреле они могли бы повстречаться в Париже: архиепископа посылали от Московской патриархии в Трехсвятительское подворье, верное юрисдикции Московского патриархата. В 1931 году Ювеналий (тогда иеромонах) стал одним из первых насельников этого подворья и немало вынес страданий за преданность Москве. Все, кто отошел к Константинополю, преследовали его где и как только можно. Он спал на полу, подметал улицы, терпел оскорбления. Гордый Толстопят, конечно, ценил его за патриотические подвиги, но склонить голову не возмог. Неисповедимы пути! — он объехал весь мир, читал лекции, скупал у антикваров иконы для своего прихода, писал статьи, в первый день войны с Германией

закончил молитву словами: «Все кончится добром!», а ныне обрел напоследок тихое южное пристанище в Краснодаре, на родине Бурсака. Вот вам и Дюдя, корнет, некогда самовлюбленный высокий красавец с черными усиками. Он любил и теперь в простом разговоре проронить что-нибудь назидательное, глядя поверх собеседника и прикладывая тонкую, из одних косточек, руку к сердцу: «Во время жизни не обретают мира для души, не там его ищут, где можно стяжать. И так и живут и умирают во вред душе своей».

Теперь он умирал. Он умирал на закате, не принимал пищи, и только вода с примесью нескольких капель вина поддерживала его угасавшее тело. Накануне ему исполнилось семьдесят пять лет. Он исповедался и приобщился св. таин. Какие-то старушки допускались посидеть возле него под предлогом поздравления и желали получить его последнее благословение. Он с некоторыми прощался со слезами.

Бурсак шел по улицам среди незнакомых людей, глядел на киоски с газетами и журналами, на девушек и парней в легковых машинах, ехавших куда-то развлекаться, читал афиши с именами неизвестных артистов (не то что в Париже, там всех он знал), потом афиши, звавшие на конные скачки (о какие скачки устраивались раньше!), читал строки на плакатах в окнах книжных магазинов, пережидал на улице Горького переполненный болельщиками трамвай и думал о том, что из России ему надо будет привезти в Париж побольше лекарств, они тут очень дешевы.

Когда Бурсак сочувственно-скорбной походкой прошел в покои Ювеналия, тот улыбнулся ему и пошевелил рукой, но вытянуть ее к нему у него не хватало сил. Бурсак склонился и поцеловал косточку запястья так воздушно, будто касался лепестка.

— Ну вот,— сказал Ювеналий, красивый в своей немощи, с той ласковостью в глазах, которая прощает всех,— слава богу, теперь у меня ничего не болит. Все это земное теперь кончено. Мне ничего не жаль... теперь все божие.

Уже пересчитали его деньги: «Снимите с меня, прошу вас, эту тягость, я буду спокойнее». Избавили его и от подарков, и он успокоился: «К чему это? Пустые мирские затеи. Не мне дарили. Если бы я не был владыкой, подарили бы? Как бы не так...»

Худой служка сидел возле него и тихо плакал. Ювеналий раскрыл глаза, улыбнулся Бурсаку и подозвал к себе:

— Ты свидетель, ты и пиши...

— Свидетель чего?

— Ты свидетель... ты и пиши...

И снова закрыл глаза. В эту-то минуту явился в дверях Толстопят. Бурсак вышел. Как принесли владыке крест, подставили к устам, как он задышал с хрипами в горле (что называется колокольцем) и начали читать канон на исход души, ни Бурсак, ни Толстопят не видели и не слышали. Толстопят же рассказал по дороге, что они успели все-таки попрощаться.

— Прости меня...— шевельнул губами Ювеналий, в эту минуту не святой отец, а Дюдя, его спутник по несчастью в 1918 году по российским губерниям и по Константинополю в 1921-м.— Хотел бы в ноги тебе поклониться, прощения просить, да не могу, слег. Та́к прости...

— Ты́ меня прости...— ответил Толстопят.

— Мне уже хорошо.

Толстопят перекрестился.

И вечером, и через неделю в машине, когда ехали в Тамань, Бурсак гадал: почему Ювеналий так сказал? «Ты свидетель, ты и пиши...» Свидетель чего? Почему он, Бурсак?.. Если бы внушил ему бог написать про всех, кого он видел, и написать так, как оно было, вышла бы, наверное, редкая КНИГА СУДЕБ. «Все, что видели глаза мои, о том они скажут когда-нибудь...» Видимо, каждый, кто заканчивает свою жизнь, огорчается в какие-то пронзительные минуты воспоминаний: о жизни, которая была крестным ходом целого поколения, так никто вещего слова и не сказал. А душа ждала! Должно же остаться о русской судьбе нетленное слово!

— Я одно только могу уже совершить, Петя,— сказал он Толстопяту.— Не буду я больше писать этих дурацких стихов.

— Благослови господь! Я мечтал сказать тебе это еще двадцать седьмом году, но я боялся, что ты обидишься.

Под станицей Ивановской, по левую руку, вдали к Кубани, застил простор Красный лес, некогда место охоты начальственных лиц. По нему на десять верст протекал Ангелинский ерик. В лесу раньше водились олени; осенью и зимой, когда олени теряли рога, жители собирали этих рогов до десятков пудов и продавали в ремесленные школы по двадцать шесть копеек за фунт.

— Кожа шла на сбруи и стремена,— сказал Толстопят.— Когда казаки в семнадцатом году с фронта вернулись, перестреляли всех. До тысячи погибло в Протоке под Славянской.

— Сейчас опять есть,— сказал Лисевицкий.— А вот в

Ивановская, родина академика, пшеничного батьки Лукьяненко. Скромнейший!

В дороге иногда подолгу молчали; мелькавшая степь помогала думать... Степь, небо и ты, и это прихотливое перескакивание мыслей через пропасть лет, через земные версты, от волнений бытия к кладбищу, от любимых барышень к старухам, от философии к пустячку, к тому, например, что затылок у Лисевицкого выпуклый, а ботинки Толстопята стоят в Париже столько-то франков. Искрами пролетали в сознании смутные тени подсудимых Темрюкского отдела, которых Бурсак защищал в некие туманные годы,— какие-то (существовавшие все же на свете) бабы, воровавшие у господ драгоценности и платья, молодые казаки (насильники девочек), убийцы, неверные жены, да, все были отсюда, с хуторов и станиц, жили, затевали делишки ради какой-то нестерпимой цели, и, может, кто-то еще досе сидит на кухне и кусает беззубым ртом хлеб. Зато о жизни после 1924 года не выколупнуть ничего. Ангелинский ерик под Ивановской, Гнилая гора, Мыска, Замостянские низы с болотцами у дворов в Темрюке, валы Голубицкой — все молчало, точно ехал он голландскими землями. И оттого казался он себе чужим. Нет воспоминаний, и нету жизни. Случилась все же утрата. Эти балки, горушки, плавни и перелески в чудесном фантастическом сне могли бы перечислить ему события новой истории и каверзно спросить: а ты где тогда был? копал ли ты рвы, наводил мост через Кубань, тонул при немцах на катере в гирле Пересыпи, шел в сорок третьем трое суток пешком в Краснодар передать хлебушек узнику-страдальцу?

В Пересыпи они поглядели с кручи на морскую равнину и на вылизанную волнами песчаную полосу, покричали дельфинам.

— Пересыпь была началом Суворовского редута,— както устало, без обычной громогласности просвещал Лисевицкий.— Вокруг островки затоплялись водой. На холме был греческий город Тирамба, до нашей эры. Ахтанизовский лиман обмелел: в начале века, когда вы с мадам Бурсак отдыхали в Анапе, тут ходили до Темрюка маленькие пароходы.

— И это тогда-а уже,— замечал Бурсак.

— Верблюжью колючку где бы достать,— говорил мне Толстопят; мы стояли в стороне.— Помогает.

— Я бывал в Греции,— все беседовал Бурсак с Лисевицким.— Представьте себе, в Дельфах, на развалинах теат-

ра, я стою в кругу, а вы на вершине лестницы для зрителей, и только я чуть-чуть пошевелю губами, а вы уже слышите...

— Верблюжья колючка в Средней Азии, Петр Авксентьевич. Я напишу дяде.

— А недалеко от Салоник святая гора Афон, там наши монастыри русские,— спросите у Петра Авксентьевича, он там бывал, неужели не рассказывал? С писателем Борисом Зайцевым...

Лисевицкий держался пальцами за пуговицу бурсаковской рубашки и дудел свое:

— У нас в Тамани жил, по некоторым сведениям, дед оратора Демосфена...

— Замечательно! Напишите об этом.

— Природа вырвала у меня перо из рук, когда я еще был в пеленках, месье Бурсак. Я не умею. Но как я люблю жизнь, месье! — Лисевицкий, словно ради доказательства, обводил рукой вокруг.— Я оптимист неслыханный. Мы выкинули лозунг: превратим Тамань в советскую Шампань! Слыхали? Ах, простите, вы ведь живете в Париже. Забыл. Я все считаю вас кубанцем. Оставайтесь на родине. Я подарю вам массу великолепных книг. Оставайтесь. Ваш богатейший опыт поможет нашему общему движению вперед. Какая красота! Какие богатые земли! По этой дороге, мимо Ахтанизовской, мимо горы Блювака, тянули возы ваши предки... Ах, я счастлив... Едем! Впереди героическая Тамань...

В Тамани, приморенной зноем, на этом краешке земли с известковыми пятнами хаток, с приморскими улочками по буграм, земляной стеной у сухого озера и увитым до самого дна травою рвом, кончавшимся близ вонючей морской камки, у словно нарочно не сваленной, какой-то кособокой сказочной хатки в одно окошечко, с пристанью и, конечно, памятником родному запорожцу, они пробыли три часа. У памятника Толстопят сурово молчал, как молчат люди, которые были здесь когда-то в другой компании и что-то важное переживали. Он даже не подошел к старичку Нестору, говорившему Лисевицкому о местном Толстопяте, двоюродном дядюшке Петра Авксентьевича, о его печальной смерти в 1917 году; не подошел, но все слышал. Зачем ему? — он знал все это, и отец его знал, и сестра Манечка. Неведомо почему баламутный Лисевицкий сдержался и не подтащил старика к Петру Авксентьевичу: «Да вот же Толстопят, познакомьтесь! Есаул конвоя его величества!» Наверное, забылся.

За баней, на раскопках города Гермонасса, он взял за руку Бурсака и провел вдоль проволочного заборчика почти к краю обрыва, стал напротив дверцы, не пускавшей во двор с круглым колодцем. Вся белая, игрушечная хатка с ведром на трубе накрылась тенью от деревьев.

— Здесь... В одиннадцатом году. Ночевала красавица Калерия Шкуропатская. Ясно? У слепого звонаря.

Он позабыл, перепутал. Не здесь, а к востоку за рвом ночевала Калерия. Он забыл даже, что там рядышком стояла церковь Вознесения.

— Не лермонтовский ли звонарь?

Толстопят пожал плечами.

— Доктор медицины,— говорил,— прохвессор латыни, та уси будемо там, уси будемо там. Мы должны с тобой, Дементий Павлович, почаще становиться на колени и благодарить бога.

— За что же это?

— За то, что-о... По всем кладбищам лежат наши товарищи, родственники, сверстники, а мы еще на ногах! Рассказ я читал недавно, фамилии не помню автора, в «Огоньке» было. Плачу и рыдаю, пишет, егда есть жизнь!

— Юрий Казаков,— сказал я.

— Плачу и рыдаю, егда есть жизнь. И глаза мои еще открыты. Радуйся, Дементий Павлович. В Париже будешь как о счастье вспоминать. Вон и Керчь видна, я даже гору, по-моему, Митридата вижу. И вон детишки с пристани бычков ловят. И какая-то красавица переулком идет. Все как всегда. Ни на минуту не останавливается жизнь.

В церковь пустила нас неприветливая морщинистая старуха в черном платке; мало кто знал, что она из Смоленской губернии. Я беседовал с ней еще в те годы, когда она жила на краю станицы и в церкви свечами не торговала. Она была очень заметна в Тамани своей чопорностью в разговоре, монашеским черным платком и необщительностью. Лисевицкий ей что-то шепнул, и она тотчас открыла церковь. За своей оградкой в углу, под иконами, она тайком прислушивалась, о чем говорят Толстопят и Бурсак.

— Гляньте, гляньте,— суетно звал Лисевицкий.— Святая икона Николая-чудотворца. Надпись: «Усердием И. И. Толстопята». Ваш дядюшка, месье Пьер?

— Ну что ж. Надеялся на прощение грехов. Не в церкви будь сказано, но в одном белье, бывало, из печи вылезал, весь в саже. У казачки ночевал и спрятался, когда постучали.

Я устал и загрустил. Нельзя, видно, бесконечно ловить

вчерашний день. Все же я не Лисевицкий: среди одних воспоминаний я жить не могу. Со мной часто случалось такое: в разгар интересной беседы в доме Толстопята (все, конечно, о том, как он пел по городам Франции, купался с испанской инфантой, видел великих княгинь, царских сестер, то да се) на меня наваливалась такая тоска по несвершенным заботам, меня тянуло к сверстникам, в текучку, черт знает куда, но чтобы жить и тратить часы на отпущенное мне бытие. «Да,— говорил я,— все это прекрасно, мило, старые люди, история, чужие предания, но, но, но!.. Они свое прожили. Не засиделся ли я возле них?»

— Стыдно признаться,— сказал Бурсак, когда выезжали из Тамани,— но... я начинаю тосковать по Парижу.

— Вас разве ничто здесь не тронуло? — спросил я.

— Меня, мой милый друг, трогает все. Но! Il ne faut pas me vouloir il faut me comprendre[1]. О моих переживаниях, воспоминаниях и прочем лучше не говорить, пусть они останутся при мне. На этом, пожалуй, можно и поставить точку.

Всю обратную дорогу молчали. С вами бывало так? Иногда в городе долго с кем-нибудь водишься, а потом поедешь с ним на денек в глубинку и поймешь, что жить с ним тяжело — чужой и противный. И так же вдруг ударило меня нынче. Чем-то раздражал меня холеный господин Бурсак. Мне показалось (хотя не было доказательств), что он никогда никого не любил и ничему не был предан во святости. За границей чванился перед голью сиротской своей запорожской фамилией, а на родине забытые заслуги предков позволяли ему нести себя как бы выше других. Едва ли я ошибался. Холодный какой-то господин, уже не свой, не кубанский. Не то что Толстопят, открытый и всем милый Петр Авксентьевич.

В вежливом равнодушии Бурсака я еще раз убедился вечером, когда заглянули мы в Елизаветинской к Федосье Христюк. Затащил нас к ней нетерпеливый Лисевицкий.

Она сидела за воротами с соседкой, испуганно дивилась, как из машины вылезают четверо (двое молодых и с ними два хорошо одетых старика — наверное, начальство). Лисевицкий полез обнимать ее, кричал на всю улицу. Она повела нас в хату. Высокая, как метла, нескладная, Федосья усадила гостей, надела красную кофту и стала рассказывать «ученым людям», как она поживает.

Лисевицкий теребил ее престарелыми вопросами:

---

[1] Не надо обижаться на меня, надо меня понять.

— Журналов не завалялось? календарей? черкески или шашки?

— Моя ж ты деточка,— жалела старуха, что ничего у нее нету,— когда мои подружки учились, я на конях навыпередки бегала, а книжек не читала. Фотокарточки вынесу.

Три фотографии на картонках освежили чувства Бурсака и Толстопята. На одной она стояла со Скибой у крыльца дачи мадам Бурсак в Елизаветинской. На второй молодые Бурсак и Калерия у того же крыльца, а Федосья вдали с граблями. И на третьей чья-то большая семья, в центре важный казак в новой черкеске — атаман станицы.

— Это вы замужем? — спросил Бурсак, отбирая у нее фотографию, где она со Скибой.

— Не-е. Це работник. И я была в работницах у Бурсачки. Она сама жила в Екатеринодаре. Я ей была неровня, а она мне не по нраву. Любила, шоб у ней ручку целовала после чая. Ну она мне привозила ситцу на споднипу. Сбежала чи в тот Париж, чи в Турцию.

— А вы всю жизнь одна? — не первый раз донимал ее Лисевицкий, хотя давно изучил назубок ее биографию.

— Я рано, деточка, замуж вышла, семнадцати годов.

Толстопят спросил:

— Вы в каком году родились?

— В восемьдесят четвертом. У нас в роду по сто годов жили. И живу, а нема никого. Вот нема уже моих годов. Семь женщин, сказал председатель, семь душ на станицу таких, как я. Пятеро мужиков схоронила. А цего,— ткнула она пальцем на фотографии в Скибу,— спасла от бандитов.

Я в уме своем приближал ту минуту, когда старики вдруг узнают друг друга. Но пока в их глазах ничего такого.

— Скиба! — Лисевицкий схватил фотографию, мечтая навечно спрятать ее в свой портфель.

— Ей-богу,— перекрестилась Федосья.— Не брешу. Его взяли белые. Я поехала в Екатеринодар. Захожу, сидит офицер. Молодой. «Что вы хотите?» — «Мой брат у вас в плену».— «А-а, как фамилия? Ваш брат враг отечества». Я стала плакать: не-е, мой брат не враг отечества. «Знаете вы, куда пришли? Мы его расстреляем».— «Я хоть последний раз взгляну на него». Меня подвели в подвал, я его там не нашла.— Она заплакала.— Не буду дальше рассказывать.

Толстопят слушал хмуро. В 1919 году много приходило женщин в штаб, плакали, просили,— может, и Федосья была у него. Не помнил.

— У нас тут девяносто душ расстреляли. И сына нашего расстреляли в плавнях.

Лисевицкий задергался.

— Это было уже после Корнилова?

— Ага, после Корнилова.

— А как привезли убитого Корнилова, вы помните?

— А я ж его купала,— сказала Федосья так просто, как будто она купала ребенка.

— Да-а вы что-о? — Лисевицкий вскочил.— Купа-али? Как купали?

Лисевицкий мешал мне своей неуместной наивностью, и я зло дернул его за руку.

— Обмывала мертвого.

— Да не может быть! Обмывали? Корнилова? Кто же вас подпустил к командующему Добровольческой армии?

— Мертвые не командуют,— сказал Толстопят.

— А ну расскажите. Это же история. Это было во время штурма Екатеринодара тридцать первого марта восемнадцатого года,— пулеметом сыпал слова Лисевицкий.— Белые переправились через Кубань под Елизаветинской и пошли в атаку к кожевенным заводам и Сенному рынку. Генерал Эрдели обошел с конницей Екатеринодар с севера. Уже на Кузнечной кое-где обыватели выставили столы с водкой и продуктами. И вдруг снаряд попадает в хату и убивает Корнилова. Паника. Не вы, Петр Авксентьевич, сидели во дворе занятого дома и обсуждали будущее, когда пришел кто-то и сказал: «Четверть часа тому назад убит генерал Корнилов»? Командование принимает Деникин, и начинается отступление.

Толстопят с улыбкой слушал Лисевицкого. Можно ли было тогда, в марте 1918 года, представить, что спустя пол века вот так кто-то будет сидеть в станице Елизаветинской у старухи и самоуверенным голосом долбить о смерти белого генерала, про которого ему известно столько же, сколько и про другие смерти добровольцев.

— Вот сказали,— начала старуха,— шо Корнилова убили. Ось вступили до нас, уже войско вошло в станицу. Ось вступили до нас, привезли Корнилова в станицу к хате Левченко.— Федосья постучала по столу.— «Хозяй-айка! — ко мне идет человек с винтовкой.— Можно к вам?» Я выхожу: «Кто там? Если с винтовкой, то можно, я никого не боюсь».— «Вы Христючка?» — «По батьку, а по мужу Шевченко. Какого лиха надо?» — «Собирайтесь!» — «А я собрана».— «Пойдемте».— «А куда?» От, думаю, арестовывают меня. «Скажу куда. Еще бы одну, как вы». Я кричу сосед

ке: «Миновна! Идем со мной. Меня арестовали, а я тебя арестую». А дети мои в плач: «Мама, не ходить, мама, не ходить... Война, це вас там расстреляют». А меня ж тягают за сына. Приводят нас в хату. С соседкой.

— А ваша соседка жива?

— Жива!

— Жива?! — Лисевицкий никак не мог поверить.

— Жи-ива!

— Где живет?

— Ось! Я б вас повела, она б вам рассказала, вы б тогда поверили мне. Це я вам правду кажу. Входим в хату — лежит! Та́к вот,— она перекрестила на животе руки.— «А,— спрашиваю,— шо нам делать?» — «Сейчас. Вода греется»,— сказал солдат. Ставни так закрыты. Лампадка горит.

Толстопят склонил голову, давил в себе чувство. Так не хотел он всегда, чтоб прошлое возвращалось, но теперь его возвращала простая казачка Федосья. Лисевицкий онемел от чудес: перед ним старуха, которая обмывала Корнилова! Это все равно что найти рукопись Цицерона.

— Воды налили, раздели его. Он весь в крови, повыпачкано тут и тут, и пазуха в крови. Мы его обмыли хорошенько, повытирали. Белье принесли, часы золотые и кинжал золотой. Надели на него все.

— И кровь была? — не верил Лисевицкий.

— Была, была.

— А похож на русского?

— На черкеса.

— Калмык!

— Невысокого росточку, скуластый.

— Вам сказали, что это генерал Корнилов? — допрашивал Лисевицкий.

— Сказали. Нам в хате сказали: «Знаете, женщины, вот вы моете генерала Корнилова, а кто из вас пар из рота выпустит, пока мы уйдем из станицы, то вас расстреляем за это. Никто нигде!» Привели нас с винтовкою до хаты и сказали: «Вот так шобы. Все! Ни от кого не слыхали, и никто не знает!» Вот истинная правда. Це на моих глазах, на моих руках.

— Куда ж его повезли?

— Дорогою вперед поехали. Выкопали в немецкой колонии яму, закидали и конями затоптали.

Лисевицкий, знаток гражданской войны, не унимался:

— А когда в городе потом труп таскали, это он был?

— Солдата бедного якогось. Конь же тягал. Я могу перекреститься. Вот. Это законный Корнилов, а то солдат.

— И никто не знал, где закопали?

— Никто-никто.

Толстопят повел губами. Двадцать пять высших офицеров получили на руки чертеж-карту захоронения белого вождя — с тем чтобы кто-то (пусть последний) вернулся когда-нибудь и указал место. Они все уже умерли в эмиграции.

— А в чьей хате обмывали?

— Сейчас скажу. Она и сейчас стоит. Ой, забыла. Ну нехай!

— Так никто и не узнал?

— А кто ж узнает, если из рота не выпустишь?

— Сколько лет молчали?

— Та года два. «Кума,— говорю,— смотри ж, шоб мы были правы». Нас с винтовками вели и сказали: «Если вы выпустите пар из рота, вот этой винтовкой вас...» Вот. Я старуха, брехать не буду. Так было, чего ж?

— Какая потрясающая у нас история! — воскликнул Лисевицкий, привстал и обнял Федосью: — Вы историческая личность. А это...— Лисевицкий подумал уже было сказать все по правде, но я мигнул.— А это... профессора мединститута, они на пенсии.

— А-а... Я ничем не болею.

— Жизнь ваша такая тяжелая,— сказал Лисевицкий.

— Не. Я хозяйка была хорошая. Я и в колхозе была передовичка.

И надолго замолчала.

Великая печаль паутинкой приспустилась к Бурсаку. Где же та небесная душа, те скрижали мира сего, которые помнят все и всех? Не сама ли степь? Какие минуты! — за полосой домов несутся по дороге машины, по станице от двора к двору со свежими газетами и письмами ходит почтальон, везде снует забота текущего дня, а во дворе Федосьи Христюк сидят **о н и**, свидетели целого века. Федосья с невинной крестьянской простотой поглядывала на них с Толстопятом. И Бурсак думал, удивлялся: какой-то дождливый вечер 1908 года, дача тетушки Елизаветы у Бурсаковских скачек, работник Скиба и с ним Федосья, круча, с которой прыгал в Кубань дед Петр Бурсак, Екатеринодар во все времена года, 300-летие дома Романовых и свадьба с Калерией, война, революция, отъезд в двадцать четвертом году за границу, Европа. На целые десятилетия улицы Парижа, русские газеты, генералы, великие князья, сестры покойного государя, писатели, певцы, казаки-скитальцы, опять война, очереди сорок шестого года в советское

посольство, опять города Европы, Америки... а она, Федосья, жила и жила себе в этом дворе — как и ее отцы и деды. Это всегда так: если куда-то вернешься после долгого отсутствия, странное великое чувство охватывает душу: здесь была жизнь? без меня?! И он даже повторил: «...1908 год, войны, Европа, а она жила в своем дворе...»

— Вы ж Шкуропатскую знаете? — спросил Лисевицкий.

— Ну а как же!

— Бурсаковские скачки где?

— У домика, где Корнилова того убили. Он стоит, в нем люди. Це старый Бурсак с лошадью там прыгал. Так казаки рассказывали. Завязал коню глаза, тю-у — бурку накинул, разогнал и прыгнул. Тому, кто тело поймает, обещала семья кувшин золота. Мой дед и поймал его.

— А где ж кувшин?

Федосья посмотрела на него с подозрением, подумала-подумала и вздохнула:

— У меня был, я в него крупу ссыпала, а пототом с колышка у меня его кто-то снял и унес.

— Это невозместимая утрата,— с трагедией в голосе сказал Лисевицкий.— Может, как-то поискать, поспрашивать во дворах?

— То, деточка, до войны было, где ж искать? А зачем он?

— Какой роман, какой роман! В духе Дюма пламенная любовь казака, прыжок с лошадью в Кубань, золотой кувшин с монетами, кувшин похищает у деда внучка, у нее похищает любовник, любовника убивают в гражданскую войну и т. д. Ха-ха. Можно так и назвать: «Потерянный кувшин». Успех у масс был бы потрясающий. Так неужели же нельзя его найти? — снова пристал он к Федосье.— Скажите, я заплачу любые деньги тому, кто отдаст. Это же реликвия. Я бы с великим удовольствием напился из этого кувшина воды и был бы здоров как бык — от счастья, что этот кувшин... этот кувшин...

— Ну пойдемте,— сказал я.

— Приходите осенью, картошки дам по ведру.

Лисевицкий наклонился и крикнул ей в ухо:

— А песни старинные поете?

— Пожалуйста.

Лисевицкий страстно припал к ней, задергал:

— Ну спойте, спойте одну!

Она с достоинством кивнула: ладно.

Козак отъезжает, а дивчина плачет:
«Куда едешь, козаче-е?
Козаче, соколе, возьми меня с собою
На Украину далэку-у...»

Старики прощались. С почтением к старцам в гладких костюмах прощалась Федосья, звала к себе еще, еще раз пообещала, что даст осенью по ведру картошки и бурячков. Еще раз потрогал «драгоценную руку из XIX века» Лисевицкий. Бурсак церемонно поклонился и вышел задумчивый. Толстопят сказал: «Увидимся у Шкуропатской, приезжайте». Я пообещал наведаться как-нибудь.

На сухой ветке старого ореха Лисевицкий потрогал опрокинутый донышком старинный кувшин, побарабанил пальцами, но даже у него, антикварной крысы, не хватило воображения подумать, что, может, то кувшин бурсаковский, хранивший золотые монеты. И одним небесам было ведомо, что кувшин тот самый.

— Какой роман, какой роман...— бормотал Лисевицкий.— Надо было сказать, кто вы. Как бы она обрадовалась! Ехали, говорит, по степи со Скибой, а я пела...

— А теперь,— сказал Толстопят громко и протяжно,— поедем ко мне, и я угощу вас борщом собственного приготовления. По рецепту моей матушки. Не будем заезжать на Бурсаковск е скачки. Хватит на сегодня, как считаете?

Мы проехали мимо берега Кубани, мимо домика, где был убит генерал Корнилов, миновали ГАИ, сельскохозяйственный институт, повернули, еще раз повернули и оказались на Красной, там, где она кончалась в старину у пустыря, невдалеке от Братского колодца...

Золотой осенью Лисевицкий заехал к Федосье Кузьминичне отнять у нее любой ценой фотографии и, прощаясь, сказал:

— Федосья Кузьминична! А знаете, кто у вас был тогда? Остроносый, в красивом костюме, и второй, широкоглазый? То ведь был Дементий Бурсак, племянник Бурсачки, и...

Старуха Федосья презрительно молчала.

— Я их узнала,— сказала она наконец.— Да зачем? То отжило уже, зачем их мучить? Про второго я не сразу сообразила, шо то, наверное, я к нему ходила хлопотать за Акима Скибу в девятнадцатом году чи в восемнадцатом. Засыпать стала, думаю: наверное, я к нему ходила. Такой же широкоглазый. Та на шо оно? Уже то давно похоронено и уладилось. Пускай думают, будто я такая старая и не признала...

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Напоследок Бурсак съездил в станицу Каневскую один, нашел тетушкин дом возле камышей, с теми же окнами, из которых он тогда, за бумагами деда Петра, любовался снежным покровом; побывал он и на хуторе, перешел по мостику речку Челбаску, побродил, ни о чем никого не спрашивая, только оглядывая дворы, огороды и степные раздолья с птицами. Был ясный звенящий день, и казалось, то же Время царит над степью, под голубым нетленным небом, только разве бурсаковских табунов не видно... Где-то в станице, застроенной домами и гаражами, лежит вся его родня — от самых первых запорожцев. «Слабым будет последний род»,— говорилось в писании. Прощайте! Уж близок и мой час,— несла им душа в вечную обитель свою весть. Уж некому больше будет прийти сюда, потосковать о вас. Прощайте.

За день до отъезда еще раз повидал он Пашковскую, Панский кут, Бурсаковские скачки, а в городе обошел все уголки детских и юных впечатлений: сад со сторожевой насыпью, низины за рекой Кубанью, Чибийские плавни, кут Кухаренчихи, уголок Канатовых (там в новом здании почта), сад Ирзы, Карасунское озеро, двор с пивоварней «Новая Бавария», пристань Дицмана, Чистяковскую рощу и от конца до конца улицу Красную.

— Да-а...— сказал он Толстопяту.— Вот именно, именно: здравствуй, племя младое, незнакомое!

Держался сухо и строго все часы, но когда укладывал в чемодан белый мешочек с земелькой, взятой на хуторе Бурсак, потер пальцем глаза и сказал себе: «Ну всё! Всё уже, всё...»

ИЗ МОЕГО ДНЕВНИКА

Писание свое надо таить от людей до тех пор, пока оно не окончено. У меня все сложилось иначе: о моих помыслах были осведомлены почти все. Милый, отзывчивый Лисевицкий, ждавший моей книги с трепетом, вредил мне своей откровенностью еще пуще. Он всюду славил мой несуществующий роман: «Офицеры воруют барышень! Скачки по всему городу! Дамы ездят в Париж делать пластическую операцию лица. Будет Петербург, Царское Село, высочайший двор, описание дома свиданий и прочая светская жизнь с балами, флиртом и разного рода пикантными приключе-

ниями. Масса детективных элементов». Мне советовали поменьше рыться в архивах и тревожить старожилов, побольше сочинять, но я упрямился. Сочинять было стыдно. Через пятьдесят лет даже кафе «Чашка чая» выплывает сказкой. Город, в котором молодыми жили мои герои, ушел в небытие. Сначала мне нужно было собрать по зернышку его черты. Выбор героев зависел от самой судьбы: на страницы романа взошли те люди, которые пережили других и больше всего мне рассказали. Разумеется, не все, а некоторые. Я временами чернел от мысли, что стараюсь напрасно. Нужно ли вообще оборачиваться так далеко назад? Погляди на нынешний день: не тени забытые, а живые люди трутся о твое плечо в трамвае, несут детушек в сад, поют песни, горюют и читают в газетах о страшной войне во Вьетнаме. Я все это понимал и ничего с собой поделать не мог: жалко было и горожан, никем никогда не помянутых. Между тем нам никогда не проникнуться прошлой жизнью как следует. Тайна ее лежит на самом дне. Еще и сочинять?! Всякая литература искажает историю. Да и кто я такой, чтобы писать о Екатеринодаре?

Я измучился: мне досаждали еще скрытые недруги — вроде нагловатого профессора истории. «Посмотрим,— хмыкал он с какой-то даже угрозой,— что вы нам преподнесете». Да, были в городе люди, которые почему-то взяли манеру говорить от имени всего общества, которое их об этом не просило. «Я бы этих недобитых казачков — всех расстрелял! Были же годы!..»

— Пишите,— торопил меня Толстопят,— пишите, пока мы живы. Что-нибудь да подскажем.

— Вот осенью в Париж съезжу — тогда примусь вовсю.

— С кем в Париж?

— С туристами.

— Черт его знает! Париж. Поезжайте. Я вас буду встречать.

Задолго до сентября я всем разболтал, что еду в Париж. Дела мои разделились: это до Парижа, это после. «Вот вернусь из Парижа,— обещал я старикам в Пашковской,— тогда зайду». Мои беседы с Толстопятом прерывались мечтаниями о моей поездке.

— Вы меня возбудили, мон шер,— сказал он как-то.— Я засыпаю и думаю о том, как вы поедете, увидите Булонский лес, Елисейские поля, Монмартр и, может быть, домишко, в котором жил ваш покорный слуга. Зайдите в церковь на рю Дарю, где я в двадцать седьмом нашел Юлию

Игнатьевну. Бедняжка, ее нет с нами. Позвоните Бурсаку. Поезжайте, поезжайте. Не пожалеете. Когда-то мадам Бурсак ездила каждую зиму. А вы чем хуже?

Десятого августа я встретил Верочку. Она стояла на углу улиц Ворошилова и Красноармейской с Лисевицким, одетым во все белое. Я шел из архива и напоминал, видно, того неудачника, который чем-то увлечен, но пока никакого толку. Минуту назад Верочке было весело и хорошо с Лисевицким, и вот она на глазах изменилась; ей почему-то неудобно за него, она даже отступила на несколько шагов, сдвинула брови, словно и я был виноват в том, что застал их в конце аллеи Ворошиловского сквера. Она еще более злилась на Лисевицкого во время нашего разговора. Все романы кончаются. В первое утро, провожая Лисевицкого к акациям за ворота, она устрашала себя: «Вот и все, больше он не придет...» Потом она раза три ночевала у Лисевицкого, почти не спала, караулила первый свет в окошке. Пять часов утра! Она идет вдоль трамвайной линии, и ей кажется, будто во всем мире она такая одна — и счастливая, и немножко грешная: все, кажется, живут так обыденно, откровенно, им нечего таить, и нынче ночью только она, Вера, обнималась с мужчиной. Так она нашла счастье в скрытой любви. Ради этого книжника она лгала поклонникам и подругам: уезжаю-де в станицу, болею, устала и т. п. Лгала в день своего рождения, чтобы никто к ней не пришел. Все ради него, полоумного книжника. Ее жалели, такую красивую, одинокую, подсылали к ней женихов, но она почему-то ломалась. «Я все равно сбегу,— говорила.— Без любви не могу». Ей звонили сорокалетние холостяки, по телефону им легче было утонуть в нежности к ней: «Если б вы знали, что у меня на душе, когда слышу ваш голос». Она невинно смеялась и отказывала в свидании, отказывала все же мягко, безобидно, так что еще приберегалась вроде надежда (по крайней мере, звонить и уговаривать). Одинокой женщине нужно на всякий случай поддерживать мужской восторг. Долго ли бы она протерпела — не подоспей Лисевицкий? Месяц, два. Однажды ехала бы она из станицы, где записывали они по дворам народные песни, и сказал бы ей стройный, как мальчик, добрый кандидат наук в вельветовой куртке что-то ласковое, предложил бы завернуть к своим на ночевку. И была бы тишина, степное одиночество, и она бы, не напуганная мыслями, что должна беречь себя для другого, приняла час своей участи с роковой покорностью, как что-то позволенное и спущенное ей самой судьбой. Лисевицкий успел.

Ее выбора никто бы из подруг не одобрил. Наверно, недаром она скрывала свою связь. Ее порою раздражала нескончаемая детскость Лисевицкого. Со своими легендами о екатеринодарских старушках, наивными задолбленными вопросами, он крутился на людях подобно опереточному персонажу. Во всем городе не было театрала, который бы стучал в гримерную с бутылкой шампанского. Тысячу раз спрашивал он при ней у Толстопята: «Ну и что? Царь в четырнадцатом году махал рукой сидя или просто стоял? Бабыч ехал за ними или впереди! Впереди?! И что ж он — лицом к царю был или спиной? Да что вы говорите! Так и кричал полицмейстер: «Сзади меня едет государь!» А вы где? Ах да-а, вы же были на фронте! Вы шли аллюром три креста. Так вы же навеки в истории великих войн!» Сколько же можно было слушать? Кому теперь нужны войны, парады, громкие имена, кафе и погребки, дамы и господа, все эти мертвые души? И это «вы навеки в истории» и «дайте вашу бронзовую руку» она слышала каждый раз. Сначала было очень мило, но потом утомляло. Святая простота, оказывается, не так уж удобна. Но молодость! Но жажда любви, уединения, ласки, прикосновения! Верочка все равно жаждала минуты укрытия, и какая-то радость была, когда наконец-то прощались со стариком, мимолетно намекнувшим им о романтической истории в 1908 году, какая-то торопливость слов и фальшь сожалений о «расставании с вами, месье Пьер»,— скорей, скорей сбежать к себе, защелкнуть на замок двери и соблазнять друг друга обещаниями вечной любви! Молодость еще с ними, и угроза будущего так далека! Верочка летела к своим воротам как на крыльях. Но на своей улице, вылавливая во тьме номера домов (40, 34, 30, 28), приближаясь к акациям, она стерегла мгновение: не скажет ли он вдруг «до свидания»? Лисевицкий повернул ручку и, подобно хозяину, пригласил Верочку во двор. Верочка уже с трепетом ловила пальцами в сумочке холодные ключи...

Мы молчали. Верочка грустно, с воспоминанием поглядывала на меня. Она будто звала меня на заговор против Лисевицкого. Она теперь была рада мне; вижу: ей одиноко, грустно. Давно кончилась наша короткая юношеская история, но каждый раз при встрече искрами взлетал тот день, когда она призналась в письме, что выходит замуж. Как я страдал тогда! Кто тот ненавистный человек, вдруг всю хрустальную нежность мою разбивший на кусочки? Через три года она разошлась, и я снова ее видел на Красной. Но мне мешало снова кинуться к ней ее трехлетнее прошлое.

Я женился, и Верочка никак не соприкасалась с моей жизнью.

— Какие новости?

— Новости? — Лисевицкий вытянул свое худое лицо.— Разве вы не читаете «Советскую Кубань»? Скоро начнется расчистка Карасунских озер, будем плавать на лодках. Покататься, а потом в награду получить ласку прелестной женщины. А вы? Опять по станицам собирать материал?

— Не-ет, в сентябре в Париж уезжаю...

— Да что-о вы говорите?! Неужели насовсем?

Верочка вихрем сорвалась с места и тихо пошла по аллее — так тяжело было ей переносить младенчество Лисевицкого.

В сентябре суждено было мне поехать с Верочкой под Тимашевку. Был чудесный день, 15-е число, то число, которое должно было ознаменовать мое прибытие в Париж. После французского обеда мы полетели бы в средиземноморскую Ниццу. Вместо этого меня трясло в разбитом автобусе, жужжавшем на ростовском шоссе. Я глядел на часы: вот уже вылетели из Москвы, развалились, пьют воду, курят; вот летят над Европой; вот уже аэропорт Орли, французские слова на щитах и указателях, и вот Елисейские поля! С собой в Тимашевку я взял зачем-то путеводитель по Парижу на английском языке. Мне были понятны только названия площадей, гостиниц, театров да исторические имена. Там была еще карта Парижа, но я не нашел ни предместья Сент-Женевьев-де-Буа, ни улочки Жака Оффенбаха. Для меня она была главной улицей в Париже. Я как будто и летел туда ради одного Бунина. «Ну что ж,— успокаивал я себя,— что ж теперь делать... Умру, а Парижа не увижу. Подвела медицинская справка».

До полудня я помогал Верочке записывать кубанские песни, направлял микрофон да в перерыве расспрашивал казачек.

Завело нас нечаянно в то место, где родилась и впервые оступилась Швыдкая, впоследствии монахиня Марии-Магдалинской пу́стыни. Проговорились наши певуньи. Сама пу́стынь, вернее земля пустыни, была в трех верстах за озером. И что же наша Швыдкая? Наверное, она думала на старости лет, что замолила свои грехи и покрыл бог тайною ее непутевую молодость, но нет: если и вправду очистишься, наложишь на себя вериги святости, все равно уцелеет какая-нибудь простушка с хорошей памятью и выболтает все темное.

— Стоял полк у нас. Она одному полковнику, Шкуропатскому, носила молоко.

— Это у них была дача под Роговской?

— Брата его. Я их знала, дочка у них Калерия где-то в Новороссийске пропала. И она, Олимпиада эта, понравилась Шкуропатскому, дяде Калерии. Ее мужик работал на степу: цоб-цобе, цоб-цобе. Она и позналась с полковником. Носит молоко и носит. И, видать, договорились уехать. Как же ехать? Полк уже отправился в Карс. Поехала якобы за водой к озеру, набрала бочку, выехала, быков распрягла, за ярмо привязала, рубаху свою скинула, на ярмо повесила. А тут уже был подан фаэтон. И прощай, родная сторона. Полковник ее там же бросил. И она умотала в Екатеринодар, повелась с нехорошими дамочками. Надоело, и написала она Ивану Кронштадтскому: так и так, что мне делать? Хочу бросить блуд, а деньги в монастырь внести. Все распродала и поступила в монастырь Марии Магдалины.

Сколько людей, столько и толкований! У каждого своя память. Доходит ли к потомкам хоть что-то в точности?

— Когда умирала после войны,— продолжала казачка,— то говорила, что я, мол, святая. А на лицо мое можете посмотреть, если ударите господу сто поклонов. Я, мол, заслужила, чтоб похоронили меня ангелом... Могилу ее разорили; поедете если, увидите крест, туда дальше к забору, чуть не в озеро падает...

Именно за озером, через греблю, жил в поселочке позади сараев бывшего монастыря коммунар. Площадь монастыря, лишенная церквей, засевалась ячменем, его уже скосили; на месте бывших могил стояли комбайны. В двухэтажной гостинице устроили дом для престарелых. Я бы ни за что не догадался, что некогда было здесь святилище земное, остановка на молитву паломникам, юдоль для смирившихся женщин. Старушки то лежали на койках, по-мертвецки закинув головы, то кормили свиней в сарае, то просто созерцали солнечные осенние перелески.

— Видела? — говорил я Верочке.— Вот. Люби жизнь, люби... Живи, наслаждайся каждой минутой. Говори себе почаще и когда невыносимо: я живу! я вижу! хожу! я просыпаюсь здоровой!

— Я послушаюсь тебя. Я чувствую, что жизнь проходит,— сказала она жалобно и отвела взгляд. Тоски ее я не понял. «Надо описать все это,— подумал я.— Но как? Как передать нашу молодость, оранжевые дали, озеро и престарелых колхозниц на лавочке, оставшихся на закате дней без

кормильцев? Как сказать о том, что вот здесь молились, читали святые книги, хоронили и ставили кресты, а теперь пусто? Ни имени, ни строений, ни церквей. В стардоме я нечаянно открыл дверь, то была купальня: повеяло сыростью, холодом, две скелетные старушки немощно сидели возле тазов, стены внизу поросли грибковым мхом. Забыть нельзя, но чем пожалеть и какого председателя выматерить за такое отношение к старости?!

У коммунара, богатыря с большой круглой бородой, с зычным голосом, хозяина просторного двора, полного кур и индюков, последнего коммунара, потерявшего с течением лет всех соучастников общего котла, мы побыли недолго. Жена, дочки, внуки слушали его так, словно прибыли вместе с нами. «О-о! О-о!» — то и дело восклицал он, вспоминая, как сказку, идеальные замыслы коммунаров. Коммуну они устроили прямо в монастыре. Под рукодельной, во флигеле и под амбарами монашки прятали хлеб, семечки; на огороде зарыли ящики с частями от локомобиля и мельницы; мешочек с золотом закопали в саду возле беседки; сундуки с вещами отвезли в лепрозорий для прокаженных на речку Вторые Кочеты. Монахиня Иулиания (та самая Швыдкая) только в 1922 году перешла служить в хлебопекарню; в тот год коммунары отправили церковные ценности весом до пяти пудов в центр, на помощь голодающим. Опять услыхал я о бандитах, которых монашки переодевали в черное и заводили в неприкасаемые кельи, чтоб те потом перебили коммунаров, и про воспротивление Швыдкой («Где в законе божьем сказано, чтоб я завела в келью мужчину?»), и про ее поступок в Тимашевской церкви при немцах.

Верочка устала, и мы уехали в Тимашевск.

— Довольно искать! — сказал я ей в ресторанчике, куда мы вошли голодные как волки.— Прекращаю! Всех в романы не вместишь. Устал я, жутко устал. Душа моя измочалилась.

— Напиши о любви.

— Можно я тебя в образе Калерии Шкуропатской украду на извозчике?

— Если так пишутся исторические романы, то какова им цена?

— Такая и цена.

— Тогда пиши о любви.

— Нет уж, погоди.

— Я буду радоваться за тебя, когда ты окончишь.

— Но какое отчаяние по ночам! Кажется, никто не поймет тебя и не получится главное. Я ведь всего-навсего

журналист, начинал с районной газеты. В романе о жизни, да еще такой, нет места пошлости. Я это понимаю. Всепоглощающая любовь к живому — и только. И трагедия Времени. Лежу в темноте, а призраки будто посылают мне с небес обиды. Зачем ты приехал на нашу землю и молчишь, думаешь, что до тебя здесь ничего не было, а если и было, то только плохое? Чем мы так провинились? Зачем же мы переселялись в стародубовских кибитках из Сечи Запорожской, мерзли на Ейской косе, разбивали вдоль Кубани сорок куреней? Наши дети, внуки и правнуки мокли под ливнями, кормили своей кровью полчища насекомых, лежали на холодной земле в секрете. А кто рубил первую просеку в Екатеринодаре? Кого посылали в конвое в Персию? А турок кто бил? А сады разводил разве тамбовский мужик? Церкви и хаты строил, корчевал терновник? То-то. Так что же вы забыли нас, прокляли и ни единой доброй строкой не помянули столько десятилетий? Хотя бы чей-то слабенький голосок раздался!.. Вот такое они мне ночью говорят. Я, наверное, в чем-то бываю похож на Лисевицкого.

— Ты не огорчайся,— сказала Верочка.— Все у тебя получится.

— Почему ты нынче такая разбитая? Я заметил это еще утром.

Чужие судьбы, память о ком-то, кто закончил свой век, мгновенно улетают от нас куда-то в далекую пустоту, когда мы подумаем о своей участи, о часах и днях, в которых нам хочется быть посчастливее. Так и мы: в одну секунду мы забыли обо всем, что мошками витало вокруг нас только что. Верочка молчала, обдумывала, видно, что мне ответить. Лицо ее с прямым носиком стало скорбно после моего вопроса. Я ждал. Она все молчала.

— Не будешь на меня сердиться?

И она рассказала мне то, что утаила от Лисевицкого.

— Я целый месяц живу под знаком ужасной потери... Я сама себе все перекраиваю, ты понял уже? Я всегда злюсь только на себя. Наверное, важно вовремя сделать единственный выбор, а я всегда металась, всегда м е ж д у. По крайней мере, в любви. Помнишь, я тебе говорила, что в школе с седьмого класса дружила с одним мальчиком? Он любил меня. У меня был целый ящик писем. Когда я с тобой познакомилась у Калерии Никитичны, он тоже писал мне.

— Хоть в чем-то, но женщина всегда изменяет. Я думал, ты от меня ничего не скрывала.

— А мужчина? А ты не скрывал?

— Тогда мне нечего было скрывать. Я был глупое невинное дитя. Ну!

— Он поступил в институт международных отношений; сейчас мы разговариваем с тобой, а он во Франции, в нашем консульстве в Страсбурге. В каждом письме звал меня замуж. А мы только и поцеловались на выпускном вечере разок. Мама уговаривала меня: иди.

Я человек покорный — слушал ее без всякой обиды. В день, когда она меня предала, думал, что никогда больше не поздороваюсь с ней, если где-то увижу. Сейчас я глядел на ее уши в сережках, понимал, чей это подарок, и мне было все равно.

— Сижу я теперь в июле у мамы, отпуск, я в ее халате, хозяйничаю. Подъезжает машина, идет во двор мужчина с трехлетним сынишкой. Ну... Возил меня всюду, где мы бывали в детстве, и рассматривал меня, и жалел, и предлагал мне выйти за него замуж,— хотя у него двое детей. Поздно! Я давно так не плакала. И с тех пор у меня такая печаль, такое ощущение потери... Я сломала себе жизнь.

— Женщина любит не того, кто достоин, а того, кого хочется.

Мне нечем было ее поддержать. Нужно ли молодой женщине сочувствие вместо любви?

— Верочка Корсун,— бормотал я,— Верочка Корсун... Наши фотографии у тебя сохранились?

— Все твои письма и наши фотографии я сложила у мамы, в шифоньере под бельем. У меня там есть уголок.

— Это так давно было. Я тогда не знал даже, в каком году основан Краснодар. Искал счастья в чужих книжках. Помнишь хлыщей на Красной с девицами? Нет, мы не местные, мы приехали с Запада, поднимайте воротнички рубашек, закатывайте рукава, держите сигарету на нижней губе вот так. Газеты их называли «плесенью». Осанка как у героев американского фильма «Рапсодия». Не с тобой мы смотрели этот фильм? Молчишь. Покажи книгу Швыдкой.

Я развернул газету, перекинул корочку, пахнущую сараем, свечами и еще чем-то церковным. «Четьи-минеи», том 12, декабрь. Внутри корочки надпись: «Книга послушницы Иулиании. Дух господень на мне». Другой рукой через много лет добавлено: «Умерла 28 мая в самую зеленую неделю». И на задней корочке, под ценой 3 р., кто-то недовольно выразился: «Не сто́ит!»

— Все умрем...— сказал я со вздохом, думая о своей болезни.— Потому надо торопиться что-то сделать.

— Если тебе будет грустно,— сказала она тоном сестры,— приходи ко мне в гости...

Мы были рядом, одни, никто нигде не смог бы помешать нам, золотистый осенний денек окутался бы волшебным сном, нежное возмездие утолило бы тоску несбывшейся любви. Но *время* незаметно сточило что-то в душе.

— Жена ревнивая.

Настала минута, когда вольному внезапному чувству легко увлечься, но я сдерживался.

— Приезжал Бурсак из Парижа, слыхала? Калерия Никитична принимала его.

— Она его никогда не любила. Мне она говорила давно: «Я часто,— говорит,— лежу и думаю: кого же я любила? Замуж вышла за Бурсака — вроде бы по любви, но нет». Потом дня через два чай пьем, она вдруг говорит: «Неправду тебе позавчера сказала. Любила. Такое было время, перебивалась на хуторе, муж в Екатеринодаре, жили с ним уже без чувства. Всю жизнь просыпаюсь оттого, что вижу, как уезжает из Хуторка на телеге врач. Его я любила. Он заезжал с отрядом в Хуторок. А уходили ночью. «Душенька, жди письма». Махал мне и плакал». Я к ней заходила на днях. «Опять,— говорит,— мне приснился, наверно, я умру. Просыпаюсь и слышу, как говорит мне: «Душенька, жди письма». Наверно, погиб где-то. Иначе бы написал...» А Бурсака она не любила.

Мы вышли из ресторанчика. Назад в Краснодар я вместе с Верочкой не поехал. До 25 сентября я ночевал в колхозных гостиницах, в кабинетах маленьких клубов, в красных уголках на хуторах. Наконец-то я исполнил наказ Шкуропатской — проведать ее Хуторок, где она не была с 1920 года.

Сперва я через станицу Чепигинскую проник в угол бывшего Лебяжьего монастыря, поглядел на пруды, порасспросил птичниц и мужиков и ушел на заросли к западу. В окрестностях станицы Роговской я плутал полдня. Никто не знал, где скрывается этот Хуторок, никто не слыхал фамилии Шкуропатских. Вывел меня на тропу конюх. Там, где однажды поселился неведомый черноморец, где росли высокие толстостенные осокори, где с кургана табунщик видел и косяки лошадей и Кавказские горы, где дети при свечке сидели над букварем и часословцем и обломок бутылки заменял им чернильницу, откуда бабушка Калерии в 1861 году уезжала в Екатеринодар хлопотать перед Александром II о муже, посаженном в крепость за возмущение переселением казаков за Кубань, там, где вдали с двух сто-

рон сквозь степное марево дымились трубы двух монастырей, мужского и женского, где барышню вопрошали о судьбе спиритические духи, где читали «Войну и мир», «Обломова», газеты «Порядок», «Новое время» и «Русские ведомости», где столько родственников время перенесло из люлек в гробы, там лежала ныне сплошь распаханная желтая сжатая нива. Да неужели в той или вон той неуловимой точке, в нынешней пустоте, стоял дом, в нем была комната, отдыхала там на душистой постели юная Калерия и как-то ночью соскочила к окну на горячий шепот усатого, широкоглазого, молоденького Толстопята?! Нет ничего.

Дал себе отдохнуть, много читал. В издании 1918 года прочитал никогда более не публиковавшуюся статью В. О. Ключевского «Добрые люди древней Руси» (нет ее и в восьмитомном собрании сочинений). Окунулся как во что-то родное, понятное сердцу; слог изумительный, русский, простой. О чувстве сострадания, о личной милостыни, благотворительности. В «Новом мире» роман неизвестного мне Ю. Домбровского — «Хранитель древностей».

В ночь тяжких сомнений, усталости и самопроверки, с 1 октября на 2-е, я открыл свой секретер, набитый блокнотами, толстыми тетрадями, прозрачными синтетическими папочками с главами романа, вывалил ежедневники с записями разговоров, ксерокопии документов и перенес на постель. Везде я ставил числа, по ним можно вспомнить личную жизнь! Мне сделалось страшно! Куча бумаг! Казалось, я никогда не доберусь до конца. Хватит ли души, чтобы все объять? Я сложил по порядку написанное и стал читать. Какую откровенную книгу задумал я! Сколько полуночной обнаженности! И сколько многоточий там, где должна быть неповторимая жизнь...

В шестом часу утра я вышел к пустырю за двором, сгреб пересохшие желтые листья и в маленькую кучку зарыл свои рукописи; потом решительно, чтобы не испугаться, поджег. «Не мне, не мне писать,— успокаивал я себя,— не мне. Самое вдохновенное мое слово не будет стоить и копейки рядом с «Досужими минутами бывшего черноморского казака». Прощайте, казаки. Не окропить вас живой водой — все молчит, все ушло и не вернется вовеки...»

. . . .

Вечером ребятишки принесли мне обгоревший по углам листок.

— Это вы там жгли?

По случайности в кипу рукописей попался листик с моими записями бесед.

. . . .

— Шкуропатская? Чудный характер! Муж ее был присяжным поверенным. Она до войны (или после?) работала в регистратуре 7-й поликлиники. Куда уехала — не знаю.

— Шкуропатская один раз приехала в институт в батистовом переднике, и ее не допустили к уроку.

— Шкуропатская очень красива. В двадцать втором году я видела ее с Бурсаком на Красной. И помню я такую сцену. Товаров в магазине было уже мало. Небольшой магазин на Красной на правой стороне, и витрина вот так низко, а возле окна стоят супруги Бурсаки. Она: «Ты посмотри, неплохо бы вот такую сорочку»,— с плечиками, словом, даже по тем временам это была очень бедненькая сорочка. И я поразилась: «Она обратила внимание на это белье. Как же они живут?» Они так дружно стояли, а я подслушала.

— В двадцатом году Толстопят выехал за границу. У него была гражданская жена из Петербурга. Говорили, что дорогой она овдовела и жила потом в Белграде, работала в ресторане посудомойкой. Уезжая, она мне оставила кенаря Петрушку. Жива? Кто знает?

— Наш маленький Париж? Екатеринодар — это же была глухая провинция... Глухая...

. . . .

Я спря́тал этот листик — на память о людях, мне доверявших.

На другой день нашлось среди газет письмо от восьмидесятилетнего красноармейца, мудрого и честного, с которым познакомил меня Скиба. «Удачно ли съездили в Париж? Дай бог вам успешно закончить то, что взвалили вы на себя; мы ждем! Мне как-то стыдно просить вас, чтобы вы помогли мне издать маленькую, в одну тетрадь, автобиографическую повесть под заглавием «Последняя исповедь». Условий никаких не ставлю. Как-нибудь пришлю. *Ф. П.*».

В фанерном ящичке для фруктов отправил он мне год назад тетрадки своих поразительных по искренности воспоминаний, и я до костра еще вернул ему две последних.

помню, девятая тетрадка обрывалась записью: «...когда-то носил я пятипудовые мешки пшеницы под рукой, а теперь, так или иначе, приближается конец моей жизни...» Как же я поступил? Старики благословляли меня, ждали, а я без слез поджег тоненькой спичкой листы с их словами, отражениями бесед с ними и проч.

Еще через день из той же Широчанки под Ейском пришла весть: «Вчера в 13 часов дня папа пришел с почты, получил от вас в бандероли две тетради. В 15.00 стало ему плохо, в 00.10 минут скончался в памяти и ясном уме... *А-ва*».

В первом часу он умер, а в шестом часу я жег свои рукописи.

И днем и во сне я страдал; во сне же листал я в Париже на улице Жака Оффенбаха седьмой академический том Герцена. «А ЖАЛЬ, ЖАЛЬ ИХ — ЭТИХ БЛАГОРОДНЫХ ПРОШЕДШИХ!» — надгробно мерцали его слова на всех страницах.

И я проснулся несчастным и виноватым...

ИГРА В ПОКЕР

И опять после долгих нудных дождей и мартовских ветров явилась в Краснодар ласковая пышная весна: забелели по улицам акации, а во дворе Шкуропатской расцвела старинная персидская сирень! Еще одна наша весна на земле.

Для Лисевицкого новая весна была печальной.

Странно жил Лисевицкий. Жил и не помнил себя. Чем дорожил? В таком-то году гастролировал знаменитый виолончелист, в театре оперетты была премьера «Горной ромашки», осенью Кубань наградили за хлеб вторым орденом Ленина, тогда-то праздновали годовщину освобождения Краснодара от немцев, выступал в клубе большевик такой-то, умерла революционерка пани Вишнякова, двенадцатый раз посмотрел кинофильм «Хождение по мукам», отмечали у Шкуропатской юбилей Скибы, на Рашпилевской разрушили дом, в котором жила начальница 2-й женской гимназии Понофидина, умер лихач-извозчик Дятлов и т. п. Своих красных дат вроде не было.

— А вы любите свою жизнь, — говорил ему Толстопят. — Бог вам ее даровал, он ее и отнимет, так живите же!

— О, я живу, месье Пьер. Еще как живу.

— По-моему, вы вообще не чувствуете времени. Вы звоните мне в шесть, а приходите в одиннадцать.

— Но я же работаю в ауле Козет, пешком хожу за Кубань.

— Все равно, мон шер. Я ждал вас полтора месяца.

Нет, Лисевицкий не понимал, что он виноват. Ему казалось, будто он всюду успевает в положенный час. Он не нанес визит Толстопяту, но ведь в эти часы занимал другого старика — в чем дело?

Позавчера он спешил в баню, вернее — в душевой номер гостиницы, куда его пускала «церберша» за пятьдесят копеек; по пути заскочил в книжный магазин и нахватал послевоенных изданий русских классиков по сносной цене, встретил на углу приятеля и, все повторяя, что месяц целый не мылся, последовал за приятелем в театр оперетты, сдал портфель с книгами и бельем гардеробщице, и три часа лицо его излучало восторг от актерских прыжков и ломаний; потом в двенадцатом часу ночи затарабанил в дверь пенсионера, бывшего лектора из общества «Знание». Прошлый раз он обещал ему очистить шкаф от бумаг, закисших плесенью фарфоровых чайников и блюдец, протереть и переставить книги и, может быть, выпросить Шопенгауэра, «Спутники Пушкина» Вересаева, «Нескромные сокровища» Дидро (иначе утащит их один самостийный краевед, чинивший старику крышу). В большом кованом казачьем сундуке хранились письма к матери и, наверное, еще кое-что, но запустить туда руку Лисевицкий пока стеснялся. Итак, в полночь он прибирал комнату с дряхлым ковром на стене, а старик ходил от кровати к зеркалу и читал ему начало своих мемуаров: «Домик стоит на крутом обрывистом берегу Кубани, как и пятьдесят лет назад, когда он принадлежал молочной ферме екатеринодарского сельскохозяйственного общества. В нем по-прежнему всего лишь шесть крошечных комнатушек. Почти ничто не изменилось в его неказистом облике. Лишь кровельное железо на крыше сменил кто-то на шифер. А между тем он фигурирует на страницах бессмертной исторической трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам», романа «Над Кубанью» Аркадия Первенцева, на скрижалях монументальных исторических трудов...»

— На скрижалях! Какая образность! — хвалил Лисевицкий, поднимая над головой веник.

«...В многочисленных книгах мемуарного порядка...»

— Замечательно! Это останется навеки в Пушкинской библиотеке или в архиве. Какая художественность! Ах, как мне хорошо у вас... Можно я позвоню от вас Толстопяту? ...Здравствуйте, милый, драгоценный Петр Авксентье-

вич,— ласкался он уже к Толстопяту, в мгновение забывая, зачем звонит,— я наслаждаюсь, когда слышу ваш исторический голос, буду безмерно счастлив навестить вас с шампанским и ящиком винограда — приближается мой день рождения. Умерла дочь казачьего полковника, родственники выбросили ее альбом с фотографиями, письмами в мусорник. Мне удивительно повезло — я все выгреб! Вас это мало интересует? О вы, наш божественный Петр Авксентьевич. Что? Я вас разбудил? Могучий ум отдыхал перед новым всплеском? Простите. Это на мне сказывается тяжелый грех любви к Верочке. В восемь утра еду в Майкоп: на бывшей территории шоссейной дистанции зарыт архив первого Екатеринодарского полка, история полка была завернута в черную клеенку.

Когда Лисевицкий вернулся ни с чем из Майкопа, в почтовом ящике не было от Верочки даже записочки.

Последние недели он трусливо предчувствовал: она изменит ему! Она должна изменить... Ничто не сравнится с ресторанной тоской, когда под звуки забубенной музыки выходят на круг парочки, и дамы, разбуженные вином, без стыда валятся к партнеру. Лисевицкий ужинал в Майкопе один и вспоминал Веру. Вот так же когда-нибудь (и, наверное, уже скоро) выведет ее из-за стола какой-нибудь спортсмен и они заговорщицки коснутся друг друга (о, этот взгляд, обещающий что-то откровенное наедине). «Это случится,— думал он,— или уже случилось...»

В печали вдруг озаряла Лисевицкого прозорливость; он понимал, *каким* он кажется людям. Как-то в доме материной приятельницы он до глубокой ночи забавлял молодежь своими познаниями, пением романсов Вертинского и Вавича. Ему улыбались, подставляли тарелки с борщом и котлетами, и он, уплетая, покрикивал: «Ах, как хорошо иметь семью!» В одиннадцать, двенадцать, в час ночи он все сидел, не соображая от счастья, что хозяевам пора спать. Наконец в половине второго, уложив в портфель книги и журналы, хлеб, бутылку постного масла, он ушел, еще потоптавшись, правда, у вешалки и кланяясь: «Спасибо за царский ужин! Ах, как хорошо в семье; я одинок, укрываюсь в пять одеял, я же не топлю» (это он уже говорил много раз). Во тьме на улице он все повторял: «Ай да чай! Что значит жить в семье! Какие замечательные люди! Накрыли высочайший стол — как августейшему гостю. Я тоже доставил им большое удовольствие. Завтра куплю им всем билеты в оперетту. Не дальше второго ряда! «Принцесса цирка». Только в оперетте, в музыке Штрауса, Кальмана,

Легара, можно почувствовать божественное прославление любви, этой самой лучшей радости, данной нам свыше, когда засыпаешь на груди возлюбленной, ха-ха... Какая ночь!»

И он смеялся, то подбадривая, то легонько осуждая самого себя.

В квартире, которую он клялся прибрать на каникулах, но так ни разу не смахнул пыль веничком, вытащил Лисевицкий патефон 1948 года, подкрутил ручкой пружину и насадил тяжелую пластинку с голосом Вари Паниной. Ударил бутылку ребром о пол, вытянул пробку, налил в шесть серебряных рюмочек венгерского рислинга, подходил и выпивал: «За ваше здоровье, месье Лисевицкий! Ах, вы несчастный! Пьете? Развешали по дивану ордена? «Мне эта ночь навеяла сомнения...» Чудный вечер!» Кружил вокруг стола, мысленно держа за талию даму. Опять брал рюмку: «За здоровье нашего милого Лисевицкого!» «И вся в слезах задумалася я-а...» Богиня Панина, о как ей аплодировали. Шкуропатская прослушала и сказала: «Это никогда, никогда уже не вернется». Вы покорили меня, Варвара, извините, не знаю, как по батюшке,— обращался он к певице, точно она сидела тут же на диване, глядел на пластинку.— Вы покорили меня, и я навсегда ваш поклонник. И Шаляпин хвалил вас. И умерла, бедняжка, в одиннадцатом году...»

Так он ходил вокруг стола около часа, а Варя Панина все пела ему о том, чем живет занятая собою душа,— о сомнениях, напрасных воспоминаниях, о святой любви, о том, чтобы поняли и все простили. В некоторые мгновения он, впрочем, хватал какую-нибудь книгу и нюхал ее.

— Не спится вам, милый Лисевицкий... Создали себе свой мир? Дышите пылью веков. Где Вера? Ей неуютно в моем шалаше.

Вдруг его что-то царапнуло, когда он припомнил свой гогот в семье материной подруги, хвалил борщ и дрыгался перед ними в позах артистов оперетты. Теперь, дома, он уловил и разобрался в их взглядах. Они потешались над ним, он всего-навсего шут, полуночный холостяк, городское перекати-поле.

Спать, как всегда, не хотелось. Бывало, он выходил за ворота и смотрел на пустые светлые трамваи, потом на самом последнем уезжал к Верочке, проскакивал по ночному двору, шептал ей в форточку: «Княгиня, вы спите?»

Где она?!

И он вскочил с дивана в каком-то трепете, словно настал

час поймать Верочку на преступлении, поймать и тогда уж распрощаться с нею навсегда. Он порою хотел быть наказанным за свою слабость и ничтожную верность самому себе. Зачем Верочке, такой красавице, такой переменчивой душе, вечно ждать какого-то долговязого, с лицом пинчера, книжника? Его ли совести было выгадывать? — он часто отпускал ее, желал ей мужа, советовал «жить как тебе хочется». Но это не избавляло его от ревности. Мысленно провел он трамвай через все остановки, сошел и... И он накинул пиджак, подцепил пальцем связку длинных ключей, быстрыми выстрелами закрыл двери и побежал через двор. О идиот! Куда он направился? Был уже четвертый час ночи. Длинная рельсовая дорога под зелеными арками была пуста, теплый огонек не сверкал в далеком ущелье улицы. Лисевицкий не боялся ночных хождений, раньше двенадцати он домой никогда не возвращался, но сейчас идти к Верочке пешком не решился. Она терпела, терпела и сорвалась? По той же дорожке к тому же окну его соперник прошел к ней по ее немому зову и за тем же столом с цветной клеенкой, спиной к этажерке, уселся понадежней? Она зажгла свет, и за белыми непроницаемыми занавесками они пили вино. И потом — о, Лисевицкий все знал! — Верочка выключила большую лампочку и нажала на кнопку лампы настольной. Через стол они протянули руки друг другу; она, подав знак, тут же, из приличия, убрала свою. А потом они стояли во мраке у форточки и смотрели на смутные головки роз. Верочка впервые за вечер взяла в пальчики сигаретку, и это ее волнение о н расценил как... как что?! И неужели о н вышел на заре воровски, с победной улыбкой, оглядываясь и замечая ее у окна, уже доступную, давшую ему воспоминания о поцелуях на подушке?

Трамвая все не было и не могло быть, но Лисевицкий стоял.

Он стоял потерянный, самого себя презирающий и горько благословлял Верочку на счастье — если оно настигло ее так же, как тогда, в летний июньский день, после путешествия в Горячий Ключ.

Но как привыкать без нее, не слышать ее «небесный голосок», лишиться ее писем, дней рождения, снов?

«Зачем это мне? — говорил он в комнате, озирая кучи книг. — Разве я тот самостийный краевед, который превратил свою квартиру в филиал казачьего музея? Милый Лисевицкий, ты учитель истории, и только. Зачем тебе свалка? Сдать! Свезти в магазин к Марку Степановичу».

С остервенением чистоплотной хозяйки, которая явилась

и нашла свою квартиру загаженной, принялся он разгребать завалы.

В шесть утра он уже раскрыл и все створки шкафов.

«Жизнь Иисуса Христа»... Эту себе. Библию с иллюстрациями Доре — себе. У-у, какой запах. Выменял на чепуху: пять книг зарубежной фантастики. Цвейг! Волшебник. «Фуше», «Мария Стюарт» — нет, это тоже себе. Альбом с открытками — Верочке. Будет листать с мужем. Дай им бог. «Огонек» с двадцать пятого года по шестьдесят второй. Оставляю за сорок девятый год со Сталиным, теперь это редкость. «Столица и усадьбы», двенадцать номеров, бумага, бумага мелованная, пушкинские дамы, пруды, беседки — подарю автору «Элегии». На рубероидном заводе у рабочих за пол-литра: три тома Костомарова и «Роман императрицы» Валишевского. Себе? Сколько бесценной литературы разрубили и спустили в чан с кислотой! Вагонами везли из Ростова. За пол-литра можно было библиотеку перетащить. Кому Валишевского? Верочке? Плохой я стебель для этого нежного цветка. «За нас! Уже мы с тобой почти четыре года». Откуда у меня эта порнографическая открытка?! Слава богу, ей не попалась. Четыре года. Душистый аромат счастья. В увядающем саду своей жизни я рву последние весенние цветы. О как желанна ты мне! Мои сорок лет,— набавил он себе годы,— вблизи тебя кажутся легки и незаметны. Где ж ты теперь? Кто тебе целует пальцы?» Лисевицкий уже совсем слился с томными мужчинами и дамами на открытках. И вздыхал-то он как бы за тех, кто клонил головки и держал в пальчиках лепестки. «В пятьдесят лет уйду на пенсию, хватит, стаж выработал. Но я оптимист, вы не представляете, какой я оптимист, месье Пьер,— это он уже перекликался с Толстопятом,— я очень люблю жизнь, месье. Вам нужен «Половой вопрос» Августа Фореля? Подарю. Дети чувствуют мой оптимизм. Или Августа Фореля в музей? Им ничего не нужно. Под рисунком дома Бурсака написали: «Дом Барсука»! Вместо запорожских пищалей положили охотничье ружье 1950 года. Такие работнички. Открытка 1922 года, дом Ипатьева, и на-адпись на обороте. Боже мой, тогда еще писали с гордостью, волна народной победы несла всех на крыльях: «Дом Ипатьева, где был расстрелян Николай II и его семья». Отослать в Москву историкам. «И придут времена, и исполнятся сроки». Да, нас уже не будет. Я вам, Василий Афанасьевич, подарю пуговицы 1899 года, это чудо! К полотняному белому пиджаку — как раз! Не думайте, Василий Афанасьевич, что только вас женщины за нос водили. Они и сейчас

такие. Она стоит с чужим мужчиной, и ей самой незаметно, что она уже готова изменить. Только книги нам не изменят. И не говорите мне, месье Пьер, будто я причиняю ей страдания. О бурное время! «Гражданская война на Кубани», издание Истпарта, 1922 год. Дарю! Ну, возьмите в свою бронзовую руку, Аким Михайлович,— нынче я приду к вам в больницу с сыром. А-а, фотография казаков-черноморцев, ездивших к Бабычу за племенным бычком. Переснять — и на стену? А Верочке это не нужно. Она современная. И все в своем времени. Один я отстал. Надо жи-ить, вы правы, месье Пьер. Надо жить! Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать (Пушкин). Я страдаю, Аким Михайлович. Поднимайтесь с койки, поедем на вашу родину в станицу Марьянскую, я поведу вас за вашу мраморную руку. Я страдаю. Где она? Кто ей целует пальцы?»

Тишина в комнате царила смертельная, но Лисевицкий вдруг громко говорил: «В соседней комнате часы звонко пробили шесть ударов». Потом влипал глазами в зеркало на шифоньере: «На него глянуло что-то тупое и безысходно унылое». Брался рукой за сердце, и так долго держал руку, ступал вокруг стола, высоко поднимая ноги над кучами книг, наконец брякался на диван. «Мысли у него бессвязно толпились в голове,— шептал он,— и не хотели сосредоточиться. Отчего так уныло и жутко? Но вместо ответа тупая боль еше крепче сжала ему одинокую грудь... Верочка... Вы имеете полное основание утешаться тем, что так красиво отомстили месье Лисевицкому... Погасла любовь — чудный огонек жизни...»

Пушистый кот сладко спал на подушке: и на бок-то повернулся, и лапки-то вытянул. Жалея его сон, Лисевицкий бросил на пол стеганое одеяло, лег на него и уставился на пустой телевизор.

Проснулся в полдень, долго валялся, отгоняя новыми синими трусами мух.

Лисевицкий заходил во двор к Верочке в обед, и вечером, и на другой день. Записка его все торчала в щелке двери. Верочка пропала. Сквозь слегка отворенные внутренние ставни он едва рассмотрел ее пустую застланную постель, на которой (так мнилось ему) уже кто-то чужой провел ночь-другую. «Что ж,— думал он.— Ее жизнь проходит. Все проходит. Не пробуй, милый Лисевицкий, диктовать неизбежному порядку вещей свои соображения...»

Три дня вывозил Лисевицкий книги в букинистический магазин. На пустых полках лежала толстая пачка денег, его не умилявшая. Пол он так и не подмел.

На лавочке во дворе больницы он бессмысленно тормошил слабого Акима Михайловича Скибу: как в 1918 году ходила Федосья к Толстопяту спасать его? за что белые высекли в саду Буфф жену Попсуйшапки? чем кончился плен у Деникина? Скиба ему рассказывал много раз, но Лисевицкий любил, чтобы всё повторялось.

— Героика ваших дней не даст вам заметить старости,— увещевал он больного, тряся ногой.

Худой, с костистыми скулами, Аким Михайлович глядел в сторону ворот — там у бывшего Екатерининского сквера начиналась улица Красная; так хотелось выйти туда, и оказаться дома, и жить без угрозы врачебных приговоров. Лисевицкий же зачем-то напоминал ему о первом казачьем кладбище под нынешними зданиями туберкулезной больницы.

— ...И все-таки еще один нескромный вопрос: вы в девятнадцатом году ставили на бланках подпольные печати?

— Было. Когда после пленения пришел в Марьянскую.

— Заболели тифом, болели двадцать три дня, дальше что?

— Да, подхватил тиф и заболел...

— Простудились и заболели возвратным, дальше? А в то время большевики отступали на Маныч и Астрахань, а вам атаман дал бумагу на месяц, на вас заявили, что большевик скрывается в станице, а вы, мол, его не забираете ни в тюрьму, ни в казачью армию, дальше?

— Я выехал на балку к старику,— неохотно продолжал Скиба,— у него два сына в большевиках; на степу хорошо видно, кто куда едет. Там не Калерия Никитична с сумкой в воротах?

Он ее ждал, хотя третьего дня запретил ей в письме ходить к нему. Она тоже болела, и он переживал: кто там покупает ей хлеб и выносит мусор к машине? Он за короткий срок так привык к ней! Дома, когда ночью ему было тяжко и не спалось, он лежал навытяжку и боялся ее потревожить, но ей порою даже снилось, что он страдает, и она тихо звала его: «Тебе чего-нибудь дать, Аким Махийлович?» — «Да нет, Калерия Никитична,— отвечал он пободрее,— ты спи, я так, перевернулся...» Ночью ближе к нам смерть, и было гораздо спокойнее ему оттого, что живая душа всегда рядом с ним, жалеет и волнуется. Несколько раз под утро они, так-то вот выпав из небытия, разговаривали до света и не о чем-то своем, а... о политике, об Орджоникидзе, Кирове, Сталине, Молотове и других вождях, и тут Аким Михайлович очень сильно просвещал жену. Этому

прикосновению к истории способствовало и то, что накануне они что-нибудь читали мемуарное. И в больничной палате после того, как все заснут, он беседовал со своей милой старушкой, тоже, может, лежавшей во тьме с открытыми глазами. Даже три стихотворения сочинил Аким Михайлович о ней в больнице, не ахти, правда, какие звучные, да ведь это всего-навсего домашнее признание в благодарности. С нянечкой он переправлял записки Толстопяту, упрашивал почаще бывать у Калерии Никитичны, а тот ему на листочке же докладывал, как она без него перебивается, докладывал честно, потому что сама Калерия Никитична ни на что бы не пожаловалась. В больнице природа всех уравнивает, и никто уже никому не указ: ты думаешь так, а я так. Везде народ не прочь затронуть политику. И чего только не наслушаешься! Ночью он продолжал возражать кое-кому, кто побранился с ним и спал, и отповедь Акима Михайловича в те минуты была злее, непримиримее. Время сложное, и никак нельзя им, старикам, позволить младшей смене растратить самое дорогое из того, что они добывали и защищали. И у него уже складывалось хорошее письмо, слова текли, и вот его уже слушали в ЦК, благодарили, и он в спокойствии засыпал. Утром, собирая склянки на анализ, он горевал от своей старости и душой стеснялся вмешиваться во что бы то ни было. Но и это смирение пройдет. Он знал. От себя не отступишь. Дома научилась его успокаивать Калерия Никитична. Всё-всё есть жизнь, и надо нести ношу, которую она на тебя взвалила, до конца. И писателям все рассказывать, и суматошного Лисевицкого не прогонять. И газеты читать с сердцем.

— Так, простите меня опять: вы взяли печать у соседа?

— Ему каким-то манером удалось украсть кадетскую печать.

— Вы взяли бумажку, суконку, чернила и пошли в амбар, проверили: она! И стали заверять?

— «Пущен такой-то в отпуск».

— Печать, поручик такой-то?

— Поручик такой-то. Многие подавали атаману документ, он почитает, пишет резолюцию «проверено».

— И образовался штаб поддельных документов? О боже, на скирде соломы вы совершали подвиги. Дайте вашу руку. Вы уже в бронзе, а я червяк.

— А чего вы усы отрастили?

— Усы, Аким Михайлович, предупреждают поцелуй, а я все еще хочу жениться. Я вам принес роман «К оружию!», читаете?

— Ну и ну! У него, оказывается, убирали в первую очередь овес, а ложек, вилок и ножей не стало в продаже в сороковом году. Овес убирается в последнюю очередь, а вилки, ножи и вся мануфактура исчезли с прилавков еще до тридцатого года. Как же они будут писать про жизнь еще более дальнюю? Что они о ней могут знать?

— Напишут, но на более высокой ступени таланта,— защищал Лисевицкий всех кубанских писателей разом.— Вам надо поправляться, драгоценный Аким Михайлович. Правая трибуна на демонстрации без вас немыслима. Я пройдусь мимо вас осенью с пластинкой Штрауса. Какое ликование жизни! какие восторги любви! Арфа прямо по струнам сердца дергает. Я всегда в Доме офицеров призы за вальсы брал. А теперь Верочка переживает, наверное, сладострастие с другим, а мне не помогает даже камешек гробницы Тамерлана,— я привез его из Самарканда. Ношу в карманах жизнь всего человечества, ха-ха...

В субботу вечером он нанес визит Толстопяту.

— На Новый год пойду в ресторан встречаться с куртизанками.

— Ха-ха,— смеялся Толстопят, не в силах представить Лисевицкого в таком обществе.

— Заплачу шестнадцать рублей, подсяду к компании. Скажу сразу: «Перед вами мужчина, который ни разу не был пьяным, не выкуривал ни одной сигареты, ни разу не целовался». После третьего тоста как кинутся на меня! Даю вам слово. Оргия. Спою им. «Разъезд начался в пятом часу утра»,— как написали бы в «Кубанском курьере». Чудесный у вас пирог. Сами пекли?

— Вы мне надрываете живот, мон шер. Очень вы забавный человек.

— Я идиот, каких свет не видывал. Вам хорошо, вы уже в бронзе, а мне еще десять лет ходить в аул Козет.

— Не кричите мне в ухо. Я слышу, много раз говорил вам.

— Извините. Привычка.

— У меня наутро соседи спрашивают: «Кто это у вас был? Так кричал». Ну что вы страдаете? Сколько у нас красавиц. Я вот хожу за хлебом. Кассирша — чудо. Более изящной брюнетки во всем городе нет. Давайте мы вас женим.

— А я хочу вас женить.

— Моя невеста еще в люльке.

Как-то в конце апреля показал он Толстопяту двухэтажный дом на улице Ленина с полукруглым окном наверху

— Когда я шел первый раз от Верочки на рассвете, из этого окна глядела на меня старуха. Мне казалось, что она все про меня знает. И столько уже прошло, а я еще с ней не познакомился. Когда бы я ни шел, она у окна. Ей не спится, она вспоминает райские дни молодости, правда? Наверное, и она любила, как вы думаете? Я ее считаю соучастницей моего романа. Я шел от любимой, а она видела.

В мае месяце в грустное утро разлуки с Верочкой Корсун он позабыл поднять голову и улыбнуться неизвестной старухе. Час еще был ранний, не такой, правда, ранний, как четыре года назад, когда он впервые шел от Верочки мимо высоких железных ворот и на улице Ленина глядел на старуху в окне. Но вроде бы это утро было копией давнишнего. И точно так же никто не знал, откуда он идет и что у него на душе.

Душа Лисевицкого опьянела от внезапного горя и обиды.

«Верочка, Верочка... Легче теперь тебе? Все эти дни ты маялась, как сказать мне. Ты просыпалась и говорила: «Я Лисевицкому изменила». А завтра проснешься и с облегчением подумаешь: «Он уже все знает». Ты мне изменила, а в открытке написала: «Я в лесу спросила у кукушки, сколько еще буду с тобой». Зачем так лгать? Значит, бесследно прошло мое воспитание. Да что, Верочка! — из тех книг, которые я тебе дарил специально, искал их для тебя, хотел, чтобы ты в минуты чтения чувствовала то же, что и я, ты почти ни одной не прочла. А на последней книге, самой моей любимой (я рад бы был, если б и у тебя она была настольной), ты не позволила сделать надпись. Значит, уже береглась. Ведь все теперь, или позже, тебе надо будет прятать. Письма увозить к матери или сжигать. Фотографии рвать. Миг — и прошлое выброшено. Ни-че-го от меня не переняла. Я смешон, но в глазах обывателей. И в глазах профессора-историка, которого ты выбрала. Ты мне изменила с моим недругом. И как низко, пошло. Ты лгала мне уже за несколько месяцев. «Я замуж не хочу,— говорила.— Просыпаться и видеть чью-то рожу». Так лжет только женщина. Она себя не видит и не слышит».

Мгновение — и он уже разговаривал со старухой. Она шла впереди, кланяясь земле, и уронила газету. Лисевицкий поднял, догнал старуху и, сгибаясь к ней, прокричал:

— Испытываю огромное удовольствие познакомиться с вами. Вижу, что вы екатеринодарка. Вы, наверное, кладезь неисчерпаемых знаний о нашем великом городе. А я учитель истории.

— О, я ничего не помню. Мне девяносто один год семь

месяцев и девять дней. Но, если хотите, приходите ко мне. А что вы желаете от меня услышать? Про ста-арый город! Извините, я иду кормить Чижика.

— Я с удовольствием провожу вас. Дайте мне вашу сумку.

Старуха шла еле-еле, отвечала не Лисевицкому, а тротуару, и Лисевицкий нелепо топтался возле, порой забываясь и воображая сбоку Верочку. «Вот видишь, Верочка,— говорил ей,— я снова в своем репертуаре...»

— Спасибо,— сказала старуха у двухэтажного дома на улице Ленина.— Вон мое окно.

Лисевицкий обомлел. Вот чьи старческие глаза не раз глядели на него из этого полукруглого окна!

— Как только мне будет легче,— сказал Лисевицкий,— я навещу вас, можно?

— Пожалуйста, но мне девяносто один год семь месяцев и девять дней.

На углу, недалеко от его двора, еще торговали молоком из бочки. У хвоста очереди Лисевицкий вдруг тихонько запел то, что он часто (и вчера перед сном) пел Верочке,— фетовское:

На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит...

Шел по двору и пел, открывал одну дверь, другую, и в комнате, раскачиваясь, подражая артистам, закончил чудесный романс.

— Несчастный,— сказал,— ты опять в своей берлоге. Ты вспомнишь меня, Верочка, в горькую минуту, роднулечка моя. Ах, молока купить!

Он взял пыльный сверху бидончик и посеменил к бочке.

Он не помнил, как платил за молоко, снимал полный бидончик, прошел двор, ткнул ногой дверь и она открылась (ключи между тем были в руках), налил в кружку молока, выпил и все мстил, все мстил своей изменнице длинной речью...

Чего сидеть? Впору бежать куда-то, вздыхать и жаловаться. Но куда? Опять и опять к старикам? Хоть куда-нибудь, лишь бы не быть одному. Телефон автора ненаписанного романа о Екатеринодаре молчал. Лисевицкий купил в зеленом гастрономе пять плиток шоколаду, две пачки хорошего чая и направился к Шкуропатской. На его пожарный стук в дверь выглянула Калерия Никитична, испуганная и недовольная. «Я не могу вас пустить,— сказала,— Аким Михайлович только заснул, ночью ему было плохо».

О боже мой, кругом своя беда, своя жизнь. К Толстопяту? В том же зеленом гастрономе набрал он сыру, колбасы и поскакал, поскакал на улицу Советскую. Он уже воображал, как они вскипятят в чайнике воду, заварят, присядут за круглым столом (при этом Лисевицкий в сотый раз похвалится: «Счастлив быть приглашенным к высочайшему обеду!»), и они хорошо порассуждают «о любви и коварстве». Но Толстопят уехал в Пашковскую к племяннице, пришлось все покупки со смущением нести назад. Тогда он зашел в книжный магазин к Марку Степановичу, раздал шоколадки продавщицам, купил парочку книг о Вере Фигнер (одну отослать в Москву старику Коптеву, другу всех последних народовольцев), назвал красавицей толстенькую с облезшими бровями кассиршу, и оттуда ноги понесли его далеко через весь город к темно-зеленым воротам напротив бывшего храма божией матери всех скорбящих радостей, во двор, где жила Верочка. Но уже нельзя! Уже все кончилось, прошла последняя ночь, было и утро, и Верочка призналась ему во всем...

Снова пережил он это тревожное утро.

Надо вовремя верить предчувствию, ловить в себе эти настораживающие толчки. «Не ходи,— словно шептала ему накануне душа,— не ходи к ней, ты там больше не нужен!» Но он пересилил себя, пошел все же, чтобы не обидеть Верочку. От всего как-то увертывалась Верочка перед сном: от интимной беседы за столом, от прикосновений и прочего. Глаза ее точно засорились, она часто мигала, когда смотрела на Лисевицкого. Вечная драма жизни: еще вроде бы все то же и так же, но уже что-то таинственно треснуло, переломилось и грозит переменой. Всегда грядет минута, в которую возлюбленному не дано еще знать, до какой степени он уже чужой и ненужный. Именно эта тягучая минута была вчера, когда они пили чай за столом и Верочка ни о чем (ну ни о чем вовсе) не спрашивала Лисевицкого, думая только о своем предательстве и том, как безопаснее его открыть. А полоумный Лисевицкий еще пробовал петь: «На заре ты ее не буди, на заре она сладко так спит...» Спали плохо, ночью она вставала и расшибла лоб о косяк. В семь утра Верочка ушла на базар. У Лисевицкого откуда-то взялось желание проникнуть в ее тайнички, нечаянно найти чью-то записку, фотокарточку, помучиться ревностью и снять с себя какую-то долю вины. Но он закрыл глаза и уснул. Верочка принесла с базара ряженки, овощей, но стол накрывала с противной обязанностью — как официантка в ресторанчике. Потом они легли отдохнуть. Молчали. Странно молчали: каж-

дый, казалось, чувствовал, о чем думает другой. «Что с тобой?» — уже приготовился спросить Лисевицкий. И успокоился, тихо запел: «На заре ты ее не буди...»

Верочка спросила:

— Ты слыхал, ночью под полом крыса скреблась?

— Наверно, к беде...

Она перевернулась к нему, мелко затряслась. Лисевицкий подумал, что она плачет от обиды, и стал жалеть ее рукой:

— Ну, ну...

— Этот молодой профессор истории... которого... ты не любишь... В тот день, когда ты уехал в Майкоп, он зашел ко мне и провел у меня всю ночь...

— Как так?!

— Не знаю.

— Ты выпила?

— Нет.

— А ты его любишь?

— Нет.

— Со зла, значит?

— Вот ты все улыбался...

«Такая низкая измена... — думал он днем. — Я всегда знал, придет какой-то солидный господин, предложит ей свою руку, и она мне честно скажет: я хочу выйти замуж, нам надо расстаться... Но изменить так пошло?»

До вечера руки пахли ее духами и мазями. Лисевицкий проклинал ее, но она была еще с ним, он с ней все время разговаривал. Такая измена! В свою комнатку она впустила мерзкого профессора с разными глазами, того профессора, который однажды подошел к ним в кафе «Мороженое» и нарочито громко сказал: «Все разговариваете о патриархальщине, господа? О казаках? Мало их постреляли!» — «Мы говорим о любви, товарищ профессор, — отлупил ему Лисевицкий. — А вам семеро в санях снятся, всего боитесь». Как она забыла? Как могла забыть?

Лисевицкий лежал на диване, пел, подражая Морфесси, давно умершему и оттого еще более любимому:

Мы сегодня расстались с тобою,
Без ненужных рыданий и слез...

О, за него, Лисевицкого, переживал весь мир; наивный, он ласкал себя и жалел словами людей, которые ни в какую пору его не любили. Он слышал: «О, Юрий благороднейший человек. Юрий Мефодьевич странный, да, но добрейшей души человек и никому никогда не делал зла. Это ходячая

энциклопедия нашего города. Да вы знаете, кто такой Лисевицкий? Такие люди появляются раз в столетие. Мадам, я нисколько не преувеличиваю. Спросите о нем у графа Воронцова-Дашкова! — Лисевицкого уносило в еще более далекое время.— В Черноморском войске по книжности он мог сравниться разве что с протоиереем Россинским. Он знал самого герцога Ришелье и графа де Монпере, описавшего Тамань. Когда Лермонтов проезжал Екатеринодар, то Лисевицкий разговаривал с ним в гостинице «Куцая пани». И такого человека предала женщина. Еще Суворин говорил, что нет никого лживее женщины. Хлестаков невинное создание перед ними. Для них первое дело — страсть. Мы, мужчины, не знаем их. Жена генерала Бабыча изменяла с Батыр-Беком Шардановым. А как Лисевицкий поет песни Вертинского! Он был на его концерте и даже разговаривал с ним. Когда открывали памятник в Тамани в одиннадцатом году, Лисевицкий обворожил всех дам. Но нынче его предали. Он с горя опять бросился к старухам...»

Обольщенный поддержкой, Лисевицкий вскакивал, на минуту трезвел и опять ложился. Слава утешала его. И он заснул мертвым сном, как младенец.

. . . .
. . . .
. . . .

Он поспал немножко, но, когда открыл глаза, прошедшая ночь с Верочкой, расставание с нею казались ему далеким невозвратным временем, и он спрашивал Верочку, не ту, вчерашнюю, хитрую и коварную, а другую, Верочку первых месяцев: помнишь? Лисевицкий глядел на корочку «Божественной комедии», но видел улыбающееся женское лицо. Помнишь первое утро и розы во дворе? Облепиху в лесу под Федоровской? Снежные горы, ущелья, быстрые речки? А помнишь, как я стучал в твое светлое, завешенное окно и ты тотчас вскакивала и показывалась у форточки? Помнишь еще зиму, теплую стену у печки, разглядывание фотографий? А не забыла ты станицы, высокие берега, трамвай № 5, синие низкие кресла, большое зеркало у стены, разговоры о твоих поклонниках? Куда ж мы все это дели? Помнишь, я провожал тебя на Покровку к портнихе, ты примеривала юбку из бостона, а я ждал тебя в голом декабрьском саду, под темным небом?..

В девять часов он пошел к 90-летней старухе на улицу Ленина.

Старуха с большими бровями играла в покер с подругами,— одной было семьдесят восемь лет, другой шестьдесят шесть. Они играли в карты с утра, потом обедали, кормили кошек, мыли посуду и снова играли. Не хватало четвертой, восьмидесятилетней швеи, сломавшей три дня назад руку, и пришествие Лисевицкого было желанным. Но какое кругом убожество! В узком коридорчике воняло кошками, тухлой рыбой и еще чем-то. Как страшна затянувшаяся старость! И как прекрасны юные лица на больших фотографиях под стеклом, висевших на четырех стенах.

— Вы кто? — очнулась вдруг старуха хозяйка.

— Мы познакомились сегодня на улице Ворошилова, вы шли из магазина.

— Когда я шла? Не помню, я ничего не помню. Сегодня? Куда же я шла? Что я обещала? Рассказать про старый город? Вы садитесь, мы играем в покер. Боже, какая я старая стала. Мне девяносто один год семь месяцев и девять дней.

— С утра ты говорила девяносто три,— сказала толстенькая подруга.

— Я все забываю. Вы встретили меня на улице Гимназической? Теперь я помню. Вы очень похожи на сына городского головы Скворикова. Чижик, Чижик,— обратилась она к коту.— У тебя лапка поправилась? Он у нас молодой, ему всего второй год, а мне девяносто один. Хлеб не ест, а я и сама не ем ни рыбы, ни мяса. Вы играете в покер?

Лисевицкий не умел играть в покер, и его дружно учили. Между делом Лисевицкий подбрасывал старухам вопросы: «Красивые были в Екатеринодаре кавалеры? Какой извозчик возил их венчать? Видели ли Бабыча, Деникина, купцов? Знали ли Бурсачку?»

— А что это за часы? Ваши? Какого века?

— Я ничего не помню! — кричала старуха, полагая, что Лисевицкий тоже глухой.— Мне девяносто шесть лет семь месяцев и девять дней.

— Простите, а как ваша фамилия?

— Швыдкая Олимпиада Михайловна.

— Да не может того быть! — по слогам простонал Лисевицкий.— Вы же ушли в Марии-Магдалинский монастырь. И после войны скончались.

— Что-о?

— Вы умерли после войны! — прокричал Лисевицкий старухе в самое ухо.— Просили похоронить вас ангелом. И вот, о чудо, вы воскресли и я с вами играю в покер... Вы помните Попсуйшапку?

— Я ничего не помню... Ваш отец Сквориков был городским головой. А в канасту вы играете?

«О Верочка, спасай меня... Вытаскивай из музея... Иоанн Кронштадтский, «Красный фонарь» на Пластуновской, Терешка с матрацем, Швыдкая в монастыре, революция, гражданская война, голод 33 года, немцы в Тимашевке, храм и овчарка, игра в покер... Кому верить? Все перепуталось на этой земле... Одни говорили, что она умерла ангелом, другие — убежала с немцами, а ей-то девяносто один год семь месяцев и девять дней, то девяносто шесть, и она раздает карты... Верочка, Верочка, ты меня бросила в объятия старух...»

— Записываем!

МОЙ ДНЕВНИК

Нашел у поэта Батюшкова замечательные слова: «Давай вспоминать старину. Давай писать набело, expromte[1], без самолюбия, и посмотрим, что выльется; писать так скоро, как говоришь, без претензий, как мало авторов пишут, ибо самолюбие всегда за полу дергает и на место первого слова заставляет ставить другое».

Но мне уже поздно следовать совету Батюшкова. Я устал и потерял свежесть...

Ночь. Мне не спится. Я выхожу во двор, прохожу мимо темных окон и иду по улице. Ночью, только ночью так открыто пробуждается душа, так чувствуешь пространство и время и соединяет тебя в странствии со всеми, кто был и есть, с домом и звездами. Хочется поклониться всему: кладбищам, храмам, дебрям, горам и пустыням Востока, полям Европы и Сибири, лазурным берегам морей, хижинам, дворцам, пирамидам и т. д. Бесконечна дорога жизни, и не пересчитать книг о ней. Зачем еще и я со своими листами? Душа моя выше моих слов,— я теперь это вижу, перечитывая свою работу и вспоминая то, что неуловимыми знаками трепетало во мне. Теперь мне горько: так мало я выразил из того, что чувствовал. Иду и думаю: кому это нужно? Многое и я унесу с собой навсегда, как уносят все люди, что-то в душе своей созерцавшие и наутро ничего никому не сказавшие. Иногда я увлекался чтением какой-нибудь чудесно правдивой книги, и тогда еще более жаждал, чтобы и у моей книги была с о в е с т ь, было то, за что не стыдно ни перед кем,— ни перед

[1] Экспромтом.

теми, кто жив, ни перед теми, кто с того света возразить не может. Во дворе, на кухне, где я часами курил перед темным окном, никого со мной, кроме моих героев, не было. Жизнь обогнала нас, а мы еще торчали там, в екатеринодарском времени.

Всему бывает конец. Каждая глава приближает меня к своим дням. Скоро ли последние слова? Скорей бы! Уж я соскучился и тороплю месяц, число, когда оборвется мой сон.

ИХ УЖЕ НЕТ

Я все позабросил, бумаги свои засунул в нижние полки шкафов, ездил по станицам и писал в наши газеты статейки об урожае, о бригадирах и председателях и как ветхий сон вспоминал свое увлечение кубанской стариной.

В прошлом году ко мне подошла на улице Красной нарядная Верочка, такая веселая толстушечка с черными ресницами и намазанными ободками под глазами, и заполошно, радостно заговорила со мной, сказала, что она уже целый год думает передать мне одну новость, да все как-то не было случая. Летом 1969 года она плавала на теплоходе с туристами вокруг Европы, и в Югославии на пристани у нее была встреча с казаком-эмигрантом, уже старемьким, седым, трясущимся от нездоровья. Он громко спросил: «Нету ли кого-нибудь с Кубани, со станицы Пашковской?» С Кубани в группе было десять человек, но они уже забрались в каюты или бродили перед последним гонгом по палубе.

— Я уже не вернусь на родину,— сказал он ей, заплакав,— скоро умирать, у меня семьи нет, а друзья в могиле, так я вас попрошу, если вы мою просьбу выполните. Я принес тетрадочку с воспоминаниями, отдайте ее в музей, может, кому понадобится когда. Я казак станицы Пашковской, у меня там сестра, она малограмотная, писем от нее нету, может, умерла. Моего деда Луку знала вся Кубань...

И Верочка взяла эту тетрадку Диониса Костогрыза, и я ее прочитал в архиве.

В 1971 году я снова стал перебирать свои бумаги.

Как-то после тяжелого сна сидел я неодетый в кресле, пил чай, курил и долго глядел на старинную фотографию петербургского мастера, которую приставил накануне к лампе Лисевицкий. «Попросите кого-нибудь переснять,— сказал он мне несколько раз,— чуде-есная пара! Жалко, нет фамилии». Он горланил в моей комнате до часу ночи и, как я ни упра-

шивал его сбить свой голос до шепота, не смог совладать со своим темпераментом. В семь утра он позвонил: «Доброе утро, драгоценный мой. Ну как, помогла вам хоть немножко моя фотография в вашей работе?» — «Странный вы человек, Юрий Мефодьевич, ведь я ночами не пишу. Я же говорил вам, что все выбросил, сжег».— «Какое горе, это может сравниться только с моим пожаром, ведь я горел, знаете?» — «Знаю. Вы горели в шестьдесят третьем году».— «Вы правы».

С фотографии смотрели на меня двое, еще не потасканные жизнью, и они были моложе меня. Но их уже давно не было на свете.

Мне кажется, по огромной стране нашей много людей сидело так-то вот перед старыми фотографиями и чувствовали то же, что и я: а их уже нет, никого нет на этой земле!

В прекрасной черкеске кубанский казак, чтобы сравняться головой с головкой супруги, склонился на локоть к высокой резной тумбочке, а она в бархатном длинном платье с нашитыми на груди и на рукавах кокетками стояла чуть-чуть сзади. Лица их были счастливыми и привлекательными: у него живые круглые глаза, загибающиеся усы, гладкие, точно приклеенные, волосы, круглым листиком свернувшиеся надо лбом; у нее патриархально-покорное лицо молодой жены-провинциалки и уложенная на голове коса. Она, казачка, еще не избалована Петербургом, ее приведи в гостиную — она растеряется и за весь вечер не проронит слова, но все заметит верно и потом скажет мужу; он, службой приученный к придворной толпе, гораздо смелее жены.

Не у кого спросить, кто это.

Да, кто они, из какой станицы, какого года рождения, кто их родственники? Может, я не раз встречал его фамилию в послужных списках? А из чьей семьи она?

Не к кому понести фотографию.

И что с ними стало? Отслужил ли он до войны, или его бурным ветром снесло как листок на юг в перевороченный город? Погиб ли он сразу или уехал из Новороссийска навсегда? Казалось бы, зачем знать и спрашивать? Но так же гляжу я на любую фотографию, на лица людей, которым не было дела до нас, еще не родившихся, но которые нам загадочно интересны...

На другой фотографии красноармейцы хоронили в 1919 году своего товарища. Подписи не было. Пока я читал о них, они были живы, были со мною: служили, женились, ходили на базар, воевали, писали жалобы. Все кончилось.

Но что! — то незнакомые люди, я их никогда не видел.

Нету уже и тех, кого я слышал, с кем здоровался за руку.

Иду ли мимо дворов, вытащу ли письма из папки, переверну ли записи — я думаю: их уже нет, их никого-никого нет! Они там, где «несть ни печали, ни воздыхания».

Нет какого-нибудь мужичка, читавшего псалмы над покойником, говорившего мне, что в их курской деревне любому прохожему давали ночлег. Нет казака из станицы Пашковской, все певшего гостям «Прощай, мой край, где я родился». Висит у вдовы извозчика Ляхова хомут, который Терешка надевал на шею своей лошади,— самого Терешки давно нет, и в прошлом году не стало Ляхова. Нет добрых екатеринодарских женщин, ходивших на войсковое кладбище убирать могилы отцов и старших братьев, погибших в японскую и германскую войны; нет порою тех, кто приходил на могилы войны последней. Вчера еще, кажется, я бродил по улицам среди людей, которые ограждали меня живой стеной у того скорбного края жизни, куда клонится все живое; нынче их нет, и край тот стал ближе.

Нет Акима Михайловича Скибы. На 50-летие Советской власти он в числе немногих старых большевиков открывал шествие, потом махал рукою, словно веточкой, с трибуны; вечером Шкуропатская вызывала «скорую помощь». В ноябре приезжала к нему Федосья Христюк из Елизаветинской, привезла свяченую воду в бутылочке, которая у нее стояла на окне с 1930 года. «Кто знает, когда смерть возьмет. Давай, Акимушка, попрощаемся. Прости меня».— «И ты меня прости». Умирал тяжело. В железнодорожном клубе возле камеры хранения лежал он в гробу, поставленном на бильярдное зеленое сукно между лузами, с измученными от болезни щеками. Давние товарищи его по кубанскому подполью сидели на скамейках в оцепенелой думе о прожитом, поднимались на ноги с помощью комсомольцев, присланных в почетный караул, а до кладбища проводить сил не было: потрогали Акима Михайловича за холодные руки, помолчали, глядя последний раз на его выросшие в мученические дни усы и закрытые веки. Толстопят везде был рядом с Шкуропатской. Лисевицкий распоряжался машинами, напоминал кому следует о поминках, раздавал венки. Никто, пожалуй, так не плакал в последнюю минуту, как он. На кладбище ездил и Попсуйшапка, заодно проведал могилу своей жены, подобрал сор, поговорил с нею шепотом: «Ты мне, Катя, советовала сразу же поехать в Васюринскую и жениться на Ивановне, я не послушал, но дело в том, что и ее уже нету...» Как-то через год брал я интервью у знатного животновода

в станице Елизаветинской и от него узнал, что Федосья Кузьминична Христюк скончалась летом, легла на ночь и не проснулась. Накануне еще выпила с гостями рюмочку, пела. Наверное, то же и пела, что нам: «Козак отъезжает, а дивчина плачет...» На чердаке у нее Лисевицкий нашел фарфоровую супницу и хвастался, какой знаменитой старухе она принадлежала.

К. Н. Шкуропатская после смерти Скибы пустила в переднюю комнату девочек-студенток, в слабости нанимала соседок ходить за продуктами, даже в обиде боялась проронить слово против: ведь она одна, ей со всеми надо жить мирно, иначе горе ей будет, когда сляжет в постель. Как-то возле Екатерининского храма старик в грязной одежде, называвший себя о. Сергием, сказал ей: «У вас дома лежит Евангелие, а вы в него не заглядываете!» Она испугалась: он угадал! На ночь она в тот год читала в журнале «Звезда» исследование Касвинова «Двадцать три ступеньки вниз», его принесла подруга юности — на закате жизни они все увлекались мемуарами. Я видел ее последний раз у ее дома под акацией: она стояла с соседями, ждала машину, чтобы освободить от мусора ведро. Тогда-то она и отдала мне коробку из-под отцовского ордена Станислава 2-й степени — я хранил в ней открытки Екатеринодара. И тогда же она позвала меня к себе и показала поминальную карточку: «Волею Божией 5 июня с. г. в госпитале Монморанси после тяжелой болезни скончался ДЕМЕНТИЙ ПАВЛОВИЧ БУРСАК, о чем с глубокой скорбью извещают друзья его. Отпевание было совершено 9 июня с. г. в церкви ДОМА РУССКИХ ИНВАЛИДОВ, погребение на русском Инвалидном участке кладбища Монморанси. В 9-й день кончины в субботу 13 июня в 11 час. в церкви Дома Русских Инвалидов в Монморанси будет отслужена панихида по усопшему». К. Н. Шкуропатская умерла в декабре в дождливый день, я был в командировке. Поедет ли кто-нибудь трамваем к городскому саду, пойдет ли по той же улице пешком, пусть сразу за школой взглянет на патриархальный дуб над маленькой черноморской хаткой. Там доживала свои земные дни Калерия Никитична.

Из Парижа Бурсак прислал мне однажды открытку с видом церкви в Ницце, а в архив — книгу «Два года гражданской войны на Кубани» Д. Скобцова, мужа знаменитой матери Марии (бывшей поэтессы Кузьминой-Караваевой, в девичестве Пиленко). Просил Бурсак передать привет всем-всем, кто привечал его на родине в 1964 году. Умер, и некому было на Кубани печалиться о нем.

Так проходит слава земная.

Но всегда жили и будут жить в своем веку последние.

В хорошую погоду можно было видеть в городе, как гуляют два старца — один высокий, величавый и молчаливый, другой маленький, разговорчивый и какой-то хозяйственный. Оба, кого-нибудь встретив, так чинно и добродетельно раскланивались, что хотелось у них этому поучиться. Кто издавна жил здесь, знал, что это за люди, а остальные, городу не родные, лишь удивлялись: откуда они?! чего они так степенно ходят туда-сюда в белых костюмах? То были Толстопят и Попсуйшапка. В дни майских и октябрьских демонстраций я неизменно заставал Толстопята на тротуаре у Пушкинской библиотеки; и всякий раз, когда стройно шла мимо армия, он радостно плакал...[1]

НЕНАПИСАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

ПЕТР БУРСАК

Из записок кавказского офицера

Вместо князя Барятинского 6 декабря 1861 года наместником кавказским стал Великий князь Михаил Николаевич.

16 февраля 1862 года он проследовал из Варениковского к Крымскому, Ильскому и Григорьевскому укреплениям.

Для встречи мы выстроились в походной форме, со скатанными шинелями. Около полудня замаячили всадники. Впереди ехал двадцатидевятилетний красавец Михаил Николаевич, рядом граф Евдокимов, а далее свита. Великий князь принял рапорт Бабыча, которого обнял и поцеловал, а затем начал здороваться с каждой частью. После легкой походной закуски в особом шатре он двинулся дальше, конвоируемый всем Адагумским отрядом. Дорога пролегала по границе абадзехских земель, по местности, еще не пройденной нашими войсками и известной только по расспросам. Горцы, конечно, узнали, что мы встречаем царского брата, и весьма возможно, что у них явилась дерзновенная мысль попытать счастье и захватить самого Великого князя в плен.

Как только наш головной отряд втянулся в дефиле, горцы не выдержали и подняли стрельбу из-за поваленных бревен и с деревьев. Весь отряд мгновенно стал.

Кавалерия тем временем набрела на богатый аул и, ввиду ночлега, произвела обильную фуражировку, захватив до ста штук рогатого скота. Перестрелка не прекращалась, хотя

---

[1] Не окончено.— *В. Л.*

была довольно слабая, урывчатая. Отряд приблизился к глубокой балке, заросшей дубовым лесом. Три раза горцы переходили в атаку, теснили наш арьергард. В это время по правой цепи из засады неожиданно раздался залп, и партия абадзехов с гиком кинулась на нас в шашки.

Его Высочество все время находился на возвышенном пункте и в бинокль следил за ходом битвы. В официальном донесении дело справедливо названо «поистине молодецким».

Через неделю после великокняжеского проезда по земле шапсугов были предприняты разведки через лазутчиков — искали пропавшего пять месяцев назад казака Толстопята. С радостью мы все узнали, что он жив, и шапсуги не прочь его выдать за известный выкуп. Началась торговля, и в конце концов сошлись на двух тысячах серебряных рублей. Деньги были немедленно высланы графом Евдокимовым. И вот, когда мы все ждали, что со дня на день нас известят о привозе Толстопята, вдруг прибыл лазутчик и объявил, что другая какая-то партия шапсугов выкрала Толстопята и теперь требует за него на пятьсот рублей больше. Пришлось согласиться. В тот момент в войсковых ящиках не нашлось достаточно серебра. Трогательно было видеть, с какою готовностью солдаты и казаки несли свои рубли и абасы (двадцать копеек).

Наконец мы выступили к пункту между Абином и Хаблем. Я вез в переметных сумах деньги и новую одежду. Часам к одиннадцати мы были на месте. Я с несколькими офицерами забрался на холм, и оттуда мы жадно всматривались в опушку леса, с нетерпением ожидая появления нашего несчастного товарища. Как бы новая какая партия не увезла беднягу, чтобы начать торг!

Наконец на краю просеки замелькало несколько горцев. Среди них без шапки, в одной рубахе, ехал пленник. Он еще издали махал нам руками. Я проехал навстречу. Уполномоченные-горцы взяли от меня мешок, разостлали кошму и начали считать деньги, раскладывая их на кучки и внимательно осматривая каждую монету, иную даже пробуя на особом камушке. Окончив, они сказали: «Яхши, чек яхши».

Толстопяту развязали ремни, которыми были опутаны его ноги. Он с трудом слез с лошади и, шатаясь, подался вперед, но, пройдя несколько шагов, споткнулся и упал. Казаки, никого не слушаясь, бросились вперед, подхватили беднягу и принесли его на руках. Несчастный целовал их, плакал и стонал: «Братцы, братцы мои! Наконец-то!» Истощенный, бледный, с ввалившимися щеками, он даже стоять не мог

на ногах и тут же упал с рыданиями на разостланную шинель. Мы наклонялись к нему и целовали его...

21 мая 1864 года война на западном Кавказе завершилась навсегда. Едва шестая часть горцев осталась в пределах области; большинство должно было поселиться в Турции, где им было обещано так много и где оно большею частью нашло голод, нужду и деспотизм власти. Нам больше не с кем было воевать.

(Продолжение следует.)

П. Бурсак

П. А. ТОЛСТОПЯТ

Сегодня 5 октября старого стиля, день Алексея и бывший праздник всех казачьих войск. Коли судьба заставляет меня приступить к воспоминаниям, пусть они будут чистыми, объективными фотографиями прошлого. Не знаю, в чьи руки после моей смерти попадут они и успею ли я их написать. В настоящих условиях, без перспектив в личной жизни, приятно вспоминать то, что прошло как сон.

Перекладывая свои вещи, между ними нахожу вышитыя Манечкой полотенца, которых у меня было изрядное количество, уцелело только два, все остальныя, в числе прочего имущества, пропали. На одном, кроме узора, вышито: «15 мая 1906 года». Вышила сестра Манечка и подарила мне его при моем отъезде в армию. Это полотенце вот уже шестьдесят лет сопровождает меня на моем жизненном пути и весьма ценно для меня как воспоминание о моей любимой сестре. Это единственная моя вещь, столь долголетняя. И вещи жены-покойницы, которую я не могу забыть...

Мы не смели в детстве оставаться в гостиной позже восьми вечера, а шли спать. После чая и еды мы целовали руки своих родителей. В 1-м Екатеринодарском полку я наблюдал, как зять командира полка постоянно при встрече, не только в доме, целовал руку своему тестю. Кое-где родители заставляли своих мальчиков приветствовать не только старших, но и младших сестренок, целуя у них руку. Так я приветствовал сестру Манечку...

ЮЛИЯ ИГНАТЬЕВНА (мадам В.)

...Я храню твои засушенные цветы, лепестки сирени. Хранишь ли ты мою засушенную розочку? Слушаешь ли «Осенний вальс» Джойса и ждешь ли меня, мой родной? Зачем думать о смерти? Будем жить — ты меня этому учил всегда. Но как было бы прекрасно, думаю я здесь, на древних каменных скамейках театра в Эпидавре, вновь на склоне лет оказаться там, где, по словам Кольцова, соловьем залетным юность пролетела, — на родине. Не дождусь, когда повезут меня к тебе в Париж. Храни тебя бог. *Юля. Июль, 1933, Греция.*

А. М. СКИБА

...До рассвета, все еще спят, мать затопит печь, месит тесто — хлебин на десять. Мы встаем, умываемся, молимся Богу, — на столе уже самовар, чай. Мать напечет драных коржей, орешков на сковороде, а то яичницу на сале. А в комнате висит впереди кровати колыска, подвешенная к сволоку, она редко бывает пустая, в ней убаюкивают ребенка. Когда мать перестанет кормить ребенка грудью, она жует хлеб (иногда с сахаром) — вкладывает его в марлю и сует в рот. А мы после школы помогаем по хозяйству: выгоняем с база скот и лошадей к корыту у колодца, замешиваем лошадям полову, накладываем скоту соломы, наносим в хату топлива — кизяка и дров или одной соломы — да принесем от церкви доброй воды. В хате печь большая, залезем на печку, там и уроки учим. На ночь рядном вносится солома, расстилается ровным слоем в головы потолще, застилается рядном, и на этой постели, помолившись Богу, ложатся покотом спать, укрываясь рядном, а если холодно, то и кожухом. Мать вечером садится за прялку или веретено, прядет пряжу для полотенца, мешков, штанов, портянок. Нам дает каждому вымнять по одной или две мычки (горсть волокна), а в колыске ребенок заплачет — надо качать. Все мы уснули и не знаем, когда мать легла, а утром она будит нас. Мати моя, где ты теперь, горю̈шко? Целы ли твои косточки?..

В одну из первых встреч с Калерией Никитичной я сказал ей: «Без доверия друг к другу у нас не получится откровенного разговора. Надо верить, что твои или мои слова не

будут брошены в грязь, на посмешище соседям». И она заверила меня в том, что, о чем бы мы ни говорили, она сохранит в тайне.

— Бедная моя сиротиночка,— сказал я и хотел приласкать ее, взяв за голову, но она закрыла ее руками.

Уезжая в Горячий Ключ, я сказал ей: «Поеду, поищу себе женщину, может, в приймы пристану».— «Езжайте»,— сказала она. А когда я вернулся, то сказал: «Не стал я искать себе женщины, авось сгорю и так, как-то деды наши же сгорали. А лучше тебя все равно не найдешь».

Ее лицо прояснилось улыбкой.

— Погоди, пожалуйста, я хоть обойму тебя...

И обнял ее руками, как малое дитя, приник к ее чистой и святой груди, а руками стал ласково поглаживать ее спину, а она стала поглаживать мою голову...

В. А. ПОПСУЙШАПКА

Вы спрашиваете, кого ж я помню? Да я всех помню. Я ж не сплю и всех вижу по очереди. Помню скрипичного мастера Гавриленко — в старости спал на кровати Рубежанского, купил у его дочери в тридцать четвертом году; старосту извозчиков Дейнеку — простой как три рубля; сестер Саморядовых — возле Нового рынка теперь в их доме столовая; ассенизатора Кочкина — его сестра училась в купеческом училище, уехала с греком в Афины; священника Куща — у него была горничная Настя, я поухаживал за ней немножко, один раз сказал: «Возьми в театр кольца на пальцы — пригодится»; комиссара нового рынка Деревлева — съедал за завтраком двадцать штук яиц, двадцать стаканов чаю выпивал, москаль; вора Гаврилу Святодухова — после переворота служил в милиции; сына атамана станицы Суворовской, за сокрытие ему десять лет высылки дали, вернулся; Мусю Голопышку — я водил ее в баню, когда вдовец был,— она за красоту получила первый приз в Армавире, при всех достоинствах женщина, ушла с волчьей сотней Шкуро в Пятигорск да там и пропала; Н. Коренухина — его покусала собака Данилюка в девятьсот десятом году; владельца скобяного магазина Н. П. Кобылянского — его хоть об дорогу бей, а он все вам на здоровье жалуется; доктора Платонова — в восемнадцатом году отступил в Калужскую, снег был по колено, он пошел по воду (прислуги ж с ним не было) и упал в колодец, его вытащили за веревку, а умер в Каире; Процая — ездил с оркестром в Ливадию, у него все четыре сте-

пени Георгиевских крестов; Одноволова — яблоко дает пробовать из кармана, а насыпает из мешка. Ну и других, их много было, теперь никого нет. Дома их стоят. Я иду мимо, кто окажется за воротами — спрошу: вы не такого-то дочь? И про каждый дом что-нибудь вспомню и назову хозяев: кто, что, когда умер, убит, где дети. Жизнь человеческая как свечка: ветер дунул — свечка погасла...

1979

ДИОНИС КОСТОГРЫЗ[1]

...21 февраля 17 года стало известно, что в Петрограде беспорядки, а 2 марта, что Государь отрекся от престола. Узнав это, я сделался больной, с меня служащие смеялись, но я молчал. Я в то время после ранения был камер-казаком у Ея Величества Императрицы Марии Федоровны. Императрица скоро уехала в Могилев в Ставку к Государю. Государь был в форме кавказской — серая черкеска и бешмет серый, погоны 6-го Кубанского пластунского батальона, ботинки на шнурках, цвета красного. На меня подействовало то, что Ея Величество, когда выходили из вагона, сказали Государю: «Вот я тебе и Костогрыза привезла». Государь ответил: «Очень рад, мама». Эти слова засели в сердце на всю жизнь и для поучения детям моим. В Ставке мы прожили четыре дня, жили в поезде, завтракать ездили во дворец, а к обеду Государь приезжал к нам в поезд. После этого приехали два разбойника Государственной думы, одного фамилию забыл, а один был Бубликов.

Когда Государь приехал в автомобиле, то за ним были двенадцать гимназисток, провожали и плакали. Когда они добежали до нашего поезда, то стали просить хорунжего Ногайцева, конвойного офицера, чтоб он доложил, что они просят у государя что-нибудь на память. Тогда Государь взял лист простой бумаги, порвал на карточки и написал на каждой «Николай» и отдал хорунжему Ногайцеву, а тот раздал гимназисткам. Они целовали листочки, прятали и плакали. Было несколько лишних — то стоящие люди, старики и старушки, просили и то же делали. Это картина была вся слезна. Когда поезд был готов к отправке, то доложил Государю флигель-адъютант полковник принц Лихтенбергский, как бы в то время дежурный. И когда Государь вы-

---

[1] Несколько листочков дневника из той тетрадки, которую Дионис Костогрыз передал в 1969 году Верочке Корсун в Югославии.— *В. Т.*

ходил из вагона, то Императрица его благословляла, осеняя крестным знамением, и обливала слезами. Мы стояли...[1]

5/18 июля 1919 (Лондон)

Утром Ея Величество возвращалась от Королевы и несла в руках вырезку из английской газеты. Я спросил: «Ваше Величество, что хорошего есть?» Она мне сказала, что статья написана Сувориным об России. Он пишет, что никто ничего не знает за Россию, и вообще сказала, что статья очень хороша и правдива... И я сегодня совершенно успокоился. Был в 12 ч. 20 минут утра Великий князь Михаил Михайлович, женатый на внучке Пушкина Софии, говорил со мной, любезно спрашивал, имею ли я сведения от своей семьи и как дела на Кубани. Я сказал, что все хорошо. Он сказал: «Очень рад, слава Богу». И спросил меня: «Как Вам нравится Лондон?» Я ему сказал: «Меня ничто не радует, когда у нас России нет, и чужая радость меня не утешает».

22/9 июля. Представлялись дети в. к. Михаила Михайловича, сын и дочь. Оба были ко мне очень любезные и говорят на русском языке. Очень хорошие. Я спросил, были ли они в России. Нет. Я за это в душе своей их осудил. Как они могут любить Россию, когда в ней не были?

ИЗВОЗЧИК ТЕРЕШКА

...Чаши серебряные, позолоченные, кресты серебряные, тарелки серебряные, мельхиоровые, блюдца, кадильница, плащаница, дубовый иконостас, иконы, облачения, ковры, все прочее имущество, означенное в сей описи, приняли на хранение и пользование для религиозных и обрядовых целей, что и свидетельствуем своими подписями...

Терентий Трегубов
Екатерина Трегубова
Надежда Трегубова

улица Базарная, 28
1921 г. 2 июня.

НЕИЗВЕСТНАЯ

В середине 1922 года в жаркий день появилась на набережной в Новороссийске высокая старая женщина в черном. Она выжидающе смотрела вдаль на море. Я указал на нее моей маме, и она мне сказала, что это мадам Елизавета

---

[1] Нет листа. — *В. Т.*

Александровна Бурсак, из-за которой стрелялся молодой офицер. Она стояла как вкопанная и чего-то ждала. Наконец к бухте, отгороженной от моря двумя молами, приблизился рыбачий баркас. У пристани рыбак протянул к мадам Бурсак руки и, подхватив ее, посадил в баркас. Тотчас же баркас отплыл. Говорили, что «эта старая женщина» зарегистрировалась с турецким рыбаком и уехала в Турцию на пароходе. В 22 году была как раз объявлена репатриация всех иностранцев, проживавших в России и желавших уехать на родину. Многие наши женщины регистрировались с ними и отправлялись за границу, где этот брак не признавался...

К. Н. ШКУРОПАТСКАЯ

...Когда мы заканчивали Мариинский институт, сдали экзамены, наказный атаман Бабыч пригласил выпускниц в театр, купил тридцать мест, и мы решили, что пойдем не в платьях, а последний раз в форме. В ложе для каждой из нас лежала коробка шоколадных конфект...

При маме на бал еще ездили по нашему Парижу на волах...

Д. П. БУРСАК

Что же я вам скажу, милый молодой друг, какие теперь воспоминания, коли завтра мне покидать Россию и затем где-то умирать в Париже? Жизненный путь так долог, что выпадают из памяти не только месяцы, но и целые годы. Род приходит, и род уходит... До свидания, до свидания, прощайте, не судите нас кое-как, живите, а мы уже свои земные дни исчерпали. Аминь...

Краснодар, 1964 г., месяца не знаю, бо календаря не маю (шучу). *Д. Бурсак* (последний из запорожского рода).

ИЗ ДНЕВНИКА

Прошли годы, и я начинаю чувствовать, что живу не там, и, наверное, скоро уеду отсюда,— назад, к себе, на Тамбовщину. Все-таки это юг, это не Русь, и мне тяжело без нашей чистой великоросской речи и бедненьких изб, без лесов, снега, мороза, без валенок (хоть их уже мало кто носит). Есть еще что-то, чему я не смогу найти объяснения, зато чув-

ствую; другая душа у моей Руси, я там рожден, и это предки, наверно, зовут меня поближе к своим крестам и распавшимся холмикам. Зовут и старинные журналы, где даже в барских воспоминаниях много нашего, коренного. Чем больше живу на юге, тем сильнее начинаю страдать. Все мы поразъехались по великой стране, и только иногда понимаем, сколько счастья потеряли. Старуха, не выезжавшая из родной деревни весь век, счастливее нас, перелетных птиц. И нечего сваливать на цивилизацию! Домой, скорее домой! Там отраднее воспоминания...

ГОРОД НЕВЕСТ

(Послесловие)

Уже тысяча девятьсот восемьдесят третий год. Рукопись Валентина Т. заканчивается годом семьдесят восьмым, потому что после этого года Толстопят[1] уже не появлялся на улице Красной, редко прогуливался даже в своем дворе. Моя дочка Настенька была у него несколько раз в гостях, и он подарил ей парижские открытки, вышитое полотенце (от сестры Манечки) и на будущее — французский словарь «Общественно полезные разговоры». Он уже все свое раздавал.

Настенька, пока я доводил чужие бумаги до кондиции, часто подбегала к моему столу, трогала листы пальчиками, изредка задавала мне какой-нибудь вопрос и звала в большую комнату поиграть с кукольным медвежонком Потанькой.

Однажды без меня она написала: «Папа, желаю тебе скорее закончить дядин роман и поиграть со мной, если ты друг. *Настя. 21 мая, 83»*.

— Как ты выросла! — сказал я.

— Зачем ты над стариной сидишь? Старина уже выбыла. Давай я тебе продиктую свое сочинение «Весна пришла». Только я не буду называться Настей, а по-другому.

Полчаса записывал я ее длинный рассказ, который кончался словами: «И все-таки: как хорошо было бы, если бы весь год стояла зима».

— Как ты, деточка, выросла! — повторил я и прижал ее к себе.

— Почитаешь Лисевицкому, ладно? «А я, — скажет, — глубоко одинок и закутываюсь в пять одеял, ведь я не топлю».

— Ждешь его? Любишь его подарки?

[1] Всем уже знакомым героям даю здесь те же фамилии, что и в рукописи. — *В. Л.*

Она, видимо, запомнила, как Лисевицкий расхваливал ее в прошлом году: «Будет удивительная красавица! Сказочная красавица. Даже царские дочери не сравнятся с ней. Мама-государыня ею довольна? Ах, я шел из аула полем, такой аромат цветов, кизяка... И августейшее дитя льнет к свету жизни...»

Настенька вытянулась за последние два года, многому научилась в школе, а еще недавно она ничего не знала. До обеда я закрывался в своем кабинете, но она каждые десять минут стучала ножкой в дверь и покрикивала: «Папа, откройся! Ну на минуточку! Ну, папа... Какой ты...» Когда кто-нибудь приходил, она взбиралась ко мне на колени и слушала непонятные ей разговоры. Маленький седой Попсуйшапка был для нее странной живой игрушкой. «Вот, Настенька,— говорил я,— это сама история; Василий Афанасьевич на девяносто лет тебя старше». Это ее нисколько не удивляло. Попсуйшапка между тем терзал пальцами пуговицу на старой шубе и, заметив, как Настенька смотрит на руку, пояснял со старческой важностью: «Это, Настенька, кх... пуговица тысяча девятьсот двадцать четвертого года... Вот считай: в двадцать четвертом году купил я эту шубу. Шуба хорошая. Хорьковый мех, черно-бурый, самый лучший в старое время...»

Что ей тот 1924 год?

Еще неведомы ей пути человеческие, непонятна в радиоизвестиях гражданская война в Сальвадоре, и страдает она оттого, что мама выгоняет на улицу кота Тимошку. Ничем еще не напугана Настенькина душа.

Завтра мы пойдем с ней по городу. Она за ночь позабыла, что вчера поздним вечером обижалась на меня. Все забегала ко мне из своей комнаты и не хотела ложиться спать. Мама уже читала в постели «Женский портрет» Г. Джеймса. Я ловил Настеньку, укладывал, но она снова прибегала мешать мне, пряталась в уголку. Тогда я ее отшлепал. Она заплакала.

— Открой мне шкаф, я возьму рубашку.

Я ей открыл, она надела через голову рубашечку, смяла в пальчиках платочек, вытерла носик и легла, безутешно всхлипывая, прикрывая платочком глаза,— подобно женщине, не знающей, куда деваться от своего горя. Мне стало ее жалко. И пока я сидел у себя, в какой раз перебирая листочки «Нашего маленького Парижа», раскладывая потом части по конвертам, подписывая адрес издательства, мне все хотелось подойти к ней, сонной, и ладошкой попросить прощения. Завтра мы понесем конверты на почту. Если роман

напечатают, Настенька когда-нибудь прочтет, доберется до первой строчки последней главы: «Уже тысяча девятьсот восемьдесят третий год» — и взгрустнет: «Как давно это было...» Все на свете движется к старости. Я сижу и боязливо мечтаю. Жить бы ради нее долго-долго, чтобы у нее всегда была где-то под боком верная защита. Мне хотелось бы знать, станет ли она такой, какою я мечтаю ее вырастить. Я ее буду все годы подталкивать, чтобы она прилежно читала лучшие книги, верила им даже тогда, когда в суете и обидах они кажутся нам обманом. И чтобы она потом перечитывала то же, что много раз в году кладу себе к ночи на столик я: «Жизнь Арсеньева» Бунина, его поздние рассказы, «Даму с собачкой», «Дом с мезонином» Чехова, «Казаки», «Войну и мир» и «Два гусара» Толстого, «Тихий Дон» Шолохова, «Унесенные ветром» М. Митчелл, «Свечечку» Казакова, всего Пушкина, «Жизнь Пушкина» А. Тырковой-Вильямс и все прочее, что указано в моем дневнике. Хочу, чтобы она играла на пианино, пела старинные романсы. Не терпела лжи, была простодушна, но мудра, была ласкова, как в детстве. Чтобы любила нашу историю. Чтобы ты, Настенька, говорил я наедине, съездила в Новосибирск, в Топки (где я родился), в Тамань, в Пересыпь, в Тригорское, Константиново, в Москву, туда, где я провел лучшие дни моей жизни. А пока ты маленькая и еще не чувствуешь, как убывает время. С тобой я рад бы побыть на земле до ста лет — как Попсуйшапка.

Легок на помине Василий Афанасьевич. Утром вышел я на звонок и вижу: в новом белом костюме, в соломенной шляпе, с палочкой в руке просится ко мне всем видом Попсуйшапка! Я усадил его в кабинете на низкое кресло. Он бережно снял с головы шляпу, потом очки; мутнеющими глазами поглядел на меня, и я понял, что у него ко мне какое-то дело. Белые усы, такая же бородка украшали его — как всегда. Ничто, кажется, его не берет, и рукопожатие у порога было крепким.

— Хотел возле дома Фотиади встать. Ну, на рынке встал, на автостанцию зашел: нет ли кого из Васюринской? Нет никого. Всегда кто-нибудь едет. Поговорю, про всех расспрошу в станице...

Мы помолчали.

Позавчера ему поменяли в милиции паспорт, и он без единого слова похвалился им. Он и не думал умирать. На лице почти не видно морщин, так, какие-то паутинки. Но на фотографии в паспорте Василий Афанасьевич был древний. Глаза глядели на нас из далекого-далекого времени. Сколь-

ко ему еще ходить в пашковскую баню, на Сенной рынок и к шапочным мастерам в ателье? Я так привык к его долголетию и его младенческому интересу к жизни, что иногда со страхом думаю: неужели он когда-нибудь умрет?!

— Я вот чего к вам,— начал он, подчищая голос покашливанием.— Помните, я вам рассказывал, как в тысяча девятьсот восьмом году, когда Швыдкая ездила к Ивану Кронштадтскому (помните?), меня ограбили на Пластуновской?

— Вас ограбили Драганцев, Цвиркун и Парфенов.

— Правильно. Трое. Они отобрали у меня кошелек...

— ...А там двести двадцать рублей сорок копеек было.

У Василия Афанасьевича от обиды закрылись глаза и долго качалась голова.

— И я подумал вчера: пойти к сестре Парфенова, чтоб она выплатила мне те двести рублей через милицию. А для того взять газету «Кубанский курьер», где написано про меня, она ж у вас?

«Вот она, смерть,— испугался я и пожалел старика.— Сознание потухает, первые странности, забывчивость, неузнавание и тому подобное».

— У меня газеты нет,— говорю ему,— я в архиве читал. Она подшита, на государственном хранении.

— М-м...— протянул он и задрал подбородок.

— Семьдесят четыре года прошло, кто ж вам отдаст те деньги? Сестра-то при чем? Это еще при старой власти было. И почему вы вспомнили?

Я был изумлен и не узнавал Василия Афанасьевича.

— А потому, что люди придут, а я за что их буду принимать? Ведь они сказали: «Мы придем». А я не в состоянии накрыть стол.

— Кто сказал?

— Вот эти, что работают в ателье мод головных уборов. Я ж тоже принадлежу к этому цеху пожизненно. Я всегда захожу к ним. Везде в металлических шкафах холодная газированная вода, а у них теплая, комнатного содержания, и я попью. Там моих напарников покойных дети работают, вдовы их сыновей.— Он перечислил всех по имени-отчеству.— Я им, Виктор Иванович, сказал, что мне через год сто лет — на праздник трех святых: Ивана Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова. Так мать моя покойница говорила.

— Знаю.

— Мне сто лет — пожалуйста, новый паспорт получил. Вынимаю. «О, на ваш юбилей мы придем». Господи,— думаю,— а как я их буду обслуживать? Это ж надо не осра-

миться, стол накрыть, подать и принять. Я ж не работаю. Пришел домой и думаю: чем я буду их встречать? Живой человек о живом и гадает. И я вспомнил стишок, как один пришел Настю сватать.

Настенька засмеялась.

— Поставили барабульки нечищеные, вареники, а я, говорит, на них косо поглядываю. Пришло время, погасили свет, а я за те вареники та с хаты шукать себе место, чтобы вареники слопать. Поел вареников, макитру свиньям выкинул. Вот я и пришел к вам, чтоб моя коротенькая пьеска была сполна.

— Семьдесят четыре года прошло,— сказал я.— Не ходите никуда. Вы пережили всех воров и судей. А юбилей мы вам отметим.

— Ну спасибо, дорогой Виктор Иванович, если вы так говорите. У дочки я не имею права просить, она учительница.

— Давно уже другое время, все поумирали, забудьте о тех деньгах.

— Я забыл, а тут — не сплю ж — и вспомнил. Я дверь закрыл, ключ положил и поехал к вам.—И добавил медленно, врастяжку: — Я уже, может, больше не приеду к вам.

— Что снится?

— Снилась два раза покойница жена. Пятая, самая крайняя. Лежала в платье на той кровати, которую мы с ней продали в Нальчике,— железная, со спинками. Лежала в той кровати в бордовом платье, и волосы не распущены, а так, целиком, и аж до колен. И во второй раз — в том самом платье.

— Слабеете?

— Глаза... По две капли закапывал в глаза, а теперь по четыре. Ноги болят. Уже и пчелы не помогают.

— А что это у вас?

— Картонка. Подобрал на Красной у зеленого гастронома. Хороша на подкладку. Для фуражки. Валяется, я по привычке поднял. Нету хозяина.

Настя теребила меня:

— Папа, когда на почту?

В двенадцать часов мы с ней закладываем пакеты в сумку и выходим на улицу Ленина. На углу ждем, пока проскочат машины. Солнышко светит на деревянный зеленый магазинчик (наверное, то была когда-то персидская лавочка, двери ее забили, и так до сих пор). Старый город не сносят как будто в угоду Попсуйшапке. Через год сто лет, а ему еще

хочется полететь в Болгарию на свидание с кумой Хри́стовой. «Интересно, Виктор Иванович. Все в жизни интересно».

— Я такая легкая,— говорит Настенька возле дома Фотиади,— могу идти долго-долго. Наш маленький Париж!

— Кто тебе сказал?

— Я прочитала у тебя на столе. Папа! Сейчас меня приняли в октябрята, потом в пионеры, а потом в комсомол?

— Никак не дождешься?

— Ага. Как ты догадался?

— Я сам ждал. Под дверью стоял, боялся — не примут. Троек нет, четверок нет, в кружках участвую, а стою и боюсь, что не примут.

— Приняли? Ты рад был?

— Я не спал целую ночь, хотел похвастаться поскорее в классе, какой у меня на груди значок.

— Я тоже хочу поскорее значок.

В Ворошиловском сквере я покупаю газеты.

Если у Дома книги мы не застанем Лисевицкого, то, значит, на каких-нибудь океанских островах совершился переворот — только так это можно и объяснить. Но Лисевицкий на месте, в кучке книголюбов. В его руках бумажная сумочка за четыре копейки, лоб его блестит, как помазанный. Он мгновенно предает кружок менял и семенит к нам.

— Здравствуй, чудное дитя! В какие неведомые дали? Дайте прикоснуться к вашей бессмертной руке, маэстро.

Он держится за нас руками, отскакивает, вновь приступает. Мы с Настей смеемся. Лисевицкий никогда не изменится. Раз сто уже он славил мою руку.

— И кажется мне — не из плоти рука, а в мраморе, в бронзе уходит в века! Сам сочинил. Экспромт. Иногда вдохновение осеняет. Стою на перехвате, делать нечего. Я когда-то написал песню о Кубани, ее печатали в пятьдесят седьмом году к фестивалю в «Комсомольце Кубани». Я и музыку написал, и стихи, и сам пел, как Вертинский. Наш поэт Варавва обещал напечатать в сборнике кубанских народных песен.

— Вы классик. Что еще?

— Думаю о том, как бы мне проникнуть в дом Фотиади и посмотреть на ванну из розового мрамора. Я бы отдал сто рублей сразу только за то, чтобы залезть и тут же вылезть. Крошечка Настенька смеется. Я, деточка, не могу жить иначе, ха-ха... Да-да! Достал! «Записки кавказского офицера» Петра Бурсака полностью. Огромная тетрадь.

— Поздно. С «Записками» Бурсака вы опоздали. Кому это теперь нужно? Вам, мне. Но и я уже стариной не занимаюсь.

— Глубоко дышите современностью? Понимаю. К вам вопрос. Роман, как вы считаете, будет иметь успех?

— Читать-то особенно некому. Это как фотография на память: более всего говорит она чувству родственников. Тем, кто разбирается в нашей истории хоть немного, и тем, у кого здешние бабушки, будет заметнее при чтении романа, как много уходит вместе с людьми. Так же что-то уйдет и с нами. И с ними,— показал я на Настеньку.

— Дитя заскучало с многомудрыми старцами, ха-ха... Еще вопрос к твоему папе, Настенька, навеки занесенному...

— ...в амбарную книгу...

— ...чудесной Кубани. Скажите, где бы вы ни были, вы обязательно вникаете в психологию людей? Изучаете пороки, страсти человечества? Вы, как Штраус, записываете на банкнотах, на клочках, а потом ваша музыка облетает весь мир?

— И навеки заклеивается в амбарную книгу.

— О честолюбцы! Все вы в Наполеона. Идемте смотреть «Ватерлоо»! Я уже видел шестнадцать раз! С десятого раза изучал только пуговицы и ордена. Ну, хотите, я познакомлю вас со своей тетушкой? Нет, вы гляньте, гляньте! Львица, львица какая пошла! А вот же какая прелесть, вся в розовом. О если бы она знала, что вы из бессмертной плеяды, она бы сети разбросила, а вы бы попались как мотылек на лампу, ха-ха. Бросилась бы к вам за автографом, чтобы уйти навеки в бессмертие. Настенька смеется.

— Хорошо с вами, но надо идти.

— Постойте рядом с простым смертным, ха-ха... Как будто Гоголь ходит по Миргороду с Афанасием Ивановичем и...— кивок в сторону Настеньки,— с Пульхерией Ивановной... Не удивляйтесь, на меня действует весна. Наша Кубань — край вечной весны, вечной любви и истории, ха-ха... Неужели Попсуйшапка еще жив? Значит, и я буду жить да жить. Священный старец покрывает меня своим омофором, ха-ха... Уходить мне на пенсию?

Двадцать лет он клялся познакомить меня со своей тетушкой, которая без очков вдевает нитку в иголку и сама таскает лук на горище; лет пятнадцать обещал найти в своих ящиках старую карту Кубани и уже около десяти лет отправлял себя на пенсию по выслуженному стажу.

— Придется вас вставить в роман. Оригинал!

— Я буду счастлив, если вы поднимете из праха мою мумию.

— Жду в гости, но не в одиннадцать.

— Да как вы можете ложиться в девять? Только начинается жизнь. Слышны голоски комаров, лепет крылышек всякой моли и букашек. С высоты небес летят души великих людей. Бедный месье Толстопят, он уже там, где нет ни книг, ни воздыханий. Вы помните, что он сказал в парикмахерской в первый год приезда? «Вам шею побрить?» — мастер спрашивает. «Голубчик! — по-офицерски ответил ему месье Пьер.— Шею брили только кучерам». Ответ, достойный священных скрижалей!

И опять он повторялся. Может, мы напрасно считаем, что ничего на свете не повторяется? Повторяются слова, люди, мысли, характеры, женские лица и проч. И Верочка Корсун повторяла те же самые слова другому человеку и даже так же восторгалась им ночью. Она сейчас шла по тротуару под тенью недостроенной гостиницы «Москва», разговаривала с дочкой. Лисевицкий заметил, повеселел, сказал: «Недавно встретились на трамвайной остановке, я проводил ее, и говорить было не о чем». Полная пожилая дама, вполне счастливая, шла вдали, и я припомнил некоторые страницы романа, в котором Верочка может узнать себя.

— Нет, ваше величество,— сказал он печально,— не все повторяется на этом свете. Уже Верочка не то что никогда не скажет, а и не поверит, что так говорила: «Я счастлива, я все время колдую, чтобы ты тоже думал обо мне, ты снишься мне с того дня, когда выпал снег. Я счастлива, что просыпаюсь с твоим именем. Я бы согласна умереть, но только бы знать, что у тебя не будет ни одной женщины». Плачу и рыдаю, но ни о чем не жалею...

Настенька тянула меня от Лисевицкого:

— Ну, па-па...

Мы прощаемся с книжником.

— Лисевицкий пирожок откусил...

Вот и Настенька уже посмеивается над его странностями; всегда эти странности, нелепости его характера на первом месте. Но кто же, кроме него, согласится полдня бродить с учениками по улицам города, угощать их всех до единого мороженым и сладостями или в другой раз вести их на опытное поле к академику, «пшеничному батьке»? Кто вдруг подзовет на старом кладбище курсантов военного училища, расчищавших завалы мусора: — Мальчики, помогите поднять плиту над могилой офицера! — и полчаса красочно рассказывать им «великие подвиги войны и мира»? И кто бегал по аптекам за морфием для корчившегося в пред-

смертных муках ветерана, покупал венок? Не профессор же истории, всегда тупоумно правильный и назидательный. Лисевицкий! Побежал к девяностолетней тетушке своей, «нюнечке», с четырехкопеечным бумажным пакетом, полным пирожков. Если напечатают «Наш маленький Париж», купит триста штук и будет разносить по дворам: «Читайте! Это же про наш город. Боже мой, как я счастлив! Будто это я написал...»

— Папа,— говорит Настенька мне у филармонии,— ты... Только ты не сделаешь...

— Ну, ну...

— А ты сделаешь? Вечером поиграешь со мной? Если ты друг.

— Конечно. Мы сейчас с тобой сдадим бандероли, и вечером я ничем заниматься не буду.

На почте принимает заказные корреспонденции все та же кругленькая женщина в темном халате. Очередь у нее идет быстро. Я еще раз проверяю адрес издательства, шепчу на конверт заклинание, отмечаю про себя: 7-е, счастливое число. За мной два красивых высоких эфиопа. Настенька побаивается их. Впереди меня простая женщина из станицы Северской. Грустная почему-то, смущенная. Ей, кажется, трудно подавать большой конверт с австралийским адресом. «В Австралию?» — спрашиваю как можно невинней.— «Брату». Фамилия казачья, и это значит, что он беженец последней войны. Заблудился ли, увезли немцы или был полицаем? Я вспомнил, как Лукерья из Пашковской рассказывала мне: «Рано, рано,— говорю им,— хлопцы, вы взяли винтовки. Ой, хлопцы. Придут наши — будет вам». И пришли наши. Они сели на коней, запели, да так горько: «Прощай, мой край, где я родился...», а матери идут за ними и плачут... А теперь что? Кому там нужны?» Вот и этот неведомый казак сидит на «чердаке человечества» — в Австралии.

Настенька меня теребит, ей не хочется домой — мама ее там посадит на вертящийся стульчик у фортепьяно.

У Дома книги я поднялся с Настенькой в кафе-мороженое. Мы скушали две порции мороженого, выпили кофе, потом Настенька с конфетами в руке побежала вперед по Красной. Одноглазый старик в черкеске, в папахе опять прохаживался туда-сюда по улице, словно нарочно дразнил обывателей своим музейным нарядом, пренебрегая усмешками и порою репликами. Фронтовик, потерявший глаз в разведке, почему он в черкеске кажется людям дикарем?

«Да-а...— думал я.— Блажен, кто все помнит. Ура просто-

душным... Настенька бежит себе... Город невест. Нигде нет столько красавиц... Настенька! не беги... Нигде нет... И в Париже их нет. Таких нет. Только в нашем, маленьком... Иди сюда, деточка. Я буду счастлив, если роман выйдет. Счастье в исполненном долге перед совестью. Блажен, блажен, кто помнит и у кого душа справедлива. Душа всегда справедлива. Если она у тебя есть... И придут времена, и исполнятся сроки... Да-да, и придут времена... И не постареет лишь одна улица Красная...»

Улица Красная!

С той казачьей поры, как в дубовом лесу вырубили просеку, плугом провели первую борозду и наставили турлучных хаток, вытянулась она за два века на много верст. Всем позволяла она ступать на мостовые. Ходить по ней — вспоминать свою раннюю жизнь. В каком бы углу города ни свили мы себе гнездо, на главной улице Красной скопилось столько неисчислимых наших забот и приятных мгновений. Куда это, с кем мы все шли и шли по ней? кого замечали? кто останавливал нас голосом или рукой? в чьи лица мы влюблялись, от кого отворачивались, с кем долго, до сумерек стояли на углу? кого ждали и не дождались? кого дождались себе на радость или вечное несчастье? какую заветную книгу, какой костюм, платье, какую брошь или сувенир там купили? Все это наша жизнь — узкая улица Красная. Когда-то прошли мы по ней в первый раз; когда-то пройдем и в последний. Когда летней порой погаснут окна и ты по Красной, в тишине и одиночестве, добираешься домой, вдруг промелькнет теплое чувство к главной улице. Красная! ты забудешь меня, как позабыла тысячи прочих! Я твой незаметный прохожий...

Я убыстряю шаг, на улице Орджоникидзе беру Настеньку за руку, и мы идем не сговариваясь к затону. Под высокими сводами деревьев на улице Тельмана, у домика, где жила когда-то любимая моего приятеля, Настенька вырывается и бежит вперед напевая:

Один раз в год сады цветут...

— Папа! — кричит она. — Ты мне вечером историю про Потаньку расскажешь? Если ты друг...

Она уже далеко, я тороплюсь за ней и тихо кричу:

— Настенька! Подожди... Настенька... Куда же ты бежишь, деточка?

Она оглядывается, взмахивает рукой и ждет, когда я подойду.

«Ради нее мне и надо жить долго-долго...»

1978—1983 гг. Краснодар — поселок Пересыпь

«ЧТО НИ ВОЗЬМИ, ОДНИ ВОСПОМИНАНИЯ»

Если наша литература, как мы говорим и как оно есть на самом деле,— литература памяти, то с этой книгой в нее добавляется сейчас одно из интереснейших произведений.

По внешней своей структуре это роман об Екатеринодаре (теперешнем Краснодаре) и о кубанском казачестве, которому еще Екатерина даровала привилегии, выделившие кубанцев в силу их пограничного положения и императорского благоволения к ним в особый отряд служилых людей, до последних дней царской власти составлявших своей отборной частью конвой его величества. Поэтому в романе есть все — и Царское Село, и приемы казачьих депутаций императором и членами императорской семьи, и российские юбилейные торжества, и празднества, связанные с историей казачества, и гражданская война, и исход с отступающими частями Добровольческой армии в зарубежье, и нелегкая, мытарская жизнь там, вдали от Родины, а больше всего — многослойная и красочная жизнь в столице Екатеринодаре, военный и будничный быт кубанцев. От высочайших особ и до простых казачек и монашек, от чистопородных великих князей, от знаменитостей искусства и политики до греческих и турецких иммигрантов, содержателей обжорок и притонов — круг действующих лиц в романе. От начал Запорожья и до наших дней — время его действия. От Парижа и до Хуторка в степной глуши — место действия.

И все это в воспоминаниях. Это роман-воспоминание не только по материалу, но и по форме его изложения, когда автор отказывается пользоваться ширмами, скрывающими ветхие углы. «Из воспоминаний», «Из записок», «Из дневника» — обычное начало глав. «На этом записки обрываются» — случающийся их конец. Люди говорят, перебивая друг друга, нередко об одних и тех же событиях говорят вразнобой, при повторении не обязательно прежнее воспоминание накладывается на новое. «Что ни возьми, одни воспоминания»,— замечает один из самых говорливых и охочих до прошлого героев романа.

Здесь говорят не только герои. Надпись на могильном камне: «О люди! Что теперь вы, то и мы были некогда; что теперь мы, то и вы скоро станете». Даются объявления о смерти, документы и манифесты, письма, записки, стихи, газетные заметки, слухи. Чисто авторские страницы, где Виктор Лихоносов является в полное свое замечательное лирическое перо, то и дело перемежаются хроникой. И опять вступают в свою роль герои.

«Будем же вспоминать! — приглашает автор.— Всякое время пройдет, и всякому человеку придется оглядываться назад, туда, где уже нет никого». Он зовет к воспоминаниям с настойчивостью и нетерпением, с тревогой, что еще несколько лет, и не останется людей, способных дать важные свидетельства в пользу истины. Верно, что «история и время не сразу уносят своих свидетелей на кладбище», и все-таки нужно спешить, успеть в последний момент запечатлеть *то* время, после которого наступили другие времена, потребовавшие других летописцев.

«Выбор героев зависел от самой судьбы: на страницы романа взошли те люди, которые пережили других и больше всего мне рассказали. Разумеется, не все, а некоторые. Я временами чернел от мысли, что стараюсь напрасно. И как все это связать, убедить современников в невинности своих взглядов, и нужно ли вообще оборачиваться так далеко назад? Погляди на нынешний день: не тени забытые, а живые люди трутся о твое плечо в трамвае, несут на горбушке деточек в сад, поют песни, горюют и читают в газетах о страшной войне во Вьетнаме. Я все это понимал и ничего с собою поделать не мог: жалко было и горожан, никем никогда не помянутых. Между тем нам никогда не проникнуться прошлой жизнью как следует. Тайна ее лежит на самом дне».

Должно быть, только наш писатель способен выставить как серьезную причину и право: «жалко было и горожан, никем никогда не помянутых». И возразить на эту наивность, казалось бы, и слабую причину нечем — столько в ее слабости и наивности силы и любви к человеку, столько милосердия и доступности, что она отчетливо воспринимается не как чудачество, а как изначальный закон, по которому безвестных где-то в каких-то глубинах отбирали для жизни и слова. Задумаемся, отрешившись на минуту от суеты и тесного движущегося круга сегодняшнего бытия: да разве может приходивший в жизнь и заслуживший добрую память уйти окончательно, не получив ответного отзыва в наших днях? Красиво это, справедливо, порядочно? И если не заноет от такой несправедливости душа — что стало с этой душой?

Обслуживающее наши движения припоминание — это не память, а только функция памяти со всем тем деловым, что есть в этом слове. Память — понятие духовное, она есть родительское продолжение в живущих, неустанный отбор и обережение лучших человеческих качеств, действующая доброта, единственно правильная ответственность за судьбу родной земли. Сколько в человеке памяти, столько в нем человека. Сколько памяти — столько жизни в прошлом и будущем. Одни начинают жить с Киевской Руси, другие и собственный недолгий праздник испортят грубым пиром. Из всех столпов любого государства память имеет самое большое и самое важное значение, и она должна быть первым гражданином государства. Народ велик не числом жителей, а животворной памятью, подвигающей к благим и безошибочным деяниям. Не только народы, но и цивилизации исчезали, если поколения живущих заражались эгоизмом и самостью.

Вот в чем прежде всего нужно видеть смысл этого романа, вот о чем наперебой и по-разному говорят его герои.

Нетрудно заметить, что в нем нет разделения на тех, кому играть роль и кому подыгрывать, кому изрекать истины и кому служить фоном для изрекающих. Да и сам роман — не роман в привычном обозначении жанра. Тут свободно, когда хотят, берут слово, без затруднений из героя превращаются в повествователя, переставляют с места на место времена. В нем не существует обычных строгостей «романного строя», действие вольное и широкозахватное. Даже автор здесь в двух ипостасях, как принято было в старой литературе: сначала якобы собирал воспоминания и писал один человек, а затем после его смерти дописывал и готовил рукопись к публикации другой. Казацкий язык звучит тут рядом с французским, грубоватые шутки соседствуют с изысканностью, старомодность с новейшими манерами. Чтобы сказать окончательное слово, здесь возвращаются из небытия, сплошь и рядом возможны удивительные случайности и странные несоответствия. Герою на этих страницах позволяется говорить больше, чем автору, и в такие пускаться дебри многословия и пируэты острословия, которые обычному роману не выдержать. Это — как разлив, подхвативший всю ту жизнь, какая оказалась на его пути, со всеми водоворотами, зигзагами, омутами и возвратными путаными течениями.

Вместо Петра Толстопята, Дементия Бурсака, Калерии Шкуропатской, Василия Попсуйшапки, Луки Костогрыза, Акима Скибы и наказного атамана Бабыча в романе, вероятно, могли быть другие люди (они и воспринимаются не как созданные воображением автора герои, а как бывшие под собственными именами люди), но неизменным осталось бы их время. Теперь уже исчезнувшее время. Исчезнувшее? Но прошлое не уходит бесследно, в каждом из нас оно оставляет следы и протягивается дальше. У прошлого нет границ, его отменить нельзя. Забвение прошлого — несчастье и ужас для последующих поколений, когда принявшие забвение уподобляются зверям, на рассвете нового дня пожирающим мясо растерзанных стариков, а не принявшие — мучаются от неполноты и неисполненности, от укороченности и духовного плебейства своего поколения. До сих пор мы не можем изжить в себе язычество и до сих пор невольно, из природы своей, поклоняемся отмененным божествам — как же нам отменить то, что было всего лишь десятки лет назад?!

Бессомненно, главный герой этого романа — Память. Память — как вечность и непрерывность человека, как постоянное движение из поколения в поколение духовного вещества. Нельзя жить на земле, не помня, чем здесь жили прежде, не зная о трудах, славе, присяге и искренних заблуждениях наших предков. Не помня по именам самых знаменитых из них и праведных, чьими мыслями и заслугами мы продолжаем пользоваться как само собой разумеющимся, как извечно существующим, подобно творениям природы. Безымянное и беспамятное пользование — тоже воровство. Собственность, в чьих бы руках она ни была, должна иметь ду-

ховное наследование. Мы увереннеи и сильней себя чувствуем, когда получаем не только власть над нею, но и право на нее, от этого мы становимся продолжительнее во времени и надежнее в своих внутренних связях. Наконец мы обретаем совесть, обретаем ее не на словах, а на деле, в принятом человеческом законоположении. Мы начинаем ощущать, что мы есть в полном движении времени.

Эти мысли невольно сопровождают чтение романа. О роли нашего поколения в ряду поколений, о мере возможного восстановления литературой и искусством нарушенной памяти, о наполнении жизни минувших дат и событий. Вот для чего звучат и звучат, перебивая друг друга и боясь не досказать, голоса под аккомпанемент: «и придут времена, и исполнятся сроки» — да еще: «Так проходит слава земная», под аккомпанемент трагического и комического, возвышенного и простого. Мы не истину в готовом виде получаем из своих воспоминаний, а жизнь, оставшуюся вслед за нею картину, из которой можно вывести часть истины. Память становится здесь материальным ощущением времени, людские судьбы рисуют его общую судьбу. И горькая правда настигает нас: самодовольство живущего — лишь по праву живущего, не умеющего слышать и понимать голоса.

Жили люди и были не последнего ума и сердца, совершая поступки во имя Отечества, рассуждая о нем то с отрадой, то с горечью, но с неизменной надеждой. Всякий поступок оставляет после себя след. А мысль? Она тоже, бессомненно, участвует в поступке, но сама она, неподхваченная и незаписанная, но составленная искренней душой, достигающая порой абсолютной верности, услышанная абсолютным слухом, высвеченная божественным озарением,— не пропадает ли она, сказанная в «полевых условиях» жизни, навсегда, так что людям затем останется искать только ее слабые подобия? Задумывались ли мы когда-нибудь над тем, что в трагические моменты истории, каковым явилась в нашем народе гражданская война, человеческое откровение, доходившее в страданиях до последних пределов, наполовину безвозвратно утеряно? Не произошло ли то же самое в Отечественную войну? Единицы вели записи своих чувств, наблюдений и дум, десятки могли после воспроизвести их приблизительный и смутный след, главное же богатство (не есть ли это также национальное богатство?) кануло окончательно.

Мысль, кажется, не имеет воспоминания, но такова общая температура этого романа, что верится — имеет, что многие и многие рассуждения о Родине и ее судьбе дошли до нас в собственном звучании, в документальной записи. Испытываешь сквозь искушенную душу невольное чувство радости, что сохранилось и спустя много лет отыскалось въяви доносящееся теперь, как эхо, многоголосое незатихшее слово кубанцев.

Да нет же: и мысль и чувство, конечно, имеют воспоминания, только, как и для поступка, для этого им нужны весомость и полнокровность, первоточность и страсть, способные произвести сильное впечатление. Наверное, благодаря неверному воспоминанию и появилось — «мысль изре-

ченная есть ложь». Но это уже другой разговор, не имеющий отношения к роману.

Строгий и придирчивый критик легко отыщет в этом романе недостатки. Прежде всего он обратит внимание на много- и велеречивость героев и экипировку действия, подвигающегося не боевым казацким порядком, а растянувшимся обозом, подбирающим всякого, кто в него попросится. «Зачем,— с справедливым укором спросит он,— столько внимания и страниц было уделять, например, Олимпиаде Швыдкой, женщине сомнительной репутации и непредсказуемых поступков, вплоть до того, что, отмолившая тяжкие свои грехи и почившая, вновь появляется она в наше время в верхнем полукруглом окне двухэтажного краснодарского дома? Ну, коли как реликвия рода и потребовалась Олимпиада Швыдкая, то к чему бабушки бабушек со своими полусвязными воспоминаниями, к чему приблудшие к действию, рыскающие по степи казаки, ищущие наказного атамана, чтобы выпросить у того всего лишь бычка симментальской породы, к чему напрочь забытые ныне знаменитости в своих и чужих пределах, огружающие и без того заполненный роман и замедляющие его движение?»

И он будет прав, этот взыскательный критик. Он будет прав — если смотреть на роман как на должное существовать в строгих литературных нормах обычное произведение. Если смотреть на него как на работу, которой не удалось стать обычной, или, правильнее сказать, выдающейся в обычном. Но этот роман с самого начала так был задуман и так создавался, что он сразу вышел из ряда, и законы этого ряда к нему применять бессмысленно. Не из тщеславия или литературного бунта он вышел, а из сознательного и открытого доступа в себя всякого, кому есть что сказать даже как бы и по сказанному — для подтверждения сказанного или сомнения в нем. Автор заботился не о стройности фигуры своего романа, а о полноте памяти, о воссоздании по возможности всех живых связей.

Эта книга с нарочитой, с небывалой, пожалуй, свободой рассказывания, когда меняются и стили, и голоса,и языки, когда блестящее по своей выразительности перо автора, каким оно является нам в некоторых главах, со вздохом обрывает себя и переходит на документальную запись времени. Здесь властвует Время, властвует везде и во всем, над человеком и над землей. «И кто слыхал бы их в то прохладное утро осени 11-го года, все равно не узнал, кто они, откуда, зачем едут... Ранней степью простучали на подводе какие-то люди и исчезли. Как всегда, как во веки вечные. Проехали, и нету их до сего дня...» — вот для чего, вот для какого звука и слуха в безвестности понадобились автору три казака, едущие степью с заботой о бычке симментальской породы.

Образ Времени даже и в широком ограничении для человека, вышедшего за его пределы, имеет обычно монументальные и застывшие черты. Хотим мы того или не хотим, но первое двадцатилетие нынешнего века существует в нашем сознании в виде определенных символов — ушли люди, отзвучали голоса, погасли страсти, одни деяния живших тогда мы

признали, от других отказались. Мы смотрим на него с собственных позиций, и с мерками собственной жизни, а оно было полнее, живее, величественнее, проще и трагичней. Отражаясь в человеке и его истории, оно тем самым имело начала и концы, продолжения и притоки, ошибки и заблуждения, само же по себе оно было могущественным, бесконечным и единственным течением.

Растерянно и восторженно прислушиваясь к космическому движению Времени с тщетой человека установить в нем себя — «Ранней степью простучали на подводе какие-то люди и исчезли. Как всегда, как во веки вечные. Проехали, и нету их до сего дня...», Виктор Лихоносов предпринимает героические усилия восстановить земной облик Времени не в столь отдаленном его течении по кубанским пределам. И это ему удается вполне. Читатель не однажды с удивлением поймает себя на том, что он словно бы не читает, а прислушивается: так звучало Время. Роман впустил в себя множество голосов, и по ним, а не наоборот, отыскивал он своих героев. Отыскивал иногда за тридевять земель, чтобы по возможности составить полное свидетельство принадлежавшей им эпохи. Судить или возвеличивать их — это уже наше дело, однако кроме нашего приговора они уже судимы и возвеличены Временем.

Открытая озвученность романа произведет, вероятно, на читателя необычное и непривычное впечатление и вызовет споры и противоположные суждения. Но отказать ему в беспристрастности и правде нельзя. Эта правда шире и вместительней, чем мы привыкли видеть ее в книге, она не есть готовое, художественным словом сказанное мнение, а только данные для мнения, которые потребуют немалой духовной и исторической подготовленности, немало нравственного труда при восприятии и для сердечного отзыва.

Быть может, главное в романе: человеческий отзыв на человеческую жизнь, право каждой жизни и каждого времени на неиспорченную память.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть третья. ОТБЛЕСКИ ВОЙНЫ

Часть четвертая. ТРИЗНЫ (ЭПИЗОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ)

Часть пятая. ЖИЗНЬ ПРОШЛА

Виктор Иванович Лихоносов

НАШ МАЛЕНЬКИЙ ПАРИЖ

Ненаписанные воспоминания

Редактор Н. И. НЕТЕСИНА
Художественный редактор Н. Д. ВИКТОРОВА
Технический редактор Г. О. НЕФЕДОВА
Корректоры Т. А. ЛЕБЕДЕВА,
Т. В. МАЛИНКИНА, М. Е. АПАРЦЕВА

ИБ № 5901

Сдано в набор 17.05.89. Подп. в печать 09.01.90. Формат 84×108/32. Бумага типогр. № 2. (на прикл. мелов. офс.) Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 34,55. (в т.ч. вкл. 0,11). Усл. кр.-отт. 34,55. Уч.-изд. л. 39,09 (в т.ч. вкл. 0,03). Тираж 50 000 экз. Заказ 2764. Цена 2 р. 70 к. Изд. инд. ЛХ 323.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Госкомиздата РСФСР. 103012. Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Госкомиздата РСФСР. 170040. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.




2 р. 70 к.
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»